



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

B. PG 3226 . S6323



~~Slav. 24~~ K. 21
Confined to Library



СКЛАДЧИНА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИКЪ,

СОСТАВЛЕННЫЙ

изъ трудовъ русскихъ литераторовъ

въ пользу пострадавшихъ отъ голода

въ САМАРСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Алутинъ, Боборыкинъ, Буренинъ, Быковъ, Вейнбергъ, кн. Вяземскій, Гербель, Гончаровъ, Горбуновъ, Градовскій, Гротъ, Данилевскій, Докпальмайеръ, Достоевскій, Ковалевскій, Крыловъ, Кохановская, В. и Н. Курочкины, Лесевичъ, Майковъ, Марковичъ (Марко-Вовчокъ), кн. Мещерскій, Минаевъ, Михаловскій, Непрасовъ, Никитенко, Ознобишинъ, Орловъ, Островскій, Плещеевъ, Побѣдоносцевъ, Погодинъ, Погоскій, Половскій, Потѣкинъ, Розенгеймъ, Салтыковъ (Щедринъ), Случевскій, гр. Соллогубъ, Страховъ, Струговщиковъ, Тимофеевъ, гр. А. Толстой, бар. Торновъ, Тургеневъ, Фонъ-Инзандеръ, Франкъ.

С.-ПЕТЁРБУРГЪ, 1874.

Печатано въ типографіяхъ: В. С. Балашова, В. П. Безобразова, М. О. Вольфа, И. И. Глазунова, В. Н. Майкова, П. П. Меркулева, Ф. С. Сущинскаго, Товарищества «Общественная Польза» и А. И. Траншеля.



Типографія А. М. Мотомина. У Обуховскаго моста, д. № 93.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

| | стр. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Предисловіе. | I |
| Стихотворенія кн. П. А. Вяземскаго: | |
| I. Крымскія фотографіи 1867 года. I—XII | 1 |
| II. Петръ Алексѣевичъ. | 24 |
| III. Notturmo. | 30 |
| IV. Зимняя прогулка | 33 |
| V. На прощанье. | 35 |
| VI. Поминки | 38 |
| VII. Замѣтки. | 40 |
| VIII. Лѣсъ. | 41 |
| Изъ воспоминаній бывшаго кавказца. Барона Э. Э. Торнова. . . | 43 |
| Вѣчный жидъ. Изъ Беранже. В. С. Курочкина | 56 |
| Стихотворенія Я. П. Полонскаго | 61 |
| Живныя мощи. Отрывокъ изъ „Записокъ охотника“. И. С. Тургенева. . | 65 |
| Стихотворенія Е. Е. Случевского | 80 |
| Государственный человѣкъ прежняго времени (графъ Н. С. Мордвиновъ). А. Д. Градовскаго. | 84 |
| Два инквизитора. Изъ Никколини. Н. С. Курочкина | 119 |
| Городъ. Н. Щедрина (М. Е. Салтыкова). | 129 |
| Стихотворенія Д. Д. Минаева | 139 |
| Кто первый въ Россіи имѣлъ мысль объ освобожденіи крестьянъ съ земельнымъ надѣломъ (воспоминаніе о кн. В. В. Голицынѣ). М. П. Погодина. | 143 |
| Іерей. Стихотвореніе М. П. Розенгейма. | 159 |
| Изъ замѣтокъ проѣзжаго. А. Э. Погооскаго. | 163 |
| Стихотворенія гр. В. А. Соллогуба. | 215 |
| Дѣла и дни. К. П. Побѣдоносцева. | 217 |
| 23 августа 1870 г. Стих. Д. П. Овсибишина | 241 |
| Трудовой хлѣбъ. Сценн А. Н. Островскаго | 243 |
| Ричардъ, львиное сердце (изъ Гейне). А. Н. Струговищкова . . | 260 |

| | стр. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Стихотворенія А. В. Тимофеева | 261 |
| Фрески Баульбаха въ Берлинскомъ музеѣ. В. В. Лесевича | 265 |
| Хай-дѣвка. А. А. Потѣхина | 278 |
| Послѣднее прощаніе (изъ „Корсара“ Байрона). Н. В. Гербеля . . . | 309 |
| Наброски карандашемъ. Изъ современныхъ этюдовъ: „Мои друзья“. | |
| Петръ Аванасьевичъ Сусликовъ. Жн. В. П. Мещерскаго. | 315 |
| Стихотворенія А. Н. Плещеева | 331 |
| Panis et labor. Стих. В. И. Орлова. | 338 |
| Первенцы лица и его преданія. Я. К. Гротъ | 339 |
| Возвращеніе. Стих. П. М. Ковалевскаго. | 377 |
| Спены: I. На рѣкѣ и II. Воздухоплаватель. И. Ѳ. Горбунова . . . | 379 |
| Поэту и Читателю, стихотв. Д. Л. Михаловскаго | 395 |
| A la pointe, стихотв. А. Апухтина. | 397 |
| Изъ Томаса Мура, стих. Юліи Донпельмайеръ | 400 |
| Посредникъ. Глава изъ повѣсти. Гр. В. А. Солдогоуба. | 401 |
| Стихотворенія А. Н. Майкова. | 427 |
| Объ исторической драмѣ г. Островскаго „Дмитрій самозванецъ и Ва- силій Шуйскій“. А. В. Никитенко. | 431 |
| Маленькія картинки (въ дорогѣ) Ѳ. М. Достоевскаго. | 454 |
| Плѣнница (изъ Виктора Гюго). В. П. Буренина | 479 |
| Спены изъ перваго дѣйствія драмы: „Посадникъ“. Гр. А. К. Толстаго. . | 481 |
| Сельская идиллія (изъ дневника неопытной женщины). Марко-Вовчка . | 508 |
| Три элегіи. Н. А. Некрасова. | 522 |
| Изъ воспоминаній и разсказовъ о морскомъ плаваніи. И. А. Гонча- рова | 525 |
| Замѣтки о Пушкинѣ. Н. Н. Страхова. | 561 |
| Гдѣ лучше? стих. П. Выкова | 588 |
| Бабушкинъ рай. Г. П. Данилевскаго. | 591 |
| Дѣя басни: Хвостикъ и Индюкъ. А. Х. Франка | 621 |
| Отмѣтки при чтеніи историческаго похвальнаго слова Карамзина | |
| Екатеринѣ П. Кн. П. А. Вяземскаго. | 625 |
| Корабль, стих. В. Крылова. | 655 |
| Кроха словеснаго хлѣба. Кохановской | 657 |
| Стихотворенія Д. Фонъ-Лизандера. | 687 |
| Изъ Гейбеля, стих. П. И. Вейнберга | 688 |
| В. И. Живокни. П. Д. Воборыкина. | 689 |
| Стихотворенія А. Н. Струговщикова. | 707 |

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Мысль о пожертвованіи отъ литературы въ пользу голодающихъ Самарской Губерніи, возникшая первоначально въ кругу нѣсколькихъ лицъ, встрѣтила живѣйшее сочувствіе петербургскихъ литераторовъ и ученыхъ. Отвѣтомъ на нее было предпріятіе, около котораго сгруппировались они, какъ на нейтральной почвѣ, чтобы соединить общія свои усилія въ одномъ безкорыстномъ желаніи помочь нуждающимся.

Немедленно составилось общее собраніе изъ большей части находившихся въ Петербургѣ литераторовъ. За первымъ послѣдовали вскорѣ еще два собранія, въ которыхъ многіе приняли участіе лично, а нѣкоторые впослѣдствіи изъявили свое желаніе присоединиться къ участію въ общемъ дѣлѣ: В. П. Безобразовъ, В. П. Гаевскій, Н. В. Гербель, И. А. Гончаровъ, И. О. Горбуновъ, А. Д. Градовскій, Я. К. Гротъ, О. М. Достоевскій, П. А. Ефремовъ, Н. Н. Каразинъ, В. О. Коршъ, А. А. Краевскій, В. и Н. С. Курочкины; В. В. Лесевичъ, Н. С. Лѣсковъ, А. Н. Майковъ, Б. М. Маркевичъ, М. А. Марковичъ (Марко-Вовчокъ), князь В. П. Мещерскій, Д. Д. Минаевъ, Н. Б. Михайловскій, Н. А. Некрасовъ, А. В. Никитенко, А. Н. Островскій, А. Н. Плещеевъ, К. П. Побѣдоносцевъ, А. О. Погоскій, А. А. Потѣхинъ, Я. П. Полонскій, А. Н. Пыпинъ, М. Е. Салтыковъ (Щедринъ), М. И. Семевскій, графъ В. А. Соллогубъ, М. М. Стасюлевичъ, Н. Н. Страховъ, А. С. Суворинъ, Т. И. Филипповъ.

Положено было безвозмездными трудами литераторовъ и ученыхъ издать сборникъ, объемомъ отъ тридцати пяти до

сорока печатныхъ листовъ, по доступной большинству публики цѣнѣ, именно по 3 рубля за экземпляръ; печатать десять тысячъ экземпляровъ и назвать книгу «Складчиной».

Опредѣлено было также пригласить къ безвозмездному печатанію книги нѣскольго типографій, съ раздѣленіемъ между ними всего количества изготавливаемыхъ къ печати листовъ.

На это съ полною готовностію вызвались типографіи гг. Балашова, Безобразова, Вольфа, Глазунова, Ботомина, Майкова, Меркулева, Сущинскаго, Траншеля и Товарищества Общественной Пользы.

Готовность участвовать въ пожертвованіи изъявили также извѣстные бумажные фабриканты гг. Варгунины, сдѣлавшіе значительную уступку на большомъ количествѣ потребной для напечатанія десяти тысячъ экземпляровъ бумаги.

Затѣмъ приступлено было къ избранію, изъ присутствовавшихъ въ общемъ собраніи литераторовъ, шести лицъ, которыя могли бы взять на себя заботы по изданію сборника, требовавшему, кромѣ чтенія и классификаціи литературнаго матеріала, еще достаточной опытности въ издательскомъ дѣлѣ. Избраны были гг. Гончаровъ, Ефремовъ, Браевскій, князь Мещерскій, Некрасовъ и Никитенко. Сверхъ того, къ чтенію и оцѣнѣ доставляемаго въ «Складчину» матеріала предложено было приглашать и другихъ участвовавшихъ въ общемъ собраніи литераторовъ.

Избранный такимъ образомъ комитетъ прежде всего объявилъ въ газетахъ о предположенномъ изданіи сборника, приглашая гг. литераторовъ къ безвозмезднымъ приношеніямъ ихъ трудовъ, а къ писателямъ, отсутствующимъ изъ Петербурга, отнестся письменно. Всѣ отозвались сочувственно, и нѣкоторые изъ нихъ, какъ на примѣръ князь Н. А. Вяземскій, И. С. Тургеневъ и графъ А. Б. Толстой, успѣли доставить свои приношенія даже ранѣе означеннаго срока, 1 февраля. Другіе доставили свои статьи вскорѣ послѣ срока, иные же значительно замедлили—и это послѣднее обстоятельство было причиною, что наборъ сборника не могъ

быть начать, какъ предполагалось, 1-го февраля, а приступлено къ нему только въ первыхъ числахъ марта. За всѣмъ тѣмъ, отъ общаго собранія литераторовъ въ декабрѣ 1873 года, на которомъ окончательно рѣшено было изданіе сборника, до выхода книги въ свѣтъ прошло *не болѣе трехъ мѣсяцевъ*. Считаемо долгомъ заявить, что скорому окончанію дѣла содѣйствовали съ своей стороны и названные содержатели типографій. При условіи печатанія книги въ 10-ти типографіяхъ, неизбѣжно возникали затрудненія, вслѣдствіе которыхъ иная статья, набранная уже въ одной типографіи, переходила для набора въ другую; былъ также случай, что наборъ переносился въ другую типографію для печатанія; притомъ и самый объемъ книги превзошелъ предполагаемые 40 листовъ; такимъ образомъ, первоначальный планъ раздѣленія труда между 10 типографіями поровну оказался невыполнимымъ: нѣкоторыя типографіи—Безобразова, Вольфа, Глазунова, Ботомина—набрали и напечатали болѣе 4 листовъ; типографіею г. Балашова, отпечатавшею въ сборникъ три листа, набрано было собственно болѣе шести. Типографія г. Ботомина, кромѣ пяти слишкомъ листовъ текста, напечатала обертку, заглавный листъ, предисловіе и оглавленіе.

Переплетныхъ дѣлъ мастеръ Б. С. Бородинъ также сдѣлалъ значительное пожертвованіе, понизивъ цѣну за брошюровку и принявъ на себя безвозмездно упаковку экземпляровъ и доставленіе ихъ въ почтамтъ для разсылки иногороднымъ подписчикамъ.

Вотъ краткая исторія дѣла, представляемая здѣсь вмѣстѣ съ результатомъ его—съ готовою книгою.

На всѣ добровольныя благотворительныя приношенія смотреть обыкновенно какъ на евангельскую лепту; на литературныя тѣмъ болѣе должно смотрѣть такъ. Воззваніе къ помощи застало литераторовъ врасплохъ; кто имѣлъ готовое, тотъ поспѣшилъ отдѣлить часть отъ цѣлаго: другимъ пришлось создавать новое, притомъ въ опредѣленный краткій срокъ, —въ какой-нибудь мѣсяцъ. Эта краткость срока, ко-

нечно, была причиною и того, что нѣкоторые писатели, заявившіе полное сочувствіе къ дѣлу, не успѣли доставить свои труды во-время.

Общество, съ своей стороны, выразило сочувствіе мысли литераторовъ полнымъ ея одобреніемъ. При первомъ объявленіи объ изданіи сборника, въ мѣста, открытыя для предварительной подписки, начали немедленно поступать требованія со взносомъ, часто превышавшимъ назначенную цѣну.

Судя по этому, можно надѣяться, что теперь, когда литераторы довели свое предпріятіе до предположенной цѣли, и участіе общества къ этому дѣлу не оскудѣетъ до конца.

СТИХОТВОРЕНІЯ КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКАГО.

I.

КРЫМСКІЯ ФОТОГРАФІИ 1867 Г.

I.

А Ю - Д А Г Ъ.

(дорогой).

Тамъ, гдѣ извилины дороги
Снуютъ свою вокругъ моря сѣть,
Вотъ страшно выползъ изъ берлоги
Громадной тучности медвѣдь.

Глядитъ налѣво и направо,
И вдаль онъ смотритъ съ-высока,
И подпираетъ величаво
Хребтомъ восматымъ облака.

Въ своемъ спокойствіи медвѣжьемъ
Улегся плотно исполнѣнь,
Любуясь и роднымъ побережьемъ
И роскошью его картинъ.

Порой — угрюмый онъ и мрачный,
Порой его прелестенъ видъ,
Когда, съ закатомъ дня, прозрачной
Вечерней дымкой онъ обвить.

Порой на солнцѣ въ нѣгѣ дремлетъ
И грѣетъ жирные бока;
Онъ и не чувствуетъ и не внемлетъ,
Какъ носятъ надъ нимъ вѣка.

Вотще кругомъ реветъ и рдѣетъ
Гроза иль смертоносный бой,
Все неподвижно, не старѣетъ
Онъ допотопной красотой.

Нашъ звѣрь обросъ зеленой шерстью!...
Когда же зной его печетъ,
Спустившись къ свѣжему отверстию,
Онъ голубое море пьетъ.

Сынъ солнца южнаго! на взморѣ
Тебѣ живется здѣсь легко,
Не то, что въ нашемъ зимогорѣ,
Тамъ, въ снѣжной ночи, далеко,

Гдѣ мишка, братъ твой, терпитъ холодъ,
Весь день во весь зѣваетъ ротъ.
И, чтобъ развлечь тоску и голодъ,
Онъ лапу медленно сосетъ.

И я, сынъ сѣверныхъ метелей,
Сынъ непогодъ и буйныхъ вьюгъ,
Пришлецъ, не вѣдавшій доселѣ,
Какъ чуденъ твой роскошный югъ,

Любуясь, гдѣ мы ни пройдемъ,
Тѣмъ, что дарить намъ каждый шагъ,
Я самъ бы радъ зажить медвѣдемъ,
Какъ ты, счастливецъ Аю-Дагъ!

II.

БАХЧИСАРАЙ.

(ночью при иллюминаціи).

Изъ тысячи и одной ночи
На часть одна приплась и мнѣ,
И на яву прозрѣли очи,
Что только видится во снѣ.

Здѣсь ярко блещетъ баснословный
И поэтическій востокъ:
Свой рай прекрасный, хоть грѣховный,
Себѣ устроилъ здѣсь пророкъ.

Сады, сквозь сумракъ, разноцвѣтно
Пестрѣютъ въ лентахъ огневыхъ,
И прихотливо и привѣтно
Облита блескомъ зелень ихъ.

Красуясь стройностію чудной,
И тополь здѣсь и кипарисъ,
И крупной кистью изумрудной
Роскошно виноградъ повисъ.

Обвитый огненной чалмою,
Встаётъ стрѣльчатый минаретъ.
И слышится ночью тьмою
Съ него молитвенный привѣтъ,

И нѣгой, полной упоенья,
Ночнаго воздуха струи
Намъ навѣвають обольщенья,
Мечты и марева свои.

Вотъ одалиски легкимъ роемъ
Воздушно по саду скользятъ:
Глаза ихъ пышутъ страстнымъ зноемъ
И въ душу верадчиво глядятъ.

Чуть слышится ихъ тайный шопотъ
Въ вустахъ благоуханныхъ розъ:
Фонтаны льютъ свой свѣжій ропотъ
И зыбкій жемчугъ звонкихъ слезъ.

Здѣсь, какъ изъ нѣдръ волшебной сказки,
Мгновенно выдаются вновь
Давно отжившей жизни краски,
Власть, роскошь, слава и любовь,

Волшебства міръ разнообразный,
Сновъ фантастическихъ игра,
И утонченные соблазны,
И пышность ханскаго двора.

Здѣсь многихъ таинствъ, многихъ былей,
Во мракѣ лѣтописи слышна.
Здѣсь дикимъ прихотямъ и силѣ
Служили молча племена;

Здѣсь, въ царствѣ нѣги, бушевало
Не мало смуть, домашнихъ грозъ;
Здѣсь счастье блага расточало,
Но много пролито и слезъ.

Вотъ стѣны темнаго гарема!
Отъ страстныхъ думъ не отрѣшась,
Еще здѣсь носится Зарема,
Загробной ревностью томясь.

Она еще простить не можетъ
Младой соперницѣ своей,
И тѣнь ея еще тревожить
Живая скорбь минувшихъ дней.

Невольной, роковою страстью
Несется тѣнь ея къ мѣстамъ,
Гдѣ жадно предавалась счастью
И сердца ненадежнымъ снамъ.

Гдѣ такъ любила, такъ страдала,
Гдѣ на любовь ея въ отвѣтъ,
Любви измѣна и опала,
Ее скосили въ цвѣтѣ лѣтъ...

Во дни счастливыхъ вдохновеній,
Тревожно посѣтилъ дворецъ
Страстей сердечныхъ и волненій
Самъ и страдалецъ и пѣвецъ.

Онъ слушалъ съ трепетнымъ вниманьемъ,
Рыданьемъ прерванный не разъ
И дышущій еще страданьемъ,
Печальной повѣсти разсказъ.

Онъ понялъ раздраженной тѣни
Любовь, познавшую обманъ,
Ея и жалобы и пени
И боль неисцѣлимыхъ ранъ.

Предъ нимъ Зарема и Марія —
Сковала ихъ судьбы рука —
Грозы двѣ жертвы роковыя,
Два опаленные цвѣтка.

Онъ плакалъ надъ Маріей бѣдной:
И образъ узницы молодой
Тоской измученный и блѣдный,
Но свѣтлый чистой красотой,

И непорочность и стыдливость
На дѣвственномъ ея челѣ,
И безутѣшная тоскливость
По милой и родной землѣ,

Ея молитва предъ иконой,
Чтобы отъ гибели и зла
Небесъ Царица обороной
И огражденьемъ ей была. —

Все понялъ онъ! Ему не ново
И вчуужь сознать печаль,
И пояснять намъ слово въ слово
Сердечной повѣсти скрижалъ.

Маріи дѣвственныя слезы,
Какъ чистый жемчугъ, онъ собралъ,
И свѣжій кипарисъ и розы
Въ вѣночекъ посмертный ей связалъ.

Но вмѣстѣ и Зареми гнѣвной
Любилъ онъ ревность, страстный пылъ,
И отголосокъ задушевной
Въ себѣ ихъ вопламъ находилъ.

И въ немъ борьба страстей кипѣла,
Душа и въ немъ отъ юныхъ лѣтъ,
Страдала, плакала и пѣла,
И подъ грозой созрѣлъ поэтъ.

Онъ передалъ намъ вѣщимъ словомъ
Всѣ впечатлѣнія свои,
Все, что прозрѣлъ онъ за покровомъ,
Который скрылъ былине дни.

Тѣнь и его здѣсь грустно бродить,
И онъ, нашъ Данте молодой,
И насъ по царству тѣней водить,
Даруя образъ имъ живой.

Подъ плескъ фонтана, сладкозвучный
Здѣсь плачется его напѣвъ,
И онъ, спутникъ неразлучный,
Младыхъ Бахчисарайскихъ дѣвъ.

III.

ЧУФУТЬ-КАЛЕ.

Грустна еврейская Помпея;
Въ обломкахъ городъ тихъ и пустъ,
Здѣсь ветхій голосъ Моисея
Переходилъ изъ чистыхъ устъ
Въ уста преданьемъ непрерывнымъ,
И, вѣрный праотцамъ своимъ
Хранилъ заветъ ихъ съ рвеньемъ дивнымъ
Благочестивый караймъ.

Сюда, изгнанникъ добровольной,
Онъ свой Израиль перенесъ:

Въ обрядахъ жизни богомольной
Съ годовъ младенческихъ онъ росъ,
И совершивъ свой путь смиренный,
Достигнувъ мирно позднихъ дней,
Онъ возвращалъ свой пепелъ бренный
Землѣ — кормилицѣ своей.

Крутизнъ и голыхъ скалъ вершины,
Природы дикой красота
Напоминали Палестины
Ему священныя мѣста.
Здѣсь онъ оплаканнаго края
Подобье милое искалъ
И чулось ему: съ Синая
Еще Господь благовѣщалъ.

Теперь здѣсь жизнь уже остыла,
Людей житейскій гулъ утихъ,
И словно буря сокрушила
И разметала дома ихъ.
Не тронуты однѣ гробницы
Почившихъ въ вѣчности колѣнъ,
Сии нетлѣнныя страницы
Изъ повѣсти былыхъ временъ.

Народъ, разрозненный грозю,
Скитальцы по лицу земли!
Здѣсь, наконецъ, вы подъ землею
Осѣдлость вѣрную нашли.
Въ Іосафатовой долини
Васъ ждалъ желаемый покой:
И ужъ не выживутъ васъ нынѣ
Изъ лона матери родной.

IV.

ВОЗВРАЩАЯСЬ ИЗЪ КОРЕИЗА.

Усыяно небо звѣздами,
И чудно тѣ звѣзды горять,
И въ море златыми очами
Красавицы съ неба глядятъ.


И зеркало пропасти зыбкой
Купаетъ ихъ въ лонѣ своемъ
И вспыхнувъ ихъ яркой улыбкой,
Струится и брызжетъ огнемъ.

Вдоль моря громады утесовъ
Сплотились въ единый утесъ:
Надъ ними колоссъ изъ колоссовъ
Ай - Петри ихъ всѣхъ переросъ.

Деревья, какъ сборище тѣней,
Воздушно толпясь по скаламъ,
Подъ сумракомъ съ горныхъ ступеней
Киваютъ задумчиво намъ,

Тревожное есть обаянье
Въ сей теплой и призрачной мглѣ;
И самое ночи молчанье
Несется какъ пѣснь по землѣ.

То нѣгой, то чувствомъ испуга
Въ насъ сердце трепещетъ сильнѣй:
О ночь благодатнаго юга!
Какъ много волшебнаго въ ней!...



V. *

Вдоль горы, поросшей лѣсомъ,
Есть уютный уголокъ:
Онъ подъ вѣтвяннымъ навѣсомъ
Тихъ и свѣжъ, и одинокъ,

Прикитившись къ ущелью,
Милостивый Коремъ,
Здѣсь надъ моремъ, колыбелью
Подъ крутой скалой, повисъ.

И съ любовью, съ нѣжной лаской,
Ночь, какъ мать, въ тихій часъ
Сладкой пѣснью, чудной сказкой
Убаюкиваетъ насъ.

Сквозь глубокое молчанье,
Подъ деревьями въ тѣни
Слышны ропотъ и журчанье:
Съ плескомъ падаютъ струи.

Этотъ говоръ, этотъ лепетъ
Въ вѣчно-любящихся струяхъ
Возбуждаетъ въ сердцахъ трепетъ
И тоску о прошлыхъ дняхъ.

Улыбалась здѣсь красиво
Ненаглядная звѣзда,
Къ намъ слетѣвшая на диво
Изъ лазурнаго гнѣзда.

Гостя въ блескѣ скоротечномъ
Нинѣ скрылася отъ насъ,
Но въ святилищѣ сердечномъ
Милый образъ не угасъ.

VI.

МѢСЯЧНАЯ НОЧЬ.

Тамъ, высоко, въ звѣздномъ морѣ,
Словно лебедь золотой,
На безоблачномъ просторѣ
Ходить мѣсяцъ молодой,

Нашъ красавецъ ненаглядной,
Южной ночи гость и другъ;
Все при немъ, въ тѣни прохладной,
Все затеплилось вокругъ:

Горы, скаты ихъ, вершины,
Тополь, лавръ и кипарисъ
И во глубь морской пучины
Выдвигающійся мысъ.

Все мгновенно просвѣтлѣло —
Путь и темные углы,
Все пріяло жизнь и тѣло,
Все воспрянуло изъ мглы.

Съ нѣгой юга сны востока
Поэтическіе сны,
Вѣсти, гости издалека,
Изъ волшебной стороны, —

Все для сѣвернаго сына
Говорить про міръ иной;
За картиною картина,
Красота за красотой:

Тишь и сладость нѣги южной,
Въ небѣ звѣздный караванъ,
Здѣсь струей среброжемчужной
Тихо плачущій фонтанъ.

И при мѣсячномъ сіяньи,
Съ моря, съ долу, съ высоты
Вьются въ серебряномъ мерцаньи
Тѣни, образы, мечты.

Новыхъ чувствъ и впечатлѣній
Мы не въ силахъ превозмочь:
Льешься чашей упоеній,
О, таврическая ночь!

Вотъ татаринъ смуглолицый
По прибрежной вышинѣ,
Словно всадникъ изъ гробницы
Тѣнью мчится на конѣ.

Освѣщенный луннымъ блескомъ,
Дико смотреть на меня,
Вдругъ исчезъ! и море плескомъ
Вторить топоту коня.

Здѣсь татарское селенье:
Съ плоской кровлей низкій домъ
И на ней, какъ привидѣнье,
Дѣва въ облакѣ ночномъ.

Лишь выглядываютъ очи
Изъ накинутаго чадры,
Какъ зарницы темной ночи
Въ знойно-лѣтніе жары.

~~~~~

## VII.

КАЛОША.

(Е. Л. И.)

Въ чаду прощальнаго поклона  
У васъ, въ послѣдній вечерокъ,  
Какъ молодая Сандрильона,  
Оставилъ я свой башмачекъ.

Нѣтъ, лучше слогъ кудрявый брошу,  
И реализма ученикъ,  
„Оставилъ я свою калошу,“  
Скажу вамъ просто на прямой.

Одну, у вашего порогу,  
Благополучно я надѣлъ:  
Но вспомнить про другую ногу  
Я, растерявшись, не сумѣлъ.

Все такъ дышало обаяньемъ  
И нѣгою въ ночной тиши,  
И вы подъ мѣсячнымъ сіяньемъ  
Такъ чудно были хороши,

И мѣсяцъ такъ свѣжо глядѣлся  
Въ морскую синюю волну,  
Что самъ невольно засмотрѣлся  
Я и на васъ и на луну.

И кто жъ тутъ память не утратить?  
Кому до ногъ и до валошъ,  
Когда тебя восторгъ обхватитъ  
И поэтическая дрожь?



Конечно, тепелъ вечеръ южный,  
И ночь нагрѣта зноемъ дня;  
Здѣсь осторожности не нужны,  
Но забки ноги у меня.

Прошу васъ оказать услугу,  
Мнѣ и разрозненной четѣ;  
Пришлите вѣрную подругу  
Моей калошѣ — сиротѣ.

Когда-то — но теперь все плоше,  
И время ужъ совсѣмъ не то —  
Сказалъ бы, что у васъ съ калошей  
Еще забылъ я кое-что.

Но это *кое-что* — напрасно  
Дерзнулъ-бы я вамъ въ дань принести:  
Въ вѣнокъ вашъ свѣжій и прекрасной  
Цвѣтокъ весенній должно влести.

Тутъ нужно чувство помоложе,  
Чтобъ не попасть какъ разъ въ просакъ:  
А сердце старое вамъ тоже,  
Что вашъ изношенный башмакъ.

# VIII.

## ГОРЫ НОЧЬЮ.

(дорогою).

Морскаго берега стѣна сторожевая,  
Дающая отбой бунтующимъ волнамъ,  
Въ лазурной глубинѣ подошву омывая,  
Ты гордую главу возносишь къ облакамъ.

Рукой невѣдомой изсѣченныя горы,  
Съ ихъ своенравною и выпуклой рѣзбой!  
Нельзя отъ нихъ отвлечь вперившіеся взоры  
И мысль запугана ихъ дикою красотою.

Здѣсь въ грозной прелести, могуществомъ и славой  
Природа царствуетъ съ первоначальныхъ дней:  
Здѣсь стелется она твердыней величавой  
И кто помѣриться осмѣлился бы съ ней?

Ужъ внятно, кажется, природа челоуѣку  
Сказала: здѣсь твоимъ наѣздамъ мѣста нѣтъ:  
Здѣсь бурямъ да орламъ, однимъ исподконь-вѣку,  
Раздолье и просторъ! а ты будь домоуѣдъ.

Но смертный на землѣ есть гость неугомонной,  
Природы-матери онъ непослушный сынъ;  
Онъ съ нею борется, и волей непреклонной  
Онъ хочетъ матери быть полный властелинъ.

Крамольный сынъ, ее онъ вызываетъ къ бою;  
Смѣльчакъ, пробилъ ея онъ каменную грудь;  
Утесамъ онъ сказалъ: раздвиньтесь предо мною  
И прихотямъ моимъ свободный дайте путь!

И съ русской удалю, татарски-беззаботно,  
По страшнымъ крутизнамъ во всю несемся прыть,  
И смѣлый лозунгъ нашъ въ сей скачекъ поворотной:  
То bee or not to bee, иль быть, или не быть.

Здѣсь пропасть, тамъ обрывъ: все трень-трава, все сказки!  
Валяй, ямщикъ, пока не разрѣшенъ вопросъ:  
Иль въ море высочимъ изъ скачущей коляски,  
Иль лбомъ на всемъ скаку ударимся въ утесъ!

---

## ІХ.

## Л И В А Д І Я.

(27 іюля).

Отчего красою новой  
Улыбается намъ день,  
Свѣявъ съ тверди бирюзовой  
И послѣдней тучки тѣнь?  
Отчего онъ такъ свѣтлѣетъ?  
Отчего еще вѣжнѣй  
Насъ лобзаетъ, насъ лелѣетъ  
Теплой ласкою своей?

Отчего такъ благосклонно  
И такъ празднично глядятъ  
Море, берегъ благовонной  
И его роскошный садъ?  
Отчего такъ солнце блещетъ,  
Златомъ даль озарепя  
И такъ радостно трепещетъ  
Моря синяя волна?

Въ этотъ день, всѣхъ дней прекраснѣй,  
И земля и небеса,  
Отчего еще согласнѣй  
Въ пѣснь сливаются голоса?  
Отчего вездѣ такъ мило,  
Чѣ-то имя слышно намъ  
И молитва, какъ кадило,  
Свой возносить еиміамъ?

Въ уголокъ сей безмятежный  
Отчего нашъ тайный врагъ —  
Пресмыщенье — неизбѣжный

Спутникъ всѣхъ житейскихъ благъ,  
Не помыслить, не посмѣть  
Заглянуть за нашъ порогъ,  
И затихнувъ, здѣсь нѣмѣть  
Шумъ заботливыхъ тревогъ?

Древній міръ очарованья  
Нынѣ вновь помолодѣлъ,  
Словно въ первый день созданья  
Юной жизнью онъ разцвѣлъ,  
Непочатый самовластьемъ  
Разрушительныхъ вѣковъ,  
Юнымъ блескомъ, юнымъ счастьемъ,  
Свѣжей зеленью цвѣтовъ —

Онъ увѣнчанъ, опоясанъ  
Онъ жемчужною волной,  
Сводъ небесъ надъ нимъ такъ ясенъ,  
Да и самъ онъ — рай земной.  
Отчего, съ природой дружно,  
На кого ни погляди,  
Всѣ сердца горять такъ южно  
Въ нашей сѣверной груди?...

Оттого здѣсь все такъ живо  
Блещетъ праздничной красой,  
Что встречаемъ день счастливой  
Годовщины дорогой.  
Въ этотъ день у колыбели  
Ангель жизни предстоялъ  
И младенцу къ свѣтлой цѣли  
Свѣтлый путь онъ указалъ.

Съ возрастающей надеждой  
Предсказаніе сбылось,  
И подъ царственной одеждой

Сердце чистое зажглось.  
Кроткій духъ благоволенья  
Возлелѣялъ и развилъ  
Всѣ души ея движенья  
И весь строй душевныхъ силъ.

Жизнь созрѣла и богато  
Принесла дары свои,  
Все, что благо, все, что свято  
Ей знакомо, ей сродни.  
Не страшась завоеванья,  
Для другихъ враждебныхъ лѣтъ,  
Свѣжестью благоуханья  
Въ ней роскошенъ жизни цвѣтъ.

Ей къ лицу и багряница,  
Но еще она милѣй,  
Если прячется царица  
Въ женской прелести своей  
Въ свѣтломъ праздничномъ уборѣ.  
Оттого здѣсь небеса,  
Горы, голубое море  
И душистые лѣса

Всѣ, ревнуя другъ предъ другомъ,  
Расточаютъ блескъ и тѣнь,  
Чтобъ отпраздновать всѣмъ югомъ  
Этотъ радостный намъ день!

~~~~~  
X.

Слуху милыя названья,
Зрѣнью милыя мѣста!
Свѣтлой цѣпью обаянья
Къ вамъ прикована мечта.

Вотъ Ливадія, Массандра!
Благовучныя слова!
Съ древнихъ береговъ Меандра
Ихъ навѣяла молва.

Гаспра тихая! Красиво
Разцвѣтающій Мисхоръ!
Оріанда, горделиво
Поражающая взоръ!

Живописнаго узора
Свѣтлый, свѣжій лоскутокъ—
Коренъ! Звѣздой съ Босфора
Озаренный уголокъ!

Солнце, тѣнь, благоуханье,
Горъ таврическихъ краса,
Въ немерцающемъ сіяньѣ
Голубыя небеса!

Моря блескъ и тишь и трепеть!
И средь тьмы и тишины
Вдоль побережья плачь и лепеть
Ночью плещущей волны!

Поэтической Эллады
Отголоски и залогъ,
Мира, отдыха, улады,
Пристань, чуждая тревогъ!

Здѣсь, не знаясь съ ненастьемъ,
Жизнь такъ чудно хороша,
Здѣсь цѣлебнымъ, чистымъ счастьемъ
Упивается душа.

Съ нашимъ чувствомъ здѣсь созвучнѣй
Горѣ, долину, лѣсовъ привѣтъ,
Намъ ихъ тайнства сподручнѣй,
Словно тайнства въ нихъ нѣтъ.

Здѣсь намъ родственнымъ нарѣчьемъ
Говорить и моря шумъ;
Съ дѣтскимъ здѣсь простосердечьемъ
Умиляется нашъ умъ.

И съ природою согласно
Свѣжестъ въ мысляхъ и мечтахъ,
Здѣсь и на сердцѣ такъ ясно,
Какъ въ прозрачныхъ небесахъ.

XI.

О Р І А Н Д А .

Море яркою парчою
Разстилается внизу,
То блеснетъ златой струею,
То сольется въ бирюзу,

Въ изумрудъ и въ яхонтъ синій,
Въ ослѣпительный алмазъ;
Зыбью радужной пустыни
Ненасытитъ жадный глазъ.

И предъ моремъ, съ нимъ сподручно,
Моремъ зелень разлилась
И растительностью тучной
Почва пышно убралась.

Тамъ, гдѣ стелется веранда,
Гдѣ гора даетъ отлогъ,
Забѣлѣлась Орианда,
Какъ серебряный чертогъ.

И надъ нимъ сапфирной крышей
Развернулся неба сводъ;
Воздухъ здѣсь струится тише
И все тише ропотъ водъ.

Какъ твердыня, скалъ громада
Уперлася въ полукругъ,
И охрана и ограда
Отъ напора зимнихъ вѣстъ.

Знать, здѣсь громы рождали
И огнемъ своихъ зарницъ
Горъ осколки разметали
Съ этихъ каменныхъ бойницъ.

Средь прохлады и потемокъ
Древъ, пресѣвшихъ солнца свѣтъ,
Допотопныхъ горъ потомокъ,
Камень—древній домосѣдъ—

Весь обросшій сѣрымъ мохомъ,
На красу картинъ живыхъ,
Какъ старикъ глядитъ со вздохомъ
На красавицъ молодыхъ.

На скалъ многоголовной,
Освященьемъ здѣшнихъ мѣстъ,
Водруженъ маякъ духовной—
Искупительный нашъ крестъ.

Чуть завидя издали
Это знаменье, морякъ,
Ободрая благою встрѣчей,
Совершаетъ крестный знакъ.

И скитальцамъ въ бурномъ морѣ,
И житейскихъ волнъ пловцамъ,
Въ дни попутные и въ горѣ,
Крестъ и вождь и свѣточъ намъ.

ХІІ.

Опять я слышу этотъ шумъ,
Который сладостно тревожилъ
Покой моихъ лѣнивыхъ думъ,
Съ которыми я такъ много прожилъ
Безсонныхъ, памятныхъ ночей,
И слушалъ я, какъ плачетъ море,
Чтобъ словно выплакать все горе
Изъ глубины груди своей.

Не выразить языкъ земной
Твоихъ рыдающихъ созвучій,
Когда, о море, въ тѣмѣ ночной
Раздастся голосъ твой могучій!
Кругомъ все тихо! вѣтръ уснулъ
На вызвышеньяхъ Аю-Дага:
Ни человѣческаго шага,
Ни словъ людскихъ не слышенъ гулъ.

Дневной свой подвигъ соверша,
Земля почилъ послѣ боя:
Но бурная твоя душа

Одна не вѣдаетъ покоя.
Тревожась внутренней тоской,
Томясь невѣдомымъ недугомъ,
Какъ пораженное испугомъ,
Вдругъ вздрогнувъ, ты подѣмлешь вой.

Таинственъ мракъ въ ночной глуши,
Но посреди ея молчанья
Еще таинственнѣй души
Твоей, о море, прорицанья!
Ты что-то хочешь рассказать
Про таинства природы вѣчной
И намъ волною скоротечной
Глубокій смыслъ ихъ передать.

Мы внемлемъ чудный твой рассказъ,
Но разумѣть его не можемъ:
Съ тебя мы не спускаемъ глазъ
И надъ твоимъ тревожнымъ ложемъ
Стоимъ, вперя жадный слухъ:
И чуемъ мы благоговѣя,
Какъ мимо насъ, незримо вѣя,
Несется бездны бурный духъ!...

II.

ПЕТРЪ АЛЕКСѢВИЧЪ.

Когда, какъ будто вихрь попутный,
Приспособляя крылья намъ,
Уносить насъ вагонъ уютный
По русскимъ дебрямъ и степямъ:

Благословляю я чугунокъ!
И вдругъ мнѣ что-то говорить:
На насъ, весь вытянувшись въ струнку,
Петръ Алексѣвичъ глядитъ.

Почуя гулъ необычайный,
Царь всталъ тревожно изъ земли
И съ любопытствомъ, думой тайной,
Вперилъ на насъ глаза свои.

Въ умѣ недолго онъ пошарилъ,
Всю важность дѣла онъ смекнулъ,
И по лбу вдругъ себя ударилъ.
И тяжело, нашъ родной, вздохнулъ.

Чудовищемъ любясь жадно,
Ему отвѣсилъ онъ поклонъ;
Но все жъ голубчику досадно,
Что звѣрь сей не при немъ рожденъ!

Царь, эту пятую стихію,
Еще не выдумалъ народъ;
А царь нашъ матушку Россію
На всѣхъ парахъ ужъ гналъ впередъ.

Вставъ съ позаранку, чарку хватить,
Подасть къ походу зычный свистъ,
И сплошь свою громаду катить
Нашъ вѣнценосный машинистъ.

Не зная тундръ, ни буераковъ,
Онъ то-и-дѣло бороздить,
Не догадавшись, что Аксаковъ
Его за это пожурить.

Такъ твердо тендеръ свой державной
Онъ въ руки мощныя забралъ,
Что съ рейсовъ ковки стародавней
По новымъ круто насъ помчалъ.

Россію онъ вогналъ въ Европу,
Европу къ намъ онъ подкатилъ,
И пристрастившись къ телескопу,
Окно онъ въ море прорубилъ.

Морская зыбь—его веселье!
И самъ катается по ней,
И погостить на новоселье
Склизаетъ стаи кораблей.

Быть можетъ, скажутъ: „засидѣлись,
Мы слишкомъ долго у окна
И на чужое заглазѣлись!“
Но полно, тутъ его-ль вина?

Онъ окончательнаго слова
Сказать, нашъ зодчій, не успѣлъ,
Имъ недостроена основа
Великихъ помысловъ и дѣлъ!

Какъ-бы то ни было, на славу
Изъ ботика развелъ онъ флотъ,
По-русски отстоялъ Полтаву
И Питеръ вызвалъ изъ болотъ.

Намъ скажутъ: „Русь онъ онѣмчилъ!“
Нѣтъ, извините, господа!
Россію онъ очеловѣчилъ,
Во имя мысли и труда.

Петръ былъ не узкій подражатель
Однихъ обычаевъ и модъ;
Нѣтъ, съ бою взялъ завоеватель
То, въ чемъ нуждался нашъ народъ.

Хоть самъ былъ среднимъ грамотѣемъ,
Науку ввелъ въ намъ на проломъ,
Всему, что знаемъ, что имѣемъ,
Всему онъ крестнымъ былъ отцомъ.

Въ его училищѣ и нынѣ
Урокъ для всякаго добра;
Да и Второй Екатеринѣ
Не быть безъ Перваго Петра!

Онъ, въ царство тьмы, во время оно,
Одинъ въ грядущее проникъ,
Одинъ былъ собственной персоной
Свой телеграфъ и паровикъ.

Но мысль его, прижавши крылья,
На долгихъ совершала путь,
И не могли бойца усилія
И даль и время въ комъ сомнѣнуть.

Что врядъ приснится ли любиму,
Онъ на яву свершилъ одинъ;
Но все жъ творилъ онъ по людскому;
Хоть и шагаль какъ исполинъ.

Въ свой краткій вѣкъ онъ жилъ сториčno,
Безсмертья заживо достигъ;
Онъ трудъ вѣковъ обдѣлалъ лично
И своеручный міръ воздвигъ.

Ученыхъ не прося совѣта,
Онъ зналъ не хуже англичанъ,
Что время та-же есть монета,
И онъ пускалъ ее въ чеканъ.

Вездѣ пройти — гдѣ есть лазейка,
Гдѣ нѣтъ — пробьетъ и впустить трудъ;
Часъ каждый, каждая копейка
На пользу и въ процентъ идутъ,

Хоть самъ онъ былъ державнымъ зодчимъ,
Учиться побѣждалъ въ Сардамъ,
И тамъ трудясь чернорабочимъ,
Блескъ придалъ царственнымъ рукамъ.

Онъ пиво пилъ, курилъ онъ кнастеръ,
Кутилъ, но дѣлу не въ ущербъ,
И изъ кутилы вышелъ мастеръ,
Которымъ славенъ русскій гербъ.

Въ Карлсбадѣ, гдѣ силачъ нашъ хворый
Пилъ самородный кипятокъ,
Гдѣ съ Лейбницею вступалъ онъ въ споры,
Онъ тутъ же первый былъ стрѣлокъ,

Съ сѣдла сбывая смыслъ нѣмецкій
(Карлсбадъ то въ хронику вписалъ),
Верхомъ на Гиршпрунгъ молодецки
Онъ съ русской удалью вскакалъ.

Такъ онъ вскакалъ и на Россію
И за собой ее повлекъ:
Коню скрутилъ немножко выю —
Но ужъ таковъ былъ нашъ ѣздокъ!

Онъ крутъ былъ малую толику,
Но бодръ въ немъ и духъ и плоть,
И мощью на добро владыку
Самъ щедро надѣлилъ Господь.

Какого-жъ русскаго вамъ надо,
Когда и онъ отиѣченъ въ бракъ,
Природы русской типъ и чадъ,
Наирусѣйшій онъ русакъ!

Нѣтъ, нѣтъ! онъ нашъ, и первой масти!
Въ немъ русскихъ доблестей залогъ,
И согрѣшилъ ли въ чемъ, такъ страсти
Въ немъ тотъ же русскій духъ разжегъ.

Пусть онъ подписывался Peter,
Но предъ отечествомъ на смотръ
Все жъ выйдетъ изъ заморскихъ литеръ
На русскій ладъ: Великій Петръ.

Ужъ то-то задалъ бы онъ тряску,
Когда бъ про коврикъ-самолетъ
Онъ могъ бы въ быль упрочить сказку,
Безъ лишнихъ справокъ и хлопотъ;

Когда бь онъ, силъ своихъ въ избыткѣ,
Всю Русь могъ обручемъ спаять,
Ее жъ по проволоочной ниткѣ
Заставить прыгать и плясать:

Раздолье было бь мощной волѣ!
Царь — электричеству сродни,
И въ русскомъ скороспѣломъ полѣ
Сегодня сѣй, а завтра жни.

Вотъ отчего, когда стрѣлю
Нашъ поѣздъ огненный летить,
На насъ съ завистливой тоскою
Петръ Алексѣвичъ глядитъ.

Утѣшься, соколъ нашъ родимый!
Не ты-ль насъ закалилъ въ борьбѣ?
Нѣтъ, не пройдетъ надъ Русью мимо
Святая память о тебѣ.

Что ты задумалъ, что съ любовью
Посѣялъ щедрою рукой,
Когда работалъ ты надъ новью
Земли, распаханной тобой,

Все дало плодъ, даетъ задатокъ,
Твой мудрый свѣточъ не погасъ!
И нашъ Петровскій отпечатокъ
Вѣками не сотрется съ насъ!...

На желѣзной дорогѣ.
Іюль 1867 г.

III.

NOTTURNO.

I.

Вечеръ свѣжестью смѣняетъ
Полдня знойные часы,
И на землю расточаетъ
Бисеръ серебряной росы.

Не лепечетъ вѣтвь съ вѣтвой,
Приумолкъ глубокий лѣсъ
И подернуть звѣздной сѣткой
Сводъ безоблачныхъ небесъ.

Все утихло! Все смирно,
Воцарилась тишина:
Только мѣрно, ударяя,
Въ берегъ плескомъ бьетъ волна.

Только въ ней одной движеніе
Чутко слышится вдали,
Какъ сердечное бѣненіе
Сномъ забывшейся земли.



II.

Нигдѣ такъ роза не алѣетъ,
Такъ не плѣняетъ красотой,
Нигдѣ такъ плюсъ не зеленѣетъ,
Вѣся бархатной волной;
Нигдѣ прикованные взгляды
Такъ не любятъ на нихъ,

Какъ на развалинахъ ограды,
Какъ средь обломковъ вѣковыхъ.

Нигдѣ златой зари отливы,
Нигдѣ блескъ серебряной луны
Такъ непричудливо красивы,
Какъ на святыняхъ старины,
Какъ на часовнѣ одинокой,
На башнѣ дѣдовскихъ временъ,
Гдѣ годы врыли слѣдъ глубокой
По камнямъ посѣдѣвшихъ стѣнъ.

Нигдѣ такъ пѣсню звучно-томной
Не умиляетъ соловей,
Какъ на кладбищѣ, ночью темной,
Въ глуши сгустившихся вѣтвей.
Въ противорѣчьяхъ этихъ — прелесть!
Съ ней изъ того же родника
Во глубь души струится, не-вѣсть
Съ-чего, и радость и тоска.

И молодость, вѣнокъ прелестный,
Который радости сплели,
И красота, сей гость небесный,
Сей гость, повѣія земли,
Нигдѣ такой отрадой милой
Не благодатны для души,
Какъ о-бокъ съ старостью остылой
И увядающей въ тиши.

III.

Еслибъ мнѣ была свобода
Звѣзды съ голубаго свода
До послѣдней всѣ сорвать:

Тайной чуднаго издѣля,
Вамъ въ вѣнецъ и ожерелья
Я хотѣлъ бы ихъ собрать.

Еслибъ я всѣ розы міра
Съ Кипра, Пестума, Кашмира,
Съ Испани могъ собрать:
Какъ невольникъ предъ царевной,
Каждый шагъ вашъ ежедневно
Я хотѣлъ-бы устилать.

Еслибъ я всѣ вдохновенья,
Всѣ созвучья, пѣснопѣнья
Въ строй одинъ могъ сочетать
И всемірнымъ быть поэтомъ:
Васъ одну предъ цѣлымъ свѣтомъ
Я хотѣлъ бы воспѣвать.

Еслибъ выше данной властью
Могъ я къ радостямъ и счастью
Путь надежный отыскать:
Васъ навелъ бы на дорогу,
Самъ любяся съ порогу,
Какъ въ васъ блещетъ благодать.

IV.

ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА.

(Графиня М. Б. П.)

Ждетъ тройка у крыльца: порывомъ
 Коней умчить насъ быстрый бѣгъ.
 Смотрите — мѣсячнымъ отливомъ
 Озолотился первый снѣгъ.

* * *

Кругомъ серебряныя сосны;
 Здѣсь сѣверной Армиды садъ:
 Роскошно съ вѣтви плодоносной
 Виситъ алмазный виноградъ;

* * *

Вдоль по деревьямъ арабескомъ
 Змѣются нити хрустала;
 Серебрянымъ, прозрачнымъ блескомъ
 Сіяютъ воздухъ и земля.

* * *

И небо синее надъ нами —
 Звѣздами утеанный шатеръ,
 И въ полѣ искрится звѣздами
 Зимой разостланный коверъ.

* * *

Онъ, словно изъ лебяжьей тѣани,
 Пушистъ и свѣтитъ бѣлизной;
 Скользя, какъ челнъ волшебный, сани
 Несутся съ плавной быстротой.

* * *

Все такъ таинственно, такъ чудно:
Глядишь — не вѣрится глазамъ.
Вчерашній міръ спитъ безпробудно,
И новый міръ открылся намъ.

* * *

Гордяся зимнею обновой,
Ночь блещетъ въ свѣтозарной тьмѣ;
Есть прелесть въ сей красѣ суровой,
Есть прелесть въ молодой зимѣ,

* * *

Есть обаянье, грусть и нѣга,
Поэзія и чувствъ обманъ;
Степь безконечная и снѣга
Необозримый океанъ.

* * *

Вотъ лѣшій — скоморохъ мохнатый,
Кякиморъ пляска и игра,
Вдали мерещатся палаты,
Всѣ изъ литаго серебра.

* * *

Русалокъ рой среброкудровой,
Проснувшись въ сей полночный часъ,
Съ деревьевъ рѣзво и лукаво
Страхаетъ иней свой на насъ.

Царское село.
Ноябрь 1868 года.

V.

НА ПРОЩАНЬЕ.

Я никогда не покидаю мѣста,
Гдѣ промыслъ далъ мнѣ мирно провести
Дней нѣсколько нетронутыхъ бѣдою,
Чтобъ на прощанье тихою прогулкой
Не обойти съ сердечнымъ умилениемъ
Особенно мнѣ милыя тропинки,
Особенно мнѣ милый уголокъ.
Прощаюсь тутъ и съ ними и съ собою.
Какъ знать, что ждетъ меня за рубежомъ?
Казалось мнѣ—я былъ здѣсь застрахованъ,
Былъ огражденъ привычкой суевѣрной
Отъ тревоженій жизни ненадежной
И отъ обидъ насмѣшливой судьбы.
Здѣсь постоянно и однообразно,
День за день длилось все одно *сегодня*,
А тамъ меня въ дали невѣрной ждетъ
Невѣдѣнье сомнительнаго *завтра*,
И душу мнѣ тѣснить невольный страхъ.
Какъ въ гробъ родной съ слезами опускаемъ
Мы часть себя, часть лучшую себя,
Такъ покидая теплое гнѣздо,
Пролетныхъ дней пріютъ богохранимый,
Сдается мнѣ, что погребаю я
Досуговъ мирныхъ свѣтлыхъ занятъ,
И свѣжесть чувствъ, и дѣятельность мысли,
Все, чѣмъ я жилъ, все, чѣмъ жила душа.

Привычка мнѣ дана въ замѣну счастья.
Знакомое мнѣ мѣсто — старый другъ,

Съ которымъ я сроднился, свѣлся чувствомъ,
 Которому я довѣряю тайны,
 Подъятыя изъ глубины души
 И недоступныя толпѣ нескромной.
 Въ средѣ привычной ближе я къ себѣ.
 Природы мѣръ и мѣръ мой задушевный:
 Одинъ съ своей красой разнообразной
 И съ свѣжей прелестью картинъ своихъ,
 Другой съ своими тайнами, глубоко
 Лежащими на недоступномъ днѣ,
 Сливаются въ единый строй сочувствій
 Въ одну любовь, въ согласіе одно.
 Здѣсь тишина и цѣлость и свобода.
 Тамъ между мною внутреннимъ и внѣшнимъ
 Вторгается насильственнымъ наплывомъ
 Всепоглощающій потокъ суетъ,
 Ничтожныхъ дѣлъ и важнаго бездѣлья.
 Тамъ къ спѣху все, что въ пустого — важно
 Въ порожнее себя переливать.
 Когда мой умъ въ халатѣ, сердце дома,
 Я кое-какъ могу съ собою ладить
 Отсбивать себя въ себѣ самомъ,
 И быть не тѣмъ, во что нарядить случай,
 Но чѣмъ могу и чѣмъ хочу я быть.
 Мой я одинъ здѣсь цѣль и ненарушимъ,
 А тамъ мы два, разрозненные я.

О, будь на васъ благословеніе свыше,
 Сѣнь рощей, мѣръ полей и бытія!
 Да съ каждымъ лѣтомъ, все яснѣй, все тише,
 На западъ свой склоняясь жизнь моя,
 Подъ вашею охраной благосклонной
 Къ урочной цѣли совершаетъ путь,
 И вечеръ мирный, свѣжій, благовонный
 Дастъ отъ дневныхъ тревогъ мнѣ отдохнуть.

Люблю я нашъ обычай православный:
Въ немъ тайный смыслъ и въ немъ намеки есть явный;
Не даромъ онъ въ почтеніи у отцовъ,
Поднесъ хранимъ у насъ въ средѣ семейной:
Когда кто въ путь отправиться готовъ,
Присядетъ онъ въ тиши благоговѣйной,
Сосредоточится въ себѣ самомъ,
И оградясь напутственнымъ крестомъ,
Предастъ себя и милыхъ ближнихъ Богу,
А тамъ бодрѣй пускается въ дорогу.

Не всѣ ль мы странники? не всѣмъ ли намъ,
Въ путь роковой идти все тѣмъ же слѣдомъ?
Сегодня? Завтра? день тотъ намъ невѣдомъ,
Но свѣше онъ разсчитанъ по часамъ.
Какъ ни засиживаться старожилу,
Какъ на землѣ онъ долго ни гости,
Нечаянно пробѣдетъ походъ въ могилу,
И рѣдко кто готовъ въ тотъ путь идти.
Волнуемымъ житейскою тревогой,
Намъ, отсталымъ отъ братьевъ, прежде насъ
Отпешдшихъ въ путь,—и намъ ужъ близокъ часъ.
Не лучше ль каждому предъ той дорогой,
Собратся съ духомъ, молча, одному
Сойти спокойно въ внутреннюю келью,
И дать остыть житейскому похмѣлью
И отрезвиться страстному уму.

Лѣсная дача.

Осенью 1855 года.



VI.

ПОМИНКИ.

Ты, загадкой своенравной
Промелькнувшій на землѣ,
Пересмѣшникъ нашъ забавной,
Съ душой скорби на челѣ.

Гамлетъ нашъ, смѣсь слезъ и смѣха,
Внѣшній смѣхъ и тайный плачь,
Ты, несчастный отъ успѣха,
Какъ другой отъ неудачъ.

Обожатель и страдалецъ
Славы, ласковой къ тебѣ,
Жизни труженикъ, скиталецъ,
Съ бурей внутренней въ борьбѣ.

Духомъ сжимникъ сокрушенный,
А перомъ Аристофанъ,
Врачъ и бичъ ожесточенный
Нашихъ немощей и ранъ,

Но къ друзьямъ, но къ скорбнымъ братьямъ
Полный нѣжной теплоты!
Умъ, открытый всѣмъ понятьямъ,
Всѣмъ залетнымъ снамъ мечты.

Жрецъ, искусству посвященный,
Жрецъ высокаго всего,
Такъ внезапно похищенный
Отъ служенья своего!

Въ немъ еще созданья зрѣли:
Смерть созрѣть имъ не дала!
Недостигнувшая цѣли
Пала смѣлая стрѣла.

Тѣнью смертнаго покрова
Думъ затьмилась красота;
Окончательнаго слова
Не промолвили уста.

Жизнь твоя была загадкой,
Намъ загадкой смерть твоя;
Но успѣлъ ты въ жизни краткой
Даръ и подвигъ бытія

Оправдать трудомъ и жертвой:
Не щадя духовныхъ силъ,
Въ суетахъ, въ ихъ почвѣ мертвой
Ты таланта зарылъ.

Не алкалъ ты славы ложной,
Не выманивалъ похвалъ:
Думой скорбной и тревожной
Вышей цѣли ты искалъ.

И порокамъ и нечестью
Обличительнымъ перомъ
Былъ ты карой, грозной местью
Предъ общественнымъ судомъ.

Теплымъ словомъ убѣжденья
Пробуждалъ ты мудрый страхъ,
Святость слезъ и умиленья
Въ облѣнившихся душахъ.

Не погибнетъ — вѣрной мздою
 Плодъ воздастъ въ урочный часъ,
 Добрый сѣятель, тобою
 Сѣмя брошенное въ насъ.

VII.

ЗАМѢТКИ.

(Сентябрь 1868).

I.

Географическій вопросъ рѣшите жъ, братцы!
 Наука ждетъ — куда себя опредѣлимъ:
 Мы сердимся, когда намъ скажутъ: азіатцы!
 Быть европейцами мы сами не хотимъ.

II.

Идти своимъ путемъ свободно,
 Такъ жить, какъ просится душа —
 Все это очень благородно,
 Но въ этомъ мало барыша.

* * *

Предаться хочешь ли покою
 И не имѣть съ людьми возни?
 Какъ можно меньше будь собою,
 А будь, чѣмъ быть велятъ они.

III.

Сфинксъ, неразгаданный до гроба,
О немъ и нынѣ спорять вновь:
Въ любви его роптала злоба,
А въ злобѣ теплилась любовь.

* * *

Дитя осмынадцатаго вѣка,
Его страстей онъ жертвой былъ:
И презиралъ онъ человѣка,
И человѣчество любилъ.

VIII.

Л Ъ С Ъ.

Въ лѣсу за листомъ листь кругомъ
Съ деревьевъ валится на землю:
Самъ, въ увяданіи моемъ;
Паденью ихъ съ раздумьемъ внемлю.

* * *

Глухой ихъ шорохъ подъ ногой
Въ моей прогулкѣ одинокой,
Какъ шорохъ тѣни въ тьмѣ ночной,
Тревожить лѣса сонъ глубокой.

* * *

Кладбища сонъ и тишина!
А жизнь съ улыбкой обаянья

Вчера еще была полна
И нѣги и благоуханья.

* * *

Не листья ль жизни нашей дни?
Насъ и они въ свой срокъ обманутъ,
Какъ листья, опадутъ они,
И какъ они, печально вянутъ.

* * *

Гдѣ лѣсъ былъ зеленью обвить,
Теперь одни листы сухіе:
Такъ память грустная хранить
Отцвѣтшей жизни дни былые.

* * *

Но свѣжей роскошью вѣтвей
Весной очнется вновь дуброва:
А намъ на пеплѣ нашихъ дней
Цвѣтущихъ не дождаться снова!

Гамбургъ.
Ноябрь 1873.

ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ .

БЫВШАГО КАВКАЗЦА.

Разбирая, за неизбѣннѣмъ другаго дѣла, старня залежавшіяся бумаги, нашёлъ я между прочимъ нѣсколько листовъ испещренныхъ помятками о давнопрошедшемъ времени. Въ моихъ глазахъ мелькнуло: Кавказъ, Чечня, экспедиція Фрейтага 1844 г., Гехинскій лѣсъ, не забыть Егора Попова и Павла Самарскаго, и цѣлый рядъ воспоминаній возникъ въ моей памяти, воспоминаній грустныхъ, потому что прошедшаго времени не вернешь, и не менѣе того воспоминаній отрадныхъ по чувству гордости, съ которымъ принужденъ вспоминать о моихъ бывшихъ боевыхъ товарищахъ, безъ разбору—стояли-ли они выше, или далеко ниже меня во время оно, когда мы сообща дѣлили горе, радости и труды. Егоръ Поповъ, Павелъ Самарскій, имена незвучныя, люди неважные, простые линейскіе казаки, а помнить ихъ долженъ, и даже много виноватъ предъ ними, что такъ долго держалъ въ забытіи ихъ славы, молодецкіе поступки. Хорошіе примѣры должны оставаться на виду. Доказали они на какія дѣла безусловнаго и безразсчетнаго самоотверженія способенъ простой русскій человѣкъ, когда заговорить въ немъ сердце подъ настроеніемъ чувства благодарности, которое такъ нетрудно въ немъ возбудить. Нечего сказать, разъ-другой, знатно они меня уважили; и за что было имъ меня особенно

благодарить?—развѣ только за ласковое слово, да за пригоршню дароваго овса, въ минуту нужды удѣленную ихъ усталому коню. Въ короткихъ словахъ познакомлю читателя съ тѣми случаями, по которымъ навсегда остаюсь въ долгу у моихъ казачьихъ драбантовъ, неотлучно сопровождавшихъ меня въ теченіе двухъ годовъ моего послѣдняго пребыванія на Кавказѣ.

Въ 1844 году готовилась общая экспедиція на лѣвомъ флангѣ Кавказской Линіи, для чего войска на Кавказѣ были усилены двумя дивизіями 5 пѣхотнаго корпуса подъ начальствомъ генерала Лидерса. Военныя дѣйствія открылъ Фрейтагъ, двинувшись въ сердце большой Чечни, гдѣ къ нему долженъ былъ присоединиться еще другой отрядъ, туда же направленный изъ Владикавказа подъ командою генерала Нестерова. Изъ главной квартиры, занимавшей Щедринскую станицу на Терекѣ, къ моему величайшему удовольствію меня командировали къ Фрейтагу, у котораго, по праву старшинства, на время похода я долженъ былъ занять должность отряднаго оберъ-квартирмейстера. Первый разъ въ жизни мнѣ приходилось идти въ дѣло подъ начальствомъ этого отличнаго человека, съ которымъ былъ знакомъ со времени польской войны 1831 года, съ той же поры пріучившись его любить и уважать, не зная за нимъ ни одного неблагого побужденія, ни одной предосудительной черты; по этому понятно съ какою непритворною радостью я принялъ мое временное назначеніе, жалѣя только о томъ, что ему не суждено было продлиться на время всей предполагаемой экспедиціи, отъ которой тогда еще ожидали блестящаго успѣха. Поѣхалъ я къ нему не одинъ. Вместе со мной, изъ числа прибывшихъ изъ Петербурга офицеровъ, отправились къ Фрейтагу флигель-адъютантъ, графъ Шарль Ламбертъ, графъ Эдуардъ Барановъ, князь Александръ Голицынъ, Мердеръ, и гвардейскій артиллеристъ Василій Давыдовъ.

Въ одно ясное весеннее утро—погода благопріятствовала намъ во время всего десятидневнаго похода—выступили мы изъ вр. Грозной въ Чечню чрезъ Майкобское ущелье и, подвигаясь къ Гехинскому аулу, принялись по пути жечь селенія и уничто-

жать постѣвы, для наказанія чеченцовъ за повиновеніе ихъ Шамилю. Непріятель тревожилъ насъ слегка, изрѣдка перестрѣливался съ нашею цѣпью, но нигдѣ не показывался въ значительныхъ силахъ. Эта уклончивость на первыхъ порахъ дѣлательно сопротивляться нашему наступательному движенію не могла обмануть Фрейтага; ему хорошо было извѣстно гдѣ мѣстность позволяла непріятелю дать намъ сильный отпоръ, гдѣ онъ насъ поджидалъ, и гдѣ намъ самимъ слѣдовало глядѣть въ оба глаза, чтобы не набраться стыда. Между нами и Нестеровымъ, шедшимъ къ намъ на соединеніе, лежалъ Гехинскій лѣсъ, да протекалъ Валерикъ, два мѣста, чрезъ которыя русскія войска ни разу не проходили безъ самой кровопролитной драки. Валерикъ—рѣчка смерти—по шерсти ей была и вличка—воспѣта Лермонтовымъ, а про Гехинскій лѣсъ расскажу я сухой прозой, чѣмъ онъ былъ тогда не въ поэтическомъ, а въ чисто-практичномъ военномъ значеніи: семиверстная, глухая трупца, чрезъ которую безчисленными поворотами извивалась узкая армянская дорога. На половинѣ пути открывалась прогалина не шире ста сажень, упиравшаяся въ крутой оврагъ шириной около сорока шаговъ; въ трехъ верстахъ за оврагомъ Валерикъ протекалъ по обширной луговинѣ, окруженной густымъ боромъ. Мѣсто ровно было создано въ пользу чеченцовъ, никогда не упускавшихъ случая сильно намъ вредить, когда лѣсная чаща ихъ скрывала отъ нашихъ глазъ и уберегала отъ нашей пули, а мы сами принуждены были двигаться по открытой дорогѣ. Узнавъ отъ лазутчиковъ что въ Гехинскомъ лѣсу собралось множество чеченцовъ—кто говорилъ три, а кто говорилъ даже пять тысячъ—Фрейтагъ остановился предъ лѣсомъ и послалъ Нестерову приказаніе: переправившись чрезъ Валерикъ, тремя пушечными выстрѣлами дать знать о своемъ приближеніи, и не вдаваться въ чащу прежде, чѣмъ отъ насъ не отвѣтятъ такимъ же сигналомъ. Разсчитывалъ Фрейтагъ, одновременно атаковавъ лѣсъ съ двухъ противоположныхъ сторонъ, поставить непріятеля въ два огня и такимъ образомъ на его голову обратить пораженіе, которое онъ думалъ намъ приготовить.

На третьи сутки, послѣ обѣда часу во второмъ, слышались намъ дальніе пушечные выстрѣлы. Нестеровъ переправляется чрезъ Валерикъ, подумалось намъ, станетъ лагеремъ, отдохнетъ, а завтра поутру, извѣщенные условленнымъ сигналомъ, пойдемъ на встрѣчу его отряду. Не прошло однако не болѣе двухъ часовъ, какъ на время прекратившійся огонь, безъ предварительнаго сигнала, загорѣлся сильнѣе и гораздо ближе. Владикавказскій отрядъ, не останавливаясь, шелъ къ намъ на соединеніе; видимо тутъ произошла ошибка, объяснившаяся впоследствии тѣмъ, что посланное Фрейтагомъ приказаніе миновало Нестерова, не смотря на то, что было отправлено дубликатомъ съ двумя лазутчиками, поѣхавшими разными путями. Мѣстность, какъ я уже сказалъ, была непреодолимо трудная, непріятеля собралось вдоволь на оба наши отряда; почувалъ Робертъ Карловичъ бѣду, и не имѣя привычки въ такомъ разѣ долго думать и совѣтоваться, мигомъ поднялъ казаковъ и съ тремя сотнями и двумя конными орудіями поскакалъ къ опушкѣ Гехинскаго лѣса, отдавъ мнѣ приказаніе: наскоро построить вагенбургъ для двухъ батальоновъ и потомъ вслѣдъ за нимъ вести остальныя войска. Покончивъ съ вагенбургомъ, не успѣлъ я отвести колонну на полъ-версты, какъ приказано было ее вернуть. Нестерову не нужна наша помощь, объявилъ присланный адъютантъ, чеченцы пропустили его почти безъ драки, поэтому остается только приготовить лагерное мѣсто для новоприбывшихъ войскъ. Намъ самимъ издалека было видно, какъ находившіеся у него малороссійскіе казаки, спокойно выходя изъ лѣсу, строились вдоль опушки. Сдѣлавъ налѣво кругомъ, пѣхота пошла обратно къ мѣсту прежней стоянки, но ей успокоиться было не суждено; десять минутъ спустя прискакалъ, какъ помнится, графъ Барановъ съ новымъ приказаніемъ, двумъ головнымъ батальонамъ бѣглымъ шагомъ со мной прибыть къ Фрейтагу, ожидавшему насъ въ опушкѣ, а генералу Бѣлявскому, командовавшему всею пѣхотой, съ остальными батальонами и съ артиллеріею идти слѣдомъ, неслишкомъ спѣша однако, чтобы прежде дѣла не утомить солдатъ. Вышло на повѣрку,

что самого Нестерова съ кавалерією чеченцы дѣйствительно пропустили безобидно, но загородили путь его обозу, когда онъ вошелъ въ средину лѣса, ударили въ пашки на прикрытіе, опрокинули Навагинскій батальонъ, и потомъ отбросили къ Валерику аріергардъ, которымъ командовалъ полковникъ Вревскій. Не дожидаясь хвоста, Робертъ Карловичъ, съ двумя спѣшно мною приведенными батальонами и двумя конными орудіями, пошелъ выручать Нестеровскій аріергардъ, строго запретивъ, хотябъ однимъ выстрѣломъ отвѣчать на непріятельскій огонь. Штыкомъ очищая себѣ дорогу, солдаты безъ остановки добѣжали до прогалины, но тутъ были остановлены непреодолимымъ градомъ пуль, наткнувшись сверхъ того на такое зрѣлище, отъ котораго морозъ пробѣжалъ по жилкамъ даже у самыхъ закаленныхъ кавказцевъ. Одинъ изъ бывшихъ съ нами батальоновъ, принадлежавшій къ войскамъ 5 корпуса, при этомъ съ непринычки оробѣлъ, попытлся пазадъ, но во время еще былъ остановленъ. Не полагаю, чтобы кто либо изъ бывшихъ тутъ на лицо могъ забыть это грустное мгновеніе: на встрѣчу къ намъ бѣжали совершенно нагія, съ головы до ногъ кровью залитыя человѣческія фигуры. По всему тѣлу ровно топоромъ изрубленные Навагинцы, услыхавъ русское ура, встрепенулись, повскочили изъ-за кустовъ, и въ предсмертныхъ судорогахъ, не помня себя, метались въ средину рядовъ, душу раздирающимъ голосомъ умолая о помощи, которой мы въ первую минуту не въ состояніи были имъ подать. Войска съ медиками и съ лаваретными повозками еще не подошли, а предъ нами по другую сторону оврага въ густой чащѣ сверкало дуло возлѣ дула, и дорога, доколѣ видѣлъ глазъ, была запружена сплошною массою лохматыхъ шапокъ. Куринскій батальонъ подбѣжалъ къ оврагу и сталъ какъ вкопанный. Молодцы были Куринцы, да въ немоготу пришлось: почти въ упоръ и уже слишкомъ горячо палилъ чеченецъ, а проучить его штыкомъ мѣшалъ глубокій оврагъ.

Напрасно Фрейтагъ кричалъ: Куринцы не плошай!—дружно въ оврагъ, да въ штыки!—и выскакивали смѣльчаки изъ ря-

довъ товарищамъ дорогу показать, да не живые, а мертвые ныряли въ глубину оврага. Видя, что безъ подготовки непріятеля не осилить, Фрейтагъ на краю оврага поставилъ два орудія и приказалъ картечью очистить дорогу. Мѣсто было тѣсное, Фрейтага съ находившимися при немъ офицерами и конвойными казаками, всего человѣкъ двадцать, пѣхота прижала къ самымъ орудіямъ. Робертъ Карловичъ стоялъ впереди всѣхъ, а мнѣ по обязанности слѣдовало находиться вблизи. Чеченцы, не замѣшкаясь узнать его по коню и по числу окружавшихъ его офицеровъ, бросили стрѣлять по войскамъ и весь свой огонь обратили на насъ. Мгновенно насъ осыпало свинцомъ; свиста пуль уже не было слышно, ровно вихрь загудѣлъ надъ нашими головами. Въ эту критическую минуту мои казаки поразили меня неожиданною — негаданною выстрѣлкой. Егоръ Поновъ и Павелъ Самарскій, первый Горскаго, второй Ставропольскаго полка, не сговариваясь, оба разомъ выскочили впередъ и заслонили меня собой отъ непріятельскихъ пуль.

—Назадъ! не ваше мѣсто! отозвался я, разогналъ ихъ лошадой и придвинулся къ Фрейтагу.

—Если убьютъ нашего брата, невелика бѣда, а убьютъ васъ, иное дѣло — жалѣете вы насъ, хотимъ и васъ пожалѣть, отвѣтилъ Поповъ, подъ-устцы осадивъ мою лошадь, и снова оба казака стали между мной и непріятелемъ, который съ разстоянія пятидесяти шаговъ насъ разстрѣливалъ въ свое полное удовольствіе. Судьба однако сберегла моихъ добрыхъ казаковъ: не проронили они ни капли крови, только продыравленные шапки да черески ихъ свидѣтельствовали потомъ, что Чеченцы свинца не жалѣли и впередъ соваться отнюдь не походило на веселую шутку. И не высокопоставленную особу, не полновластного начальника, ради корысти или громкой похвалы, а невиднаго армейскаго офицера, угодившаго полюбиться имъ, забывъ себя, своихъ женъ и дѣтей, повинувшись мгновенному внушенію молодецкихъ сердецъ, пытались они уберечь отъ всѣмъ равно угрожавшей смерти. Кажись, нѣтъ столь

блистательного подвига, который, судя не по видимому результату, а по душевному побужденію, было бы позволено поставить выше этого мало-виднаго, и по этому мало кѣмъ замѣченнаго поступка. Фрейтагъ, отъ котораго, не взирая на его главную заботу, не ускользали и самыя незначительныя обстоятельства, при словахъ Попова обернулся, посмотрѣлъ на меня, на казаковъ, и въ памяти своей помѣтилъ ихъ имена, чтобы позже припомнить имъ дѣло, по мыслямъ его, выходившее изъ ряда всеневныхъ отличій. По этому поводу онъ не далъ имъ прямой награды, когда мы вернулись въ лагерь, сказалъ имъ только — молодцы, вѣрные, честные казаки! стану васъ помнить! и потомъ, нѣсколько времени спустя, представилъ ихъ къ Георгію, по случаю другаго дѣла съ непріятелемъ.

Въ этотъ день удалось намъ стать свидѣтелями еще другаго поразительнаго примѣра безстрашной русской удали, о которомъ, рассказывая гехинское дѣло, грѣшно было бы умолчать. Выстрѣлъ за выстрѣломъ наши казачьи орудія картечью бороздили узкую дорогу; отъ чугунныхъ вспрысковъ непріятель осадилъ восторону, дорога опустѣла, но по бокамъ, въ лѣсной чащѣ не переставали вспыхивать дымки, доказывавшіе, что непріятель крѣпко держался въ лѣсу. Въ это время изъ за послѣдняго поворота неожиданно показались два всадника, черта голову скакавшіе прямо на орудія — по пикамъ ихъ слѣдовало принять за малороссійскихъ или донскихъ казаковъ, остальнаго, въ облакахъ пыли и дыма, обдававшего ихъ изъ лѣсу, нельзя было разглядѣть. Фрейтагъ, стоявшій на конѣ возлѣ самыхъ орудій, едва успѣлъ остановить канонира уже взмахнувшаго пальникомъ, чтобы снова брызнуть картечью, какъ на дуло налетѣлъ малороссійскаго казачьяго полка ротмистръ Томашевскій съ однимъ казакомъ, отряхнулся, перекрестился, и донесъ, что присланъ убѣдительно просить, какъ можно скорѣе идти на помощь арьергарду, попавшему въ страшные тиски.

Молодецъ изъ молодцовъ! такой штуки я бы не сдѣлалъ! — невольно вырвалось у меня изъ глубины души, и не постыдился я своего восклицанія — всякой храбрости есть мѣра, и

кто ее превзошелъ, тому не скупись и на похвалу!... Я слишкомъ коротко былъ знакомъ съ опасностью, чтобъ не понять и въ полной мѣрѣ не оцѣнить, что значило версты двѣ про скакать чрезъ лѣсъ, густо занятый чеченцами, да еще на встрѣчу собственной картечи. Не помню, до того случалось ли мнѣ быть свидѣтелемъ подобной рѣшимости. И кому въ обширной Россіи знакомо имя Томашевского, кто знаетъ про его славный подвигъ, кто вспомнилъ бы о немъ, ежели-бъ мнѣ теперь не представился случай рассказать, на какое отважное дѣло покусился храбрый малороссіянинъ.

Вслушавъ Томашевского, Фрейтагъ въ то-же мгновеніе спустился въ оврагъ, скомандовавъ: „орудія на передки! Курицы за мной!“ Но Курицы не дали ему себя опередить, роемъ насъ охватили и побѣжали впередъ. „Не пустимъ тебя, Робертъ Карловичъ,“ кричали ему обгонявшіе насъ солдаты, „наше дѣло идти впередъ тобой и тебя оберегать, нече намъ указывать дорогу, сами найдемъ, не впервые намъ зубами грызться съ чеченцомъ.“

Пока мы дрались на прогалинѣ, Вѣлявскій успѣлъ подойти съ прочими батальонами; непріятель не устоялъ противъ общаго натиска, раздвинулся, и пропустилъ насъ къ Басерику. На полянѣ, съ трехъ сторонъ опоясанной густымъ боромъ, Пестеровскій арьергардъ, прижавшись въ уголокъ, едва успѣвалъ отбиваться отъ нападавшаго на него многочисленнаго не пріятеля, совершенно ослѣпшаго отъ лѣсной удачи. Чеченцы не умолкая стрѣляли изъ опушки и съ высоты деревъ, унизанныхъ ими вплоть до вершины; со стороны рѣки, поддерживая непрерывный огонь, они ползкомъ добирались до застрѣльщиковъ и мѣстами уже всакивая рубили ихъ шашками. Наше появленіе разомъ дало дѣлу другой оборотъ: картечь изъ шести орудій и густая цѣпь мигомъ очистили луговину; лѣсомъ однако продолжали владѣть чеченцы и оттуда засыпали насъ пулями. Пропуская мимо себя войска, выходившія изъ лѣсу, Фрейтагъ тотчасъ замѣтилъ, что у Курицовъ недостаетъ одной роты; никто не зналъ, куда она дѣвалась: была въ лѣвомъ прикрытіи, должно быть непріятель ее отрѣзалъ. Мнѣ было

поручено отыскать пропавшую роту. Съ полубатальономъ Куринцевъ я вернулся въ лѣсъ, пошелъ на неумолкавшій въ немъ огонь и дѣйствительно наткнулся на роту, которой мы не до- считывались. Видя себя отрѣзанною, она штыками овладѣла непріятельскимъ сомкнутымъ заваломъ и изъ за громадныхъ колодъ, накиданныхъ чеченцами, отъ нихъ же отбивалась. По- счастливилось намъ ее не только высвободить, но и безъ чув- ствительной потери привести обратно къ своему батальону. Отогнавъ непріятеля на должную дистанцію, Фрейтагъ пропу- стилъ сперва въ Гехинскій лѣсъ Вревскаго аріергардъ, обозъ и артиллерію, съ ними отослалъ всѣхъ провожавшихъ его офи- церовъ, въ томъ числѣ и меня, съ порученіемъ наблюдать, чтобы въ главной колоннѣ не разрывалась связь между частями и съ аріергардомъ; а самъ, удержавъ при себѣ одного своего адъ- ютанта, остался позади съ двумя батальонами и четырьмя кон- ными орудіями прикрывать наше отступленіе. Нѣсколько разъ, проѣзжая отъ хвоста къ головѣ колонны и обратно, въ этотъ день я имѣлъ случай видѣть Фрейтага въ пылу самой ожесто- ченной драки и вполне убѣдился, насколько была справедлива репутація, которою онъ пользовался на Кавказѣ. Въ кавказ- скую войну отступленіе было настоящимъ пробнымъ камнемъ распорядительности, хладнокровія и находчивости начальствую- щаго. Всѣ горцы вообще, а чеченцы въ особенности, слабо сопротивляясь при наступленіи, бѣшено провожали наши от- ступающія войска, не давая имъ шагу сдѣлать безъ драки. Въ Гехинскомъ лѣсу чеченцы роились; злобно расплачивались они за свои разоренные аулы и поля; въ боковыхъ прикрытіяхъ по всему протяженію лѣса усиленная пальба не умолкала ни на одно мгновеніе, но хуже всего доставалось аріергарду. Уз- кая дорога не позволяла употреблять въ дѣло больше двухъ орудій; вслѣдствіе безпрестанныхъ крутыхъ поворотовъ выст- рѣламъ ихъ представлялись самыя короткія дистанціи, шаговъ на двѣсти, рѣдко больше того; по сторонамъ, въ непроходимой чащѣ, съ непріателемъ могли вѣдаться одни стрѣлки. Фрейтагъ непріятеля несъ на плечахъ, ни на мигъ не покидая аріергардъ.

ныхъ орудій, которыя все время шли на отвозахъ и карточью кропили чеченцовъ, то и дѣло метавшихся ими овладѣть. Хладнокровно, не спѣша, покуривая чубучекъ, Робертъ Карловичъ распоряжался дѣйствіемъ, ободрялъ солдатъ, иногда подшучивалъ надъ неудачными попытками непріятеля проломить ихъ ряды. Казаки-артиллеристы тѣмъ временемъ, шапки заткнувъ за поясъ, чтобы сучьями съ головы не сорвало, заряжали съ быстротою молніи, разумно выжидали, въ время отдавали выстрѣлы, когда нужно было повторили, или поспѣшно на лямкахъ отвозили орудіе. Благодаря Фрейтагу, мы безъ прорухи прошли обратно къ нашему вагенбургу, хотя много потеряли людей и даже принуждены были въ лѣсу побросать тѣла убитыхъ, чего наши солдатики очень не долюбливали, но нечего было дѣлать, пришлось покориться горькой необходимости, когда Робертъ Карловичъ сердито крикнулъ солдатамъ, приступавшимъ къ нему съ просьбой уносить тѣла — „бросай, не хочу живыхъ отдавать за мертвыхъ!“ Дѣйствительно каждое промедленіе, каждое скучиваніе людей, дѣйствовавшихъ въ разсыпную, вело къ новымъ потерямъ. Да и непріятелю порядочно досталось въ Гехинскомъ лѣсу. Въ продолженіе всего слѣдующаго дня онъ не потревожилъ насъ ни однимъ выстрѣломъ, подбирая своихъ раненыхъ и убитыхъ, и мы воспользовались этимъ обстоятельствомъ для отсылки съ небольшимъ конвоемъ въ кр. Грозную нашихъ собственныхъ раненыхъ и больныхъ.

Возлѣ Гехинскаго лѣса простоявъ четверо сутокъ, мы пошли обратно на Линію чрезъ Гойтинскій лѣсъ, гдѣ вторично имѣли очень жаркое дѣло. Не стану его однако рассказывать, потому что рѣчь веду нынѣ не о кавказскихъ экспедиціяхъ, а о томъ какъ нашимъ добрымъ линейцамъ случилось понимать и править свою казацкую службу. Снова обращаюсь къ моимъ казакамъ.

Въ Гехинскомъ лѣсу не первую добрую службу они мнѣ сослужили, про какую въ воинскомъ артикулѣ нѣтъ и помину. Годъ предъ тѣмъ, когда мы съ генераломъ Гуркой ходили выручать Гергебиль, да не выручили, вѣдаетъ Господь Богъ, не

по нашей винѣ, мои казаки явили мнѣ такое доказательство своей сердечной привязанности, отъ которой не только тепло стало на душѣ, но сладостно согрѣлось и мое грѣшное тѣло.

Въ темную ноябрьскую ночь двинулись мы съ отрядомъ, считавшимъ не болѣе полуторатысячи штыковъ и пяти горныхъ орудій, отъ Огловъ на Гергебильскую гору; съ версту не доходя до спуска въ Гергебильскую котловину, въ которой находилась крѣпость, атакованная Шамилемъ, по приказанію Владиміра Осиповича была оставлена колона ждать разсвѣта. Ночь была бурная, морозная; вѣтеръ свисталъ надъ нашими головами взметая снѣжную пыль, жгучими иглами впивавшуюся въ лицо и въ глаза. Солдаты кучами улеглись на снѣгу; легъ и я, выбравъ мѣстечко, гдѣ было побольше снѣгу, чтобъ острые камни въ бока не кололи; закрылъ голову буркой и пытался уснуть, но отъ холода и отъ усталости глазъ не могъ сомкнуть. Дрожь пробирала меня до костей. Вдругъ я почувствовалъ пріятную теплоту, которая невѣсть отчего стала разливаться по жиламъ, и впалъ въ глубокой сонъ. Голосъ генеральскаго адъютанта, Василія Ивановича Муравьева-Апостола, меня разбудилъ; „свѣтаетъ, вставайте,“ шепталъ онъ мнѣ на ухо, „Владиміръ Осиповичъ приказалъ безъ боя барабаннаго и какъ можно тише поднять и построить отрядъ.“ Откинувшись отъ себя какую то небывалую тяжесть, взглянулъ и понялъ, отчего мнѣ стало тепло и отчего удалось такъ отлично проспать.

Три казака мои, Поповъ, Самарскій, да состоявшій въ то время при мнѣ Ивагинъ, Гребенскаго полка, тремя своими—бурками меня накрыли и все время, что я спалъ, просидѣли у моихъ ногъ на рѣзкомъ ночномъ вѣтрѣ, оттирая другъ друга, чтобъ не окоченѣть. Темна была ночь, никому ихъ неограниченная заботливость обо мнѣ не могла броситься въ глаза, не домогались они отличія, а съ полною простотою морили себя, жалѣя меня, потому что мнѣ случалось ихъ жалѣть. Муравьевъ не упустилъ похвалить казаковъ: „нечего сказать, славные вы ребята, отлично бережете Федора Федорыча,“ къ чему я отъ себя прибавилъ душевное спасибо, совѣтуя впередъ, однако,

сберегая меня и себя нѣсколько поберечь, потому что служба ихъ нужна еще и на другое, болѣе важное дѣло.

Еще остается мнѣ рассказать одинъ случай, давшій Попову неоспоримое право на мою вѣчную благодарность. Рискуя быть раздавленнымъ или по меньшей мѣрѣ поломать руки и ноги, онъ спасъ мою жизнь отъ смертельной опасности. Дѣло случилось слѣдующимъ образомъ. Въ мое послѣднее пребываніе на Кавказѣ я нѣсколько разъ возилъ жену съ Липи въ Тифлисъ на свиданіе съ родными; Поповъ провожалъ насъ во всѣ эти поѣздки. Въ 1844 году, возвращаясь изъ Тифлиса въ Ставрополь, откуда я долженъ былъ ѣхать въ Москву, рѣшившись навсегда покинуть Кавказъ, мы поздно пріѣхали въ Душеть и, перемѣнивъ лошадей, поспѣшили отъѣздомъ, чтобы засвѣтло еще проѣхать по предстоявшей намъ опасной дорогѣ. Душеть, лежитъ на высокой горѣ, дорога къ Анапуру, верстъ на семь, спускался подъ гору уступами, пролегала карнизомъ: на право гора стѣной, на лѣво глубокій обрывъ. Помѣщались мы въ двухъ экипажахъ: въ каретѣ жена со мной, Поповъ на козлахъ; въ позади-ѣхавшемъ тарантасѣ горничная съ новобрачнымъ супругомъ, наемнымъ москвичемъ-лакеемъ, съ пріѣздомъ въ винородную Грузію всецѣло предавшимся опохмельному соблазну краснаго кахетинскаго. Во время перепряжки лошадей на душетской почтовой станціи, онъ слишкомъ глубоко заглянулъ въ стаканъ, отъ этого утратилъ способность удерживать свое тѣло въ должномъ равновѣсіи, но за то воспламенился ревностью къ исполненію своихъ лакейскихъ обязанностей, каковая въ нормальномъ состояніи за нимъ не водилась. На первомъ же спускѣ представилась необходимость подтормозить шестерикомъ заложенную карету. Поповъ слѣзъ съ козелъ, подложилъ тормазъ, и приказавъ тронуться, самъ пошелъ возлѣ колеса. Лакей Иванъ, не слушая увѣщаній своей дражайшей половины, вылѣзъ изъ тарантаса, допелся до кареты и, шатаясь, ухватился за колесо, въ помощь тормазу. Поповъ, опасаясь, чтобы ему не случилось, спотыкнувшись, попасть подъ карету, сталъ его отгонять, но Иванъ ничего знать не хотѣлъ,

бранился и самого Попова отталкивалъ отъ колеса. Не предвидя добра отъ этого спора, я выпрыгнулъ изъ кареты съ цѣлью прогнать пьянаго Ивана, съ которымъ одинъ Поповъ не могъ совладать. Въ это самое мгновеніе тормазъ лопнулъ, колесо дало поворотъ, уцѣпившагося за него Ивана швырнуло впередъ и лошади понесли. Казалось не миновать было Ивану быть подъ каретой, а женѣ съ экипажемъ, разбитымъ въ дребезги, лежать въ бездонной пропасти. Но Гехинскій молодецъ и тутъ себя показалъ. Ухвативъ, можно сказать на лету, и отбросивъ въ сторону опалѣвшаго Ивана, съ быстротою стрѣлы Поповъ обогналъ карету, бросился между лошадей, повисъ на дышлѣ и своею тяжестью затормозилъ напоръ экипажа. Сажень двѣсти проволокли его лошади въ этомъ опасномъ висачемъ положеніи, постепенно умирѣя свой бѣгъ, и жена находилась уже внѣ всякой опасности, когда я самъ, задыхаясь, успѣлъ нагнать карету.

Какъ, послѣ такихъ услугъ, мнѣ моихъ казаковъ не благодарить и не помнить!

Бывшій Кавказецъ.

3 Февраля 1874 года.

С.-Петербургъ.

ВѢЧНЫЙ ЖИДЪ.

(ИЗЪ ВЕРАНЖЕ).

Внемли мнѣ, христiанинъ. Будь
Готовъ помочь тому, кто просить.
Я Вѣчный Жидъ—и вѣчно въ путь
Могучій вихрь меня уносить.
Все мретъ вокругъ. Мнѣ смерти нѣтъ.
Съ надеждой жду, чтобъ загасила
Ночь надъ землею на вѣки свѣтъ—
Но каждый день встаетъ свѣтило.

Иди! Иди!

Звучить мнѣ всюду съ грозной силой.
И вѣчность, вѣчность впереди...

Иди! Иди! Иди! Иди!

Въ восемнадцать я вѣковъ прошелъ
Надъ пепломъ Греціи и Рима,
Миліоны городовъ и селъ—
Все дальше вихрь уносить мимо.
Я видѣлъ, какъ изъ зернъ благихъ
Всходили гибельные всходы
И новый міръ изъ волнъ морскихъ
Возникъ для будущей свободы.

Иди! Иди!

Все слышу я какъ въ оны годы.
И вѣчность, вѣчность впереди...
Иди! Иди! Иди! Иди!

Всѣ чувства Богъ смягчилъ мои;
Но въ скорби нѣжной и глубокой
Отъ крова чуждой мнѣ семьи
Уносить вихрь меня далеко.
Динарій вѣчный мой въ суму
Бросая нищему — я руку
Пожать не могъ ни одному...
И дальше шелъ покорный звуку:
Иди! Иди!

Одинъ, въ душѣ замкни всю муку!
И вѣчность, вѣчность впереди...
Иди! Иди! Иди! Иди!

Весенней зелени кустовъ
Привѣтно манить тѣнь густая
Страхнуть въ ихъ кущахъ пыль вѣровъ —
Но вихрь клубится, завывая.
Минуту я прошу всего —
Но въ полной вѣчности мученья
Небесный гнѣвъ ни одного
Не уступаетъ мнѣ мгновенья.
Иди! Иди

Весь срокъ земли круговращенья!
И вѣчность, вѣчность, впереди...
Иди! Иди! Иди! Иди!

Кружокъ рѣзвящихся дѣтей
Навѣтъ вдругъ воспоминанье
О дѣтяхъ, о женѣ моей....
Вдругъ — слышу вихря завыванье!
Разсѣйте, старики, свой страхъ
Предъ смертью — міромъ утомленныхъ:
Моя нога развѣтъ прахъ
Ихъ всѣхъ — дѣтей, едва рожденныхъ!
Иди! Иди

Средь населеній обновленныхъ!
И вѣчность, вѣчность впереди...
Иди! Иди! Иди! Иди!

Когда я вновь въ странѣ родной
Иду близъ стѣнъ Ерусалима,
Хочу я шагъ замедлить свой —
Но вихрь бушуетъ: Мимо! Мимо!
Я грозный голосъ слышу тамъ:
Здѣсь всѣ твои давно почили.
Иди! Иди! Твоимъ костямъ
Успокоенья нѣтъ въ могилахъ!
Иди! Иди!

Смерть надъ тобой однимъ не въ силѣ.
И вѣчность, вѣчность впереди...
Иди! Иди! Иди! Иди!

Надъ Богочеловѣкомъ я,
Когда онъ крестъ свой несъ, израненъ,
Дерзнулъ... Прости!.. Бѣжить земля...
Вихрь гонить... Помни, христіанинъ:
Будь милосерднымъ. Казнь мою
Постигни: до скончанья вѣка
Не за божественность свою
Богъ мститъ во мнѣ — за челоуѣка.
Иди! Иди!

Звучить мнѣ всюду съ грозной силой.
И вѣчность, вѣчность впереди...
Иди! Иди! Иди! Иди!

В. Курочкинъ.

ПРИМѢЧАНІЕ КЪ СТИХОТВОРЕНІЮ „ВѢЧНЫЙ ЖИДЪ“.

Въ вышедшей въ Парижѣ въ 1869 г. книгѣ „Histoire de l'imagerie populaire“ par Champfleury, авторъ разбираетъ всѣ легенды, народные стихи (complaintes) и изображенія, также всѣ новѣйшія литературныя и художественныя воспроизведенія преданія о Вѣчномъ Жидѣ.

Вездѣ, говоритъ онъ, народъ относится къ участи Агасеера съ состраданіемъ — фламандцы, англичане, нѣмцы, французы, швейцарцы, шведы. Онъ приводитъ далѣе слѣдующія слова бретонскаго ученаго Деласала:

„Крайне замѣчательно это постоянное вниманіе народа къ Вѣчному Жиду: народъ, зачастую самъ голодая, снабжаетъ его, въ своихъ пѣсняхъ, всѣмъ необходимымъ; народъ, самъ ничего не пилъ, обезпечилъ ему его динарій на вѣки вѣчныя; народъ, часто самъ босой и едва прикрытый рубищемъ, даетъ ему въ своихъ изображеніяхъ хорошую одежду и обувь.“

Изъ всѣхъ народныхъ пѣсней (*complaintes*) о Вѣчномъ Жидѣ Шанфлери самую распространенною считаетъ пѣснь, появившуюся уже въ XVII вѣкѣ въ Бордо и громадную ея популярность приписываетъ именно тому, что въ ней впервые упоминается о вѣчномъ динаріѣ.

Затѣмъ, рассматривая новѣйшія воспроизведенія преданія, авторъ отдаетъ пѣснѣ Беранже рѣшительное предпочтеніе передъ всѣми.

Беранже — говоритъ онъ — понялъ какъ нельзя лучше чувства народа и этимъ вполне объясняется энтузіазмъ къ его пѣснямъ, который неоднократно выражалъ Гете въ своихъ *Besprechungen* (*Conversations*) съ Эккерманомъ.

Неизвѣстно, знали ли Беранже, напримѣръ, фламандскій вариантъ пѣсни, въ которомъ Вѣчный Жидъ вспоминаетъ впервые съ глубокою скорбью о своей женѣ и ребенкѣ или пятая строфа пѣсни Беранже представляетъ простое совпаденіе мысли; во всякомъ случаѣ это вѣчное воспоминаніе объ утраченномъ семейномъ счастьи прибавляетъ чисто народную черту въ преданіи.

Но самое главное, не увлекаясь подробностями, Беранже пользуется преданіемъ для проведенія въ своей пѣснѣ идеи гуманности и братства.

Гдѣ бы ни проходилъ Вѣчный Жидъ, онъ вездѣ отдаетъ свой вѣчный динарій просящему брату.

Этою идеею въ шестидесятыхъ годахъ воспользовался неизвѣстный народный художникъ въ Эльзасѣ. Въ картинѣ его (въ родѣ нашихъ народныхъ картинъ) помѣщена вся пѣснь о Вѣчномъ Жидѣ изображеніями и текстомъ. На верху раскрытое евангеліе, въ которомъ написано крупными буквами: „толцате и от-

верзится", внизу изображенъ Вѣчный Жидъ, бросающій свой денарій въ шляпу нищаго.

Страданія его должны кончиться—онъ спасенъ. Самый тяжкій грѣхъ отпустится ему за его милосердіе.

Шанфлери видитъ настоящій, современный и народный смыслъ преданія именно въ этомъ очистительномъ дѣйствіи милосердія.

Таже мысль, въ иной формѣ, выражена Беранже въ пѣснѣ „Les deux soeurs de charité“ съ припѣвомъ:

Dieu lui-même

Ordonne qu'on aime.

Je vous le dis en vérité:

Sauvez vous par la charité.

„Самъ Богъ повелѣваетъ любить. Истинно говорю вамъ: спасайтесь милосердіемъ.“

В. Е.

СТИХОТВОРЕНІЯ Я. П. ПОЛОНСКАГО.

I.

Мой умъ подавленъ былъ тоской,
Мои глаза безъ слезъ горѣли;
Надъ озеромъ сплетались ели,
Чернѣлъ камышъ,—сквозили щели,
Изъ мрака къ свѣту надъ водой.

И много, много звѣздъ мерцало;
Но въ сердце мнѣ ночная мгла
Холодной дрожью проникала,
Мнѣ видѣлось такъ мало, мало
Лучей любви надъ бездною зла!

II.

Блаженъ озлобленный поэтъ,
Будь онъ хоть нравственный калѣка,
Ему вѣнцы, ему привѣтъ
Дѣтей озлобленнаго вѣка.

Онъ какъ титанъ колеблеть тьму,
Ища то выхода, то свѣта,
Не людямъ вѣрить онъ—уму,
И отъ боговъ не ждетъ отвѣта.

Своимъ пророческимъ стихомъ
Тревожа сонъ мужей солидныхъ,
Онъ самъ страдаетъ подъ ярмомъ
Противорѣчій очевидныхъ.

Всѣмъ пыломъ сердца своего
Любя, онъ маски не выносить,
И покупнаго ничего
Въ замѣну счастья не просить.

Ядъ въ глубинѣ его страстей,
Спасенье—въ силѣ отрицанья,
Въ любви—зародыши идей,
Въ идеяхъ—выходъ изъ страданья.

Невольный крикъ его—нашъ крикъ,
Его пороки наши, наши!
Онъ съ нами пьетъ изъ общей чаши,
Какъ мы отравленъ—и великъ.

III.

Молчи, минутнаго покоя не тревожь!
Не говори, что—сплинъ!
Вѣдь безнаказанно и ты не доживешь
До роковыхъ сѣдинъ.
Все то, что радуетъ тебя своимъ раздвѣтомъ,
Въ туманахъ осени погибнетъ вмѣстѣ съ лѣтомъ.

Настануть дни, когда пріятелей своихъ

Знакомыя черты

Припоминая, ты сочтешь надъ прахомъ ихъ

Забытые кресты.

И будутъ ихъ сердца, ихъ суетныя силы

Не нужны для тебя, иль нѣмы какъ могилы.

Сойдешься-ль ты опять случайно, гдѣ нибудь,

Съ подругой свѣтлыхъ дней,

Чьи взгляды жгутъ тебя, чья молодая грудь

Блаженныхъ ждетъ ночей,—

Морщины встрѣтишь ты, да высохшія плечи,

Въ глазахъ—тупой вопросъ, въ устахъ—пустыя рѣчи.

Сойдешься-ль съ юношей, который въ цвѣтъ лѣтъ,

Исполненный надеждъ,

Такъ благородно-смѣлъ, такъ счастливъ, что прослылъ

Бойцомъ среди невѣждъ —

И встрѣтишь, можетъ быть, ханжу иль бюрократа,

Которому одно начальство только свято.

Ребенка-ль милаго захочешь встрѣтить ты,

Котораго ласкалъ,

Который матери прелестныя черты

Тебѣ напоминалъ —

И встрѣтишь взрослого болвана, или злаго

Лстеца-предателя, душѣ твоей чужаго.

Надежда-ль на успѣхъ волнуешь грудь твою—

Или, стремясь впередъ,

Ты, какъ за кровную, всѣмъ общую семью,

Хлопочешь за народъ —

И вдругъ увидишь: все, что нынѣ къ свѣту рвется,

Попытится назадъ, простынетъ иль уймется.

А сколько злыхъ измѣнъ, вражды, насмѣшекъ, слезъ
 Ты встрѣтишь? не сочтешь!....
 Нѣтъ, безнаказанно, братъ, до сѣдыхъ волосъ
 И ты не доживешь.
 Путь долгой жизни есть путь въ жизни безнадежной—
 Таковъ законъ судьбы....

Ужели неизбежный?

IV.

ИЗЪ ВУРДИЛЬЕНА.

„The night has a thousand eyes.“

Ночь смотреть тысячами глазъ,
 А день глядитъ однимъ;
 Но солнца нѣтъ—и по землѣ
 Тьма стелется какъ дымъ.

Умъ смотреть тысячами глазъ,
 Любовь глядитъ однимъ;
 Но нѣтъ любви—и гаснетъ жизнь,
 И дни плывутъ какъ дымъ. *

Я. Полонскій.

* Стихотвореніе это было напечатано въ англійскомъ журналѣ «Spectator» 1873 г. № 2365.—Въ томъ же журналѣ вновь перепечатано съ переводами, присланными изъ Франціи и Германіи.—Затѣмъ, безъ подписи автора, стало появляться въ американскихъ изданіяхъ. Я перевелъ его какъ умѣлъ. Я. П.

ЖИВЫЯ МОЩИ.

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ «ЗАПИСОКЪ ОХОТНИКА». *

Край родной долготерпѣнья—
Край ты русскаго народа!

Ө. Тютчевъ.

Французская поговорка гласить: «сухой рыбакъ и мокрый охотникъ являютъ видъ печальный». Не имѣвъ никогда пристрастїя къ рыбной ловлѣ, я не могу судить о томъ, что испытываетъ рыбакъ въ хорошую ясную погоду и на сколько, въ ненастное время, удовольствїе, доставляемое ему обильной добычей, перевѣшиваетъ непрїятность быть мокрымъ. Но для охотника дождь — сущее бѣдствїе. Именно такому бѣдствїю подверглись мы съ Ермолаемъ въ одну изъ нашихъ поѣздокъ за тетеревами въ Бѣлевскій уѣздъ. — Съ самой утренней зари дождь не переставалъ. Ужъ чего-чего мы ни дѣлали, чтобы отъ него избавиться! И резинковые плащики чуть не на са-

* Разсказъ этотъ полученъ Я. П. Полонскимъ, для передачи въ сборникъ, при слѣдующемъ письмѣ Н. С. Тургенева:

«Любезный Яковъ Петровичъ! Желая внести свою лепту въ «Складчину», и не имѣя ничего готоваго, сталъ я рыться въ своихъ старыхъ бумагахъ и отыскалъ прилагаемый отрывокъ изъ «Записокъ Охотника», который прошу тебя препроводить по принадлежности. — Всѣхъ ихъ напечатано двадцать-два, но заготовлено было около тридцати. Иные очерки остались недоконченными изъ опасенїа, что цензура ихъ не пропуститъ; другїе — потому что показались мнѣ не довольно интересными или нейдущими къ дѣлу. Къ числу послѣднихъ принадлежитъ и набросокъ, озаглавленный «Живыя

мую голову надѣвали, и подъ деревья становились, чтобы поменьше капало... Непромокаемые плащики, не говоря уже о томъ, что мѣшали стрѣлять, пропускали воду самымъ безстыднымъ образомъ; а подъ деревьями — точно, на первыхъ порахъ, какъ будто и не капало, но потомъ вдругъ накопившаяся въ листьѣ влага прорывалась, каждая вѣтка обдавала насъ какъ изъ дождевой трубы, холодная струйка забиралась подъ галстукъ и текла вдоль спиннаго хребта.... А ужъ это послѣднее дѣло! какъ выражался Ермолай. Нѣтъ, Петръ Петровичъ, воскликнулъ онъ наконецъ. Эдакъ нельзя!.. Нельзя сегодня охотиться. Собакамъ *чучье* заливаешь, ружья осѣкаются... Тьфу! Задача!

— Что же дѣлать? спросилъ я.

— А вотъ что. — Поѣдемъ-те въ Алексѣевку. Вы можете не знаете — хуторокъ такой есть, — матушкѣ вашей принадлежить; отсюда верстъ восемь. Переночуемъ тамъ, а завтра...

— Сюда вернемся?

Моши.—Конечно мнѣ было бы пріятнѣе прислать что нибудь болѣе значительное; но чѣмъ богатъ—тѣмъ и радъ. Да и сверхъ того, указаніе на «долготерпѣніе» нашего народа, быть можетъ, не вполне неумѣстно въ изданіи подобномъ «Складчипъ».

«Естаті, позволъ разсказать тебѣ анекдотъ, относящійся тоже къ голодному времени у насъ на Руси. Въ 1841 году, какъ извѣстно, Тульская и смежныя съ ней губерніи чуть не вымерли поголовно. Нѣсколько лѣтъ спустя, проѣзжая съ товарищемъ по этой самой Тульской губерніи, мы становились въ деревенскомъ трактирѣ и стали пить чай. Товарищъ мой принялся разсказывать, не помню какой, случай изъ своей жизни, и упомянулъ о человѣкѣ, умиравшемъ съ голоду и «худомъ, какъ скелетъ». —Позвольте, баринъ, доложить, виѣшался старикъ хозяинъ, присутствовавшій при нашей бесѣдѣ: «отъ голода не худѣють, а пухнуть». — «Какъ такъ?» — «Да такъ-же-съ; человекъ пухнетъ, отекаетъ весь-какъ склянка (яблоко такое бываетъ). Вотъ и мы въ 1841 году всѣ пухлые ходили». — «А! въ 1841 году!» подхватилъ я. «Страшное было время?» — «Да, батюшка, страшное». — «Ну и что?» спросилъ я: «были тогда безпорядки, грабежи?» — «Какіе батюшка, безпорядки?» возразилъ съ изумленіемъ старикъ: «Ты и такъ Богомъ наказанъ, а тутъ ты еще грѣшить становишь?»

«Мнѣ кажется, что помогать такому народу, когда его постигаетъ несчастіе, священный долгъ каждаго изъ насъ. —Прими и т. д. Иванъ Тургеневъ.»

«Шарикъ 25 января 1874.»

— Нѣтъ, не сюда..... Мнѣ за Алексѣевею мѣста извѣстны..... многимъ лучше здѣшнихъ для тетеревовъ!

Я не сталъ разспрашивать моего вѣрнаго спутника, зачѣмъ онъ не повезъ меня прямо въ тѣ мѣста, и въ тотъ же день мы добрались до матушкина хуторка, существованія котораго я, признаться сказать, и не подозрѣвалъ до тѣхъ поръ. При этомъ хуторекъ оказался флигелекъ, очень ветхій, но нежилой и потому чистый; я провелъ въ немъ довольно спокойную ночь.

На слѣдующій день я проснулся ранѣхонько. Солнце только что встало; на небѣ не было ни одного облачка; все кругомъ блестяло сильнымъ, двойнымъ блескомъ: блескомъ молодыхъ утреннихъ лучей и вчерашняго ливня. — Пока мнѣ закладывали таратайку, я пошелъ побродить по небольшому, нѣкогда фруктовому, теперь одичалому саду, со всѣхъ сторонъ обступившему флигелекъ своей пахучей, точной глушью. Ахъ, какъ было хорошо на вольномъ воздухѣ, подъ яснымъ небомъ, гдѣ трепетали жаворонки, откуда сыпался серебряный бисеръ ихъ звонкихъ голосовъ! На крыльяхъ своихъ они навѣрно унесли капли росы, и пѣсни ихъ казались орошенными росой. Я даже шапку снялъ съ головы и дышалъ радостно—всею грудью... На склонѣ неглубокаго оврага, возлѣ самаго плетня, видѣлась пасѣка; узенькая тропинка вела къ ней, извиваясь змѣйкой между сплошными стѣнами бурьяна и крапивы, надъ которыми высились, Богъ вѣдаетъ откуда занесенные, остроконечные стебли темнозеленой конопли.

Я отправился по этой тропинкѣ; дошелъ до пасѣки. Рядомъ съ нею стоялъ плетеный сарайчикъ, такъ называемый амшаникъ, куда ставятъ улья на зиму. Я заглянулъ въ полуоткрытую дверь: темно, тихо, сухо; пахнетъ мятой, мелиссой. Въ углу приспособлены подмостки и на нихъ, прикрытая одѣяломъ, какая-то маленькая фигура... Я пошелъ было прочь...

— Баринъ, а баринъ! Петръ Петровичъ! — слышался мнѣ голосъ, слабый, медленный и сильный, какъ шепестъ болотной осоки.

Я остановился.

— Петръ Петровичъ! Подойдите, пожалуйста! повторилъ голосъ. Онъ доносился до меня изъ угла съ тѣхъ, замѣченныхъ мною, подмостковъ.

Я приблизился — и остолебѣлъ отъ удивленія. Передо мною лежало живое человѣческое существо, но что это было такое?

Голова совершенно высохшая, одноцвѣтная, бронзовая, — ни дать ни взять — икона стариннаго письма; носъ узкій, какъ лезвье ножа; губъ почти не видать, — только зубы бѣлѣютъ и глаза, да изъ-подъ платка выбиваются на лобъ жидкія пряди желтыхъ волосъ. У подбородка, на складѣхъ одѣяла, движутся, медленно перебирая пальцами какъ палочками, двѣ крошечныя руки то же бронзоваго цвѣта. Я вглядываюсь попристальнѣе: лицо не только не безобразное, даже красивое, — но страшное, необычайное. И тѣмъ страшнѣе кажется мнѣ это лицо, что по немъ, по металлическимъ его щекамъ, я вижу — силится... силится и не можетъ расплыться улыбка.

— Вы меня не узнаете, баринъ? — прошепталъ опять голосъ; онъ словно испарился изъ едва шевелившихся губъ. — Да и гдѣ узнать! — Я Лукерья... Помните, чтѣ хороводы у матушки у вашей въ Спаскомъ водила... помните, я еще запѣвакой была?

— Лукерья! воскликнулъ я. — Ты ли это? Возможно-ли?

— Я, да, баринъ, — я. Я — Лукерья,

Я не зналъ, что сказать, и какъ ошеломленный глядѣлъ на это темное, неподвижное лицо съ устремленными на меня свѣтлыми и мертвенными глазами. Возможно-ли? Эта мумія — Лукерья, первая красавица во всей нашей дворнѣ, — высокая, полная, бѣлая, румяная, — хохотунья, пласунья, пѣвунья! Лукерья, умница Лукерья, за которою ухаживали всѣ наши молодые парни, по которой я самъ втайнѣ вздыхалъ, я — шестнадцатилѣтній мальчикъ!

— Помилуй, Лукерья, проговорилъ я наконецъ, — что это съ тобой случилось?

— А бѣда такая страшась! Да вы не побрезгуйте, баринъ, не погнушайтесь несчастіемъ моимъ, — садьте вонъ на кадушечку — поближе, а то вамъ меня не слышно будетъ.... вишь я какая голо-систая стала!... Ну, ужъ и рада же я, что увидала васъ! Какъ это вы въ Алексѣевку попали?

Лукерья говорила очень тихо и слабо, но безъ остановки.

— Меня Ермолай-охотникъ сюда завезъ. Но Расскажи же ты мнѣ...

— Про бѣду-то мою разсказать? — Извольте, баринъ. — Случилось это со мной уже давно, лѣтъ шесть или семь. Меня тогда только-что помолвили за Василя Полякова — помните, такой изъ себя статный былъ, кудравый, — еще буфетчикомъ у матушки у вашей служилъ? Да васъ уже тогда въ деревнѣ не было; въ Москву уѣхали учиться. — Очень мы съ Василюмъ слюбились; изъ головы онъ у меня не выходилъ; а дѣло было весною. Вотъ разъ ночью.... ужъ и до зари недалеко... а мнѣ не спится: соловей въ саду таковъ удивительно поетъ, сладко!... Не вытерпѣла я, встала и вышла на крыльцо его послушать. Заливается онъ, заливается.... и вдругъ мнѣ почудилось: зоветъ меня кто-то Васинимъ голосомъ, тихо такъ: — Луша!.. Я глядъ всторону, да знать съ просонья — оступилась, таеъ прямо съ рундучка и полетѣла внизъ — да о землю хлопъ! И, кажись, не сильно я расшиблась, потому — скоро поднялась и къ себѣ въ комнату вернулась. Только словно у меня что внутри — въ утробѣ — порвалось... Дайте духъ перевести... съ минуточку... баринъ.

Лукерья умолкла, а я съ изумленіемъ глядѣлъ на нее. Изумляло меня собственно то, что она разсказъ свой вела почти весело, безъ оховъ и вздоховъ, нисколько не жалуясь и не напрашиваясь на участіе.

— Съ самаго того случая, продолжала Лукерья, стала я сохнуть, чахнуть; чернота на меня нашла; трудно мнѣ стало ходить, а тамъ уже — полно и ногами владѣть; ни стоять, ни сидѣть не могу; все бы лежала. И ни пить, ни ѣсть не хочется; все хуже, да хуже. Матушка ваша по добротѣ своей и лекарямъ меня показывала, и въ больницу посылала. Однако облегченья мнѣ никакого не вышло. И ни одинъ лекарь даже сказать не могъ, что за болѣзнь у меня за такая. Чего они со мной только ни дѣлали: желѣзомъ раскаленнымъ спину жгли, въ колотый ледъ сажали — и все ничего. Совсѣмъ я окостенѣла подъ-конецъ.... Вотъ и порѣшили господа, что лечить меня больше нечего, а въ барскомъ домѣ держать калѣкъ неспособно.... ну, и переслали меня сюда — потому тутъ у меня родственники есть. Вотъ я и живу, какъ видите.

Лукерья опять умолкла и опять усилилась улыбнуться.

— Это однакоже ужасно, твое положеніе! воскликнулъ я.... и не зная, что прибавить, спросилъ: а что же Поляковъ Василій?—Очень глупъ былъ этотъ вопросъ.

Лукерья отвела глаза немного всторону,

— Что Поляковъ? — Потужилъ, потужилъ — да и женился на другой, на дѣвушкѣ изъ Глиннаго. Знаете Глинное? Отъ насъ недалеко. Аграфеной ее звали. Очень онъ меня любилъ, — да вѣдь человѣкъ молодой — не оставаться же ему холостымъ. И какая ужъ я ему могла быть подруга? А жену онъ нашелъ себѣ хорошую, добрую, — и дѣтки у нихъ есть. Онъ тутъ у сосѣда въ прикащикахъ живетъ: матушка ваша по пачпорту его отпустила, и очень ему, слава Богу, хорошо.

— И такъ, ты все лежишь да лежишь? спросилъ я опять.

— Вотъ такъ и лежу, баринъ, седьмой годокъ. Лѣтомъ-то я здѣсь лежу, въ этой плетушкѣ, а какъ холодно станетъ — меня въ предбанникъ перенесутъ. Тамъ лежу.

— Кто же за тобой ходить? Присматриваетъ кто?

— А добрые люди здѣсь есть тоже. Меня не оставляютъ. Да и ходьбы за мной немного. Ёсть-то почитай что не ѣмъ ничего, а вода — вонъ она въ кружкѣ-то: всегда стоитъ припасенная, чистая, ключевая вода. До кружки-то я сама дотянуться могу: одна рука у меня еще дѣйствовать можетъ. Ну, дѣвочка тутъ есть сиротка; нѣтъ, нѣтъ — да и навѣдается, спасибо ей. Сейчасъ тутъ была..... Вы ее не встрѣтили? Хорошенькая такая, бѣленькая. Она цвѣты мнѣ носитъ; большая я до нихъ охотница, до цвѣтовъ - то. Садовыхъ у насъ нѣтъ, — были да перевелись. Но вѣдь и полевые цвѣты хороши; пахнутъ еще лучше садовыхъ. Вотъ хоть бы ландышъ... на что пріятнѣе!

— И не скучно, не жутко тебѣ, моя бѣдная Лукерья?

— А что будешь дѣлать? Лгать не хочу — сперва очень томно было; а потомъ привыкла, обтерпѣлась — ничего; инымъ еще хуже бываетъ.

— Это какимъ же образомъ?

— А у иного и пристанища нѣтъ! А иной — слѣпой или глухой! А я, слава Богу, вижу прекрасно и все слышу, все. Броть

подъ землею роется — я и то слышу. И запахъ я всякій чувствовать могу, самый какой ни на есть слабый! Гречиха въ полѣ зацвѣтетъ или липа въ саду — мнѣ и сказывать не надо: я первая сейчасъ слышу. Лишь бы вѣтеркомъ оттуда потянуло. Нѣтъ, что Бога гнѣвить? — многимъ хуже моего бываетъ. Хоть бы то взять: иной здоровый человѣкъ очень легко согрѣшить можетъ; а отъ меня самъ грѣхъ отошелъ. Намеднисъ отецъ Алексѣй, священникъ, сталъ меня причащать, да и говорить: тебя, моля, исповѣдывать нечего: развѣ ты въ твоёмъ состояніи согрѣшить можешь? — Но я ему отвѣтила: а мысленный грѣхъ, батюшка? — Ну, говорить, а самъ смѣется — это грѣхъ не великій.

— Да я, должно быть, и этимъ самымъ, мысленнымъ грѣхомъ не больно грѣшна, продолжала Лукерья, — потому я такъ себя приучила: не думать, а пуще того — не вспоминать. Время скорѣй проходить.

Я, признаюсь, удивился. — Ты все одна да одна, Лукерья; какъ же ты можешь помѣшать, чтобы мысли тебѣ въ голову не шли? Или ты все спишь?

— Ой-нѣтъ, баринъ! Спать-то я не всегда могу. Хоть и большихъ болей у меня нѣтъ, а ноетъ у меня тамъ, въ самомъ нутрѣ, и въ костяхъ тоже; не даетъ спать, какъ слѣдуетъ. Нѣтъ.... а такъ лежу я себѣ, лежу полеживаю — и не думаю; чую, что жива, дышу — и вся я тутъ. Смотрю, слушаю. Пчелы на пасѣкѣ жужжать да гудятъ; голубъ на крышу садеть и заворкуетъ; курочка-наседочка зайдетъ съ пылятами крошекъ поклевать; а то воробей залетитъ или бабочка — а мнѣ очень приятно. Въ позапрошломъ году такъ даже ласточки вонъ тамъ въ углу гнѣздо себѣ свили и дѣтей вывели. Ужъ какъ же оно было занято! — Одна влетитъ, къ гнѣздышкѣ припадетъ, дѣтокъ накормитъ — и вонъ. Глядишь — ужъ на смѣну ей другая. Иногда не влетитъ, только мимо раскрытой двери пронесется, а дѣтки тотчасъ — ну пищать, да клювы раззѣвать.... Я ихъ и на слѣдующій годъ поджидала, да ихъ, говорятъ, одинъ здѣшній охотникъ изъ ружья застрѣлилъ. И на что покорытился? Вся-то она, ласточка, не больше жука... Какіе вы, господа охотники, злое!

— Я ласточекъ не стрѣляю, поспѣшилъ я замѣтить.

— А то разъ, начала опять Лукерья, вотъ смѣху-то было! Заяцъ забѣжалъ, право! Собаки что-ли за нимъ гнались, — только онъ прямо въ дверь какъ прикатить!... Сѣлъ близехонько — и долго такъ сидѣлъ, — все носомъ водилъ и усами дергалъ — настоящій офицеръ! И на меня смотрѣлъ. Понялъ, значить, что я ему не страшна. Наконецъ, всталъ, прыгъ-прыгъ къ двери, на порогъ оглянулся — да и былъ таковъ! Смѣшной такой!

Лукерья взглянула на меня... аль, молъ, не забавно? Я, въ угоду ей, посмѣялся. Она покусала пересохшія губы.

— Ну, знаю, конечно, мнѣ хуже: потому — темно; свѣчку зажечь жалко, да и къ чему? Я хоть грамотѣ знаю и читать завсегда охоча была, но что читать? Книгъ здѣсь нѣтъ никакихъ, да хоть бы и были, какъ я буду держать ее, книгу-то? Отецъ Алексѣй мнѣ, для развѣянности, принесъ календарь; да видѣть, что пользы нѣтъ, взялъ да унесъ опять. Однако, хоть и темно, а все слушать есть что: сверчокъ затрещить, али мышь гдѣ скрестись станетъ. — Вотъ тутъ-то хорошо: не думать!

— А то я молитвы читаю, продолжала, отдохнувъ немного, Лукерья. Только немного я знаю ихъ, этихъ самыхъ молитвъ. Да и на что я стану Господу Богу наскучать? О чемъ я его просить могу? Онъ лучше меня знаетъ, чего мнѣ надобно. Послалъ онъ мнѣ крестъ — значить меня онъ любить. Такъ намъ велѣно это понимать. Прочту Отче Нашъ, Богородицу, акакистъ Всѣмъ Скорбящимъ, — да и опять полеживаю себѣ безо всякой думочки. И ничего!

Прошло минуты двѣ. Я не нарушалъ молчанья и не шевелился на узенькой кадучкѣ; служившей мнѣ сидѣньемъ. Жестокая, каменная неподвижность лежавшаго передо мною живаго, несчастнаго существа сообщилась и мнѣ: я тоже словно оцѣпенѣлъ.

— Послушай, Лукерья, началъ я наконецъ. Послушай, какое я тебѣ предложеніе сдѣлаю. Хочешь, я распоряжусь: тебя въ больницу перевезутъ, въ хорошую городскую больницу? Кто знаетъ, быть можетъ, тебя еще вылечатъ? Во всякомъ случаѣ ты одна не будешь...

Лукерья чуть-чуть двинула бровями. — Охъ, нѣтъ, баринъ промолвила она озабоченнымъ шопотомъ, не переводите меня въ больницу,

не трогайте меня. Я тамъ только больше муки приму. — Ужъ куда меня лечить!... Вотъ такъ-то разъ докторъ сюда прїѣзжалъ; осматривать меня захотѣлъ. Я его прошу: не тревожьте вы меня, Христа ради. Куда! переворачивать меня сталъ, руки, ноги разминалъ, разгибалъ; говорить: это я для учености дѣлаю; на то я служащій человекъ, ученый! И ты, говорить, не моги мнѣ противиться, потому что мнѣ за мои труды орденъ на шею данъ, и я для васъ же, дураковъ, стараюсь. Потормошилъ, потормошилъ меня, назвалъ мнѣ мою болѣзнь — мудрено такое — да съ тѣмъ и уѣхалъ. А у меня потомъ цѣлую недѣлю всѣ косточки ныли. Вы говорите: я одна бываю, всегда одна. Нѣтъ, не всегда. Ко мнѣ ходятъ. Я смирная — не мѣшаю. Дѣвушки крестьянскія зайдутъ, погудоторятъ; странница забредетъ, станетъ про Іерусалимъ рассказывать, про Кіевъ, про святые города. Да мнѣ и не страшно одной быть. Даже лучше, ей, ей!... Баринъ, не трогайте меня, не возите въ больницу... Спасибо вамъ, вы добрый, только не трогайте меня, голубчикъ.

— Ну, какъ хочешь, какъ хочешь, Лукерья. Я вѣдь для твоей же пользы полагаю....

— Знаю, баринъ, что для моей пользы. Да, баринъ, милый, кто другому помочь можетъ? Кто ему въ душу войдетъ? Самъ себѣ человекъ помогай! Вы вотъ не повѣрите — а лежу я иногда такъ-то одна.... и словно никого въ цѣломъ свѣтѣ кромѣ меня нѣту. Только одна я — живая! И чудится мнѣ, будто что меня осѣнить.... Возьметъ меня размышленіе — даже удивительно!

— О чемъ же ты тогда размышляешь, Лукерья?

— Этого, баринъ, тоже никакъ нельзя сказать; не растолкуешь. Да и забывается оно потомъ. Придетъ словно какъ тучка, пролетится, свѣжо такъ, хорошо станеть, а что такое было — не поймешь! Только думается мнѣ: будь около меня люди — ничего бы этого не было и ничего бы я не чувствовала, окромя своего несчастья.

Лукерья вздохнула съ трудомъ. Грудь ей не повиновалась, также, какъ и остальные члены.

— Какъ погляжу я, баринъ, на васъ, начала она снова, очень вамъ меня жалко. А вы меня не слишкомъ жалѣйте, право! Я вамъ, наприимѣръ, что скажу: я иногда и теперь.... Вы вѣдь помните, ка-

кая я была въ свое время веселая? Бой-дѣвка!.... знаете что? Я и теперь пѣсни пою.

— Пѣсни?... Ты?

— Да, пѣсни, старня пѣсни, хороводныя, подблюдныя, святочныя, всякія! Много я ихъ вѣдь знала и не забыла. Только вотъ плясовыхъ не пою. Въ теперешнемъ моемъ званіи — оно не годится

— Какъ же ты поешь ихъ..... про себя?

— И про себя, и голосомъ. Громко-то не могу, а все — понять можно. Вотъ я вамъ сказывала — дѣвочка ко мнѣ ходитъ. Сиротка, значить, понятливая. Такъ вотъ я ее выучила; четыре пѣсни она уже у меня переняла. Аль не вѣрите? Постоите, я вамъ сейчасъ...

Лукерья собралась съ духомъ.... Мысль, что это полумертвое существо готовится запѣть, возбудила во мнѣ невольный ужасъ. Но прежде, чѣмъ я могъ промолвить слово, — въ ушахъ моихъ задрожалъ протяжный, едва слышимый, но чистый и вѣрный звукъ... за нимъ послѣдовалъ другой, третій. «Во лугахъ» пѣла Лукерья. Она пѣла, не измѣнивъ выраженія своего окаменѣлаго лица, уставивъ даже глаза. Но такъ трогательно звенѣлъ этотъ бѣдный, усиленный, какъ струйка дыма колебавшійся голосокъ, такъ хотѣлось ей всю душу вылить..... Уже не ужасъ чувствовалъ я: жалость несказанная стиснула мнѣ сердце.

— Охъ, не могу, проговорила она вдругъ, — силушки не хватаетъ... Очень ужъ я вамъ обрадовалась.

Она закрыла глаза.

Я положилъ руку на ея крошечные, холодные пальчики... Она взглянула на меня — и ея темныя вѣки, опущенныя золотистыми рѣсницами, какъ у древнихъ статуй, закрылись снова. Спустя мгновеніе, онѣ заблестали въ полутьмѣ... Слеза ихъ смочила.

Я не шевелился по прежнему.

— Экая я! проговорила вдругъ Лукерья съ неожиданной силой, и раскрывъ широко глаза, постаралась смирнуть съ нихъ слезу. — Не стыдно ли? Чего я? Давно этого со мной не случилось.... съ самаго того дня, какъ Поляковъ Вася у меня былъ прошлой весной. Пока онъ со мной сидѣлъ да разговаривалъ — ну, ничего; а какъ ушелъ онъ — поплакала я таки въ одиночку! Откуда бралось!.. Да

вѣдь у нашей сестры слезы некупленыя.—Баринъ, прибавила Лукерья, чай у васъ платочекъ есть.... Не побрезгуйте, утрите мнѣ глаза.

Я поспѣшилъ исполнить ея желаніе — и платокъ ей оставилъ. Она сперва отказывалась... на что, молъ, мнѣ такой подарокъ? Платокъ былъ очень простой, но чистый и бѣлый. Потомъ она схватила его своими слабыми пальцами и уже не разжала ихъ болѣе. Привыкнувъ къ темнотѣ, въ которой мы оба находились, я могъ ясно различить ея черты, могъ даже замѣтить тонкій румянецъ, проступившій сквозь бронзу ея лица, могъ открыть въ этомъ лицѣ, такъ по крайней мѣрѣ мнѣ казалось, — слѣды его бывалой красоты.

— Вотъ вы, баринъ, спрашивали меня, заговорила опять Лукерья, — сплю-ли я? Сплю я точно рѣдко, но всякій разъ сны вижу; хорошіе сны! Никогда я больной себя не вижу: такая я всегда во снѣ здоровая да молодая... Одно горе: проснусь я — потянуться хочу хорошенько — анъ я вся, какъ скованная. Разъ мнѣ какой чудный сонъ приснился! Хотите, расскажу вамъ?—Ну, слушайте.—Вижу я, будто стою я въ полѣ, а кругомъ рожь, такая высокая, спѣлая, какъ золотая!... И будто со мной собачка рыженькая, злющая-презлющая — все укусить меня хочетъ. И будто въ рукахъ у меня серпъ, и не простой серпъ, а самый какъ есть мѣсяцъ, вотъ когда онъ на серпъ похожъ бываетъ. И этимъ самымъ мѣсяцемъ должна я эту самую рожь сжать до-чиста. Только очень меня отъ жары растомило, и мѣсяцъ меня слѣпить, и лѣнь на меня нашла; а кругомъ васильки растутъ, да такіе крупные! И всѣ ко мнѣ головками повернулись. И думаю я: нарву я этихъ васильковъ; Вася придти общался — такъ вотъ я себѣ вѣнокъ сперва совью; жать-то я еще успѣю. Начинаю я рвать васильки, а они у меня промежъ пальцевъ таютъ да таютъ, хоть ты что! И не могу я себѣ вѣнокъ свить. А между тѣмъ я слышу — кто-то ужъ идетъ ко мнѣ, близко таково, и зоветъ: Луша! Луша!.... Ай, думаю, бѣда — не успѣла! Все равно, надѣну я себѣ на голову этотъ мѣсяцъ замѣсто васильковъ. Надѣваю я мѣсяцъ, ровно какъ кокошникъ, и такъ сама сейчасъ вся засіяла, все поле кругомъ освѣтила. Глядь — по самымъ верхушкамъ колосьевъ катить ко мнѣ скорехонько — только не Вася — а самъ Христосъ! И почему я узнала, что это Христосъ —

сказать не могу,—такимъ его не пишутъ,—а только онъ! Безбородый, высокій, молодой, весь въ бѣломъ, — только поясъ золотой, — и ручку мнѣ протягиваетъ. — «Не бойся, говоритъ, невѣста моя разубранная, ступай за мною; ты у меня въ царствѣ небесномъ хороводы водить будешь и пѣсни играть райскія». — И я къ его ручкѣ какъ прильну! — собачка моя сейчасъ меня за ноги... Но тутъ онъ взвился! Онъ впереди... Крылья у него по всему небу развернулись, длинныя, какъ у чайки, — и я за нимъ! И собачка должна отстать отъ меня. Тутъ только я поняла, что эта собачка — болѣзнь моя и что въ царствѣ небесномъ ей уже мѣста не будетъ.

Лукерья умолкла на минуту.

— А то еще видѣла я сонъ, начала она снова, а быть можетъ это было мнѣ видѣніе — я ужъ и не знаю. Почудилось мнѣ, будто я въ самой этой плетушкѣ лежу и приходятъ ко мнѣ мои покойные родители — батюшка да матушка — и кланяются мнѣ низко, а сами ничего не говорятъ. И спрашиваю я ихъ: зачѣмъ вы, батюшка и матушка, мнѣ кланяетесь? А за тѣмъ, говорятъ, что такъ какъ ты на семь свѣтѣ много мучишься, то не одну ты свою душечку облегчила, но и съ насъ большую тягу сняла. И намъ на томъ свѣтѣ стало много способнѣе. Со своими грѣхами ты уже покончила; теперь наши грѣхи побѣждаешь. И сказавши это родители мнѣ опять поклонились — и не стало ихъ видно: однѣ стѣны видны. Очень я потомъ сомнѣвалась, что это такое со мною было. Даже батюшкѣ на духу рассказала. Только онъ такъ полагаетъ, что это было не видѣніе, потому что видѣнія бываютъ одному духовному чину.

— А то вотъ еще какой мнѣ былъ сонъ, продолжала Лукерья. — Вижу я, что сижу я эдакъ будто на большой дорогѣ подъ ракитой, палочку держу оструганную, котомка за плечами и голова платкомъ окутана — какъ есть странница! И идти мнѣ куда-то далеко-далеко на богомолье. И проходить мимо меня все странники; идутъ они тихо, словно нехотя, все въ одну сторону; лица у всѣхъ унылыя и другъ на дружку всѣ очень похожи. И вижу я: вьется, мечется между ними одна женщина, цѣлой головой выше другихъ, и платье на ней особенное, словно не наше, не русское. И лицо тоже особенное, постное лицо, строгое. И будто всѣ другіе отъ нея сторонятся;

а она вдругъ вертъ — да прямо ко мнѣ. Остановилась и смотреть; а глаза у ней, какъ у сокола, желтые, большіе и свѣтлые-пресвѣтлые. И спрашиваю я ее: кто ты? — А она мнѣ говоритъ: «Я смерть твоя». Мнѣ чтобы испугаться, а я напротивъ — рада-радехонька, крещусь! И говоритъ мнѣ та женщина, смерть моя: «Жаль мнѣ тебя, Лукерья, — но взять я тебя съ собою не могу. — Прощай!» Господи! какъ мнѣ тутъ грустно стало!... «Возьми меня», говорю, «матушка, голубушка, возьми!» — И смерть моя обернулась ко мнѣ, стала мнѣ выговаривать... Понимаю я, что назначаетъ она мнѣ мой часъ, да непонятно такъ, неясвенно.... Послѣ, молъ, Петровокъ... Съ этимъ я проснулась... Такіе-то у меня бываютъ сны удивительные!

Лукерья подняла глаза вверхъ... задумалась....

— Только вотъ бѣда моя: случается, цѣлая недѣля пройдетъ, а я не засну ни разу. Въ прошломъ году барыня одна проѣзжала, увидѣла меня да и дала мнѣ скляночку съ лекарствомъ противъ бессонницы; по десяти капель приказала принимать. Очень мнѣ помогало, и я спала; только теперь давно та скляночка выпита... Не знаете ли, что это было за лекарство и какъ его получить?

Проѣзжавшая барыня очевидно дала Лукерѣ опиума. Я обѣщался доставить ей такую скляночку и опять-таки не могъ не подивиться вслухъ ея терпѣнью.

— Эхъ, баринъ! — возразила она. Что вы это? Какое такое мое терпѣніе? Вотъ Симеона Столпника терпѣніе было точно великое: тридцать лѣтъ на столбу простоялъ! А другой угодникъ себя въ землю зарыть велѣлъ по самую грудь, и муравьи ему лицо ѣли... А то вотъ еще мнѣ сказывалъ одинъ начѣтчикъ: была нѣкая страна и ту страну Агаряне завоевали, и всѣхъ жителей они мучили и убивали; и что ни дѣлали жители, освободить себя никакъ не могли. И проявился тутъ между тѣми жителями святая дѣвственница; взяла она мечъ великій, латы на себя возложила двухпудовыя, пошла на Агарянъ и всѣхъ ихъ прогнала за море. А только прогнавши ихъ, говоритъ имъ: теперь вы меня сожгите, потому что такое было мое обѣщаніе, чтобы мнѣ огненною смертію за свой народъ помереть. — И Агаряне ее взяли и сожгли, а народъ съ той поры навсегда освободился! Вотъ это подвигъ! А я что!

Подивился я тутъ про себя, куда и въ какомъ видѣ зашла легенда объ Іоаннѣ д'Аркѣ, и помолчавъ немного, спросилъ Лукерью: сколько ей лѣтъ?

— Двадцать восемь.... али девять.... Тридцати не будетъ. Да что ихъ считать, года-то! Я вамъ еще вотъ что доложу....

Лукерья вдругъ какъ-то глухо кашлянула, охнула....

— Ты много говоришь, замѣтилъ я ей, — это можетъ тебѣ повредить.

— Правда, прошептала она едва слышно, — разговорѣ нашей конецъ; да куда ни шло! Теперь, какъ вы уйдете, намолчусь я вволю. По крайности, душу отвела...

Я сталъ прощаться съ нею, повторилъ ей мое обѣщаніе прислать ей лекарство, попросилъ ее еще разъ хорошенько подумать и сказать мнѣ — не нужно ли ей чего?

— Ничего мнѣ не нужно; всѣмъ довольна, слава Богу, съ величайшимъ усиленіемъ, но умиленно произнесла она. — Дай Богъ всѣмъ здоровья! А вотъ вамъ бы, баринъ, матушку вашу уговорить — крестьяне здѣшніе бѣдные — хоть бы малость оброку съ нихъ она сбавила! Земли у нихъ недостаточно, угодій нѣтъ... Они бы за васъ Богу помолились.... А мнѣ ничего не нужно, — всѣмъ довольна.

Я далъ Лукерѣ слово исполнить ея просьбу, и подходилъ уже къ дверямъ.... она подозвала меня опять.

— Помните, баринъ, сказала она — и чудное что-то мелькнуло въ ея глазахъ и на губахъ — какая у меня была коса? Помните — до самыхъ колѣнъ! Я долго не рѣшалась.... Эдакіе волосы!.. Но гдѣ же ихъ было расчесывать? Въ моемъ-то положеніи!.. Такъ ужъ я ихъ и обрѣзала.... Да.... Ну, простите, баринъ! Больше не могу...

Въ тотъ же день, прежде чѣмъ отправиться на охоту, былъ у меня разговоръ о Лукерѣ съ хуторскимъ десятскимъ. Я узналъ отъ него, что ее въ деревнѣ прозывали «Живня Мощи», что впрочемъ отъ нея никакого не видать безпокойства; ни ропота отъ нея не слыхать, ни жалобъ. — «Сама ничего не требуетъ, а напротивъ — за все благодарна; тихоня, какъ есть тихоня, такъ сказать надо. Богомъ убитая» — такъ заключилъ десятскій — «стало быть

за грѣхи; но мы въ это не входимъ. А чтобы, напримѣръ, осуждать ее—нѣтъ, мы ее не осуждаемъ. Пуцай ее!»

Нѣсколько недѣль спустя, я узналъ, что Лукерья скончалась. Смерть пришла-таки за ней.... и «послѣ Петрового». Рассказывали, что въ самый день кончины она все слышала колокольный звонъ, хотя отъ Алексѣевки до церкви считаютъ пять верстъ слишкомъ и день былъ будничныи. Впрочемъ Лукерья говорила, что звонъ шелъ не отъ церкви, а «сверху». — Вѣроятно она не посмѣла сказать: съ неба.

Ив. Тургеневъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ К. К. СЛУЧЕВСКАГО.

I.

РАЗСВѢТЪ ВЪ ДЕРЕВНѢ.

Огонь, огонь! на небесахъ огонь!
Роса дымится въ воздухъ отлетая;
По грудь въ рѣкѣ стоитъ косматый конь,
На ранній вѣтеръ уши наострая.
По длинному селу, сѣвозъ дымку темноты,
Идетъ обозъ съ богатой кладью жита;
А за селомъ погостъ, и низкіе кресты,
И церковь древняя, чешуйками покрыта...
Вотъ ставней хлопнули: въ окнѣ старикъ сѣдой
Глядитъ и крестится на первый лучъ разсвѣта;
А вотъ и дѣвушка, извилистой тропой,
Идетъ къ рѣкѣ огнемъ зари пригрѣта;
Готово солнце встать въ мерцающей пыли,
Крѣпчаетъ пѣнье птицъ подъ безконечнымъ сводомъ,
И тянетъ отъ полей гвоздикомъ и медомъ
И теплой свѣжестью распаханной земли!
И, кажется, сюда, въ блескъ этого простора,
Не ходять призраки—ни голода, ни мора!

II.

ГРОВОВЫЯ ТУЧИ.

По небу быстро поднимаясь,
На встрѣчу мчась одна къ другой,
Двѣ тучи хмурыя слетаясь,
Готовы ринуться на бой.

Темны, какъ участь близкой брани,
Небесныхъ ратниковъ полки,
Подняты по вѣтру ихъ длани
И рѣжутъ воздухъ шишаки!

Сквозять ихъ мрачныя забрала
Отъ блеска пламенныхъ очей...
Какъ будто въ небѣ мѣста мало
И разойтись въ немъ — нѣтъ путей?



III.

СПѢТАЯ ПѢСНЯ.

Пѣй, о пой, голубушка пѣвунья,
Пойте струны, ей въ отвѣтъ звѣня,
Улетай родившаяся пѣсня
Вслѣдъ за свѣтомъ гаснущаго дня.

Ты лети Созданьемъ темной ночи,
Въ вѣчныхъ сумеркахъ, идущихъ передъ ней,
За послѣднимъ проблескомъ заката,
Впереди стремящихся тѣней.

Можетъ быть, что между днемъ и ночью,
Не во снѣ, но у предѣловъ сна,
По путямъ молитвъ идущихъ къ Богу
Скорбь земли за далью не слышна!

Может быть, между «нигдѣ» и «гдѣ-то»,
Въ мирный часъ, когда бессонный спать,
Память гаснеть, не влекутъ желанья,
И любовь и ненависть молчить —

Ты найдешь покой неизъяснимый,
Безъ грядущаго, прошедшему чужда —
И земля своей поблекшей грудью
Не прельститъ бѣглянки никогда!...

IV.

НАДЪ КОЛЫБЕЛЬЮ.

Ты засни, засни моя милая,
Дай подушечку покачаю я,
И головушку поддержку твою,
И тебя, дитя, убаюкаю.

Тихій, дѣтскій сонъ, ты прійди, сойди,
Наклонись къ нему, не давя груди,
Не цѣлуй до слезъ, не пугай дитя,
Учи ласкою, вразумляя шутя.

Жизнь учить начнетъ, противъ воли гнетъ,
Вразумить тогда, какъ всего сомнетъ,
Зацѣлуешь въ смерть, заласкаетъ въ бредъ,
И, позвавъ цвѣсти, не допуститъ въ цвѣтъ...

Ночь темна, молчить, смотреть бухомъ;
Хорошо ли я такъ баюкаю?...
Сонъ спасительный, сонъ голубчикъ мой,
Поскорѣй отца отъ малютки скрой!...

V.

*
* *

Разубрали меня, разукрасили —
А ужъ я-ли красой не цвѣла?
Восковыми свѣчами обставили —
Я и такъ полнымъ блескомъ свѣтла!

Мѣдью темной глаза придавили мнѣ —
Чтобы глянуть они не могли,
Чтобы сердце во мнѣ не забилося
Образочкомъ его нагнали;

Чтобъ случайно чего не сказала я —
Краткій срокъ положили — три дня!
И цвѣтами могилу засыпали,
И цвѣты задушили меня!



VI.

ВЪ СТЕПИ ЗИМОЮ.

Саванъ бѣлый!... Смерть — картина!...
Умъ смиряющая даль!...
Ты уймись моя кручина,
Пропади моя печаль!

Въ этомъ царствѣ заустѣнья,
Планетарной нѣмоты,
Не нашедшей разрѣшенья, —
Что-же значимъ — я, да ты?!...

К. Случевскій.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ ПРЕЖНЯГО ВРЕМЕНИ.

(Графъ Н. С. Мордвиновъ).

«Наканунѣ успеньева дня 1812 г., рассказываетъ Вигель въ своихъ запискахъ, мнѣ пришли сказать, что нѣкто Мордвиновъ желаетъ меня видѣть. * Я одѣлся наскоро, чтобы къ нему выйти, и взглянувъ на него, изумился: я не имѣлъ понятія о той необыкновенной красотѣ, которую можетъ имѣть старость. Передо мною былъ человекъ не съ большимъ лѣтъ шестидесяти, невысокаго роста, одѣтый съ изысканною опрятностію, въ черномъ фракѣ, не новаго покроя, съ расчесанными на обѣ стороны распущенными бѣлыми волосами, съ чрезвычайно живостью во взорахъ, съ удивительною пріятностію въ голосѣ, что-то напоминающее собою векфильдскаго священника; передо мною былъ прославившійся въ государствѣ, Николай Семеновичъ Мордвиновъ».

Таковъ портретъ Мордвинова, нарисованный человекомъ, вообще нерасположеннымъ къ похвалѣ, а тѣмъ болѣе къ похвалѣ Мордвинову, принадлежавшему къ лагерю, нелюбезному автору «записокъ». Таковы-же характеристики знаменитаго старика, оставленныя намъ С. Т. Аксаковымъ, Н. И. Тургеневымъ, Шишковымъ и другими. Въ теченіе сорока лѣтъ нынѣшняго столѣтія Мордвиновъ былъ предметомъ общаго уваженія и удивленія. «Онъ почитался нашимъ Сократомъ, Катонмъ и Сенекой». Рылѣевъ, въ своей одѣ «Гражданское Мужество», написалъ между прочимъ:

* Свиданіе происходило въ Пензѣ, куда Мордвиновъ удался послѣ паденія его друга, Сперанскаго.

Лишь Римъ, вселенной властелинъ,
Сей край свободы и законовъ,
Возмогъ произвести одинъ
И Брутовъ двухъ и двухъ Катоновъ.
Но намъ-ли унывать душой,
Когда еще въ странѣ родной
Одинъ изъ дивныхъ исполиновъ
Екатерины славныхъ дней,
Средь сонма избранныхъ мужей,
Въ совѣтъ бодрствуетъ Мордвиновъ?

Каждое мнѣніе «дивнаго исполина» было общественнымъ происшествіемъ. Среди всеобщаго политическаго и литературнаго за-тишья, они, такъ сказать, замѣняли политику и литературу. Ихъ переписывали въ сотняхъ экземпляровъ, читали съ жадностью, утверждали чуть не на память. Одни удивлялись смѣлости и простодушію адмирала, другіе его высокогуманнымъ идеямъ, третьи обширной учености, четвертые изумительному его трудолюбію. Можно сказать, что все были правы. Рѣдко въ сферѣ русскихъ государственныхъ людей являлся человѣкъ съ такими глубокими, разнообразными свѣдѣніями. Подготовленный первоначально къ морской службѣ, Мордвиновъ основательно былъ знакомъ съ теоріею и практикою морскаго дѣла, чего конечно нельзя было достигнуть безъ серьезнаго математическаго образованія. Частныя его путешествія за границу и пребываніе въ Англіи дали ему возможность познакомиться со строемъ и духомъ западныхъ учрежденій и сблизиться съ представителями науки и литературы. Онъ былъ проникнутъ идеями философіи XVIII ст. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ не остановился, подобно многимъ, на знакомствѣ съ представителями общихъ идей великаго вѣка. Его манили не одно философское и литературное движеніе; Мордвиновъ замѣчателенъ тѣмъ, что ему удалось вынести изъ запада и *науку*, въ самомъ серьезномъ ея видѣ. А. Смитъ нашелъ въ немъ одного изъ самыхъ усердныхъ читателей и учениковъ. Знакомство съ политическою экономіею и теоріею финансовъ ясно обнаруживается во всѣхъ его мнѣніяхъ по вопросамъ государственнаго хозяйства. Если А. Смитъ былъ его учителемъ по вопросамъ фи-

нансовымъ, Бентамъ имѣлъ большое вліяніе на его юридическія воззрѣнія. Онъ зналъ Бентама не только въ его сочиненіяхъ, но интимно, о чемъ свидѣлствуетъ ихъ переписка.

Не одно обширное образованіе отличало Мордвинова. Эпоха Екатерины II основала въ Россіи, а начало царствованія Александра I создало довольно значительный кругъ просвѣщенныхъ людей. Дѣятели того времени любили говорить по Тациту и Плутарху, по Монтескьё, Вольтеру и Беккаріи. Нѣкоторые изъ нихъ явились по зову новаго императора изъ Англіи, другіе изъ Франціи, гдѣ ихъ воспитателями были иногда республиканцы и друзья Бабёфа. Но въ жизни и дѣятельности этихъ людей замѣчается одна рѣзкая и печальная черта — именно раздвоеніе между ихъ теоретическими взглядами, образомъ мыслей, и направленіемъ воли, если только въ это время можно было говорить о волѣ, характерѣ. Это раздвоеніе имѣло своимъ послѣдствіемъ какой-то бездушный формализмъ, какое-то виѣшнее, безсердечное отношеніе къ дѣлу. Мордвиновъ отличался тѣмъ, что усвоенныя имъ теоріи становились его второй природой, проникали все его существо, что у него не было «мнѣній», а были твердыя *убѣжденія*. Этимъ объясняется его «прямодушіе и искренность», составлявшія предметъ всеобщаго удивленія. «Прямодушіе» Мордвинова не было результатомъ только его природной честности и пылкости; притомъ Н. И. Тургеневъ свидѣлствуетъ, что рѣчь Мордвинова не отличалась рѣзкостью и горячими выходками: она характеризуется поговоркой — *suaviter in modo, fortiter in re*. Но убѣжденіе твердое и непреклонное, убѣжденіе, составляющее часть нашей природы, не можетъ быть выражено въ видѣ общихъ фразъ, казенныхъ формулъ, дающихъ возможность знать о содержаніи рѣчи по имени ея автора. «Мнѣнія» Мордвинова стояли особнякомъ, потому что не подходили ни подъ одно изъ высказанныхъ мнѣній, не укладывались въ офиціальныя рамки. Такія мнѣнія нужно читать сначала до конца — иначе мы смѣшаемъ ихъ съ прочими «сужденіями», излагаемыми въ офиціальныхъ меморіяхъ.

Идея, сдѣлавшаяся убѣжденіемъ, охватываетъ все существованіе человѣка; она не оставляетъ ему досуга, извлекаетъ изъ него всѣ силы, двигаетъ его впередъ, пока въ немъ есть силы. Мордвиновъ

былъ однимъ изъ людей, не принадлежавшихъ себѣ. 91 годъ жилъ онъ на свѣтѣ; * въ теченіе 44 лѣтъ онъ дѣйствовалъ въ высшихъ законодательныхъ сферахъ ** — срокъ, способный утомить самаго усерднаго труженика. Мордвиновъ не былъ только труженикомъ, проявлявшимъ усердіе на государственной службѣ. Онъ былъ, въ своей сферѣ неистощимымъ источникомъ новыхъ идей, которыя онъ съ истиннымъ увлеченіемъ, отстаивалъ и проводилъ гдѣ можно. «Всевышній Создатель, писалъ онъ про себя, не сотворилъ меня равнодушнымъ къ общественному благу»; онъ былъ ходатаемъ этого блага вездѣ и во всемъ. Его отзывчивая душа и энергическій характеръ побуждали его высказываться едва-ли не по каждому вопросу, имѣвшему какое-нибудь общественное значеніе. Вопросы политическіе и юридическіе, реформы финансовыя и экономическія, задачи народнаго образованія и народнаго здравія занимали его попеременно и съ одинаковою силою. «Мнѣнія» Мордвинова составляютъ въ рукописи XIII томовъ in folio; ихъ смѣло можно назвать сводомъ всѣхъ вопросовъ, волновавшихъ наши общественныя и административныя сферы въ теченіе первой половины XIX вѣка. Мнѣнія эти замѣчательны еще тѣмъ, что авторъ ихъ разсматриваетъ каждый вопросъ съ высоты общей теоріи. Разсуждаетъ-ли онъ о важнѣйшихъ финансовыхъ реформахъ, разсматриваетъ-ли частный процессъ, переданный на уваженіе департамента дѣлъ гражданскихъ и духовныхъ *** — онъ вездѣ умѣетъ возвести дѣло къ общимъ началамъ, высказать то или другое здоровое политическое начало.

При другихъ общественныхъ условіяхъ имя Мордвинова было бы довольно извѣстно всѣмъ и каждому; его мѣсто въ ряду другихъ дѣятелей было-бы опредѣлено и значеніе уяснено. Но Мордвиновъ работалъ при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ. Ни печать, ни исторія не могли популяризировать его имя. Русское общественное мнѣніе часто упрекаютъ въ забывчивости и непостоянствѣ. Оно всегда поклоняется людямъ своего времени, но не умѣетъ опредѣлить ихъ относительнаго значенія, ихъ связи съ идеями и людьми прошлаго.

* Мордвиновъ род. въ 1754, умеръ въ 1845 г.

** 1801 — 1845.

*** Мордвиновъ долгое время былъ предсѣдателемъ этого департамента.

Стоитъ человѣку минуты сойти со сцены, какъ память объ немъ исчезаетъ въ безграничномъ пространствѣ Россіи; общество ищетъ новыхъ боговъ, чтобы послѣ и ихъ предать забвенію, этому ужасному наказанію, свойственному странамъ безъ преданія, безъ литературы и общественнаго мнѣнія. Но должно быть справедливымъ. Общество можетъ дать своимъ дѣателямъ только то, что въ его силахъ. Оно не можетъ сохранять въ своей памяти прошлаго, безъ внѣшнихъ средствъ, воспитывающихъ и поддерживающихъ эту память. Какъ уѣковѣчивается память о замѣчательныхъ дѣателяхъ — мы говоримъ о дѣателяхъ политическихъ — на западѣ Европы? При жизни, сильная политическая печать распространяетъ и разбираетъ ихъ мнѣнія; общество встрѣчаетъ ихъ на гласной политической аренѣ, свыкается съ ними, смотритъ на нихъ какъ на свое достояніе. Послѣ смерти, безпристрастная исторія подводитъ итоги ихъ дѣятельности, отводитъ имъ опредѣленное мѣсто въ ряду ихъ современниковъ. Ни одного изъ этихъ условій не было въ то время, когда пришлось дѣйствовать Мордвинову. Не объ одномъ Мордвиновѣ, но и о прочихъ его современникахъ послѣдующія поколѣнія знали только «по наслышкѣ», т. е. должны были довольствоваться *именемъ* и самою общою характеристикою.

Въ наше время приходится извлекать изъ «мирака забвенія» не одно нѣкогда славное и почетное имя. Мы зарылись въ архивы, общественные и семейные, неутомимо печатаемъ воспоминанія, автобіографіи, письма, мнѣнія. Нѣсколько журналовъ и правительственныхъ изданій заняты печатаніемъ актовъ прошлаго. Теперь мы даже не въ состояніи оцѣнить всей важности этой работы. Но чрезъ нѣсколько времени станетъ понятно, что сдѣлали «архивныя изданія»: странѣ будетъ возвращено ея прошлое и притомъ прошлое, съ которою она связана непосредственно. Она получитъ возможность сознательно относиться къ своей исторіи, а слѣдовательно и къ настоящему и будущему.

Въ числѣ этихъ любопытныхъ документовъ, помѣщаемыхъ въ разныхъ изданіяхъ, мнѣнія и письма Мордвинова занимаютъ видное мѣсто. Почти каждый журналъ этого рода заключаетъ въ себѣ много важнаго для характеристики адмирала. Наконецъ, профессоръ кiev-

скаго университета, г. Иконниковъ, на основаніи какъ изданныхъ, такъ и рукописныхъ матеріаловъ, составилъ добросовѣстную и любопытную монографію. * Этотъ трудъ можетъ быть смѣло названъ полнымъ и систематическимъ сводомъ какъ мнѣній самого Мордвинова, такъ и отзывовъ его современниковъ. Обиліе матеріаловъ, которыми располагалъ почтенный авторъ, дало-бы ему полное право представить и общую характеристику своего героя. Но эта задача не входила въ его планы. За то онъ безмѣрно облегчилъ трудъ каждаго, кто желалъ-бы за нее взяться. Мы постараемся выполнить ее, основываясь на фактической сторонѣ прекраснаго труда г. Иконникова, на сколько это позволяетъ объемъ небольшой статьи.

II.

Характеристика каждаго государственнаго дѣятеля, особенно если онъ руководился извѣстными общими началами, должна быть начата съ характеристики эпохи, среди которой выработались эти начала. Ключъ ко всѣмъ мнѣніямъ Мордвинова — въ научныхъ и политическихъ идеяхъ XVIII ст., которые онъ воспринялъ въ теченіе первой половины своей жизни и настойчиво проводилъ въ теченіе второй.

Движеніе XVIII ст., разсматриваемое съ внѣшней, политической точки зрѣнія, имѣло одну общую цѣль — обезпеченіе человѣческой личности и ея свободы посредствомъ утвержденія законности въ государственномъ устройствѣ и управленіи. Такое стремленіе было вполне понятно въ обществахъ, страдавшихъ отъ порядка, прямо противоположнаго началу законности. Правленіе Людовика XIV и XV во Франціи, мелкій и придиричивый деспотизмъ въ германскихъ государствахъ, ясно показали въ чему ведетъ право личнаго усмотрѣнія, поставленное на мѣсто общаго закона. Горькій, ежедневный опытъ убѣждалъ всѣхъ и каждаго, что нѣтъ права, безъ обезпеченія личности и нѣтъ обезпеченія, безъ точнаго опредѣленія границъ государственной

* Графъ Н. С. Мордвиновъ. Историческая монографія проф. Иконникова. С.П.Б. 1873.

власти и правильного соотношенія ея органовъ. Частныя распоряженія, занявшія мѣсто закона, административная расправа, заступившая мѣсто правосудія, приводили къ тому, что ни личная безопасность, ни частное имущество не знали никакого обезпеченія. Система раздѣленія властей, свобода печати, вѣры, право петицій, судебныя гарантіи, домашняя неприкосновенность, воспрещеніе произвольныхъ арестовъ, гласность правительственныхъ дѣйствій — все это не сходило съ языка лучшихъ представителей XVIII вѣка и все должно было вести къ одной цѣли: воцаренію царства закона (*règne de la loi*), поставленнаго на мѣсто царства произвола. Понятно само собою, что Англія, страна наиболѣе сдѣлавшая для развитія личной свободы, теперь сдѣлалась образцомъ для всѣхъ политическихъ мыслителей. Въ «Духѣ Законовъ» Монтескьё находится слѣдующее замѣчательное мѣсто:

«Хотя всѣ государства имѣютъ вообще одну и ту-же цѣль, сохраненія (*qui est de se maintenir*), но каждое государство имѣетъ однако свою особенную цѣль. Увеличеніе владѣній было цѣлью Рима; война — Спарты; религія — еврейскихъ законовъ; торговля — Марсели; общественное спокойствіе — Китая; мореплаваніе — законовъ Родійскихъ; естественная свобода — цѣль дикарей; вообще удовольствіе государя — державъ деспотическихъ; слава государя и государства — монархій; независимость каждаго частнаго лица — цѣль польскихъ законовъ, что ведетъ къ угнетенію всѣхъ. *

«Но есть въ мірѣ нація, имѣющая прямой цѣлью своей конституціи политическую свободу. ** Мы рассмотримъ начала, на которыхъ она ее основываетъ. Если они хороши, свобода явится въ нихъ какъ въ зеркалѣ.

«Для того чтобы открыть политическую свободу въ конституціи

* Намекъ на *liberum veto*.

** Политическая свобода въ гражданинѣ, говоритъ Монтескьё, есть спокойствіе духа, истекающее изъ увѣренности каждаго въ своей безопасности; для доставленія этой безопасности нужно, чтобы правительство было таково, чтобы одинъ гражданинъ не боялся другаго (*Есп. des loix*, XI, 6). Это опредѣленіе вошло и въ Наказъ Екатерины II, которая его дополнила. Именно послѣ словъ, чтобы одинъ гражданинъ не боялся другаго, она говоритъ — «но всѣ боялись-бы законовъ».

не нужно большого труда. Если ее можно видѣть, гдѣ она есть, если ее нашли, зачѣмъ ее искать?» *

Въ этихъ словахъ очевидно скрывалась слѣдующая мысль: «хотите-ли политической свободы? Смотрите какъ она осуществлена въ Англіи!»

Не нужно напоминать какое вліяніе идеи Монтескьё и писателей его школы имѣли въ Россіи. Наказъ императрицы Екатерины содержитъ въ себѣ множество извлеченій изъ «Духа Законовъ». Въ 1766 г., созывая депутатовъ въ комиссію для сочиненія новаго уложенія, она ясно высказала свой взглядъ на необходимость законности, съ цѣлью обезпеченія личныхъ правъ. Великое законодательное движеніе во Франціи дало новый толчокъ этимъ идеямъ. Стройная, мастерская система французскаго кодекса должна была ослѣпить современниковъ; создать для своего отечества что нибудь подобное считалось, по справедливости, дѣломъ достойнымъ государственнаго человѣка.

Мы увидимъ ниже, что Мордвиновъ, особенно при его личномъ знакомствѣ съ началами англійской государственной жизни, сдѣлался горячимъ адвокатомъ законности, обезпечиваемой раздѣленіемъ властей, хорошимъ устройствомъ судовъ, отвѣтственностію органовъ администраціи, гласностію и т. д. Но этимъ не исчерпывается содержаніе его идей. Теорія законности, въ томъ видѣ, какъ она установилась на западѣ Европы, была выраженіемъ болѣе глубокаго общественнаго движенія, для котораго «законность» явилась только внѣшнимъ средствомъ. Она соотвѣтствовала коренному видоизмѣненію нравственныхъ, политическихъ и, главнымъ образомъ, экономическихъ понятій. Постараемся въ нѣсколькихъ словахъ опредѣлить эту пережѣву.

XVII и XVIII ст. выработали новыя исходныя точки всей политической философій. Идея, представляемая государствомъ, осуществляемая его учрежденіями, подверглась строгому разбору. Организмъ правительственный, вслѣдствіе разныхъ историческихъ условий, обособившійся отъ остальнаго общества, разсматривалъ каждый

* *Esp. des lois*, XI, 5.

общественный вопросъ съ точки зрѣнія увеличенія или уменьшенія его собственныхъ средствъ. Понятіе объ общественномъ благѣ, *salus publica*, фактически отождествилось съ «интересомъ казны», которому можетъ быть принесенъ въ жертву интересъ не только частнаго лица, но и цѣлыхъ сословій. Система всесторонней и придирчивой государственной опеки, казалась единственнымъ надежнымъ средствомъ обезпечить процвѣтаніе государства. Казенныя монополіи, строгій надзоръ за торговлею и промышленностію, система поощреній, запрещеній, разрѣшеній и т. д. сдвигали правильное развитіе экономической и умственной жизни. Казенный интересъ, представляемый всемогущею бюрократіею считался критеріумомъ всего добраго, полезнаго, прогрессивнаго.

Настало время провѣрки всей существующей системы съ точки зрѣнія другаго критеріума, которымъ долгое время пренебрегали — съ точки зрѣнія *личнаго интереса*, частной пользы. Государственный интересъ составляетъ-ли нѣчто особое отъ интереса частныхъ лицъ, его составляющихъ? Всемогущество государственной администраціи составляетъ-ли единственное условіе государственнаго благосостоянія? На оба вопроса наука дала отрицательный отвѣтъ. Общее благосостояніе зиждется на благосостояніи частномъ и послѣднее осуществляется личною и свободною предприимчивостію лучше и полнѣе, чѣмъ при помощи государственной опеки.

Личный интересъ, говорили философы, есть безспорно естественный и правильный критеріумъ полезнаго и вреднаго; личная предприимчивость есть неизсякаемый, созданный самою природою, источникъ общественнаго прогресса. Сдѣлайте такъ, чтобы личной предприимчивости была обезпечена ея свобода и вы увидите какъ увеличатся умственные и матеріальныя средства общества. Такого основнаго начала, проникающее знаменитую теорію А. Смита.

Какимъ-же образомъ государство можетъ достигнуть этой цѣли? Въ чемъ состоитъ роль государства?

Въ системѣ естественной свободы, говоритъ *Смитъ*, на правительствѣ лежитъ только три обязанности, правда чрезвычайно важныхъ, но ясныхъ, простыхъ и доступныхъ обыкновенному разумѣнію. Первая — есть обязанность защищать общество отъ насилія и втор-

женія другихъ независимыхъ обществъ. Вторая — обязанность защищать, на сколько это возможно, каждого члена общества, противъ несправедливости или угнетенія всякаго другаго члена, или обязанность правильной администраціи правосудія. Третья — обязанность учреждать и поддерживать общественныя установленія, недоступныя личной предприимчивости, но необходимыя для общества. *

Другими словами: доставьте каждой личности безопасность, обезпечьте ея права, *восполните* ея средства, гдѣ они недостаточны, и вы скоро увидите, на что способна личность, пользующаяся свободой.

Тѣмъ-же индивидуализмомъ проникнута теорія *Бентама*. Конечно обширная система этого писателя представляетъ много разнообразныхъ сторонъ. Но мы разсматриваемъ ее только по отношенію къ занимающему насъ вопросу. Главныя указанія по данному предмету находятся въ знаменитыхъ «Началахъ Гражданскаго Уложенія». ** Система Бентама носитъ названіе *утилитарной*, т. е. дѣлаетъ понятіе пользы основаніемъ и мѣриломъ предписаній нравственныхъ и юридическихъ. Но эта общая исходная точка не характеризуетъ всей его системы. Критеріумомъ пользы въ системѣ Бентама является чувство удовольствія или страданія, испытываемыя каждымъ человекомъ въ виду того или другаго явленія, дѣйствія, мѣры. Какъ можетъ государство осуществить великое начало пользы въ гражданскихъ отношеніяхъ? Главнымъ образомъ чрезъ обезпеченіе свободы, безопасности и собственности каждой отдѣльной личности. Напрасно государство будетъ стремиться осуществить всеобщее благосостояніе мѣрами своей принудительной администраціи, неизбѣжно связанными съ наложеніемъ разныхъ повинностей на гражданъ. Его предписанія ничего не прибавятъ къ естественнымъ стремленіямъ каждого къ благополучію, врожденнымъ каждому человеку; они могутъ стѣснить ихъ правильное развитіе. Не надо забывать что обязанности суть *невыгоды*, налагаемыя на гражданъ, и эти невыгоды принимаются охотно только тогда, когда при помощи ихъ обезпечиваются выгоды

* О Богат. нар. Кн. IV, гл. IX.

** Principles of the Civil Code. Нечего напоминать что Бентамъ принимаетъ слово «гражданскій» въ самомъ обширномъ смыслѣ.

болѣ цѣнныя. Каждый законъ имѣетъ цѣну на столько, на сколько имъ обеспечиваются естественныя условія благосостоянія, на сколько онъ ограждаетъ свободу и безопасность лица. «Законъ не говоритъ человѣку: работай и я вознагражу тебя, но онъ говоритъ: работай и я не допущу никого посягнуть на плоды твоего труда, которые безъ меня ты не могъ-бы сохранить, и такимъ образомъ обезпечу тебѣ эту естественную и достаточную награду за трудъ — пользованіе его плодами. *Трудъ производитъ, законъ сохраняетъ: производствомъ мы обязаны исключительно труду, но сохраненіемъ и вѣщими благами производства мы обязаны исключительно закону.*

Не станемъ говорить здѣсь, что индивидуализмъ самъ былъ способенъ къ крайностямъ и преувеличеніямъ; что если прежде государство думало совершать все, новая теорія готова была ограничить его задачу простымъ охраненіемъ личныхъ силъ.* Но не подлежитъ сомнѣнію что индивидуализмъ былъ естественною и законною реакціею противъ всемогущества фискально-полицейскаго государства. Если указанныя имъ цѣли не составляютъ *единственной* задачи государства, то они несомнѣнно составляютъ его необходимыя и *элементарныя* цѣли, безъ осуществленія которыхъ не мыслима правильная государственная жизнь. Въ этомъ смыслѣ индивидуалистическая теорія, останется навсегда цѣннымъ достояніемъ политической философіи. Внѣшнее могущество и блескъ государства не имѣютъ цѣны, если они достигнуты насчетъ умаленія частнаго благосостоянія, личной свободы, достоинства и нравственной независимости его отдѣльныхъ членовъ. «Какъ польза человѣку, аще весь міръ пріобрѣтетъ, душу-же свою отщетитъ?» *Душа человека*, т. е. его нравственные идеалы, его субъективное творчество, его личное достоинство и независимость, дороже цѣлаго міра. Потерю этихъ благъ не замѣнитъ ни «трепетъ» сосѣдей, ни громъ побѣдъ, ни внѣшній блескъ. Сказать-ли больше? Самое внѣшнее могущество построено на пескѣ, если оно не есть свободный результатъ всѣхъ творческихъ силъ народа, если въ основаніи силы государственной не лежатъ

* Крайности индивидуализма и ихъ послѣдствія рассмотрѣны мною въ книгѣ «Национальный Вопросъ», въ отдѣлѣ: «Современныя воззрѣнія на государство и національность».

мощь *гражданина*, т. е. твердаго и независимаго *характера* чело-вѣческой личности. Безъ этого условія политическое общество ничѣмъ не отличается отъ стада, и его стадность, не смотря на свою внѣшнюю силу, падеть при первомъ серьезномъ столкновеніи съ дѣйствительнымъ гражданскимъ бытомъ.

Эти краткія замѣчанія были необходимы для того, чтобы освѣтить мнѣнія Мордвинова, дать ключъ къ ихъ разумѣнію и опредѣлить ихъ мѣсто въ исторіи нашего общественнаго развитія. Теперь мы обратимся къ самымъ мнѣніямъ и пусть Мордвиновъ говоритъ самъ за себя.

III.

Въ мнѣніяхъ и дѣятельности Мордвинова необходимо различать два элемента. Во первыхъ, онъ замѣчателенъ въ нашей исторіи какъ горячій защитникъ законности и всѣхъ условій ея обезпеченія. Въ этомъ отношеніи онъ раздѣляетъ свою славу съ Сперанскимъ и нѣкоторыми другими лицами. Во вторыхъ, ему принадлежитъ инициатива многихъ мѣръ, которыя должны были возвысить условія народнаго благосостоянія, огражденія личныхъ силъ человѣка, развитія частной предприимчивости, возвышенія нравственнаго достоинства человѣка. Въ этомъ отношеніи онъ сходилъ съ такими людьми какъ братья Тургеневы. Но мы раздѣляемъ эти двѣ стороны дѣятельности Мордвинова только ради удобства изложенія. Каждое мнѣніе проникнуто однимъ и тѣмъ-же началомъ, которое коренится въ нравственномъ міросозерцаніи графа и одухотворяетъ каждое его слово. Онъ говоритъ и за силу закона и за необходимость образованія и за измѣненіе финансовой системы одинаково, въ виду ббльшаго развитія и обезпеченія нравственнаго достоинства человѣка, для того чтобы вызвать къ жизни и къ дѣлу его творческія силы. Этимъ его юридическія теоріи отличаются отъ теоріи формальной законности, развиваемой Сперанскимъ, въ которомъ чиновникъ и семинаристъ проглядывалъ слишкомъ часто. Отъ этого зависитъ самый, такъ сказать, *акцентъ* рѣчей Мордвинова.

Первое, по времени, мнѣніе, обратившее на себя всеобщее внима-

ніе, было написано Мордвиновымъ по поводу Эмбенскихъ рыбныхъ ловель, въ 1802 г. На берегахъ Каспійскаго моря, близъ устья рѣки Эмбы, имѣются обширныя земли, съ рыбными морскими ловлями. При Екатеринѣ II эти земли достались графу Н. И. Салтыкову, не совершенно правильно. Екатерина дѣйствительно пожаловала графу земли въ тѣхъ мѣстахъ, но областное начальство надѣлило его въ гораздо большихъ, противъ указа размѣрахъ. Впослѣдствіи Павелъ I пожаловалъ эти земли съ ловлями (на которыя Салтыковъ имѣлъ весьма сомнительныя права) графу Кутайсову. Послѣ его кончины между Салтыковымъ и Кутайсовымъ возникла тяжба, дошедшая до непремѣннаго совѣта, собиравшагося подъ предсѣдательствомъ государя. Въ совѣтѣ, независимо отъ тяжбы, возникъ вопросъ о необходимости освободить рыбныя ловли отъ частнаго владѣнія, сдѣлавъ ихъ общимъ достояніемъ. Въ совѣтѣ предположено было вознаградить Салтыкова за безспорно принадлежавшую ему часть земли (786 дес.) землями въ другихъ мѣстахъ, а семейство Кутайсова деньгами въ количествѣ 150,000 р. Мордвиновъ увидѣвъ въ послѣднемъ актѣ нарушеніе права частной собственности и подалъ слѣдующее мнѣніе:

«Если объ Эмбенскихъ рыбныхъ ловляхъ, пожалованныхъ графу Кутайсову, разсуждать по одному только отношенію ко власти самодержавной, конечно легко рѣшить все дѣло; неограниченною волею одного государя воды сіи отданы частному человѣку; неограниченная воля другаго государя, ему равнаго, можетъ ихъ взять обратно. Опредѣлить за нихъ вознагражденіе большее или меньшее или не опредѣлять никакого — зависитъ отъ его хотѣнія.

«Но какъ я думаю и думать не перестану, что государь, предлагая сіе дѣло совѣту, вопрошаетъ его не о благодѣтельности, но о *справедливости*, и слѣдовательно желаетъ, чтобы вопросъ сей былъ изслѣдованъ въ *понятіяхъ правленія монархическаго*, то и должно кажется мнѣ, согласиться въ слѣдующихъ началахъ:

«1-е. Владѣніе Эмбенскихъ водъ и всего, что въ указѣ 1799 г. означено, есть собственность графа Кутайсова. Совѣтъ признаетъ сію истину въ первыхъ своихъ засѣданіяхъ.

«2-е. Законъ собственности признается въ Россіи вообще непоко-

лебимымъ, слѣдовательно и собственность графа Кутайсова должна быть неотъемлема.

«3-е. Если-бы сія неотъемлемость ограничивалась только тѣмъ, чтобы частныя люди не могли на нее дѣлать притязаній, то былъ-бы законъ достаточный въ турецкихъ владѣніяхъ, но весьма несправедливый въ Россіи, гдѣ и правительство не можетъ отнять имѣнія ни у кого безъ суда и закона.

«4-е. Изъ сего слѣдуетъ: на собственность частныхъ лицъ въ Россіи правительство не больше имѣетъ права, какъ и всякій частный человѣкъ.

«5-е. Посему, сколько бы исключительное владѣніе каземъ либо имѣніемъ не оказывалось противнымъ общему благу, не можно для сего взять его въ общее употребленіе, да я и не знаю, чтобы гдѣ нибудь былъ такой законъ терпимъ или полезенъ, ибо никогда общее благо не держится на частномъ разореніи». *

Затѣмъ Мордвиновъ доказываетъ, что нельзя взять Эмбенскія ловли безъ согласія Кутайсова и опредѣленія, по взаимному соглашенію, приличнаго за нихъ вознагражденія (п. 6 — 8).

«Скажутъ, продолжаетъ онъ, что сіе согласіе получить отъ него невозможно; но предлагали-ли ему о семъ? Почему необходимо должно изъяснять намѣренія людей въ худую сторону, и для чего въ дѣлѣ закона принимать вѣроятныя предположенія за достовѣрныя опыты? Полагая однакожъ, что и дѣйствительно требованія его будутъ неумѣренны, что онъ пожелаетъ, папримѣръ, тотъ-же самый доходъ деньгами, который теперь получаетъ отъ своего промысла, я вмѣстѣ съ симъ спрашиваю: справедливо-ли поступитъ правительство удовлетворивъ его требованія? Если справедливо, то вмѣстѣ съ тѣмъ и для общаго блага выгодно, ибо нѣтъ въ свѣтѣ безо-

* Здѣсь Мордвиновъ впадаетъ въ крайность. Государство имѣетъ на частную собственность больше правъ, чѣмъ «другое частное лицо», ибо оно, по началамъ всѣхъ европейскихъ законодательствъ, вооружено правомъ экспроприации. Оставаясь на точкѣ зрѣнія Мордвинова, государство не сочло бы себя въ правѣ надѣлать крестьянъ землею. Каспійскія рыбныя ловли необходимо было обратить въ общее пользованіе. Мордвиновъ былъ правъ только относительно формъ, въ которыхъ велось дѣло.

лезной справедливостн, и та самая ложная государственная экономія, которая на счетъ твердости закона думаетъ сберечь нѣсколько тысячъ рублей. Твердость закона, и особливо закона столь существеннаго, какъ собственность, ни какими миллионами одѣлать не можно. Экономія есть часть государственнаго блага, а законъ его *основаніе*; часть развалившуюся можно поправить, но потрясенное основаніе рушить все зданіе. Если нужно, чтобы законъ былъ вѣнчанъ въ сердцахъ народныхъ (а въ Россіи это нужно, ибо сіе есть единый способъ къ лучшему), то надобно начать съ того, чтобы правительство не дѣлало ни малѣйшаго отступленія ни для кого и ни для чего. Дабы истребить пренія о несправедливости, надобно начать съ того, чтобы ихъ вновь не дѣлать; иначе силы произволенія будутъ поправляться силою. Вѣчно будетъ сила и никогда не будетъ закона.» *

Мнѣніе объ Эмбенскихъ ловляхъ надолго упрочило славу Мордвинова. Оно не было результатомъ временной вспышки, желанія стать въ извѣстную позу. Въ теченіе его долгой общественной дѣятельности, ему часто приходилось отстаивать твердость законовъ и права частныхъ лицъ.

Въ 1811 г., когда Мордвиновъ былъ уже предсѣдателемъ департамента экономіи, ему пришлось горячо защищать право подрядчиковъ противъ казны. Извѣстно въ какомъ печальномъ положеніи находились наши финансы и какъ пало достоинство ассигнацій. Курсъ ассигнаціоннаго рубля понизился до 25 коп. Въ 1810 г. правительство официально признало этотъ фактъ. Само собою разумѣется, что подрядчики, заключившіе контракты съ казною на прежнемъ основаніи, просили освободить ихъ отъ обязательствъ. Но казенныя вѣдомства не соглашались. Мордвиновъ подалъ мнѣніе, въ которомъ, между прочимъ, говоритъ слѣдующее:

«Всѣмъ очевидно, что вещи возвышаются въ цѣнѣ, отъ уничтоженія въ своемъ достоинствѣ ассигнаціоннаго рубля.

«Правительство въ манифестахъ своихъ торжественно признало,

* См. *Иконникова*: Графъ Мордвиновъ, стр. 37 и слѣд. Почтенный авторъ напечаталъ этотъ документъ въ первый разъ.

что уничтоженіе сіе произошло отъ выпуска имъ чрезмѣрнаго числа ассигнацій.

«Послѣ такого признанія, можетъ-ли оно, безъ нарушенія справедливости, отказывать кому либо изъ частныхъ людей, вошедшихъ съ нимъ въ обязательства, въ освобожденіи его отъ продолженія оныхъ? Ибо, кто изъ нихъ могъ предполагать, чтобы правительство не удѣржало въ надлежащей цѣнѣ денегъ своихъ, а и того болѣе чтобы оно само тому содѣйствовало?»

«Отказывать въ столь справедливомъ требованіи, значило-бы изъяслять желаніе получать вещи на счетъ подрыва и разоренія частныхъ лицъ, не за истинныя, какъ обходятся въ дѣйствительной покупкѣ, цѣны, но за половинныя, и менѣе, да еще и тогда, какъ протѣснѣвшему возвышенію цѣнъ само же оно сдѣлалось причиною. Отказъ таковой не только не былъ-бы согласенъ съ правдою, которую паче всего уважать должно, но и было-бы противно тѣмъ высокимъ понятіямъ, какія всякъ долженъ имѣть о чести и достоинствѣ правительства.

«Если и для всякаго частнаго человѣка предосудительно основывать выигрыши свои на развалинахъ благосостоянія ближнихъ своихъ, то тѣмъ болѣе неумѣстно было бы это въ отношеніи высочайшей особы государя императора, не иначе всеми понимаемой, какъ за образецъ совершеннаго безкорыстія, честности, правды и всякихъ добродѣтелей.

«Святость контракта, обязуя одну сторону выставлать какой либо товаръ въ томъ качествѣ и количествѣ, какъ назначено въ условіяхъ, налагаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и на другую непреложный долгъ платить за оный деньги въ положенное время и въ истинной неизмѣняемой ихъ цѣнѣ, а не 25 копѣечниками».

По другому подобному поводу, Мордвиновъ высказалъ замѣчательную для его времени мысль, что «казенная копѣйка должна, какъ и все прочія, по естественному закону, тонуть и горѣть».

Понятно само собою, какъ Мордвиновъ долженъ былъ отнестись къ тѣмъ реформамъ, которыя, по его мнѣнію, должны были обезпечить господство закона — къ раздѣленію властей и улучшенію судебной власти. Въ 1802 г. въ официальныхъ сферахъ возникъ

вопросъ о реформѣ сената, пришедшаго въ крайній упадокъ въ царствованіе императора Павла I. Здѣсь не мѣсто входить въ разборъ различныхъ предположеній, высказанныхъ по этому случаю. Мордвиновъ высказался не только за возвращеніе сенату его прежняго значенія, но и за усиленіе его. «Права въ отношеніяхъ къ государственному благу, для твердости ихъ должны имѣть опору, и grade, а не должны быть основаны на нѣкоторыхъ малочисленныхъ лицахъ; ибо таковое основаніе легко можетъ быть отмѣнено, уничтожено, ибо какою опорю можетъ доставлять малое число лицъ? Доколѣ сенатъ не будетъ *избраннымъ*, то въ настоящемъ положеніи онъ не имѣетъ достаточной власти и силы. Но желательно чтобы сенатъ сдѣлался тѣломъ политическимъ... Права политическія должны быть основаны на знатномъ сословіи, весьма уважаемомъ, дабы и самыя права воспріяли такое-же уваженіе». * По плану Мордвинова сенатъ долженъ былъ состоять изъ лицъ назначаемыхъ государемъ и избираемыхъ отъ губерній (по 2) губернскими собраніями на 3 года.

Мордвиновъ горячо привѣтствовалъ учрежденіе министерствъ, въ которомъ онъ видѣлъ зародышъ дальнѣйшихъ преобразованій. Министерства и государственный совѣтъ были, какъ извѣстно, только отрывками обширнаго плана преобразованій, задуманнаго Сперанскимъ. Но они и остались такими отрывками. Самъ Сперанскій въ 1811 г. увидѣлъ, что учрежденію министерства не достаётъ многого, и что, главнымъ образомъ, недостаточны постановленія объ *отвѣтственности* министровъ. Въ томъ же смыслѣ высказался и Мордвиновъ. Но въ Россіи послѣ небольшого періода преобразовательныхъ стремленій, подготовлялось уже время господства иныхъ началъ, характеризующихъ именемъ Аракчеева. Ссылка Сперанскаго, удаленіе Мордвинова, торжество Балашовыхъ, Арифельдовъ и другихъ лицъ, предвѣщало суровую перемѣну. Симптомы ея обнаружили рано. Это видно изъ письма одного изъ лучшихъ людей того времени, графа С. С. Уварова, къ одному изъ лучшихъ людей Германіи, ба-

* Выраженіе «знатное сословіе», не должно, сколько мнѣ кажется, понимать въ смыслѣ «аристократіи». На языкѣ alexandровскаго времени, «сословіе» означало «коллегію». Въ такомъ смыслѣ государственный совѣтъ названъ «сословіемъ лицъ».

рону Штейну. Оно пожчено 18 ноября 1813 г. Вотъ что писалъ, между прочимъ, графъ:

«Путешествіе за границу есть тайная надежда, давно легѣвшая мною. Все привязываетъ меня къ этой мысли, и, между прочимъ, дѣйствительныя непріятности, сопряженныя съ моими здѣшними занятіями (какъ попечителя С.-Петербургскаго учебнаго округа). Нѣтъ ничего неблагодарнѣе, или точнѣе, *невозможнѣе* ихъ. Я не мечтатель, какъ вы знаете: я люблю дѣла и находился при нихъ, такъ сказать, съ самаго моего дѣтства. Вамъ извѣстны мои убѣжденія, мои воззрѣнія; не смотря на все это, я дошелъ до того, что теряю надежду не только принести пользу, но и удержаться на пути, который я себѣ начерталъ, и отъ коего никогда не отступлю, не жертвуя тѣмъ, что мнѣ всего дороже на свѣтѣ; честью, здоровьемъ, убѣжденіемъ, вещественнымъ благосостояніемъ. Не думайте, чтобы въ словахъ моихъ было хотя малѣйшее преувеличеніе. Я спокоенъ до того, что изумляю всѣхъ меня окружающихъ, но въ душѣ у меня отчаяніе. Состояніе умовъ теперь таково, что путаница мыслей не имѣетъ предѣловъ. Одни хотятъ просвѣщенія безопаснаго, т. е. огня, который-бы не жегъ; другіе (а ихъ всего больше) кидаютъ въ одну кучу Наполеона и Монтескьё, французскія арміи и французскія книги, Моро и Робеспьера, бредни Ш... и открытія Лейбница; словомъ это такой хаосъ криковъ, страстей, партій, ожесточенныхъ одна противъ другой, всякихъ преувеличеній, что долго присутствовать при этомъ зрѣлищѣ невыносимо. Кидаютъ другъ другу въ лицо выраженіями: религія въ опасности, потрясеніе нравственности, поборники иностранныхъ идей, иллюминаты, философъ, франкъ-масонъ, фанатикъ и т. п. Словомъ, полное безуміе».

Преобразовательныя стремленія остановились надолго. Новообразованные органы государственнаго управленія продолжали дѣйствовать безъ измѣненій. Чрезъ много лѣтъ, именно въ 1827 году, 73-лѣтній Мордвиновъ представилъ новому государю свое «мнѣніе о коллегіальномъ и министерскомъ управленіи въ Россіи». Здѣсь онъ оцѣниваетъ результаты учрежденій, которыя онъ самъ нѣкогда привѣтствовалъ. Это мнѣніе на столько замѣчательно, что его полезно будетъ привести въ обширныхъ выпискахъ.

«Россия, говоритъ Мордвиновъ, со времени образованія ея Петромъ Великимъ, около столѣтія управлялась коллегіями. Но когда предѣлы сего царства получили обширнѣйшее пространство, и когда народъ русскій вошелъ въ новыя нужды и достигъ той степени просвѣщенія, при которыхъ коллегіальное управленіе признано было останавливающимъ дальнѣйшіе успѣхи его усовершенствованій, необходимо нужные, какъ для общаго благосостоянія, такъ и для частныхъ соотношеній и пользы, то блаженной памяти императоръ Александръ I уничтожилъ коллегіи и учредилъ министерства, дозволивъ имъ отступать отъ законовъ, но только отвѣчать за послѣдствія. * Съ тѣхъ поръ въ правленіи Россіи не всегда слѣдовали законамъ, а большею частью оно стало производиться по министерскимъ мнѣніямъ, кои государь императоръ утверждаетъ, и мнѣнія часто замѣняли законы.

«Сколь ни уважительна была для такой перемѣны причина и сколь, по видимому, ни полезнымъ казалось учрежденіе министерствъ, но уничтоженіе власти, исполняющей свято законы, и замѣщеніе оной другою, ничѣмъ не ограниченою и свободною, по умозаключеніямъ своимъ дѣйствующею, могло сдѣлать управленіе Россіи не твердымъ, часто измѣняемымъ, часто произвольнымъ, всегда зависящимъ отъ умственныхъ способностей и душевныхъ качествъ правителей. Но Сюлли, Кольберты и Питты рѣдко являются, а потому не всегда можно одному лицу, безъ нѣкоего опасенія предоставлять право отклоняться отъ законовъ и измѣнять оныя.

«Отъ ослабленія же силы законовъ и постоянного ихъ дѣйствія послѣдовали въ государственномъ благоустройствѣ многія неудобства.

«Неудобства еще болѣе начали возникать, когда министры успѣли отклонить отъ себя возложенную на нихъ учрежденіемъ отвѣтственность. Она единая могла воздержать самовластіе, остеречь въ предпріятіяхъ, остановить самонадѣянность, оградить права личныя и относящіяся къ собственности подвластныхъ имъ людей, увеличить

* Мордвиновъ говоритъ здѣсь о той доли дискреціонной власти, какая принадлежитъ, для исключительныхъ случаевъ, исполнительной власти, подъ условіемъ отвѣтственности. Ср. Св. З. Т. I, учр. Минист. ст. 195.

ихъ заботливостъ о доставленіи каждому и всѣмъ вообще высшей степени благосостоянія.

«Но министры, дабы выйти изъ такой отвѣтственности, которая могла быть для нихъ тягостною, открыли легчайшій къ тому способъ въ самомъ учрежденіи *комитета министровъ*. Они приняли правиломъ вносить въ оный на утвержденіе всѣ дѣла, до управленія ихъ касающіяся, сперва по важнѣйшимъ дѣламъ, а потомъ и всѣ безъ изъятія, и самыя мелочныя, дабы никогда и ни за что не отвѣчать, какія-бы послѣдствія отъ ихъ предположеній и представленій ни оказались; ибо каждое ихъ дѣйствіе, будучи разрѣшено общимъ сословіемъ министровъ и утверждено высочайшею властью, до нихъ лично коснуться не можетъ.

«Сему самому начали слѣдовать и всѣ подчиненныя имъ лица и мѣста, такимъ образомъ, что ни одинъ чиновникъ и никакое присутственное мѣсто не могутъ быть закономъ преслѣдуемы.

«Въ такомъ положеніи правительства, не только не могъ ускориться ходъ дѣлъ, но каждое дѣйствіе встрѣтило новое препинаніе и предполагаемая поспѣшность въ исполненіи зашѣнилась *сочиненіемъ бумагъ*. Онѣ размножились до безконечности, и дѣло, которое могло бы, при твердомъ соблюденіи законовъ, разрѣшиться капитанъ исправниковъ или городничимъ, проходить по разнымъ высшимъ инстанціямъ и оставляется безъ исполненія продолжительное время, а когда получается разрѣшеніе, то нерѣдко бываетъ, что оно не согласно съ случаемъ и неудобноисполнимо по мѣстнымъ обстоятельствамъ».

Затѣмъ Мордвиновъ разсматриваетъ невыгодныя послѣдствія такого порядка вещей для судебной власти, которая терпитъ, по его заявленію, отъ вмѣшательства въ ея область комитета министровъ.

«Всегда и вездѣ, продолжаетъ онъ, признаваемо было за непреложную истину, что *раздѣленіе властей* составляетъ совершенство правительствъ: законодательная, судебная и исполнительная власти должны въ упражненіяхъ и дѣяніяхъ своихъ быть раздѣлены. Одна не должна входить въ предѣлы обязанностей другой.

...«Нераздѣленіе властей въ турецкомъ правительствѣ сдѣлало то, что на поляхъ древней Греціи исчезло изобиліе урожаевъ и померкла красота земли. Въ великолѣпныхъ ея городахъ не осталось и слѣдовъ прежнихъ художествъ и наукъ, повсемѣстно-же водворилась дикость, уныніе и нищета. Нынѣ въ Аѳинахъ живутъ пастухи и гдѣ поучали Платоны и Сократы, тамъ кружатся съ крикомъ дerviши и бѣснуются юродивые ушомъ, коихъ почитаютъ святыми. Столь пагубно смѣшеніе властей, поставленныхъ для созиданія общественнаго и частнаго благоденствія и для удержанія въ здоровьи и силѣ царствъ земныхъ».

Самъ Мордвиновъ предлагалъ соединить начала управленія министерскаго съ коллегіальнымъ, въ которомъ онъ, опираясь на мнѣніе Петра Великаго, видѣлъ главное основаніе законности въ монархіи.

Особенное вниманіе его обращалъ вопросъ объ усовершенствованіи судебной части и исправленіи нашихъ уголовныхъ законовъ. Его рѣчи противъ смертной казни и кнута и въ настоящее время не потеряли своего значенія. Рѣчь противъ смертной казни представляетъ, кромѣ глубокихъ теоретическихъ соображеній, еще замѣчательное изъясненіе духа и смысла знаменитаго указа 1754 года, которымъ отиѣнялась смертная казнь. * «О исправленіи преступника, говоритъ онъ между прочимъ, никогда сомнѣваться не должно; не должно лишать себя надежды возвратить нѣкогда государству полезнаго гражданина, оставившаго прежнія заблужденія». Затѣмъ Мордвиновъ доказывалъ, что указъ 1754 г. дѣйствительно *отменилъ* смертную казнь въ принципѣ. Говоря противъ кнута и клеймъ, онъ взывалъ, главнымъ образомъ, къ уваженію, къ достоинству человека и достоинству самого государства.

«Съ того знаменитаго для человѣчества и правосудія времени, такъ начинается мнѣніе Мордвинова, когда европейскіе народы отиѣнили пытки, они истребили и орудія, которыми производимы были мученія. Одна Россія сохранила у себя кнутъ, орудіе, бывшее въ употребленіи при пыткахъ, одно названіе котораго поражаетъ ужасомъ русскій народъ и даетъ поводъ народамъ иностраннымъ заклю-

* Замѣчательно, что Мордвиновъ родился именно въ этомъ году.

чать, что Россія находится еще въ дикомъ состояніи, безъ просвѣщенія и *нравственныхъ понятій о челоѣкѣ, существѣ въ высшей степени чувствительномъ*.

Описавъ ужасъ и неравномѣрность тѣлеснаго наказанія, Мордвиновъ продолжаетъ: «доколѣ вѣнъ будетъ существовать въ Россіи, вѣнъ мы будемъ заниматься уголовнымъ уставомъ. Съ употребленіемъ вѣна напрасны будутъ уголовные законы, судейскіе приговоры и точность въ опредѣленіи мѣры наказанія. Дѣйствіе законовъ, исполненіе приговора и мѣры наказанія останутся всегда въ рукахъ и волѣ палача, который ста ударами сдѣлаетъ наказаніе легкимъ, десятью жестокимъ и увѣчнымъ, если не смертельнымъ.....»

«Законъ христіанскій, исповѣдуемый нами, возбраняетъ мученія, научаетъ кротости и милосердію, и началомъ всѣхъ добродѣтелей ставитъ любовь къ ближнему, къ *челоѣку*, который носитъ на себѣ печать величія и благодати Творца».

Таже мысль проникаетъ и возраженіе противъ наложенія клеймъ на лицѣ преступника.

«*Лицо челоѣка*, говорятъ Мордвиновъ, *Творецъ оживотворилъ чувствами души и знаменіями ума*. Эта одушевленная часть тѣла не долженствовала бы быть мѣстомъ поруганія, тѣмъ болѣе, когда однажды положенное пребываетъ неизгладимымъ».

Жалкое состояніе судебныхъ мѣстъ часто вызывало «мнѣнія» удивительнаго старца. Онъ ясно видѣлъ, что одними палктивными мѣрами нельзя достигнуть великой цѣли обезпеченія правосудія. Въ 1827 г. онъ высказалъ слѣдующія замѣчательныя слова: «Доколѣ будетъ существовать у насъ *тайное производство дѣлъ*, судьи не будутъ излагать мнѣній и заключеній своихъ при открытыхъ дверяхъ, и доколѣ честолубіе, свойственное каждому челоѣку и сильнѣе всѣхъ другихъ страстей на него дѣйствующее, не будетъ подвержено *сужденію народнаго мнѣнія съ похвалами или укоризнами*, лихоимство трудно искоренить, ибо тайный судъ влечетъ за собою удобно и тайныя злоупотребленія, а тяжущіеся, по самой необходимости, вынуждаются быть лиходеателями».

IV.

Всѣ формальныя обезпеченія личныѣхъ правъ, вся твердость закона не достигаетъ своей цѣли, если самое *содержаніе* закона не удовлетворительно и если общественныя условія не вызываютъ того, для чего нужны личныя гарантіи — личной предприимчивости и творчества.

Мы обратимся теперь къ этой сторонѣ дѣятельности Мордвинова. Обширное поле представлялось его критическому уму и преобразовательнымъ стремленіямъ. Его «мнѣнія» столько-же обширны и разнообразны, какъ вопросы, ихъ вызвавшіе. Содержаніе ихъ вообще можетъ быть очерчено однимъ знаменитымъ изреченіемъ адмирала:

«Дайте свободу мысли, рукамъ, всѣмъ душевнымъ и тѣлеснымъ качествамъ человѣка; предоставьте всякому быть тѣмъ, чѣмъ его Богъ сотворилъ, и не отнимайте, что кому природа особенно даровала. Мѣра свободы есть мѣра приобретаемаго богатства. Учредите общественную пользу на частной».

Приступая къ частностямъ, необходимо прежде всего остановиться на вопросѣ, какъ Мордвиновъ относился къ тому явленію, которое было главнѣйшимъ препятствіемъ правильнаго развитія Россіи — къ *крѣпостному праву*. Извѣстно съ какою силою былъ поднятъ этотъ вопросъ вначалѣ царствованія Александра I и какъ рѣзко опредѣлилось положеніе двухъ различныхъ партій, изъ которыхъ одна (Ростопчинъ, Державинъ и др.) столько противодѣйствовала всѣмъ попыткамъ преобразованія, а другая (главнымъ образомъ братья Тургеневы) полагала, что отиѣною крѣпостнаго права должны быть начаты всѣ другія реформы. Мордвиновъ не принадлежалъ ни къ той, ни къ другой партіи. Но изъ этого ни какъ не слѣдуетъ, чтобы онъ былъ противникомъ эмансипаціи. Сколько можно понять изъ отзывовъ Н. И. Тургенева (*La Russie et les Russes*), человѣка наиболѣе компетентнаго въ этомъ дѣлѣ, споръ между нимъ и Мордвиновымъ шелъ только о *мѣстѣ* предполагаемой реформы въ ряду другихъ и о *способѣ* ея осуществленія. Тургеневъ полагалъ что расширенію политическихъ правъ высшихъ сословій должно предшествовать освобожденіе крестьянъ отъ частной зави-

симости, что «грѣшно думать о свободѣ политической» тамъ, гдѣ миллионы не имѣютъ еще свободы естественной, и что эмансипація должна совершиться разомъ, актомъ верховной власти. Мордвиновъ думалъ прежде всего о расширеніи политическихъ правъ. Онъ не вѣрилъ въ возможность быстрого освобожденія крестьянъ — разомъ приобретенная свобода казалась ему непрочною. Притомъ освобожденіе крестьянъ отъ частной зависимости казалось ему «одною изъ иждъ освобожденія крестьянъ отъ зависимости и возбужденія народной дѣятельности». Онъ понималъ (что немногіе видѣли въ его время), что кромѣ частнаго крѣпостнаго права, есть еще государственное закрѣпощеніе крестьянъ, вытекающее изъ неправильной финансовой системы, и стѣсняющее правильное развитіе народнаго хозяйства.

Какъ онъ вообще смотрѣлъ на крестьянскій вопросъ, видно изъ слѣдующихъ словъ его: «болѣе сорока миллионовъ душъ народа составляютъ рабовъ казны и дворянскому сословію въ собственность принадлежащихъ. Умъ и руки рабовъ неспособны къ порожденію богатства. Свобода, собственность, просвѣщеніе и правосудіе суть единственные источники онаго».

Мордвиновъ не останавливался на однихъ общихъ взглядахъ и благопожеланіяхъ. Въ 1818 г. онъ подалъ проектъ постепеннаго освобожденія крестьянъ на слѣдующихъ началахъ.

«Въ природѣ, говоритъ онъ, мы видимъ что всѣ явленія ея суть слѣдствія постоянныхъ причинъ. Тихое и постепенное теченіе времени даетъ жизнь, ростъ и зрѣлость всему; крутыя-же и быстрыя событія въ естествѣ производятъ вѣчно вихри и бури, наводненія, землетрясенія и разрушенія.... Народу, пребывшему вѣка безъ сознанія гражданской свободы, даровать ее изреченіемъ на то воли властителя — возможно, но знанія пользоваться ею во благо себѣ и обществу даровать законоположеніемъ — не возможно. Въ семъ соображеніи, дарованіе свободы тогда только не сопровождается ни какими ощутительными неудобствами, ни вредными послѣдствіями, когда располагаемо бываетъ съ нѣкоторою постепенностію, когда свободными дѣлаются не всѣ вмѣстѣ и одновременно, безъ возрѣнія на степень просвѣщенія и спѣлости всего, что въ гражданскомъ состояніи относится къ человѣку, но когда благо это представляется въ

видъ награды трудолюбія и приобретаемому умомъ достатку, ибо этихъ только ознаменовывается всегда зрѣлость гражданскаго состоянія. И такъ, одно *споспѣшествованіе*, какое предержащей властью можетъ оказано быть народу въ достиженіи независимаго состоянія безопасно, заключается въ томъ, если *мира освобожденія* отъ зависимости учреждена будетъ закономъ.

Подъ именемъ *«мира освобожденія»* Мордвиновъ разумѣлъ *размѣръ выкупной цѣны*, которая должна быть (для разныхъ возрастовъ различно) опредѣлена закономъ. Внося ее, крестьянинъ ipso jure становился свободнымъ.

Идея, содержащаяся въ мнѣніи Мордвинова, очень ясна. Крестьяне, при содѣйствіи закона, должны, такъ сказать, *завоевать себѣ свободу своимъ трудомъ*. Тогда только она будетъ прочнымъ ихъ достояніемъ, тогда только они будутъ умѣть пользоваться этимъ благомъ. Онъ постоянно настаивалъ на необходимости приступить къ реформѣ; въ 1833 г. онъ горько жаловался: «со временъ Петра Великаго скорбимъ о судьбѣ рабовъ нашихъ, крестьянъ, и за всѣмъ тѣмъ, оставляя въ полной силѣ рабство, не испытываемъ-ли одну суету заботъ? Всякое предпріятіе безъ начала никогда не поведетъ къ назидательному успѣху. Кто не вступаетъ на прямую стезю, тотъ на пути заблуждается и не достигнетъ своего мѣста».

Если Мордвиновъ и заслуживаетъ, въ данномъ случаѣ, упрековъ, то во первыхъ они относятся въ равной мѣрѣ ко всѣмъ эмансипаторамъ александровской эпохи, не исключая Тургеневыхъ. У нихъ не было мыслей объ освобожденіи крестьянъ *съ землею*, потому что важный экономическій вопросъ о пролетаріатѣ не представлялся еще умамъ тогдашняго общества. Далѣе, совершенно ложною представляется мысль, что личная свобода подлежитъ выкупу. Смыслъ можно сказать, что еслибы планъ Мордвинова былъ принятъ, вопросъ объ эмансипаціи затянулся-бы на безконечное число лѣтъ. Но не должно забывать, что Мордвиновъ твердо стоялъ на почвѣ тогдашнихъ юридическихъ и экономическихъ воззрѣній и что планъ выкупа былъ результатомъ не своекорыстныхъ реакціонныхъ соображеній, какъ у Ростопчина, а глубоко-продуманныхъ соображеній, отъ которыхъ онъ не отступалъ. Что касается теоріи *постепенности*, то *мы*, не

задумавшись отвергли-бы ее въ царствованіе императора Александра II. Это было уже слишкомъ чувствительно, крѣпостное право во второй половинѣ XIX ст. было черезъ чуръ большимъ анахронизмомъ, чтобы думать о «постепенномъ» его уничтоженіи. Но въ царствованіе Александра I въ пользу постепенности можно было привести много доводовъ, хотя бы тотъ, что тогдашнее правительство рѣшилось бы, на такихъ основаніяхъ, приступить къ разрѣшенію крестьянскаго вопроса и тѣмъ облегчить задачу будущихъ поколѣній.

Наибольшую извѣстность Мордвиновъ приобрѣлъ себѣ своими извѣніями о финансовыхъ и экономическихъ вопросахъ. Не обзрѣвая ихъ во всей подробности, остановимся на тѣхъ частяхъ, въ которыхъ болѣе всего выражается основное стремленіе Мордвинова «учредить общественную пользу на частной», и вызвать къ полезной дѣятельности народныя силы.

Адмиралъ, съ самаго учрежденія государственнаго совѣта, попалъ на плохое управленіе государственнымъ казначействомъ и безмѣрный выпускъ ассигнацій, породившій упадокъ курса и общее разстройство.

«Исторія всѣхъ народовъ, писалъ онъ, повѣствуетъ грозно и доказываетъ убѣдительно, что возвышеніе и упадокъ, богатство и скудность, сила и слабость царствъ, зависятъ непосредственно отъ мѣръ, принимаемыхъ по управленію государственнымъ казначействомъ. Съ этимъ благоденствіе частное и всѣхъ вообще соединено неразрывно.

«Никакая мѣра, разстроивающая государственное казначейство, не можетъ истощить надъ нимъ единымъ пагубнаго вреда своего, но выходитъ въ наружу и дѣйствуетъ на всѣ частныя имущества, въ ущербъ и часто въ самое потребленіе ихъ...

«Но изъ всѣхъ наиболѣе государственное казначейство разстроивающихъ мѣръ, признано уже вреднѣйшею излишество бумажной монеты противъ должнаго количества, удерживающаго единство монеты.

«Съ этимъ тѣсно соединены: достоинство имуществъ, успѣхъ промышленности, надежный ходъ торговли, взаимное довѣріе, внутренняя тишина, благость нравовъ, довольство частное и богатство общественное. При немъ только силенъ царь, силенъ и народъ. Безъ него

весь государственный состав разрушается, или приближается къ неминуемому и скорому паденію....

«Ни какая несправедливость личная, ни какое оскорбленіе права общественнаго, какъ бы они извѣстны ни были, не могутъ имѣть столь разительнаго дѣйствія на умы и сердца подданныхъ, какъ прискорбіе потеряннаго монетою достоинства. *Рубль есть достоиніе каждаго, богатаго и бѣднаго*, и малѣйшая часть его, отнятая у него, преобразуется въ похищеніе великое, простирающееся на все количество стяжаемаго, наслѣдуемаго, или работою рукъ прибрѣтаемаго....

«Тогда и самые законы теряютъ свою силу, добродѣтель лишается твердости, и порокъ извинять и отчасти оправдывать себя можетъ. Самое наказаніе преступникамъ, по строгости законовъ опредѣляемое дѣлается несправедливымъ, какъ противное уставу природы; ибо сила и дѣйствіе закона тогда только праведны, когда согласуются съ природою и ею могутъ быть оправданы. Какъ судья не лихоимствовать, когда исторженіе у подсудимаго издѣе остается ему, можетъ быть, единственнымъ средствомъ спасенія отъ глада и нищеты драгоценнѣйшихъ сердцу его лицъ: жены, дѣтей, престарѣлыхъ родителей, и когда монета, которою вознаграждается его служба, болѣе его лихоимствуетъ? ибо не отъ одного, но отъ всѣхъ безпощадно похищаетъ».

Изложивъ, затѣмъ, исторію ассигнацій въ Россіи, средства исправленія государственнаго хозяйства, Мордвиновъ указываетъ на что можетъ и должна обратиться послѣ того дѣятельность правительства.

«Тогда, говоритъ онъ, благословенный нынѣ за великіе военные подвиги Александръ I, возможетъ покрыть себя дѣйствительно неуваждемою во вѣки славой отечества; ибо будетъ въ состояніи произвести слѣдующіе великодушные виды и предположенія:

«1-е. Уплатить всѣ долги и утвердить довѣріе къ правительству.

«2-е. Возвысить оклады жалованья по всѣмъ частямъ государственной службы.

«3-е. Исключить изъ доходовъ государственныхъ всѣ статьи, соединенныя съ развращеніемъ народной нравственности (откупная система) и слѣдовательно подающія поводъ къ безчисленнымъ злодѣяніямъ, пагубнымъ для лицъ и для общества.

«4-е. Снять налоги съ капиталовъ, служащихъ источниками доходовъ и уничтожить подати, воспрепятствующія распространенію полезнаго труда (уничтоженіе гильдій).

«5-е. Устроить повсемѣстно дороги съ гостинницами и прочими удобствами, такъ нужными въ государствѣ, когда правительство заботится о развитіи промышленности и торговли.

«6-е. Размножить водяныя сообщенія соединеніемъ между собою рѣкъ, протекающихъ на всемъ пространствѣ имперіи, и усовершенствовать морскія и рѣчныя пристани.

«7-е. Устроить по городамъ гостинницы, для избавленія жителей отъ постоевъ, препятствующихъ приходить имъ въ цвѣтущее состояніе, и въ каждомъ городѣ соорудить все, что для него необходимо и полезно.

«8-е. осушить болота, и тѣмъ какъ-бы воскресить великія пространства земли, покрытой нынѣ кочками, бесплоднымъ мхомъ и стоячею водою, очистивъ вмѣстѣ съ тѣмъ воздухъ отъ гнилыхъ вредныхъ испареній.

«9-е. Завести въ разныхъ мѣстахъ общества, могущія способствовать развитію знаній по части сельскаго хозяйства, съ обращеніемъ вниманія на сельскія орудія, зерна и домашнія животныя, по каждому роду ихъ.

«10-е. Усилить повсемѣстное распространеніе народнаго просвѣщенія размноженіемъ числа училищъ, заведеніемъ народныхъ книгохранилищъ, преподаваніемъ публичныхъ лекцій земледѣлія, механики, физики, химіи, минералогіи и металлургіи, какъ наукъ, способствующихъ существенному просвѣщенію; и вообще говоря, чтобы составить капиталы для многихъ полезныхъ установленій, не существующихъ нынѣ, но для усовершенствованія благосостоянія народнаго необходимыхъ».

Въ этой программѣ Мордвиновъ часто возвращался, пополняя ее и развивая въ подробностяхъ. На сколько позволяли личныя средства одного человѣка, онъ содѣйствовалъ и осуществленію ея. Въ этомъ краткомъ очеркѣ, каковъ настоящій, невозможно даже исчислить всего, что сдѣлано или проектировано неутомимымъ адмираломъ.

Укажемъ только на основныя стремленія, проникающія всѣ его

труды. Поднять производительность страны путем поощрения, освобождения и просвещения народного труда; охранить трудовую личность от неправды финансовой, от извращения, зависящего от ложной системы обложения — таковы цели воодушевлявша Мордвинова.

Еще в 1801 г. онъ созналъ великое значеніе кредита, въ смыслѣ силы, вызывающей къ дѣлу народную предпріимчивость. Въ этомъ году онъ представилъ государю проектъ «трудо-поощрительнаго банка». По мысли автора, цѣль банка заключалась въ томъ, чтобы «всеми образами вспомошествовать, поощрять и возбуждать охоту къ трудолюбію, какъ источнику, изъ котораго истекаетъ богатство, изобиліе, сила и благоденствіе народное, а потому всякій, искусный въ хозяйственныхъ заведеніяхъ, но не имѣющій достатка къ произведенію своихъ умозрѣній въ дѣйство, прибѣгаютъ съ просьбою къ главному правленію и получаютъ отъ него руку помощи».

Проектъ этотъ остался безъ движенія. Но Мордвиновъ неутомимо проловѣдывалъ о необходимости дать кредитнымъ установленіямъ болѣе широкое развитіе. Въ 1811 г. онъ написалъ проектъ объ учрежденіи частныхъ банковъ по городамъ; въ 1816 всѣ его идеи по этому предмету были изложены въ сочиненіи: «Разсужденіе о могущихъ послѣдовать пользахъ отъ учрежденія частныхъ по губерніямъ банковъ». Оно выдержало три изданія въ Россіи, не смотря на полное равнодушіе къ нему сферъ официальныхъ и литературы. Но за границею, гдѣ сочиненіе Мордвинова стало извѣстно по французскому переводу, оно вызвало сочувственные отзывы въ журналахъ и ученой литературѣ.

Трудъ необходимо было не только поощрять, но и освободить. Трудъ, закованный въ рамки крѣпостнаго права (для крестьянъ), цеховыя и гильдейскія формы (для купцовъ и ремесленниковъ), не представлялъ ручательства для экономического прогресса страны. Въ 1826 г. Мордвиновъ подалъ новому государю много проектовъ, между которыми первое мѣсто занимаетъ: «начертаніе мѣръ, коими постепенно возможно было бы улучшить народное благосостояніе и государственные доходы». Здѣсь, какъ и въ другомъ специальномъ

мнѣніи, Мордвиновъ настаиваетъ на уничтоженіи гильдій, сковывающихъ торговлю и промышленность, на освобожденіи крестьянъ отъ личныхъ повинностей, съ замѣною ихъ вольнымъ наймомъ, на облегченіи перехода крестьянъ въ торговые и городскіе классы; на *опредѣленіи закономъ цѣны для выкупа* крестьянъ отъ помѣщиковъ и т. д.

Въ слѣдующемъ году, по поводу обзорѣнія росписи государственныхъ доходовъ и расходовъ, Мордвиновъ имѣлъ случай высказать снова свои взгляды на экономическую политику. Онъ настаивалъ на необходимости сокращенія арміи, по крайней мѣрѣ до 400.000 и расходовъ на 50 милліоновъ. На эти сбереженія правительство могло-бы сдѣлать много для улучшенія хозяйственнаго быта страны, именно устроить *железныя дороги*, снять подати съ капиталовъ, объявить свободу внутренней торговли, отменить личную повинность крестьянъ, учредить сельскіе вспомогательные банки, увеличить бюджетъ министерства народнаго просвѣщенія и судебнаго вѣдомства и т. п.

Не менѣе важны мнѣнія Мордвинова о просвѣщеніи и должномъ направленіи народнаго труда. Въ этомъ отношеніи его дѣятельность разнообразна. Во первыхъ, онъ при каждомъ удобномъ случаѣ настаивалъ на необходимости общаго образованія и притомъ образованія въ насѣ. «Просвѣщеніе, говаривалъ онъ, есть начало народнаго богатства. Не руки человѣка даютъ плодородіе землѣ; не ими процвѣтаютъ художества, торговля, промышленность; не ими умножаются и возростаютъ денежныя капиталы: умъ и наука суть орудія богатства». Вслѣдствіе этого, онъ постоянно предлагалъ увеличить средства министерства народнаго просвѣщенія, расширить кругъ его задачъ, не жалѣть денегъ на учрежденіе сельскихъ школъ, народныхъ читаленъ, публичныхъ библіотекъ, устраивать публичныя лекціи по предметамъ общепользнымъ.

Во вторыхъ, адмиралъ спеціально нападалъ на отсталость Россіи въ отношеніи экономическаго образованія. Его поражало отсутствіе у насъ техническихъ свѣдѣній, отъ котораго зависитъ отсталость системъ сельскаго хозяйства. Онъ горько жаловался и на самое *направленіе* промышленности. Его поражалъ тотъ знаменательный

фактъ, что промышленность направлена на производство ненужныхъ предметовъ роскоши больше, чѣмъ на производство предметовъ первой и ежедневной необходимости.

«Лестъ, писалъ онъ, громко твердить, что Россія во всемъ преуспѣваетъ и ходъ ея просвѣщенія гораздо быстрѣе, въ сравненіи съ другими народами. Не говоря уже о противномъ тому, куда мы ни обратимся по внутреннимъ ея дорогамъ, стоитъ только выѣхать изъ воротъ Петербурга и Москвы, то должны будемъ убѣдиться, что Россія находится и нынѣ въ дѣломъ, и неблагообразномъ древнемъ ея видѣ. Первая, процвѣтавшая въ Россіи фабрика, была *парчевая*. За пятьдесятъ лѣтъ назадъ мы выливали зеркала такой величины, какой ни одна роскошнѣйшая въ Европѣ страна не имѣла; дѣлали *фарфоровыя вазы*, огромностию, живописью и позолотою удивлявшія иностранцевъ, но не было у насъ ни хорошихъ для оконъ *стеколъ*, ни *линяной посуды*, необходимо нужныхъ для каждого дому; гранили хрусталь на подобіе драгоценныхъ камней, но не имѣли бутылокъ; имѣли столы съ преузорочною на нихъ наклею изъ разноцвѣтныхъ деревъ, но топорами въ лѣсахъ обдѣлывали доски и домашнюю утварь; построили въ Ямбургѣ огромнѣйшія зданія для суконной фабрики, а на овцахъ нашихъ росла простая, грубая шерсть, и обширныя степи наши лежали впустѣ, безъ овечьихъ стадъ; кареты наши не уступали англійскимъ, но на торговыхъ площадяхъ нашихъ видимъ чухонскія двухколесныя тележки; носимъ московскаго произведенія тафту, гродетуръ и атласъ, а полотна на рубашки наши покупаемъ у голландцевъ и англичанъ; вышиваемъ золотыми нитками блестящіе уборы, льняныя-же нитки сучимъ на веретенахъ, намачивая оныя слюною, при лучинѣ, на верстахъ свѣтящей; украшаемъ дома наши бронзою собственнаго рукодѣлія, а иждъ очищаемъ не иначе, какъ очищали ее въ другихъ странахъ за 80 лѣтъ назадъ; дѣлаемъ отличные ланцеты и хирургическіе инструменты, а серпы, косы, ножи и вилки выписываемъ изъ чужихъ краевъ; имѣемъ великолѣпный С.-Петербургскій ботаническій садъ, со всѣми рѣдкими произрастеніями отдаленнѣйшихъ странъ міра, а на поляхъ нашихъ повсемѣстно существуетъ паренина, изнурающая скотъ; имѣемъ огромныя и многочисленныя зданія, но нѣтъ у насъ ни од-

ного малаго дома для школы взаимнаго обученія; С.-Петербургъ, великолѣпнѣйшій въ мірѣ городъ, окруженъ болотами какъ драгоцѣнный брилліантъ, въ свинецъ обложенный; всѣ мы почти говоримъ и пишемъ по французски, а своего природнаго русскаго языка не знаемъ».....

Какое обширное поле для каждого, кто захотѣлъ бы дать силамъ своего отечества новое и лучшее направленіе! Къ сожалѣнію, людей подобныхъ Мордвинову вездѣ немного. Но за то эти «немногіе» надѣляются способностію къ неустойчивой и разнообразной дѣятельности. Кромѣ «миѣній», подаваемыхъ въ государственный совѣтъ и лично государю, Мордвиновъ вліялъ на улучшеніе экономическаго быта другими путемъ, болѣе практическимъ. Именно, онъ воспользовался своимъ положеніемъ президента вольнаго экономическаго общества для того, чтобы осуществить по возможности многіе изъ своихъ плановъ. Таковы его заботы о распространеніи и организаціи оспопрививанія, улучшенія гигиеническихъ условій, системъ и орудій сельскаго хозяйства, учрежденіи публичныхъ бібліотекъ, публичныхъ лекцій по предметамъ сельскаго хозяйства, изданіи полезныхъ книгъ, причѣмъ онъ самъ былъ авторомъ нѣкоторыхъ изъ нихъ.

Наставляя на поощреніи и свободѣ народнаго труда, Мордвиновъ старался привести въ связь коренныя начала свободнаго производства съ началами государственнаго хозяйства, отсталость котораго въ Россіи онъ смѣло обличалъ. Основныя воззрѣнія на соотношеніе частнаго и государственнаго хозяйствъ высказаны имъ въ его трудѣ о банкахъ. Сравнивая экономическое положеніе Англіи и Франціи, онъ говоритъ между прочимъ:

«При всѣхъ естественныхъ неудобствахъ Англіи, ея сельское хозяйство, скотоводство, города, флотъ, порты, внутреннія сообщенія достигли совершенства... Но что произвело такое преуспѣяніе Англіи? Во первыхъ, благоуваженіе къ частной собственности, справедливѣе сказать укрѣпленность прикосновенія къ оной, взимаемая общественные доходы не отъ капиталовъ частныхъ, но отъ доходовъ получаемыхъ съ капиталовъ; во вторыхъ, полезная древняя переимѣна личныя повинностей въ денежныя, уравненныя по всѣмъ состояніямъ; наконецъ, утвержденіе народнаго довѣрія на неизмѣнной правотѣ, по-

стоянныхъ правилахъ и строгости законовъ, охраняющихъ всякую собственность».

Съ этой точки зрѣнія Мордвиновъ разбиралъ систему налоговъ какъ существовавшихъ, такъ и вновь предлагавшихся на разсмотрѣніе государственному совѣту. Въ 1821 г. графъ Гурьевъ представилъ проектъ нѣсколькихъ новыхъ пошлинъ, поражающихъ разныя имущества и гражданскіе акты, именно пошлинъ съ наслѣдствъ, съ духовныхъ завѣщаній и т. п. Возражая противъ проекта, Мордвиновъ высказалъ слѣдующее общее положеніе:

«Учреждаемые вновь министромъ финансовъ налоги *лежатъ на капиталахъ*. Сколь невыгодно и опасно къ нимъ прикасаться, ближайшимъ примѣромъ служить Франція. Она взидала государственные доходы болѣе изъ капиталовъ, нежели *изъ доходовъ частныхъ людей* и, слѣдуя этому порочному управленію финансовъ, менѣе получала доходовъ съ двойнаго числа народа, нежели Англія съ половиннаго...

«Налоги всегда порочны и не хозяйственны, когда бываютъ взимаемы не изъ доходовъ, получаемыхъ частными людьми, но изъ капиталовъ, приносящихъ имъ доходы; ибо цѣлость частныхъ капиталовъ увеличиваетъ и общее богатство народа, а съ оскудѣніемъ ихъ, естественно, что и государственное казначейство не можетъ почерпнуть впродъ своихъ доходовъ въ изобильномъ количествѣ. Подобные налоги и самую цвѣтущую и богатыми жатвами покрытую землю превращаютъ въ дикую и безплодную пустыню; поля и города древней Греціи преобразуютъ въ удѣлы, принадлежащія теперь турецкому владычеству».

Такъ за пятьдесятъ лѣтъ до нашего времени Мордвиновъ защищалъ систему *подходнаго налога* и доказывалъ необходимость перемѣны личныхъ повинностей, лежащихъ исключительно на низшихъ классахъ, въ денежныя, притомъ «уравненные по всѣмъ состояніямъ».

Нечего объяснять, какъ относился онъ къ такимъ формамъ налоговъ, успѣхъ которыхъ свидѣтельствуетъ объ упадкѣ народной ответственности и обыкновенно не мыслимъ безъ разстройства существенныхъ экономическихъ силъ. Мы говоримъ объ *отсутной* системѣ, всегда имѣвшей въ немъ непримиримаго врага. Въ 1838 г., по по-

воду возобновленія питейнаго откупа на новое четырехлѣтіе, Мордвиновъ представилъ въ государственный совѣтъ слѣдующее мнѣніе:

«Во всю мою жизнь я пламенѣлъ желаніемъ зрѣть въ полномъ счастьи отечество мое и въ немерцающей славѣ всеавгустѣйшихъ монарховъ моихъ. Если бы пламень сихъ чувствованій, когда уже стою я при дверяхъ гроба, и могъ угаснуть и оставалась-бы одна искра прежней моей горячности, то и тогда я не умолчалъ-бы высказать правду предъ тѣмъ, коего твердой волѣ предвѣчныя судьбы предоставили, на пространнѣйшей площади земнаго шара, устроить благоденствіе многочисленнѣйшаго народа.

«Сколь торжественно для каждого благомыслящаго человѣка видѣть во всякомъ цѣловальникѣ, стоящемъ за винною стойкою, невольное покушеніе на обманъ и злоухищреніе; ибо само правительство побуждаетъ его на сіи пороки, предоставивъ ему право пользоваться только каплями, падающими изъ чарки, держимой дрожащею рукою пьяницы; — видѣть въ цѣловальникѣ представителя власти... предавшей ему за деньги такое право; видѣть въ каждомъ человѣкѣ, выходящемъ изъ кабака, упоеннаго огненнымъ напиткомъ, съ тѣломъ разслабленнымъ и съ духомъ, уготованнымъ на всякое злодѣяніе; видѣть умирающаго человѣка отъ излишняго упоенія симъ губительнымъ напиткомъ; видѣть погрязшими въ сѣмъ развратѣ не одну тысячу, но сотни тысячъ людей, уставомъ виннымъ побуждаемыхъ къ тому; видѣть тощіе доходы, государственнымъ казначействомъ получаемые; и знать, что главною причиною сего существеннаго недостатка для блага имперіи, есть винный уставъ, поощряющій ежегодно распространеніе пьянства въ народѣ, — все сіе возбраняетъ мнѣ утвердить подписью моею то, что я нахожу совершенно вреднымъ и для мильоновъ народа и для всего государства».

Таковъ былъ этотъ государственный человѣкъ дней минувшихъ. Послѣ всего сказаннаго врядъ-ли необходимо еще разъ обращаться къ оцѣнѣ того, что каждымъ можетъ и должно быть оцѣнено по достоинству. Нельзя не обратить вниманія только на одно обстоятельство, важное для нашего времени. Перечитывая мнѣнія Мордвинова и труды лучшихъ изъ его современниковъ, нельзя не замѣтить

что их волновали тѣ же стремленія и цѣли, какія находятъ себѣ выраженіе въ преобразованіяхъ нашего времени. Не одна отчѣна крѣпостнаго права занимала всѣ умы. Реформы въ области государственнаго хозяйства, въ судѣ, въ администраціи, въ хозяйственной политикѣ, въ народномъ образованіи, въ системѣ повинностей, волновали лучшіе умы нашего общества съ начала нынѣшняго столѣтія. Какой урокъ для тѣхъ, чьи своекорыстные возгласы набрасываютъ тѣнь на все совершившееся съ 1861 г., чьи мнѣнія клонятся къ доказательству преждевременности и поспѣшности совершившагося. Давайте намъ больше матерьяловъ нашей современной исторіи, выводите на свѣтъ лежащіе еще подъ спудомъ думы и желанія людей прошлаго и всѣмъ будетъ ясно, что все совершившееся нынѣ не есть прихоть минуты, плодъ увлеченія модною идеею, а священный завѣтъ лучшихъ изъ предковъ нашихъ, выносившихъ его въ своемъ умѣ и сердцѣ. Если бы наше время не приняло эти послѣднія мысли за священный залогъ, они превратились-бы въ осужденіе ему. Если въ доказательство «несвоевременности и поспѣшности» любятъ приводить отдѣльные факты неудачнаго примѣненія новыхъ законовъ — факты, извѣстность которыхъ зависитъ также отъ одного изъ лучшихъ достояній нашего времени, гласности, тогда какъ многочисленныя злоупотребленія прошлаго прикрывались безмолвіемъ, — то лучшимъ отвѣтомъ на эти вопросы могутъ послужить слѣдующія слова того же Мордвинова: «частные случаи никогда не должны служить поводомъ къ уничтоженію, или потрясенію общихъ правъ и коренныхъ законовъ».

А. Градовскій.

ДВА ИНКВИЗИТОРА.

Изъ трагедіи Никколини: «Антоніо Фоскарини». *

АКТЪ II. Сцена III.

КОНТАРИНИ.

Въ тяжелыя минуты застаешь
Меня приходи твой, Лоредано, — горе
Семейное гнететъ меня — и жду
Я отъ тебя полезнаго совѣта...

ЛОРЕДАНО.

Прости.. но я сегодня нѣмъ и глухъ
Къ тревогамъ мелкимъ суеты вседневной...
Мой духъ — иной заботою объять,
Иныхъ идей величіемъ взволнованъ!

* Джіовани Баттиста Никколини (р. 1789 † 1861) поэтъ, пользующійся громадною славой въ Италіи, извѣстенъ у насъ чуть-ли не по имени только. Ни одно изъ его произведеній не переведено по русски, за исключеніемъ небольшого отрывка изъ трагедіи: «Арнальдъ да Бреція», напечатаннаго въ «Сборникѣ Иностранныхъ Поэтовъ», гг. Берга и Костомарова. Причиной этого, кромѣ равнодушія, господствующаго вообще въ русской литературѣ къ литературѣ итальянской, отчасти и самый характеръ творчества Никколини, политическій и исключительно національный. Большая часть его трагедій и другихъ произведеній написаны преимущественно для проведенія идей необходимости національной независимости для Италіи или направлены противъ свѣтской власти папы. Лучшія его трагедіи «Джіовани да Прочинда» и «Арнальдъ да Бреція» поэтому, по признанію критиковъ, суть не что иное какъ «революціонный крикъ (grido revolutionario)» и по нашимъ цензурнымъ условіямъ — непереводемы. «Антоніо Фоскарини» счи-

Знай... я провелъ сегодня ночь безъ сна
 Надъ чтеніемъ намъ однимъ доступной книги; *
 Съ ея страницъ суровыхъ на меня
 Повѣяло минувшимъ — нашихъ дѣдовъ
 Мысль трезвая и разумъ прозорливый
 Вполнѣ предъ мной открылись... понялъ я
 Значеніе вѣры ихъ неумолимой
 Въ могущество спасительнаго страха!...
 Я размышлялъ не мало... и теперь
 Проникъ я въ смыслъ глубокой нашей силы
 И власти; я теперь постигъ вполнѣ
 И знаю, чѣмъ быть долженъ инквизиторъ,
 На что странѣ мы нужны въ наши дни...

КОНТАРИНИ.

И ты пришелъ, чтобъ научить меня
 Какъ дѣйствовать намъ сообща отнынѣ?

ЛОРЕДАНО.

Ты отгадалъ. Должна здѣсь наша власть
 Безпечною и дремлющей казаться,
 Но въ тоже время тысячью очей
 Все видѣть, — слышать тысячью ушами.
 Обязаны не только проникать
 Мы въ смыслъ рѣчей, людьми произносимыхъ,

тается тоже одною изъ его лучшихъ трагедій. Написана она въ 1826 г. — и имѣла такой громадный успѣхъ на сценѣ, что тотчасъ же была переведена на всѣ европейскіе языки. Замѣчательно, что на нѣмецкій языкъ (прозою) перевелъ ее принцъ Луи Бонапартъ, впоследствии императоръ Наполеонъ III. Другой изъ членовъ этой семьи, приобрѣтшій себѣ впоследствии такую печальную извѣстность убійствомъ Виктора Нуара, тотъ перевелъ въ молодости, но уже на французскій языкъ, другую трагедію Никколини «Навуходоносоръ» — представляющую собою аллюзію на судьбу Наполеона I.

* «Статутъ Инквизиціи», заправшійся въ особенномъ ящикѣ, ключъ отъ котораго хранился въ теченіе мѣсяца поочередно у одного изъ инквизиторовъ Совѣта Трехъ, для того чтобъ каждый изъ нихъ могъ его безпрепятственно и подробно изучать.

Но на лету не выданное ими
Ловить во взглядъ, жестъ, вздохъ самомъ...
Присутствовать повсюду мы должны
Гдѣ для порока — шумное приволье,
На празднествахъ тщеславныхъ, на гуляньяхъ —
Гдѣ люди забываютъ осторожность.
Минуты увлеченій вызываютъ
Порою наслажденія... въ тѣ минуты
Должны мы въ бездны сердца проникать,
Чтобъ тайны ихъ выкрадывать... ихъ выдать
Тогда одно мгновеніе намъ можетъ:
Неосторожно сказанное слово,
Какъ молнія, порою освѣщаетъ
Всю жизнь и всѣ стремленія человѣка.
Да! наша власть могуча и страшна
И нѣтъ границъ ей!... до всего достигнуть
Мы можемъ силой всемогущей тайны...
Ей — людямъ ночь страшна... и безъ нея
Нѣтъ ни одной въ природѣ силы грозной!

КОНТАРИНИ.

Ты правъ вполне: венеціанскій умъ
Насъ мракомъ тайны окружилъ недаромъ.
Кто избранъ изъ Совѣта Десяти
Бываетъ въ инквизиторы — не знаетъ
О томъ никто, — и наши имена
Ни сильнымъ, ни народу неизвѣстны;
Порокъ о нихъ догадываться можетъ,
Но спрашивать ни у кого не смѣетъ,
Преступникъ часто предъ своимъ судьей
Находится и самъ того не зная...
Мы — Высшему подобно существу
Невидимы и вмѣстѣ вездѣсущи!...

ПОРЕДАНО.

И можемъ мы за то, какъ Божій громъ,
 Испепелять неожиданно нечестивыхъ!
 Но въ этомъ, Контаринъ, еще не все
 Удобство тайны: для того скрываемъ
 Мы отъ людей причины наказанья
 И родъ его, что слабый умъ людской
 Всего сильнѣй — изъзнанье устрашаетъ...
 Должны мы о судилищѣ своемъ
 Таковую мысль поддерживать въ народѣ —
 Что каждый ложный шагъ его мы знаемъ
 И вмѣстѣ — не прощаемъ ничего!
 Смущенное боязнью преступленье
 Всегда само себя при этомъ выдаетъ —
 И если наша кара вслѣдъ за нимъ
 Проявится неожиданно и всеильно,
 То ею оглушается народъ!
 И стануть всѣ благоговѣть невольно
 Предъ нашими рѣшеньями, не смѣя
 Себѣ вопросовъ даже задавать
 «За что? и какъ?» считая пониманье
 Скрытыхъ цѣлей нашихъ недоступнымъ
 Для разума... какъ Божіихъ путей
 И мудрости Его — проникновенья...

КОНТАРИНИ.

Величественный образъ начерталъ
 Ты нашего могущества!... должны мы
 Вселять въ умахъ благоговѣйный ужасъ,
 Чтобы блѣднѣли люди, какъ рабы,
 При мысли о Совѣтѣ Трехъ — и въ прахъ
 Челомъ склонялись, если бы дерзнуть
 Осмѣлились — судить о нашихъ карахъ,

Чтобы при этомъ только въ высь небесъ
Указывая трепетной рукою
Они произносили: «знамъ ясна
Днесъ воля неба!».... Ярче и сильнѣй
Не проявлялась власть на этомъ свѣтѣ!
Народъ — дитя; имъ надо управлять
Держа его подъ страхомъ неустанно;
Готовъ онъ въ Богѣ — лишь тирана видѣть
И признавать въ любомъ тиранѣ — Бога!
Я понимаю, что достигнуть намъ
Подобнаго величья надо! Смѣло
Тогда-бъ я могъ и ненависть свою
Вполнѣ насытить...

ДОРЕДАНО.

Властью одинакой
Мы обладаемъ — и сошлись при этомъ
И въ ненависти нашей: ненавидимъ
Мы съ силой одинаковой — ты сына,
А я отца. Но ты меня счастливей,
Ты къ цѣли — ближе; знаменитый родъ
Спаси не можешь твоего врага
Отъ гибели... но дожь — другое дѣло!...
Пускай я съ тайной радостью люблюсь
Висящей межъ оружіемъ въ сенатѣ
Сѣкирой той, которой голова
Отрублена Фальери... но едва ли
Къ ней безопасно было бы прибѣгнуть
Въ пороками разслабленное время...
И жажду личной мести я въ себѣ
Заставилъ смолкнуть... видно намъ одной
Приходится довольствоваться жертвой...
Хоть до могилы — жосткія слова,
Какія дожь, врагамъ моимъ на радость,

Въ лицо мнѣ бросилъ — я забыть не въ силахъ!
Они стрѣлой отравленной вонзились
Мнѣ въ сердце — навсегда!...

КОНТАРИНИ.

Ты намекнулъ
Что погубить Антонио возможно?...

ЛОРЕДАНО.

И подтверждаю снова: онъ погибнетъ!
Еще сегодня мраморнаго льва
Въ холодной пасте, жалобамъ открытой, *
Я обвиненье на него нашелъ;
Прочти... оно со мною...

КОНТАРИНИ (*читаетъ*).

«Фоскарино»

Антонио — опасенъ государству:
Мечтаетъ онъ, въ безумномъ ослѣпленьи,
Власть подорвать — Венеціи основы
Совѣта Трехъ». Чтожъ думаешь ты дѣлать?

ЛОРЕДАНО.

Когда-бъ онъ не былъ ненавистенъ мнѣ
Съумѣлъ бы я отважнаго безумца
Всѣ замыслы развѣять, только слово
Ему шепнувъ — и въ ужасъ то слово
Всю жизнь не позабылъ бы онъ... но намъ
Иное нужно... пусть пока безопасно
Надъ пропастью стоитъ онъ... мы его
Тогда столкнемъ, когда намъ будетъ надо.

* Въ это отверстіе вкладывались доносы инквизиторамъ. Всѣ бывшіе въ Венеціи и осматривавшіе палаццо дождей знаютъ этого льва.

КОНТАРИНИ.

И не боишься ты, что казнь его
Возбудитъ общій ропотъ?

ЛОРЕДАНО.

Инквизиторъ

Свою боязнь чужою кровью тушить...

КОНТАРИНИ.

Ты дѣйствовать ужь началъ?

ЛОРЕДАНО.

Записалъ

Антонио я Фоскарини утромъ
Въ ту книгу, изъ которой имена
Смываются одною только кровью... *

КОНТАРИНИ.

Но все таки, еще придется ждать
Благопріятной мщенію минуты;
А между тѣмъ, боюсь я, ослабѣть
Въ твоей груди за это время можетъ
Гнѣвъ на отца его...

ЛОРЕДАНО.

Какъ! ты меня

Еще теперь почестъ способнымъ можешь
Къ подобному забвенію?... вѣрить мнѣ

* Книга подозрительныхъ «Libro dei sospetti», долженствовала находиться постоянно предъ глазами инквизиторовъ, для того, чтобы они не забывали тѣхъ лицъ, которые были «на очереди».

Не хочешь ты, что помогать рѣшился
 Я мщенья твоего осуществленью?
 Пойми-жь, что мнѣ и самому нужна
 Погибель Фоскарини... Карой смерти
 Ты жаждешь сына наказать скорѣе,
 Я — казнью сына — накажу отца!
 Дождь будетъ жить и послѣ этой казни,
 Но будетъ лютой смерти тяжелѣе
 Ему та жизнь!... минута за минутой
 Ея тянутся будутъ безконечно...
 Безвыходнымъ отчаяніемъ будетъ
 Отравлено его существованье!

КОНТАРИНИ.

Ты побѣдилъ меня... я виновать
 Въ той живости, съ какою усомнился
 Въ энергіи твоей могучей... но
 Я утомленъ душевною тревогой,
 Вся жизнь моя разбита — отъ меня.
 Далѣе радость всякая: въ печали,
 Въ слезахъ, проводить дни свои Тереза,
 И этихъ слезъ, обидныхъ для меня,
 Причины я узнать не въ состоянъ!...
 О, какъ бы отдохнулъ я, еслибъ могъ
 Увѣриться вполнѣ въ своей догадкѣ,
 Что смѣетъ непокорная супруга
 Любить тайкомъ Антонио!...

ЛОРЕДАНО.

Тогда-бъ
 Казнь Фоскарини — праздникомъ вполнѣ
 Тебѣ была бы... онъ же не избѣгнетъ
 Ея навѣрно... но неужли ты

Еще забыть свою не можешь юность
И нѣжныхъ чувствъ еще каѣхъ-то ищешь
И вѣришь въ нихъ?... И ты въ своей семьѣ
Къ себѣ повиненья не находишь?...
Передъ тобой тремещуть...

КОНТАРИНИ.

Я любви

Желаю...

ЛОРЕДАНО.

Ты не говори со мною
Объ этомъ словѣ; я не понимаю
Его совсѣмъ, — не для любви я созданъ...
Я слабостей въ себѣ не допускаю
И одинокъ всегда съ самимъ собою!
Прощай — иду въ судилище теперь я
И тамъ съ тобой увижусь...

Сцена IV.

КОНТАРИНИ.

Онъ меня

Сильнѣй! Онъ — инквизиторомъ родился,
Я сдѣлался имъ только!... Будто кладъ
Онъ бережетъ въ себѣ глухую злобу
На цѣлый міръ — и радость доставляетъ
Ему возможность, мрачная безщадность
Кровавыхъ каръ... разжалобить его
Души жестокой — ничего не можетъ!
Ни возрастъ, ни мольбы — на состраданье
Не въ состояніи его подвигнуть...
Въ безкровное его, глухое сердце

Для кроткихъ чувствъ нѣтъ доступа... Не можетъ
Онъ сдѣлаться по слабости преступнымъ,
Но злодѣянье совершить... и звѣрство
Отъ мужества избытка — онъ способенъ...
Какъ мы не сходны!... сталъ же токимъ я,
Себя вполне несчастнымъ признавая,
И я хотѣлъ бы всѣхъ лишить покоя —
За то, что самъ я имъ не обладаю!...

Н. Курочкинъ.

ГОРОДЪ.

Прѣхавъ нѣсколько сотъ верстъ по лѣсистой, почти безлюдной пустынѣ, испытавъ на своихъ бокахъ всевозможные роды почвъ, начиная отъ сыпучихъ песковъ и кончая болотами съ непремѣнною ихъ принадлежностью, мучительнымъ мостовникомъ, пріятно сказать себѣ: скоро конецъ дорожнымъ страданіямъ, конецъ ужасной, изнимающей душу телегѣ, конецъ уединеннымъ станціоннымъ домикамъ, около которыхъ вьются тучи комаровъ! Скоро городъ — и въ немъ пріютъ.

Да, непривѣтно глядишь ты, родная равнина! не порадуешь, не утѣшишь ты усталаго путника, день и ночь умирающаго на траской телегѣ въ переѣздахъ по безконечному твоему раздолю!

На десятки верстъ раскинулась ты окрестъ, ничѣмъ не намякая на присутствіе человѣка, ни на чемъ не представляя слѣдовъ работы его, кромѣ узкой и исковерканной дороги, но и та какъ будто не человѣческимъ рукамъ обязана своимъ существованіемъ, а проложена пустыннымъ медвѣдемъ, когда-то просѣкшимъ здѣсь путь сквозь чащу лѣсную. Однообразная картина непросвѣтнаго лѣса, безконечно протанувшагося по обѣ стороны дороги, неизвѣстно откуда берущіеся лѣсные звуки, такъ чутко и отчетливо перекатываемые эхомъ изъ конца лѣса въ другой, полумракъ, въ которомъ словно въ туманѣ утопаютъ очертанія деревъ, — все это вмѣстѣ взятое дѣйствуетъ на нервы раздражительно. Великаны встаютъ передъ глазами, страшные звѣри мерещатся въ лѣсной глубинѣ, баба-ага скачетъ въ каменной ступѣ, погоняя желѣзнымъ це-

стомъ, соловей-разбойникъ пускаетъ шипъ по змѣиному... Словомъ, вся дѣтская мифологія вдругъ проносится надъ душою. Напуганное воображеніе напрягается въ ущербъ разсудку; путникъ инстинктивно озирается по сторонамъ и инстинктивно же прислушивается, не идетъ ли откуда опасность; жгучее, тоскливое нетерпѣніе овладѣваетъ всѣмъ существомъ...

И вотъ на смѣну лѣса является низменная, потная луговина; на смѣну полумрака является полусвѣтъ. Но что это за бѣдность, что это за чахлость и неустойчивость? Блѣднозеленые цвѣта и изморенный видъ растительности явно свидѣтельствуютъ о преждевременной зрѣлости, постигшей ее въ этой забытой лучами солнца и непріютной сторонѣ. Только изрѣдка, въ засушливое лѣто, когда все окрестъ мѣлетъ отъ истомы и зноя, когда ликующая природа какъ будто нивнеть подъ бременемъ своей собственной мощи, только въ такіа рѣдкія на нашемъ сѣверѣ минуты, и эта бѣдная луговина, утративъ излишнюю влагу, одѣвается на время въ праздничный нарядъ свой и сплошь покрывается яркожелтыми цвѣтами. Тогда въ воздухѣ носятся словно душистыя испаренія меда, тогда, если вы взгляните на золотистую полосу цвѣтовъ, словно радующуюся среди общаго однообразія и бѣдности, вамъ непремѣнно покажется, будто кто-то вамъ улыбнулся тою мягкой, милою улыбкою, отъ которой вдругъ разцвѣтетъ ваше сердце... Но вотъ снова пахнуло дождемъ; проѣзжіе извозчики, пользуясь временною засухой, во всѣхъ направленіяхъ избороздили веселую луговину — и передъ вами опять та же черная полоса взрытой земли.

Но уживчивъ и покладистъ коренной гражданинъ этой скучной равнины, русскій мужикъ! Какъ ни бѣдна дарами, какъ ни мало гостепріимна кругомъ его природа, онъ безропотно покоряется ей. Трудно идетъ его работа; горекъ добытый ею кусокъ, но слова «въ потѣ лица спискивай хлѣбъ свой», слова, никогда ему не читанныя, ни отъ кого имъ не слышанныя, по какому-то обидному насильству судьбы, такъ естественно, всецѣло слились со всѣмъ его существомъ, что стали въ немъ

плотью и кровью, стали исходною точкой, средствомъ и цѣлью всего его существованія. Вонъ на самомъ краю болотины, среди зыбучихъ песковъ, ютится рядъ бѣдныхъ, ветхихъ избъ... Что это за грустный, надрывающій сердце видъ!

Вотъ и прудъ среди селенія, прудъ мелкій и топкій, на неподвижной поверхности котораго плаваетъ зеленая плесень, и изъ котораго по мѣстамъ высовываются почернѣвшія гнилыя коряги; вотъ и улица, грязная, покрытая толстымъ слоемъ чернозема; вотъ и запачканная семья бѣловолосыхъ ребятъ-шекъ, съ поднятыми до груди рубашонками, бережно переходящихъ по грязи черезъ улицу, или конающихся въ землѣ гдѣ нибудь въ сторонѣ у анбарушки. Вотъ у воротъ избы, на заваленкѣ, вышла погрѣться на солнышкѣ сгорбленная бабушка Афимья, которую ужъ никакіе лучи солнца не могутъ согрѣть въ этомъ мірѣ и которая ждетъ не дождется той минуты, когда среброкудрые ангелы возьмутъ ея душеньку и упокоятъ ее на лонѣ Авраамовомъ... Вотъ и самъ онъ, добродушный русскій мужикъ, тихо идущій за сохою, изнуренный, но не убитый трудомъ, утомленный, но все еще бодрый, угнетенный, но все еще надѣющійся...

Но городъ уже близко; болота попадаютъ рѣже, населенность дѣлается гуще.

Вотъ наконецъ и старинный сосновый боръ, составляющій какъ бы необходимую принадлежность каждаго русскаго города и служащій любимымъ мѣстомъ прогулокъ для его обывателей.

— Этотъ борѣкъ-то уже городской, говоритъ ямщикъ, обирачиваясь къ вамъ и какъ-то веселѣе покрививая на лошадей: — а вонъ тамъ — видишь просвѣчивается-то, будетъ еще поляночка, а за ней ужъ и городъ.

— А что, хорошъ у васъ городъ?

— Ничего, городъ хорошій, и купцы богатѣющіе есть! По четвергамъ базары бываютъ, такъ и не проѣхать, что туда народу наѣзжается!

И дѣйствительно, какъ только выѣдешь изъ сосноваго бора, глазамъ уже открывается весь городъ, какъ на ладони. Обыч-

ное тревожное чувство неизвестности овладѣваетъ при видѣ его: «что-то будетъ! какая-то жизнь кроется за этими стѣнами!» думаете вы, и съ любопытствомъ вглядываетесь въ каждый самый незначительный предметъ, попадающійся по дорогѣ.

На этомъ городѣ мы съ вами остановимся, читатель. Ии ему Срывный.

Онъ стоитъ на высокомъ и обрывистомъ берегу судоходной рѣки, и вдоль и поперѣкъ изрѣзанъ холмами, оврагами и суходолами. Видъ съ нагорнаго берега рѣки на противоположную сторону до такой степени привлекателенъ, что даже генералъ Зубатовъ, человѣкъ вообще къ красотамъ природы недоброжелательный, удостоилъ обратить на него вниманіе, и обзрѣвъ съ балкона отводной квартиры окрестность, произнесъ: «достойно примѣчанія». Въ особенности хорошо бываетъ въ Срывномъ весною. Точно море, разливается въ это время рѣка, затопляя и луга, и частый тальникъ, растущій по берегу, и даже старый сосновый боръ, который словно движущійся островъ выступаетъ въ это время изъ воды болышущегося зеленью вершинъ своихъ. Строго и негостепріимно смотреть огромная масса водъ, мѣня въ быстромъ и грозномъ бѣгѣ своемъ всевозможные оттѣнки цвѣтовъ, отъ мутно-бураго и темносталянаго до свѣтлобирюзоваго, мѣстами переходящаго въ прозрачно-изумрудный и рубиновый; а въ вышинѣ бѣгутъ гонимыя весенними вѣтрами облака, то отставая, то обгоняя другъ друга и принимая самыя прихотливыя, узорчатыя формы. Картина суровая и разнообразная, но вмѣстѣ съ тѣмъ поражающая зрителя величіемъ самой простоты своей. Вообще замѣчено, что суровые тоны дѣйствуютъ на душу живительнѣе. Въ виду этого простора, въ виду этой силы стихій, въ одно и то же время и разрушающей и оплодотворяющей, человѣкъ чувствуетъ себя отрезвленнымъ, чувствуетъ, какъ встаетъ и растетъ во всемъ существѣ его страстный порывъ къ широкому раздолью, который дотогѣ дремалъ на днѣ души, подавленный кропотливостью жизненныхъ мелочей.

Въ весенній солнечный день вся окрестность выступаетъ

до такой степени отчетливо, что верстъ на двадцать представляется взору со всѣми подробностями и очертаніями. Вдали виднѣются два-три села съ ихъ бѣлыми церквами и черными группами крестьянскихъ избъ; ближе бурѣетъ поле, мѣстами еще не вполне освободившееся отъ снѣга, пестрящаго его въ видѣ бѣлыхъ заплатъ, а рядомъ съ полемъ уже пробивается молодая трава на степномъ лугу. Вонъ восторонѣ мелькнулъ гнучкій тальникъ, сквозъ густыя и перепутанныя насажденія котораго блеснула стальная полоса старицы (старого русла рѣки), а иногда и просто оврага, который лѣтомъ сухъ и печаленъ, а весной до краевъ наполняется водой; по одному берегу его узкою грядкой лепится низенькій и тощій лѣсокъ, по другому тянется безконечная изгородь, мѣстами уже обвалившаяся и вообще плохо защищающая сосѣдній лугъ отъ погравы; а вонъ и болотце, сплошь покрытое волнующейся осокой, которой сѣрые отливы непріятно рѣжутъ глаза, а надъ болотцемъ безчисленными стадами кружатся кулички и прочая мелкая птица. Наконецъ, далѣе, на заднемъ планѣ, картина обрамливается синею полоскою лѣса, того нескладнаго лѣса, который, по увѣренію туземцевъ, тянется отсюда вплоть до Ледовитаго океана. И все это обито горячими лучами весенняго солнца, все это свѣжее, дѣвственное, лигующее, полное обновляющей силы...

По рѣкѣ и на берегу кипитъ жизнь и дѣятельность. Плоскородонныя расшивы, скорѣе похожіе на огромныя лубяныя кораба, нежели на суда, лѣсные плоты, барки съ протянутыми отъ мачтъ бичевами, — все это снуетъ взадъ и впередъ, мѣшаясь въ самомъ живописномъ безпорядкѣ и едва не задѣвая другъ объ друга. Медленно и самодовольно проползаетъ между ними единственная въ своемъ родѣ огромная и неуклюжая коноводная машина, какъ будто хочетъ связать встрѣчнымъ судамъ: «эй вы! сторонись, мелкота! пропустите долговязаго дурака!» Въ послѣднее время начали изрѣдка пробѣгать даже пароходы, на огромное пространство всплывая и возмущая воду, распугивая шумомъ колесъ робкое царство подводныхъ

обитателей, и наводи своимъ свистомъ уныніе на всю окрестность, которой тихій сонъ еще не былъ доселѣ нарушенъ торжествующими воплями новѣйшей промышленной вакханаліи. Однако, пароходы еще рѣдкость въ этомъ краю и мѣстнымъ жителямъ еще не надобно собираться толпами на берегу всякій разъ, какъ пронесется по городу вѣсть объ имѣющей прибыть «чортовой машинѣ». Но, увы! въ воздухѣ уже носатся зловѣщіе предзнаменованія, предвѣщающія близкій конецъ первобытнымъ формамъ жизни; атмосфера уже заражена тлетворными миазмами грядущихъ акціонерныхъ компаній, этихъ чреватыхъ надувательствомъ и невѣжественною дерзостью чужезныхъ растений, которыя поработятъ себѣ туземнато чело-вѣка, чтобъ утучнить его потомъ тѣла разбогатѣвшихъ цѣловальниковъ и ихъ любовницъ. Одинокій нынѣ пароходъ приведетъ за собой десятки и сотни другихъ; вытянутся вдоль берега фабрики и заводы; насытятъ они ѣдкостью и смрадомъ дыма свѣжій воздухъ окрестности и отравятъ водныя воды рѣки... что-то станетъ съ тобой, милая, дѣвствен-ная страна!

Станный, но вѣстѣ съ тѣмъ неоспоримый и въ высшей степени замѣчательный фактъ, что у насъ на Руси, всякое новое явленіе, обещающее, повидимому, облегчить развитіе народной жизни, прежде всего ложится тяжелымъ гнетомъ именно на эту жизнь. Мужикъ теряетъ вездѣ: фабрикантъ его притѣсняетъ, удерживая изъ заработной платы прогульные дни, насчитывая на него разнообразныя утраты; на пароходѣ и въ вагонѣ распоряжаются имъ какъ поклажею. И нигдѣ защиты, нигдѣ управы! Несомнѣнныя выгоды новаго положенія, приносимаго робкими зачатками цивилизаціи, исчезаютъ подъ бременемъ придирокъ, формальностей и какого-то безнравственнаго служенія искусству для искусства, а ущербы и утраты, которые неминуемо влечетъ за собой паденіе старыхъ порядковъ, выступаютъ все яснѣе и настоятельнѣе, и все накойливѣе разжигаютъ въ сердцѣ бѣднаго чело-вѣка горькое недовольство настоящимъ, безъ всякой надежды на буду-

щее. Отчего это? Не оттого ли, что въ естественномъ порядкѣ всякое новое явленіе въ сферѣ экономической или политической должно входить въ жизнь не одинокое, но окруженное цѣлымъ рядомъ другихъ соотвѣтственныхъ явленій, имѣющихъ споспѣшествующее и обезпечивающее свойство, а у насъ явленіе это всегда становится уединенно, безъ всякой связи съ общимъ жизненнымъ строемъ? Не оттого ли, что всякое учрежденіе, какова бы ни была побудительная причина его существованія, прежде всего должно служить обществу, его интересамъ, даже капризамъ и прихотямъ, а не поработать ихъ себѣ, не приурочивать ихъ къ своему масштабу? Здѣсь не мѣсто, конечно, рѣшать такого рода вопросы, но нельзя не сознаться, что они невольно представляются встревоженному уму и, однажды возбужденные, надолго оставляютъ въ сердцѣ горькій осадокъ недовольства.

Но въ отношеніи къ описываемой мѣстности, это покуда только гадательное будущее, а потому станемъ продолжать прерванное описаніе.

Бичевникъ усянъ бурлаками и ихъ тощими лошаденками; видъ первыхъ, а равно гортанные и унылые крики, которыми они побуждаютъ какъ другъ друга, такъ и лошадей, наводятъ тоску на сердце посторонняго наблюдателя; это какой-то страданный, надорванный крикъ, вырывающійся съ мучительнымъ, почти злобнымъ усиленіемъ, какъ вздохъ, вылетающій изъ груди человѣка, котораго смертельно и глубоко оскорбили, и который, между тѣмъ, не находитъ въ ту минуту средствъ отомстить за оскорбленіе, а только вздыхаетъ... но въ этомъ вздохѣ уже чувствуется будущая трагедія. Особенно широкіе размѣры принимаетъ торговая и промысловая дѣятельность города на пристани. Не надо воображать себѣ, чтобъ это была пристань благоустроенная, съ амбарами, съ укрѣпленною набережною и мощнымъ спускомъ; это просто такъ называемая «натуральная» пристань, большую часть навигаціоннаго времени непроходимо грязная, съ невозможнымъ спускомъ и ветхими полуобвалившимися навѣсами, вмѣсто

складочныхъ помѣщеній. Бунты кулей съ хлѣбомъ и льнянымъ семенемъ, груды рогожъ и мочала, приготовленные для сплава, въ безпорядкѣ стоятъ на берегу, ожидая своей очереди къ погрузкѣ, но эта-то безпорядочность и сопряженная съ ней суетливость и придаютъ пристани ту оригинальность, которой она, конечно, не имѣла бы, еслибъ погрузка производилась систематически. Немолчно раздается говоръ и шумъ толпы; весь воздухъ наполненъ этимъ милымъ, какъ будто праздничнымъ гуломъ, который, по временамъ, принимаетъ самыя симпатическія тоны. Вотъ доносится до васъ замысловатокрѣпкое слово, но доносится какъ-то не оскорбительно, а скорѣе добродушно, такъ что вамъ остается только развести руки, и подумать про себя: «вѣдь вотъ что выдумалъ человѣкъ! даже правдоподобія никакого нѣтъ... а ладно!» Рядомъ съ этимъ крѣпкимъ словомъ слышится дѣйствительно добродушный и задумчивый смѣхъ, и раздается острота, но такая мѣткая и хорошая, что лицо ваше проясняется окончательно, и вы невольно всѣмъ сердцемъ, всѣмъ существомъ приобщаетесь къ этой внутренней, для равнодушнаго зрителя навсегда остающейся неразгаданною жизни народа, сила которой почти насильственно задеваетъ всѣ лучшія, свѣжія струны сердца, наполнить душу невѣдомыми, неизвѣстно откуда берущимися рыданіями и хлынетъ изъ глазъ цѣлымъ потокомъ слезъ... Гдѣ источникъ этихъ слезъ? въ томъ ли сочувственно любовномъ настроеніи души, которое заставляетъ симпатически относиться ко всѣмъ даже темнымъ сторонамъ родной жизни, или въ томъ вѣчно расходуемомъ, но никогда неистрачивающемся запасѣ застарѣлыхъ скорбей и печалей, который горькимъ опытомъ цѣлой жизни накапливается въ сердцѣ, набрасывая на него темную пелену унынія и безнадёжности?

Не берусь рѣшить этотъ вопросъ, но знаю, что въ слезахъ вашихъ будетъ и своя доля отрады, какъ и въ томъ достолюбезномъ народномъ говорѣ, въ которомъ, среди диссонансовъ, слышится иногда такой ясный, поразительно-цѣльный звукъ,

что изъ сознанія вашего мигомъ изгоняется всякое сомнѣнiе въ возможности будущей гармонiи.

Вообще изъ всей обстановки должно заключить, что Срыв-ный богатый промышленный городъ. Дѣйствительно, онъ и выстроенъ, сравнительно съ другими уѣздными городами, хорошо; главная площадь и главная улица сплошь застроены каменными домами и амбарами, а многочисленность магазиновъ, съ красными и галантерейными товарами, доказываетъ, что значительная часть его населенiя достаточно зажиточна, чтобы дозволить себѣ употребленiе предметовъ роскоши. Тѣмъ не менѣе каменные палаты купцовъ смотрятъ негостепрiимно. Есть что-то угрюмое въ звукъ цѣпей, которыми замыкаются тяжелыя ворота, отворяемыя только для пропуска телегъ, тяжело нагруженныхъ громоздкимъ товаромъ, и потомъ снова и надолго запираемыя. Маленькiя и глубоко врѣзавшіяся въ толстыя стѣны окна домовъ тоже всегда заперты; не проглянетъ изъ за нихъ въ глаза прохожему пригожая головка хорошенькой купеческой дочери, не освѣжитъ его слуха молодой и рѣзвый смѣхъ дѣтей, этотъ смѣхъ вѣчно ликующей, вѣчно развивающейся жизни; зеленоватыя и покрытыя толстымъ слоемъ грязи стекла скрываютъ отъ взора даже внутренность комнатъ. Постороннему чоловѣку представляется, что тамъ, за этими тяжелыми воротами, за этими толстыми каменными стѣнами, начинается совершенно иной міръ, міръ холодный и безстрастный, въ которомъ не трепещетъ ни одно сердце, не звучитъ ни одна живая струна.

Тамъ, мнится ему, въ этой безшумной и темной области, живутъ люди съ потухшими взорами, съ осунувшимися лицами, люди, не имѣющіе идеала, не признающіе ни радостей, ни заблужденій жизни, и потому равнодушнымъ окомъ взирающіе на проходящее мимо ихъ добро и зло. Тамъ старики-отцы заживо пожираютъ безгласныхъ дѣтей; тамъ проходимцы-святоши, смиренные и угодливыя съ вида, въ сущности же пронырливыя и честолюбивыя, держатъ въ рукахъ своихъ, при помощи фанатическихъ старухъ, судьбы и честь цѣлыхъ семействъ.

Въ особенности вечеромъ, это полное отсутствіе жизни принимаетъ грустный, даже мучительный характеръ. Едва спустились на землю сумерки, какъ вслѣдъ за ними почти мгновенно исчезаетъ и всякое движеніе по улицѣ, наступаетъ глубокая, мертвая тишина, лишь изрѣдка прерываемая лаемъ спущеннаго съ цѣпи пса. И ни въ одномъ окнѣ не покажется зазывнаго свѣта, ни въ одномъ концѣ не застучитъ земля подъ ногою запоздалаго пѣшехода, а сомнительные и дрожащіе лучи зажженныхъ передъ образами лампадокъ, прорѣзываясь сквозь мглу, дѣлають ее еще болѣе мрачною и непроницаемою.

Но самая характеристическая особенность города, опредѣлившая однажды на всегда и составъ и занятія его населенія, заключается въ томъ, что онъ стоитъ на углу, гдѣ сходятся рубежи трехъ губерній, и вмѣстѣ съ тѣмъ представляетъ центръ, въ который стекаются всѣ безвѣстные, неофициальные пути, ведущіе изъ Зауралья въ Великую Россію. Это положеніе представляетъ слишкомъ много удобствъ для всякаго рода запрещенныхъ сдѣлокъ и укрывательства, чтобы люди смышленные не воспользовались подобнымъ преимуществомъ. Изстари Срывный сдѣлался съ одной стороны становищемъ всевозможныхъ раскольническихъ толковъ, съ другой — гнѣздомъ искусниковъ, промышляющихъ всякаго рода вазорными ремеслами. Возможность легко и скоро сбыть подозрительную вещь, а въ крайнемъ случаѣ и самому скрыться за рѣку, которая составляетъ заповѣдную для мѣстной полиціи черту, положила начало промысламъ подобнаго рода въ такихъ обширныхъ размѣрахъ, что полиціи остается только самой принимать въ нихъ косвенное и не безвыгодное участіе. Круглый годъ, а въ особенности съ открытіемъ рѣчной навигаціи, въ Срывномъ проживають цѣлыя толпы бродягъ, между которыми нерѣдко можно встрѣтить даже бѣглыхъ каторжниковъ, а преимущественно всякаго рода искателей приключеній, которымъ, вслѣдствіе разныхъ обстоятельствъ, сдѣлалось тѣсно и душно подъ родной кровлей.

Н. Щедринъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ Д. Д. МИНАЕВА.

I.

БЕЗПРІЮТНАЯ СТРАННИЦА.

«Кто ты, прекрасная жена?
До этихъ поръ тебя нигдѣ я
Не видѣлъ въ наши времена
Среди народа,....»

— Я идея!

Безстрастье истины цѣня,
Я родилась гермафродитомъ,
Но люди бѣгаютъ меня;
Цѣпами рабскими звеня,
Они бредутъ путемъ избитымъ,
Предъ каждой новою тропой
Дрожать ордою непреклонной
И платять злобою слѣпой
Миѣ за тревогу мысли сонной.
Языкъ мой простъ. Какъ солнца свѣтъ,
Доступенъ всѣмъ онъ въ мірѣ Божьемъ,
Гдѣ я скитаюсь сотни лѣтъ,
Но, распростертъ передъ подножьемъ
Богини пошлости земной,

Народъ и знать меня не хочетъ
 И, обезумленный, больной,
 То проклинаетъ, то хохочетъ,
 То буйно пляшетъ предо мной;
 А въ тѣхъ, которыхъ въ дни гоненья
 Я выше ставила другихъ,
 Бросаетъ грязь онъ, иль каменья,
 Иль подъ ногами топчетъ ихъ.
 И такъ всегда я одинока....
 Но я бессмертна на землѣ.
 Быть можетъ, время не далѣко,
 Когда съ сѣншемъ на челѣ
 Пойду въ триумфъ я великомъ
 И голосъ мой, какъ Божій громъ,
 Не заглушатъ ни хриплымъ крикомъ,
 Ни грознымъ пушечнымъ ядромъ.

II.

Д У М А.

Для счастья личнаго ужасно
 Терять васъ, лучшихъ дней друзья,
 Но очистительно-прекрасна
 Смерть ходить по свѣту, безстрашна,
 Какъ неподкупный судія.

Смерть — революція природы.
 Она, какъ мрачный другъ свободы,
 Считаетъ дряхлый міръ съ земли,

Чтобъ поколѣній новыхъ востомы
На ней привольнѣе росли.

Такъ горе самое слабѣетъ,
Излившись ливнемъ жаркихъ слезъ,
И сердце снова молодѣетъ;
Такъ послѣ сильныхъ, вешнихъ грозъ
Земля цвѣтетъ и зеленѣетъ.

III.

ПРОПАВШЕМУ БЕЗЪ ВѢСТИ.

Omnes eodem cogimus.

Ты вчера еще былъ съ нами
Въ цвѣтъ силъ, надеждъ и лѣтъ,
А сегодня, другъ нашъ бѣдный,
Отъ тебя простылъ и слѣдъ.

Такъ на свѣтѣ все ведется:
Нынче — солнце, завтра — тьма,
То согрѣетъ душу счастье,
То бѣда сведетъ съ ума;

То мелькнетъ свободы призракъ
И — глядишь — уже исчезъ,
То на небѣ ангелъ плачетъ,
То въ аду хохочетъ бѣсъ.

IV.

* * *

Страданія — стихія человѣка.
Едва родясь, страдать мы начинаемъ;
Страдаемъ, ненавидя и влюбля,
Да и любя — не менѣе страдаемъ.
Страдаемъ мы при каждой каплѣ слезъ,
При вздохѣ затаённаго рыданья,
И даже смѣхъ людской — прислушайтесь къ нему —
Есть только продолженіе страданья.

Д. Минаевъ.



КТО ПЕРВЫЙ ВЪ РОССІИ ИМѢЛЪ МЫСЛЬ ОБЪ ОСВОБОЖДЕНІИ КРЕСТЬЯНЪ СЪ ЗЕМЕЛЬНЫМЪ НАДѢЛОМЪ.

(ВОСПОМИНАНІЕ О КНЯЗѢ ВАСИЛІѢ ВАСИЛЬЕВИЧѢ ГОЛИЦЫНѢ, РУССКОМЪ
ГОСУДАРСТВЕННОМЪ ДѢЯТЕЛѢ XVII СТОЛѢТІЯ).

Французскій агентъ *де-ля-Невилль* былъ посланъ въ Москву мар-кизомъ де-Бетюнъ, посломъ Людовика XIV при варшавскомъ дворѣ, развѣдать о переговорахъ нашего двора съ шведскимъ и бранденбургскимъ. Онъ прожилъ въ Москвѣ, подъ видомъ польскаго чрезвычайнаго повѣреннаго (*envoyé extraordinaire*) пять мѣсяцевъ, съ конца іюля до начала декабря 1689 года, и былъ, слѣдовательно, очевиднымъ свидѣтелемъ послѣдняго столкновенія между Петромъ и сестрою его Софіей, которое кончилось ея паденіемъ.

Невилль имѣлъ сношенія со многими русскими боярами: съ княземъ Василюмъ Васильевичемъ Голицынымъ, со стороны Софіиной, съ княземъ Борисомъ Алексѣевичемъ Голицынымъ, со стороны Петровой, съ молодымъ Матвѣевымъ, съ переводчикомъ Спафаріемъ и иностранными резидентами; видѣлъ Софію, Ивана, Петра, и, по возвращеніи во Францію, издалъ любопытную книжку о своемъ пребываніи въ Россіи: «*Relation curieuse et nouvelle de Moskovie*». Книжка его посвящена королю Людовику XIV, и напечатана въ Парижѣ въ 1698 году. *

Многія извѣстія Невилля подтверждаются нашими несомнѣнными источниками, напримѣръ: о замыслѣ царевны Софіи женить большаго старшаго брата Ивана и управлять подъ его именемъ и именемъ предполагавшихся его дѣтей, о неудачныхъ походахъ крым-

* Устряловъ ссылается на изданіе въ Гагѣ, 1699 года; также и Семеновскій, въ статьѣ о портретахъ царевны Софіи и князя В. В. Голицына, помѣщенной въ «Русскомъ Словѣ», 1859 г., № 12.

скихъ, о переговорахъ князя Голицына съ ханомъ, о наградахъ царевны возвратившемуся войску, о неудовольствіи Петра, выраженномъ князю Голицыну, о злоумышленіяхъ Софіи и собраніи стрѣльцовъ въ Кремлѣ, о доносахъ раскаявшихся стрѣльцовъ Петру, въ Преображенскомъ, когда уже онъ легъ спать, о запрещеніи Софіи стрѣльцамъ идти къ Троицѣ на призывъ Петровъ, и проч. Извѣстіе Невилево о любовной связи царевны Софіи съ княземъ В. В. Голицынымъ подтвердилось въ наше время ея письмами, открытыми Устряловымъ въ Секретномъ Архивѣ.

Есть мелкія черты, которыя подтверждаютъ подлинность сказанія, и на которыя изслѣдователь долженъ въ этомъ отношеніи обращать вниманіе, напримѣръ: Невиль, описывая обѣдъ свой у молодого Матвѣева, говоритъ, что совѣтовалъ ему учиться по французски, ибо онъ еще былъ молодъ, имѣя только 22 года. Таковъ именно былъ тогда возрастъ Матвѣева: какъ могло бы подложному сочинителю (о которомъ пустословилъ Полевой, «Русскій Вѣстникъ», 1841, № 9, стр. 598) вставить такую черту!

Извѣстія вѣрныя, засвидѣтельствованныя, внушаютъ довѣренность и къ прочимъ, уваженіе къ ихъ источникамъ, кромѣ, разумѣется, нѣкоторыхъ слуховъ, ходившихъ въ растревоженномъ городѣ и носящихъ признаки своего происхожденія изъ среды той или другой враждовавшей стороны.

Невиль представляется въ своей книжкѣ вообще наблюдателемъ безпристрастнымъ, и отдавая полную справедливость князю Голицыну, главному дѣйствовавшему лицу въ правленіе царевны Софіи, осуждаетъ безусловно властолюбіе еей послѣдней и злые умыслы противъ меньшаго брата своего Петра.

Въ донесеніи Невилы есть одно извѣстіе великой важности, которое, какъ будто затерянное въ кучѣ прочихъ, не оцѣнено было достаточно писателями, имѣвшими въ своихъ рукахъ его сочиненіе.

Изъ этого драгоцѣннаго извѣстія, озаряющаго новымъ свѣтомъ лицо князя Василія Васильевича Голицына, мы узнаемъ, что онъ,

за 200 лѣтъ до нашего времени, хотѣлъ освободить крѣпостныхъ крестьянъ и отдать имъ во владѣніе землю, которую они обрабатывали бы съ платою въ казну извѣстной подати.

Вотъ собственныя слова Невилля:

«Цѣлю князя было поставить Россію на одну ногу съ прочими государствами: для этого онъ велѣлъ собрать свѣдѣнія (mémoires) обо всѣхъ европейскихъ государствахъ и ихъ правленіи. Онъ хотѣлъ начать *освобожденіемъ крестьянъ и предоставленіемъ имъ тѣхъ земель, кои они обрабатываютъ* въ пользу царя за ежегодную плату, которая по смѣтѣ, имъ сдѣланной, увеличивала бы ежегодно слишкомъ половиною доходъ царскій, простирающійся нынѣ по большей мѣрѣ отъ семи до восьми милліоновъ ливровъ, на французскія деньги.

(Comme le dessein de ce Prince était de mettre cet Etat sur le même pied que les autres, il avait fait venir des mémoires de tous les Etats de l'Europe et de leur gouvernement; il voulait commencer par affranchir les paysans, et leur abandonner les terres, qu'ils cultivent, au profit du Czar, moyennant un tribut annuel, qui par la supputation, qu'il en avait faite, augmentait par an, le revenu de ces Princes, de plus de la moitié, lequel ne se monte guères qu'à sept à huit millions de livres tout au plus, monnaie de France, en argent comptant). *

Итакъ въ концѣ 17-го столѣтія, въ восьмидесятыхъ годахъ,

* Въ переводѣ Невилля, помѣщенномъ Полевымъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» 1841 г., весь этотъ важный параграфъ совершенно опущенъ, вѣроятно въ угоду тогдашней цензурѣ.

Въ дѣльной вышеупомянутой статьѣ г. Семеваго, Невиллевы слова объ освобожденіи крестьянъ и надѣлѣ ихъ землею замѣнены официальнымъ выраженіемъ того времени: «предполагалъ улучшить бытъ крестьянъ *своихъ* (?)», вѣроятно также по причинамъ отъ автора независѣвшихъ; притомъ слово *своихъ*, котораго нѣтъ у Невилля, извращаетъ совершенно смыслъ.

У Тереженко, въ его исполненной всякихъ ошибокъ, біографіи князя В. В. Голицына (Опытъ обзорѣнія жизни сановниковъ управлявшихъ иностранными дѣлами, 1837, т. II, стр. 177), эти слова приведены мимоходомъ безъ всякаго замѣчанія.

князь Василій Васильевичъ Голицынъ думалъ уже *освободить крепостныхъ крестьянъ и надѣлить ихъ землею*, которую они обрабатывали бы.

Въ невѣрности извѣстiя подозрѣвать нѣтъ повода, потому что его выдумать и сочинить было нельзя, если во всей Европѣ не было тогда даже понятiя объ освобожденiи крестьянъ и надѣленiи ихъ землею.

Это извѣстiе даетъ намъ полное право утвердить за кн. Голицыннымъ другую великую государственную мысль, которая до сихъ поръ приписывалась ему болѣе по догадочному предположенiю, чѣмъ въ силу основательнаго доказательства: мысль объ уничтоженiи мѣстничества.

Въ поясненiе мы должны сказать нѣсколько словъ объ этомъ важномъ въ гражданской нашей исторiи событiи.

Царь Θεодоръ, за полгода до своей кончины, 1681 г. ноября 24, указалъ князю Голицыну съ товарищи вѣдать ратныя дѣла. Вслѣдствiе сего составленъ былъ совѣтъ изъ выборныхъ людей для прiнсканiя средствъ устроить войско лучше, такъ какъ «непрiатели показали въ ратныхъ дѣлахъ новые вымыслы и хитрости, а наше воинское устройство оказалось въ бояхъ неприбыльнымъ». Совѣтъ положилъ представить царю челобитную объ уничтоженiи мѣстничества, то есть права считаться мѣстами при военныхъ и прочихъ назначенiяхъ, не служить старшему по службѣ предковъ подъ начальствомъ уступающаго ему въ служебной родословной. Челобитная была прочтена княземъ Голицыннымъ на земскомъ соборѣ. Предложенное постановленiе царь утвердилъ собственноручною многозначительною подписью, служащей украшенiемъ русской исторiи: «Во утверженiе сего соборнаго дѣянiя и въ совершенное гордости и проклятыхъ мѣстъ въ вѣчное искорененiе моею рукою подписалъ».

Самому Θεодору, при его молодости и неопытности, вмѣстѣ съ слабостiю и болѣзненностiю, нельзя приписать такое

трудное и смѣлое дѣло, съ которымъ не могъ сладить ни Грозный, ни Годуновъ.

При первыхъ моихъ занятіяхъ русской исторіей я приписывалъ починъ боярину Языкову, самому приближенному лицу къ Θεодору, происходившему изъ дворянъ среднихъ. Но послѣ, занимаясь изслѣдованіями объ этомъ времени, я увидѣлъ, что объ участіи Языкова въ дѣлахъ собственно управленія нѣтъ никакихъ извѣстій, ни даже намековъ.

Что касается до князя Голицына, хотя онъ и являлся официально на первомъ мѣстѣ при веденіи этого дѣла, но трудно было предполагать, чтобъ онъ, знатный родовой бояринъ рѣшился, такъ сказать, наложить на себя руку, и отказаться отъ главныхъ правъ своего сословія, навлечь на себя общую его ненависть. Я заключилъ, что уничтоженіе мѣстничества, такъ какъ и другія великія событія въ русской исторіи, принадлежать неизвѣстно кому, не имѣютъ одного какого-либо виновника, то есть принадлежать всему народу.

Извѣстіе Невилево объ мысли князя Голицына, освободить крестьянъ и надѣлать ихъ землею, показываетъ ясно, къ какому государственному мѣрамъ былъ онъ способенъ и какъ возвышался надъ своимъ временемъ.

Итакъ, князю Василю Васильевичу Голицыну принадлежить навѣрное мысль объ уничтоженіи мѣстничества, приведенная имъ въ исполненіе, и мысль объ освобожденіи крестьянъ съ землею, приведенная въ исполненіе чрезъ дѣйствіи слишкомъ лѣтъ въ царствованіе императора Александра II, къ вѣчной славѣ его имени.

Есть еще великая государственная мысль—о равномерной раскладкѣ податей и всякихъ повинностей, о которой однакожь теперь, впредъ до открытія новыхъ документовъ, нельзя говорить рѣшительно.

Профессоръ Аристовъ обратилъ, первый, вниманіе на грамоту въ Пермь, мая 6, 1682 года, о возвращеніи собран-

ныхъ съ этой цѣлю въ Москвѣ депутатовъ, такъ называемыхъ двойниковъ. Изъ этой грамоты только мы и узнаемъ, что депутаты «всякихъ чиновъ» были собираемы въ Москву по два изъ всѣхъ городовъ и посадовъ. Означенная грамота помѣчена 6 мая, за девять дней до перваго стрѣлцаго бунта; принадлежитъ слѣдовательно къ распоряженіямъ Петровой партіи, принявшей власть въ свои руки 28 апрѣля, по кончинѣ царя Θεодора Алексѣевича. Ясно, что первое распоряженіе принадлежало къ дѣйствіямъ партіи противной, а въ противной партіи однимъ изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ былъ князь В. В. Голицынъ, какъ то видно изъ его участія въ уничтоженіи мѣстничества, ноября 24, 1681 года. Депутаты городскіе не могли быть созваны иначе, какъ около этого времени.

Впрочемъ, повторяю, этотъ любопытный вопросъ требуетъ еще многихъ изслѣдованій и разъясненій.

Изъ дѣйствій князя В. В. Голицына, какъ «царственныя большія печати и государственныхъ великихъ посольскихъ дѣлъ оберегателя», довольно указать на договоръ съ Польшею, 1686 г. апрѣля 26, по которому она отказалась отъ Смоленска, Кіева, Чернигова, и всей Малороссіи съ 56 городами, завоеванными Россіей въ 1654 и 1655 годахъ, обязалась не притѣснять исповѣдниковъ православія въ оставшихся у нея русскихъ областяхъ, согласилась на посвященіе духовныхъ лицъ въ Кіевѣ, и проч.

Польскій король Янъ III съ горькими слезами подписалъ этотъ договоръ.

Причиною сговорчивости польской было желаніе побудить русскихъ въ войнѣ съ татарами и турками, чѣмъ ловко умѣлъ воспользоваться князь Голицынъ. Въ Москвѣ война была рѣшена, и отправлены послы въ европейскія государства искать новыхъ союзниковъ: Шереметевъ въ Вѣну, князь Яковъ

Федоровичъ Долгорукій въ Испанію и Францію (откуда онъ привезъ, замѣтимъ мимоходомъ, астролябію 14 лѣтнему Петру).

Когда послѣ перваго крымскаго похода стало извѣстно въ Москвѣ, что цесарь и король польскій думаютъ примириться съ турками, то нашему посланнику Возницину велѣно было объявить, какъ приводить Устряловъ, что при заключеніи договора Россія требуетъ отъ султана: 1) всѣхъ татаръ вывести изъ Крыма за Черное море, въ Анатолю, и Крымъ уступить Россіи, иначе никогда покоя ей не будетъ; 2) татаръ, турокъ, при Азовскомъ морѣ, также выселить, а Азовъ отдать Россіи; 3) Кизикермень, Очаковъ и другіе города уступить Россіи или, по крайней мѣрѣ, разорить; 4) всѣхъ русскихъ и малороссійскихъ плѣнныхъ освободить, безъ всякаго выкупа и размѣна; 5) за убытки, причиненные набѣгами татаръ въ прежнее время, вознаградить двумя милліонами червонныхъ.

Вотъ какіе смѣлые и широкіе замыслы, пожалуй мечты, имѣлъ князь Голицынъ, старый нашъ министръ иностранныхъ дѣлъ, за сто лѣтъ до императрицы Екатерины.

Приложимъ остальные извѣстія Невиля о дѣйствіяхъ и намѣреніяхъ по управленію князя В. В. Голицына, которыя, послѣ предложеннаго разсужденія, имѣютъ полное право на вниманіе исторіи.

Онъ хотѣлъ установить вольную продажу вина и тѣхъ съѣстныхъ припасовъ, которые, какъ подати, поступали въ казну натурою. Такъ должно разумѣть, кажется, слова Невилевы, коими онъ оканчиваетъ извѣстіе вышеприведенное (стр. 145) о царскихъ доходахъ, простиравшихся до семи или осьми милліоновъ ливровъ: «Что касается до съѣстныхъ припасовъ, составляющихъ остальную отрасль доходовъ, то

ее оцѣнить трудно. Онъ хотѣлъ того же (прежде говорено, какъ мы видѣли, объ отдачѣ надѣльной земли какъ бы въ наемъ крестьянамъ) относительно кабаковъ и другихъ продажныхъ предметовъ и съѣстныхъ припасовъ, надѣясь такимъ образомъ дѣйствіемъ побудить эти племена къ трудолюбію и промышленности, въ надеждѣ обогатиться».

(Quant aux denrées, qui en sont le reste du revenu, il est fort difficile d'en savoir bien au juste la valeur. Il voulait la même chose des cabarets, et des autres ventes et denrées croyant par cette conduite, rendre ces peuples laborieux et industriels, par l'espérance de s'enrichir).

Далѣе: «Голицынъ хотѣлъ было для пользы царя и служащихъ производить всѣ государственные расходы на деньги, для чего и посылать съ вѣрными людьми мѣха, наиболѣе требующе, на продажу въ иностранныя земли, или въ обмѣнъ за такіе нужные товары, которые можно-бы было продавать въ пользу казны».

(Le dessein de Galitzin, pour le profit des Czars, et celui des officiers, était de payer toute la dépense de l'Etat en argent; et pour cela envoyer, par des gens affidés, toutes les martes et fourrures, dont l'on a moins de débit, dans les pays étrangers, pour les y vendre ou troquer avec les marchandises, dont l'on a besoin et que l'on vendait au profit des Czars).

«Онъ выписалъ изъ Греціи человѣкъ 20 ученыхъ (de docteurs) и множество дѣльныхъ книгъ, убѣждая высшее сословіе (les grands) давать воспитаніе своимъ дѣтямъ, исходатайствовалъ имъ позволеніе посылать дѣтей своихъ въ латинскія училища въ Польшѣ, совѣтовалъ другимъ выписывать гувернеровъ (воспитателей), разрѣшилъ иностранцамъ въѣздъ и выѣздъ изъ царства, чего прежде не бывало. Онъ хотѣлъ также, чтобъ члены высшаго сословія (la noblesse) путешествовали и узнавали военное искусство въ иностранныхъ государ-

ствахъ, ибо цѣлю его было замѣнить хорошими солдатами полки крестьянъ (*de changer en bons soldats les légions de paysans*), которыхъ земли остаются безъ обрабатыванія, когда ихъ уводятъ на войну, и вмѣсто сей бесполезной для государства повинности обложить умѣренною поголовной податью (*de chaque tête*). Думалъ онъ также отправить министровъ для всегдшняго пребыванія при разныхъ дворахъ, и предоставить полную свободу совѣсти въ странѣ. Онъ принялъ уже въ Москву іезуитовъ, съ которыми часто бесѣдовалъ, и которые были выгнаны на другой день послѣ его опалы... Мнѣ трудно было бы исчислить все слышанное мною о кн. Голицынѣ. Довольно сказать, что онъ хотѣлъ заселить пустыни, обогатить бѣдняковъ, сдѣлать людей изъ дикарей, храбрецовъ изъ трусовъ, на мѣстѣ кочевыхъ обиталищъ воздвигнуть каменные палаты: все это Московія потеряла съ опалою великаго министра».

«Собственный домъ его есть одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ въ Европѣ (*des plus magnifiques de l'Europe*), покрытъ мѣдью, внутри увѣшенъ дорогими коврами (*meublé de tapisseries*) и картинами очень замѣчательными (*fort curieux*).

«Онъ построилъ великолѣпное зданіе для коллегіума.

«Онъ велѣлъ выстроить также домъ для иностранныхъ министровъ, что возбудило охоту къ постройкамъ и въ знати и въ народѣ, такъ что во время его управленія больше 3.000 домовъ каменныхъ (?) было построено въ Москвѣ (стр. 175—178).

«Князь Голицынъ построилъ еще на Москвѣ рѣкѣ, впадающей въ Оку, каменный мостъ, о 12 (?) аркахъ, вышины необычайной по причинѣ большихъ половодьевъ; сей мостъ есть единственный каменный во всей Московіи, а строилъ его польскій монахъ (стр. 180).

«До управленія Голицына въ Москвѣ ходили по колѣно въ грязи (*il fallait marcher un pied dans la boue*). Онъ велѣлъ вымостить весь городъ, то есть сдѣлать деревянную мостовую (*au lieu de pavé, qu'il n'y a point dans ce pays là,*

planchéer toute la ville), что послѣ его опалы поддерживается только на главныхъ улицахъ».

«Спафарій (Spatagus), мой переводчикъ, родомъ Волохъ, былъ принятъ княземъ Голицынымъ на службу и обезпеченъ въ содержаніи. Черезъ нѣсколько времени кн. Голицынъ отправилъ его отъ имени царей въ Китай, дабы изыскать средства, какъ можно-бъ учредить сухопутную торговлю между симъ государствомъ и Московіею. Два года провелъ Спафарій въ путешествіи, преодолевая великія трудности, но при большомъ своемъ умѣ, онъ познакомился хорошо съ мѣстами, которыми ѣхалъ, и по возвращеніи обнадежилъ кн. Голицына устроить во второе путешествіе дорогу такъ, чтобъ можно было ѣхать туда (въ Китай) столь же удобно, какъ и во всякую другую страну. По его завѣреніямъ (*sur ses assurances*), Голицынъ велѣлъ искать дорогу самую удобную и короткую, для переноса товаровъ, и найдя ее, устроить почтовую гоньбу (*il songea aux moyens d'y établir des voitures, qui furent*), выстроить отъ Москвы до Тобольска, главнаго города въ Сибири, нѣсколько деревянныхъ домовъ, на каждахъ десяти миляхъ и поселить въ нихъ крестьянъ, отведя имъ земли, съ условіемъ, чтобъ въ каждомъ домѣ содержалось по три лошади, на первый случай имъ выданныя, съ правомъ требовать отъ ѣдущихъ въ Сибирь и оттуда, по своимъ собственнымъ дѣламъ, по три су (по 15 коп.) съ лошади за 10 верстъ дороги, что составляетъ 2 нѣмецкія мили. Онъ велѣлъ по этой дорогѣ, какъ и по всей Московіи, поставить столбы (*pieux*), чтобъ означить версты (разстояніе) и дорогу. Тамъ, гдѣ снѣга столь глубоки, что лошади не могутъ проѣзжать, онъ устроилъ обиталища, кои роздалъ осужденнымъ на вѣчную ссылку, снабдилъ ихъ деньгами, припасами и большими собаками, на которыхъ вмѣсто лошадей можно ѣздить по снѣгу на саняхъ. Въ Тобольскѣ, на рѣкѣ Иртышѣ (*Irstik*), которую неправильно называютъ Обью, потому что она здѣсь впадаетъ, Голицынъ устроилъ большіе

магазины, наполненные запасами, а по рѣкѣ велѣлъ построить большія барки, въ коихъ можно плыть до Кетилбаса (Ketilbas—Байкаль?) озера, находящагося у подошвы горъ *Прагоскихъ* (Pragog), гдѣ также устроилъ всѣ удобства, нужныя для продолженія пути. Спафарій увѣрялъ меня, что онъ совершилъ свое послѣднее путешествіе чрезъ Сибирь въ 5 мѣсяцевъ, и такъ легко и удобно, какъ будто въ нашей Европѣ (стр. 220—226).

Невиль желалъ, чтобъ Спафарій сообщилъ ему подробности о рѣкахъ, горахъ и странахъ, чрезъ кои онъ проѣзжалъ, но тотъ, изъ боязни или осторожности, не хотѣлъ удовлетворить его любопытства.

По всѣмъ симъ даннымъ нельзя не признать въ князѣ Голицынѣ истиннаго государственнаго человѣка, который возвышался надъ своими современниками, и способенъ былъ возвысить свое отечество, какъ внѣ, такъ и внутри, увеличить его благосостояніе. Онъ имѣлъ уже въ виду главныя преобразованія, которыя привести въ исполненіе послѣ досталось Петру.

Къ несчастію, судьба связала князя Голицына, при самомъ началѣ поприща, съ царевной Софіей. Если онъ не принималъ непосредственнаго участія во всѣхъ ея замыслахъ и держалъ себя большею частію въ сторонѣ, даже до послѣдней минуты, если иногда и не одобрялъ ея дѣйствій, то и не препятствовалъ имъ, желалъ имъ даже успѣха, сохраняя выжидательное положеніе, за которое и поплатился позорною ссылкой, со всѣмъ своимъ семействомъ, кончилъ жизнь въ нуждѣ и поруганіи.

Могъ ли князь Голицынъ выбрать себѣ другую дорогу, могъ ли поступать иначе? По крайней мѣрѣ должно сознаться, что выборъ былъ для него затруднителенъ.

Отедоръ приближался къ смерти, и вслѣдствіе его втораго

брака (1682 г., въ февралѣ) готовилась перемѣна въ правленіи: бояринъ Матвѣевъ, умнѣйшій, передовой человѣкъ своего времени, ненавистное лицо для царевнѣ и Милославскихъ, родственныхъ имъ по ихъ матери, всей ихъ партіи, вызывался изъ ссылки; съ нимъ вмѣстѣ должна была выступить на сцену вдовствовавшая царица Наталья Кириловна, съ сыномъ, уже десятилѣтнимъ Петромъ, и со всѣми своими братьями и родственниками, ихъ партіей — знатнѣйшими боярами. Князь Голицынъ, принадлежавшій къ партіи Милославскихъ, не любимый боярами за уничтоженіе мѣстничества, долженъ бы былъ отойти на второй планъ или даже совсѣмъ затеряться въ толпѣ.

Ему, отвѣдавшему уже власти, мечтавшему о преобразованіяхъ, естественно было желаніе остаться на поприщѣ дѣйствій.

Милославскіе, или представители ихъ, бояринъ Иванъ Михайловичъ, съ Софіей и ея сестрами, рѣшились предупредить грозившій ударъ и удержать власть, которая болѣе или менѣе находилась пока въ ихъ рукахъ, ибо приближенные Θεодоровы, Языковъ и Лихачевы, не касались, кажется, внутреннихъ дѣлъ управленія, ограничиваясь первенствомъ и могуществомъ въ дѣлахъ придворныхъ и частныхъ.

Составился заговоръ возвести на престолъ по смерти Θεодора старшаго брата Ивана, не смотря на его болѣзнь, слѣпоту, общепризнанную неспособность, — и самое избраніе Петра. Извѣстно, какія кровавыя мѣры были избраны партіей, которая умѣла воспользоваться смятеніями стрѣльцовъ. Князь Голицынъ не принималъ въ нихъ видимаго участія, и ни въ одномъ документѣ не упоминается его имя, но безъ сомнѣнія былъ на сторонѣ Софіи и Милославскихъ, что доказывается назначеніемъ его во второй день бунта начальникомъ посольскаго приказа.

Среди бунта погибли главные лица Петровой партіи, и правленіе досталось царевнѣ Софіи.

Можетъ быть тогда уже, или вскорѣ, началась любовная связь ея съ княземъ Голицынымъ, и онъ сдѣлался первымъ

совѣтникомъ и главнымъ дѣйствующимъ лицомъ въ государствѣ. Первоначальный планъ ихъ былъ, по свидѣтельству Невилля и молодого Матвѣева, женить больнаго Ивана, доставить ему дѣтей, и подъ ихъ именемъ царствовать, а въ случаѣ нужды отстранить ихъ, какъ незаконныхъ, и самимъ сочетаться бракомъ. Съ Петромъ, оставленнымъ на произволъ судьбы гулять въ Преображенскомъ, сладить во всякомъ случаѣ, казалось, было не мудрено.

Софія вознамѣрилась быть Екатериною, но неудачно. Избранная жена Иванова рожала всякій годъ по дочери, а сына, желаннаго соперника Петру, не было.

Два похода на Крымъ, которыми, между прочимъ, правительство намѣревалось придать себѣ значеніе и прославиться, кончились несчастливо, по отсутствію ли военныхъ дарованій въ Голицынѣ, или по другимъ несчастнымъ обстоятельствамъ, а партія Петрова усиливалась, и онъ самъ показывалъ уже свой характеръ. Приверженцы ободряли его принять участіе въ дѣлахъ, чтобы и самимъ выйти съ нимъ на поприще.

Между тѣмъ поведеніе его внушало всѣмъ опасенія: занимаясь съ утра до вечера военными потѣхами, онъ сблизился и подружился съ нѣмцами, привыкалъ пить и гулять, показывалъ расположеніе къ буйству, жизни вольной, совершенно противоположной старому придворному обряду. Потѣшные его конюхи, преобразованные въ гвардію, не отличались скромнымъ поведеніемъ.

Софія, съ Голицынскимъ, Милославскими и прочими друзьями, могла оправдывать въ своей совѣсти, подъ благовидными предлогами, намѣреніе удержать власть, чтобы не подвергнуть опасности государство подъ управленіемъ такого гуляки и озорника, какимъ представлялся имъ семнадцатилѣтній Петръ, готовый броситься въ объятія нѣмцевъ.

Царица мать была также вѣроятно недовольна его образомъ дѣйствій, и чтобы остепенить его, придумала женить поскорѣе. Бракъ съ Евдокіей Θεодоровной Лопухиной совер-

шенъ былъ еще прежде, нежели Голицынъ возвратился изъ втораго крымскаго похода (1689 г., января 27).

Не мѣсто распространяться здѣсь о послѣдовавшихъ событіяхъ.

По возвращеніи князя Голицына, препирательства Петра съ сестрою возобновлялись все сильнѣе и сильнѣе. Онъ выражалъ ясно рѣшеніе отстранить ее и царствовать безъ ея помощи. Молодая супруга его сдѣлалась беременна. Голицынъ предвидѣлъ исходъ борьбы и хотѣлъ, по извѣстію Невилъ, отправить старшаго сына, вмѣстѣ съ младшимъ и внукомъ, съ посольствомъ въ Польшу и перевести туда на всякій случай свои богатства, уѣхать потомъ самому, еслибъ заговоръ не удался, подъ покровительство короля, набрать войско въ Польшѣ, присоединить казаковъ и татаръ, и силою исполнить то, чего не удалось политикѣ, но Софія, увѣренная въ преданности стрѣльцовъ, имѣя въ своихъ рукахъ всѣ орудія власти, удерживала его и обнадеживала въ своемъ успѣхѣ. Она рѣшилась прибѣгнуть къ крайнимъ средствамъ, чтобы избавиться отъ Петра. Голицынъ не принималъ дѣятельнаго, непосредственнаго участія, предоставляя вести дѣло новому любимцу Софіи, начальнику стрѣлцаго приказа, Шакловитому. До послѣдней минуты она продолжала надѣяться. Но на верху написано было иначе. Все шло вопреки ея желаніямъ. Мѣры не достигали цѣли. Партія ея ослабѣвала. Послѣдній замышленный ударъ не удался. Между ея приверженцами нашлись доносчики, которые предупредили Петра. Онъ успѣлъ ускокать ночью изъ Преображенскаго къ Троицѣ, и тѣмъ рѣшилъ споръ въ свою пользу. Сухаревъ полкъ, а за нимъ и другіе, бояре и городовые дворяне, вызванные грамотами, собирались къ нему со всѣхъ сторонъ. Софія долго сопротивлялась, но принуждена была наконецъ уступить и идти въ монастырь; наперсникъ ея Шакловитый казненъ, а князь Василій Васильевичъ, только благодаря заступничеству своего двоюроднаго брата, князя Бориса Алексѣевича Голицына, избавленный отъ казни, былъ сосланъ въ Пустозерскъ, а потомъ въ Пинегу.

Тамъ прожилъ онъ подѣ стражею двадцать слишкомъ лѣтъ въ бѣдности и нуждѣ, не получая ни отъ кого никакой помощи (кромя царевны Софіи, которая прислала ему однажды двѣсти червонныхъ). Тамъ привелось ему слышать о новыхъ покушеніяхъ стрѣльцовъ, объ ихъ страшныхъ казняхъ, о постриженіи царевны Софіи и вмѣстѣ о славныхъ подвигахъ того безпутнаго мальчишки, на котораго смотрѣлъ онъ вѣроятно съ одинакимъ презрѣніемъ, какъ и сестра его, не ожидая ничего добраго отъ его буйныхъ затѣй: о путешествіи по Европѣ, о сооруженіи флота, о взятіи Азова, объ основаніи Петербурга, о побѣдѣ подѣ Полтавой...

Какъ не пришло въ голову Петру, по окончаніи смутъ, употребить въ дѣло дознанныя способности князя Голицына на пользу отечества?

Два раза, по пути въ Архангельскъ и изъ Архангельска, онъ проѣзжалъ такъ сказать мимо его, и не думалъ не только о принятіи его на службу, но и о возвращеніи изъ ссылки, даже объ облегченіи сколько нибудь его тяжелой участи съ семействомъ. Никто, видно, не смѣлъ и напомнить Петру...

Да, Петръ былъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ злопамятенъ: горе было всякому, кто бы ни былъ, становиться на пути его, быть или казаться ему преградою для исполненія его намѣреній, задуманныхъ европейскихъ преобразованій! Пощады никому не было: жена, сынъ, сестры, любимцы, любимицы—всѣ испытывали тяжесть его руки одинаково со всѣми виноватыми и невинноватыми, которые возбуждали только его подозрѣніе.

Князь Голицынъ скончался лѣтъ семидесяти, * въ 1713 г., и похороненъ въ Красногорскомъ монастырѣ, въ 16 верстахъ отъ Холмогоръ.

* Князь В. В. Голицынъ родился, по указанію Устрялова (11, стр. 31) въ 1643, году, потому что въ 1686 году ему было лѣтъ 43.

Русскіе люди! кому случится быть на сѣверѣ, загляните въ Пинегу, и помяните добромъ князя Василя Васильевича Голицына, который уничтожилъ мѣстничество, и за двѣсти почти лѣтъ до нашего времени, думалъ объ освобожденіи крестьянъ съ землею, о раскладкѣ равномерной подати, объ образованіи дворянства.

М. Погодинъ.

Января 23-го,
1874.

ІЕРЕЙ

(НАРОДНОЕ ПОВѢРЬЕ НА ВОСТОКѢ).

Штурмуютъ османы тверднии Царьграда:
Разметаны башни; въ дыму и въ огнѣ,
Послѣдняя пала предъ ними ограда,
Палъ кесарь послѣдній въ бою на стѣнѣ.

И сила невѣрныхъ во градъ покоренный
Вломила отсюду; за нею во слѣдъ,
Вождей и улемовъ толпой окруженный,
Вступилъ торжествуя султанъ Магометъ.

Спасаясь отъ плѣна, въ Святую Софію
Толпа заперлася и женъ и дѣтей;
И къ смерти готовясь, свершалъ литургію,
Средь общихъ рыданій, старикъ іерей.

И вотъ, совершилась ужъ тайна святая
Безкровныя жертвы, разверзались врата
И выступилъ старецъ съ дарами, взывая
Народъ приобщиться во имя Христа.

Вдругъ съ громомъ разсѣлись наружныя двери,
Слетѣли запоры и турки толпой
Во храмъ ворвались, какъ дикіе звѣри,
И кровь полилася въ Софін Святой.

И храмъ обратился въ вертепъ преисподней;
Но въ ужасѣ общемъ и женъ и дѣтей,
Какъ будто на стражѣ святини Господней,
Одинъ не смутился сѣдой іерей.

И чашу святую, и взоръ умиленный
Всей силою вѣры онъ къ небу вознесъ;
Взоръ этотъ былъ воплемъ души сокрушенной,
Глубокимъ, сердечнымъ: «Владыко Христосъ!»

Молилъ онъ, «не дай твоему іерею
«Узрѣть оскверненіе святини своей!
«Не дай надругаться, о Боже! злодѣю
«Надъ тѣломъ пречистымъ, надъ кровью твоей!»

И вопль былъ услышанъ. Свершилося чудо:
Раздался вдругъ помостъ, глухая стѣна
Во очію всѣмъ поднялася оттуда
И скрыла алтарь съ іереемъ она.

Палъ градъ Константина — и дѣти ислама
Въ немъ властвуютъ гордо на стыдъ христіанъ.
Давно ужъ святиня Софійскаго храма
Мечетію стала въ рукахъ мусульманъ.

Но въ тяжелой неволѣ народная вѣра
Хранить упованіе изъ вѣка во вѣкъ,

Что глѣва Господня исполнится мѣра —
То знаютъ и вѣрятъ и турокъ и грекъ, —

Что тамъ, за чудесной стѣною, хранимый
Чудесною силой, живетъ іерей
И молить онъ Бога, для міра незримый,
И часть спасенья великаго дней.

И дни тѣ настануть; отъ странъ полунощи
Господь избавленья пошлетъ благодать:
Подъ знаменемъ вѣры, исполнена мощи,
Къ Стамбулу придетъ православная рать.

Падетъ передъ нею невѣрныхъ ограда,
Ихъ силу на вѣки она сокрушить,
И снова прибѣетъ ко вратамъ Царяграда,
Какъ древле когда-то, побѣдный свой щитъ.

Отъ края Босфора до края Эвксинна
Раздастся свободы призывъ громовой,
И вступить рать Божья во градъ Константина,
И кончится плѣна позоръ вѣковой.

И въ мигъ, какъ съ вершины Свѣтлыя Софіи
Она полумѣсяцъ низвергнетъ во прахъ,
Въ тотъ мигъ, какъ сыны православной Россіи,
Воздвигнувъ надъ ней искушенія стягъ,

Съ молитвою вступать во храмъ тотъ, смиренно
Склоняя честныя свои знамена,
Въ немъ новое чудо свершится мгновенно:
Исчезнетъ внезапно глухая стѣна;

Открытый алтарь вдругъ заблещетъ огнями
И, выступивъ снова изъ царскихъ дверей,
На встрѣчу имъ выйдетъ съ святыми дарами
Сокрытый вѣками сѣдой іерей.

М. Розенгеймъ.



ИЗЪ ЗАМѢТОКЪ ПРОѢЗЖАГО *

1845—1847.

(О ЧЕРКЪ).

..... Скажи, на что бы
Выросли колыбели, гробы —
Если нѣтъ завѣтной цѣли имъ!...
Вер...

I.

По условію, охотники должны были собраться на «Вульфова Рудку» въ 4 часа утра. Я проспалъ: было уже почти четыре часа, когда я проснулся — и то благодаря ржанію лошадей и бряцанію сабли коннаго лѣснаго объѣздчика, который разбудилъ и всю мою благополучно-храпѣвшую команду — двухъ адмиралтейскихъ мастеровыхъ и топографа.

— Треба спешаты! настойчиво докладывалъ объѣздчикъ. — Въ пять минутъ мы были на коняхъ и немилосердно тряслись въ сѣдлахъ черезъ сжатые поля, промоины и овраги. Съ пригорка я съ удовольствіемъ увидѣлъ надъ паростникомъ тонкую голубую струю дыма.

— Съ Вулька! указалъ нагайкой объѣздчикъ.

«Вульфо́ва Рудка», «Вулька», «Рудня» — имена урочищъ, очень часто встрѣчаемыя по западному краю. Что именно значать «Вульки и Рудки» въ эти филологическія тонкости я не вникалъ, но знаю, что подъ ними всегда оказывается корчма

* Другіе отрывки изъ этихъ «Замѣтокъ» были напечатаны: «Крымъ» въ 1859 году въ Военномъ Сборникѣ, «Темникъ» въ 1861 году въ Современникѣ и «Старикъ» въ 1867 году въ Военномъ Сборникѣ.

съ жидомъ въ мочегинѣ и на ней непремѣнно гнилой мостъ съ бродомъ.

За паростникомъ открылась вся «Вулька». У корчмы расположились десятки разныхъ бричекъ, нейтчанъ, чертопхоевъ и возовъ съ выпряженными лошадьми; немножко въ сторонѣ отъ нихъ возвышалось блестящее «ландо», запряженное дугомъ четверней, въ краковской сбруѣ. По-одалъ корчмы строился сермяжный фронтъ въ бараньихъ высокихъ шапкахъ, съ палками въ рукахъ. Черный, какъ ворона, жидокъ обносилъ по фронту водку: шапки по очереди снимались, и каждый изъ крестьянъ выпивалъ свой шкаликъ и утирался полой сермяги. Это — «трактовались» *заioniчки*. Ихъ было повидимому болѣе 200 человекъ. На лѣвомъ флангѣ — псаря; десятка два своръ гончихъ, то лежали, то сидѣли, дрогнувъ, то путались въ сворахъ и взвизгивали, приводимыя въ порядокъ выжатниками.

Передъ корчмой въ двухъ-трехъ кучкахъ стояли охотники, покуривая и бесѣдуя оживленно.

— А-а! наконецъ-то! встрѣтилъ меня лѣспичій, и отозвавшись съ тонкой ироніей о «столичныхъ» охотникахъ, предложилъ прежде всего познакомиться съ графомъ Гроховскимъ, окольнымъ магнатомъ и патріархомъ всей «полюющей» (охотящейся) братіи на 300 верстъ кругомъ, и съ сыномъ его, прекраснымъ и «ученымъ» молодымъ человекомъ.

Общество охотниковъ — до тридцати человекъ, было крайне разнообразной внѣшности: тутъ были чемерки, венгерки, кажушки, скуртуки — въ числѣ ихъ два-три форменныхъ; всевозможныя шапки, картузы и мурмолки. Усы — закрученные, тонкіе, спущенные по запорожски и просто сливающиеся съ бородой. Оружіе и охотничьи доспѣхи всѣхъ сортовъ и калибровъ на многихъ было расположено со вкусомъ, на иныхъ въ изобиліи. Два три гладкія лица, нарочито вооруженныя, все-таки почему-то напоминали второстепенныхъ божковъ Олимпа; одно изъ нихъ, всѣмъ улыбающееся, даже прямо походило на купидона. Но это оказался становой.

Познакомась кой съ кѣмъ, я пробирался къ графу, — онъ встрѣтилъ меня жестомъ благоволенія. Фигура его была замѣчательна: высокій, худой, сѣдой, но рачительно причесанный и примазанный, онъ былъ въ зеленомъ рейтъ-фракѣ съ большими темной бронзы пуговицами, въ щегольскихъ ботфортахъ, въ охотничьемъ картузѣ и въ палевыхъ лосинныхъ перчаткахъ. Высокій накрахмаленный воротникъ, брызжи на груди и манжеты изъ-за рукавовъ, придавали какой-то, не то средневѣковой, не то балетный характеръ его костюму. Самое лицо, желтоватое, худое и серьезное ничего не выражало, кромѣ увѣренной и безвредной важности. Онъ съ достоинствомъ подавъ мнѣ руку, сказалъ нѣсколько любезностей, какъ охотнику, и кстати вернулъ, что графы Гроховскіе изъ рода въ родъ слыли страстными охотниками и что лучшими часами своей собственной жизни онъ считаетъ проведенные въ «полѣ», въ пріятномъ обществѣ лучшихъ изъ людей — охотниковъ.

Я скромно отвѣтилъ, что хотя я, какъ городской житель, и худшій изъ лучшихъ, но всякій разъ въ обществѣ охотниковъ ощущаю нравственное свое усовершенствованіе.

Пошла пошла бы далѣе, но подошелъ сынъ графа; старикъ отрекомендовалъ его: графъ Вацлавъ — такой же-де, какъ и я: истинный охотникъ.

Молодой человѣкъ, серьезной наружности, былъ очень хорошъ собой. Мы пожали другъ другу руку; въ эту минуту раздался голосъ распорядителя охоты — лѣсничаго.

— Господа, по мѣстамъ! — Потомъ краткая инструкція: не шумѣть, не курить и по мелкой дичи не стрѣлять. Загонщики и псары уже потянулись по смугу за очеретъ, подъ предводительствомъ своего атамана. Нами заправлялъ старый казакъ запорожскихъ статей, съ длинной одностволкой черезъ плечо, съ торбой и рогомъ черезъ другое.

— Съ Богомъ, панове! Гайда!...

Мы направились къ опушкѣ лѣса, темнѣвшаго шагахъ въ двухстахъ отъ корчмы.

Впереди шли человѣкъ десять охотниковъ, потомъ молодой

графъ съ оруженосцемъ отца своего, — это былъ коренастый казакъ, черезъ-чуръ уже изувѣшанный агдташемъ, патронташемъ, рожкомъ, флягой и пистоньеркой; онъ несъ свое и графское оружіе — богатую, съ серебрянымъ приборомъ и золотой настьчкой двустволку.

Графъ шелъ со мной и продолжалъ прерванную повѣсть о родовой страсти графовъ Гроховскихъ къ охотѣ: «я охотился въ Бѣловѣжской пущѣ, на Кавказѣ, въ Абиссиніи, въ Шотландіи, а теперь — дальше своихъ «Палестинъ» не посягаю: времени нѣтъ!» прибавилъ онъ, вздохнувъ, какъ бы избѣгая ссылки на причину по очевиднѣе — окончательную дряхлость свою.

Лѣсная шуба или опушка густыми желто-зелеными купами орѣшника и мелкой поросли ярко выдѣлялась на фонѣ синѣющего дубоваго лѣса; правѣ лѣса спускался по кособору терновый кустарникъ, за нимъ ивнякъ и еще ниже — сочилась мочежина, похожая на усохшее русло рѣки; по ней торчали сперва рѣдкій и невысокій, а далѣе все гуще и выше тростникъ. Солнце поднималось противъ насъ; по золотистому востоку рѣзко обрисовывались темныя вершины старыхъ дубовъ, мѣстами ихъ синеватыя кудри точно раздвигались, пропуская яркій лучъ зари, а въ прогалинахъ чернѣли развилыстыя сучья суховершинника и сухоподстоя. Мы вошли въ лѣсъ; тамъ лежала тѣнь, и прозрачный воздухъ между сѣрыми стволами деревьевъ, какъ будто курился, чѣмъ дальше, тѣмъ гуще, и совсѣмъ синѣлъ въ перспективѣ. Надъ нами стоялъ неподвижный сводъ густой и крупной листвы. Шаги и тихій говоръ охотниковъ были отчетливо слышны: въ лѣсу царствовала зарева тишина.

— Тихо, панове! обернувшись шепнулъ казакъ. Все смогло. Только тамъ и сямъ чиликали и перепархивали проснувшіяся птички, глухо ворковалъ лѣсной голубь и иногда рѣзко, будто осерчавъ, выкрикивалъ картавый стрекотъ сои.

— Звиря бачить! оглянувшись прошепталъ оруженосецъ графа. Графъ сопѣлъ и скользилъ по травѣ своими

ботфортами; хрипота старческой груди его играла въ тишинѣ мѣрно.

Мы подошли къ склону лѣснаго косогора; насажденіе рѣдѣло и пошло мельче, кустарники чаще. Здѣсь вдоль лѣса тянулась долина и внизу на скатѣ ея, за опушкой ивняка чуть колыхался густой очереть. Легкія повѣвы утренника иногда пробѣгали зыбью по его вершинамъ точно по зеленой степи. Предводитель нашъ началъ уставлять охотниковъ: шаговъ черезъ 60—70, подѣ деревомъ или за кустомъ стоялъ, охорашиваясь, то усатый шляхтичъ, то гладкій чиновникъ, или по самыя глаза заросшій баками панъ экономъ, или рахмистръ. Всѣ они улыбались и потрогивали свои шапки при проходѣ графа; онъ благосклонно кивалъ головой.

Очередь дошла до молодого графа, но казакъ кивнулъ мнѣ и указалъ на дерево: «лисъ буде!» шепнулъ онъ; графъ сдѣлалъ мнѣ «ручку»; я остался. Шагахъ въ 50-ти за мной, на самомъ, какъ мнѣ послышалось, «звѣриномъ тропу», казакъ пригласилъ остаться подѣ деревомъ графа; за деревомъ помѣстился его оруженосецъ. Еще далѣе сталъ молодой графъ. Черезъ четверть часа шаги удаляясь смолкли, все притихло—и я услышалъ даже бѣненіе моего сердца.

Въ лѣсной тишинѣ, въ напряженномъ ожиданіи перваго отдаленнаго крика загонщиковъ, и еще пуще—перваго лая тавкнущей гончей—невольно сдерживаешь дыханіе и не только далекой щебетъ птицы, но и шелестъ травы подѣ пробѣжавшимъ кротомъ—все слышится отчетливо, преувеличенно, все видишь въ одно мгновеніе изощреннымъ взоромъ, ни одно беззвучное движеніе не пройдетъ незамѣченнымъ. Кругомъ ко всему становишься внимательнымъ и кажется чувствуешь свою человѣческую,—превосходящую всякаго звѣря,—чуткость. Вотъ промелькнула въ вѣтвяхъ бѣлка и прислушивается не замѣчая тебя; въ травѣ у ногъ твоихъ задрались и шерчатъ двѣ букашки, издали жужжить пчела... Точно какой-то невидимый лѣсной хоръ въ глубокой тишинѣ готовится грянуть свою дикую симфонію и чуть пробуетъ свои стран-

ныя ноты... Тишина начинает томить, сердце бьется сильнее...

Тамъ и самъ щелкнули курки—охотники на сторожѣ.

И вотъ—слышится звукъ трубы, слѣва далекій выстрѣлъ, справа—другой, загудѣли голоса и мѣрное, тонкое взлаиванье... По вершинамъ лѣса, кажется, прошелъ трепеть, смягчая дикіе диссонансы аккордовъ...

Позади шелестнулъ кустъ, и чуть слышимый топотъ удалась смолокъ—это стрѣкнулъ заяцъ, либо хитрый и осторожный волкъ, первый почувъ облаву.

Приближаются перекливающиеся голоса и ровный лай... И вдругъ прорвался зычный вскрикъ: а ту его! ту-ту-ту у-лю-лю!... жалобно звякнуло взлаиванье гончей, нюхнувшей горячій слѣдъ звѣря; подхватилъ густой лай, залилась другая свора, дальше третья—и съ подвываніемъ закипѣла музыкальная брехня—варомъ варить стая по зрячему. Откуда-то вырвался заяцъ, прогалошировалъ по линіи, присѣлъ, робко поводя ушами; другой какъ ошпаренный летитъ мимо безъ всякаго соображенія и увлекъ за собой осторожнаго труса. Ни кто и не глядѣлъ на нихъ. Слева, по-одаль отъ насъ, ожесточенно залилась стая—и вдругъ сильный голосъ отрывисто крикнулъ: «пильнуй! дикъ!» Широко заколыхался и захрястѣлъ тростникъ. Что-то громоздкое мелькнуло черезъ поляну и съ отчаяннымъ плачемъ и лаемъ стая пронеслась въ лѣсъ; нѣсколько выстрѣловъ грянули дробью одинъ за другимъ, затрѣщали по лѣсу кусты и сушнякъ, черезъ мигъ смокли,—послышался короткий стоны... За нимъ кликъ охотника: «го-го-го!» и наконецъ побѣдная труба: свалили вепря!

Въ ту же минуту издали передъ нами ревнулъ голосъ изъ тростника «пильнуй»... Вдали заливалась другая стая; гудѣли глухіе выстрѣлы.

Я глянулъ на графа, онъ держалъ свое ружье на готовѣ и съ открытымъ ртомъ глядѣлъ упорно тусклыми глазами въ мою сторону. А прямо предъ нимъ колыхались тонкой извилистой струей верхушки тростника... струя остановилась.

Гончія на мигъ, какъ будто поотдали, перебрехиваясь въ недоумѣніи... Справа отъ насъ одинъ за другимъ раздались выстрѣлы—и вдругъ точно ужаленная, взвизгнула гончая—одна, другая и горячо залилась вся стая... Загонщики кричатъ яснѣе и гучче...

«Пильнуй!» оралъ точно ограбленный голосъ, а графъ глядитъ напряженно въ мою сторону и носомъ указываетъ мнѣ на тростникъ.

Я ткнулъ ему пальцемъ въ тростникъ по направленію противъ него, онъ глянулъ и застылъ...

Струя по тростнику передъ нимъ вбѣжала въ поляну: изъ подъ тростника высунулась рыжая точно подсмоленная острая морда, сверкающими глазами окинула передъ собой всю открытую мѣстность и притаясь устремила взглядъ на графа. Онъ выставилъ ногу и весь подавшись впередъ, медленно, дрожащими руками наводилъ свою двустволку...

Это былъ мигъ; я могъ стрѣлять и уже прицѣлился, но жаль стало старика. Тростникъ хрустѣлъ, гончія были близко—быстрымъ скачкомъ вынырнула на поляну лисица и пластомъ разстилаясь по травѣ, вильнула пушистой трубой, понеслась въ лѣсу между мною и моимъ дряхлымъ сосѣдомъ. Два ствола дрожащаго ружья его провожали улепетывающаго звѣря и уже глядѣли черезъ него на меня своими темными дулами... Лиса уходила за линію стрѣлковъ, я приложился и почти одновременно грянули два выстрѣла: дробь сухо царапнула по моему сапогу лисица перекувырнулась, но стремительнымъ скачкомъ метнулась лѣвѣе меня въ чащу; гончія, выскочивъ изъ тростника, заливались по ея слѣдамъ... Грянулъ близкій выстрѣлъ: правый сосѣдъ мой шель въ чащу и черезъ минуту раздался его голосъ: го-го-го! и радостное влаеванье подбѣжавшихъ гончихъ. Раздвигая кусты, сосѣдъ несъ ко мнѣ зашиворотъ вытянувшуюся во всю свою длину, съ повиснувшей мордой и высунутымъ языкомъ, лисицу. Она еще дергала задней ногой и судорожно вильнула хвостомъ, гончія припрыгивали, обнимали ее и влаевали.

Я кивнул головой охотнику, указавъ въ сторону графа; и оглянувшись; страстный старикъ стоялъ въ какомъ-то обаяніи: онъ указывалъ дрожащимъ пальцемъ на лисицу, лицо его сіяло, ироническій взглядъ какъ будто хотѣлъ сказать: вотъ-молъ мы каковы!...

Гончія тавкали по лѣсу, загонщики выходили изъ тростника, вдали раздалось еще нѣсколько выстрѣловъ, то по одному, то залпомъ. Скоро все смогло. Рогъ лѣснаго протрубилъ «отбой» и кончилъ его пріятной фіоритурой. Охотники сходились,—за ними волобли двухъ волковъ, еще лису, и наконецъ лѣснаго панцырнаго богатыря—матераго кабана; залитая смолой щетина его была непроницаема для пули.

Всѣ поздравляли графа и многіе были въ восторгѣ отъ его выстрѣла. Ко мнѣ подошелъ сынъ его и улыбаясь шепнуть: «отъ меня все было видно».

Всѣ осматривали убитыхъ звѣрей. Выстрѣлъ въ ухо кабана единогласно признанъ мастерскимъ; усатый шляхтичъ, сразившій вепря, скромно хвалилъ свою «дубельтувку», почему-то называя ее «шпаньской».

Еще скромнѣе, но довольно длинно и съ худоскрываемымъ упоеніемъ рассказывалъ графъ всю процедуру своего «счастливаго» выстрѣла: «я видѣлъ, какъ эта шельма — и онъ небрежно ткнулъ ботфортой въ морду распростертаго у ногъ его звѣря,—какъ эта бестія кралась тростникомъ, какъ выглянула изъ него: что это за хитрость! что за умъ, ловкость!.. я далъ ей такъ сказать развить всю свою лисью тактику, тихо провожалъ прицѣломъ свою жертву—и, и, и... какъ видите!...»

Какъ не видѣть: сапогъ мой у самой щиколки былъ оцарапанъ и даже почти пробить дробиною. Къ счастью тѣмъ и ограничился этотъ «счастливый» для обоихъ насъ выстрѣлъ преклоннаго Нимврода.

Нимвродъ сдѣлалъ жестъ своему оруженосцу, тотъ вострубилъ въ турій рогъ;—вблизи такіе же рога созывали собакъ. Облава этой «кнеи» кончена.

Черезъ нѣсколько минутъ къ кружку нашему подошелъ

дорожный и также въ рейтъ-фрагѣ маіордомъ графа съ хрустальной чаркой на подносиѣ въ одной рукѣ и съ старой заскоружлой бутылкой въ другой. За нимъ лѣсникъ несъ небольшой мѣшокъ.

«Позвольте, господа, по товарищески, по охотничьи—важно отозвался графъ—попотчивать васъ простой, но теперь едва ли не единственной почтенной «старушкой».

Маіордомъ налилъ въ чарку нѣчто въ родѣ прованскаго масла по цвѣту и густотѣ.

«Охотники пьютъ рано!» промолвилъ графъ. Всѣ пили и изумлялись; по общему приговору «старушка» оказалась дѣйствительно «единственная». Похвалямъ не было конца: «нѣжное ощущеніе какой-то бархатности, тончайшій аромат, вкрадчивая, предательская крѣпость, словомъ обаятельное чувство—не самого страстнаго поцѣлуя,—а живое воспоминаніе о немъ—все это тонкимъ эфиромъ разливается по всему вашему существу»... Такъ говорилъ одинъ охотникъ изъ чиновниковъ и всѣ подтвердили его умную и правдивую рѣчь.

«Этой *куфъ* ровно 140 лѣтъ. На то есть метрика и инныя документальныя доказательства!» промолвилъ графъ и оттопырилъ нижнюю губу: «бочка эта была налита въ день рожденія моей покойной бабушки княжны Сангушко!»

Прелестная старушка!...

На закуску маіордомъ поднесъ каждому по дюшесѣ, совершенно достойной выпитой «старушки».

Послѣ этого вполне сіятельнаго завтрака, старецъ, утомленный сильными ощущеніями удачной охоты, распрощался съ нами. Кровавый трофей — лисицу, понесли за нимъ и къ общему соблазну на шубѣ ея всѣ увидѣли два кровавыя пятна: стало ясно, что звѣрь убитъ двумя выстрѣлами — въ голову и въ пахъ, — чего никакъ не могло случиться съ третьимъ, оцарапавшимъ мой сапогъ.

Проводивъ графа до коляски, сынъ его возвратился къ намъ продолжать охоту. Занимали вторую кнею. Мы съ нимъ шли

рядомъ, и молодой человѣкъ сталъ было благодарить меня за мою любезность уступки выстрѣла отцу его.

— Сущая бездѣлица! отвѣтилъ я.

— Конечно, для дилетанта — жертва не особенная, но.... Говоря это, графъ глядѣлъ куда-то въ лѣсъ и продолжалъ развязно свою благодарность.

Истинный охотникъ пойметъ меня: я всегда воображалъ себя записнымъ охотникомъ по призванію, по страсти, и уважалъ мою спеціальность нисколько не меньше всякой, какой угодно. А извѣстно, что чѣмъ мельче спеціальность, тѣмъ она щекотливѣе, раздражительнѣе; истаго же охотника назвать дилетантомъ — это почти непрощаемая обида. Я такъ и принялъ.

— То есть, почему же я дилетантъ?

— Ну, это ясно....

— То есть, отчего же ясно?

— Вы согласитесь, что тотъ, кто напримѣръ опаздываетъ на мѣсто свиданія съ женщиной, или уступаетъ ея поцѣлуй другому — ужъ конечно же не страстно любить ее!...

Я молчалъ. Пять мѣткихъ словъ разочаровали меня; я не охотникъ.

— А вы сдѣлали то и другое! продолжалъ наивный молодой человѣкъ.

Надо было согласиться и скрыть досаду.

— Вы однако психологъ, отвѣтилъ я ему: сравненіе ваше вѣрно и убѣдительно; ясно, что оно взято съ натуры, почувствовано, а не сочинено!...

Онъ улыбнулся. Разговоръ этотъ сблизилъ насъ. Слѣдующую вѣню мы встали сосѣдами и какъ на смѣхъ на меня выбѣжала опять лисица. Я убилъ ее на повалъ.

— Возвращаю назадъ слово! крикнулъ мнѣ графъ.

— Не принимаю!

Два-три промаха по звѣрю на этой же охотѣ, совсѣмъ разочаровали меня въ моемъ призваніи. Я махнулъ на него рукой.

Вечеромъ кончилась охота. Графъ приглашалъ меня на ночлегъ къ себѣ въ село; но я собирался на другой день въ

Одессу, а оттуда въ Петербургъ. Онъ сказалъ, что если я пробуду въ Одессѣ дней пять, то навѣрное встрѣтимся, потому что черезъ три дня онъ ѣдетъ за границу изъ Одессы же.

Увидимся у Каруты (извѣстный кафе) или въ Лондонской гостинницѣ, гдѣ совѣтую остановиться: самая удобнѣйшая.

Ладно!

Мы разстались почти друзьями.

II.

Пообѣдавъ довольно скверно въ Балтѣ, часу въ 7-мъ, я выѣхалъ далѣе и рассчитывалъ въ гор. Ананьевѣ напиться чаю, а къ утру быть въ Одессѣ. Воздухъ вдругъ похолодѣлъ, поднялся вѣтеръ и началъ накрапывать дождь. Со второй станціи погода разыгралась и въ полпути на небо надвинулись тавія тучи, что не стало видно дороги. Дождь хлестнулъ сплошными струями ливня; вѣтеръ вылъ, твердая дорога сразу превратилась въ болото и не стало слышно ни колесъ, ни звонка, только кнутъ возницы шлепалъ по всей мокрой тройкѣ. Не смотря на теплую шинель и плисовый пиджакъ, холодная струя дождя пробралась мнѣ за воротникъ — я продрогъ.

Наконецъ въ темнотѣ свергнувъ огонекъ, тройка круто повернула въ ворота и врѣзалась дышломъ въ какую-то бочку.

— А нѣхъ васъ вишетцы дзіаблы везмо! раздалось пѣвучее привѣтствіе и вынесенный изъ дверей тусклый фонарь чуть освѣтилъ силуэтъ огромнаго дормеза; изъ него исходили проклятія. Я вылѣзъ изъ повозки въ мягкую, какъ подушка, грязь. Залѣпленный бумагой фонарь испускалъ на столько свѣта, сколько его надо было, по выраженію Мильтона, чтобы разглядѣть непроницаемый мракъ. Возница завезъ меня во дворъ

станціи. Еврей допрашивалъ, кто прїѣхалъ, а шлепалъ къ дверямъ и требовалъ прїюта.

— Не ма покоя! хрипѣлъ еврей.

— Какъ не ма? Оказалось, что весь станціонный домъ пребываетъ въ переходномъ положеніи отъ бытія къ небытію или обратно: все сломано, кромѣ сѣней, и по обѣ стороны ихъ по комнатѣ. Но одна наполнена семействами содержателя-жида и писаря хохла; въ другой прїютились двѣ проѣзжія графини; а въ сѣняхъ, на кадкахъ и бочкахъ, храпитъ графскій гайдукъ. Самовара нѣтъ — графини кушаютъ чай; лошадей тоже нѣтъ — самъ графъ взялъ послѣднюю тройку и изволилъ уѣхать въ Одессу для приготовленія помѣщенія графинямъ; въ дормезѣ спитъ горничная.... А дождь льетъ, какъ вѣроятно лилъ во время всемірнаго потопа. Кажется, всѣ графы и графини цѣлаго брая сговорились непременно дованать меня — то огнемъ оружія, то способомъ потопа — все равно....

— Ну, такъ гдѣ жъ прикажете быть?

— А якъ вельможному пану завгодно! и еврей освѣтилъ сѣни: тутъ оказались дрова, кирпичъ, растворенная въ ящикѣ известь, дегтярныя мазницы, а надъ головами на шестахъ ободья, шлеи, сбруя и спящія куры.

Изъ апартамента неся невоздержный ревъ проснушагося жиденка, увѣщанія сонной матери его и басовое назиданіе хохла: «а якъ я возьму нагая, да пидыму тобі, триста чортывъ, батькови, сорочку, да вытягну добре, такъ вжешь заспи-ваешь въ мене!...»

— Зей стиль! побрякивалъ еврей передъ моимъ носомъ. Куры выражали неудовольствіе съ шестовъ.

Мною овладѣло ожесточенное чувство, подобное рѣшимости храбраго солдата, наткнушагося на непріятельскую траншею: мѣрно щелкнувъ три раза въ дверь и, не ожидая приглашенія, я дернулъ щеколду и очутился передъ двумя графинями и самоваромъ, въ обильномъ свѣтѣ двухъ свѣчей.

Послѣ мрака, праха и разрушенія все это представилось мнѣ сперва однимъ яркимъ свѣтлымъ пятномъ, предъ кото-

рымъ я вкратцѣ извинился и, сбросивъ на лавку у дверей мою промокшую шинель, сталъ-было добывать изъ кармана курительные снаряды; но по немножку вглядываясь въ лежавшую на диванѣ женщину, я изумился. Храбрость моя исчезла, какъ у того же храбраго солдата, который, ворвавшись въ траншею, вдругъ носъ къ носу напоролся бы, вмѣсто непріателя, на свое же высшее начальство.... Я попридержался съ куревомъ.

Точно въ живыхъ цвѣтахъ яркаго ковра, которымъ былъ покрытъ диванъ, покоилась надъ книгой, въ позѣ Батоніевской Маріи Магдалины, но прекраснѣе ея, женщина. Такаго мягкаго, тонкаго и художественнаго очертанія лица и всей фигуры, помнится, я не видалъ ни въ самой натурѣ и ни у какихъ мастеровъ, ни старыхъ, ни новыхъ школъ. Она читала внимательно, я влѣпилъ въ нее глаза. Она напоминала типъ Мурильовскихъ Мадоннъ, но казалась еще дѣвственнѣе и прекраснѣе.

У женщинъ, разумѣется, прекрасныхъ, есть особенная, имъ однимъ свойственная чуткость: онѣ *слышатъ* взглядъ, устремленный на нихъ, все равно откуда — хоть за пять верстъ, черезъ телескопъ. Это совсѣмъ не то, что извѣстная магнетическая сила взгляда — это еще не опредѣлено и не формулировано научно; но несомнѣнно, что свойство это принадлежитъ только прекраснымъ женщинамъ, да еще отчасти бѣглымъ преступникамъ.

Какъ будто позволивъ мнѣ наглядѣться, она положила на столъ книжку, немножко зѣвнула и, чуть обернувъ ко мнѣ античную голову свою, предложила чашку чаю: «вы, кажется, спрашивали самоваръ?»

— Вы милостивы, графиня: въ моемъ положеніи это сущее благодѣяніе....

— Слѣдовательно, христіанскій долгъ! Она улыбнулась, привстала и оправила блузу свою, изъ-подъ которой, точно бѣлый мышонокъ выглядывалъ кончикъ полуразувшейся ножки.

Въ креслахъ, тоже покрытыхъ ковромъ, сидѣла другая фигура, высокая, строгая, старая женщина. Она хлопнула сон-

ными глазами, взглянула какъ-то надменно. Не обращая на нее особаго вниманія, я продолжалъ относиться къ младшей:

— Простите, графиня, что я такъ потревожилъ васъ.... Но тихій взглядъ красавицы легкимъ движеніемъ зѣницъ, повернулъ меня къ старшей и, повинаясь инстинктивно, я кончилъ мое извиненіе уже фронтомъ къ старухѣ.

Мнѣ отвѣчено чѣмъ-то въ родѣ *à la guerre comme à la guerre* и не совсѣмъ любезнымъ зѣвкомъ. Глаза строгой старушки опять сомкнулись.

Мадонна налила чашку чаю и указала взглядомъ на стулъ, который стоялъ почти въ ногахъ ея.

Поотодвинувшись, я усялся. Чай былъ превосходенъ. Отъ сахарныхъ крендельковъ и бисквитъ надо было благоразумно отказаться: я могъ увлечься и съѣсть ихъ всѣ. Я рѣшился напиться чаю спеціально и за каждой чашкой встрѣчалъ легкую одобрительную улыбку. Однако послѣ четвертой, Геба моя взялась за вѣнчикъ; а я было подумывалъ, какъ бы закурить папироску съ пятой чашкой.

— Можетъ быть, вы еще хотите? спросила она.

— Графиня!... я хотѣлъ поблагодарить и вмѣсто того брякнулъ: чашки ужасно малы!... Впрочемъ думалось—не дѣтей же мнѣ съ тобой крестить, я подрогу изрядно.

— Уповаю на ваше христіанское терпѣніе!... Она налила пятую и прибавила: Если вы курите—не стѣсняйтесь: я тоже курю! и предложивъ мнѣ открытую золотую папиросницу съ пахитосами, закурила сама.

Завязался разговоръ, помогшій мнѣ, вмѣсто испанской соломъ, закурить, съ шестою чашкой, мой серьезный «самсонъ». Монотонный говоръ нашъ тоже помогъ пріятному сну старухи; она захрапѣла, да такъ рѣзко и непріятно, что я невольно взглянулъ на нее.

Сонъ—предатель душевныхъ тайнъ: на спящемъ лицѣ можно прочесть иногда то, что неумовимо въ экспрессіи осторожнаго, бодрствующаго человѣка. Освѣщенная съ одной стороны

спящая старая графиня, напоминала профиль Горгоны: такъ и вѣяло отъ нея холодомъ.

Собесѣдница моя, кажется, замѣтила мой взглядъ и промолвила: татап утомилась, она не можетъ спать дорогой, за то теперь отдыхаетъ сладко. И очень любезно прибавила: а я, напротивъ, всю дорогу спала и теперь не могу спать.

Кстати, храбѣнныя старухи, ливень, хлещущій по окнамъ, безпрестанный плачъ жиденка въ сосѣдней избѣ и попискиванье на нашествіе куръ — все вмѣстѣ настроилось въ такой монотонный, тупой гулъ, который вовсе не мѣшаетъ вниманію даже тихаго разговора. Я взглянулъ какъ-то на книжку; которую графиня положила на столъ вверхъ оберткой; это былъ еще новый въ то время романъ «Jean Sbohag». — Рѣчь зашла о литературѣ. Это была эпоха Дюма, Бальзака, Жоржъ-Занда, Гюго, Диккенса, Кореръ-Бель, Теккерея и комп. У насъ обозначился Лермонтовъ, Гоголь, Бѣлинскій, возникъ Тургеневъ, Некрасовъ; она назвала много нѣмцевъ и итальянцевъ, съ которыми «мы, впрочемъ, не служили», какъ выразился категорически полковникъ Скаловубъ о Татьянѣ Юрьевнѣ. Она знала всѣхъ; знала, мнѣ казалось, все. О каждомъ отзывалась въ нѣсколькихъ словахъ и характеристики ея были женственно мѣткі и оригинальны. О Диккенсѣ, напримѣръ, замѣтила очень скромно, что онъ чуть ли не единственный писатель, такъ мало теряющій въ переводахъ, что вполне понятенъ на всѣхъ языкахъ. «Это можетъ быть оттого, что у него надъ умомъ преобладаетъ сердце—великій космополитъ человѣчества». Я, разумѣется, вполне соглашался.

Заговорили объ оперѣ, объ искусствахъ;—она и тамъ была «какъ дома». Тембръ голоса Фреццоліни она предпочитала звучности и чистотѣ голоса Віардо-Гарціи. Она любила слушать Гриви, но изрѣдка; точно также, какъ видѣть Рашель; Рубини назвала мастеромъ и серьезнымъ талантомъ, а Марію приторнымъ. И всѣхъ она слышала, то во Флоренціи, то въ Парижѣ, и все это припоминалось просто, кстати и

совершенно естественно. Безъ всякой натяжки и тоже естественно перешли къ дрезденской галлерей: она отзывалась о ней съ восхищеніемъ, кромѣ нѣмецкихъ классиковъ, «а Гольбейна, признаюсь, и совсѣмъ не понимаю». Кстати, я тоже не понималъ, а притомъ и не видѣлъ никогда. Изъ старыхъ мастеровъ особенно симпатіей ея пользовался Мурильо. Все это высказывалось такъ наивно и однако съ такимъ тонкимъ пониманіемъ, что мнѣ приходилось, во избѣжаніе обращенія на «общихъ мѣстахъ», сильно затыгиваться моимъ «самсономъ», пуская дымъ въ сторону. Этимъ невиннымъ маневромъ я надымилъ до того, что Горгона закашлялась и угрожала пробужденіемъ, но къ счастью опять захрапѣла.

— «Мурильо — продолжала она — такъ глубоко-мирокъ и человѣчно-святъ, что Мадонна его, мнѣ кажется, всегда будетъ современна, какъ идеалъ женщины»... А она сама казалась мнѣ именно тѣмъ идеаломъ, который вдохновлялъ самого Мурильо и очень походила на его Мадонну (съ чѣтками).

— Вы рисуете, графиня? спросилъ я.

— Когда-то писала, но и теперь люблю живопись...

Это *когда-то* разсердило и образумило меня: ей самой было не больше двадцати-пяти лѣтъ. Это ужъ пересолено! А мнѣ такъ пріятно было вѣрить ея наивности.

— Да, всѣму есть предѣлъ!... подумалъ я, совсѣмъ нечаянно, вслухъ. Она потребовала объясненія; лгать съ такой женщиной нельзя, да и опять таки умная женщина всегда прощаетъ даже грубость, если подкрасить ее, положимъ — лестью. Я объяснилъ, что вовсе не хотѣлъ сказать того, что сказалъ громко, но не отрицая талантовъ въ женщинахъ, не думаю, чтобы прекраснѣйшія изъ нихъ были способны разрабатывать свои таланты.

— Это отчего?

— Времени нѣтъ: на нихъ съ дѣтства вѣчно глядятъ и мѣшаютъ имъ заняться собою для себя.

Она улыбнулась какъ-то небрежно, однако согласилась со мною.

Порывъ вѣтра сильно стукнулъ въ эту минуту въ окно, заставивъ ее вздрогнуть и оглянуться: это движеніе распахнуло ея кашемировую блузу; спустившаяся батистовая, обшитая тонкими кружевами сорочка полуоткрыла ея грудь. Въ картинѣ Даная, посвящаемая Юпитеромъ—въ облакѣ, нисходящемъ съ золотымъ дождемъ, великій художникъ изобразилъ невидимое божество—передъ вами тѣнь, но вы чувствуете въ ней таинственное присутствіе бога. Такая же таинственная тѣнь мелькнула передо мной въ распахнувшейся одеждѣ ея—тамъ почивали боги... Я силился потупить глаза, но нервы не дѣйствовали; она слегка покраснѣла. Кокетства тутъ не было: я былъ видимо огорошенъ или очарованъ... Она конечно понимала это и какъ будто снисходила милостиво: на прелестномъ лицѣ ея, въ задумавшихся глазахъ, куда-то устремленныхъ, въ дѣтской, хитрой полуулыбкѣ я прочелъ въ свою пользу: да Богъ же съ тобой, отдохни на распутѣ, — все равно мнѣ скучно!... Невыносимая прелесть!...

Какое-то раболѣпіе одолѣвало меня; я чувствовалъ, что уже принимаю милостыню этой властительной красавицы. Лучезарное, ликующее и тихое могущество разбудило сатанинскую гордыню—я возмущался...

Кстати—потолокъ скрипнулъ и какъ-то застоналъ за порывомъ вѣтра.

— Что за жалкая обстановка! промолвила она, взглянувъ въ потолокъ: что-бы здѣсь въ этомъ благодатномъ, богатомъ краю сдѣлали англичане, напримѣръ!...

— Сами боги тутъ ничего не подѣлали бы! отвѣтилъ я очень храбро.

— Вы думаете?

Я совсѣмъ не объ этомъ думалъ, но разговоръ самъ перешелъ на этотъ благодатный край. Она было намекнула, точно изъ урока географіи, на климатъ, почву и естественныя произведенія страны и на отсутствіе всякой энергической дѣятельности въ ней, словомъ, покушалась на политическую экономію, но тотчасъ же созналась, что очень мало смыслить

*

во всемъ этомъ и очень мило подтрунила надъ собой: «мнѣ гораздо больше хочется знать, нежели могу изучить», и улыбувшись, кольнула меня: «времени нѣтъ!»—Я похвалилъ ее за сознаніе и возмущеніе мое опять смирилось.

Не помню какъ, коснулись мы охоты и я рассказалъ ей послѣднюю, въ которой участвовалъ. Она слушала съ любопытствомъ. На вопросъ ея, охотникъ ли я, я объяснилъ ей подробно мое разочарованіе въ мнимой страсти къ охотѣ. Ей очень понравилось удачное и убѣдительное сравненіе, которымъ молодой человѣкъ изобличилъ передо мною же мою напускную страсть.

— Онъ навѣрное самъ влюбленъ страстно, сказалъ я: — потому и выразился такимъ мѣткимъ сравненіемъ. Надѣюсь допросить его — мы встрѣтимся въ Одессѣ. — При этомъ я назвалъ графа Вацлава. — И тайна раскрылась: она чуть вспыхнула, спокойный взглядъ ея измѣнилъ ей, и пойманная врасплохъ, не съ разу овладѣла собой. Но она и не старалась загладить своего нечаяннаго движенія. Хотя имя Вацлава было произнесено безъ всякаго ударенія, но мать графини храпнула, пошевелилась и опять уснула, вздохнувъ однако; графиня кинула на нее мелькомъ взглядъ. Помолчавъ немного, она продолжала разговоръ и между прочимъ отзывалась о Вацлавѣ: «Онъ старый нашъ знакомый; жаль, мы не увидимся съ нимъ въ Одессѣ, — послѣ завтра мы отплываемъ въ Константинополь и оттуда въ Аѣины»... На Аѣинахъ случилось замѣтное удареніе и маменька, мнѣ показалось, опять шевельнулась. Къ чему эти Аѣины! думалось мнѣ.

Но Аѣины окончательно образумили меня: я твердо вошелъ въ роль хладнокровнаго проѣзжаго.

Кто знаетъ вашу тайну, тотъ либо другъ, либо врагъ вашъ — середины нѣтъ. Китайцы говорятъ, положимъ, еще категоричнѣе: «тайна, которую знаютъ двое — не тайна». Но какъ-то безотрадно признать эту, хотя бы и глубокую истину. Зачѣмъ отнимать у бѣдной жизни тѣ иллюзіи, которыми она такъ восхитительно-роскошна. Богъ съ ней и съ мудростью,

безпощадно срывающей обольстительные покровы тайнъ— пусть они такъ тепло и пріютно прикрываютъ скудость, холодъ и всю нищету жизни. Пусть дають наслажденіе, радости, счастье, хоть бы и ложное, обманчивое, немножко унизительное—но счастье, непремѣнно счастье. А иначе и жить не стоитъ.

Вся эта іереміада лѣзла мнѣ въ голову изъ-за Аоннѣ. И мнѣ-то что за дѣло до нихъ. Что мнѣ Гекуба и что я Гекубѣ...

А все таки тайна прекрасной женщины отрезвила меня: я глядѣлъ на нее яснѣе, спокойнѣе, холоднѣе.

Понявъ случайныя отношенія мои съ Вацлавомъ, она молча какъ будто предложила мнѣ свою дружбу; я принялъ ее молча...

Она продолжала быть прекрасной, восхитительной; я глядѣлъ на нее, слушалъ ее, но мнѣ все казалось, что откуда-то изъ смутной дали, тѣснится къ намъ какой-то строгій, оскорбленный и рогатый призракъ.

Дождь пересталъ; въ углу комнаты стучали на полъ капли съ протекающаго потолка... Свѣчи горѣли блѣдно, ничего не освѣщая, свѣтъ брежжилъ въ тусклымъ окна.

На дворѣ колокольчикъ изрѣдка побрякивалъ, лошади всхрапывали... Графиня задумалась... Старушка, съ мраморнымъ профилемъ, храпѣла; издали донесся Богъ вѣсть откуда тихій плачь младенца. Мы печально взглянули другъ на друга и почему-то мнѣ стало несказанно жаль ее...

На дворѣ тонко посвистывалъ сквозъ губы, вѣроятно, ямщикъ; я прислушался: и самый способъ свиста, и мотивъ были не «здѣшніе».

— Размокропогодило! отозвался чисто русскій голосъ.

— Страх-х-хъ!... отвѣчалъ еврей.

— Страхъ не страхъ, а болота вдоволь!...

Затѣмъ въ комнату вошелъ еврей и доложилъ:

— Лошади васему зѣтельству готовисъ!

Мое «зѣтельство» приказало ему вынести и вытряхнуть

мою шинель—я всталъ. Старая графиня проснулась и значительно зѣвнула. Молодая привстала и, придерживая свою распахивающуюся блузу, подала мнѣ руку и пожала мою,—мнѣ показалось крѣпко.

— Ты зачѣмъ тутъ въ этой губерніи проѣдаешься? спросилъ я бородатаго великорусса-ямщика, посвистывающаго на шлепающую по грязи тройку.

— Я-то?

— Ты-то!

— Да такъ себѣ, тутъ будетъ вольготнѣе.

— Ну, пошелъ, да пой ту пѣсню, что ты насвистывалъ.

— Я-то?

— Ты-то!

— Каку такую пѣсню?

— Толкуй по пятницамъ. Пошелъ и пой! прибавлю на водку!

— Вишь ты баринъ! ухмылившись промолвилъ ямщикъ. Я сунулъ носъ въ теплый воротникъ. Небо прояснилось, вѣтеръ стихалъ, и чуть посвистывая, едва на 5-й верстѣ, ямщикъ затянулъ себѣ въ бороду, все возвышая голосъ, плакучую дребедень:

«Ты, суди, суди, астраханскій
Суди губернаторъ!
Суди правдою, суди по законамъ:
Какъ ужъ воръ-подлецъ, добрый молодецъ,
Да съ меня-ль молодой, красной дѣвицы,
Снялъ алый платочекъ.
При честномъ при всемъ при народѣ-то,
Въ глаза насмѣлся!»

И, ахъ вы, сердечныя! ямщикъ повелъ возжами, тройка лопотала по грязи. А пѣсня не прерывалась:

«Взговорить ли ей астраханскій-той
Судить губернаторъ:

Безъ поры-поры, безовременья
Солнышко не свѣтитъ,—
Безъ прилуки-ли добрый молодецъ
Къ дѣвушкѣ не ходить!...»

И, эхъ вы, дружки, милые жидовскіе! онъ стегнулъ по всѣмъ по тремъ, и тройка понеслась, высоко снопами разметывая грязь всѣми копытами и колесами.

«Экой умный астраханскій губернаторъ!» думалось мнѣ.

.....
Дня два спустя около полудня я сидѣлъ у Каруты и пилъ кофе. Въ 12 часовъ отходитъ пароходъ въ Константинополь; всѣ посѣтители Каруты встали за шляпы и я тоже: какъ же не идти на пристань людямъ, которымъ все равно куда ни идти. День былъ ясный, теплый; по улицѣ крутилась знаменитая одесская пыль. Пароходъ уже развелъ пары и пассажиры протискивались сквозь толпу зрителей съ своими мѣшками. У кассы толпилось чрезвычайно пестрое общество: евреи, греки, итальянцы и прочіе народы. Общее вниманіе особенно привлекали къ себѣ двѣ стройныя гречанки съ толстенькимъ грекомъ: откинувъ вуали, гречанки носились съ своими необыкновенными, до того длинными и тяжелыми рѣсницами, что красавицы едва могли открывать одну треть своихъ прекрасныхъ глазъ; а маленький грекъ съ такимъ же, какъ рѣсницы красавицъ, несоразмѣрнымъ носомъ, какъ будто занятымъ на время у другаго, большаго грека, — вертѣлся, точно по вѣтру.

Передъ вторымъ звонкомъ къ пристани подкатила четырехмѣстная коляска. Гайдуку соскочилъ съ козелъ; выразительнаго и немножко суроваго лица господинъ, выпрыгнувъ нѣсколько тяжело, подаль небрежно руку сидѣвшей въ коляскѣ старушкѣ и съ помощью лакея посадилъ ее; другую даму почти на рукахъ снялъ самъ. Обѣ были подъ густыми вуалами. Горничную, съ сидѣнья за коляской, лакей стащилъ, какъ стаскиваютъ снопы съ высокаго воза. Господинъ съ гор-

ничною, нагруженною картонками и мѣшечками, направился къ кассѣ, и тамъ что-то объяснялъ кассиру, почтительно приподнявшему шляпу.

Дамы стояли у перилъ пристани; я — невдалекѣ глядѣлъ на суетящуюся толпу. Фигура закрытой вуалемъ молодой приѣхавшей женщины была очень стройна и спокойна; поворотомъ головы она медленно обвела толпу и — мнѣ показалось — остановилась на мнѣ: позади меня никого не могло быть — я стоялъ у перилъ. Едва замѣтно кивнула она головой, какъ будто подзывая меня, и отвернула вуаль — это была графиня.

Я протиснулся сквозь толпу, подошелъ къ ней, раскланялся, но мать отвернулась, не замѣчая меня, а графиня торопливо и тихо, но отчетливо сказала: «Прошу васъ, скажите ему: мы ѣдемъ не въ Аѣнны, а въ Венецію; я узнала только сегодня». Я спросилъ довольно громко: «Это я долженъ передать графу Вацлаву?»

— Да, будьте добры!

— Слушаю!

Она протянула мнѣ спущенную руку; въ ней былъ платокъ, я пожалъ руку. Въ эту минуту выразительный господинъ кричалъ отъ кассы:

— *Mes dames, passer, s'il vous plait.*

Старушка пропустила впередъ графиню; у ногъ моихъ лежалъ бѣлый платокъ, я поднялъ его и догоняя дамъ раза два повторилъ довольно громко: «вы уронили платокъ, графиня!» Мать обернулась и почти рванула у меня платокъ, промывавъ щеки.

Все это было дѣломъ двухъ-трехъ минутъ. На пароходѣ, какъ мнѣ показалось, господинъ что-то спрашивалъ маменьку, она показала ему платокъ, онъ глядѣлъ пристально на меня, я на него. Но пароходъ, свистя и лопоча колесами, поворачивался кормой къ пристани, дымъ и паръ заслонялъ его.

Вотъ тебѣ и Аѣнны!...

Три дня спустя, когда я пилъ у Каруты мой обычный кофе и перелистывалъ гатеты, ко мнѣ подошелъ графъ Вацлавъ.

Поздоровавшись, какъ старый знакомый, онъ сѣлъ и въ мрачномъ настроеніи духа сразу сталъ сѣтовать на судьбу, которая иногда безщадно издѣвается надъ человѣкомъ.

— За то иногда и балуетъ неблагодарнаго человѣка! сказалъ я; кстати, у меня есть къ вамъ порученіе: графиня Т* приказала сказать вамъ....

Онъ встрепенулся, вспыхнулъ и спросилъ въ недоумѣніи: «вы знаете Эмилию?»

— Не знаю — Эмилиа-ли, но повторяю: графиня Т* просила меня передать вамъ, что она съ семействомъ отправилась не въ Аѳины, а въ Венецію....

— Ради Бога, объясните!

— Извольте; только дайте кончить порученіе: и что она только сегодня узнала объ этомъ. Теперь объяснимся.

Онъ сжалъ мнѣ руку и весь просіялъ; торопливо предложилъ еще нѣсколько вопросовъ и просилъ говорить тише.

Я улыбнулся. Я не видѣлъ причины секретничать, но съ удовольствіемъ исполняю ваше желаніе. Да не лучше ли намъ выйти отсюда?

Оказалось, что мы живемъ въ одномъ отелѣ—въ «Лондонѣ». Дорогой я рассказывалъ ему все, начиная со встрѣчи моей съ графиней на станціи, до отплытія ея въ Константинополь.

Онъ вѣроятно замѣтилъ, что я довольно легко отношусь ко всей этой интрижкѣ; можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ выразилось, что я не совсѣмъ былъ доволенъ участіемъ моимъ въ ихъ тайнѣ — и онъ спѣшилъ извиниться, благодарилъ меня и какъ будто успокаивалъ и оправдывалъ: «если бы вы все напередъ знали, то и тогда бы поступили точно также: вѣрьте честному слову — тутъ гораздо больше несчастія, нежели.... чего нибудь чернаго; а Эмилиа — положительно *невинна!*...»

Я что-то плохо понималъ эту странность, но вѣрилъ. Да наконецъ, какая бы была ему надобность объясняться со мной: за подобныя услуги благодарность не обязательна. Я ему это и выразилъ.

Но мы все-таки сошлись. Слѣдующій пароходъ отправлялся

через четыре дня: все это время мы проводили вмѣстѣ и много говорили о ней.

Вацлавъ былъ честный и откровенный человѣкъ, и хотя *счастливы* такимъ счастьемъ, какимъ онъ обладалъ, предпочитаютъ таинственность откровенности, но именно это счастье Вацлава и составляло его глубокое несчастье; онъ это признавалъ и искренно обвинялъ одного себя. Разъ какъ-то, рассказывая подробно сцену съ платкомъ на пароходѣ, когда мужъ Эмилиі, вѣроятно допрашивая мать, глядѣлъ на меня, я сознался, что чувствовалъ всю безупречность моего положенія и обратился онъ ко мнѣ въ ту минуту, я рассказалъ бы ему все — меня-таки смущалъ его взглядъ. Вацлавъ находилъ это естественнымъ, но какъ будто оправдывая меня, намекнулъ, что мать Эмилиі *нехорошая* женщина, а о мужѣ сказалъ: «не хочу злословить его, но Эмилиа очень несчастлива! — Я вѣдь знакомъ съ нею уже восемь лѣтъ!» прибавилъ онъ.

Я удивился: «да ей, мнѣ кажется, всего-то не больше двадцати пяти?»

— Да, немножко больше: я зналъ ее еще почти ребенкомъ. Это ангелъ *чистоты*! Никто въ мірѣ меньше ее не заслужилъ своего несчастья!... и онъ молчалъ, погрузясь въ какую-то думу.

Никакого толку тутъ добратся нельзя было. Но честный человѣкъ не можетъ же лгать сознательно.

Послѣднюю ночь мы проболтали на пролетъ. Онъ зналъ, что я часто бываю на службѣ въ западномъ краѣ и вдругъ серьезно спросилъ меня: хочу ли я оказать ему дружескую услугу?

— Если могу — съ удовольствіемъ.

Онъ всталъ, открылъ шкапулку и вынулъ маленькій пакетъ:

— Отдайте при случаѣ эту вещицу по адресу: не знаю мѣста, но легко справиться въ Вильнѣ.

Я согласился, если вещь не цѣнная, иначе не рисковалъ, зная свою способность терять собственныя вещи.

— Не цѣнная! отвѣтилъ онъ: хоть конечно очень жаль было

бы, еслибы она потерялась; но теперь у меня рѣшительно нѣтъ случая — я никого не засталъ здѣсь изъ близкихъ знакомыхъ. Не отвѣжайте!

— Я далъ слово.

Мы условились переписываться и попрощались дружески. Я просилъ его поцѣловать ручку графинѣ Эмили. Онъ обнялъ меня братски.

— Эмилиа непремѣнно полюбила васъ! сказалъ онъ, пожмая мою руку.

— Ну это-то, положимъ, совершенно бесполезно! подумалъ я, пожмая его руку еще крѣпче.

Въ полдень мы развѣхались — онъ въ Константинополь, я въ Петербургъ.

III.

Прошло мѣсяца два по прїѣздѣ моемъ въ Петербургъ; отъ графа Гроховскаго никакой вѣсти не было, и если бы не порученный мнѣ пакетъ, то вѣроятно я забылъ бы и о немъ и о прелестной Эмили.

Но однажды, завтракая у безсмертницъ «братьевъ Вольфъ», читаю въ «Сѣверной Пчелѣ» подъ рубрикой «Смѣсь» выдержку изъ иностранныхъ газетъ страннаго содержанія:

Венеція недавно была встревожена загадочнымъ трагическимъ происшествіемъ: сюда прїѣхало на дняхъ очень богатое и знатное путешествуящее семейство. Какой-то русскій графъ съ женой и съ матерью ея; они остановились въ лучшемъ отелѣ. Черезъ нѣсколько дней, въ одно раннее утро, нашли въ лагунахъ пустую гондолу и около нея — три трупа: прекрасной графини, неизвѣстнаго молодого джентльмена и гондольера, въ которомъ мать графини признала мужа своей дочери. Тайна не разъясняется: горничная ихъ скрылась, а ста-

рая графиня потеряла рассудокъ и проводитъ дни и ночи неподвижно, въ упорномъ молчаніи.

Сметливая редакція «Пчелы» прибавила отъ себя замѣчаніе: «Не *утка* ли это, которыми иногда пробавляются неизобрѣтательные нѣмцы? Какъ будто въ Венеціи не нашлось ни одного русскаго, который по крайней мѣрѣ повѣстилъ бы насъ о нашихъ погибшихъ землякахъ!»

Замѣчаніе остроумное; однако меня немножко смутило это извѣстіе.... Ужъ не *они* ли это?

Поздней весной я былъ на Волыни. Искрещивая по дѣламъ службы столбовыя дороги и проселки, проѣздомъ я остановился въ г. Ровно и въ тотъ же вечеръ зашелъ къ старому знакомому моему, управлявшему дѣлами лѣснаго округа. Это былъ честный старикъ, патріархъ двухъ поколѣній: дѣти и внуки его жили съ нимъ вмѣстѣ. При входѣ къ нимъ, на меня кинулась съ лаемъ огромная, породистая лягавая собака; но тотчасъ же смягчилась и ласково завиляла хвостомъ. Меня встрѣтили очень радушно; вся семья собиралась пить чай и мы усѣлись у самовара.

На похвалу мою породистой собакѣ, хозяинъ предложилъ мнѣ ее въ подарокъ. Какъ ни люблю я собакъ, но подарокъ казался слишкомъ цѣненъ для людей небогатыхъ—я отказался. Однако всѣ дѣти, очевидно любившія своего стараго «Мильтона», какъ они звали собаку, стали упрашивать меня взять его.

«Продайте—возьму: я съ предразсудками — живыхъ подарковъ не принимаю!» отвѣчалъ я, смѣясь съ дѣтьми.

— Да онъ почти мертвый! сказалъ хозяинъ: за него ничего нельзя взять; можно только изъ великодушія спасти его, — иначе онъ завтра же будетъ повѣшенъ.

«Что за трагедія?»

— «Да-съ! этого требуетъ правосудіе и весь еврейскій кагалъ! — приговоръ уже подписанъ полицейскою властью». И хозяинъ объяснилъ, что кромѣ уже осужденныхъ преступленийъ, еще шесть дѣлъ производится въ полиціи по поводу укушенія жидовъ разбойниковъ Мильтономъ.

Какъ-то неловко было слушать имя почтеннаго поэта, замѣшанное въ такія кляузы; но дѣло въ томъ, что Мильтонъ, никого никогда не кусающій, не можетъ удержаться, что бы не укусить жиды, при каждомъ удобномъ случаѣ. Объясняя эту фатальную невоздержанность, хозяинъ обратился къ собакамъ съ укоризной: «жаль, а повѣсить тебя должно: *pegeat mundus—fiat justitia!* Вотъ что, сукинъ сынъ».

Лежавшій Мильтонъ, такъ глянувъ на своего хозяина, какъ будто понималъ по латыни, —приникъ мордой къ полу, и слегка виляя хвостомъ, покосился на меня. Я позвалъ его; онъ вскочилъ и когда я погладилъ его, онъ улегся у моихъ ногъ.

«Видите какая бестія! сказавъ ухмыляясь добрый старикъ: вѣдь чувствуетъ!» Дѣти пришли хоромъ: возьмите Мильтона! И Мильтонъ очевидно чувствовалъ, если и не именно веревку, грозившую ему, то навѣрное что нибудь подобное.

Люди напрасно не признаютъ высшихъ душевнымъ и умственныхъ качествъ въ животныхъ и унижаютъ ихъ даже до того, что взаимно ругаются ихъ именемъ.

«Кто ты, человѣкъ, употребляющій самое драгоцѣнное время жизни на ѣду и сонъ? Ты — скотъ и больше ничего!» восклицаетъ, въ одной изъ своихъ драмъ, гениальный ругатель—Шекспиръ.

«Ты напился, какъ скотъ!» восклицаютъ безъ всякихъ драмъ и вовсе не гениальные ругатели, забывавъ, что только скотъ имѣлъ бы право сказать своему пьяному товарищу: «ты напился, какъ человѣкъ!» но никакъ не обратно, съ больной головы на здоровую.

Напротивъ, скромные мыслители говорятъ иначе:

«Это мои лучшіе друзья!» писалъ Вальтеръ-Скоттъ о собакахъ, которыхъ онъ такъ любилъ за *человѣчныя* ихъ качества, что провелъ въ ихъ сообществѣ почти всю жизнь свою.

«У меня былъ только одинъ другъ—и тотъ лежитъ здѣсь!» надписалъ Байронъ на памятникѣ своей ньюфаундлендской собаки. Развѣ это не убѣдительно?

И я былъ убѣжденъ, что Мильтонъ какъ нельзя лучше по-

нималъ всю безотрадную для него суть разговора своего хозяина со мной. За тѣмъ, на общую просьбу—возьмите Мильтона! я согласился съ условіемъ — «если онъ самъ пойдетъ за мною и не убѣжитъ отъ меня завтра». Въ томъ и другомъ я былъ вполне увѣренъ; однако на всякій случай произнесъ это условіе повѣрительнѣе, давая ему замѣтить: «дуракъ-де ты будешь, если не пойдешь или убѣжишь!» Онъ понялъ и молчалъ.

Да не подумаетъ благосклонный читатель, что Мильтону предстоитъ какая либо видная роль въ моемъ не вымышленномъ разсказѣ; онъ тутъ только потому и необходимъ, что самъ со всей своей жидовской антипатіей не вымысленъ, а таковъ и былъ. Наконецъ, проведя съ нимъ, какъ Вальтеръ-Скоттъ съ своей псарней, но къ сожалѣнію только три года, если бы я зналъ куда дѣвался его случайно погибшій прахъ, непременно поставилъ бы ему памятникъ и можетъ быть написалъ бы на немъ тоже самое, что Байронъ на памятникѣ своей собаки. Онъ былъ дѣйствительно высоко благороденъ и превосходилъ въ этомъ многихъ изъ двуногихъ тварей.

Съ жидофоба Мильтона разговоръ перешелъ къ другимъ предметамъ. Какъ ни мало такихъ «предметовъ» у уѣднаго чѣловѣчества, но въ своемъ узенькомъ кружкѣ оно изворачивается ими нисколько не хуже столичнаго и болтаетъ точно также — до изнервленія.

«А слышали вы, спросила меня старшая дочь хозяина, безнадѣжная, но милая дѣва, о нашей рехнувшейся богатой старушкѣ (названа фамилія, мнѣ незнакома): она объявила, что даетъ сто тысячъ золотыхъ тому, кто отыщетъ ея внучку».

«Съ чего жъ она рехнулась?» спрашивая это, я всталъ и готовился раскланяться. Мильтонъ то же поднялся и встряхнулъ ушами; намѣренія его меня занимали гораздо болѣе, нежели сумасбродство неизвѣстной мнѣ старухи.

«Еще бы не рехнуться!» съ нѣкоторымъ негодованіемъ отозвался хозяинъ: прошлаго года, за границей, у нее перерѣ-

зались и утопились — дочь, мужъ дочери, да еще какой-то пріятель, графчикъ!»

«Въ Венеціи?» спросилъ.

«А—а! вы знаете? Дочь хозяина произнесла это восклицаніе почти съ упрекомъ. Но я сѣлъ и просилъ рассказать происшествіе подробнѣе. Старикъ, махнувъ рукой и улыбаясь, указалъ на дочерей: «хлѣбомъ не кормить, только слушайте. Но вы вѣрьте имъ на половину: у нихъ все—прекрасныя какъ ангелы, и несчастныя, какъ ангелы! а по моему, графиня ваша—смазливая, безнравственная, а потому и несчастная вертушка!»

Дѣвицы, поспоривъ съ отцомъ, изгнали изъ комнаты младшихъ дѣтей и начали рассказывать интересную для меня, но что то очень запутанную исторію. Вотъ сущность ея:

«Бѣдная вдова жила гдѣ-то на Литвѣ съ шестнадцатилѣтней прекрасной дочерью своею, Эмилией. Въ Эмилию влюбился очень богатый, но невзрачный молодой человѣкъ, хорошей фамиліи и сдѣлалъ ей предложеніе. Эмилиі онъ не нравился, но мать заставила ее принять предложеніе, они обручились. Вслѣдъ за тѣмъ увидѣлъ ее другой молодой человѣкъ, графъ Гроховскій, красавецъ и единственный сынъ богача магната, влюбился и тоже сдѣлалъ предложеніе. Разумѣется, графъ побѣдилъ: дочь отвѣчала его страстной любви, а мать, нарушивъ слово данное первому искателю, покровительствовала этой любви. Женихи встрѣтились, поссорились и стрѣлялись. Но родители графа, которому было лѣтъ двадцать съ небольшимъ, воспротивились этому союзу и не безъ усилій разрознили влюбленныхъ. Слухи носятъ, что немножко поздно разлучили ихъ...

«Но вѣдь злословіе безпощадно, особенно къ красавицамъ!» примолвила рассказщица: «впрочемъ, она была такъ молода, почти ребенокъ, а мать, не очень строгихъ правилъ»...

Отецъ презрительно улыбнулся и пробормоталъ: «хороши слухи!» а рассказщица продолжала:

«Черезъ годъ, однако, Эмилиа показалаcя въ обществѣ, еще прелестнѣе, чѣмъ прежде; графъ Т**, извѣстный своимъ богатствомъ и безалаберной жизнью, увидѣлъ ее, влюбился и женился на ней. Это было лѣтъ десять тому назадъ. А прошлаго года графъ съ женой и съ матерью ея поѣхалъ за границу; въ Венеціи графиня неожиданно встрѣтила графа Гроховскаго.... (Слово — *неожиданно* какъ будто задѣло меня). Старая страсть вспыхнула. Говорятъ, что горничная продала тайну счастливыхъ друзей мужу и будто въ отсутствіи его на нѣсколько дней изъ Венеціи, когда друзья вздумали вдвоемъ прогуляться *au clair de la lune* на гондолѣ, тотъ же гондольеръ убилъ ихъ кинжаломъ, кинулъ въ воду и самъ убилъ себя: это и былъ переодѣтый мужъ!... Представьте ужасъ ихъ положенія!»...

— Представляю!

«Старушка мать сошла съ ума; но теперь иногда приходитъ въ память и разсылаетъ евреевъ отыскивать будто бы *онучку* свою.... Можетъ быть это бредъ сумасшествія»...

«А можетъ быть и сущая правда!» перебилъ отецъ: «можетъ быть дѣвчонка бѣгаетъ гдѣ нибудь въ захолустѣхъ босикомъ, да гусей пасетъ!»...

Дочери вступились: чѣмъ же виноватъ невинный ребенокъ?

«То-то и есть! тихо сказалъ старикъ: у васъ всегда, ничто не виновато! А всякій развратъ, и все, что отъ него, и все, что причастно ему (меня опять задѣла эта причастность) должно казниться посправедливости. Вотъ и первый обогатитель вашей невинной красавицы, ужъ кажется меньше всѣхъ виновать, а все таки спился съ кругу, промотался до тла, и то же спятилъ съ ума, и говорятъ, живетъ гдѣ-то христа ради!»...

Для меня было довольно и этого разсказа; но пожилой старикъ, вѣроятно, въ назиданіе дочерямъ, опять резюмировалъ всю эту исторію и по пальцамъ доказалъ: во первыхъ всю преступность ея, во вторыхъ безнравственность общества, которое такъ легко и небрежно относится къ явной карѣ Божіей; въ третьихъ соблазнъ всѣхъ подобныхъ интрижекъ, участво-

вать и помогать которымъ не стыдятся не только честные люди вообще, но даже невинныя дѣвицы...

«Знаемъ мы всѣ эти тандресы, дусѣры, билье-ду, букетники и секретники, какъ они передаются въ видѣ невинной дружеской услуги!...» Онъ это говорилъ тихо, съ улыбкой грозя пальцемъ, но такъ язвительно, что дѣвицы покраснѣли до ушей и нагнулись надъ своимъ питьемъ чуть не до-колѣнъ.

Войдя во вкусъ, онъ увлекся благодарной темой, и настроился на кроткій тонъ проповѣди, началъ было рѣчь объ обязанностяхъ женъ и матерей, о современномъ паденіи этихъ обязанностей; какъ старый классикъ, прихватилъ что-то изъ Соломона о *mulierem fortem*... Но у меня стала побаливать голова; я всталъ и распростился съ любезными хозяевами.

«А Мильтонъ, посмотрите, за вами!» кричали въѣзжавшія дѣти и давай прощаться съ нимъ, чуть что не со слезами.

Мы съ Мильтономъ вышли. Мирный городъ собирался спать; на улицахъ было пусто, кой гдѣ въ окнѣ мерцала какъ искра жидовская «шабашувка» грошевая свѣчка. Это располагаетъ къ задумчивости и раскаянію.

«Приди я десять минутъ позже на одесскую пристань!... думалось мнѣ: и я не былъ бы въ заговорѣ съ этими преступными, но очень симпатичными людьми! Да Богъ вѣсть и случилось ли бы, что либо подобное!...»

Такъ этотъ старикъ развредилъ мою, очень спокойную, совесть...

«Минутами позже—раздумывалъ я... Слѣпой случай!.. Но развѣ слѣпой случай управляетъ нравственнымъ чувствомъ...»

«Вей гвалдъ!» раздался передъ мною вопль и рычаніе.

«Сбогаръ, назадъ! тубо!» крикнулъ я — и невольно улыбнулся: какъ кстати подвернулось имя разбойника!

«Будь же ты отнынѣ разбойникъ Сбогаръ — и не поноси именемъ своимъ память благороднаго поэта!...» Однако, способомъ прямыхъ силлогизмовъ оправдавъ сперва Сбогара, которому природа не дала никакихъ кромѣ зубовъ мягчайшихъ средствъ язвить неправошаго ему человѣка, потомъ невольно

я перешелъ къ себѣ: я-то чѣмъ виновать въ исторіи утопленниковъ! На ничтожную просьбу прекрасной женщины—«скажите ему!»—ужъ не отвѣтить ли: нѣтъ, не скажу, а скажу мужу! Да и что я за Катонъ такой, развѣзжающій по казенной надобности уличать любовниковъ цѣлаго края — что ли? Да и Богъ же съ вами! вѣшайтесь, рѣжьтесь, топитесь — умываю руки!..

Пойдемъ, Сбогарь! Оба мы не такъ черны, какъ кажемся ровенской полиціи и моей совѣсти!..

И все таки мнѣ было жаль погибшую любящуюся чету, да кстати и коварнаго рогоносца...

О господи, прости наши тяжкія согрѣшенія! вольныя и невольныя!..

Но—vatis pro pecatis! Я зашелъ на огонь въ кондиторскую, закупилъ имѣвшіеся тамъ чорствыя конфекты и отослалъ ихъ отъ Сбогара дѣтямъ почтеннаго знаконца моего.

На завтра я уѣхалъ. Сбогарь весело скакалъ около четверни, побрехивая на каждого прохожаго вообще и на жида въ особенности.

Прошелъ почти годъ. На слѣдующую весну я поѣхалъ прямо въ М. губернію. Сбогарь былъ со мной. Въ Вильнѣ я остановился на нѣсколько часовъ и только на четвертой или пятой станціи оттуда вспомнилъ о справкѣ адреса того лица, которому я долженъ былъ, по обѣщанію Вацлаву, передать пакетъ. Другой годъ вожусь я съ нимъ, словно въ самомъ дѣлѣ съ упрекомъ совѣсти. Тотъ часъ же по приѣздѣ въ М. я написалъ въ Вильну знакомому лѣсничему о справкѣ и просилъ прислать ее сюда скорѣе.

Надобно—а можетъ быть и вовсе не надобно, но мнѣ такъ кажется—надобно сказать, что въ то время у насъ вводилось по казеннымъ лѣсамъ «правильное лѣсохозяйство»—и нѣмецкая «лѣсная наука» только начинала приносить еще мелкіе плоды своей ранней аклиматизаціи на нашей богатой лѣсной почвѣ.

Но, слѣдуетъ отдать справедливость,—уже лѣса наши мѣстами «очищались» изрядно: трущобы ихъ по направленіямъ сплавныхъ рѣкъ, принимали все болѣе и болѣе видъ порядка по опушкамъ, а кой гдѣ начинали исподволь сквозить какъ парки. Наука работала. Только «заказныя корабельныя рощи» невѣжественно дремали въ дикой первобытной неприкосновенности, стрегомыя безъ всякой науки, единымъ пострахомъ «драконовскаго» закона: «весьма бить кнутомъ и сослать нагалеры» за каждую хищную порубку. Дремучіе, непролазные гущавники этихъ рощъ крѣпко искушали и манили въ свою таинственную тѣнь нѣмецкую лѣсную нимфу со всей ватагой ея похотливыхъ сатировъ—еврейскихъ лѣсопромышленниковъ; но корабельное вѣдомство стояло твердо, и грубо не пускало шаловливыхъ божковъ въ свои «заказныя трущобы»—отсюда столкновеніе специалистовъ нѣмецкой науки съ російскими профанами ея. Я имѣлъ честь принадлежать къ числу послѣднихъ.

Губернскій лѣсничій, съ которымъ мнѣ съ первымъ по приѣздѣ въ М. привелось имѣть дѣло — былъ специалистъ серьезный: онъ постигъ науку на казенный счетъ, въ нѣдрахъ рожденія ея—въ Германіи. Онъ началъ съ того, что объяснилъ мнѣ совершенно раціонально всю непримѣнимость этой науки къ неисчерпаемому богатству обширныхъ лѣсовъ Россіи, какъ будто сѣтуя или успокоивая, что-молъ нѣмецкимъ ковшемъ русскаго моря не вычерпашь. По долгу противорѣчія, я несовсѣмъ соглашался съ этимъ, и за неимѣніемъ специальныхъ аргументовъ, намекнулъ на народную сказку о томъ, какъ нашъ мужичокъ надулъ чорта, продавъ ему свою душу за шапку золота: сдѣлалъ въ шапкѣ дыру, положилъ ее наземь, а въ землѣ вырылъ такую яму—прорву, что у бѣднаго чорта и монеты не хватило, чтобы насыпать шапку.

— Помилуйте-съ! возразилъ специалистъ, презрительно улыбаясь: вамъ неизвѣстно, что, напримѣръ, оцѣнитъ нашъ Печорскій лѣсъ оцѣненъ знаменитымъ ученымъ бѣрономъ Гакстгаузеномъ въ 50 билліоновъ рублей!

— Да, вѣдь онъ получилъ крестикъ за это! замѣтилъ я: а извѣстно, что нѣмецъ изъ честолюбія за лишнимъ нулемъ не постоитъ: поторговаться-бы—еще нуликъ прикинулъ-бы!

— Помилуйте-съ! этакъ нельзя относиться къ наукѣ-съ!...

— Боже избави! я учтивъ съ прекрасными незнакомками, а такъ только—насчетъ нулей!...

Не обращая, однако, вниманія на мои вульгарныя отношенія къ наукѣ, почтенный специалистъ несъ свое: доказывая необходимость разумной эксплуатаціи втунѣ лежащихъ природныхъ лѣсныхъ богатствъ, онъ между прочимъ горько жаловался на господствующее у насъ невѣжество (тонкій намекъ!) и положительный недостатокъ въ специалистахъ.

— Вотъ и теперь — вы ѣдете въ Н* лѣсничество: васъ встрѣтитъ человѣкъ, состоящій только рго форма на службѣ, а всѣмъ заправляетъ очень умный и свѣдущій письмоводитель его, онъ все и покажетъ вамъ.

— Зачѣмъ же этотъ—рго форма? спросилъ я.

— Ну, это особъ-статья: особое снисхожденіе, высшая протекція! Онъ, бѣдняга... тово! и специалистъ постучалъ пальцемъ себя въ лобъ.

— Глупъ?

— Похуже-съ: соскочилъ! Затѣмъ объяснилъ, что это человѣкъ хорошей фамиліи, говорятъ—высокообразованный, имѣлъ огромное состояніе, но какая-то нравственная катастрофа, кажется любовь, изломала его въ конецъ и вотъ онъ — нищій, почти идіотъ и при томъ чуть-ли не испиваетъ. Впрочемъ, дѣла по лѣсничеству у него идутъ отлично. Это все, что требуется.

Вечеромъ я поѣхалъ въ г. Н*. На другой день, собравшись въ лѣсничество, я завтракалъ; вдругъ въ комнату входитъ лѣсничій въ полной формѣ, съ киверомъ на головѣ. Онъ отрекомендовался: Самсоній Львовичъ Собацко.

Вся фигура его была такъ странно-комична, что нельзя было не угадать въ немъ «соскочившаго» любовника. Набрякшая, тупая физіономія, широкій, какъ-будто чужой мундиръ,

короткія, обтянутыя бѣлыя пантолоны, на самой макушкѣ киверъ и чуть не на животѣ шпага. Комизмъ казался утрированъ умышленно. Я объяснилъ ему, что не могу принять на свой счетъ его парада—и пригласилъ на ставанъ вина. Сбогаръ сперва брехнулъ на него, но тотчасъ же сталъ ласкаться. Я давно убѣдился, что Сбогаръ знатокъ человѣческаго сердца и никогда не ошибался. Чего же болѣе для встрѣчи съ человѣкомъ, съ которымъ придется провести пять-шесть дней!

Черезъ часъ мы поѣхали; лѣсничій сѣлъ со мной, а мастеровые мои — въ его экипажъ.

Дорогой онъ оказался глупъ непритворно и казалось—безнадежно.

Ничего нѣтъ скучнѣе постоянной бесѣды съ такъ называемыми «неглупыми людьми»—она истомляетъ. Другое дѣло—мудрецъ, или круглый дуракъ: перваго можно слушать долго и съ увлеченіемъ, втораго можно и совсѣмъ не слушать; въ обоихъ случаяхъ это не утомительно.

Спутникъ мой что-то вралъ дорогой, и не получая отвѣта, молчалъ, позѣвывая; я дремалъ, и вдругъ онъ вскрикнетъ: вонъ ворона! или: сорока! вишь какая! и улыбается, провожая глазами ея полетъ, да еще и голову задеретъ вслѣдъ за нею. Наконецъ мы пріѣхали въ «лѣсной дворъ». Письмоводитель съ перваго же взгляда оказался продувнымъ плутомъ; онъ проводилъ насъ въ назначенный мнѣ апартamentъ, суетился, распоряжался и при этомъ третировалъ своего начальника довольно нагло. Но мнѣ показалось, что иногда лѣсничій кидалъ на него мелькомъ какой-то рыбій взглядъ—и письмоводитель на минуту смирялся; и потомъ снова начиналъ рисоваться, не обращая на него вниманія. Я попросилъ его позволенія отдохнуть; но онъ въ свою очередь просилъ разъяснить, когда я намѣренъ осматривать съ нимъ лѣсъ?

— Мы рѣшимъ это съ г. лѣсничимъ! отвѣтилъ я.

— Какъ-же-съ? Я бы расположилъ мои дѣла...

— Располагайте какъ угодно, а осматривать лѣсъ я поѣду съ г. лѣсничимъ.

Не безъ сарказма въ ужимкахъ онъ раскланялся и вышелъ.

Хотя я былъ предупрежденъ, что у Собацъко никто и никогда не останавливается и не заѣзжаетъ къ нему, но мнѣ хотѣлось, чтобы онъ пригласилъ меня къ себѣ, — такъ не нравился мнѣ проныра-письмоводитель. Несмотря на всѣ мои намеки и даже навязчивость — уродъ ничего не понималъ и наконецъ, забравъ свой киверъ, распрощался. Условлено было завтра рано прислать мнѣ объѣздчика съ лошадьми и съѣхаться на мѣстѣ осмотра.

Въ лѣсу лѣсничій велъ себя какъ слѣдуетъ, хотя мало принималъ участія въ осмотрѣ, ссылаясь чаще на объѣздчика, проворнаго, но глуповатаго унтера; а самъ иногда по полчаса возился съ Сбогаромъ; они очень понравились другъ другу, валялись по травѣ, цѣловались и разъ даже погрызались: другъ укусилъ собаку за ухо, такъ что она взвизгнула:

— Вотъ тебѣ за то; а то смотри — прокусилъ мнѣ ляжку до крови!—Но ссора тотчасъ же смѣнилась дружбой.

Два дня осмотръ происходилъ своимъ порядкомъ; въ сумерки, отпустивъ людей, мы съ Собацъко обыкновенно возвращались верхами домой—онъ къ себѣ, а я, верстъ за шесть, къ себѣ. На третій вечеръ, на узкой и обрывистой лѣсной тропѣ у ногъ моей лошади сорвался шальной заяцъ. Сбогаръ кинулся за нимъ; лошадь, шарахнувшись всѣми четырьмя ногами, оступилась въ обрывъ, а я по счастью успѣлъ схватиться за нависшій надъ тропой сукъ, но крѣпко ушибся о дерево. Оказалось, что ни сѣсть въ сѣдло, ни идти я не могъ: нога и бокъ болѣли, какъ изломанные. Докричались съ трудомъ объѣздчика; Собацъко съ нимъ повели меня подъ руки. До фольварка Собацъко было версты полторы, а до меня около пяти. Онъ пригласилъ меня къ себѣ.

Когда мы подходили къ дому, онъ хотѣлъ было пойти впередъ, но я рѣшительно не могъ держаться на ногахъ и мы вошли вмѣстѣ. Въ сѣняхъ мимо насъ промелькнула жен-

щина, но ни лица, ни фигуры ея я не рассмотрѣлъ. Меня помѣстили на диванѣ. Собацко послалъ объѣздчика приказать полѣсовщику, дежурившему у насъ, принести чаю и самъ побѣжалъ за какой-то спасительной примочкой, исцѣляющей, по его словамъ, всевозможные недуги и поврежденія. Было еще не темно; на диванѣ мнѣ попало подъ руку какое-то женское рукодѣлье и открытая книга. Первое оказалось очень тонкимъ вышиваньемъ по батисту, натянутому на клеенку; а взглядываясь въ заглавіе книги, я прочелъ: «*La divina comedia di Dante Alighier col comentto del Pompeo Venturi. Firenze.*»

— Ай да идіотъ!... Но очевидно, что тутъ ихъ, по меньшей мѣрѣ, два: должно быть и подуруша.

Я оглядѣлся. Просторная комната была пропорціональных размѣровъ; карнизы и лепной потолокъ изящно-просты; по стѣнамъ, оклееннымъ свѣтлыми обоями, висѣли портреты въ старыхъ золоченыхъ рамахъ; въ такихъ же рамахъ большое простѣлочное зеркало. У стѣны, противоположной дивану, стоялъ большой старинной рѣзной работы дубовый шкафъ, въ углу—каминъ. Мебель дубовая старой рѣзбы. Все было прилично и комфортабельно и далеко не ветхо.

Полѣсовщикъ внесъ на подносѣ чай, двѣ свѣчи, тарелочки съ закуской; за нимъ явился лѣсничій съ графинчикомъ—все было сервировано небогато, но очень чисто,—и уставлено на столѣ.

— А вотъ вамъ и цѣлительный бальзамъ! говоря это, Собацко вынулъ изъ кармана бутылку, и совѣтовалъ вытереться этимъ бальзамомъ на ночь.

— А теперь, передъ чаемъ, лучше водки! и по мѣстному обычаю, выпилъ прежде самъ, но одну за другой двѣ рюмки, не закусывая и страшно поморщился. Признакъ, какъ извѣстно, плохой.

Послѣ перваго стакана чаю, выпитаго въ безмолвіи, онъ предложилъ еще рюмочку: я отказался, а онъ выпилъ.

— Вы занимаетесь итальянской литературой? спросилъ я его.

— Какой литературой? и онъ глупо выпучилъ глаза.

— Кто-жъ у васъ читаетъ Данта?

— Какого Данта?

Я указалъ на книгу.

— Ахъ, эту комедію: это—я.

— Но вѣдь же вы знаете итальянскій языкъ?

— Боже избави! и онъ засмѣялся ужъ слишкомъ естественно: комизмъ походилъ на высокое искусство.—Это написано латинскими буквами—продолжалъ онъ—тутъ полный шнафъ такихъ и съ картинками есть—я иногда разсматриваю...

Я взялъ вышиванье, будто разглядывая его.

— А это шьетъ здѣшняя хозяйка, экономка: даромъ что старуха, а чудесные глаза, наработать себѣ можетъ деньжонокъ!

— Чей же это домъ? спросить я.

— Это моего стараго пріятеля; онъ былъ очень богатый человекъ, а теперь—такъ-себѣ; все живетъ заграницей, а мнѣ далъ тамъ комнату—онъ ткнулъ пальцемъ назадъ,—за то я наблюдаю, этакъ, знаете...

Подозрѣнія мои исчезли: ужъ коли онъ заговорилъ о своихъ наблюденіяхъ, такъ и сомнѣваться нечего — совсѣмъ плохъ, бѣдняга.

Кончая чай, я просилъ его сказать откровенно — не стѣсня ли его, пока оправлюсь?

— Ручаюсь, что послѣ моей притирки вы завтра же будете здоровы!

— Въ такомъ случаѣ прикажите объѣздки, чтобы завтра же утромъ пріѣхала сюда моя бричка.

— Вещи вамъ нужны? спросилъ онъ тараща глаза.

— Я самъ уѣду къ себѣ.

— Нѣтъ, этого нельзя! перебилъ онъ торопко: вамъ нельзя ходить дня... дня два, по крайней мѣрѣ!

— Въ такомъ случаѣ благодарю васъ, воспользуюсь вашимъ гостепріимствомъ.

Онъ какъ-будто не понималъ, что я сказалъ; выпилъ рюмку водки и расслаблялся.

Полѣсовщикъ постлалъ мнѣ на диванѣ постель, убралъ со

стола и предложилъ фрикацію спасительнымъ бальзамомъ. Послѣ этого, пожелавъ пріятнаго сна, ушелъ.

Спалъ я скверно и проснулся поздно—почти около полудня. Въ самомъ дѣлѣ притирка подѣйствовала: я могъ даже кое-какъ стать на ноги, но бока болѣли. Объязчикъ принесъ чай и сказалъ, что лѣсничій давно ушелъ въ лѣсъ къ рабочимъ.

На-единѣ, я добрался до шкафа: шесть широкихъ полокъ были заставлены и заложены книгами, большею частію въ старинныхъ кожаныхъ переплетахъ съ краснымъ и пестрымъ обрѣзомъ. Поднимая пыль можетъ быть полустолѣтія, я заглянулъ въ нѣкоторые. Это была непроходимая латынь *Tractatus Historicus de Clarissimi viri... Tractatus theologico-politicus... Il seminario di governi... De mirabilis potestate...* и тому подобная въ прахѣ спящая премудрость возбудила во мнѣ робость—я наслу отчихался. Далѣе Вольтеръ, энциклопедисты, Шатобрианъ, Шлоссеръ и проч.—все это вмѣстѣ представляло руину серьезной библіотеки. Но вторая полка снизу была занята вся книгами новѣйшей литературы, видимо избранными для юнаго возраста, и учебниками по разнымъ предметамъ. Тутъ же сложены тетрадки задачъ и переводовъ легкаго женскаго почерка; и все это было свѣжо, нигдѣ не было пыли-казалось всѣ эти книги и тетради теперь только сложены послѣ урока. Нѣсколько притупленныхъ карандашей и свѣжихъ перьевъ не оставляли сомнѣнія, что здѣсь учится и вѣроятно дѣвочка или дѣвица, судя по ленточкамъ вмѣсто закладокъ. Зачѣмъ же тутъ Самсоній Львовичъ—вопросъ?

Обозрѣвая, отъ нечего дѣлать, загадочное заключеніе мое, я увидѣлъ на стѣнахъ портреты какихъ-то почтенныхъ сановныхъ лицъ; четыре старыя картины походили на оригинальныя: двѣ Польпоттера, одна будто Теньера, и одна чуть-ли не самого нищаго кистью бисеромъ Жерардова.

Въ углу, надъ пюпитромъ съ нотами, висѣла скрипка и смычекъ. На полу валялось перо волана. Все это очень естественно интересовало мое праздное любопытство, и какъ окажется вовсе не напрасно.

Въ окно глядѣлъ ясный, прекрасный день; я отворилъ окно. Роскошный, ароматическій лѣтній воздухъ пахнулъ въ комнату и охватилъ меня такою нѣгой, что ушибленные бокъ и нога заняли какимъ-то болѣзненнымъ и пріятнымъ зудомъ. Высунувшись въ окно, я удивился граціозности разстилавшейся передо мной картины: за усыпанной пескомъ дорожкой большая куртина пестрѣла цвѣтами, съ тычинками и надписями на дощечкахъ; за куртиной лугъ спускался къ густой рошѣ вишневыхъ, сливовыхъ деревьевъ и кустарника; сквозь эту зелень бѣжала внизъ крутая дорожка и точно опрaвленнѣй въ листву кусокъ озера сверкалъ и дрожалъ золотистымъ отблескомъ солнечныхъ лучей. За рошей, безъ начала и конца озеро, съ островомъ посреди его, а на противоположномъ берегу вдали нѣсколько крестьянскихъ дворовъ, въ живописномъ барщинскомъ убожествѣ. Пейзажъ былъ чрезвычайно живописенъ, воздухъ живителенъ до упоенія.

Утомясь, я легъ на диванъ и попалъ прямо на Данте; машинально я раскрылъ книгу и занялся чтеніемъ по способу моего хозяина. Очень пріятно иногда дремать подъ говоръ, котораго не слушаешь; не менѣе пріятно, дремля, читать и не беспокоиться понимать то, что читаешь. И однако, дойдя до III пѣсни (это былъ I томъ) я не безъ удивленія хлопнулъ глазамъ и прочелъ довольно сознательно:

*Per me si va nella cita dolente: **

Per me si va nell' eterno dolore...

И уже не безъ нафоса продекламировалъ знаменитый набитый стихъ:

*Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate! ***

* Черезъ меня (т. е. въ ворота) входятъ въ градъ страданій, черезъ меня входятъ въ вѣчныя муки.

** Оставьте всякую надежду тѣ, которые сюда вошли!

Вдругъ, невдалекѣ закипѣла возрастающая ожесточенно драка псовъ и раздались женскіе вопли; одинъ даже мелодичный, почти дѣтскій. Я слышалъ рычаніе Сбогара и опасался за жида... Но драка была серьезнѣе и велась съ упорствомъ. Наконецъ грубый старческій голосъ смѣшался съ рычаніемъ звѣрей и за нимъ всплескъ, казалось, цѣлаго ушата воды. Единичная перебрешка и взвизгиванье повѣстили о концѣ прерваннаго поединка.

«А не будешь швендать тутычки!» хрипѣлъ иронически старческій голосъ и подъ окномъ послышался Сбогаръ. Я кинулъ Данте, взглянулъ за окно и увидѣлъ Сбогара въ положеніи хуже отчаяннаго: такъ ободрать храбрую скотину можетъ только стая подобныхъ ему стервецовъ: морда вся въ крови, весь мокрый и ухо болтается почти въ лоскуткахъ...

— Что я могъ сказать ему въ утѣшеніе. Онъ лежалъ въ лужѣ собственной крови, и облизываясь, все еще перебрехивался съ соперникомъ, тоже брехавшимъ и взвизгивавшимъ издали. Только и было во всемъ этомъ утѣшительнаго, что и сопернику, какъ видно, нездоровилось; надъ нимъ тоже убивался женскій сухой голосъ: «бачъ, какъ винъ подлый разнесъ тебѣ, и нога не ходитъ!»...

Заглядывая въ окно на Сбогара, я замѣтилъ на одномъ стеклѣ искрапщійся нацарапанный отчетливо стихъ:

Dimmi, per prego, si sea morta o viva! *

и нѣсколько вензелей буквы Е.

Плохое предназначенованіе Сбогару! суевѣрно подумалъ я. На подоконникѣ, о который я облокотился, гляжу, тотъ же стихъ, написанъ карандашемъ, кажется свѣжимъ.

Что тутъ за итальянцы, классики и музыканты? И что за роль этого идіота? Ссылка его на заграничнаго пріятеля не совсѣмъ удовлетворяла меня. Но больше я ничего не могъ добыться отъ чудака.

* Скажи мнѣ, прошу тебя, ты мертвая или живая?

Отъ вернулся изъ лѣса къ обѣду; очень сѣтовалъ на своего «Гайдамака», подравшагося съ Сбогаромъ, и принялъ мѣри къ ихъ навлеченію все той же цѣлебной примочкой, которая такъ пособила мнѣ.

За столомъ опять выпилъ двѣ рюмки сразу, не закусывая и сморщился, какъ гуттаперчевый.

— Неужели такъ вамъ горько? спросилъ я.

— Нѣтъ, не очень!

Этотъ вечеръ прошелъ не умнѣе вчерашняго; Собацко на всѣ вопросы мои несъ околесную. Но несомнѣнно тутъ была какая нибудь тайна или самое страшное чудачество. Не стоило труда, да я и не имѣлъ ни права ни повода стараться проникнуть ее.

Утромъ я чувствовалъ себя гораздо лучше; лѣсничій уѣхалъ на работы и я попробовалъ пройтись по саду.

Садъ оказался прелестенъ и уютенъ; всюду видна была заботливость въ присмотрѣ за нимъ. Возвращаясь въ мою комнату вдоль высокой живой изгороди акацій и боярышника, сквозь узкую калитку въ ней я замѣтилъ маленькій дворикъ и преземистый домишко; въ чистенькихъ окнахъ его, бѣлыми занавѣсками, цвѣты, клѣтку съ какой-то птишкой.

Баба свирѣпой фizioноміи полоскала на крыльцѣ крынку и мрачно глянула на меня. Сбогаръ было сунулся въ калитку, но раздумалъ и взвизгнулъ, ему отвѣчено рычаньемъ изъ-за акацій.

Отъ акацій мнѣ надо было проходить мимо оконъ того же дома, въ крайней комнатѣ котораго помѣщался я. Я заглянулъ въ нихъ мимоходомъ; но они оказались закрашенными изънутри черной краской. Однако сквозь какую то царапину я съ трудомъ разглядѣлъ во мракѣ странные, предметы: посреди комнаты остовъ лошади, въ углу скелетъ человѣка, на полкахъ бюсты. У стѣны и на стѣнѣ — мольбертъ, палитра и полотно. На полу валялась бѣлая длинная нога, около нея голова съ пробитымъ носомъ. Очевидно, что это было упряд-

ненное atelier художника; онъ-то вѣроятно и есть — за границей.

Кромѣ хриплаго старика и свирѣпой женщины никого не замѣтилъ я на фольваркѣ. Мелькнула разъ какая-то опрятная и легкая фигурка, но такъ случайно и мгновенно, что и разобратъ не было возможности; а на мой вопросъ о ней поспѣшнѣе отвѣтилъ:

— Живетъ такая, такъ соби!...

Распрашивать было неловко; да наконецъ, Господь же съ ними, съ мелькающими фигурками!

Данте со скуки я прочелъ всего и кое-что поналъ; а кое-что и очень многое предоставилъ дочитывать и понять Собацко.

Дѣла мои кончились. Приѣхалъ пройдоха писмоводитель; вѣдомости составлены превосходно, переписаны, подписаны еще лучше, и я приказалъ моимъ людямъ улечься и завтра утромъ приѣхать съ бричкой. Лѣсничій не очень удерживалъ; но на завтра просилъ отобѣдать передъ дорогой.

На завтра я проснулся на зарѣ; было такъ ясно, легко на душѣ; мнѣ захотѣлось еще разъ пройти по саду. При поворотѣ къ тропинкѣ ведущей къ озеру, я слышалъ всплески, — любопытство тянуло туда невольно. Сквозь вѣтви кустарника промелькнула въ озерѣ купающаяся — въ такихъ случаяхъ всегда кажется — красавица, а надъ кустомъ выросла свирѣпая образина старухи:

— Чего не бачили? спросила она такъ язвительно, что я отвѣтилъ. Тебя! и вернулся. Сбогаръ тоже брехнулъ.

Часу въ 3-мъ накрыли на столъ; мы усѣлись. Послѣ своихъ рюмокъ лѣсничій ѣлъ за двоихъ, я едва-ли меньше: обѣдъ былъ превосходный. Мы выпили бутылку такого вина, что при первой рюмкѣ — я удивился, а при послѣдней — захотѣлось спать. Это было старое венгерское.

— Гдѣ вы берете вино?

— Тутъ въ погребѣ есть немножко: мой другъ мнѣ позволилъ, такъ иногда бутылочку!..

— Вашъ другъ человекъ со вкусомъ!

— Да, онъ порядочно богатъ былъ, а теперь немножко тово!..

Венгерское клонило ко сну! Но я распрощался съ моимъ гостепріимнымъ и глупымъ хозяиномъ; отказался отъ его проводовъ, поблагодарилъ за радушіе и, сопровождаемый коннымъ объѣзчикомъ, уѣхалъ, зѣвнулъ да тотчасъ и заснулъ—неудержимо...

Мягкій песокъ дороги качалъ бричку, какъ колыбель... Я спалъ и даже видѣлъ во снѣ Венецію, лагуны, гондолу и около нея плавающіе трупы...

Вдругъ толчокъ — и, еле удержавшись на накренившейся бричкѣ, я проснулся... Ось врѣзалась концомъ въ песокъ, а колесо лежало по одадь...

— Ахъ, чтобъ тебя прорвало, оселъ ты этакой!

— Что такое? спрашиваю.

— Да вотъ, гайку потеряли! Недовернулъ, безрукая охлботина! ругался мой топографъ.

— Что ты будешь дѣлать!

Долго искали гайку, но въ глубокомъ пескѣ не нашли. Объѣзчикъ посовѣтовалъ добраться до кузнецы—версты полторы впередъ.

— Тамъ коваль живо сварганитъ гайку — то есть въ дватри, много въ четыре часа готова будетъ.

— Ну ужъ и живо! а далеко-ли отъѣхали отъ лѣсничаго? спросилъ я.

— Версты три, може съ половиной!

— Ну, вы варганьте и пріѣзжайте за мной, а я тамъ подожду у лѣсничаго. И я отправился назадъ; Сбогаръ со мной.

За день нагрѣтый солнцемъ воздухъ едва начиналъ охлаждаться; вѣтерокъ дышалъ изъ-за поростника молодыхъ дубчарковъ и сосняка. Предзаревая тишина водворялась въ золотистомъ, тонкомъ, какъ будто мягкой кистью пролисинованномъ, голубоватомъ воздухѣ.

Повади хладнокровные голоса поругивались: мужланъ—мужланъ и есть! сказано—охлоботина! Недовинтилъ!...

— Тай я-жь хфинтылъ!..

— Я-а, я-а, я-а! дразнилъ его ругательный голосъ: хфинтылъ, крокодилъ ты этакой! Но мужланъ обидѣлся: въ насъ такой поганой хфамили и не чувалъ никто!

— То-то! не чувалъ!..

Свѣжій воздухъ, насыщаясь испареніями хвоя и вереска, проникалъ глубоко въ грудь, дышалось хорошо... Издалека слышалось будто тихая, дѣтская пѣсенка; то выдѣляя ноты, то сливаясь, вдругъ потекла она полной выразительности струей тонкихъ звуковъ—это пѣла скрипка. Именно, она — пѣла... Что она пѣла—не знаю: я не музыкантъ. Помню одну пасторальную симфонію, кажется, Бетховена: журчанье ручья, трели соловья, пѣсни хороводовъ, буря и черти и любовь — и все есть тамъ, коли нѣтъ обмана. Эту симфонію я когда-то слышалъ такъ восхитительно и живо исполненную, что почти всѣ мотивы ея остались у меня въ памяти. Кажется, скрипка фантазировала на эти мотивы. Казалось, звуки таяли и замирали вдаль, то вспрынувъ, заливались веселымъ сверцо; то опять какъ будто изъ далека слышались тонкія, сухія ноты—арпеджіо щипалъ за сердце—и опять неожиданно разражались таею хохочущей рѣлодой, которую, кромѣ «лѣшовой дудки», и назвать не умѣю...

Я подходилъ заслушиваясь; звуки росли; Сбогаръ насторожилъ уши и начиналъ ворчать. Я взялъ его за ошейникъ.

Почти противъ цвѣточной куртины сада, были запертыя, простыя низкія ворота въ родѣ прасель; я приближался къ нимъ, въ эту минуту скрипка запѣла такую херувимскую жалобу или молитву, что дыханіе само притаилось... Я подошелъ къ воротамъ, облокотился на нихъ, взглянулъ — и ошалѣлъ....

Въ бѣлой рубашонкѣ, съ засученными выше локтя руками, въ коротенькой свѣтлой юбочкѣ, съ пунцовой лентой въ темныхъ волосахъ, волнами падающихъ по плечамъ, передо мной

стояла—въ самомъ дѣлѣ казалось—нимфа... Съ лейкой въ рукѣ, другая откинута немножко назадъ, она не шевелилась, точно позировала передъ художникомъ, и облитая послѣдними лучами зари, выдѣлялась прелестнымъ античнымъ профилемъ на темномъ фонѣ. Она слушала, чуть улыбаясь. И мнѣ невольно припомнился стихъ:

Dimmi, per prego, si sea morta o viva?..

Это была она—прекрасная графиня Эмилія.

Она—вся, съ ея прекраснымъ профилемъ, съ глубокимъ взоромъ, съ роскошными волосами, отъ которыхъ вѣетъ ароматомъ, но возведенная въ идеаль... и вся фигура ея, дѣтски дѣвственная, точно выточенная ножка, рученка съ тонкими пальчиками... Вся изящная, полная жизни, въ цвѣтахъ, въ гаснущемъ отблескѣ солнца, словно въ фиміамѣ звуковъ—она заслушавшись, дышала еще дѣтскимъ, но уже предвкушающимъ грусть и радость тайнъ жизни дыханіемъ... Дыханіемъ, еще безсильнымъ колебать ея отроческую, не испытывшую волненія, чуть обозначавшуюся грудь...

Скрипка пѣла, дрожала, млѣла; пунцовая ленточка едва скользила по темнымъ прядямъ волосъ... И я невольно шепнулъ: Эмилія!.. Она вздрогнула:

Ваше скородіе! гайка нашлась! Оральъ сзади меня безсоставный голосъ...

Какъ испуганная серна мелькнула и исчезла она; Сбогаръ рычалъ, скрипка смолкла, точно оборвалась...

— Гайка ваше скородіе!..

Нечего дѣлать, я пошелъ къ бричкѣ; сзади брехалъ толстый басъ Гайдамака и свирѣлая баба причитала, что-то какъ будто ругательное...

«Такъ вотъ она!..» повторилъ я самъ себѣ...

— Точно такъ-съ ваше скородіе—тутъ же и была шаговъ съ пятокъ...

До ночи таялся я по песчаной дорогѣ. Въ далекой беззвучной выси, надо мной казалось рѣялъ прозрачный призракъ чуждаго ребенка... возрождающейся для чистой любви, погибшей и прелестной преступницы...

Да, она будетъ также прекрасна какъ мать. Дай Богъ, чтобы судьба не обманула также коварно этого чистаго существа, взлелѣяннаго въ дыханіи цвѣтовъ и мелодій, безграничнымъ самоотверженіемъ несчастливца, въ память любимой имъ женщины.

Въ Н** я нашелъ почту полученную наканунѣ. Между письмами одно изъ Вильны. Лѣсничій сообщилъ мнѣ адресъ плебаніи или прихода того патера, которому я долженъ былъ вручить пакетъ отъ графа Гроховскаго.

По справкѣ оказалось, что плебанія всего въ восьми верстахъ отъ лѣсничества и я невадалекѣ отъ нея проѣхалъ теперь.

Экая досада! Но дѣлать нечего — едва-ли когда нибудь я возвращусь сюда—два года таскаю я этотъ пакетъ за собой: слово данное мертвецу тѣмко—пожалуй самъ придетъ за пакетомъ. Я заказалъ лошадей на завтра.

Едва въ шесть часовъ вечера удалось мнѣ выѣхать: предстоило верстѣ 35 песчаной дороги.

Было совсѣмъ темно, когда за оградой плебаніи, за чернѣющимъ стройнымъ рядомъ пирамидальныхъ тополей, внизу показался теплившійся въ окнѣ одинокій огонекъ. Я послалъ ямщика достучаться и спросить, можетъ ли патеръ принять на полчаса проѣзжаго, имѣющаго къ нему личное дѣло.

На громкій лай дворняги, въ темнотѣ пропѣли двери, и по краткихъ переговорахъ, возница отперъ ворота; тройка подъѣхала къ крыльцу; бѣлая фигура женщины съ фонаремъ въ рукѣ встрѣтила меня. Огни освѣтились. Старичекъ почтенной наружности принялъ меня благосклонно.

При имени графа Вацлава онъ немножко потупился, освѣнилъ себя крестомъ. Я объяснилъ ему вкратцѣ свою миссію и представилъ пакетъ. Священникъ принялъ пакетъ съ тѣмъ

однако, чтобы вскрыть его при мнѣ и дать мнѣ росписку въ полученіи, такъ какъ при этомъ нѣтъ никакого письма къ нему.

Мнѣ не кому представить росписку, отвѣтилъ я: это дѣло взаимной довѣренности.

— И то правда!

Подъ первой оберткой, была другая съ подписью женской рукой: «милой дочери моей—Эмилиі».

Можетъ ли это быть! невольно шепнулъ я. Патеръ, не глядя на меня, улыбнулся кротко. Въ развернутой бумагѣ оказалась сафьянная щегольская коробочка, и въ ней—закрытый золотой медальонъ, съ брилльянтовой звѣздочкой съ одной стороны и съ надписью съ другой: «милой моей дочери Эмилиі».

Священникъ поклонился мнѣ, сказалъ: завтра же будетъ вручено по принадлежности, и заперъ футляръ.

Меня мучило любопытство, но пришлось преодолѣть его. Я сталъ откланиваться.

— Можеть быть вы позволите предложить чашку чаю: безъ хлѣба соли путешествующихъ не отпускаютъ.

Я съ благодарностію принялъ ласковое предложеніе. Что тамъ въ медальонѣ?....

За чаемъ я рассказалъ подробности знакомства моего съ графиней и ея другомъ. Священникъ слушалъ съ глубокимъ участіемъ.

Въ свою очередь онъ рассказалъ мнѣ, что никогда не видѣлъ ни Вацлава, ни графини, но очень коротокъ со всей фамиліей Собацко и былъ дружекъ съ отцомъ его. Онъ повторилъ мнѣ въ подробностяхъ все, что я уже слышалъ на Волыни, гдѣ не упоминалось объ имени Собацко.

Старикъ Собацко былъ очень богатый вдовецъ; единственный сынъ его—нынѣшній лѣсничій, былъ воспитанъ за границей и получилъ блестящее образованіе. Отецъ души въ немъ не слышалъ и только мечталъ о женитбѣ его. Но сынъ, непригопій собой, не любилъ женщинъ. Тридцати двухъ-трехъ лѣтъ однако, встрѣтивъ случайно Эмилию, влюбился въ нее со

всею страстію не истраченныхъ, пылкихъ чувствъ. Отецъ былъ счастливъ, и уже приготовилъ будущимъ «молодымъ» прелестный поэтический пріютъ — верстъ за восемь отсюда фольварокъ: тамъ только птичьяго молока не доставало, а теперь стоитъ заброшенный почти пустой; тамъ и живетъ сынъ. Вдругъ Эмилія отказала ему и была помолвлена съ графомъ Гроховскимъ. Собацко съ отчаянья кинулся въ кутежъ, въ полгода проигралъ и расточилъ все отцовское наслѣдіе и свелъ отца въ могилу. Онъ дошелъ до крайности и былъ бы нищимъ, если бы старикъ камердинеръ отца его не выкупилъ у спекуляторовъ этого фольварка: умирая онъ завѣщалъ его сыну своего покойнаго барина.*

Въ это время Собацко узналъ о ребенкѣ Эмиліи, которая вышла за мужъ за графа Т**; а ребенокъ — плодъ любви ея и Вацлаву, былъ отданъ на воспитаніе одной бѣдной вдовѣ крестьянина. Собацко вдругъ точно очнулся: онъ откупилъ у помѣщика эту вдову съ ребенкомъ, переселилъ ихъ на фольварокъ и весь предался воспитанію дочери той женщины, память которой онъ обожаетъ понинѣ, и которая его обманула. Онъ безъ слезъ не вспоминаетъ о ней, а дочь ея — боготворить.

— Это грѣхъ! примолвилъ старецъ, и сотворивъ крестное знаменіе, продолжалъ: но человекъ — слабъ. Не имѣя средствъ, онъ по протекціи министра, жена котораго была когда-то дружна съ матерью его, поступилъ на службу и — живетъ скромно. Какъ человекъ высокообразованный, онъ самъ воспитываетъ свою питомицу: она знаетъ языки, отлично играетъ на арфѣ и фортепьяно....

— Но онъ кажется пьетъ и почти идіотъ! — невольно перебилъ я. Священникъ улыбнулся. «Да, это можетъ казаться такъ; но я его знаю: онъ всегда былъ нѣсколько страненъ, а теперь сталъ рѣшительно чудакомъ и поддерживаетъ свое чудачество еще искусственно и очень упорно. — Наединѣ и при двухъ трехъ друзьяхъ его — онъ ничего не пьетъ и уменъ очаровательно. Онъ уединился: почти ни кто у него, и онъ

ни у кого не бываетъ. Даже къ обѣдни ѣздитъ съ Эмилией не иначе, какъ въ будни.

Онъ говоритъ, что Эмилія спасла его отъ самоубійства... Это тяжкій грѣхъ! промолвилъ вздохнувъ священникъ. Но Богъ милостивъ!..

Былъ уже второй часъ ночи. Почтенный патеръ предложилъ мнѣ переночевать у него и даже, если я этого желаю, послать за Собацко, чтобы я самъ вручилъ ему медальонъ... И оба мы задумались. Это можетъ быть потрясать его... Особенно если въ медальонъ...

— Да поглядимъ, что тамъ?.. сказалъ я тихо.

Онъ надѣлъ очки и передъ свѣчей открылъ медальонъ; мы оба точно застыли: черезъ минуту глубокаго созерцанія, старецъ вздохнулъ, осѣнилъ крестомъ и тихо шепталъ молитву, вѣроятно *de profundis*.—Я глядѣлъ до слезъ: графиня глядѣла на насъ своими глубокими прекрасными, чуть влажными глазами и въ улыбкѣ ея было столько нѣжной печали, столько любви, что она, кажется, дышала—сходство было разительное.

«Это двѣ капли воды—малютка Эмилія!» сказалъ старецъ и опять перекрестился. Миниатюрный портретъ былъ мастерской работы—красоты необыкновенной.

Открыли и обратную сторону медальона: тамъ была за стекломъ свернутая прядь волосъ графини, связанная крошечной пунцовой ленточкой.

«Это потрясать его!» промолвилъ священникъ.

— Да и мнѣ будетъ тяжело его видѣть; и зачѣмъ?...

Мы сидѣли утомленные, безмолвно.

— Скажите, однако, *reverendissime pater*! За чѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, столько горя на свѣтѣ? Къ чѣму нужна гибель этой прекрасной четы, полной ума, красоты и любви? Зачѣмъ наконецъ этотъ прелестный ребенокъ—невинный, добрый—и уже обреченный на сиротское несчастіе? Къ чему эти жертвы? Что въ нихъ—отмщеніе или очищеніе духа, возмущеннаго противъ своего Творца?..

Священникъ поглядѣлъ на меня спокойно, но какъ-то и строго и снисходительно:

— Вы дѣлаете вопросы — и предрѣшаете ихъ сами, — сказалъ онъ: но я обязанъ отвѣчать вамъ.

— Ничто въ мірѣ не совершается безцѣльно, напрасно. Не только ни одна душа Божія, но даже ни одно слово, ни единый звукъ не пропадаетъ безслѣдно. Много думалъ я о несчастныхъ погибшихъ преступникахъ; молился и думалъ. Я знаю подробности этой назидательной кары небесной.

— Вацлавъ и Эмилиа были добры и честны — и погибли преступными. Кто же однако понесъ страшнѣйшую кару въ ихъ гибели? Не та ли, кто изъ корысти и тщеславія отдала соблазну невинную дочь? И не тотъ ли, кто изъ слѣпой гордости пожертвовалъ счастьемъ единственнаго сына?

— Плачьте не объ умершихъ, а о злѣ живущихъ! Скорбите надъ черствымъ корыстолюбіемъ и тщеславіемъ дряхлѣющихъ безумцевъ — и не жалѣйте прекрасныхъ! Жертвы — и непременно лучшія, прекраснѣйшія — необходимы. Путь всего прекраснаго труденъ на землѣ; оно всегда близко къ гибели. Но именно въ гибели его — сѣмя будущаго, возрожденнаго и обновленнаго въ чистотѣ, еще прекраснѣйшаго созданья. Таковъ путь совершенствованія — законъ безсмертія!..

Старецъ замолчалъ, и вздохнувъ, онъ точно также просто и спокойно досказалъ въ скромной прозѣ тоже самое, что написалъ великій поэтъ своими вдохновенными стихами:

— Человѣку не дано проникать помысломъ божественныхъ предвѣчныхъ цѣлей. Но воля и желанія наши свободны: они движутся тою вѣчною силою любви, которая вращаетъ точно также и солнце и землю и всѣ звѣзды безконечнаго міра... Надо — вѣрить!

Ранній утренній колоколъ раздался, какъ-то убѣдительно звонко призывая къ молитвѣ. — Заря занялася. Священникъ далъ мнѣ напутственное благословеніе и отправился въ церковь; я за нимъ. Тамъ еще никого не было.

Помолясь за себя и за всѣхъ живыхъ и мертвыхъ грѣшныхъ,—я вышелъ и уѣхалъ.

Солнце, точно въ златѣ и багряницѣ, восходило надъ просыпающейся землей: птички щебетали, лѣса и луга курились ароматомъ и въ повѣвахъ свѣжаго утренника чулось дыханіе нѣжной, могучей и переполняющей разымчивымъ чувствомъ грудь — силы... вѣроятно

*L'amor, che muove l'sole & *.*

А между тѣмъ, впереди опять — гвалдъ! Каналья Сбогаръ трепалъ за-полы какого-то странствующаго жида!

Что за невоздержная прозаическая бестія!... способу нѣтъ!

Погоскій

* Любовь, которая движетъ солнце и пр.

СТИХОТВОРЕНІЯ ГРАФА В. А. СОЛЛОГУБА.

I. Т Е М Н И Ц А.

Попалъ я въ темницу, въ темницу такую,
Что вспомнивъ о ней, я томлюсь и тоскую.
Въ ней связана воля, покоя въ ней нѣтъ.
Попалъ я въ темницу на старости лѣтъ.

Зовутъ ее горемъ, безвыходнымъ горемъ,
Когда ни о чемъ мы ужъ съ жизнью не споримъ,
Когда утомясь отъ напрасной борьбы,
Себя отдаемъ мы на волю судьбы.

А мимо темницы, гдѣ страшно и душно,
Прохожіе ходятъ, смѣясь равнодушно.
И нѣтъ имъ заботы о горѣ чужомъ;
У нихъ есть семейство и воля и домъ.

Бываетъ однако. . . . но рѣдко бываетъ,
Что узникъ неволю на мигъ забываетъ,
Когда онъ съ простора, гдѣ живъ Божій свѣтъ,
Услышитъ неожиданный и добрый привѣтъ.

Тогда, вострепнувшись отъ милаго слова,
Онъ счастливъ, онъ молодъ, свободенъ онъ снова,
И сброситъ онъ съ сердца, забудетъ въ умѣ,
Что долженъ онъ погибнуть въ холодной тюрьмѣ.

II.

КРАСАВИЦА.

Какъ хороша, сказалъ старикъ,
Смотри на васъ, на станъ вашъ гибкій,
На взоръ задумчивый на мигъ,
И вдругъ сверкающій улыбкой.
Какъ хороша, но я такъ старъ,
Что мнѣ не кстати, не пригоже
Припоминать сердечный жаръ.
Увы, зачѣмъ я не моложе?

А юноша сказалъ грустя:
Она любви понять не можетъ,
Игрушкой тѣшится дитя,
И сердце только мнѣ тревожить.
Никто не въ силахъ мнѣ помочь.
Къ ней такъ присталъ душевный холодъ,
И я томлюсь и день и ночь.
Увы, зачѣмъ, зачѣмъ я молодъ?

А я сказалъ: нѣтъ суеты
Пустыхъ надеждъ роптать грѣховно;
Блескъ лучезарной красоты
Сіяетъ всѣмъ свѣтло и ровно.
Хоть молодъ ты, хоть старцемъ будь,
Онъ озаряетъ понемногу
И юноши далекій путь,
И старца краткую дорогу.

Гр. В. Соллогубъ.

ДѢЛА И ДНИ.

(Emerson. Society and Solitude).

Русскіе читатели почти вовсе не знакомы съ Эмерсономъ. Но кто не знаетъ его, тотъ не знаетъ самаго оригинальнаго изъ нынѣшнихъ представителей литературнаго гениа англосаксонской расы. Правду сказать, Эмерсонъ пользуется популярностью почти исключительно въ Америкѣ и, отчасти, въ Англіи. Можетъ быть главная тому причина — слогъ его, въ высшей степени своеобразный, — слогъ, который чрезвычайно трудно передать на другомъ языкѣ; а мысль у Эмерсона, едва ли не болѣе чѣмъ у всѣхъ другихъ писателей, нераздѣльна со слогомъ.

Но кто узналъ Эмерсона, тотъ не можетъ не полюбить его, тотъ не перестанетъ питаться съ наслажденіемъ вдохновенною, сильною его рѣчью. Въ Америкѣ имъ вскормлено, взрощено не одно поколѣніе, потому что старику Эмерсону уже болѣе 70 лѣтъ; но онъ живетъ еще, бодрый, около Бостона, близъ Гарвардской коллегіи, и отъ времени до времени слышится еще вдохновляющій его голосъ въ публичныхъ чтеніяхъ — любимой формѣ, въ которой американскіе писатели обращаются къ публикѣ. Почти всѣ сочиненія Эмерсона появились въ этой формѣ. Последняя изданная имъ серія чтеній появилась въ свѣтъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, подъ заглавіемъ: «Общество и уединеніе», и состоитъ изъ 12 статей, изъ коихъ одна предлагается теперь вниманію русскаго читателя.

Около сорока лѣтъ уже прошло съ тѣхъ поръ какъ Эмерсонъ началъ первыя свои чтенія, но и до сихъ поръ, при всякомъ объявленіи о новомъ рядѣ его чтеній, точно искра энтузіазма пробѣгаетъ по всѣмъ сѣвернымъ штатамъ. Кажется, — по выраженію другаго замѣчательнаго американца Лоуэля (My Study Windows), будто послышалось дыханіе весны, идущей обновить лицо земли. Тысячи съѣзжаются слушать его отовсюду, и отходятъ, возбужденные, обновленные духомъ. Национальное значеніе Эмерсона таково, что по отзыву многихъ американцевъ, въ послѣднюю войну, его дѣйствию и вліянію слѣдовало приписать значительную долю того одушевленія, съ которымъ тысячи юношей шли весело въ бой и на смерть за отечество. Въ немъ бьется жила того пуританскаго духа, который создалъ новую Англію, и составляетъ до сихъ поръ основу духовныхъ началъ кореннаго и здороваго американскаго населенія. Главные представители этого духа въ американской литературѣ — Готорнъ (уже умершій) и Эмерсонъ. И тотъ и другой пользуются въ Америкѣ величайшею популярностью, можетъ быть потому именно, что оба, въ самомъ разгарѣ рынка, на которомъ живетъ Америка, въ кругу матеріальныхъ интересовъ, проповѣдывали толпѣ — о духѣ, обличая и возбуждая въ каждой душѣ духовные инстинкты и стремленія.

Эмерсонъ — философъ, и поэтъ — еще болѣе чѣмъ философъ. Но ни въ философіи, ни въ поэзіи нельзя отнести его ни къ какому разряду, приписать ни къ какой системѣ или школѣ. Во многомъ, что говоритъ онъ, можно не соглашаться съ нимъ, съ точки зрѣнія той или другой системы, но онъ внѣ всякой системы, и слово его поражаетъ душу внутреннею правдою идеала. Лучшіе представители интеллектуальной и литературной жизни въ Америкѣ, люди первой силы, сами художники, сознаются, что никому изъ живыхъ писателей не обязаны они такъ много какъ Эмерсону, обязаны подъемомъ духа, приливомъ и оживленіемъ высшихъ побужденій, составляющихъ самое драгоцѣнное достояніе духовной природы. Онъ написалъ, сравнительно съ другими, немного, и ничто на-

писанное имъ, не имѣетъ систематической, научной цѣльности; но немногими словами его оплодотворены десятки тысячъ умовъ, потому что слово его необыкновенно глубоко, сильно и художественно. Оттого оно имѣетъ необыкновенную возбуждательную силу, заставляетъ думать, плодить и углубляетъ мысли. Эмерсона сравниваютъ съ тѣми тычинковыми растеніями, которыя сами не производятъ плода, но разносятъ плодотворящую пыль повсюду, и безъ которыхъ множество растеній въ цѣломъ саду стояло бы въ бесплодіи. Съ небольшою книжкою Эмерсона, въ уединеніи, можно проводить цѣлые дни, какъ съ лучшимъ другомъ, и эти дни не забудешь потомъ до конца жизни. Долго можно читать и перечитывать какія нибудь двѣ три вдохновенныя страницы, отрывая въ нихъ всякій разъ что нибудь новое, сильное, здоровое. И одна его страница стоитъ иной разъ цѣлаго тома, написаннаго другимъ писателемъ. Въ жизни бываетъ иногда, что мы привязываемся всего тѣснѣе къ тѣмъ именно людямъ, которые сами требуютъ отъ насъ: и въ литературѣ есть писатели, которые требуютъ отъ своего читателя. Но за то они платятъ ему стоицею, за то и привязываешься къ нимъ какъ къ любимому учителю, оставившему глубокой слѣдъ въ душѣ на цѣлую жизнь. Въ числѣ такихъ писателей Эмерсонъ, конечно, занимаетъ первое мѣсто.

Нашъ девятнадцатый вѣкъ — вѣкъ орудій. Ихъ производить изъ себя наша организація. «Человѣкъ — мѣра всѣхъ вещей, говоритъ Аристотель; рука — инструментъ всѣхъ инструментовъ, а разумъ — форма всѣхъ формъ». Тѣло человѣческое — магазинъ изобрѣтеній, кладовая образцовъ, съ которыхъ сняты всевозможные механизмы, какіе только придуманы. Всѣ орудія и машины не что иное какъ распространеніе членовъ и ощущеній этого тѣла. Человѣка можно опредѣлить такъ: «разумъ со служебными органами». Машина помогаетъ природному ощущенію, но не можетъ замѣнить его. Вся

мѣра — въ тѣлѣ. Глазъ ощущаетъ такіе оттѣнки, которые не въ силахъ уловить искусство. Ученикъ не разстается съ аршиномъ, но опытный мастеръ мѣряетъ безъ ошибки пальцемъ и локтемъ, опытный нарядчикъ отмѣряетъ шагами аккуратнѣе, чѣмъ иной — веревкой и цѣпью. Степной индѣецъ, бросая камень изъ пращи, знаетъ что попадетъ какъ разъ въ точку: въ такомъ сочувствіи глазъ у него съ рукою; плотникъ рубитъ бревно свое по насѣченной линіи, ни на волосъ не отступая. Нѣтъ чувства, нѣтъ органа, который нельзя было бы довести до самого тонкаго совершенства въ дѣлѣ.

Дивиться — любимое ощущеніе человѣка, и въ этомъ чувствѣ сѣмя нашей науки. Таковъ механическое направленіе нашего вѣка, и такъ еще свѣжи лучшія наши изобрѣтенія, что радость и гордость отъ нихъ еще не износились въ насъ, и мы готовы жалѣть отцовъ своихъ, что они не дожили до пара и до гальванизма, до сѣрнаго зейра и до морскихъ телеграфовъ, до фотографіи и спектроскопа, — какъ будто они бѣднѣ насъ на половину жизни. И кажется намъ, что эти новыя художества отырываютъ намъ настежь двери въ будущее, общаются одухотворить формою весь матеріальный міръ и возвести жизнь человѣческую изъ нищенства ея въ богоподобное состояніе довольства и силы.

Правда, и нашему вѣку достался не скудный запасъ въ наслѣдство. Былъ уже компасъ, былъ типографскій станокъ, были часы, спиральныя пружины, барометры, телескопы. Но съ тѣхъ поръ прибавилось столько изобрѣтеній, что вся жизнь какъ будто передѣлана за ново. Лейбницъ сказалъ о Ньютонѣ: «если счесть все, что сдѣлано математиками съ начала міра до Ньютона, и все что сдѣлано Ньютономъ, послѣдняя половина превзойдетъ первую»: такъ можно сказать, что сумма изобрѣтеній за послѣдніе 50 лѣтъ поравняется съ итогомъ остальныхъ 50 столѣтій. Новость для насъ — безмѣрное усиленіе производства желѣза и крайнее разнообразіе желѣзнаго издѣлія; новость — множество самыхъ употребительныхъ и необходимыхъ орудій для дома и для сельскаго хозяй-

ства; швейная машина, ткацкій станокъ, жатвенная машина Мак-кормика, косильная машина, газовое освѣщеніе, фосфорныя спички, безчисленныя произведенія химической лабораторіи — все это новости нынѣшняго столѣтія, и порція угля цѣною на одинъ франкъ замѣняетъ намъ двадцатидневный трудъ прежняго работника.

Нужно ли поминать о парѣ, пожирателѣ пространства и времени, о громадной и тонкой силѣ, которая въ больницѣ приноситъ чашку съ супомъ къ самой постели больного, гнетъ и плющитъ какъ воскъ толстыя желѣзныя брусья, и мѣрится съ силами поднявшими и выворотившими геологическіе слои нашей планеты. Чему хочешь, онъ выучится, какъ способный мальчикъ, что хочешь подниметъ на рабочія плечи; но онъ еще далеко не совершилъ всего своего дѣла. Онъ уже ходитъ по полю какъ человѣкъ и работаетъ всякую работу; поливаетъ нашу ниву, срываетъ намъ горы гдѣ нужно. Но онъ будетъ еще шить намъ рубашки, будетъ возить телеги и коляски наши; Беббеджъ принялся уже учить его счету, и научить когда нибудь вычислять проценты и логарифмы. Лордъ канцлеръ Тюрло надѣется, что онъ когда нибудь станетъ составлять исковыя бумаги и возраженія для канцлерскаго суда. Положимъ, что это сатира, но и сатира будетъ недалеко отъ дѣйствительности, судя по начальнымъ попыткамъ примѣнить паръ къ механическимъ дѣйствіямъ, соединеннымъ съ умственнымъ расчетомъ.

Сколько чудныхъ механическихъ примѣненій изобрѣтено для тѣла человеческого: для зубныхъ операцій, для прививанія оспы, для ринопластики, для усиленія нервовъ тонкимъ сномъ новаго изобрѣтенія. Наши инженеры, съ помощью громадныхъ машинъ, подобно кобольдамъ и волшебникамъ, сверлятъ Альпы, роютъ насквозь Американскій перешеекъ, прорѣзываютъ пустыню Аравійскую. Въ Массачусетсѣ мы побѣждаемъ море, укрѣпляя зыбкій берегъ простымъ травянымъ растеніемъ, укрѣпили песчаную пустыню — сосною плантаціей. Почва Голландіи, — самаго населеннаго когда-то края въ Европѣ, —

ниже морскаго уровня. Египетъ не зналъ что такое дождь, въ теченіе трехъ тысячъ лѣтъ: теперь, говорятъ, тамъ бываютъ ливни, благодаря оросительнымъ каналамъ и лѣснымъ плантаціямъ. Древній царь еврейскій сказалъ: «восхвалить Бога и ярость человѣческая». И въ числѣ доказательствъ единобожія, самое сильное, — это громадность результатовъ, достигаемыхъ самыми обыкновенными дѣлами и средствами.

Кажется, нѣтъ и предѣловъ новымъ откровеніямъ того же духа, который нѣкогда создалъ стихійные элементы, а нынѣ, посредствомъ человѣка, разрабатываетъ ихъ. Искусство и сила и впредь не престанутъ дѣйствовать, какъ дѣйствовали до-нынѣ — ночь претворять въ день, пространство во время и время въ пространство.

Отъ одного изобрѣтенія родится другое. Едва обозначился въ умѣ электрическій телеграфъ, какъ открылся и матеріалъ необходимый для него — гутта-перча. Съ усиленіемъ торговаго движенія — открыты новые запасы золота въ Калифорніи и въ Австраліи. Когда Европа переполнилась населеніемъ, — открылся запросъ на него въ Америкѣ и въ Австраліи; и такъ, гдѣ ни случается неожиданное явленіе, оно приходится ко времени, какъ будто природа, устроивъ повсюду замки, ко всякому замку устроила и ключъ, который сама помогаетъ отыскать когда нужно.

Вотъ еще слѣдствіе изобрѣтеній: — умноженіе отношеній между людьми. Оно изумляетъ насъ, отрывая новые пути къ рѣшенію трудныхъ и запутанныхъ политическихъ вопросовъ. Отношенія эти — не новость: только размѣры ихъ новые. Сами по себѣ, мы по чувству эгоизма ухватились бы за рабство, готовы были бы замѣнить четвертую часть земнаго шара ото всѣхъ, кто внѣ ея, на чужой почвѣ родился. Наша политика отвратительна; но чему въ силахъ она помочь, чему можетъ помѣшать, въ такую пору, когда первородные инстинкты двигаютъ массаи рода человѣческаго, когда цѣлые народы движутся приливомъ и отливомъ? Природа любитъ скрещивать расы: — германецъ, китаецъ, турокъ, русскій, индеецъ —

всѣ стремятся къ морю, всѣ женятся между собой и посягаютъ; коммерція приходитъ въ движеніе — и море кишить кораблями, которые готовы перевезть съ берега на берегъ цѣлыя населенія.

Тысячерукое искусство вошло новымъ элементомъ и въ жизнь государства. Наука власти волею или неволей вынуждена признать власть науки. Цивилизація восходитъ, карабкается — выше и выше. Когда Мальтусъ выводилъ, что число желудковъ умножается въ геометрической, а количество пищи — лишь въ ариѳметической прогрессіи, — онъ забылъ прибавить, что разумъ человѣческій — тоже одинъ изъ факторовъ въ политической экономіи, и что съ умноженіемъ въ обществѣ нуждъ умножится и сила изобрѣтенія.

Для потребностей общественнаго быта у насъ есть уже значительная артиллерія всяческихъ орудій. Мы ѣдимъ вчетверо быстрѣе, чѣмъ ѣдили отцы наши. Много лучше ихъ путешествуемъ, мелемъ, вяжемъ, куемъ, сажаемъ, воздѣлываемъ и копаемъ. У насъ совсѣмъ новые сапоги, перчатки, стаканы, инструменты; у насъ есть счетная машина; у насъ—газета, и посредствомъ газеты каждая деревня можетъ составить докладъ о себѣ и поднести его намъ за завтракомъ. У насъ деньги и кредитный билетъ; у насъ — языкъ, тончайшее изъ всѣхъ орудій, и самое близкое душѣ. Много, — и чѣмъ больше есть, тѣмъ больше требуется. Человѣкъ льститъ себя, что власть его надъ природою еще возрастетъ и умножится. Событія начинаютъ повиноваться ему. Насъ ожидаетъ еще — воздухоплаваніе, и можетъ быть недалеко намъ до войны, которая разыграется на воздухѣ. Немудрено, что мы изобрѣтемъ такую воду, отъ которой негръ разомъ станетъ бѣлымъ. Онъ уже видитъ, какъ мѣняется головной типъ англо-саксонской расы подъ вліяніемъ условій американской жизни.

Въ старину видали Тантала, какъ онъ стоя на самой глубинѣ, напрасно пытался утолить жажду свою текучею струею, которая убѣгала, лишь только онъ наклонялся къ ней. Старикъ Танталъ, говорятъ, недавно опять появился въ мірѣ. Его ви-

дѣли въ Парижѣ, въ Нью-Йоркѣ, въ Бостонѣ. Онъ веселъ, увѣренъ въ себѣ: думаетъ, что ему скоро удастся поймать струю, даже наполнить ею бутылку. Но, кажется, увѣренность его напрасная. Обстоятельства — все еще мрачнаго вида. Сколько ни прошло столѣтій непрерывной культуры, — новый человѣкъ все таки стоитъ на самомъ рубежѣ хаоса, все таки не выходитъ изъ кризиса. У кого на памяти такая пора, когда бы не жаловались, что денегъ нѣтъ, что время тяжелое? У кого на памяти такое время, когда довольно было добрыхъ людей, разумныхъ людей, и такихъ мужчинъ и такихъ женщинъ какихъ было нужно? Танталъ начинаетъ думать, что паръ — есть фантазія, и что гальванизмъ — не больше того, чѣмъ по природѣ служить.

Многое уже заставляетъ задумываться, многое наводитъ на мысль, что благо наше лежитъ гдѣ-то глубже, что его не същещь — въ парѣ, въ фотографіи, въ воздушномъ шарѣ, въ астрономіи. Все это орудія сомнительнаго качества. Все это — реактивы. Множество машинъ имѣетъ угрожающій видъ. Ткачъ самъ превращается въ ткань, механикъ — въ машину. Кто самъ не владѣетъ орудіемъ, того беретъ во власть орудіе. Всѣ орудія — съ обточеннымъ остріемъ, и стало быть опасны. Человѣкъ строитъ себѣ прекрасный домъ: и вотъ является у него владыка, приходитъ работа на всю жизнь, и онъ долженъ устроить домъ свой, беречь его, показывать, поддерживать и починивать — до послѣдняго своего издыханья. Человѣкъ создалъ себѣ репутацію: онъ уже не свободенъ, онъ долженъ беречь свое сокровище, уважать его. Человѣкъ написалъ картину, издалъ книгу: и чѣмъ больше успѣха имѣло твореніе, тѣмъ хуже оттого иной разъ творцу. Я зналъ одного добраго человѣка: онъ жилъ вольно какъ птица небесная, какъ звѣрь лѣсной; но разъ, ему вздумалось украсить кабинетъ свой нарядными полками для коллекціи раковинъ, яицъ, минераловъ и чучелъ. Это была забава, но чѣмъ забавлялся онъ въ сущности? Тѣмъ, что устраивалъ изящныя цѣпи и оковы для своихъ же членовъ.

Задумывается и ученый экономистъ. «Сомнительно, — всѣ какія только есть, механическія изобрѣтенія, облегчили-ли трудъ дневной хоть одному человѣку». Машина развинчиваетъ, раздѣливаетъ человѣка. Машина доведена до высшаго совершенства, а кто механикъ при ней? никто. Всякое новое усовершенствованіе въ машинѣ сокращаетъ механика въ его дѣятельности, разучиваетъ его. Бывало машина требовала для себя Архимеда; нынче для нея довольно мальчижа, лишь бы онъ зналъ нужные приемы, умѣлъ двинуть рукоятку, смотрѣть за котломъ; но когда испортится машина, онъ не знаетъ что съ нею дѣлать.

Посмотрите на газеты: онѣ наполнены каждый день ужасными подробностями. Прежнія изданія, въ родѣ «календаря ньюгетской тюрьмы» стали ненужны съ тѣхъ поръ, какъ въ лондонскомъ Таймсѣ, въ нью-йоркской Трибунѣ появляются свѣжіе разсказы о преступленіяхъ, гораздо еще ярче, гораздо ужаснѣе.

Въ политикѣ — развѣ бывало когда больше чѣмъ у насъ, своекорыстія, разврата, насилія? А торговля, это любимое дитя океана, гордость его и слава, эта воспитательница народовъ, эта благотѣлительница по неволѣ и вопреки себѣ, торговля наша кончается во всемъ мірѣ постыдною несостоятельностью, надувательнымъ предпріятіемъ и банкротствомъ.

Мы перечисляемъ всякія искусства, всякія изобрѣтенія человѣческія, какъ мѣрило достоинству человѣка. Но когда, при всѣхъ своихъ искусствахъ и знаніяхъ, онъ оказывается лукавъ и преступенъ, явно что механическое искусство со всѣми своими изобрѣтеніями не можетъ служить ему мѣриломъ достоинства. Понцемъ, нѣтъ ли другой мѣрки.

Что прибыло отъ этихъ искусствъ и знаній — характеру и достоинству рода человѣческаго? Стало ли лучше человѣчество? Многіе спрашиваютъ съ недоумѣніемъ, не понижалась ли нравственность по мѣрѣ того какъ возвышалось искусство? Мы видимъ съ одной стороны великія знанія, съ маленькими людьми, съ другой стороны видимъ, какъ изъ низости вырастаетъ

величіе. Видимъ торжество цивилизаціи, и радуемся, но намъ указываютъ такую благодѣющую руку, которую душа не хочетъ признать. Самый главный факторъ преуспѣянія въ мірѣ — это торговля, сила личного эгоизма и мелкаго разсчета. Казалось бы, всякая побѣда надъ матеріей должна возвышать достоинство природы человѣческой въ сознаніи человѣка. А намъ, когда смотримъ на свое богатство, приходится дивиться, откуда взялось оно, и кто его виновникъ. Посмотрите на изобрѣтателей. У каждаго изъ нихъ есть свой фокусъ, въ которомъ онъ силенъ. Геній бьется въ извѣстной жилкѣ, пробивается въ извѣстномъ мѣстѣ; но гдѣ найдешь великій, ровный, симметрический умъ, питаемый великимъ сердцемъ? У всякаго больше есть что притаять въ себѣ, нежели что выказать, всякаго заставляеть хромать свое совершенство. Слишкомъ замѣтно, что отъ матеріальной силы отстало нравственное преуспѣяніе. По всему видно, что мы помѣстили капиталъ свой не совсѣмъ разсчетливо. Намъ предложены были *дѣла* и *дни* на выборъ: мы выбрали *дѣла*.

Новѣйшія изслѣдованія санскритскаго языка раскрыли намъ происхожденіе древнихъ названій Божества — *Dyaëus, Deus, Zeus, Zeu pater, Jupiter*, все имена солнечныя. Въ нихъ еще слышится, сквозитъ новую одежду ежедневнаго нарѣчія, слово: *День* (*Day*). Не значить ли это что *день* — для насъ явленіе Божественной силы? Что люди древняго міра, пытаясь выразить рѣчью верховную силу вселенной, дали ей имя: *день*, и что это названіе всѣ племена приняли?

Гезіодъ написалъ поэму и назвалъ ее: *Дѣла и дни*. Въ ней поэтъ описываетъ времена греческаго года, учитъ хозяина, когда, подъ какимъ созвѣздіемъ слѣдуетъ сѣять, когда начинать жатву, когда рубить лѣсъ, въ какой счастливый часъ плователю пускаться въ море чтобъ избѣжать бури, и за какими небесными планетами слѣдовать. Поэма наполнена хозяйственными наставленіями для греческой жизни: въ ней указанъ возрастъ для брака; въ ней есть правила для домашней экономіи, для гостепріимства. Поэма эта дышетъ благочестіемъ

и исполнена разума житейскаго: она прилажена ко всѣмъ меридіанамъ, потому что и дѣла и дни поэтъ представляетъ въ нравственномъ ихъ значеніи. Но *наука дней* не глубоко имъ разработана, хотя это очень глубокая наука.

Крестьянинъ, работая на полѣ своемъ, говорилъ: хорошо когда бы моя была вся земля, какая примыкаетъ къ моему полю. Такія же наклонности были у Бонапарта: онъ хотѣлъ сдѣлать средиземное море французскимъ озеромъ. Говорятъ, одинъ владыка земной простиралъ еще дальше свои планы, и весь тихій океанъ хотѣлъ назвать *своимъ океаномъ*. Но хотя бы и удалось ему, хотя бы онъ всю землю могъ взять въ удѣлъ себѣ и океанъ счесть за свое озеро, — все таки онъ былъ бы нищимъ. Тотъ лишь одинъ богатъ, *кто владѣетъ днемъ своимъ*. Вотъ сила; нѣтъ на свѣтѣ ни царя ни богача ни чародѣя ни демона, кто-бъ имѣлъ такую силу. Дни для насъ — тѣже сосуды Божества какъ и для прародителей нашихъ арійцевъ. Изъ всего сущаго — они всего менѣе общаются, а вмѣщаютъ — всего болѣе. Они приходятъ безмолвно и торжественно, точно видѣніе образа, съ ногъ до головы закрытаго покрываломъ, точно нѣмые посланники, съ даромъ изъ дальняго пріязненнаго края; и такъ же безмолвно удаляются, унося съ собою дары свои, если мы не беремъ ихъ и ими не пользуемся.

Какъ приходится день по душѣ, какъ обвивается вокругъ нея точно тонкое покрывало, какъ одѣваетъ всѣ ея фантазіи! Всякій праздничный день окрашиваетъ насъ своимъ цвѣтомъ. Мы носимъ его кокарду, всякій привѣтъ его отражается на нашемъ душевномъ расположеніи. Вспомнимъ свое дѣтство: что у насъ было въ душѣ праздничнымъ утромъ, на примѣръ въ день національной годовщины, въ день Рождества Христова. Несемъ, бѣжимъ, и кажется, самыя звѣзды съ неба мигаютъ намъ объ орѣхахъ и пряникахъ, о конфетахъ, подаркахъ и потѣшныхъ огняхъ. Помните, какъ въ ту пору жизнь считалась по календарю минутами, сосредоточивалась въ узлы нервной силы, въ часы радужнаго блаженства, а не разливалась ровнымъ и гладкимъ потокомъ счастья. Въ уединеніи и

въ деревнѣ — какимъ торжествомъ дышетъ праздничный день! Встаетъ изъ бездны временъ священный часъ праздника, древняя суббота, седьмой день, убѣленный тысячелѣтіями религиозныхъ вѣрованій, раскрывается чистая страница, которую мудрецъ испишетъ словами истины, дикій испаралаетъ фигурами своихъ фетишей; — и мы слышимъ, въ уединеніи своемъ, вселенскій псаломъ, соборный хоръ всей исторіи человѣческаго рода.

И какъ сходится погода съ душевнымъ расположеніемъ въ молодости! Вѣтеръ, мѣняясь, мѣняетъ свою ноту на тысячи ладовъ, мѣняетъ тысячу разъ картины, которыя несетъ воображенію, и всякій новый ладъ его — новая оболочка, новое жилище для духа. Бывало я умѣлъ выбирать настоящую пору для каждой изъ любимыхъ книгъ своихъ. Одинъ писатель приходится всего лучше къ зимнему времени, другой — къ лѣтнимъ каникуламъ. Есть книги (напр. Платоновъ Тимей), для которыхъ ждешь, долго ждешь настоящего часа. Наконецъ приходитъ желанное утро, занимается заря, на небѣ является мерцаніе свѣта, какъ будто въ первую минуту мірозданія и въ началѣ бытія: и вотъ, въ этотъ часъ простора смѣло раскрываешь книгу....

Въ иные дни къ намъ подходятъ великіе люди, близко — близко; на челѣ у нихъ ни малѣйшей суровости, ни малѣйшаго снисхожденія; они намъ ровные, берутъ насъ за руку, говорятъ съ нами, и мы съ ними бесѣдуемъ. Въ иные дни мы чувствуемъ что насталъ праздникъ — изо дней день въ году. Ангелы являются во плоти, уходятъ и приходятъ снова. Вся природа оживаетъ, точно у всѣхъ духовъ и боговъ проснулось воображеніе, и являетъ живые образы отовсюду. Вчера не слышать было птичьяго голоса, міръ былъ сухъ, каменистъ и пустыненъ; сегодня — все населено и наполнено; все созданіе цвѣтетъ, роится и множится.

Дни ткутся на чудномъ станкѣ: основа и утокъ его — прошедшее и будущее. Нити ложатся величественнымъ рядомъ, какъ будто всѣ боги принесли по ниткѣ для небесной ткани. Странно по-

думать, отчего мы богаты, отчего мы бѣдны; — нѣсколько больше, нѣсколько меньше монетъ, ковровъ, платьевъ, камня, дерева, краски: тотъ или иной покрой, та или другая форма; наша доля — точно доля краснокожаго индѣйца: — одинъ гордится тѣмъ что у него есть нитка бусъ или красное перо, — а остальные, не имѣя ни того ни другаго, почитаютъ себя несчастными. Но не таковы тѣ сокровища, изъ которыхъ истощилась для насъ природа: вѣками образованная, тонкая, сложная анатомія человѣка, надъ которою потрудились всѣ прежніе слои мірозданія, всѣ племена бывшія до насъ; — всѣ формы и образы творенія, которыми окружены мы; вся земля и исполненіе ея; воздухъ — несущій дыханіе и мѣру жизни; — море, зовущее вдаль; бездна небесная со всѣми ея мірами; и на все это отзывается мозгъ съ нервнымъ составомъ, и глазъ, способный проникать въ бездну, и бездну снова отражать въ себѣ: — бездна бездну призывающая. Все это безъ мѣры дано всѣмъ и каждому — не то что бусовое ожерелье, что ковры и монеты наши.

Не диво-ли это? И это диво въ рукахъ у послѣдняго нищаго. Рынокъ людской кипитъ подъ голубымъ небомъ, и въ небѣ херувимъ и серафимъ надъ нами витають. Небо — это сіяніе славы, которымъ великій художникъ одѣлъ свое созданіе, — это предѣльная черта между матеріей и духомъ. Это край мірозданія: дальше не могла идти природа. Когда бы осуществились самыя блаженныя сновидѣнія наши, когда бы тонкая сила отерла намъ новое зрѣніе и мы увидѣли какъ ходять по землѣ миллионы духовныхъ существъ, и тогда бы, кажется, открылось, что сфера, въ которой они движутся, окружена отовсюду той же самой тканью синевы небесной, которая обѣняетъ меня теперь, на городской улицѣ, между ежедневныхъ дѣлъ человѣческихъ.

Странно, что на богатомъ нашемъ англійскомъ языкѣ не находится слова, чтобъ назвать вселенную. Есть старинное англійское слово *Kind* (родъ), но оно выражаетъ лишь малую часть того, что заключается въ прекрасномъ латинскомъ

словѣ, имѣющемъ тонкій оттѣнокъ будущаго, дальнѣйшаго бытія: *natura*, т. е. не только рожденное, но и *имѣющее родиться*, чему въ германской философіи соотвѣтствуетъ *das werden*. Но ни на одномъ изъ новыхъ языковъ нѣтъ слова для выраженія силы, дѣйствующей только *въ красотѣ*. Для нея было только одно соотвѣтственное слово на греческомъ языкѣ: *Kosmos*, и отъ того Гумбольтъ прибралъ удачное названіе *Kosmos* для своей книги, въ которой изложены послѣдніе результаты науки.

Таковы дни: земля — полная чаша, которую предлагаетъ намъ природа отъ безмѣрныхъ щедротъ своихъ, каждый день, въ насущное наше питаніе; и покровъ чаши нашей — сводъ небесный. Но намъ дана еще сила *мечты*, которая съ нами родится и остается при насъ до послѣдняго издыханія.

Она ласкаетъ насъ, льститъ намъ, обманываетъ насъ съ ранней зари до вечерней, отъ рожденія до смерти — и ни чей опытный глазъ не успѣвалъ еще до сихъ поръ распознать обмана. Индусы представляютъ Маію, *энергію мечты*, въ числѣ главныхъ атрибутовъ Вишну. Моряки въ бурю привязываютъ себя къ мачтамъ и снастямъ корабельнымъ: не такъ ли, въ той бурѣ воюющихъ элементовъ, которая зовется жизнью, требуется привязать къ жизни души человѣческія, и природа употребляетъ для этого, вмѣсто канатовъ и веревокъ, всякаго рода мечты и фантазіи: для ребенка — погремушку, куклу, яблоко; для мальчика на возрастѣ — коньки, рѣку, лодку, лошадь, ружье; для юноши и для взрослого — нечего и приводить примѣры, потому что имъ нѣтъ числа и предѣла. Иногда — маска спадаетъ, завѣса медленно поднимается, и дается человѣку увидѣть безобразную массу, набитую чучелу, — замазанную краской, поддѣланную снаружи. Юмъ утверждалъ, что измѣняются только обстоятельства, а средняя доля счастья — всегда одна и та же; что у нищаго, что сидитъ на мосту и ловитъ мухъ на досугѣ, и у вельможи, проѣзжающаго мимо въ богатой коляскѣ, и у дѣвушки, выѣзжающей на первый балъ, и у оратора, когда онъ съ торжествомъ воз-

вращается изъ парламента,—у всѣхъ разные способы душевнаго возбужденія, но количество его одно и тоже.

Воображеніе всею своею силою помогаетъ намъ скрывать отъ себя цѣну и значеніе настоящаго времени. Кто изъ насъ не сознаетъ въ каждую минуту, что его настоящая дѣятельность ниже и меньше того, что бы онъ могъ сдѣлать? «Что ты дѣлаешь?» — «Да ничего; я только что занимался вотъ чѣмъ, или я намѣренъ дѣлать вотъ что, а теперь я только....». Ахъ, простакъ! неужели никогда ты не вырвешься изъ сѣтей своего фокусника, — неужели никогда не поймешь, что когда исчезло *сегодня*, когда между нынѣшнимъ днемъ и нами невозвратимые годы протанули уже свою лучезарную тѣнь, — минувшіе часы сіяютъ предъ нами обольстительною славой, и тянутъ насъ къ себѣ, какъ фантастическій романъ, представляются намъ царствомъ красоты и поэзіи? Какъ трудно смотрѣть на нихъ прямо безъ обмана! Все, что въ нихъ происходило, всѣ отношенія, всѣ слова и разговоры, всѣ горячіе интересы и горячія дѣла минувшихъ дней — все это бросаетъ намъ пылъ въ глаза и развлекаетъ наше вниманіе. Тотъ сильный человѣкъ, кто можетъ глядѣть на нихъ прямо, безъ смущенія, не поддаваясь обольщенію, кто видитъ въ нихъ все какъ было, сохраняя при себѣ свое самосознаніе; кто знаетъ и помнитъ, что ничего нѣтъ новаго подъ луною, и что было прежде, то и всегда бываетъ; кого ни любовь, ни смерть, ни политика, ни стяжаніе, ни война, ни удовольствіе — не въ силахъ отвлечь отъ предпринятаго дѣла.

Міръ всегда самъ себѣ равенъ, и всякій человѣкъ въ минуту глубокаго раздумья о себѣ, чувствуетъ, что проходитъ тотъ же опытъ жизни, какой проходили до него люди въ древнихъ *Эввахъ* или въ древней Византіи. Непреставлющее *нынѣ* царствуетъ въ природѣ, и украшаетъ наши кусты тѣми же розами, которыя плѣняли древняго человѣка въ висячихъ садахъ Вавилона и Рима. Невольно просится въ душу вопросъ: стоитъ ли учить языки, стоитъ ли обходить вселенную, для того, чтобы узнать такіа простыя и старыя истины?

Передъ нами — памятники древняго искусства, вырытые изъ подъ земли города, вновь открытыя рукописи и надписи: правда — это красота, и стоитъ знать ея исторію, и наши академіи сходятся рѣшать нерѣшенные споры школъ древняго искусства. Какія экспедиціи, какой трудъ измѣренія, какія усилія умовъ — Нибура и Миллера и Ляйарда, — для того, чтобы опредѣлить мѣсто нахожденія Трои и столицы Нимфодовой! Сколько морскихъ походовъ — для того чтобы почтить память Данта, — и для того чтобы привести въ лодку, кто открылъ Америку, приходится пуститься въ плаваніе не меньше того, какое нужно было для открытія. Дитя человѣкъ! вѣдь эта мигаящая масса, изъ которой старшіе братья наши въ древности выѣпили дивные свои символы, — совсѣмъ не персидская и не мемфисская и не тевтонская, и совсѣмъ не мѣстная глина: — это обыкновенная известь, обыкновенный песчанникъ съ водою и со свѣтомъ солнечнымъ, съ жаромъ крови, съ дыханіемъ легкихъ: ту же самую глину ты самъ держалъ въ неумѣльных рукахъ своихъ, и бросилъ изъ рукъ, когда побѣждалъ ее же отыскивать въ старыхъ гробницахъ, въ гробовыхъ колодцахъ, въ старыхъ книжныхъ лавкахъ малой Азіи, Египта и Англіи. Это все то же многозначущее *сегодня*, всѣмъ пренебрегаемое; та же богатая бѣдность, всѣмъ ненавидимая, то же многоглаголющее, любвеобильное уединеніе, отъ котораго бѣгутъ люди въ города, на шумный рынокъ. Нынѣшній день притаялся и спрятался, — его надобно отыскивать: въ немъ удача и побѣда, въ немъ дѣйствительность, радость и сила. Всякій льститъ себя, никто не думаетъ, что настоящій часъ — критическій, рѣшительный часъ для всякаго. Но всякому надо написать у себя въ сердцѣ, что каждый день, какой приходитъ — лучший день въ году. Ничего въ правду не узнаетъ человѣкъ, покуда не почувствуетъ, что каждый день — день судебъ въ его жизни, день посѣщенія. Отъ вѣка божество являлось на землѣ въ смертной одеждѣ, въ низкомъ и смиренномъ видѣ: плохое величіе то, что любить являться міру съ возвышенія, въ брилліантахъ и въ золотѣ. Настоящіе цари и владыки оставляютъ

свои короны въ кладовой, и являются въ простомъ и бѣдномъ нарядѣ. Въ сѣверной легендѣ нашихъ предковъ, Одинъ является въ видѣ рыбака, живетъ въ бѣдной хижинѣ, чинить свою лодку. Въ индійской легендѣ — Гари живетъ между поселянъ, простымъ поселяниномъ. Въ греческой легендѣ Аполлонъ живетъ съ адметскими пастухами, и Юпитеръ дѣлитъ сельскую жизнь съ бѣдными еоіоплянами. И въ нашей исторіи Іисусъ родился въ ясляхъ, и двѣнадцать апостоловъ его — изъ простыхъ рыбаковъ. Въ нашей наукѣ мы видимъ на каждомъ шагѣ, что природа является въ маломъ крайнее свое величіе; таково было правило Аристотеля и Люкреція, — а въ наши времена правило Сведенборга и Ганеманна. Возрастъ слоевъ земной коры опредѣляется по тому же порядку, въ которомъ совершается развитіе яйца. Въ народныхъ сказкахъ и легендахъ нашихъ — самая могущественная фея всегда меньше всѣхъ ростомъ. Въ ученіи о благодати смиреніе выше всѣхъ добродѣтелей, и живой образецъ смиренія — Мадонна; въ жизни тайна смиренія — тайна мудрости человѣческой. Заслуга генія передъ человѣчествомъ всегда состоитъ въ томъ, что онъ снимаетъ намъ завѣсу съ простыхъ явленій обыденной жизни, и мы видимъ, чего не подозрѣвали прежде, видимъ божество въ простой одеждѣ, среди толпы цыганъ и разнощиковъ. Въ ежедневномъ быту пріемъ для работы обличаетъ намъ мастера; мастеръ пользуется подручнымъ матеріаломъ, не дожидаясь покуда достанутъ ему издалека то, что слыветъ у другихъ за отличное, или изъ чего другіе работали со славой. «У полководца, — говорилъ Бонапартъ, — всегда достаточно войска, если только умѣетъ онъ употребить людей своихъ, и если самъ дѣлитъ походъ и бивуагъ съ ними». — Дѣло, которое принесъ тебѣ настоящій часъ, не отвергай для другаго, болѣе заманчиваго и славнаго. Высшая точка на горизонтѣ мудрости въ одинаковомъ разстояніи отовсюду, и если хочешь найти ее, ищи ее тѣми способами, какіе тебѣ самому сродны и свойственны.

Но воображенію нашему всегда привлекательнѣе то дѣло, которое не на сей часъ требуется. Сегодня именно, и въ тотъ

часть когда обѣщали мы придти на работу, въ засѣданіе, — какъ влекутъ насъ въ себѣ, сколько намъ обѣщаютъ дальніе холмы и вершины!

Главный урокъ исторіи состоитъ въ томъ что она показываетъ намъ цѣну настоящаго часа и долгъ его. Благо мое, дѣло мое — то, на которое мнѣ указываютъ родина моя, мой влиять, мои средства и матеріалы, мои сотоварищи.

Есть повѣрье что конскіе волосы въ водѣ превращаются въ червей — волосатиковъ. Ученые считаютъ его басней; но мнѣ часто думается, что старыя вещи гниютъ, и изъ прошедшаго рождаются змѣи. Поклоненіе дѣламъ предковъ можетъ превратиться въ обманчивое чувство. Достоинствомъ ихъ было не поклоненіе прошедшему; заслуга ихъ состояла въ томъ что они читали настоящую минуту; и мы напрасно ссылаемся на нихъ въ оправданіе такой наклонности, которая имъ была бы противна, которой они не слѣдовали въ жизни.

И еще любимая мечта наша — что намъ мало времени для дѣла. Но мы могли бы размыслить, что многія твари вкушаютъ изъ одной чаши, и каждое существо, сообразно своему составу, принимаетъ и перерабатываетъ въ немъ тѣ элементы которые ему свойственны, — и время и пространство и свѣтъ и воду и пищу тѣлесную. Змѣя обращаетъ всякую свою добычу въ змѣю, лисица въ лисицу; и Петръ и Павелъ обращаютъ все бытіе свое въ Петра и Павла. Въ Нью-Йоркѣ кто-то однажды жаловался что мало времени. Простой индеецъ отвѣтилъ ему умнѣе иного философа: «мнѣ кажется, въ твоей власти все время какое у тебя есть».

Есть еще мечта: мы не можемъ отрѣшиться отъ мысли о великомъ значеніи долгаго времени — года, десятилѣтія, столѣтія. Но старая французская поговорка гласитъ: Божье дѣло въ минуту совершается, — «En peu d'heure Dieu labeurre.» Мы молимъ себѣ долгой жизни, но долгая жизнь значитъ: полная жизнь, жизнь великая минутами. Истинная мѣра времени — духовная а не механическая мѣра. Жизнь длинна свыше мѣры. Минуты духовнаго разумѣнія и провидѣнія, минуты полного

единства въ личномъ отношеніи, одна улыбка, одинъ взглядъ, — вотъ чѣмъ мы проникаемъ въ вѣчность и черпаемъ изъ нея полную мѣру. Въ такія минуты жизнь возносится до крайней точки и сосредоточивается; по словамъ Гомера «боги однажды только и въ одинъ только день даютъ смертнымъ ту долю разума, какая кому назначена».

Я одного мнѣнія съ поэтомъ Вордсвортомъ, что «одно только есть въ жизни счастье и нѣтъ иного — счастье въ разумѣ и въ добродѣтели». Одного мнѣнія съ Плиніемъ, что «чѣмъ больше углубляемся мыслью въ эти истины, тѣмъ болѣе долготы придаемъ своей жизни». Я одного мнѣнія съ Главеономъ, когда онъ говоритъ: «О Сократъ! мѣра жизни для мудраго — говорить и слушать рѣчи подобныя тому, что мы отъ тебя слышимъ».

Тотъ одинъ можетъ обогатить меня, кто дастъ мнѣ мудрость дня, кто мнѣ освѣтитъ путь мой отъ восхода до восхода солнечнаго. — Разумѣніе дня — служить мѣрою человѣка. Поэтъ, съ одною своею поэзіей, математикъ, съ одними своими проблемами, не вполне удовлетворяетъ насъ; но когда человѣкъ постигаетъ душой за одно и основныя начала міроздавія и праздничное величіе вселенной, — тогда и его поэзія вѣрна и числа его отзываются намъ музыкой. Не тотъ для меня ученый изъ ученыхъ, кто можетъ раскопать передо мною погребенныя въ землѣ династіи Сезострисовъ и Птолемеевъ, опредѣлить мнѣ годы олимпіадъ и консульствъ, но тотъ кто можетъ раскрыть мнѣ теорію нынѣшняго понедѣльника, нынѣшней середины. Есть ли въ немъ то знаніе любви (piety), которое одно умѣетъ разгадать пошлость ежедневной жизни, можетъ ли онъ снять покровы съ тѣхъ узъ, которыми пошлые люди, пошлые предметы соединяются съ первымъ началомъ бытія? Пролетѣло пятнадцать минутъ: въ людскомъ мнѣніи, это доля времени а не вѣчность; мелкая, подневольная доля, — доля *надежды* или *доля памяти*, это дорога къ счастью или *отъ* счастья, но не само счастье. Можетъ ли онъ показать мнѣ эту четверть часа въ связи ея со счастьемъ и съ вѣчностью? Вотъ истин-

ный учитель, вотъ кто можетъ провестъ насъ изъ рабскаго и нищенскаго быта, — въ богатство и въ увѣренность. Съ нимъ, на томъ мѣстѣ гдѣ онъ, — честь и достоинство. Наша Америка, нищенствующая Америка, любопытствующая, всюду заглядывающая, повсюду странствующая, всему подражающая, изучающая Грецію и Римъ и Германію и Англію, — Америка сниметъ запыленные свои сандалинъ, сброситъ полинявшую дорожную шляпу, и останется дома, и сядетъ въ мирѣ и въ сіяніи радости. Посмотритъ вокругъ себя: во всемъ мірѣ нѣтъ такихъ видовъ природы, въ исторіи вѣковъ не было такого часа, въ будущемъ не найдется другой минуты благопріятіе! Часъ поэтамъ пѣть, часъ искусствамъ раскрывать все свое богатство!

Еще одно замѣчаніе. Жизнь только тогда хороша, когда она очаровательна и музыкальна, когда въ ней полный ладъ, полное созвучіе, и когда мы не анатомируемъ ее. Держи въ чести дни свои, превратись самъ въ день свой, не допрашивай его какъ профессоръ ученика. Міръ нашъ — загадочный міръ; все что говорится, все что познается и дѣлается — все загадка, все надобно принимать не въ разумѣ буквы, а въ разумѣ духа. Чтобы уразумѣть все въ правду, мы должны быть на верху своего званія. Когда птица поетъ пѣснь свою, слушай, но если хочешь слышать пѣснь, берегись разлагать ее на имена и глаголы. Постараемся воздержать себя, отдать себя, повориться. Когда утро наступаетъ, дадимъ мѣсто утру.

Все во вселенной идетъ волной и изгибомъ. Прямыхъ линий нѣтъ. Помню какъ теперь, что рассказывалъ иностранный ученый, захватившій на недѣлю къ намъ въ домъ — на радость моей юности. «Любимая забава у дикихъ островитянъ — сказывалъ онъ — играть съ волною на береговомъ приборѣ. Они ложатся на волну, которая подхватываетъ ихъ и выноситъ, потомъ плывутъ опять, снова отдаются волнѣ, и съ наслажденіемъ по цѣлымъ часамъ занимаются этой игрой. Вся человеческая жизнь состоитъ изъ такихъ-же переходовъ. Надобно умѣть выйти изъ себя, отдаться: кто не умѣетъ этого, для того

не можетъ быть и величія. А у васъ здѣсь и астрономія какъ будто для того чтобы присматривать за человѣкомъ. Не смѣешь выйти изъ дому, и посмотрѣть на мѣсяцъ и на звѣзды: все кажется что и они считаютъ шаги мои и допытываются, сколько строчекъ и страницъ я написалъ и прочелъ съ тѣхъ поръ какъ съ ними видѣлся... Не такъ живали мы въ своемъ краю: всѣ наши дни были не похожи другъ на друга, и всѣ смыкались во едино — единою любовью къ тому, что занимало и наполняло насъ. Чувствовать полнымъ свой часъ — вотъ въ чемъ счастье. Наполните, боги, часъ мой, такъ чтобы, когда прошелъ онъ, я могъ бы сказать: я прожилъ часъ, а не говорилъ бы такъ: вотъ, прошелъ еще часъ моей жизни.»

Намъ нужны не *дѣланные* люди, мастера на всякое литературное или искусственное дѣло, тѣ что умѣютъ написать поэму, отстоять судебный процессъ, провести ту или другую мѣру — за деньги; тѣ что могутъ крѣпкимъ усиліемъ воли обратить свою способность куда угодно — на тотъ или другой предметъ, въ ту или въ иную сторону. Нѣтъ; — все что совершенно лучшаго въ мірѣ — дѣло генія — совершилось даромъ, ничего не стоило; вышло на свѣтъ безъ тяжкихъ усилій, свободнымъ теченіемъ мысли. Шекспиръ создалъ своего Гамлета, какъ птица вьетъ гнѣздо свое. Иныя поэмы вылились безсознательно, между сномъ и пробужденіемъ. Великіе художники писали картины въ радость себѣ, и не чувствовали какъ сила изъ нихъ выходила. Такъ не могли бы они писать въ хладнокровномъ настроеніи. И мастера лирической нашей поэзіи также писали свои пѣсни. Чудная сила цвѣла въ нихъ чуднымъ цвѣтомъ красоты, — и твореніе ихъ было, по выраженію извѣстныхъ писемъ французской женщины «преlestнымъ случаемъ прелестнѣйшей жизни» (le charmant accident de l'existence encore plus charmante). Ни одинъ поэтъ не истощается, не терпитъ убыли отъ своей пѣсни. И пѣсни не будетъ, пока не придетъ часъ вольно и въ красотѣ спѣть ее. Если отъ того поэтъ пѣвецъ, что долженъ пѣть, и что нельзя миновать пѣсни — то лучше пусть ея вовсе не будетъ. Сонъ самъ собою

приходить въ тѣмъ однимъ кто не заботится о снѣ: такъ и говорятъ и пишутъ всего лучше тѣ, кого не нудитъ забота: какъ скажется и какъ напишется.

Въ наукѣ — тоже самое. Нашъ ученый часто бываетъ изъ любителей. Подвигъ его состоитъ въ какой нибудь запискѣ для академіи — о странной рыбѣ, о головастикахъ, о паутиныхъ ножкахъ; онъ дѣлаетъ наблюденія, сидитъ надъ микроскопомъ какъ другіе академики; но когда записка его окончена, прочитана, напечатана, — онъ входитъ снова въ обычную жизнь, которая идетъ у него сама по себѣ, совсѣмъ отдѣльно отъ жизни ученой. — Не таковъ Ньютонъ: у него наука была такъ же вольна какъ дыханіе; для того чтобъ опредѣлить вѣсъ луны, онъ употреблялъ ту же умственную способность, которая ему служила на застежку крючковъ на платьѣ; вся жизнь его была простая, мудрая, величественная. Таковъ былъ Архимедъ — всегда самъ себѣ подобенъ, какъ сводъ небесный. У Линнея, у Франклина — таже ровная простота и цѣльность; нѣтъ ни ходулей ни вытягиванья; и дѣла ихъ плодотворны и достопамятны всѣмъ людямъ.

Освобождая время отъ всѣхъ его иллюзій, стараясь отыскать сердцевину дня, мы останавливаемся на качествѣ минуты и отлагаемъ заботу о долготѣ ея. На какой глубинѣ стоитъ наша жизнь — вотъ что важно для насъ, а широта ея протяженія не существенна. Мы стремимся къ вѣчности, а время — преходящая оболочка вѣчности; и въ самомъ дѣлѣ, отъ малѣйшаго ускоренія мысли, отъ малѣйшаго углубленія мыслительной силы, наша жизнь расширяется, углубляется, и мы чувствуемъ долготу ея.

Есть люди, которымъ нѣтъ нужды проходить долгую школу опытовъ. Послѣ многолѣтней дѣятельности они могутъ сказать, все это мы напередъ знали; они съ перваго взгляда любятъ и отвращаются, умѣя различать сразу сродственное и несродственное. Они не спрашиваютъ никогда объ условіяхъ, потому что сами всегда въ единомъ условіи съ собою, и живутъ въ волю; приказываютъ другимъ, не принимая ни отъ кого при-

каза; сознавая право свое на успѣхъ, всегда въ немъ увѣрены, и всегда пренебрегаютъ общіе приемы и способы для успѣха. Сами собою живутъ, сами собою держатся, сами ведутъ себя. Во всякомъ обществѣ остаются — сами собою: имъ это позволяется. Они велики въ настоящемъ; они не имѣютъ талантовъ и не заботятся имѣть ихъ, потому что въ нихъ та сила, которая прежде таланта была и послѣ таланта будетъ, и самый талантъ употребляетъ себѣ орудіемъ. Сила эта — *характеръ* — самое высокое имя, до какого достигала философія.

Не важно, *какъ* такой человѣкъ дѣлаетъ то или иное дѣло: важнѣе всего, кто онъ, что такое онъ самъ. Кто онъ, что въ немъ, — это выражается въ каждомъ его словѣ, въ каждомъ движеніи. Здѣсь минута сливается съ характеромъ: не различить одно отъ другаго.

Преимущество характера надъ талантомъ прекрасно выражено въ греческой легендѣ о состязаніи Феба съ Юпитеромъ. Фебъ сталъ вызывать боговъ на состязаніе, и спросилъ: кто изъ васъ обстрѣляетъ Аполлона стрѣлометателя? — Зевсъ отозвался: я обстрѣляю. Марсъ принесъ жеребьи, положилъ ихъ въ шлемъ свой, и первая очередь выпала Аполлону. Онъ натянулъ лукъ свой и метнулъ стрѣлу далеко, на край дальняго запада. Тогда всталъ Зевесъ, однимъ движеніемъ занялъ все пространство, и сказалъ: куда стрѣлять? Не осталось мѣста. И боги присудили награду за стрѣльбу тому, кто не бралъ въ руки лука.

И вотъ путь восхожденія для духа ищущаго мудрости: — отъ дѣлъ людскихъ и всякаго дѣланія рукъ человѣческихъ — до наслажденія тѣми силами, которыя управляютъ дѣломъ; отъ почтенія къ дѣламъ — до мудраго благоговѣнія передъ таинствомъ времени, въ которое духъ человѣческій поставленъ для дѣланія; отъ мѣстныхъ искусствъ и отъ экономіи, считающей *по часамъ* сумму производительности, — до той высшей экономіи, которая ищетъ видѣть качество дѣла, право на дѣло, вѣру и вѣрность въ дѣлѣ; ищетъ проникнуть черезъ дѣло въ глубину мысли, являющейся въ дѣлѣ, мысли во вселенскомъ ея значеніи, той мысли,

которой корень не во времени а въ вѣчности. Источникъ такихъ дѣлъ — характеръ, — высшее начало духовной цѣлости. Передъ нимъ всѣ минуты равны; онъ даетъ человѣку величіе во всякомъ званіи; въ немъ единственное опредѣленіе свободы и силы.

Е. Побѣдоносцевъ.



22 Августа 1870 года.

(Изъ народныхъ реляцій).

Чернь ворвалась въ палаты,
Крикъ: «республика!» въ устахъ,
И возсѣли депутаты
Министерства на скамьяхъ.

Гдѣ же Франціи властитель,
Нашихъ дней Агамемнонъ?
Въ Сольферино побѣдитель,
Гдѣ же, гдѣ Наполеонъ? —
Тотъ, кто міръ держалъ въ тревогѣ
Мановеніемъ бровей,
Нынѣ плѣнникъ, по дорогѣ
Быстро мчится въ Вильгельмсгѣге
Съ жалкой свитою своей!
За безумную отвагу
Онъ короной заплатилъ,
И къ стопамъ Вильгельма шпагу
Раболѣпно положилъ.

Позабудутся невзгоды
Тяжкихъ царственныхъ годовъ,
Истязанія свободы,

Ссылка доблестныхъ сыновъ,
Милліардовъ расхищенье
Для безумственныхъ растратъ,
Нравовъ роскошью растлѣнье,
Биржей созданный развратъ,
Дворъ изъ челяди бездушной,
Все что Францію томить!
Край простить великодушной;
Но позора не простить.

Смерть найди въ разгарѣ боя,
Былъ какъ дядя-бъ онъ великъ,
Съ славнымъ именемъ героя
Въ сонмъ бы всталъ земныхъ владыкъ;
А теперь, безъ сожалѣнья
На него взираетъ міръ,
И, подыавъ съ земли камня,
Съ громкимъ хохотомъ презрѣнья
Мечетъ въ сверженный кумиръ.

ОЗНОВИШИНЪ.



ТРУДОВОЙ ХЛѢБЪ.

СЦЕНЫ ИЗЪ ЖИЗНИ ЗАХОЛУСТЯ.

(ОТРЫВОКЪ).

СЦЕНА III.

Л И Ц А:

Матвѣй Петровичъ Потроховъ, разбогатѣвшій чиновникъ, 50-ти лѣтъ, высокій, очень полный мужчина, съ круглымъ лицомъ, которому онъ старается придавать, смотря по обстоятельствамъ, различныя выраженія, но которое ничего не выражаетъ.

Поликсена Григорьевна, его жена, высокая, худощавая женщина, 40 лѣтъ съ небольшимъ. Часто вздыхаетъ и поднимаетъ глаза къ небу, стараясь изобразить страданіе и покорность судьбѣ. Выраженіе лица злое.

Егоръ Николаевичъ Копровъ, пріятель Потрохова; очень приличенъ и красивъ, во всѣхъ манерахъ видна порядочность; лѣтъ подъ 30; ведетъ себя то робко, то самоувѣренно, смотря по обстоятельствамъ; смотреть пытливо.

Юасафъ Наумычъ Корпѣловъ, товарищъ по гимназіи и ровесникъ Потрохова, преждевременно состарѣвшійся и сторбившійся, но всегда улыбающійся человекъ. Одѣтъ въ черное длинное сакъ-пальто, застегнутое съ верху до низу. Тонъ, движенія, манеры педантскіе съ примѣсю шутовства. По занятію — учитель, промышляющій дешевыми частными уроками.

Сакердонъ — лакей Потрохова, наженъ.

Ариша — горничная, молодая дѣвушка, ни хороша, ни дурна.

Комната въ домѣ Потрохова. Много изящной и удобной мебели; три двери: одна въ глубинѣ — въ пріемную и двѣ по сторонамъ. Съ правой стороны, ближе къ авансценѣ, окно.

Явление I.

Потроховъ (спитъ, сидя въ креслѣ, передъ нимъ маленькій столикъ).
Ариша (ставитъ на столикъ большую кружку на подносикъ и наливаетъ въ нее бутылку зельтерской воды). Поликсина (тихо входя изъ боковой двери, смотритъ на мужа съ презрительнымъ сожалѣніемъ).

Ариша (*трогая за рукавъ Потрохова*).

Баринъ, баринъ!... Матвѣй Петровичъ, вставайте! (*Улыбаясь*) Что это, стыдъ какой!

Потроховъ (*бормочетъ въ просонкахъ*).

Который часъ, который часъ, который часъ?

Ариша.

Девятый.... девять часовъ скоро.... добрые люди поужинали. Что, въ самомъ дѣлѣ! Барыня сердятся, чай вѣшать пора.

Потроховъ (*въ просонкахъ*).

Зельтерской, зельтерской, зельтерской!

Ариша (*наильно даетъ ему въ руку кружку*).

Да извольте! Не уроните! Ужъ другую бутылку подаю.

Потроховъ (*пьетъ воду*).

Фу, славно! (*Опять приваливается къ креслу и засыпаетъ*).

Ариша.

Да вѣдь ужъ нечего дѣлать, ужъ какъ угодно, а вставать надобно.

Потроховъ (*въ просонкахъ*).

Ты думаешь?

Ариша.

Да непремѣнно. Что, право, словно маленькіе.

Петроховъ (*открывъ глаза*).

Ахъ ты жизнѣночекъ! жизнѣночекъ ты мой! (*Беретъ Аришу за подбородокъ*). Такъ, маленький жизнѣночекъ!... Вотъ сейчасъ я тебя за это и поцѣлую.

Поликсена.

Превосходно! Чудо! Браво! Продолжайте! Вы при мнѣ-то хоть-бы посовѣстились! (*Петроховъ притворяется спящимъ и громко храпитъ*). До чего вы дошли, до чего вы дошли, Боже мой! Ариша, поди сейчасъ отсюда!

Ариша.

Сударыня, я не только что..., а даже всегда стараюсь быть какъ можно дальше отъ всего этого.

Поликсена.

Подите, моя милая, говорятъ вамъ! За то жалованье, которое вы получаете, отъ васъ требуется только исполнительность; а ласки барину—это ужъ лишнее, это роскошь съ вашей стороны.

Ариша (*Петрохову съ укоромъ*).

Какъ вамъ не стыдно, сударь! Изъ за васъ дѣвушка должна такія слова переносить (*уходитъ*).

Поликсена (*мужу*).

Ужъ довольно притворяться. Кого вы обманываете? Жалкій, какъ вы струсили!

Петроховъ (*открывая глаза*).

Что такое? Что вамъ нужно отъ меня?

Поликсена.

Что мнѣ нужно? Очень мало: мнѣ нужно, чтобъ вы были

хоть немного поблагороднѣе и почестнѣе. Цѣловать горничныхъ при женѣ — это такъ низко....

Потроховъ.

У васъ изъ всякой малости выходитъ важное дѣло. Это скучно. Что такое особенное произошло? Невольный жестъ съ просонковъ и жестъ весьма естественный.

Поликсена.

Естественный? Скажите пожалуйста! Хороша естественность.

Потроховъ.

Ну да, конечно. Вы не можете утверждать, что я хотѣлъ приласкать непремѣнно Аришу; можетъ быть, мнѣ съ просонковъ показалось, что вы подлѣ меня.

Поликсена.

Ахъ, ахъ! Вы меня до обморока доведете. Оскорбленіе, насмѣшки....

Потроховъ.

Я не понимаю, чѣмъ оскорбляться. Простой жестъ, естественный....

Поликсена.

Не говорите вздору! Я не глупѣй васъ и не хуже знаю, что естественно, что неестественно. Впрочемъ, можетъ быть, вы занимаетесь естественными науками, выбрали для изученія особый отдѣлъ — горничныхъ; въ такомъ случаѣ я съ вами спорить не стану. Прекрасно, прекрасно. Теперь я знаю вашу специальность и гнушаюсь вами. (*Извѣтельно*): Ес-тес-тво-испытатель. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ II.

Потроховъ, потомъ Копровъ.

Потроховъ (*вставая съ кресла*).

Фу ты, какая бѣшенная баба. (*Вынимаетъ часы изъ кармана и смотритъ*). Экъ я.... до которыхъ поръ.... вотъ угораздило! А впрочемъ что и дѣлать-то больше! Тоска.... хоть бы зашелъ кто.... Какой нынче день? Да, пятница.... Я сегодня Корпѣлова звалъ, кажется. Вотъ еще нужно очень! И зачѣмъ это я? Что дѣлаю, что говорю, — себя не помню (*махнувъ рукой*), нить въ жизни потерялъ.... Придетъ Корпѣловъ съ нимъ еще скучнѣй будетъ, а еще, пожалуй, денегъ запроситъ.... Хотъ бы въ пиветъ съ кѣмъ поиграть. (*Подходитъ къ окну*). Кто это въ саду? Никакъ Копровъ? (*Манитъ рукой и отходитъ*). Эка тяжесть, эка тяжесть! (*Ходитъ по комнатѣ, вздыхаетъ и отдувается. Входитъ Копровъ*).

Копровъ.

Здравствуй!

Потроховъ.

Здравствуй, Жоржъ!

Копровъ (*пристально глядя на Потрохова*).

Ты бы зельтерской.

Потроховъ.

Двѣ выпилъ; да что, братецъ.... (*Останавливаясь передъ Копровымъ*). Тоска! Вѣришь ли, какая тоска!

Копровъ.

Дурное пищевареніе, спишь много.

Потроховъ.

Знаю.

Копровъ.

Особенно послѣ обѣда тебѣ негодится.

Потроховъ.

Знаю, что негодится. Толкуй еще! Все это я знаю; но главная причина тоски моей не въ этомъ. (*Копровъ смотритъ на него вопросительно*). Что ты смотришь?

Копровъ.

Да странно мнѣ....

Потроховъ.

Ничего нѣтъ страннаго. Тутъ, Жоржъ, не пищевареніе, тутъ другое: въ характерѣ у меня кой что....

Копровъ.

Нѣтъ, чтожъ, у тебя характеръ — ничего.

Потроховъ.

Вообще-то говоря, у меня характеръ хорошій, даже очень хорошій; но есть, братецъ и важные недостатки: иногда дѣлаю, чортъ знаетъ что; говорю, чего не слѣдуетъ; вру много лишняго.

Копровъ.

Нельзя сказать, чтобъ очень....

Потроховъ.

Чтобъ очень вралъ-то? Нѣтъ, очень, очень.... лгу безъ конца. Не возражай, пожалуйста; видишь, какъ я разстроенъ

Копровъ.

Ну, какъ хочешь, я спорить не буду.

Потроховъ.

И не надо мнѣ и нѣкто меня не заставляетъ, а болтаю, особенно вотъ если выпью я рюмку вина,—одну только рюмку, кажется, что за важность; а никакого удержу на меня нѣтъ... И пошелъ, и пошелъ, и вру, какъ сивый меринъ. (*Копровъ улыбается*). Что ты смѣешься? Что тутъ веселаго? Ты долженъ войти въ мое положеніе, вѣдь я, братецъ, страдаю. Эка тоска!

Копровъ.

Что твоя тоска! Вотъ у меня тоска-то!

Потроховъ (*чуть не плача*).

Раскаяніе, Жоржъ.

Копровъ.

Ну, я этого грѣха не знаю. Да и у тебя, что за раскаяніе, понять не могу. Скажешь ты, напримѣръ, что у тебя овесъ родится самъ-пятнацать, а онъ всего самъ-другъ...

Потроховъ.

Ну, не самъ-другъ; ты ужъ тоже....

Копровъ.

Ну, извини! Самъ-другъ съ половиной. Такъ чтожъ это за преступленіе? Въ чемъ тутъ раскаяваться?

Потроховъ.

Хорошо, кабы только, а то хуже гораздо. Вотъ третьяго дня былъ я у одного стараго товарища, выпили шампанскаго вдоволь, ужъ чего я тамъ ни городилъ! Ахъ, вспомнить гадео.

Копровъ.

Всѣ вы были выпивши; что говорено — забудется, — такъ и пройдетъ.

Петроховъ.

Былъ тамъ одинъ, тоже старый товарищъ, лѣтъ двадцать ми съ нимъ не видались, училишко жалкій, Корпѣловъ, — въ какомъ-то засаженномъ пальто.

Конровъ.

Ну, такъ что же?

Петроховъ.

Физиономія въ родѣ тѣхъ, что въ погребкахъ на гитарѣ играютъ. Встрѣтись онъ въ другое время и въ другомъ мѣстѣ, а бы отворотился отъ него, а ужъ руки ни за что бы не подалъ; а тутъ что я ему говорилъ, что я ему говорилъ!

Конровъ.

Стоитъ сокрушаться.

Петроховъ.

Да ужъ очень досадно на себя: съ чего было мнѣ такъ унижаться передъ нимъ, за чѣмъ было мнѣ себя ругать! Вѣдь я что говорилъ-то! Что онъ честнѣй насъ всѣхъ, что намъ совѣстно смотрѣть ему въ глаза, что мы разбогатѣли не безъ ущерба для совѣсти. Предлагалъ за него тосты: «господа, выпьемъ за честнаго человѣка!» Говорилъ ему, чтобъ онъ обращался ко мнѣ за деньгами, какъ въ свой карманъ; звалъ въ гости, кланялся; просилъ его даже жить у меня. Скотина я, больше ничего.

Конровъ.

Не бойся, не пойдетъ, посоветится; я его знаю.

Петроховъ.

Да онъ и то отказывался, — говорилъ, что боится моей жены, что онъ человѣкъ дикій; такъ я въ нему присталъ, какъ съ ножомъ въ горлу, честное слово взялъ.

Копровъ.

А придетъ, такъ можно и выпроводить поучтивѣе.

Потроховъ.

Да разумѣется, можно; только все какъ-то скверно на душѣ. А вотъ сейчасъ съ просонковъ съ чего-то пришло мнѣ въ голову Аришу поцѣловать, а тутъ жена....

Копровъ.

А, такъ вотъ что! Вотъ отъ чего тоска-то!

Потроховъ.

Не одно это, а все вмѣстѣ. Конечно все вздоры; а накопится, знаешь, этихъ мелочей въ душѣ, ну и вздыхаешь, точно преступникъ какой, право, точно душу загубилъ. А вотъ поговорилъ я съ тобой, Жоржъ, попріятельски, излилъ тебѣ свою душу, ну, и легчаетъ. (*Запѣваетъ*). «Не называй ее небесной...» Разумѣется, я не со всякимъ такъ отерovenень. И отъ чего бы мнѣ сокрушаться, кажется?... Положеніе мое блестящее.... Это ты правъ, желудокъ тутъ во всемъ виновать. Вѣдь я еще наслѣдство получаю, умеръ дядя мой; ты слышалъ?

Копровъ.

Слышалъ.

Потроховъ.

Я единственный наслѣдникъ, завѣщанія не осталось....

Копровъ.

Ты вѣрно знаешь, что не осталось?

Потроховъ.

Знаю навѣрное. Всѣ бумаги его я самъ перебиралъ и запечатывалъ; да вотъ ужъ цѣлые два года при немъ нивого и не было, кромѣ меня да старой старухи ключницы. Она теперь у насъ живетъ.

Копровъ.

Вѣдь у него дочь есть.

Потроховъ.

Незаконная. Какія же она права имѣть! Онъ еще при жизни далъ что-то ей матери; потомъ до самой его смерти она жила у насъ; онъ зналъ, что мы о ней заботимся, какъ о родной. Чего жъ ей еще! Я дамъ ей что-нибудь изъ милости....

Копровъ.

Дашь ли?

Потроховъ.

Не знаю, какъ сказать.... Глядя по обстоятельствамъ. Надо бы дать.... Купъ возьму хорошій, — однихъ денегъ 45 тысячъ.

Копровъ (*жметъ ему руку*).

Поздравляю тебя! Я очень радъ, очень радъ.

Потроховъ.

Чему жъ ты-то радъ?

Копровъ.

Ты и со мной подѣлишься.... мнѣ, братъ, крайность.... до зарѣзу.

Потроховъ.

Нѣтъ ужъ, кончено.

Копровъ.

Не говори такъ рѣшительно! Меня въ холодный потъ бросаетъ.

Потроховъ.

Не дамъ. (*Запыхавш.*) «Не называй ее небесной....»

Копровъ.

Смотри, жалѣть будешь.... У меня дѣло вѣрное, два рубля за рубль отдамъ.

Потроховъ.

Нельзя тебѣ давать. Ты и кирпичи машиной дѣлалъ, и селенокъ ловилъ на Волгѣ, и въ провинціяхъ театры содержалъ, и крахмаломъ картофельнымъ торговалъ, и гальванопластику какую-то отливалъ; а что изъ этого вышло? Гдѣ наши деньги?

Копровъ.

Помоги теперь, всѣ долги выплачу, тебѣ первому.

Потроховъ.

Ни одного гульдена.

Копровъ.

Ты меня топишь; мнѣ хоть въ петлю лѣзть.... Эта афера дастъ мнѣ 300 тысячъ; мнѣ они нужны, я ихъ желаю имѣть. Ты знаешь мой образъ мыслей,—я могу жить на свѣтѣ только съ капиталомъ въ 300 тысячъ, другой жизни я не понимаю. Жить какъ нибудь я не соглашусь. Если мое дѣло разстроится отъ твоей скупости.... смотри, не возьми грѣха на душу.

Потроховъ.

Дать тебѣ денегъ, такъ вѣдь ты, прежде всего, щегольскую коляску и пару лошадей заведешь.

Копровъ.

Заведу: во первыхъ, у меня такія потребности, я воспитанъ хорошо; а во вторыхъ, такъ нужно для моего дѣла.

Потроховъ.

Для какого?

Бопровъ.

Повуда не сажу.

Потроховъ.

Ну, я подумаю.

Бопровъ.

Благодарю тебя. (*Входитъ Поликсена съ книгой въ рукахъ, садится въ кресло и читаетъ*).

Явление III.

Потроховъ, Бопровъ, Поликсена.

Потроховъ.

Мнѣ самому теперь чистыя деньги пришлось очень кстати. Не знаю, сказывалъ ли я тебѣ, или нѣтъ; я хочу переѣхать на житье въ рязанское имѣніе.

Поликсена.

Я ужъ сказала, что не поѣду съ вами.

Потроховъ.

Какъ вамъ угодно. Заведу машины, все хозяйство въ широкихъ размѣрахъ, стану самъ заниматься агрономіей. У меня вѣдь съ дѣтства страсть къ агрономіи. Отъ того я и скучаю. что мнѣ здѣсь не въ чему приложить моихъ рукъ и способностей.

Поликсена.

А какъ вы думаете? Вѣдь порядочной женщинѣ съ вами жить никакъ невозможно.

Потроховъ.

Слышалъ ужъ я это.

Поликсена

Мало этого, что слышали.

Потроковъ.

Чтожъ мнѣ руки что-ль на себя наложить прикажете? Я прочелъ всѣ сочиненія, русскія и иностранныя, объ сельскомъ хозяйствѣ, о химіи; былъ въ перепискѣ....

Поликсена.

Не слушайте его, Жоржъ! Ничего вѣдь этого не будетъ, ему только хочется меня разстроить. Подите сюда! (*Копровъ подходитъ*). Посмотрите! (*Указываетъ одно мѣсто въ книгѣ*).

Копровъ (читаетъ).

«Вся жизнь ея была непрерывная цѣпь страданій...»

Поликсена.

Это про меня сказано, Жоржъ, про меня; и моя жизнь есть непрерывная цѣпь страданій.

Потроховъ.

А моя жизнь непрерывная цѣпь скуки. Пойдемъ, Жоржъ, въ пиветъ играть!

Поликсена (Копрову).

Я сяду подлѣ васъ и принесу вамъ счастье. (*Уходятъ въ боковую дверь. Сакердонъ и Корпъловъ показываются изъ пріемной и останавливаются у двери*).

Явленіе IV.

Сакердонъ, Корпѣловъ.

Сакердонъ.

Какъ объ васъ сказать-то? По видимости, я такъ полагаю, вы блаженный.

Корпѣловъ.

Ошибся ты, друже, я только ищу блаженства.

Сакердонъ.

Ну, само собой. Только вы здѣсь не найдете.

Корпѣловъ.

А гдѣ жъ искать блаженства? Будь другъ, скажи!

Сакердонъ.

И скажу; отъ чего жъ не сказать! У купцовъ ищите! Вотъ ужъ тамъ для вашего сословія дѣйствительно рай земной?

Корпѣловъ.

Вотъ спасибо, что сказалъ; такъ и знать будемъ. А теперь доложи, поди!

Сакердонъ.

Ужъ я такъ и доложу.

Корпѣловъ.

Какъ тебѣ угодно. Только не забудь: Корпѣловъ.

Сакердонъ.

Ужъ коли принимать такихъ, такъ все одно примутъ, какъ васъ ни звать. (*Корпѣловъ хочетъ съѣсть*). Что же это вы?

Корпѣловъ.

Усталъ, братецъ, изъ Сокольниковъ пѣшкомъ шелъ.

Сакердонъ.

Но однако позвольте! На это есть пріемная. Здѣсь господскій домъ, такъ нельзя; здѣсь вамъ не дозволено по всѣмъ комнатамъ славить. Пожалуйста! *(Уходитъ съ Корпѣловымъ въ пріемную, потомъ возвращается, подходитъ къ боковой двери и беретъ за ручку. Изъ двери выходитъ Поликсена).*

ЯВЛЕНІЕ V.

Поликсена, Сакердонъ, потомъ Корпѣловъ.

Поликсена.

Что тебѣ нужно?

Сакердонъ.

Сударыня, блаженъ мужъ пришелъ.

Поликсена.

Какой блаженъ мужъ?

Сакердонъ.

Которые святающіе.

Поликсена.

Не понимаю. Позови!

Сакердонъ *(у двери).*

Пожалуйте! *(Уходитъ. Входитъ Корпѣловъ).*

Поликсена.

Кто вы таковой?

Корпѣловъ.

Ното sum.

Поликсена.

Я вашего жаргона не понимаю.

Корпѣловъ.

Азъ есмь человѣкъ; человѣкъ Божій, на прочихъ смертныхъ не похожій.

Поликсена.

Да, вижу, что не похожій. Но что же вамъ угодно?

Корпѣловъ.

Въ гости пришелъ.

Поликсена.

Не ожидала.

Корпѣловъ.

Не удивляюсь; потому что не вы меня звали, а stultus.

Поликсена.

Какой стультусъ?

Корпѣловъ.

Бывшій мой collega, Матвѣй Потроховъ.

Поликсена.

Это мой мужъ.

Корпѣловъ.

Охотно вамъ вѣрю, сударыня.

Поликсена.

Еще бы вы не вѣрили. Что же значить ступать?

Борисловъ.

Дуракъ, такъ мы его величали въ гимназiи.

Поликсена.

Но вѣдь онъ теперь ужъ не въ гимназiи, онъ статскiй совѣтникъ, вы не забываете этого!

Борисловъ.

А можетъ быть, онъ, не взирая на чины, остался вѣренъ самъ себѣ.

Поликсена.

Ну ужъ, извините! Разговаривайте съ мужемъ, а я такъ разговаривать не умѣю. Матвѣй Петровичъ, къ вамъ прiятель пришелъ.... (*Входитъ Потроховъ*).

А. Островскiй.

РИЧАРДЪ ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ.

(ИЗЪ ТЕЙНЕ).

Съ поморя, поляной, въ кольчугѣ стальной,
Неистово всадникъ несется....
Свой плѣвъ вспоминаетъ смущенной душой,
И пуще на родину рвется.

Прославился ратною доблестью онъ,
И твердымъ, внушительнымъ словомъ,
Былъ „Львиное Сердце“ за то нарѣченъ,
Отъ рати, на гробъ Христовомъ.

Да здравствуетъ Ричардъ! — горланять лѣса;
Зеленую грудь раздвигая, —
Встрѣчаемъ на почвѣ британской тебя,
Оковы твои проклиная!

И вспомнилъ темницу австрійскую онъ,
И снова коню даетъ шпоры....
Увы, на темницу безсрочную тронъ,
Ричардъ, промѣняешь ты скоро!

А. Струговицковъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ А. В. ТИМОФЕЕВА.

I.

Долгъ.

Святѣй всѣхъ словъ и чувствъ святыхъ,
Какія есть у человѣка,
Прочнѣй всѣхъ мудростей земныхъ,—
Будь выше нашего мы вѣка,—
Всѣхъ громче суетныхъ тревогъ,
Что наша жизнь полна земная,
Есть мысль высокая, благая,—
Та мысль: я выполнилъ свой долгъ!

* * *

Пускай глупецъ тогда кричить
Иль празднолюбецъ суесловить,
Пусть клевета тогда язвить
И зависть низкая злословить,
Пускай пилить насъ гнусный толкъ
И злоба адская насъ гложеть,—
Что эту мысль, что превозможеть,
Ту мысль: я выполнилъ свой долгъ!

* * *

На все въ природѣ есть законъ,—
Законъ есть свѣту и движенью,
Законъ положенъ отъ временъ
Земли и солнца обращенью;
Такъ точно начерталъ самъ Богъ
Законъ и въ сердцѣ человѣка,

И слышимъ мы его отъ вѣка,—
Законъ: ты выполни свой долгъ!

* *
*

Пускай онъ труденъ и тяжелъ,
Пускай ведетъ онъ въ заточенье,
Иль пусть онъ малъ, и ты-бъ нашелъ
Въ себѣ иное назначенье,—
Да, пусть ты выше-бы стать могъ,
И шепчетъ гордое сознанье:
Онъ есть толпы всей достоянье,
Но ты,—ты выполни свой долгъ!

* *
*

Такъ онъ высокъ для насъ иль малъ,
Какъ на него мы смотримъ сами:
Однимъ онъ свѣтлый идеалъ,
Другимъ онъ кажется цѣпами:
Кому тяжелъ, кому легокъ,
Иному жизнь, другому бремя,—
И только послѣ скажетъ время:
Кто точно выполнилъ свой долгъ.

* *
*

А между тѣмъ? А цѣлый вѣкъ?
Кто намъ про это нынѣ-жъ скажетъ?
Чему повѣрить человѣкъ?
Кто укрѣпить? Кто путь укажетъ?—
А этотъ гласъ, что влилъ въ насъ Богъ!...
А совѣсть—гласъ всегда гремѣщій?...
Какая музыка намъ слаще,
Какъ та: ты выполнилъ свой долгъ!

II.

Спаситель на двухъ моряхъ.

Плыветъ ладья во мглѣ ночной,
 Блестить дрожащею звѣздой
 По озеру Тиверіады;
 Сквозь этотъ чудный блескъ на ней
 Двѣнадцать движутся тѣней;
 Съ небесъ—звѣздъ смотрять мириады;
 Еще одинъ спитъ на кормѣ,
 И отъ него-то въ дальней тѣмѣ
 Сіяетъ свѣтъ сей надъ водою.
 Но вотъ съ горъ вѣтеръ набѣжалъ,
 Завылъ озеро межъ скалъ
 И вздулось, вспѣнилось грозою;
 Спѣшать пловцы толпой къ кормѣ,
 У всѣхъ страхъ смерти на умѣ:
 —Наставникъ! гибнемъ!... Надъ волнами
 Онъ всталъ; но это былъ Христосъ!
 Духъ бури смолкнулъ—и какъ песъ
 Ласкался подъ его стопами.

* *

Такъ мы плывемъ въ ладьяхъ своихъ,
 Какъ призраки тѣней ночныхъ,
 Пучиной жизненнаго моря;
 Вокругъ все тихо, и въ тотъ часъ
 Не слышимъ мы, что также въ насъ
 Почилъ Господь; намъ надо горя,

Христось межъ нимъ и духомъ бури;
Смолкаетъ ревъ кипящихъ волнъ,
И вновь скользить спасенный челнъ
Звѣздой дрожащей по лазури.
Намъ надо треволненій, бѣдъ,
Чтобы узрѣть сей дивный свѣтъ,
Что блещетъ все передъ нами;
Но вотъ, чуть вѣтеръ набѣжалъ
Иль челнъ ударило средь скалъ,
И онъ наполнился волнами,—
Кто вѣруетъ, тотъ вопіетъ:
—Спаситель! гибну!... И встаетъ.

А. Тимофеевъ.

ФРЕСКИ КАУЛЬБАХА

ВЪ БЕРЛИНСКОМЪ МУЗЕѢ.

Фрески Каульбаха, украшающія берлинскій музей, принадлежатъ къ числу новѣйшихъ художественныхъ произведеній, пользующихся особенно-громкою извѣстностью, какъ въ западной Европѣ, такъ и у насъ. Тысячи русскихъ путешественниковъ, ежегодно устремляющихся за границу черезъ Эйдкуненъ, никогда почти не минуютъ Берлина, не осмотрѣвъ произведеній искусствъ, хранящихся въ музеѣ, и въ особенности каульбаховскихъ картинъ. Въ нихъ есть для насъ нѣчто новое, нѣчто такое, подобного чему въ отечествѣ мы ничего видѣть не можемъ, и потому мы невольно останавливаемся передъ этими картинами, невольно относимся къ нимъ съ напряженнымъ вниманіемъ.

Посѣтивъ лѣтомъ берлинскій музей, вы встрѣтите передъ фресками Каульбаха не однихъ только художниковъ, изучающихъ фрески эти въ качествѣ специалистовъ и знатоковъ, но и массу разнообразнѣйшей публики, привлеченной европейской славой Каульбаха. Если изъ массы зрителей, толпящихся передъ картинами, вы выдѣлите, во-первыхъ, восторгающихся по рутинѣ и лицемѣрію и, во вторыхъ, тѣхъ, которые только и поражены, что встрѣчей съ чѣмъ-то совершенно для нихъ непостижимымъ, подавляющимъ своею колоссальностью и многосложностью, то останется еще не мало и такихъ, которые, будучи не компетентны въ спеціальныхъ вопросахъ: — эстетическихъ, археологическихъ, техническихъ, — возбуждены главнымъ образомъ къ размышленію

надъ *содержаніемъ* картинъ, пытаются проникнуть въ ихъ основную мысль, стараются оцѣнить ее по отношенію къ тому складу понятій, который они усвоили, который ими почитается за вѣрный. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи, картины Баульбаха наиболѣе интересны конечно и большинству тѣхъ, которые знакомы съ ними только по снимкамъ, дающимъ, вообще говоря, крайне слабое понятіе о художественномъ впечатлѣніи оригинала и передающимъ вѣрно одно только, лишенное прелести и блеска, содержаніе.

Двѣ стѣны громадной залы, заключающей въ себѣ главную лѣстницу музея, покрыты тѣми шестью картинами, о которыхъ я теперь говорю. Эти шесть картинъ представляютъ: разселеніе племенъ, процвѣтаніе Греціи, взятіе Іерусалима Титомъ, битву на Каталаунскихъ поляхъ, крестовые походы и вѣкъ реформациі. Онѣ, такимъ образомъ, связаны между собою единствомъ сюжета и представляютъ одно величественное цѣлое. Сюжетъ ихъ—судьбы человѣчества съ древнѣйшихъ временъ.

Представьте себя стоящимъ на верхней площадкѣ лѣстницы между двумя колоссальными статуями конекротителей, невольно принимаемыхъ вами за символы торжества разума надъ грубой силой; окиньте взоромъ картины одну за другой: съ правой стороны у васъ разселеніе племенъ, процвѣтаніе Греціи и взятіе Іерусалима, съ лѣвой — каталаунская битва, крестовые походы и реформациа. На *первой* изъ этихъ картинъ передній планъ занятъ изображеніемъ трехъ группъ различныхъ по своему типу племенъ, идущихъ врознь по направленію отъ башни, высящейся за ними въ глубинѣ картины. Средняя группа уноситъ своихъ фетишей, лѣвая угоняетъ стада, правая—мчится впередъ со своими конями. Выше башни, на небѣ, видѣнъ грозный образъ Іеговы, ниспосылающаго кары на отважныхъ строителей, виднѣющихся у подножія башни и окружающихъ своего повелителя, гордо сидящаго на тронѣ. На *второй* картинѣ вы видите берегъ моря, покрытый народомъ, слушающимъ пѣсни Гомера, подѣзжающаго къ берегу на лодкѣ, окруженной nereидами. Вдали — толпа плашущихъ юношей, вверху — боги, шествующіе по небу. *Третья*

картина представляет вступающего въ Иерусалимъ Тита; онъ видѣнъ въ глубинѣ картины на конѣ, окруженный своими легіонами. На переднемъ планѣ—группа пораженныхъ ужасомъ евреевъ и, между ними, закалывающій себя первосвященникъ. Вправо отъ этой группы видны охраняемые ангелами христіане, влѣво—предающійся бѣгству Агасверъ. Верхъ картины занятъ изображеніемъ разгнѣваннаго Іеговы, окруженнаго пророками и предшествуемого ангелами. На *четвертой* картинѣ вы видите жестокую битву. Азцій съ мечомъ въ рукѣ, осѣняемый крестомъ, во главѣ христіанъ—съ одной стороны, Атила, потрясающій бичемъ, впереди гунновъ—съ другой. Согласно легендѣ, художникъ изобразилъ эту битву не только между живыми на землѣ, но и между тѣнями убитыхъ, поднимающимися къ небу и продолжающими въ воздухѣ отчаянную борьбу. Женщины, плачущія надъ окровавленными трупами, дополняютъ картину, смягчая въ то-же время ея суровый характеръ. *Пятая* картина, подобно тремъ первымъ, состоитъ изъ двухъ частей; въ первой, имѣющей мѣсто на землѣ, передъ вами проходитъ шествіе крестоносцевъ. Здѣсь вы видите Петра пустытника, восторженно-молящагося на колѣнахъ, и Готфрида, поднимающаго вѣнецъ свой къ небу, занятому второю частью картины, представляющею олицетвореніе вѣрованій крестоносцевъ. *Шестая* картина, наконецъ, представляетъ героя реформаціи, Лютера, центральнымъ лицомъ всей сложной композиціи. Лютеръ стоитъ на возвышеніи среди обширнаго храма; въ рукахъ его евангеліе, которое онъ раскрылъ и поднялъ надъ головою. Вокругъ него размѣщены группы его сподвижниковъ и современниковъ, служившихъ реформаціи, а также и тѣхъ, которые подвизались на поприщѣ наукъ, литературы, искусствъ, просвѣщенія вообще. Здѣсь же видна масса лицъ, взятыхъ изъ другихъ эпохъ; тутъ увидите вы и Абеяра, и Бэкона Веруламскаго и Шекспира, и вообще всѣхъ тѣхъ, которые въ теченіе долгаго періода времени отъ XII до XVII вѣка, по идеѣ художника, состояли въ нравственной связи съ духомъ эпохи, олицетворенной главнымъ лицомъ картины.

Первое впечатлѣніе, производимое этими картинами порази-

тельно. Но о первомъ впечатлѣніи я говорить не буду: эстетическая сторона разсматриваемаго предмета дѣйствуетъ слишкомъ сильно на зрителя и мѣшаетъ ему мыслить объективно и критически. Отрѣшившись отъ перваго впечатлѣнія, устранимъ изъ мысли весь тотъ внѣшній блескъ, въ которомъ является передъ нами избранный художникомъ сюжетъ, и тогда выскажемъ о немъ свое мнѣніе.

Художникъ, избравшій сюжетомъ жизнь человѣчества, всего прежде—историкъ. Мыслить онъ образами, ими передаетъ намъ свои воззрѣнія; но образы эти могутъ и должны имѣть ту же ясность и опредѣленность, какъ и изложеніе словесное. Мы всего прежде относимся поэтому къ Раульбаху какъ къ историку и хотимъ знать, въ какой мѣрѣ успѣшно овладѣлъ онъ предметомъ, за который взялся.

Взглядъ на исторію очень измѣнился, какъ извѣстно, въ послѣднее время. То, что недавно еще исключительно привлекало представителей этой науки:—жизнь политическихъ вождей, интриги ихъ приближенныхъ, войны, сраженія, побѣды и т. п. внѣшнія событія отошли теперь далеко на задній планъ и уступили мѣсто явленіямъ, обнаруживающимъ внутреннее состояніе и развитіе всего человѣческаго общества. Экономическія и политическія условія общественнаго быта, нравы, вѣрованія, умозрѣнія, наростаніе и упадокъ знаній, — вотъ элементы, изученіе которыхъ даетъ содержаніе наукъ объ обществѣ (соціологіи), а слѣдовательно и исторіи, какъ части ея. Изучая явленія внутренней жизни человѣчества, историкъ, съ одной стороны, опирается на богатый матеріалъ, добытый учеными изслѣдователями, научно-возстановившими массу фактовъ, начиная съ глубочайшей древности, съ другой—на тѣ руководящія начала, которыя выработаны мыслителями, посвятившими себя изслѣдованію прецедента жизни общественной. Поле здѣсь чрезвычайно обширно: я, поневолѣ, ограничусь указаніемъ на весьма немногое. Открытіе санскрита (считая конечно не отъ Сассети, а отъ Вилькинса и Джонса) было открытіемъ новаго міра для Европы. Послѣдствія его для науки неисчислимы. Оно указало на связь между племенами, считавшимися до того во

всѣхъ отношеніяхъ далекими другъ другу, указало на связь между языками этихъ племенъ, на родственныя черты ихъ первоначальныхъ религій и дало богатый во всѣхъ отношеніяхъ матеріалъ для возстановленія культуры предковъ нашихъ — аріевъ. Исслѣдованія въ области исторіи семитическихъ племенъ были не менѣе плодотворны; они вдвинули въ общій строй исторической жизни то изъ этихъ племенъ, которое долѣе всѣхъ остальныхъ племенъ земнаго шара имѣло свою обособленную исторію, спутывавшую и затемнявшую понятіе о единствѣ и связи исторіи человѣчества. Укажу, наконецъ, на успѣхи исслѣдованія доисторической эпохи, которые дали такой драгоцѣнный матеріалъ для введенія въ исторію, для пролога ея. Они выяснили многое, оставшееся спорнымъ и загадочнымъ, и окончательно устранили миѣнность изъ представленія о зарѣ жизни человѣчества. О другихъ пріобрѣтеніяхъ науки я не упоминаю, такъ какъ и сказаннаго достаточно для моей цѣли. Переходя затѣмъ къ вліянію на исторію тѣхъ мыслителей, которые дали руководящія начала для приведенія въ порядокъ и связь всей обширной и постоянно возрастающей массы матеріала, я ограничусь также только главными, существенно-важными чертами. Мыслители, отрѣшившіеся отъ сбивчивыхъ умозрѣній, созданныхъ путемъ творческаго произвола и фантазіи, установили ту несомнѣнную истину, что измѣненія, непрестанно претерѣваемые жизнью человѣчества, подобно всѣмъ измѣненіямъ, совершающимся въ природѣ, подчинены законамъ. Важнѣйшій изъ этихъ законовъ есть, конечно, констатированіе опредѣленной послѣдовательности въ совершающихся въ общественной жизни измѣненіяхъ, послѣдовательности, общій характеръ которой заключается въ постоянно возрастающемъ преобладаніи свойствъ отличительно-человѣческихъ надъ свойствами общими человѣку и животнымъ. Умственная дѣятельность, являющаяся первенствующимъ и руководящимъ элементомъ среди этихъ свойствъ, и поставлена поэтому наукою какъ центральная цѣпь общаго хода развитія, съ каждымъ звеномъ которой соотвѣтственныя звенья другихъ параллельно ей развивающихся элементовъ находятся въ связи. И, наконецъ, въ ходѣ раз-

витія самой этой цѣли подмѣчена правильность, а именно послѣдовательная смѣна бессознательно-наивнаго склада понятій, уподоблявшаго весь міръ собственной природѣ человѣка и усматривавшаго повсемѣстно человѣкоподобныя явленія, болѣе зрѣлый фазисомъ, сознательно-творческимъ, произвольно-измышляющимъ объясненія внѣшней и влутренней природы посредствомъ чисто-умозрительныхъ комбинацій, въ свою очередь уступающихъ мѣсто третьему и окончательному фазису развитія умственной дѣятельности — сознательно-критическому, ищущему установленія міроразумія на положительной почвѣ наблюденія, опыта, сравненія, и принимающаго за истину только то, что доказано этими чисто-научными путемъ.

Такимъ образомъ, пониманіе исторіи, съ тѣхъ поръ, какъ въ ея область вступила строгая, объективная наука, потерпѣло коренное измѣненіе и по содержанію, и по складу. Въмѣстѣ съ тѣмъ оно получило полную опредѣленность и ясность, внесенныя въ него духомъ естествознанія, который прежде былъ ей чуждъ.

Если послѣ вышесказаннаго, едва намѣтившаго нѣкоторыя главныя черты современной науки объ обществѣ, и имѣвшаго единственною цѣлью возбудить въ умѣ читателя ту ассоціацію идей, которая неизбежно возникаетъ въ умѣ сколько-нибудь образованнаго читателя при напомниманіи ему объ этихъ главныхъ чертахъ, — если послѣ вышесказаннаго обратимся мы опять къ Каульбаху и спросимъ: стоитъ ли онъ на той высотѣ, до которой достигла современная наука, овладѣлъ ли онъ ея содержаніемъ, усвоилъ ли ея основныя положенія, правильно ли передалъ усвоенное своимъ языкомъ, языкомъ живописи, то, для отвѣта на эти вопросы, намъ придется разобрать обширное твореніе его сначала въ цѣломъ, потомъ по частямъ, на которыя онъ самъ раздѣлилъ его.

Всего прежде, гдѣ у Каульбаха введеніе въ исторію, каковъ у него прологъ ея? Отвѣтомъ на это служить первая его картина, и отвѣтъ не можетъ не поражать насъ своею странностью. Ужели, въ самомъ дѣлѣ, руководящая точка зрѣнія у Каульбаха мистическая. Все, въ первой картинѣ, какъ сюжетъ, такъ и обра-

ботка его говорить за такое предположеніе; но стоящая рядомъ картина процвѣтанія Греціи разрушаетъ такое обвиненіе Каульбаха при самомъ его зарожденіи; она гордо отстаиваетъ честь Каульбаха, не позволяя примѣнить къ нему то, что сказалъ Гейне о Корнелиусѣ. На этой картинѣ, также какъ и на первой, мы видимъ олицетвореніе народныхъ вѣрованій: здѣсь Зевсъ, Гера, Фебъ, Афродита шествуютъ въ облакахъ. Каульбахъ, очевидно, не мистикъ, онъ пользуется только символикой какъ художественнымъ раскрытіемъ міросозерцанія данной эпохи, не болѣе. Но и въ такомъ случаѣ, первый шагъ его въ области исторіи все же таки очень неудаченъ. Что значатъ эти типы, опредѣлившіеся уже при совмѣстномъ жителствѣ, подъ вліяніемъ однихъ и тѣхъ же естественныхъ законовъ; что значить этотъ первобытный монотенизмъ, возможный только послѣ долгаго развитія и неизбѣжно исходящій изъ политенизма, который, въ свою очередь, имѣетъ исходною для себя точкою фетишизмъ? Далѣе, почему нѣтъ намека даже на до-историческую эпоху, также какъ нѣтъ его и на послѣдующее развѣтвленіе племенъ? Если ужъ было допущено обобщеніе, идеализированіе взятаго конкретнаго факта, то, очевидно, необходимо было сдѣлать это такъ, чтобы не только фантазія, но и знаніе наше было удовлетворено. Безъ этого весь блескъ художественнаго исполненія израсходованъ напрасно и колоссальная картина обращается въ колоссальную ложь.

Но если исходная точка исторіи избрана Каульбахомъ неудачно, то еще неудачнѣе избранъ имъ заключительный моментъ ея. Представить вѣкъ реформаціи, хотя бы распространенный произвольно до начала XVII вѣка, какъ завершеніе развитія человѣчества, есть ошибка и большая ошибка. Если Каульбахъ — допустимъ смягченіе его мысли — хотѣлъ сказать, что въ теченіе представленной имъ эпохи положены начала, отъ которыхъ потомъ не отступало человѣчество, то и это такая же большая ошибка. Еслибы Каульбахъ и здѣсь не путался между наукой и традиционными воззрѣніями, какъ онъ путался при началѣ своего труда, то ему всего прежде необходимо было бы устранить реформацію съ той картины, которой у него пришлось быть послѣд-

ней. Реформація, какъ реставрація прошедшаго, не была шагомъ въ будущее, а потому standpointъ ея давно уже обойденъ. Шагъ въ будущее, послѣдствія котораго мы и теперь переживаемъ, былъ сдѣланъ совершенно независимо отъ реформаціи. Этотъ шагъ былъ началомъ движенія независимаго разума, ринувшагося подъ вліяніемъ возродившагося духа древней мысли, къ независимому изученію дѣйствительности не ради цѣлей внѣшнихъ, но ради ея самой. Ошибочно, поэтому, даже и въ современную реформаціи эпоху ставить Лютера во главѣ умственнаго движенія въ томъ случаѣ, если художникъ, не желая вовсе исключить его, рѣшился взять вѣкъ реформаціи сюжетомъ для картины, предшествующей заключительной. То же значеніе, которое теперь имѣетъ картина реформаціи, дѣлаетъ ее вовсе негодною даже и помимо главенства въ ней Лютера, такъ какъ нельзя же было пройти молчаніемъ развитіе науки въ два послѣдніе вѣка и не показать обусловленную этимъ развитіемъ постановку философскихъ, политическихъ и общественныхъ вопросовъ нашего времени. Если Каульбахъ окончилъ свою исторію человѣчества реформаціею, то онъ всего бы лучше сдѣлалъ, еслибы не начиналъ ее.

Если, затѣмъ, мы остановимся надъ промежуточными моментами, избранными Каульбахомъ между разселеніемъ племенъ и вѣкомъ реформаціи, то должны будемъ признать, что моменты эти избраны болѣе или менѣе неудачно. Счастливѣе другихъ выборъ момента для второй картины. Это дѣйствительно характеристика цѣлой эпохи, такъ живо напоминающая „Da Ihr noch die schöne Welt regieret“ Шиллера, эпохи важной въ исторіи развитія человѣчества, но въ исполненіи картины — разработанной, къ сожалѣнію, не достаточно полно. Сюжеты остальныхъ картинъ совершенно неудачны. Взятіе Іерусалима, фактъ частный, малозначительный, не въ состояніи восполнить отсутствія характеристики сближавшаго народности и космополитизировавшаго ихъ Рима, безсознательно подготовившаго элементы главной изъ мировыхъ монотеистическихъ системъ. Битва на Каталаунскихъ равнинахъ съ успѣхомъ могла бы дать мѣсто изображенію того

паденія умственного и общественнаго, до котораго доведенъ былъ міръ вслѣдствіе паденія древней цивилизаціи и торжества германцевъ. Явленіе это гораздо общѣе и глубже, чѣмъ каталаунское побоище, но ему съ патріотически-нѣмецкой точки зрѣнія, вѣрующей въ призваніе германцевъ для обновленія человѣчества, придается совершенно ложное значеніе. Гунны грозили серьезною опасностью европейской цивилизаціи, но нельзя не признавать однакоже, что и торжество германцевъ сдѣлало ей очень много зла. При томъ же, неудачный натискъ гунновъ былъ явленіемъ преходящимъ, тогда какъ торжество германцевъ на долгое время оставило въ исторіи глубокіе слѣды. Каталаунская битва, поэтому, ни въ какомъ случаѣ не должна бы исключать собою картины состоянія міра въ варварскую эпоху, отъ паденія Западной Имперіи до первыхъ проблесковъ возстановленія погибшей образованности при Карлѣ Великомъ и Алкуинѣ. Безъ этой картины, слѣдующая за нею — картина возстановленія древней цивилизаціи и возрожденія свободной умственной дѣятельности лишается должнаго освѣщенія и принадлежащаго ей значенія. У Каульбаха она пропущена: крестовые походы, какъ явленіе болѣе вѣншее, ничего не объясняющее, а напротивъ для себя требующее объясненія, не въ состояніи замѣнить картины возрастанія умственныхъ силъ и обусловленнаго имъ развитія общественной жизни, начиная съ XII, и еще рѣшительнѣе съ XIII вѣка. Передъ нами нѣтъ главныхъ, блестящихъ дѣятелей, подготовлявшихъ броженіе этого времени, начиная съ X вѣка, нѣтъ арабовъ съ ихъ философами, учеными, мистиками, съ сокровищами наукъ, спасенными ими отъ всеобщаго крушенія древняго міра, нѣтъ посредниковъ между ними и европейцами — средневѣковыхъ евреевъ, переводчиковъ, комментаторовъ, пропагандистовъ среди латинской расы науки, философіи, своевольной мистики; нѣтъ ихъ послѣдователей, творцевъ колоссальныхъ энциклопедій, скептиковъ, авторовъ всевозможныхъ еретическихъ положеній, аверроистовъ, уже въ XIII вѣкѣ не пугавшихся ни какой смѣлости мысли. Глазъ, останавливающійся на Петрѣ Аміенскомъ и Готфридѣ Бульонскомъ, напрасно ищетъ Рожера Бэкона, Леонарда Пизанскаго, Іоахима ди

Фіоре, Петра Парискаго и т. д.; напрасно ищетъ массы пропагандистовъ теолого-философской двойственности мысли, авторовъ гороскопа религій и хоть намека на сказанія: о трехъ кольцахъ, трехъ лжецахъ и т. п.; напрасно ищетъ, наконецъ, великаго Данте, этого карателя лжи и зла и проповѣдника необходимости общедоступной науки для народа. Ихъ нѣтъ у Каульбаха, а какъ понять безъ нихъ окончательное возрожденіе мысли въ XV и XVI вѣкѣ. Съ одними Готфридами, Петрами Аміенскими и имъ подобными средніе вѣка не далеко бы ушли и не закончились бы провозглашеніемъ свободы мысли и эпохою великихъ открытій и изобрѣтеній.

Въ частности, картины Каульбаха задуманы врядъ ли удачнѣе, чѣмъ сдѣланъ выборъ ихъ сюжетовъ, опредѣляющій собою общую картину развитія человѣчества по мысли автора. Если брать картины независимо отъ ихъ значенія въ общей связи избранныхъ Каульбахомъ моментовъ, то лучшею слѣдуетъ признать, я думаю, битву гунновъ. Превосходство этой картины надъ остальными признаютъ и нѣмцы, и на этотъ разъ я раздѣляю ихъ мнѣніе. Въ самомъ дѣлѣ, въ одной этой картинѣ только и отсутствуетъ символизмъ, обременяющій другія картины, а потому она одна не лишена единства. Это прекраснѣйшая иллюстрація народной легенды, иллюстрація, сохранившая весь грозный, мрачный колоритъ этой легенды, иллюстрація полная такого правдиваго движенія, столь вдохновенная, что не создай Каульбахъ, кромѣ ея, ничего больше, и тогда онъ все же былъ достоинъ стать въ числѣ первыхъ художниковъ нашего времени. Мы, русскіе, сознательно или нѣтъ, тяготѣемъ, какъ кѣмъ-то уже было замѣчено, къ сюжетамъ, представляющимъ столкновеніе нравственной и стихійной силъ. Торжество или возможность торжества послѣдней такъ болѣзненно сжимаетъ наше сердце, такъ глубоко захватываетъ весь нашъ психическій строй, что для живописи едва-ли и существуетъ другой сюжетъ, который бы сильнѣе возбуждалъ насъ. По этой причинѣ „Послѣдній день Помпеи“ Брюлова и „Отшествіе Іуды“ Ге пользуются у насъ такою славой, популярностью и симпатіями, какія не выпали на долю ни одной другой

картины. У Брюлова мы видимъ самый моментъ гибели сознательнаго, у Ге моментъ этотъ только намѣченъ какъ неизбежный, — это разница не существенная, не препятствующая намъ одинаково любить обѣ эти картины и, отвлекаясь отъ вопросовъ исполненія, ставить ихъ выше битвы гунновъ Каульбаха, гдѣ исходъ трагедіи иной. Тѣмъ не менѣе однакоже и здѣсь есть достаточно захватывающихъ мотивовъ, и если впечатлѣніе ваше не будетъ испорчено суетловіемъ какого-нибудь лже-знатока, то вы долго не отойдете отъ этой картины.

Остальныя картины задуманы гораздо менѣе удачно. Кромѣ реформаціи, всѣ онѣ страдаютъ двойственностью, избыткомъ символизма и неизбежно-происходящею оттого искусственностью общаго строя каждой. Вѣкъ же реформаціи, хотя и лишенъ двойственности и обособленныхъ символовъ, страдаетъ однакожъ искусственностью болѣе всѣхъ остальныхъ. Это произведеніе должно быть причислено къ неудачнѣйшимъ по мысли. Для пяти картинъ Каульбахъ избралъ опредѣленные событія и на ихъ фонѣ развилъ тѣ мотивы, намѣтилъ тѣ общія черты, которыя, по его взгляду, должны характеризовать цѣлую эпоху. Для реформаціи онъ не избралъ никакого такого фанта. Здѣсь, въ условномъ мѣстѣ сосредоточилъ онъ массу личностей отъ Агелара до Шекспира — теологовъ, философовъ, ученыхъ, поэтовъ, музыкантовъ, путешественниковъ, изобрѣтателей, — разиѣстилъ ихъ группами и во главѣ всѣхъ поставилъ Лютера. Что же вышло? Полнѣйшая разрозненность, рѣзко противорѣчащая насильственному сосредоточенію. Не только группы лишены взаимной связи между собою, не только нѣтъ связи между всѣми ими и одиноко стоящей среди толпы фигурой Лютера, но и между лицами отдѣльных группъ также не существуетъ связующаго начала. Смотришь и не понимаешь зачѣмъ здѣсь вся эта масса людей? Каульбахъ очевидно подражалъ „Афинской школѣ“ Рафаэля, но подражаніе его чисто-внѣшнее, безъ-идейное, окончательно губящее его собственное произведеніе невольнымъ вызовомъ къ сравненію. У Рафаэля есть опредѣленная мысль; между всѣми группами и фигурами его существуетъ связь, такъ какъ цѣль у нихъ общая.

Совсѣмъ не то у Каульбаха, втѣснившаго въ стѣны своего храма самую пеструю и нравственно-разрозненную толпу и тѣмъ сдѣлавшаго изъ своей картины, по замѣчанію одного нѣмецкаго критика, ребусъ, разгадать который не подъ силу всего прежде ему самому.

Общее заключеніе мое изъ всего сказаннаго выше — слѣдующее.

Исторія развитія человѣчества продумана Каульбахомъ, очевидно, слабо и метафизично. Въ томъ представленіи, которое онъ передалъ намъ шестью разсмотрѣнными картинами, начала не существуетъ совсѣмъ, а конецъ воплощенъ въ моментъ, избранномъ ложно и истолкованномъ нелѣпно. Событія, представляющія главные эпохи развитія человѣчества, взяты неудачно: значеніе имѣютъ они или чисто-внѣшнее или, обладая внутреннимъ значеніемъ, обработаны неполно или невѣрно. Прогрессивность развитія исторической жизни хотя и обозначена, но руководящее въ ней значеніе умственной дѣятельности не проведено: истинные герои и представители человѣчества отсутствуютъ въ большей части картинъ, тогда какъ нѣкоторые второстепенныя личности прославлены не въ мѣру. Узкій націонализмъ и остатки традиционныхъ воззрѣній, наконецъ, пробиваясь тамъ-сямъ, портятъ болѣе или менѣе почти всѣ картины. Картины эти не удовлетворяютъ поэтому современнаго человѣка, и послѣ перваго обаянія, производимаго ихъ блестящею художественною внѣшностью, они, за исключеніемъ второй и четвертой, оставляютъ одно безплодное утомленіе, не вознаграждаемое даже тѣмъ впечатлѣніемъ, которое „Прощаніе Греціи“ и „Битва гунновъ“ производятъ внѣ связи съ остальными.

Кто нибудь станетъ утверждать, пожалуй, вмѣстѣ съ поклонниками Каульбаха, что, имѣя въ виду зрителей всѣхъ состояній и сословій, художникъ долженъ былъ держаться традиционныхъ воззрѣній, долженъ былъ избрать простые и наглядные сюжеты, долженъ былъ, однимъ словомъ, написать именно то, что онъ написалъ, а не что другое. Такую защиту я считаю недостигающей цѣли: всего прежде очевидно, что картины Каульбаха ни въ какомъ случаѣ и ни при какомъ выборѣ сюжетовъ

не могутъ быть понятны всѣмъ и каждому; затѣмъ, если защитники Каульбаха хотятъ выдвинуть впередъ стремленіе его создать прочную связь между своими произведеніями и публикою, преимущественно же наименѣе образованною частью ея, то имъ слѣдуетъ держаться взгляда, діаметрально - противоположнаго тому, котораго они теперь держатся. Конечно, художникъ долженъ посвящать свои силы искусству не ради искусства, конечно, онъ долженъ быть не паразитомъ общества, а слугою его; но развѣ слѣдуетъ изъ этого, что ему необходимо измѣнять своимъ убѣжденіямъ, выдавать за правду то, что считаетъ неправдой, поучая — лгать? Взваливать такое обвиненіе на Каульбаха врядъ ли справедливо: произведенія его полны увлеченія и искренности. Нѣтъ сомнѣнія, что въ нихъ онъ не кривитъ душой, что въ нихъ высказался не только талантъ его, но и его знанія и его убѣжденія. Поэтому-то мы и имѣемъ право утверждать, что Каульбахъ, какъ художникъ, могъ бы стоять на высотѣ уровня современныхъ требованій образованнаго общества, могъ бы дѣйствительно служить распространенію истинныхъ и здравыхъ воззрѣній, если бы онъ обладалъ тѣмъ, безъ чего художникъ нашего времени, избирающій такой сюжетъ, какой онъ избралъ, не долженъ браться за кисть — знаніями и органически-связанными съ ними убѣжденіями.

В. Лесевичъ.

ХАЙ-ДѢВКА.

(неоконченный этюдъ).

I.

У богатаго торговаго крестьянина деревни Баралихи, Дмитрія Петрова, единственная дочь, Татьяна, года два уже считается невѣстой. Не налюбуется на нее досыта вся деревенская молодежь. Рѣдко задаются такіа дѣвки: высокая, коренастая, здоровая, сильная — сейчасъ видно, что не заморышъ, не на однихъ пустыхъ щяхъ выросла, а что ей не въ диковинку ни пироги съ начинкой, ни баранина. Румянецъ у Татьяны во всю щеку, коса на спинѣ ниже пояса, лицо гладкое, широкое, какъ булка сдобная, правда, пестритъ лѣтомъ отъ веснушекъ, да это не въ зазоръ красѣ дѣвчьеѣ; глаза хоть и маленькіе и сердитые, зато, бѣда, какіе юркіе, смѣлые, бойкіе, и брови надъ ними дугой, точно нарисованные. На языкѣ Татьяна куда востра: какой бы ни былъ парень ловкій, разухабистый, хоть бы Питерець, а на словахъ ее не собьешь и въ краску не вгонить: сама всякаго по косточкамъ переберетъ и на смѣхъ подниметъ. А если кто изъ парней, залюбовавшись на ея красу дѣвичью, на грудь высокую, богатирскую, по мужицкой привычкѣ, рукамъ волю дастъ, того такъ на-отмашъ огрѣветъ, что твой добрый сотскій, или староста: въ другой разъ не присунется. Веселье да смѣхъ Татьяна точно носила съ собой: куда ни придетъ, тамъ и смѣхъ и при-

баутки, и пѣсни, и пляска пойдутъ. А какъ нарядится въ праздничный день: вплететъ въ косу ленту цвѣтную, надѣнетъ рубашку кисейную, сарафанъ шелковый, еще бабушкинъ, да башмачки сафьянные красные (у одной только и были въ ту пору во всей деревнѣ), такъ парни за ней, точно стая на сворѣ, такъ и бѣгаютъ; пойдеть въ хороводъ, никто лучше ея голосомъ не выведеть; пѣсни играть вздумаетъ: откуда что берется! и старыя всѣ знаетъ и новыя выдумываетъ: такія отхватываетъ, что и женатые, и старики даже, сойдутся иной разъ смотрѣть да слушать и только въ бороду себѣ посмѣиваются; на качеляхъ качаться начнетъ, такъ этакой смѣлости да силы не у всякаго и парня станетъ: смотрѣть духъ захватываетъ, того и жди, что черезъ перекладину перелѣтитъ, или веревка лопнетъ: только скрипъ идетъ, да красные башмачки сверкаютъ въ воздухѣ. Вся деревня Танюхой любовалась и хвастала, на всю округу слава про нее прошла: даже изъ чужихъ деревень парни ходили, о праздникахъ, только посмотрѣть на нее и нарочно дружбу заводили съ барашихинскими ребятами, чтобы въ кругъ пускали: съ Танюхой погѣть да походить. И то чудное дѣло: всѣ Татьяну знали, всѣ про нее говорили, всѣ къ ней льнули, а не любили ее; ужъ очень она языкомъ ехидна была и правомъ задорлива, супротивна: всякаго просмѣетъ, прозубоскалитъ, все про всѣхъ знаетъ и на язычокъ свой подхватитъ, никому не поступится, а ужъ коли въ брань дѣло пойдеть, лучше и не вступайся: безъ ножа зарѣжетъ, на всю жизнь просмѣетъ, такую мѣтку положить, что такъ съ ней и останешься и въ гробъ пойдешь. И какихъ, какихъ она людямъ прозвищъ не надавала; почитай всѣ въ деревнѣ, по ея милости, съ фамиліями сдѣлались: Ивана, что у попа въ работникахъ былъ, Кутьей назвала; Василю, что шея длинная, Гусемъ сдѣлала, кого Маклакомъ, кого Снечемъ, кого Квашней: да такъ мѣтко, такъ складно, съ такой прибауткой, что поневолѣ подхватишь, и пойдеть чловѣкъ съ новымъ именемъ вмѣсто крестоваго. И народъ въ отмѣстку прозвалъ Татьяну, за веселость, за бойкость, за размашку, за языкъ ея длинный, неуступчивый, за голосъ звонкій,

за ростъ и дородство — прозвалъ Хай-дѣвкой. Такой бы дѣвѣ, самой по себѣ, да и по семьѣ ея богатой, давно бы замуженъ надо быть, да что-то мало сватовъ ѣхало: праву ли ея боялись женихи и ихъ отцы и матери, или то думали, что богатый мужикъ погнушается бѣдной родней и не отдастъ дочку въ бѣдную семью, а въ чужой домъ идти, призаться, не всякому лестно; богатыхъ же жениховъ, и во всемъ по плечу Татьянѣ и Дмитрію Петрову, было мало: какъ ни какъ, а Танюха третій годъ сидѣла въ дѣвкахъ. Правда, отецъ съ матерью и не торопились отдавать ее за-мужъ: одно дѣтище, да и нужды никакой не знали; Татьяна сама дала замѣтить отцу, что пора ему подумать о выборѣ жениха. Среди всѣхъ мужиковъ и парней въ деревнѣ, падъ которыми она потѣшалась и зубы свои вострила, былъ одинъ, на котораго и она лишній разъ взглядывала. Мужика этого звали Илюхой.

Сынъ нѣкогда очень богатаго торговца мужика, теперь прогорѣвшаго отъ какого-то неудачнаго торговаго предпріятія, Илья половину жизни своей проводилъ въ Петербургѣ, занимаясь торговлей въ разность, по домамъ, всякой всячины, а больше всего: деревенскихъ холстовъ и полотенъ. Удалой, бойкій и расторопный отъ природы, Илья являлся въ деревню разухабистымъ краснобаемъ Питерцомъ. Женили его, лишь только минуло ему 18 лѣтъ, на дѣвѣ, которая пятью годами была старше его и не отличалась ни умомъ, ни ростомъ, ни дородствомъ. Въ деревнѣ всѣ знали, что онъ не любилъ ее. Молодой еще, хоть и женатый, не столько красивый, сколько соблазнительный для деревенскихъ красавицъ своей шляпой пуховой, плисовыми шароварами, жилетомъ расписнымъ и серебряной сережкой въ ухѣ, онъ затѣввалъ поголовно всѣхъ своихъ сверстниковъ и даже молодыхъ парней: и смѣльнымъ взглядомъ, и дерзкой насмѣшливой рѣчью, и всей своей поведкой городской. Слава про Илью ходила въ деревнѣ плохая: онъ и пьяница, онъ и мотъ, и картежникъ, и отъ жены гуляетъ, пожалуй и сплутуетъ безъ нужды; но на гулянкахъ, на пирушкахъ, или въ хороводѣ, между парней и дѣвоекъ онъ былъ первый человекъ и игралъ почти такую же

роль, какъ Татьяна. Разница была только въ томъ, что при веселости и удали характера, при бахвальствѣ и краснобайствѣ, Илья отличался какой-то доступностью, добродушіемъ: обругаетъ человѣка, позубоскалитъ надъ нимъ, но до сердца не обидитъ, побахвалится, наломается надъ своимъ братомъ, да тутъ же и угоститъ норовитъ. Его всѣ любили. Дѣвки и бабы въ немъ души не слышали, и если бы не зазорно было, пожалуй, также бѣгали бы за нимъ стадами, какъ парни за Танюхой. Среди круга ходить съ Ильей каждая красная дѣвица считала не только за удовольствіе, но и за особенную честь, потому никто не умѣлъ такъ голову склонить, такъ шляпу надѣть, такой поклонъ отдать, такъ плечомъ повести и платочкомъ махнуть, никто не могъ ногами такого выверта сдѣлать, какъ Илюшка-Питерець. И вотъ, бывало, любованье на всю деревню и молодымъ, и старымъ, какъ среди круга стануть да пойдутъ Илья съ Татьяной: одинъ сухой да жилистый, кажись каждая косточка въ немъ вздрагиваетъ, каждый суставчикъ разговоръ ведетъ; другая точно лебедь бѣлая плаваетъ.

Мудрено ли, что въ деревнѣ толки и разговоры пошли:

Танюха въ кругу больше все съ Ильей стоитъ! Илюхѣ счастье: облапилъ Танюху, только вывернулась, да отмахнулась, зардѣлась, а не ругается даже ни-ни!..

Илюха нынче въ Питерѣ грибамъ сушенымъ торговать будетъ: слышно, съ Танюхой виѣстѣ въ лѣсъ по грибы ходятъ, въ зимѣ значить запасаютъ: видѣли!..

Стали разные слухи и до матери Татьяниной доходить, слухи неясные, неопредѣленные, но для материнскаго чутья понятные.

Забѣжала къ ней какъ-то сосѣдка, баба старая, сварливая, надоедница.

— Матрена Поликарповна, одолжи, говорить, пудикъ мучки... Отдамъ, ось, съ нови...

— Знаемъ мы васъ, отдавальщиковъ, отвѣчаетъ мать Татьяны, Матрена Поликарповна. Взять-то вы всякій, а отдать-то никто.

— Одолжи, полно... Ось отдадимъ... Мой-оть разбойникъ поѣхалъ, вѣдь, въ городъ съ деньгами, обѣщалъ кулъ привезти,

да вотъ и съ деньгами-то пропалъ... а дома квашни растворить нечѣмъ.

— То-то вотъ и есть: меньше бы пьянствовали... У большака-то моего вонъ въ амбарѣ-то всѣ стѣны крестами вымѣлены, а сусѣки-то пусты... Весь хлѣбъ въ людяхъ; а отдачу-то вашу мы знаемъ: подожди, да помилуй, а сами въ кабаекъ, да въ кабаекъ...

— Отстань-ко, Поликарповна, возражаетъ осердившаяся сосѣдка. Кѣмъ вы сыты-то и самъ-дѣлѣ какъ не нами? Какъ-бы не было экихъ-то пьяницъ, какъ мой разбойникъ, не было бы и у тебя пятистѣнной избы... Чей хлѣбъ-то ѣдите? все мірской... Дашь пудъ, а наровишь два приполону взять... Кабаекъ-отъ съ естоль не съѣсть, что вы, міроѣды...

— Ну, а коли мы міроѣды, такъ и ступай съ Богомъ: нѣтъ у насъ про тебя...

— Такъ не дашь?

— Поищи у другихъ, коли мы твоимъ сыты: намъ твоего не надо...

— Такъ не дашь? пристааетъ сосѣдка, уже совсѣмъ готовая огрызнуться.

— Нѣту, нѣтъ... И давно тебѣ говорю: нечего тебѣ къ намъ и ходить: доука-то мнѣ твоя давно ужъ надоѣла... Отъ тебя только и рѣчей, что дай да подай, а замѣсть спасибо - то одна твоя ругань... Ступай съ Богомъ...

— Такъ не дашь?

— Нѣту... Что пристава: точно за своимъ добромъ. И большаку не велю тебѣ давать... Вотъ что... Ты сначала старне-то долги отдай... А то міроѣды!.. И впрямь точно за своимъ пристала... Міроѣды!.. Ступай, ступай... Тебя не кто кликнуть: сама пришла... Нѣтъ про тебя ничего... Ступай...

— Да я уйду... Уйду да и не приду... Наплевать вамъ... А мотри, на повои звать будешь — и на повои не приду.

— Ну, Богъ милостивъ, стары ужъ мы съ тобой...

— Дочь, матка; молодая: смотри къ масляной-то замѣсть блиновъ вашу крестильную варить будешь...

— Что ты, злой духъ...

— Ничего, здорово живешь... Послѣ вспомнишь...

Сосѣдка быстро скрылась, хлопнувши за собой дверь.

Матрена Поликарповна задумалась: можетъ та и со зла сбредула, а можетъ и шла съ тѣмъ, чтобы рассказать, что люди прознали, да о чемъ слухъ недобрый пошелъ. Сторонніе люди всегда прежде досмотрять, да спознаютъ; отецъ съ матерью всегда послѣ людей: Матрена Поликарповна знала эту практическую истину.

— Эка я, думала она, дать-бы ей пудъ-то муки, куда-бы ужъ ни шло, да распросить-бы путемъ обо всемъ... Хоть-бы узнала, что люди говорятъ: какъ и съ кѣмъ... Сама дѣвка не скажетъ!.. пожалуй спрашивай... А послѣ придетъ время и плачъ съ ней... Вотъ говорила отцу: пора дочку за-мужъ. Вотъ такъ и есть... Нѣтъ, надо ему сказать: пускай скорѣй жениха ищетъ...

Во время разговора съ сосѣдкой, ни дочери, ни мужа не было дома: они были въ полѣ; Матрена Поликарповна домовничала одна и ей была полная свобода обсудить все дѣло и обдумать: что нужно предпринять въ виду недобрыхъ слуховъ. Она была женщина умная, толковая и съ характеромъ. Жизнь въ довольствѣ помѣшала развиться въ ней сварливости и бранчивости, которыя составляютъ почти общее свойство деревенской бабы, вѣчной жертвы нужды, заботы и чрезыѣрныхъ трудовъ. Напротивъ, Матрена Поликарповна держала себя очень степенно, говорила всегда резонно и умѣренно, любила очень почетъ и возмущалась только тогда, когда его ей не оказывали. Она была большая охотница давать совѣты и чувствовала особенное расположеніе къ тѣмъ, кто ихъ просилъ у нея и выслушивалъ. Обо всякомъ дѣлѣ любила она разсудить всесторонне и обстоятельно. Въ отношеніи къ мужу она была вѣрная, преданная жена, къ дочери добрая, благоразумная мать; но любила, чтобы все дѣлалось по ея волѣ и умѣла всегда настоять на своемъ. Это было тѣмъ удобнѣе, что Дмитрій Петровъ, человѣкъ торговый, мало жившій дома, занятый и поглощенный исключительно одною заботою о стяжаніи, все домашнее хозяйство, весь распорядокъ въ домѣ,

охотно предоставилъ въ распоряженіе жены, такъ что она собственно была главою въ домѣ. Помогая мужу въ торговлѣ, ѣзди съ нимъ по базарамъ, сталкиваясь съ множествомъ разнаго народа, она умѣла различать людей, знала, какъ съ кѣмъ себя повести и о чемъ съ кѣмъ говорить. Въ себя и свой умъ она очень вѣрила, и имѣла при этомъ характеръ настойчивый: что обдумывала, на что рѣшалась — къ тому шла неуклонно и считала обязанностью поставить на своемъ.

— Надо разузнать съ кѣмъ Танюха слюбилась, коли правду люди говорятъ! думала она сама съ собою. Если парень тихой, покладливой, можно и приязнить — въ домъ взять. Ну, а ужъ если шалыганъ какой, гуляка, да больно бойкій, пускай не прогнѣвается, ни въ жисть не отдамъ за такого: не въ чужой же домъ отдавать намъ дочку: она у насъ одна, какъ перстъ, другихъ дѣтей нѣтъ, ну, а и въ свой домъ взять экого — Богъ съ нимъ, намаешься! Да и Танюхъ съ ея правомъ надо мужа смирнаго, покладливаго; а то на ея характеръ да какого озорнаго взять — у нихъ поножовщина будетъ.

Разсудивши такимъ образомъ, Матрена Поликарповна тотчасъ же отправилась собирать справки. Не много ей нужно было употребить хитрости въ разговорѣ съ сосѣдками, чтобы навести ихъ на интересовавшій ее вопросъ и узнать всѣ подробности, извѣстныя деревнѣ о любовныхъ похожденияхъ дочки. Имя Ильи-Питерца очень разстроило Матрену Поликарповну.

— Ну, дочка, выбрала же хвата, думала она про-себя. Что ни на есть первый плутъ и озорникъ на всю деревню... Да хоть бы ужъ съ холостымъ-то, а то ну-ка съ женатымъ... Эка срамница, экой озоръ-дѣвка... Что ты тутъ прикажешь дѣлать!?

— Какъ только воротилась Татьяна съ поля, мать отзывала ее въ свѣтелку.

— Честъ имѣемъ проздравить, дочка милая! сказала она, ceremonно сжимая губы и слегка кланаясь.

— Съ чѣмъ, матушка, проздравляешь-то? бойко спросила Татьяна.

— Какъ съ чѣмъ, матка? тебѣ лучше знать: съ женишкою хорошииъ...

Матрена Поликарповна въ-упоръ смотрѣла дочери въ глаза.

— Аль кто засылаеъ... Что больно рано: въ рабочую-то пору? спросила Татьяна, нѣсколько смущенная взглядами матери, но стараясь сохранить обычную бойкость.

— Кто къ намъ станетъ засылатъ? Кому нужна? Всякой знаетъ, что у насъ дочка сама себѣ жениха хорошаго выберетъ... Не станетъ ждать, чтобы отецъ съ матерью честнымъ порядкомъ выбрали, да благословили...

— Не вѣду, матушка, что ты говоришь... на счетъ чего и въ какую сторону...

— Какъ не вѣдать дочка: добрые люди съ чего нибудь да говорятъ и на женишка показываютъ, только отецъ-отъ съ матерью ничего не знаютъ...

— Ты слушай больше: добрые-то люди и нивѣсть что рады на меня напасти...

— Такъ неправду люди говорятъ, что ты съ Илюшкой Кузмичевымъ по грибы въ лѣсъ ходила?..

— Мало ли народу въ лѣсу ходить: не я одна, никому не закажешь...

— Такъ неправда, что Илюшка и около нашего овина ночью шляется...

— Можетъ и шляется, почему я знаю?... Я не сторожу по ночамъ...

— Да ты сторожить-то не сторожишь, а больно рано нынче по утрамъ-то встаешь... Ни свѣтъ, ни заря тебя на гумнѣ видѣли...

— Такъ можетъ не заспалось... и встала... Не велика напасть: рано утромъ встала да на гумно вышла. Видно, это и раньше всталъ, коли меня видѣлъ.

— Да не въ томъ напасть, дѣвушка, что рано встаешь, а въ томъ, за какимъ дѣломъ идешь, да что добрые люди говорятъ...

— А пуцай говорятъ, что хотятъ: всѣхъ не переслушаешь... Поговорили бы со мной: а бы ротъ-то замазала...

— Не замажешь, дочка, коли хвостъ не чистъ... И опять

что говорить: Вонъ Коробиха-то приходила да на повои на-
прашивалась... Такъ матери-то эти разговоры слушать не очень-
то лестно. И опять то сказать, дочка: я тебѣ мать, а не по-
татчица... Ты хоть разговорку-то эту и бойко со мной ведешь,
а я ужъ вижу по всему, что слухъ-то не даромъ про тебя про-
шелъ... Хоть ты у насъ одна, да и мать-то у тебя одна: такъ
ты бы ужъ лучше матери-то повинилась, коли грѣхъ попуталъ...
Мы тебѣ не злодѣи: лучше матери-то никто не покроетъ...

У Татьяны вдругъ навернулись на глазахъ слезы. Она бро-
силась къ матери на шею.

— Матушка болѣзная, доняла ты меня... Кажись, ни слова
бы не молвила, кабы стала ты меня бить да тиранить... А ужъ
теперь винюсь тебѣ... Прикрой ты мой стыдъ... Окрутите что ли
съ кѣмънибудь...

— Экая ты озорная дѣвка, безстыжая, Татьяна: хоть бы ты не
съ женатыми-то... Не нашла ты холостого-то, да получше... хоть
бы не съ этакими плутомъ, пропойцей связалась-то... Нешто на
лясы-то да балясы его польстилася, такъ, кажись, нечего: ты
сама на нихъ мастерица... А онъ, поди, чай, на всѣхъ пере-
кресткахъ похваляется, да бахвалится тобой, по всему свѣту хоро-
шую на тебя помолвку пускаетъ... Въ немъ стыда-то да совѣсти
не много: ему ротъ не замажешь... Знаю я его... Онъ и женѣ-
то своей прямо скажетъ, что съ тобой гулялъ: небойсь и жены
не пожалѣетъ... Ему что? ему все равно... Ахъ ты, Танюха,
Танюха!.. Экого сокола выбрала... Ну, какъ я отцу-то скажу про
это?... Вѣдь онъ не мать... Онъ спасибо не скажетъ... Поду-
мала ли ты о своей головушкѣ?...

Татьяна, молча и отворотясь въ сторону, слушала всю длинную
рѣчь матери. При послѣднихъ словахъ она вдругъ повернулась
къ матери: глаза ея, до сихъ поръ подернутые слезой, вдругъ
высохли и загорѣлись сердитымъ огнемъ.

— А я вотъ что, матушка, о своей головѣ одумала... Зачемъ
я Илюшку полюбила? про то я одна знаю... Пускай онъ плутъ,
пускай пьяница, а нѣтъ мнѣ лучше его... Любъ мнѣ онъ... Ужъ
воли не умѣла концы спрятать: коли прознали люди про нашу

любовь... значить такова моя судьба: надо съ милымъ другомъ разставаться, за постылаго подъ вѣнецъ идти... Мужа съ живою женой не разведешь... Пришло вамъ мнѣ суженаго выбирать... свой стыдъ, а мой грѣхъ покрывать... Кого выберете, за того и пойду: супротивничать родителямъ дѣвкѣ нельзя... Да я за свой грѣхъ и не стану... Съ кѣмъ поставите подъ вѣнецъ: съ тѣмъ и стану... Мнѣ все едино... Согрешила, погуляла на свою дѣвичью волю: теперь ваша власть: выбирайте съ кѣмъ мнѣ жистъ коротать... А только вотъ что, матушка, молвию я тебѣ, а ты батюшкѣ скажи: коли станете вы меня срамить, да попрекать, да тиранить, хорошаго не будетъ... Что ни на есть надъ собою сдѣлаю... А вы лучше окрутите меня поскорѣй съ кѣмъ хотите... Вотъ и весь мой сказъ....

Матрена Поликарповна недовольно покачала головой и вдругъ не нашлась даже что и возразить дочери.

— Не для ради тиранства, а для науки, поучить бы тебя надо, Татьяна, сказала она подумавши: больно ужъ ты озорна, да безстыжа стала.... Да ужъ за покорство твое буду просить отца простить твой грѣхъ... Только смотри: ты ужъ хоть пообщайся мнѣ, что теперь-то не станешь бѣгать къ Илюшкѣ...

— Не стану!.. рѣшительно отвѣтила Татьяна, отворотясь отъ матери.

— Хоть бы ты поклонилась матери-то въ ноги, хоть бы прощенья попросила за свой грѣхъ... Неужто у тебя нѣтъ ни стыда, ни совѣсти?

Татьяна встала и молча поклонилась матери въ ноги.

— Ужъ за покорство за твое и я тебя ругать не стану... Помни же, что общала!... проговорила Матрена Поликарповна, и вышла изъ свѣтелки. Она знала смѣлый и неуступчивый характеръ дочери; знала, что съ нею ссорой да бранью ничего не сдѣлаешь — и была довольна уже и тѣми вѣшними знаками покорности, которые почти выпросила у дочери.

Ночью у Матрены Поликарповны была секретная бесѣда съ мужемъ. Она все рассказала ему.

— Экой разбойникъ, экой мошенникъ! гнѣвался Дмитрій

Петровъ на Ильѣ. Весь родъ ихъ этаконь поганой. Вотъ и отецъ-то: какой капиталъ важный имѣлъ — много ли осталось?... А Илюшка-то и остатки промытарить, совсѣмъ, смотри, прогорить.... въ конецъ... по міру пойдеть!.. А Таньку надо постегать хорошенько... Вотъ что...

— Ну что ты стеганьемъ возьмешь... Она дѣвка характерная: съ ней бѣды только наживешь, — коли крѣпко за нее взяться.. Да и что теперь: хошь стегай, хошь истирай всю, ужъ все одно — не поможешь...

— А ты чего же прежде-то смотрѣла!

— Э-эхъ, Дмитрій Петровичъ, развѣ за дѣвкой усмотришь... Наша Танька умная, а не то что за ней, за послѣдней душой, какова есть дура-дѣвка по деревнѣ, такъ и за той въ этомъ дѣлѣ не доглядишь: всякаго проведеть... Вѣдь не на привязи же ее, въ самъ дѣлѣ, али не за замкомъ держать.

— Знамо, ужъ ваша сестра, коли непутная которая, такъ ужъ ты ее ничѣмъ не отводишь...

— Такъ вотъ то-то и есть... А ужъ и Танюхины годн такіе пришли... Позасидѣлась она у насъ въ дѣвкахъ-то... Сами мы виноваты: давно бы пора ее замужъ выдать... Нечего бы сватовъ-то ждать, а самимъ бы надо женища ей поискать... Намъ же не въ люди ее отдавать, а надо къ себѣ въ домъ принять, такъ самимъ бы и поискать... Пускай хоть и не изъ богатой семьи, да чтобы паренекъ-отъ смиренный, чтобы и у тебя въ послушаньи былъ... и съ нея-то чтобы не больно спрашивалъ...

— Да ужъ и мнѣ, признаться, одному-то трудненько приходится... Чего бы лучше, какъ бы подъ рукой-то свой человекъ былъ: и послать куда съ товаромъ, и все такое... и по дому присмотрѣть... И знамо, первое дѣло, чтобы смиренный былъ, да не-пьющій... У меня, правда, и на слуху есть парень-то, въ Мандурахъ, Сажинъ: очень одобряютъ, и грамотный, говорятъ... А намъ, къ нашему дѣлу, грамотный человекъ дорогаго стоитъ: и прочитатъ что, и записать...

— Да ужъ это на что бы лучше... Такъ чего же, отецъ, думать-то... Вотъ бы и разузнать хорошенько... Семья-то хо-

рошей?... На знати семья-то у тебя, отца-то знаешь, али нѣтъ? Парень-то каковъ изъ себя?...

— Никого не знаю, никого еще не видалъ... А такъ разговорка разъ была у меня съ Демьяномъ, знаешь, изъ Мандуровъ: пряжу я у него бралъ, такъ зашли въ трактиръ чаю напиться... Они сродни Демьяну-то, такъ онъ сказывалъ: семья, говоритъ, смирная, а большая — нуждаются... А парень, говоритъ, чудесный, смиренный и начетчикъ... Въ церкви на крылосу поетъ и дома, говоритъ, какъ праздникъ, развернетъ, говоритъ, псалтырь и въ голосъ такъ и читаетъ...

— Ахъ, отецъ, такъ это чудесно... это бы надо парня-то посмотреть... Что же ты мнѣ ничего не сказалъ до сей поры?...

— Да и изъ ума вонъ совѣмъ. Тутъ съ пряжей-то, да долго ее ѣздить собиралъ, и забылъ совѣмъ, теперь вотъ только вспомнилъ.

— Такъ надо бы сѣбѣ, отецъ, разузнать, чтобы намъ къ осени-то, коли Богъ на сердце положить, да ладн дасть, — и свадьбу бы сыграть...

— Время-то больно теперь не такое: самая горячая работа подходить.

— Что дѣлать-то, отецъ... Ужъ согрѣшили, такъ надо какъ нибудъ хлопотать поскорѣе... Самому некогда, ну такъ хоть я сѣзжу въ Мандуры-то такъ, ровно бы за какимъ дѣломъ, въ базарный день: разузнаю все... Что же, вѣдь, не Богъ знаетъ что, хоть и двадцать пять верстъ... сѣзжу! А мнѣ еще то по мысли, что парень-то не здѣшній, а дальній: по теперешнему-то нашему горю все лучше, не на слуху... А здѣшніе-то, смотри-ка теперь: скоро всѣ въ голосъ закричатъ, чужому-то горю всякій радъ...

— Ладно, пожалуй, сѣзди... проговорилъ, зѣвая, Дмитрій Петровъ. А надо бы эту Таньку постегать... хоть бы для памяти... Озорница экая...

— Ну, отецъ, ты этого и не затѣвай... только срамъ одинъ, хуже... Ужъ произнеси на себѣ... Что дѣлать-то?...

Но Дмитрій Петровъ своимъ храпомъ далъ знать женѣ,

что онъ спитъ. Матрена Поликарповна, лежа около него, долго ворочалась и не могла уснуть, обдумывая предстоящую поѣзду въ Мандуры.

II.

Матрена Поликарповна принялась за розыски жениха и за сватовство съ ретивостью, свойственною всѣмъ замужнимъ крестьянскимъ женщинамъ. Для нихъ нѣтъ дѣла болѣе пріятнаго, болѣе интереснаго и увлекательнаго, какъ свадьба со всѣми ея подробностями: для Матрены Поликарповны это любезное дѣло сопровождалось еще особенной прелестью таинственности, хитрыхъ подходовъ, къ которымъ она должна была прибѣгать, чтобы разузнать о будущемъ своемъ зятѣ и объ его семьѣ всю подноготную.

Мандуры — село небольшое, но съ еженедѣльнымъ базаромъ. Это дало Матренѣ Поликарповнѣ поводъ отправиться въ него въ одинъ изъ базарныхъ дней подъ предлогомъ продать нѣсколько новинъ и скупить пряжи. Она очень хорошо знала, что дѣлается это зимою, раннею весною и поздней осенью, а не въ настоящую рабочую пору, послѣ Петрова дни; но другаго предлога для объясненія своей поѣздки придумать не могла, а надо же было что нибудь сказать сосѣдкамъ на вопросъ: куда? да зачѣмъ ѣздила? Матрена Поликарповна наравнѣ съ мужемъ занималась торговлей, когда позволяло домашнее хозяйство: скупала пряжу, раздавала ее въ точу на холсты и полотна, которые потомъ и продавала; значить выѣздъ ея изъ дома по торговому дѣлу не могъ ни въ комъ возбудить особаго вниманія.

Въ Мандурахъ Матрена Поликарповна какъ слѣдуетъ въѣхала на базаръ, заняла мѣсто съ своей телегой, отпрягла лошадь, привязала ее сзади, выложила наружу въ телегѣ для виду нѣсколько холстовъ и сама сѣла возлѣ нихъ, не ожидая покупателей и продавцевъ, но высматривая какого нибудь знакомаго человѣка, съ которымъ можно бы было рѣчь повести о нужномъ дѣлѣ. Недолго ждала она; въ ней скоро подошелъ

тотъ самый Демьянъ, о которомъ говорилъ въ ночной бесѣдѣ Дмитрій Петровъ. Его-то больше всего и хотѣлось повидать Матренѣ Поликарповнѣ, и она очень обрадовалась этой встрѣчѣ; но и виду не показала. Демьянъ человѣкъ знакомый и не кое-какой: хотъ и не богатъ, а все маленькая копѣйка водится; маклачилъ онъ пряжей, скупалъ ее у бабъ по мелочи и потомъ перепродавалъ крупнымъ покупателямъ, въ числѣ которыхъ считался и Дмитрій Петровъ: это-то ихъ и познакомило.

— Матренѣ Поликарповнѣ! сказалъ онъ подходя. Какими такими судьбами?

— А вотъ новинишекъ осталось: завалились... Около-то насъ всѣ ужъ накупились, такъ и надумалъ большакъ-то: съѣзди, чу, въ Мандуры — не продашь ли тамъ. Да и пряжи купишь, коли попадется: можетъ у кого тоже завалилась отъ весны-то...

Демьянъ сейчасъ смекнулъ, что тетка Матрена не за тѣмъ пріѣхала, ибо очень хорошо зналъ, что въ лѣтнюю пору ихнаго товара ни купить, ни продать нельзя; но тоже и вида не показавъ, что не повѣрилъ Матренѣ.

— Ну, давай Богъ тебѣ купить и продать поскладнѣе да повыгодиѣе... Чай, почувешь здѣсь: я бы тебѣ товарца-то искалъ да показавъ...

— Нѣтъ, почевать-то бы мнѣ не охота: время-то, знаешь, какое; тоже работа въ полѣ, лошадь-то больно нужна дома...

— Эка, такъ тебѣ бы надо ее хотъ на дворъ поставить покормиться-то, а то что здѣсь на жарѣ да на мухахъ стоять: какая ѣда... Тоже дорога до васъ не ближняя, чай, пристала...

— Да у меня знати-то тутъ никого нѣтъ: не вѣду куда поставить-то...

— Ко мнѣ бы, по знакомству, да только что изба-то моя въ отдаленности отсюда: на вскраю живу... Да постой-ка, у меня свать здѣсь есть: Сажины прозываются... Вотъ тутъ недалечко и изба-то ихняя... Къ нему и поставимъ.

— Экой мужикъ умный, подумала про-себя Матрена, сейчасъ дѣломъ смекнулъ, что надо: и видно, что торговый чело-

вѣкъ! — Сажинныхъ-то ей и нужно было, для нихъ-то она и въ Мандурн ѣхала.

— Какіе это Сажинны? спросила она вслухъ. Ничто я про нихъ и не слыхивала...

— Не сумлѣвайся, тетка Матрена, мужикъ степенный, работащій... Семья только его съѣла: хода не даетъ, да и самъ-то вдовъ, а то бы онъ, куда тѣ! — отъ людей бы не отсталъ... Вотъ сыновья-то стали подростать, такъ и онъ поправляться началъ: старшаго-то женилъ о запрошломъ годѣ, а второй ужъ тоже женихъ... Семенъ... Ахъ какой пречудесный парень: такой смиренный, ровно дѣвча... И грамотный... Подишь ты вотъ, старикъ-отъ какой: даромъ что экая семья, а сына грамотѣ обучилъ...

— Ахъ, почтенный, стало быть, человекъ... умный!... А матери-то нѣтъ?...

— То-то нѣтъ, вдовъ: года три ужъ побывшилась... Ну, а за вдовца при малыхъ дѣткахъ кто пойдетъ, сама ты подумай: такъ безъ хозяйки цѣлый годъ и жилъ. Вотъ ужъ теперь сноху-то взялъ, такъ она и большничаетъ... Да что говорить: люди первый сортъ, вся семья... Не сумлѣвайся, тетка Матрена... пристань, за постой ничего не возьмутъ — не бойся!... Я говорю хоть лошадь-то передохнетъ маленько въ тѣнѣхъ-то...

— Да я очень благодарна, только бы какъ... потому люди незнакомые...

— Говорю не сумлѣвайся: съ полнымъ удовольствіемъ! не взыщи только: чѣмъ богаты... Ты постой-ка тутъ, а я сбѣгаю только узнаю: есть ли кто въ избѣ-то... Да коли котораго парня захвачу, такъ и приведу: онъ тебѣ и лошадь отведетъ...

— Покорно тебѣ благодарю за твою ласку и неоставленіе...

— Ну-ка полно, Матрена Поликарповна: кажись, на-знати люди... Дмитрій-то Петровъ почитай одинъ всю пряжу у меня забираетъ... Можетъ, когда и не оставитъ: и деньжонками ссудитъ подъ пряжу, особливо, какъ ежели Богъ дастъ...

Но Демьянъ спохватился и не докончилъ словъ, которые были бы теперь еще очень преждевременны и неприличны.

— Такъ ты пообожди, Матрена Поликарповна, продолжалъ онъ. Я минутой сбѣгаю, а ты тѣмъ часомъ на базарѣ-то погулай: можетъ и товарцу поприсмотришь, али купецъ какой набѣжить... у тебя что купить...

Демьянъ ушелъ, а Матрена Поликарповна думала про-себя: ужъ, видно, такое это Божье произволеніе! Надо же такъ быть: какъ прѣехала, такъ и Демьяна встрѣтила... И парень-то грамотный, а Дмитрію Петровичу куда какъ хотѣлось грамотнаго-то зятя... Да ужъ и на что же лучше по нашему положенію: парень не балованный, смиренный, выросъ не въ богатствѣ, работающій да еще и грамотѣ знаетъ... Надо Господа благодарить, коли дѣло сдѣлается... Вотъ только большака самого, да домъ по-смотриѣть... А тутъ и сватовъ посылать... Эхъ, Танюха, Танюха, еще Божіе милосердіе къ намъ грѣшнымъ велико: ну-ка, и изъ чужой стороны, ничего не знаетъ, и человѣкъ-отъ хорошій, смиренный...

Среди такихъ размышленій Матрена Поликарповна замѣтила еще издали Демьяна, который шелъ по направленію къ ней въ сопровожденіи молодого парня. Тетка Матрена сейчасъ смекнула, что Демьянъ велъ жениха, и стала внимательно всматриваться въ него.

— Хозяева милости просятъ, Матрена Поликарповна, сказалъ Демьянъ подходя. Вотъ Сеня тебѣ лошадь-то запряжетъ и отвезетъ на дворъ вмѣстѣ съ возомъ... На базарѣ-то, видно, ужъ нечего ждать: расходится... Да и базаришко-то былъ дрянной, народу-то совсѣмъ нѣтъ никого...

Семень поклонился Матренѣ Поликарповнѣ. Это былъ молодой парень, высокій, худощавый, смугловатый, съ длиннымъ блѣднымъ лицомъ, на которомъ торчала маленькая борода и какъ-то полусонно смотрѣли большіе черные, глубоко впавшіе глаза. На первый взглядъ онъ казался недурень собою, но имѣлъ видъ какъ-будто запуганнаго и пришибеннаго; добродушно-глуповатая улыбка не сходила съ его красивыхъ губъ. Очевидно на показъ и второпяхъ онъ надѣлъ праздничный синій кафтанъ сверху грязной обыденной рубахи. Семень, по своему вѣншему

виду, сразу понравился Матренѣ Поликарповнѣ. Она съ охотой соглашалась, чтобы онъ запрягъ въ телегу ея лошадь и втихомолку наблюдала, какъ онъ это дѣлалъ. Расторопный дядя Демьянъ, помогавшій Семену, успѣлъ и въ этомъ отношеніи отрекомендовать его будущей тещѣ съ самой выгодной стороны: лошадь была нитомъ запряжена и Семень съ возжами въ рукахъ уже сидѣлъ на передкѣ.

— Присядите, тетенька, али пѣшкомъ дойдете? спрашивалъ онъ Матрену Поликарповну.

— Поѣзжайте, любезнннкій, пажкомъ, а мы съ дядей Демьяномъ за вами поидемъ. Ужъ оченно мнѣ совѣстно на вашей ласкѣ...

— Ничего, тетенька... Пожалуйте, милости просимъ.

Телега тронулась.

— Пречудесный парень! — говорилъ Демьянъ, мигая на Семена.

— Да, должно быть тихій...

— И-и... одно слово красная дѣвка... А работникъ какой, для дома..... Пословный парень...

Изба Семенова отца произвела на Матрену Поликарповну весьма неблагоприятное впечатлѣніе: она носила на себѣ всѣ признаки бѣдности, недостаточности и даже безхозяйственности владѣльцевъ. Крыша на дворѣ раскрыта, крыльцо гнилое пошатнулось, разбитое окно затенуто тряпичей — все это мозолило глаза богатой и заботливой хозяйки, какою была Матрена; но за то въ избѣ ее встрѣтила вся семья съ такимъ почтеніемъ, внимательностью и угожденіемъ, что дурное впечатлѣніе скоро изгладилось. Что же дѣлать съ бѣдностью-то, думала Матрена, она не все отъ человѣка, бываетъ и отъ Бога: не дастъ Богъ счастья, такъ ничего не подѣлаешь. А они люди добрые, простые, радѣльные такіе!... Да, вѣдь, и не въ этой же избѣ жить Танюшкѣ: слава Богу, въ своей прожить.

Разговоръ шелъ все о вещахъ постороннихъ: объ урожаѣ, повинностяхъ, о попѣ, о торговлѣ, о семьѣ, изъ которой взята сноха, и только мимоходомъ коснулся лѣтъ Семена и его грамот-

ности. Семенъ почти вовсе не принималъ участія въ разговорѣ и на вопросы прямо къ нему обращенные отвѣчалъ коротко и скромно, что очень понравилось Матренѣ.

Послѣ двухъчасоваго пребыванія въ душѣ ея сложилось окончательное убѣжденіе, что Семенъ — суженый Татьяны. Прощаясь, она сдѣлала даже тонкій намекъ на это.

— Прощайте, Сидоръ Спиридоновичъ, говорила она отцу Семена. Покорнѣйше благодарю на привѣтѣ и ласкѣ вашей. Напредки не оставьте. Хотя и далеко живемъ, а всяко бываетъ... Гора съ горой не сходитъ, а промежъ людей мало ли что бываетъ: и чужіе родичи родныхъ прилучаются... Къ намъ милости просимъ: Богъ дастъ путь-дорога лежать будетъ въ нашу сторону... Просимъ милости: не оставьте...

Демьянъ и Семенъ провожали Матрену Поликарповну до самаго выгона, и она очень любезно распрощалась съ женихомъ.

— Ну, теперь смотри, скоро сватовъ придетъ, сказалъ Демьянъ Семену, оставшись съ нимъ наединѣ. Счастливъ ты, Сенька: у Дмитрія-то Петрова деньжищъ этихъ лопатой не повороотишь... Да и дѣвка-то — король...

Семенъ осклабился.

— Что же не кланяешься, не благодарствуешь мнѣ?... Али не чувствуешь?...

— Чего не чувствовать, дядюшка Демьянъ... Завсегда долженъ чувствовать...

— То-то же! Смотри, женишься, чтобы завсегда я былъ первымъ гостемъ... А когда нужда, на оборотъ и деньжонокъ дай... Крѣпонецъ Дмитрій-то Петровъ, а все ты замѣсть сына у него будешь: дочь-то одна... Все онъ долженъ тебя къ дѣлу своему приспособить, все деньги въ рукахъ будутъ... Вотъ ты завсегда дядю Демьяна и помни, что который все твое благополучіе могъ тебѣ предоставить...

— Буду помнить, дядюшка Демьянъ.

— То-то, смотри...

III.

Послѣ секретнаго разговора съ женою, Дмитрій Петровичъ, при встрѣчѣ съ дочерью, не вступая ни въ какія объясненія, ограничился только очень коротенькимъ внушеніемъ:

— Ты что выдумала, озорница, а?... сказалъ онъ Татьянѣ. Возьми бы тебя нужно за это... Ишь ты!... Ты гляди у меня, чтобы и духа этого больше не было... Безстыжіе глаза!... Кто тебя теперь возьметъ экую?... Слышь, чтобы и званія и духа того не было около тебя... и близко не поддувай его къ себѣ... А что изобью...

Татьяна молча, насушившись и отворотясь, слушала отца и ждала, что онъ примется ее бить; но Дмитрій Петровъ ушелъ изъ избы, только крѣпко хлопнувъ дверью, и затѣмъ считалъ всѣ свои обязанности, какъ отца, исполненными. Онъ былъ человѣкъ неразговорчивый и безучастный ко всему, кромѣ прибытка. Самъ себя составивши состояніе, онъ только и думалъ, только и заботился, что о сохраненіи и увеличеніи его: стремленіе къ наживѣ поглотило всего его, безраздѣльно. Живя ладно съ женою, имѣя только одну дочь, онъ никогда не обижалъ ихъ, не отказывалъ ни въ чемъ нужномъ, давалъ имъ полную свободу; но ни жена, ни дочь не видали никогда отъ него ни особенной заботы о себѣ, ни тѣмъ болѣе ласки. Онъ не былъ ни золъ, ни эгоистъ, но и не жилъ для семьи своей: на базарѣ, въ торговлѣ, за своимъ дѣломъ — вотъ гдѣ была его настоящая жизнь; здѣсь онъ былъ и веселъ, и разговорчивъ, и оживленъ; домой онъ приходилъ только ѣсть и спать.

Дочь ничего къ нему не чувствовала: нѣ любви, ни привязанности, но признавала за нимъ право взыскивать и наказывать, и всегда ждала отъ отца скорѣе брани и побоевъ, чѣмъ ласкового слова, хотя не видала, и не слыхала ни того, ни другого. Какъ ни была смѣла и бойка Татьяна, но отца она побаивалась. Оставшись одна послѣ его угрозы, она задумалась.

— Вотъ теперь всѣ узнали, думала она. Прощай, мой Илю-

шенька—голубчикъ, прощай удалая головушка. Не много мы погуляли съ тобой, своей волюшкой потѣшились; разведутъ насъ теперь по угламъ: тебѣ съ женой постылой жить, меня окрутятъ съ немилымъ мужемъ мыкаться... А и разбойникъ-же этотъ Илюшка: ровно ворожбой какой приворожить меня. Вѣдь, не писанный же онъ, и знаю, что женнинъ мужъ, а такъ бы я все на него и смотрѣла, такъ бы все его рѣчей и слушала... Ни стыдобушекъ, ни зазорушекъ, ниѣ нѣтъ передъ нимъ... Ужъ сказала, что не стану съ нимъ водиться: такъ не стану, а хотъ разоукъ еще одинъ да повидаю его, разбойника, хотъ въ глаза его плюну безстыжіе за то, до чего онъ меня, дѣвкѣ, довелъ, что люди всѣ пальцами показываютъ, да на смѣхъ поднимаютъ; хотъ попрекну, что отъ живой жены за дѣвкой бѣгаетъ и концовъ хоронить не умѣетъ. Вотъ пускай теперь, злодѣй, знаетъ, что пойду за-мужъ не по выбору, а за кого велать... Ужъ хотъ наплачусь, да и наругаюсь надъ нимъ, супостатомъ: не замай дѣвкина сердца, не привораживай, коли взять за себя нельзя... Ну-ка, и самъ-дѣлѣ первая я дѣвка была на всю округу, какой бы парень самый наилучшій на меня не польстился, а онъ, разбойникъ, ну-ка, что со мной сдѣлалъ... И чѣмъ онъ, чѣмъ только къ себѣ привораживалъ?... Куда у меня разумъ-то дѣлся, чѣмъ онъ языкъ-отъ мой рѣзвый припечаталъ, чтобы обрить, оборвать его, насмѣшника, чѣмъ онъ силу изъ меня вынималъ, чтобы не идти мнѣ, дѣвкѣ, къ нему, когда звалъ, чтобы руки ему обломать, когда обнялъ впервой... Нѣтъ, вѣдь, сами ноженьки бѣжали къ нему, сами рученьки держали его, самъ языкъ слова говорилъ ласковыя, небранчивыя, а сердечушко при немъ, разбойникѣ, то застынетъ совсѣмъ, то восколыхнется, ровно нивѣсть радость какая вмѣстѣ съ нимъ придетъ... Погоди-жъ ты, супостатъ, живи-жъ ты теперь съ нелюбой женой, пускай она тебѣ твои космы чешетъ, пускай она тебѣ сладкія рѣчи говорить, ей свои шутки шути, свои прибаутки рассказывай, съ ней и въ хоровахъ ходи, съ ней и пѣсни пой...

Татьяна совсѣмъ притихла, сѣла за точку и почти никуда не выходила изъ дома. Настоящая причина отъѣзда матери въ Мандурѣ была ей неизвѣстна, но она, конечно, не вѣрила, что мать

ѣдетъ туда, ради торговли, и догадывалась, что дѣло идетъ объ ея сватовствѣ. Когда мать уѣхала, первую мысль Татьяны было воспользоваться ея отсутствіемъ для послѣдняго свиданія съ Ильей. Матрена Поликарповна поѣхала съ ночи, чтобы къ утру посѣть на базаръ, отецъ присматривать не станетъ; слѣдовательно, отлучиться изъ дома было очень удобно. Но какъ дать знать Ильѣ, какъ вызвать его изъ избы? думала Татьяна, сидя ночью у раскрытаго окошка своей свѣтелки. На улицѣ было все тихо, только ржали лошади, пасшіяся на скошенныхъ гумнахъ, да перекликались изрѣдка пѣтухи. Вдругъ Татьяна услышала, что ее кто-то снизу, съ улицы, назвалъ по имени. Она высунулась изъ окна и въ тѣни, въ углу дома, съ трудомъ разсмотрѣла прижавшуюся фигуру человѣка, въ которомъ тотчасъ же узнала Илью.

— Экой злой духъ, подумала Татьяна, точно кто ему сказалъ. Вотъ мужикъ-отъ... Ровно ножъ вострый въ сердце...

— Выйдешь, аль нѣтъ? прошепталъ тотъ же голосъ.

— Нишени... Сейчасъ... также тихо отвѣчала Татьяна.

Босая, неслышнымъ шагомъ, несмотря на свое дорожество, спускалась Татьяна съ крыльца, и еще не сошла съ послѣднихъ ступенекъ, какъ ее обхватили руки вывернушагося изъ-за стѣны Ильи.

— Лапушка! приговаривалъ онъ, сжимая Татьяну съ крыльца и собираясь ее поцѣловать; но Татьяна съ силой вырвалась и оттолкнула его отъ себя.

— Что ты? спросилъ удивленный Илья.

— Нишени... Иди сюда... проговорила Татьяна, пробираясь около стѣны дома и двора.

Илья шелъ вслѣдъ за нею.

Когда они дошли такимъ образомъ до самаго укромнаго и скрытаго отъ чужихъ глазъ мѣста, между полѣнницами дровъ, стоявшихъ сзади двора, Татьяна остановилась. Илья бросился было къ ней съ ласками, но она опять сурово оттолкнула его.

— Да что ты, Танюха? спросилъ опять вновь озадаченный Илья. Со сна что-ли сердита?

— Не цѣловаться я съ тобой пришла, не миловаться: на то время прошло, другъ сердечный... Посчитаться я съ тобой хочу: зачѣмъ ты, чужой мужъ, меня, дѣвку, съ пути сбиль, зачѣмъ на-сильхъ людямъ пустилъ? зачѣмъ меня въ сухоту во-гналъ?...

— Да что? Али что подѣлалось?

— Что подѣлалось — ты самъ давно знаешь... только объ этомъ рѣчей у насъ съ тобой не было. А вотъ теперь время пришло и рѣчь о томъ завести... Всѣ люди про нашу любовь прознали: до матушки съ батюшкой довели... Была я дѣвка первая, стала черезъ тебя, разбойника, послѣдняя... Теперь мнѣ жениха ищутъ: найдутъ, не спросятъ: любовь ли? силкомъ отдадутъ дѣвку гулящую...

— А ты не ходи, коли не любъ...

— Да любой-то мой чужеземный мужъ... Приворотный-то мой — злодѣй мой проклятый. За него что-ли я пойду? Ну-ка молви, безстыжіе глаза!...

— Такъ, али ты впервой узнала, что я чужеземный мужъ... Кажись, не чужой деревни, въ одной живемъ... Не силкомъ бралъ, по любви сошлись...

— Я-то знала, да про любовь-то нашу люди не знали... Силкомъ-то меня взять мало ето возметь, да любовь-то моя съ чего ко мнѣ пристала? Вотъ ты что мнѣ молви: съ зелья-ли, съ приворота-ли, али съ обхода какого?

— Съ удали молодецкой, съ припѣвки моей, да съ присвисту — вотъ съ чего, Танюша.....

— А ты не замай, не трожь, тебѣ говорить. Не зачѣмъ пришла... Тебѣ ласы точить да бахвалиться, а мнѣ горе горевать да плакаться: такъ не такая я, парень, дѣвка.... Коли не умѣлъ отъ людскаго глаза уберечься, коли далъ прознать людямъ про нашу пробывку полюбобную, про мой стыдъ что съ мужикомъ женатымъ связалась, коли приходитъ мнѣ теперь за-мужъ идти за не-милаго, такъ не тѣшиться же и тебѣ моей красой... Былъ у тебя свѣтъ въ глазахъ, была Танюха, что ни на есть первая дѣвка, хороводница, пѣсельница, а теперь нѣтъ про тебя ее, а

*

есть про тебя одна жена не-милая, плаксивая, слюнявая... Ступай къ ней, а здѣсь тебѣ нѣтъ череда... Слышалъ....

— Такъ-то, Татьяна Дмитревна... проговорилъ озадаченный, неожиданный такой выходки Ильи.

— Такъ-то, Илья Кузьмичъ... Уходи, проваливай... Понимай другой экой-то дѣвкѣ: коли найдешь, приходи похвастаться... Коли угодила я своей рѣчью тебѣ подъ сердце, такъ мнѣ и лучше не надо... слаще мнѣ это меда... счастливо оставаться!..

Татьяна пошла прочь отъ Ильи. Онъ нагналъ и схватилъ ее за руку.

— Не трожь, а то на всю деревню закричу: всѣхъ перебулгачу... громко сказала Татьяна, вырывая свою руку. Подъ къ женѣ: на что лучше своя законная.... прибавила она со злобнымъ смѣхомъ, ускоряя шаги къ дому.

— Татьяна Дмитревна, да чтожъ ты и самъ-дѣлѣ... Чтожъ ты молъ-то рѣчей не хочешь выслушать... говорилъ Илья, слѣдуя за ней.

— Свои-то рѣчи ты женѣ побереги, да и мои перескажи: вотъ, молъ, дѣвка какая, не разлучница, сама много дружка прогнала отъ себя, къ женѣ спать послала...

Татьяна подходила къ крыльцу. Илья опять хотѣлъ остановить ее.

— Тая, лапушка, да постой...

— Миндали-то эти ты женѣ разводи, а мнѣ до тебя никакого дѣла нѣтъ... Проваливай... Отстань, надсадики ты мой окаянный... При послѣднихъ словахъ въ голосъ Татьяны слышались слезы, но она съ такой силой толкнула Илью, который было ее обнималъ, что тотъ едва устоялъ на ногахъ, и быстро безъ всякой уже осторожности взбѣжала на крыльцо, и захлопнула за собою сѣнную дверь.

Придя въ свѣтелку, она бросилась на лавку и на-вернудъ заплакала.

Илья нѣсколько минутъ постоялъ около крыльца, почесался, выругался, и пошелъ домой.

IV.

Матрена Поликарповна подробно сообщила мужу о результатах своей поездки и своих наблюдений.

— Миѣ очень пришлося по мысли паренекъ-то, заключила она: такой смиренный, поклончивый...

— А пуще всего грамотный: это-то вотъ миѣ ужъ очень любо... замѣтилъ Дмитрій Петровъ.

— Ну и самъ-то старикъ ничего, человекъ разсудительный... Конечно, бѣдность у нихъ, недостатки, да, вѣдь, это какъ кого Богъ наградить..... А по моему, изъ бѣдной-то семьи намъ лучше еще взять: больше въ глаза будетъ смотрѣть, больше станетъ слушаться: знаетъ, что все у тестя да у тещи въ рукахъ.. И родня-то все ужъ больше будетъ съ почтеніемъ да съ угожденіемъ...

— Такъ что-же, надо коли хлопотать...

— Надо, надо, Дмитрій Петровичъ: ни искать другаго, ни думать нечего... Парень подходящій!... нечего сказать!... Вотъ, смотри, дядя Демьянъ, онъ мужикъ догадливый, онъ домыслилъ дѣломъ-то, смотри гдѣ нибудь да ужъ до тебя дотолкнется и рѣчь заведетъ на-счетъ этого, такъ ты его больно-то и не отваживай, тянуть-то нечего, а такъ молви слово, что, молъ, у насъ въ дому двери для добрыхъ людей не заперты, завсегда милости просимъ... Обо всякомъ-молъ дѣлѣ говорить надо помолвившись да подумавши...

Но Дмитрію Петровичу не пришлось искать и долго ждать встрѣчи съ дядей Демьяномъ. Въ первый же ближайшій праздникъ онъ самъ явился прямо въ домъ къ Дмитрію Петрову. Матрена, завидя его, тотчасъ же удалила изъ избы Татьяну, и послала разбудить и позвать спавшаго мужа.

— Вотъ, Матрена Поликарповна, не въ долгихъ и къ вамъ Богъ привелъ... Не осудите! говорилъ, раскланиваясь, Демьянъ.

— Оченно благодарна, милости просимъ. Дорогимъ гостямъ,

завсегда рады... Али къ большаку на-счетъ какихъ вашихъ дѣловъ?

— Да, то есть, дѣльцо-то оно у меня, конечно... Наши торговны дѣла такіа, что завсегда объ нихъ разговоръ имѣть можно... Нѣтъ, тутъ я за должнишкомъ ѣздилъ вотъ въ Троиинское, да по сосѣдству и къ вамъ, мимоѣздошъ... Гдѣ же Дмитрій-то Петровичъ?..

— Да онъ дома... Поди, чай, спитъ праздничнымъ дѣломъ на сѣновалѣ... Сейчасъ придетъ... Да чтой-то ты гдѣ сѣлъ, дядя Демьянъ, больно далеко... Сядисъ поближе къ столу-то, честнѣе будетъ.

— Ужъ больно ты меня почѣстно примашь, Матрена Поликарповна, больно высоко сядишь... замѣтилъ лукаво Демьянъ, пересаживаясь къ столу подъ образами. Господи благослови, мѣсто-то хорошо: крѣпко бы мнѣ на немъ сидѣть, да съ той же честию уйти, съ коей пришелъ... Бываетъ то не хорошо, Матрена Поликарповна, какъ гостя-то посадятъ высоко, а послѣ за рукавъ и выведутъ изъ избы-то...

— Это, вѣдь, Демьянъ... какъ васъ по батюшкѣ-то?..

— Прохорычъ... привставши и поклонившись отвѣтилъ тотъ.

— Это, Демьянъ Прохорычъ, отъ рѣчей бываетъ: какія кто рѣчи говорить... Коли рѣчи тѣ отъ гостя по мысли да по сердцу, такъ его не то что подъ Богомъ садятъ, а и угощеніе правятъ; а коли рѣчи не въ согласъ идуть, такъ извѣстное дѣло: взялъ за рукавъ да и вывелъ...

— Это такъ, Матрена Поликарповна, вѣрно твое слово: коли я, быть, купецъ и пришелъ къ тебѣ за товаромъ, а товаръ-то у тебя не продажный... ну, ты стало быть мнѣ и отказъ предлагаешь: вотъ Богъ, а вотъ порогъ... Или хотъ онъ и продажный, да не по моей силѣ, и обидно тебѣ даже, что я съ неимтой рожей язнулъ и торговать-то его... Ну стало быть тебѣ тоже рѣчей со мной тратить не приходится, а значить: за руку, да и вонъ изъ избы... Это такъ, вѣрно: тутъ и обижаться нечѣмъ, на все власть — воля Вожія, Вожіе положеніе... о томъ ему, Создателю, и молимся... Одинъ богатъ да уменъ... другой

бываетъ и бѣденъ да счастливъ. Какъ кого Господь наградить... О томъ и я тебѣ благодарствую, Матрена Поликарповна, что ты насъ при нашей бѣдности и при нашемъ богатствѣ на большое мѣсто сажаешь... То-то и спрашиваю, крѣпко ли мнѣ будетъ сидѣть... Не обидѣть бы тебя... Такъ ли, я говорю?...

— Счастье-то въ людяхъ, говорятъ, отъ ума живетъ, Демьянъ Прохоричъ: который человекъ и бѣдный, да наградить его Создатель разумомъ, онъ никогда никого не обидитъ, потому слова знаетъ умныя, и разговоръ такой поведетъ, что можетъ всякое дѣло себѣ на счастье поворотить... А у насъ съ мужемъ такой ладъ: умному человеку всегда большое мѣсто...

— На томъ покорнѣйше благодаримъ, Матрена Поликарповна, что не обезсудила, первымъ рѣчамъ моимъ остуды не дала... а тамъ Богъ...

Въ это время въ избу вошелъ Дмитрій Петровичъ. Онъ былъ со сна, глаза красные, лицо потное, въ волосахъ торчало сѣно.

— А-а, Прохоричъ... Добро пожаловать...

Демьянъ церемонно раскланивался и уступалъ свое мѣсто хозяину.

— Садись-ка, садись... Что-же, хозяйка, самоварчикъ бы наставила. А я, братъ, соснулъ чудеснымъ манеромъ... на свѣженькомъ-то сѣнцѣ важно... Вотъ теперь чайку-то испить первый сортъ... Что жъ, Поликарповна, наставь самоварчикъ-то для гостя...

Но Матрена даже не пошевелилась: ея лицо выражало неудовольствіе. Дмитрій Петровичъ догадался, что еще разговора окончательнаго не было и что слѣдовательно угощать свата еще рано и неприлично.

— Ну что, какъ дѣла? обратился онъ къ Демьяну.

— А что, Дмитрій Петровичъ, дѣла на свѣтѣ всякія: и худыя, и хорошія... Кому какъ Богъ дастъ... Иной бьется-бьется, а ничего не дается, а другому все въ руку...

— Знамо, все отъ Бога, отвѣтилъ, зѣвая въ руку, Дмитрій Петровъ. Надо больше Богу молиться; грѣшны мы, мало Богу-то молимся...

— Иной и Богу-то молиться не умѣеть... Хорошо какъ кто въ грамоту учень, тому хорошо: развернулъ Божію книгу, да и читай... Его и Богъ скорѣй услышитъ...

— Это вѣрно...

— Вотъ у Сажинныхъ, ты, Матрена Поликарповна, видѣла: оба парня-то хороши, и старшій, и меньшой, и разумъ-то у нихъ ровный, а меньшой-то всегда верхъ возьметъ, потому грамотный: въ церковь ли пришелъ — сейчасъ на крылось, руку приложить — сейчасъ бѣгутъ за Семеномъ, его и попъ знаетъ, и все такое... И пойдетъ человекъ въ люди. Правильно ли я говорю, Дмитрій Петровичъ?.. Матрена Поликарповна?

Но Дмитрій Петровичъ вѣсто отвѣта только промчалъ что-то и зѣвнулъ въ руку, а Матрена Петровна даже глазами не моргнула, точно ничего и не слыхала.

Прошло нѣсколько мгновений совершеннаго молчанія. Демьянъ кашлянулъ.

— Вотъ ты гостила у Сажинныхъ-то, Матрена Поликарповна: какъ тебѣ семья-то ихняя?...

— Ничего, они люди такіе ласковыя, пріятныя... Нужда, видно, только большая...

— Сама видѣла, какая семья-то?.. А ничего, они поправляются... Вотъ старикъ - отъ срубы присматриваетъ, другую избу хочетъ ставить: неравно, говорить, сына второго женю, такъ, чтобы было гдѣ жить съ женой; ему, говорить, и отдакъ, и самъ, говорить, съ нимъ буду жить, да помогать, а старшій пускай говоритъ, живетъ въ отдѣлѣ.... Что-же, вѣдь, это онъ правильно говоритъ, что надо ему меньшаго сына на первыхъ порахъ поддерживать: ему помогать?

— Что же, дай Богъ добра всякому хорошему человеку!.. уклончиво проговорила Матрена.

— Нѣтъ, я на-счетъ того, что Семену-то, коли отецъ вьстроитъ ему новую-то избу, да женить и самъ къ нему перейдетъ жить — и очень превосходно будетъ. Жена въ дому будетъ большая, отецъ на-счетъ поля, а онъ самъ человекъ гра-

ПОТНІЙ: ТЫ ЕГО КУДА ХОШЬ ПОВЕРНИ, ОНЪ НА ВСЯКУЮ РУКУ.... И ТОРГОВЛЕЙ МОЖЕТЪ ЗАНЯТЬСЯ...

Демьянъ примолкъ и опять ожидалъ какого либо замѣчанія.

— Конечно, всякій человѣкъ старается, чтобы какъ ему было лучше и вальготнѣе... опять также уклончиво проговорила Матрена.

Затѣмъ опять наступило молчаніе. Демьянъ снова каплянулъ.

— Ну, хозяйева, сказалъ онъ наконецъ: посадили вы меня въ мѣсто, сдѣлали вы меня гостемъ, не обезсудьте теперь на моихъ рѣчахъ... Онъ привсталъ и поклонился.

— Говори: слушаемъ! сказалъ Дмитрій Петровичъ.

— Если будете говорить къ дѣлу, такъ и мы вамъ будемъ отвѣчать по дѣлу, а на бездѣльные рѣчи мы не отвѣтчики! прибавила съ своей стороны Матрена Поликарповна съ гордымъ достоинствомъ и спокойствіемъ.

— По моему бы моя рѣчь къ дѣлу и отъ чистаго сердца, а любя ли она вамъ будетъ, вы мнѣ по дѣлу и скажете, а въ обиду себѣ не полагайте. Сама ты видѣла, Матрена Поликарповна, парня Семена Сажина: каковъ онъ есть изъ себя человѣкъ и что въ него Богомъ положено, мнѣ говорить о томъ, стало быть, нечего... Сама ты изволила молвить, что по уму человѣку и счастье бываетъ... Надо дѣло говорить: о Семеновомъ счастьѣ и пришелъ я вамъ кланяться... Если не противны вамъ мои слова, примите меня за свата: у васъ товаръ, у меня купецъ: не богатъ да тароватъ, не знатенъ да уменъ, не съ гордостью, а съ поклономъ да съ почестью... Не знаю во что положите: подъ Богомъ ли сидѣть да съ хозяевами въ согласіи хлѣбъ-соль водить, или поклонъ да и вонъ, отъ воротъ поворотъ да и съ Богомъ домой?... На чемъ порѣшите, то и говорите: мы бьемъ челомъ съ поклономъ и съ прошеньемъ, а тамъ Божья воля да родительская...

Демьянъ вновь поклонился и замолчалъ. Матрена удерживалась отъ отвѣта, уступая эту честь и право большаку, хотя ей сильно хотѣлось говорить.

— Говори, жена: это ваше бабье дѣло... Ты мать!... сказалъ Дмитрій Петровичъ.

— Мы купцомъ не брезгуемъ, хоть и товаръ у насъ не дешевый, не хаеный... Поклонъ вашъ и почтеніе за цѣну беремъ, хоть купцы вы и не богатые. Не все богатство — и человѣкъ нуженъ; не все деньги — и послуга дорога, а больше того миръ да любовь и къ родителямъ почтеніе. Семенъ Сидоровичъ не зазорный женихъ: тихой онъ парень и смиренный, и при грамотѣ — этого отнять у него нельзя. А только то надо, сватушка, въ умѣ вамъ держать, что дочь-то у насъ одна, какъ свѣтъ въ глазахъ, какъ сердце въ утробѣ... Отдать ее въ люди, ровно свѣтъ изъ глазъ вынуть, этого и думать нечего: въ люди мы ее не отдадимъ. Не со свекромъ ей жить и со свекровью, а такъ мы въ умѣ положили: пускай она намъ въ домъ сына приведетъ, чтобы намъ старикамъ смотрѣть да тѣшиться, да уму-разуму дѣтей учить и внучать качать, и изъ теплыхъ рукъ своимъ дѣткамъ, за ихъ любовь и почтеніе, что ни скопимъ — все пожаловать... Вотъ вы что, сватушка, должны въ предметѣ имѣть: коли къ тому рѣчь ваша шла, такъ и разговоръ у насъ будетъ, а коли къ чему другому, такъ сочти, что и рѣчей твоихъ не было, что и не слыхали мы ихъ.

— Да, это говорить нечего: въ чужой домъ не отдамъ... подхватилъ Дмитрій Петровичъ. которому многорѣчіе Демьяна и жены уже стали надоѣдать. Коли хочеть приязниться, такъ вотъ толкуйте съ женой: она парня хвалить... А это нечего пустое и говорить: избу выстроить, да отдѣлать сына... и самъ съ нимъ жить будетъ... Намъ это не подходящее. Пустое дѣло... Коли хочеть къ намъ въ домъ идти, сыномъ имъ быть, да слушаться, да съ женой ладно жить — это другой разговоръ...

— Обидненько будетъ, Дмитрій Петровичъ...

— Чего обидно... Одежи я имъ обонимъ нашу волю, свадьбу сыграю на свой счетъ... ужъ свата ни до чего не доведу: весь мой изъязнь... Только бы было въ чемъ жениху подъ вѣнецъ встать, вотъ и вся его трата... Какая тутъ обида?... Для него лучше не надо... за счастье долженъ считать... Такъ что ли?...

Если ладно, такъ давай по рукавъ бить, да пропой пить, а послѣ того чайку... У меня совсѣмъ въ горлѣ пересохло... Тутъ канитель-то тянуть нечего... Надо дѣло говорить... Ну?.. ставить что ли самоваръ-то?...

Дмитрій Петровичъ протанулъ къ Демьяну руку ладонью вверхъ. Матрена Поликарповна хиурилась и была не довольна такимъ грубымъ и быстрымъ поворотомъ дѣла: по ея мнѣнію, мужъ велъ себя крайне неприлично, и безъ достоинства; по ея мнѣнію, обрядъ сватовства, такъ прекрасно начатый, былъ вполне испорченъ и нарушенъ торопливостью и рѣзкостью мужа. Но дѣлать было нечего: Демьянъ перекрестился и ударилъ по рукѣ Дмитрія Петровича.

— Будь Божья воля. Поцѣлуемся, сватуха! сказалъ онъ при этомъ.

— Вы хоть бы помолились сначала... сказала съ неудовольствіемъ Матрена Поликарповна.

— Чтожъ все одно: мы и теперь помолимся! возразилъ Дмитрій Петровичъ, вставая и обращаясь къ образамъ.

— Господи благослови, проговорилъ Демьянъ, также вставая и крестясь: подай, Господи, на согласъ да любовь и на всякое благополучіе... Творецъ милостивый... Пресвятая Богородица... Матуха, неопалимая купина, не опали ты насъ грѣшныхъ... продолжалъ онъ, размахисто крестясь и вздыхая.

— Ну, сватуха, свахонька... дай Господи! обратился Демьянъ къ хозяйкамъ, кланаясь. По началу бы и конецъ святой... Ни кто бы не перешелъ, не переѣхалъ... Тьфу, тьфу!.... Демьянъ плюнулъ по сторонамъ.

— Дай Богъ... дай Богъ!... отвѣчала повеселѣвшая Матрена Поликарповна.

— Теперь, свахонька, съ вашего позволенія, можно и выпить помолвившись-то, чтобы дѣло наше крѣпче было...

— Давай, давай, жена, скорѣе... Есть ли дома водка-то?...

— Ну какъ не быть... Сейчасъ подамъ...

— Какъ у тебя не быть въ дому, Дмитрій Петровичъ, весело сказалъ Демьянъ: чай, полная чаша всего...

— Да, братъ, благодаримъ Создателя... Слава Богу, живемъ по трудамъ по своимъ...

— Сватушка, пожалуйста-ка, подчивала Матрена Поликарповна Демьяна.

— Съ васъ, свахонька...

— Ну, будьте здоровы. Всѣмъ бы намъ на радость, на союзъ да любовь.

— Дай Богъ!

Матрена Поликарповна пригубила, за ней Демьянъ и Дмитрій Петровичъ.

Хозяинъ велѣлъ полуштофъ оставить на столѣ, а Матрена Поликарповна побѣжала ставить самоваръ. Такимъ образомъ судьба Татьяны была рѣшена.

Сваты долго еще сидѣли и долго толковали о всѣхъ будущихъ свадебныхъ порядкахъ; въ Ильинъ день назначили быть погляденкамъ и запою, а самое вѣнчанье положили сдѣлать послѣ Успенья, тотчасъ по окончаніи яроваго жнитва.

Алексѣй Потѣхинъ.

ПОСЛѢДНЕЕ ПРОСТИ.

(Изъ первой пѣсни «Корсара» Байрона).

Взбираясь на скалу извилистой тропой,
Конрадъ стремился въ даль и взоромъ, и душой.
И вотъ предъ башней онъ — и звукамъ тѣмъ внимаетъ,
Которымъ никогда внимать не забываетъ.
Изъ узкаго окна текутъ они рѣкой —
И звуки тѣ — слова пѣвуньи молодой:

«Простившись со свѣтомъ, зажавши глубоко,
Лежитъ моя тайна въ душѣ одиноко,
И сердце тревожнымъ бѣньемъ въ отвѣтъ
Встрѣчаетъ лишь милаго сердца привѣтъ.

«Тамъ, въ мракѣ глубокомъ, какъ въ склепѣ, лампада
Горитъ тихимъ свѣтомъ, горитъ какъ отрада,
И буря невзгодъ не погаситъ ее,
Хотя и бесплодно ее бытіе.

«Стоя надъ моею могильной плитой,
Ты помни, чьи кости лежатъ подъ землею!
Одной не могла бы я муки снести —
Въ душѣ твоей страстной забвеніе найти.

«Услышь мои стоны, мой ропотъ, моленья!
Въ печали по мертвомъ вѣдъ нѣтъ преступленья:
Почти, подари меня теплою слезой,
Послѣдней наградой любви молодой!»

Переступивъ порогъ, онъ въ комнату спѣшитъ;
Но смогло все кругомъ — и пѣсня не звучитъ.

«Какъ пѣсня твоя грустна, Медора дорогая!»

— Безъ милаго на умъ пойдетъ ли пѣсня иная?
Пускай ты не со мной, чтобъ пѣснѣ той внимать —
Она должна струной души моей звучать...
О, сколько разъ, томясь въ постели одинокой,
Я превращала тишь въ напоръ грозы жестокой!
Чуть слышный вѣтерокъ, что парусъ твой вздымалъ,
Мнѣ дикій вѣтра вой и бурю предвѣщалъ —
И — тихій — онъ звучалъ мнѣ пѣсней похоронной,
Рыдавшей по тебѣ надъ пропастью бездонной.
Страшася чьей-нибудь довѣриться рукъ,
Сама я берегла огонь на маякѣ;
Но исчезала ночь предъ свѣточемъ востока,
А ты, мой милый, былъ попрежнему далеко.
Хотя мнѣ вѣтеръ въ грудь больную проникалъ
И хмурый день мой взглядъ тоскующій встрѣчалъ,
Я все смотрѣла вдаль — и флагъ мелькалъ отбѣтомъ
Потокамъ слезъ моихъ, души моей обѣтамъ.
Вотъ полдень — и я жду, тотъ флагъ благословляя...
Онъ близится... исчезъ... Но вотъ ладья другая!
Гляжу — сомнѣнья нѣтъ: тотъ флагъ кровавый — твой!...
Ужели никогда не будетъ, милый мой,
Лучами мирныхъ благъ душа твоя согрѣта?
Иль нѣтъ нигдѣ такихъ прекрасныхъ странъ, какъ эта?
Не страшень мнѣ союзъ всѣхъ ужасовъ и бѣдъ!

Я лишь дрожу, когда тебя со мною нѣтъ —
Но не за жизнь свою — за боль дорогую,
Что отъ любви бѣжить въ неволю боевую.
Какъ можетъ существо, столь нѣжное ко мнѣ,
Вести борьбу съ судьбой — лишь думать о войнѣ?—

«Давно я сталъ другимъ — и сердцемъ, и душою.
Растоптанный, какъ червь, я сдѣлался змѣею.
Я вѣрю лишь тебѣ — любви твоей одной,
Да вѣчнымъ небесамъ и благодати святой.
Мое желанье — мстить, достойное укора,
Есть страсть моя къ тебѣ — любовь моя, Медора!
Тѣ чувства такъ срослись, что если раздѣлить,
То для людей тебя пришлось бы разлюбить.
Но прошлое мое въ томъ можетъ поручиться
Грядущему всему, что страсть моя продлится;
Но нынче же судьба, хоть ненадолго, насъ
Вновь разлучить должна — и въ этотъ самый часъ.»

— Разстаться — и теперь?... Благое провидѣнье!
Такъ исчезаютъ сны, волшебныя видѣнья!...
Не можетъ быть, чтобъ ты уѣхалъ въ этотъ часъ,
Когда лишь на зарѣ вернулся твой баркасъ,
Когда тебя ждетъ одрѣ, когда матросамъ тоже
На берегу морскомъ усталость стелетъ ложе...
Ты хочешь закалить мою больную грудь,
Пока къ ней боль еще не проложила путь;
Но не шути моею печалью, ради Бога!
Въ подобной путѣ злой ужъ слишкомъ жолчи много.
Приди и раздѣли желанный пиръ со мной,
Устроенный твоей подругой молодой.
Готовить пиръ любви — блаженство — не труды.
Мой милый, я рвала лишь лучшіе плоды;
Когда же въ выборѣ порой я затруднялась,

Брала лишь только то, что лучшимъ мнѣ казалось.
Я трижды путь къ горамъ окрестнымъ направляла,
Чтобъ самый свѣтлый ключъ сыскать — и отыскала.
Душистъ и сладокъ твой остуженный шербеть:
Взгляни, какъ онъ блеститъ, какъ свѣжъ онъ, что за цвѣтъ!
Не любишь гроздія ты плѣнительнаго дара:
Ты больше чѣмъ османъ, когда обходитъ чара.
Но это не упрекъ! Я радуюсь, что то,
Что для другаго — все, для милаго — ничто.
Идемъ! обѣдъ готовъ и лампа ужъ искрится:
Прикрытая, она сирокко не боится.
Прислужницы мои, чтобъ время скоротать,
Со мною будутъ вокругъ и пѣть, и танцовать,
И звукъ гитары той, что сердце къ нѣгѣ манитъ,
Твой очаруетъ слухъ; а если грустно станетъ,
То Аріоста мы творенья развернемъ
И объ Олимпіи покинутой прочтемъ...
Ты былъ бы во сто разъ преступнѣе злодѣя,
Что скорбною измѣнилъ, когда бы не жалѣя
Покинулъ ты меня... Я видѣла, какъ ты
Съ улыбкою глядѣлъ, весь погружонъ въ мечты,
Съ высокихъ этихъ скалъ на островъ Аріадны...
И говорила я — и были безотрадны
Слова мои, затѣмъ, что думала о томъ,
Чтобы спасенья лучъ не превратился въ громъ...
Такъ точно и Конрадъ свое не сдержитъ слово:
Онъ обманулъ меня, ко мнѣ явившись снова! —

«И вновь вернется онъ, чтобъ пасть къ твоимъ ногамъ.
Пока въ насъ жизнь кипитъ и есть надежда Тамъ,
Вернуться долженъ онъ... Теперь же, полонъ муки,
Спѣшить на встрѣчу намъ печальный часъ разлуки.
Буда, затѣмъ — теперь нѣтъ нужды говорить,
Когда грядущій часъ насъ долженъ разлучить.
Я рассказалъ бы все, лишь было бы возможно...

Но не страшись, мой другъ: препятствіе — ничтожно;
А здѣсь оставлю я достаточно людей,
Чтобъ защищать тебя въ теченіи многихъ дней.
Ты будешь не одна, хотя и не со мною:
Всѣхъ нашихъ женщинъ я оставлю здѣсь съ тобою.
Мой другъ! въ разлукѣ мысль тебя да подкрѣпить,
Что безопасность намъ покой озолотитъ.
Но, чу! звучитъ труба! Я жажду подѣлуя!
Еще одинъ... еще... Прощай! пора — иду я!»

Привставъ, она къ нему въ объятія ушла
И блѣдное лицо въ груди его прижала;
Но онъ не смѣлъ поднять къ своимъ ея очей,
Опущенныхъ къ землѣ подъ тяжестью скорбей.
Побѣги черныхъ косъ въ рукахъ его лежали
И въ безпорядкѣ внизъ волнистыя сбѣгали;
А сердце, гдѣ онъ жилъ съ такою полнотою,
Едва лишь билось въ ней подъ грудью молодою.
Чу, выстрѣлы! — то сигналъ: ужъ солнце за горой! —
И проклинаятъ онъ свѣтъ солнца золотой...
Еще! — и онъ къ груди Медору прижимается,
Что плачемъ на его восторги отвѣчаетъ...
Еще! — и онъ ее на ложе положилъ...
Въ послѣдній разъ свой взоръ на ней остановилъ —
И въ глубинѣ души почувствовать впервые,
Что для него она — всѣ радости земныя;
Потомъ поцѣловалъ въ холодный лобъ — и вотъ...
Ужель Конрадъ ушелъ — ушелъ и не придетъ?

«Ужель онъ ушелъ?» Медора прошептала
Какъ часто эхо горъ вопросъ тотъ повторяло.
«Еще минутѣ нѣтъ, какъ былъ со мною онъ —
Теперь же!...» — и она вдругъ побѣжала вонъ
Изъ башни вѣстовой и тамъ, между камнями

Склонившись, залилась горючими слезами.
И слезы тѣ лились изъ пламенныхъ очей —
Одна вслѣдъ за другой — свободно, какъ ручей;
Но блѣдныя уста все болѣе сжимались
И все еще «прости» сказать не соглашались,
Затѣмъ, что въ звукѣ томъ, въ томъ словѣ роковомъ,
Все дышетъ пустотой, отчаяньемъ и зломъ,
Хотя бъ при этомъ намъ влились и общали.
Лицо ея было исполнено печали,
А нѣжная лазурь ея горячихъ глазъ,
Влуждавшихъ по горамъ, туманилась не разъ,
Пока они ею опять не увидали:
И слезы вновь въ очахъ, и вновь онѣ бѣжали
Изъ-подъ густыхъ завѣсъ опущенныхъ зеницъ
По черной бахромѣ увлажненныхъ рѣсницъ.
«Ушолъ!» — и руки вдаль Медора простираетъ.
«Ушолъ!» — и къ небесамъ ихъ тихо поднимаетъ.
Глядитъ — и видитъ флагъ: онъ манитъ, онъ зоветъ...
Но долѣе глядѣть ей силъ не достаетъ...
И вотъ она идетъ... Печаль ея глубока...
«Нѣтъ, это ужъ не сонъ!... Увы, я одинока!»

Н. Гербель.

НАБРОСКИ КАРАНДАШЕМЪ.

ИЗЪ СОВРЕМЕННЫХЪ ЭТЮДОВЪ „МОИ ДРУЗЬЯ“.

ПЕТРЪ АФАНАСЬЕВИЧЪ СУСЛИКОВЪ.

Другъ онъ мнѣ и пріятель. Родился въ провинціи потомственнымъ дворяниномъ. Привезенъ въ Петербургъ лѣтъ двѣнадцати. Отданъ въ первоклассное гражданское училище. Умный мальчикъ; любилъ сладости, лѣнивъ былъ, сентименталенъ. Вообще малокровенъ. Оттого при ростѣ, развились не столько кости и мускулы, сколько жиръ. Наружности красивой, но вялой. Задумчивъ и крайне подозрителенъ сталъ около 16-ти лѣтъ. Кончилъ курсъ благодаря дарованіямъ отлично. Лѣтъ 19 поступилъ на службу, съ круглымъ лицомъ, слегка отвислымъ подбородкомъ, медленными движеніями, умными глазами и страшною ненавистью къ холодной водѣ и къ рыбѣ. Воспитаніе общественное не излечило нѣкоторыхъ недуговъ домашняго воспитанія, напр., разныя суевѣрія, страхъ встрѣчи съ попами, трехъ свѣчей, тринадцати за столомъ, дурнаго глаза, даже страхъ темной комнаты.

За то воспитаніе привило ему даръ писательства. Бѣдный другъ, отчего ты не предугадалъ сколько бѣдъ этотъ даръ тебѣ готовить!

Предметомъ сочинительства была политическая экономія. Написалъ Сусликовъ статью 20-ти лѣтъ отъ роду подъ заглавіемъ: „О народныхъ экономическихъ силахъ“. Написалъ и отдалъ по моему совѣту въ редакцію NN. Напечатали. — Черезъ мѣсяцъ или около того получаю записку отъ Сусликова: „Пріѣзжай, умираю. Твой Сусликовъ.“ Лечу къ нему; онъ лежитъ на диванѣ,

и видъ у него точно умирающій; лицо его такъ судороги и дергали. Возлѣ лежалъ открытымъ номеръ журнала NN.

— Что съ тобой, говорю я.

— Убили, прошепталъ Сусликовъ, и рукою указалъ на книгу.

Я поднялъ книгу, взглянулъ на то мѣсто, гдѣ она была открыта: рецензія статьи Сусликова. Въ концѣ было сказано: „словомъ, для заключительной характеристики этой статьи, скажемъ, что авторъ ея, почтенный г. Сусликовъ, столько же смыслить въ политической экономіи, сколько нѣкое животное (только не сусликъ, а покрупнѣе) въ апельсинахъ“.

Я расхохотался. Друга моего передернула еще сильнѣйшая судорога.

— Да, сказалъ онъ умирающимъ голосомъ, такъ теперь смѣется надо мною вся Россія, Европа будетъ смѣяться. Пря словѣ Европа опять судорога: носъ сошелъ къ подбородку.

— Боже, къ чему я подписалъ! вѣдь именно въ тотъ день, какъ я подписалъ статью и везъ ее въ редакцію, какъ вчера помню, встрѣтилъ не одного, а трехъ поповъ. Говорило вѣдь мнѣ предчувствіе проклятое, а тамъ у самой редакціи еще похороны встрѣтилъ; убили, убили, похороненъ, на вѣки, на всегда; а начальство-то что скажетъ. Нѣтъ, да ты представь только себѣ, какъ это я войду въ департаментъ, — заговорилъ присѣвши на диванъ Сусликовъ, — такъ свиньею и войду, непременно обзовутъ свиньею, обзовутъ, обзовутъ, а директоръ-то вѣдь пожалуй просто выгонитъ, — я со свиньями, скажетъ, и служить не хочу, мараете наше вѣдомство, чего вы за писательство-то принялись, кто васъ просилъ, а, ну, ну отвѣчайте, для позора, безчестія, а, что, довольны? — а потомъ на Невскомъ, какъ я на Невскій то выйду, а въ театрѣ, помилуй, никуда и показываться нельзя, потому какъ увидятъ, сейчасъ, сейчасъ же и скажутъ — а, Сусликовъ, это тотъ знаешь, политико-экономъ, котораго свиньею въ журналѣ выругали. Нѣтъ, да ты только вообрази, ну куда я теперь пойду, куда, — я тебя спрашиваю, — я могу теперь идти? И вѣдь далось мнѣ это писательство подлое, мерзкое; что? радъ теперь, глупое ты рыло, хари ты богомерзкая, доволенъ, а? свинья ты и есть.

И опять Сусликовъ повалился на диванъ, и опять начались дерганья.

Вѣднѣй другъ. Мало по малу онъ сталъ поправляться отъ удара. Но, увы, остались неизлечимые слѣды катастрофы. Какъ только произносилось имя журнала, въ которомъ его выругали, или слова: политическая экономія, апельсинъ, или свѣнья, у Сусликова начинались въ лицѣ такіа дерганья, что онъ долженъ былъ или становиться въ уголь комнаты спиною къ гостямъ, или уходилъ въ другую комнату, и въ теченіе минутъ пяти все отдергивался.

По совѣту докторовъ Сусликовъ лечился желѣзными водами въ Франценсбаденѣ, такъ какъ доктора приписывали этотъ страхъ журнальной руготни малокровію. И дѣйствительно послѣ шести недѣль курса леченія, Сусликовъ сталъ относиться къ критикѣ журнальной посмѣлкѣ и дерганья лица сдѣлались слабѣе. Но въ то же время общее состояніе духа его сдѣлалось подозрительнѣе. Въ каждомъ человѣкѣ Сусликовъ принимался искать заднія мысли.

На службѣ Сусликовъ сдѣлался невыносимъ; такъ по крайней мѣрѣ охарактеризовалъ его директоръ департамента, прямой его начальникъ. Встрѣтится съ директоромъ, тотъ дастъ ему руку и пройдетъ мимо, Сусликовъ сейчасъ выводитъ изъ этого, что директоръ имѣетъ противъ него личность; скажетъ ему директоръ что нибудь, Сусликовъ отвѣтитъ, тотъ ничего не скажетъ или заговоритъ съ другимъ, Сусликовъ уходитъ въ увѣренности, что слова его директору не понравились.

И что же онъ дѣлаетъ? Писать или вѣрнѣе куда нибудь дѣвать свою писательскую способность, была потребность души и пальцевъ у Сусликова, и вотъ садится онъ и начинаетъ строчить объяснительное или сентиментальное письмо директору: въ первомъ случаѣ онъ пишетъ 8-большихъ страницъ въ поясненіе того, что онъ хотѣлъ сказать въ тѣхъ двухъ словахъ, которыя при свиданіи съ директоромъ онъ, директоръ, будто бы не такъ понялъ; во второмъ письмѣ Сусликовъ объясняетъ на 10 страницахъ, какія чувства онъ питаетъ къ своему начальству вообще, какъ сладко онъ его любитъ, и какъ горько было ему сегодня убѣдиться въ департаментѣ, что директоръ питаетъ къ нему какую-то глухую,



для него непонятную вражду, и пользуется всякимъ случаемъ, чтобы ему ее выказывать. Директоръ, получивъ письмо, объясняетъ Сусликову словесно, что онъ никогда не имѣлъ въ виду питать къ нему какія нибудь враждебныя чувства, и что напротивъ, проявленія будто бы этой вражды суть не что иное какъ фантазія его, Сусликова. Сусликовъ въ отвѣтъ говоритъ нѣсколько словъ изъ глубины обрадованной и ободренной директорскими словами души и уходитъ; но черезъ два часа онъ опять сидитъ и валяется, что есть духу, письмо тому же директору; пыхтитъ, потѣетъ, утирается и все строчитъ — для чего-бы вы думали? ему показалось что директоръ пойметъ его слова не такъ, а такъ, то есть во вредъ ему Сусликову, и вотъ Сусликовъ считаетъ своимъ „священнымъ долгомъ“ возстановить истину въ высказанныхъ имъ словахъ.

Кончилась эта переписка очень трагически для Сусликова. „Вообрази,“ говоритъ мнѣ Сусликовъ, „я поругался съ начальствомъ, подалъ въ отставку; нельзя, братъ, совсѣмъ служить: придираются на каждомъ шагѣ“.

— Какъ придираются, за что? спросилъ я.

— Да за все: представь себѣ, вдругъ директоръ говоритъ мнѣ — впрочемъ тутъ не директоръ, нѣтъ, какое, тутъ интриги, все интриги, я ужъ знаю, и Сусликовъ принялъ таинственную фигуру.

— Да что же случилось?

— Вообрази, братецъ ты мой, директоръ за мной присылаетъ — ему на меня наговорили, и вѣдь я знаю кто, все это по правдѣ сказать одна только зависть, больше ровно ничего.

— Господи, да говори же въ чемъ дѣло.

— Ну да очень просто — директоръ говоритъ мнѣ: вамъ, ба-тюшка, служба не по праву; какъ, говорю я, отчего не по праву; вообрази, а? не по праву! какъ тебѣ это кажется? мнѣ-то не по праву.

— Ну, ну, дальше что?

— Да-съ, говоритъ онъ, потому вы всѣмъ тревожитесь, вы письма какія-то пишете, — а? слышишь, какія-то! имъ пишутъ дѣло, потому нельзя же не писать, когда Богъ знаетъ что на васъ

думаютъ, ну напишешь строчекъ 20, объяснишься, чтожъ тутъ дурнаго, а онъ вишь какъ хватилъ: *какія-то* письма.

— Ну, дальше что?

— Ну я, разумѣется, того: значить вы мною недовольны; очень жаль, говорю, потому такъ и такъ.

— Ну и что же?

— Ну пришелъ я домой, и написалъ ему письмо.

— Какъ опять письмо, да вѣдь тебя просили убраться?

— Ну такъ что же, что просили; просили — я и уберусь, а все-таки надо было объяснить въ чемъ дѣло: безъ этого смѣшно уходить; точно бѣглецъ какой; да и письмо-то маленькое было. (Послѣ я узналъ, что письмо было на 16 большихъ страницахъ).

— Ну и что же?

— Ну и ничего! отвѣта вижу никакого: ждалъ двѣ недѣли, я еще письмо.

— Да ты съ ума сошелъ, ну а затѣмъ?

— А затѣмъ, какъ увидѣлъ, что нѣтъ отвѣта, я и перепелъ въ другое вѣдомство.

По справкѣ оказалось, что мой другъ Сусликовъ въ эти 3 года службы написалъ директору и министру 83 письма; среднимъ числомъ каждое письмо вмѣщало въ себѣ 12 страницъ in-quarto; значить 240 съ чѣмъ-то листовъ или до 1000 страницъ!

Дня черезъ три встрѣчаю я Сусликова на Невскомъ. Вижу, лицо у него чѣмъ-то озабочено.

— Что ты такимъ озабоченнымъ министромъ гуляешь, спрашиваю я.

— А, здравствуй братецъ! да такъ, какъ бы тебѣ сказать: я нынѣче у своего новаго министра былъ.

— Ну что, доволенъ ты имъ?

— Доволенъ-то доволенъ: какъ же, принялъ прекрасно, обласкалъ, наговорилъ кучу любезностей, премилый человѣкъ, ну и кое-что того о дѣлахъ пораспросилъ, видно интересуется. Да, только вотъ дѣло въ чемъ: чортъ его знаетъ, такъ ли я ему отвѣтилъ, пожалуй онъ того не такъ понялъ, или у меня языкъ не такъ

какъ бы слѣдовало повернулся, кто его знаетъ, чего добраго онъ того, усомнится, скажетъ, неравно...

— Ну, батюшка, я ужъ вижу къ чему ты всю эту ахинею несешь: руки чешутся, объяснительное письмо писать хочешь.

— Нѣтъ, какое письмо; нѣтъ, я это только такъ, хожу себѣ, гуляю, да такъ про себя и разсуждаю: нѣтъ, гдѣ тутъ письмо; я письма и не думаю писать; стану я писать, вотъ еще, только что представился, и ужъ письмо; ну, тамъ, немного погода, пожалуй того, и можно, разумѣется, глядя по тому какъ обстоятельства выскажутся; да и признаться сказать, онъ мнѣ показался изъ такихъ знаешь, которые писемъ не особливо любятъ читать.

— Ну то-то же, Боже тебя упаси писать ему письмо.

На другой день прихожу къ Сусликову.

— А вѣдь я, братецъ, написалъ письмо.

— Кому, министру?

— Да, братецъ ты мой, министру.

— Ахъ ты сумасшедшій этакой.

— Да нельзя было, постой, братецъ ты мой, я тебѣ сейчасъ объясню: нельзя было не написать, потому я какъ того, сталъ припоминать, выходить, что не то совсѣмъ сказалъ, а вѣдь онъ можетъ обо мнѣ Богъ знаетъ что подумать.

— Послушай, ты право себя погубишь этими письмами. Ну дай мнѣ честное, благородное слово, что безъ моего согласія ни одного письма министру писать не будешь: пока не дамъ, а отъ тебя не уйду.

— Ну, ну, успокойся, дамъ тебѣ слово; это только такъ, впередъ ужъ не буду. Ну, зарекомендовался, больше ничего, чтожъ тутъ дурнаго. А впередъ не буду, ей Богу, не буду.

Мнѣ все таки стало страшно за Сусликова. Пожалуй въ самомъ дѣлѣ его унекутъ въ сумасшедшій домъ. Мнѣ хотѣлось во что бы то ни стало обратить его къ литературной дѣятельности, такъ какъ онъ имѣлъ дарованіе, а потребность въ писаніи была бы удовлетворена. Но какъ? Послѣ эпизода съ свиньею, затрогивать даже шутя вопросъ о литературной для него дѣятельности было немислимо.

Слѣдующій смѣшной случай помогъ мнѣ осуществить мое намереніе.

Сусликовъ бывалъ въ свѣтѣ и любилъ ухаживать за дамами. Одной изъ нихъ онъ написалъ стихи. Та возьми и сыграй съ нимъ штуку, зная его ненависть и страхъ къ печати.

Въ прекрасный день записка отъ Сусликова: „Умеръ, совѣмъ умеръ, пріѣзжай. — Сусликовъ.“ Пріѣзжаю и что же застаю: Сусликовъ у письменнаго стола, съ растрепанными волосами, съ блѣдыми лицомъ, съ впалыми глазами сидитъ и строчитъ письмо.

— А это ты, говоритъ онъ, ну, братъ, вотъ, на гляди, совѣмъ-таки убили меня, всю ночь не спалъ, вчера вечеромъ возвращаюсь домой, — Сусликовъ говорилъ захлебываясь, задыхаясь и лихорадочно скоро, — вообрази, застаю пакетъ, открываю, и вотъ, а, какъ тебѣ это нравится, вотъ, моя смерть, потому какъ есть смерть, — Сусликовъ подаетъ мнѣ газету, въ ней напечатаны его стихи за подписью Немо, — нѣтъ, да ты только вообрази, а, мои стихи! — и Сусликовъ обтеревъ лобъ платкомъ, принялся опять писать, прочитавъ на скоро, что было имъ написано.

Я прочелъ стихи: они были прелестны.

— Да ты что же пишешь-то, спросилъ я, и съ ужасомъ увидѣлъ что уже два письма были написаны и адресованы: на одномъ адресъ былъ: Его Высокопревосходительству NN., въ собственныя руки; на другомъ: Его Высокоблагородію господину редактору газеты NN.

— Я-то, я, я пишу, да какъ тутъ не писать; нельзя не писать: министру во первыхъ надо объяснить; онъ, братъ, терпѣть не можетъ никакихъ стиховъ; ну такъ какже не написать, не сказать что-дескать я и не думалъ, однимъ словомъ объяснить, что это, тѣфу ты мерзость эдакая. Ну-ну, какже послѣ этого жить, вѣдь жить невозможно: напишешь стихи, такъ, на вечеръ, отъ нечего дѣлать, вдругъ въ газетѣ они появились, а? и пойдутъ ругать, да еще какъ, не то что свиньей, похуже еще пожалуй, да изъ службы опять выгонять, а барыня-то что скажетъ, Господи! вотъ напасть-то.

— Да ты въ редакцію чего же пишешь?

— Какъ чего? Объяснить надо, спросить, что это значить, помилуй, какъ это можно.

Я расхохотался.

— Да вѣдь стихи же не подписаны, говорю я: почему знать, что это ты писалъ.

— Не подписаны?—медленно проговорилъ Сусликовъ, взглянувъ на стихи. — Да, правда, не подписаны; съ чего же это я испугался: экой я дуралей, вотъ ужъ дуралей, — и лицо Сусликова вдругъ подобрѣло и просвѣтлѣло, — болванъ я, болванъ: и вѣдь часа два ужъ пишу все письма, а? ну пошли я эти письма, вѣдь пропалъ бы я, а? Это я тебѣ вотъ что скажу: вчера насъ съло за столъ тринадцать, ну и плохо, а такъ минутъ пять спустя, пришелъ четырнадцатый: вотъ оно такъ и вышло: начало скверное, а конецъ-то лучше. Оома, а Оома!

Вошелъ Оома, старый слуга Сусликова.

— А вѣдь мы съ тобою напрасно совсѣмъ тревожились, стихи вѣдь не подписаны. Написаны Немо, значить не я совсѣмъ, а? Ты радъ?

— Какъ не раду быть; ужъ вы, Петръ Афанасьевичъ за-всегда изволите понапрасно тревожиться.

— А? слышишь, понапрасно тревожусь; да когда же это я, братецъ ты мой, понапрасно тревожусь: тутъ вопросъ для меня жизни, а онъ говорить напрасно тревожусь.

— А вѣдь стихи хороши, сказалъ я.

— Право? съ улыбающимся лицомъ и съ видомъ легкаго кокетства, спросилъ Сусликовъ, — ужъ будто и хороши, намаралъ такъ себѣ, что взбрело въ голову.

— Нѣтъ, стихи, я тебѣ скажу, очень недурны; слушай Сусликовъ ты спасень.

— Какъ это спасень? и Сусликовъ началъ было уже тревожиться и складывать испуганную физиономію.

— Да такъ: ты можешь сколько угодно писать въ журналахъ.

— Я-то? Богъ съ тобой, что ты, что ты! и лицо Сусликова подернуло.

— Да разумѣется: ты можешь писать подъ чужимъ именемъ, подъ псевдонимомъ, ну хочешь возьми мое имя.

— А въ самомъ дѣлѣ, вдругъ сказалъ Сусликовъ, весь просіявши.

— Экое ты дѣтище: не зналъ этого до сихъ поръ.

— Зналъ-то зналъ, да признаться сказать не приходило никогда въ голову; а вѣдь въ самомъ дѣлѣ: ну, а какъ узнають? узнають, непременно узнають.

— Никогда! редакторъ будетъ знать, но больше никто.

— Редакторъ? да, да, да, я и забылъ: какой же это псевдонимъ? редакторъ знаетъ, значитъ всѣ узнають: какъ нибудъ проговорится, скажетъ тому-то, тотъ скажетъ третьему, и пошло, да тамъ и министръ узнаетъ, и газеты и журналы, нѣтъ, ни за что!

— А жалѣ, у тебя талантъ есть; неужели такъ на объяснительныя письма по начальству его ты и потратишь.

Сусликовъ призадумался. При всей своей трусости онъ очень былъ падокъ и щекотливъ на похвалу.

— Ну, а если твою вещь похвалятъ, а не выругаютъ?

— Если похвалятъ? Сусликовъ опять принялъ кокетливую фигуру. Чтожъ? ничего, прибавилъ онъ.

— Ну такъ вотъ тебѣ мой совѣтъ: садись и пиши для журнала; да подпиши „символическій“, да отнеси въ редакцію, да скажи, что ты желаешь сохранить свое имя въ секретѣ, прощай. Я ушелъ.

Чтоже бы вы думали. Сусликовъ на совѣщаніи съ Оомою рѣшилъ, что будетъ писать и даже отдавать свои статьи въ журналы. Но это событіе его жизни обставилось самыми курьёзными подробностями, о которыхъ я узналъ на другой же день отъ Сусликова.

Пришелъ онъ ко мнѣ, вошелъ, поздоровался, потомъ вотъ что произошло.

— У тебя братецъ никого здѣсь нѣтъ постороннихъ, спросилъ Сусликовъ съ таинственнымъ видомъ.

— Никого, попугай въ сосѣдней комнатѣ.

— Ну попугай Богъ съ нимъ. Сусликовъ заперъ дверь къ

попугая, заперъ и дверь въ столовую, затѣмъ подошелъ ко мнѣ и почти на ухо сказалъ: рѣшился.

— Писать?

— Да, братецъ ты мой, но подѣ величайшимъ секретомъ, никто въ мірѣ не долженъ знать, Боже сохрани: ты, я, да Ома: больше никто въ цѣломъ мірѣ, никто.

— А редакторы?

— Ни одинъ?

— Какъ ни одинъ!

— Да, ни одинъ: я уже все это обдумалъ, придумалъ, рас-судилъ. Видишь что, какъ вчера ты ушелъ, мы и стали съ Омомъ обдумывать, какъ это мнѣ въ самомъ дѣлѣ приняться за писаніе: оно не то что нужно, ну а такъ, иной разъ просто руки чешутся: ну да и ты поощрилъ; вотъ я и придумалъ: писать я запируюсь на два замка, всѣ сторы и заперѣи спускаю, такъ чтобы съ улицы-то не было видно, оно все безопаснѣе, неравно, знаешь, заглянуть....

— Въ третьемъ-то этажѣ?

— Эхъ, братецъ, а напротивъ-то, развѣ не видать? Ну, да и свѣтъ видѣнъ въ окнахъ, значить—дома; ну и ввалится одинъ, другой, надо прятать; нѣтъ, это удобнѣе; ну да и при свѣчахъ удобнѣе знаешь писать, какъ-то веселѣе; только, говорю я Ому: строго я тебя, братъ, наказываю, чтобы никто не зналъ, что я пишу, слышишь, ни-ни, никто: ни дворникъ, ни прачка, потому кто ее знаетъ, у кого еще можетъ бѣлье, пожалуй у литератора какого, ну и проговорится, такой-то молъ пишетъ; сейчасъ раз-спросы: какъ, что, ну словомъ никому; а если, говорю я ему, кто придетъ пока я пишу, я себя назначилъ извѣстные часы, пускай звонить, и не отпирай; а то пожалуй какъ вступишь, а онъ и полѣзетъ—неправда, скажетъ, дома, или тамъ ему записочку какую нибудь написать, а не то просто не повѣритъ: скважину свѣта, скажетъ, увидѣлъ черезъ занавѣсы...

— Дальше-то что? Экая у тебя страсть болтать, а съ редак-ціей-то ты какъ намѣренъ поступить, вотъ что ты мнѣ объясни?

— Очень, братецъ ты мой, просто. Какъ у меня статья го-

това, я сейчасъ подписываю Ѳома Вичевъ, и его въ редакцію отправляю: авторъ онъ, а не я; пускай его и ругаютъ, мы съ нимъ такъ и уговорились.

Я расхохотался, и было съ чего: никогда ничего подобнаго не слыхалъ въ моей жизни.

— Да развѣ это не умно придумано, а? Вѣдь сознайся, что умно! чего смѣешься?

— Ну, а если расхвалить твою статью?

— Не расхвалить, обругаютъ.

— Ну, а если?

— Ну, пускай хвалить, тѣмъ лучше.

— Не выдержишь, скажешь что ты писалъ, ей-Богу, скажешь.

— Ну вотъ еще, что я дуракъ, что-ли?

И вообразите: Сусликовъ такъ и сдѣлалъ. Комиченъ онъ только сдѣлался своею подозрительностью.

Сидитъ, бывало, у себя дома. Входитъ Ѳома.

— Ты это что, Ѳома, а? спрашиваетъ Сусликовъ, поглядывая на него подозрительно.

— Да ничего, Петръ АѢанасьевичъ, я только прибрать пришелъ.

— Нѣтъ, да ты какъ-то того смотришь, что... ужъ не случилось ли что, а?

— Ничего не случилось, Петръ АѢанасьевичъ; съ чего это вы взяли?

— Нѣтъ, я только такъ, а прибирать-то тебѣ что? чай, нечего и прибирать, и Сусликовъ все оглядываетъ подозрительно: да и ничего, право нѣтъ, ужъ лучше ступай.

Ѳома уйдетъ.

Сидитъ мы.

— Одно вотъ непріятно, начнетъ Сусликовъ: ужъ кажется увѣренъ въ человѣкѣ, какъ въ самомъ себѣ, онъ чуть-ли не 20 лѣтъ въ домѣ, а все боишься. Ну, проговорится, вѣдь языкъ у него не мой, а свой. Кто его тамъ знаетъ, прачка какая, поговорять, поговорять, да онъ что нибудь такое скажетъ, ну хоть намекнетъ; а она бестія, пожалуй, Богъ знаетъ что изъ этого выведетъ, да давай по городу

тараторить; нѣтъ, знаешь, я думаю не бросить ли писать, право оно спокойнѣе будетъ какъ-то.

Я стану уговаривать Сусликова; успокоится; вынетъ изъ секретнаго ящика свою рукопись и прочтетъ: статья выходить предѣльная; я похвалю, и Сусликовъ снова принимается за работу.

Неменѣе комиченъ бывалъ онъ, когда кто зайдетъ къ нему изъ знакомыхъ въ тѣ часы, когда снимался арестъ съ его двери.

— Ну, что ты подѣлываешь, Сусликовъ? спрашиваетъ знакомый.

— Да какъ тебѣ сказать, ничего: служу, почитываю.

— Ну, а писать не пишешь?

— Писать, я-то? Боже меня сохрани! Да ты съ чего это вздумалъ спросить: такъ просто или что-нибудь такое слышалъ? а? заговорить испуганно Сусликовъ.

— Да такъ просто, вѣдь ты кажись писалъ.

— Писалъ, когда глупъ былъ и молодъ; а теперь и бумаги да чернила все повыбросилъ, чтобы и искушенія не было; вотъ видишь, ничего на столѣ нѣтъ.

Въ другой разъ на вопросъ пріятеля: какъ поживаете, Петръ Аванасьевичъ? Сусликовъ отвѣчалъ такъ:

— Да что дѣлаю: все читаю, читаю и читаю; потому никогда не пишу, ненавижу писать; вонъ иные, напротивъ, писать любятъ, и пишутъ, а я ни-ни-ни, то есть вотъ какъ: записку написать — и то иной разъ не могу.

Окончивъ свою статью, озаглавленную: „О крестьянскомъ хозяйствѣ“, Сусликовъ ее отдалъ подписать Ѳомѣ, и Ѳома ее снесъ въ редакцію NN. гдѣ сдалъ ее благополучно секретарю редакціи.

Ее напечатали. Черезъ мѣсяцъ въ двухъ газетахъ ее даже похвалили. Отъ многихъ знакомыхъ я слышалъ отзывы объ этой статьѣ самые похвальные и лестные.

— Ну что, похвалили? говорю я Сусликову.

— Похвалили, какже; и слава тебѣ Господи! а я, признаться сказать, побаивался: ну, если обругаютъ?

— Да тебѣ-то не все ли равно?

— Ну, все непріятно; какъ-нибудь узнаютъ, что это я пи-

саль, да и узнали. Вчера сказывали мнѣ, что министръ объ этой статьѣ отзывался очень одобрительно и будто намекалъ на меня.

— Сусликовъ, ты кому-нибудь сказалъ, что ты эту статью писалъ; признавайся!

— Да никому, ей-Богу, никому. Только въ министерствѣ одному человѣку и сказалъ, и то какъ сказалъ, что-дескать она собственно не моя статья, а я ее такъ слегка редижировалъ, всего только и сказалъ; ну, вѣроятно, онъ и сказалъ министру; а я что же, я ничего такого не сказалъ. Да еще въ клубѣ, какъ стали говорить объ этой статьѣ, я что-то такое сказалъ, не помню; да ничего особеннаго, а такъ что-то такое намекнулъ; ну и догадались, должно быть, кто ихъ знаетъ.

— Эхъ ты, маленькая душонка, не выдержалъ; похвалили, а онъ ужъ и слюнки распустилъ.

— Да не распустилъ; какія тутъ слюнки, просто нечаянно; ну, сорвалось съ языка...

— Вотъ ты подъ судъ и пойдешь.

— Подъ судъ, да за что?

— Да какже, ты подложную подпись сдѣлалъ на рукописи, да всѣ это узнаютъ, да какъ узнаютъ, да какъ въ газетахъ тебя пропишутъ, вотъ тебѣ и будетъ; баба ты эдакая малодушная, и по дѣломъ.

Въ одинъ мигъ у Сусликова фигура постарѣла на 10 лѣтъ.

— Да какже это, да постой; фу ты, Боже, да какже это, да что же ты мнѣ наговорилъ, да вѣдь эдакъ пожалуй я... Господи Боже, да какже это я не сообразилъ, подъ судъ, непременно, потому скажутъ или я, или не я, если я, значить... да еще въ газетахъ; нѣтъ постой; кому, бишь, я сказывалъ, дай-ба припомню: надо имъ написать.

— Ну и напиши.

— Да какже написать-то? вѣдь эдакъ придется всему городу писать.

— Какъ всему городу?

— Да такъ, мало ли я кому сказалъ; вонъ вчера и фельетонисту какому-то сказалъ: навязался, присталъ, чортъ его знаетъ,

ну я ему и скажи, экой языкъ подлый, баба ты старая, вотъ ужъ правда, и вѣдь онъ пойдетъ справляться, непременно пойдетъ, да какъ узнаетъ, фельетонъ и махнетъ... Господи, Господи, что я надѣлалъ! Сусликовъ схватилъ себя голову и собирался заплякать. Оказалось, что дѣйствительно онъ протрубилъ по городу, что статья его! Похвала обольстила.

Но и наказанъ же былъ мой бѣдный другъ.

Послѣ моего ухода онъ сталъ придумывать способъ выйти изъ этого критическаго положенія. И что же бы вы думали онъ придумалъ? Онъ написалъ статейку, въ которой было сказано: что нѣкоторые приписываютъ ему такую-то статью, что слухъ этотъ несправедливъ и что авторъ статьи подписался подъ статью, и это то объявленіе онъ разослалъ по всѣмъ газетамъ въ тотъ же день. Очевидно, главное, что побудило его пуститься на эту штуку было — страхъ отвѣтственности за подлогъ. О томъ, что этииъ объявленіемъ, онъ навлекалъ на себя отвѣтственность за ложь передъ тѣми, которымъ онъ разболталъ свою тайну — Сусликовъ и позабылъ.

Вечеромъ въ тотъ же день я зашелъ къ нему узнать о состояніи его мыслей, и узнаю о томъ, что онъ надѣлалъ.

Признаюсь, такое неожиданное извѣстіе заставило меня испугаться за Сусликова: не съ ума ли онъ сошелъ, не на шутку подумалъ я.

Когда я объяснилъ Сусликову, въ чемъ дѣло, и что его ожидаетъ послѣ такого объявленія, онъ дѣйствительно почти лишился разсудка; но къ счастью съ нимъ случился нервный припадокъ, спасшій его отъ умопомѣшательства.

Я между тѣмъ послалъ во всѣ редакціи извѣщенія о не печатаніи объявленія за подписью г. Сусликова.

Все успокоилось. Но Сусликовъ сталъ хандрить.

Черезъ четыре дня получаю записку отъ него съ разсылыннымъ. „Вези въ желтый домъ, я схожу съ ума. Сусликовъ.“

Я прискакалъ. Сусликовъ ходитъ по комнатѣ; волосы подняты на четверть аршина; лицо какъ полотно: движенія нервные, лихорадочны, походка нетвердая, на полу газета.

— Я съ ума сошелъ, сказалъ мнѣ Сусликовъ, когда я вошелъ;

вонъ, она подлая, мерзкая, ехидная, на, на тебѣ! и гляжу Сусликовъ топчетъ ногами газету.

— Что случилось?

— Я ѣду за границу завтра; сегодня уже нельзя; поздно; а то бы сегодня; совсѣмъ, ѣду въ Испанію, въ Италію, въ Парижъ, кутить ѣду, въ Брюссель, въ Лондонъ, въ Дрезденъ, въ Берлинъ, вездѣ буду — но только Россіи не видать моего носа, нѣтъ, шалишь, или нѣтъ постой... Оома! крикнулъ Сусликовъ.

Оома вошелъ съ смущеннымъ отъ соболѣзнованія къ барину видомъ.

— Что еще? спросилъ онъ.

— А вотъ что. Сусликовъ задумался. Оома, голубчикъ, ты ужъ меня извини. Я того уѣду, уѣду надолго да далеко, никогда ужъ не вернусь; такъ ты, значить, того, можешь искать себѣ мѣста, да поскорѣ братецъ, ну хоть сегодня, завтра, только поскорѣ, да еще, нѣтъ постой, постой, вотъ что: ты себѣ голубчикъ иди куда хочешь, а только прежде ступай, — знаешь институтъ глухонѣмыхъ?

— Ну, ну, знаю, сказалъ флегматическій Оома.

— Такъ отправляйся, голубчикъ, туда, да достань мнѣ, или нѣтъ, постой, завтра, сегодня поздно: завтра, завтра, а теперь ступай. — Оома ушелъ, не сказавъ ни слова.

Я начиналъ не на шутку пугаться.

— Ты что на меня такъ смотришь? спросилъ Сусликовъ.

— Какъ что? На что тебѣ глухонѣмые?

— Какъ на что? Я, братецъ мой, Оому уволю: потому Богъ его знаетъ, человѣкъ онъ пожилой, вѣрный, да кто знаетъ, проболталъ, проболталъ, и вотъ тебѣ и отпечатали, а глухонѣмой не проболтаетъ.

— Какъ, ты хочешь себѣ глухонѣмаго въ лакея! вскрикнулъ я и фыркнулъ.

— Да чтожъ тутъ смѣшнаго?

— Да какъ же онъ тебя-то слушать будетъ?

— Известно какъ! я ему знаками, и онъ мнѣ знаками; а за

то, другое что уже ничего не услышать, да ужь никакая прачка не будетъ съ нимъ тараторить...

Я замолчалъ, и поднявъ газету, началъ на фельетонъ, озаглавленный: „Исторія одной журнальной статьи“. Начиналось такъ: „Нѣкто г. С—ковъ, имѣетъ слугу Оому,“ — и вся исторія статьи Сусликова такъ цѣликомъ и прописана.

— Другой разъ такіа штуки выкидывать не будешь, сказалъ я Сусликову.

— Другаго разу не будетъ; не будетъ, нѣтъ, шалишь... Оома! крикнулъ онъ.

Вбѣжалъ Оома.

Сусликовъ подошелъ къ письменному столу, взялъ чернильницу и перья и отдалъ ихъ Оомѣ.

— На, братъ, скорѣе вынеси, и не показывай, слышишь; я въ руки пера больше не беру.

— А прошеніе объ увольненіи въ отпускъ, кто напишетъ? спросилъ я.

— Напиши за меня, голубчикъ, сказалъ Сусликовъ: или нѣтъ, постой-ка, Оома, министру вѣдь надо написать... или нѣтъ, на словахъ скажу; ступай, ступай, носи вонъ.

Вмѣсто чернильницы Сусликовъ поставилъ на свой письменный столъ статуэтку Патти.

Сусликовъ черезъ 3 дня захворалъ тифомъ, — такъ было сильно полученное имъ сотрясеніе. Въ бреду онъ только и говорилъ про статьи да про редакцію журнала.

Оправившись, Сусликовъ поѣхалъ за границу.

Вернувшись, онъ совсѣмъ вышелъ въ отставку, чтобы не писать. Когда приходили къ нему съ записками или письмами и просили отвѣта, Сусликовъ говорилъ: скажи, братецъ, что буду, но что рука болитъ, палець обрѣзалъ, извиняюсь, что не могу писать.

СТИХОТВОРЕНІЯ А. Н. ПЛЕЩЕЕВА.

I.

ЦВѢТЫ.

(На мотивъ Морица Гартмана).

Каждый день, когда изъ дому
Выхожу я, у воротъ
Ждетъ меня кудрявый мальчикъ,
И цвѣты мнѣ подаетъ.

Я привыкъ къ его букетамъ,
И какъ будто веселѣй
Стало съ ними въ одинокой,
Тѣсной комнатѣ моей.

Такъ красивы, ярки, свѣжи,
Тѣ цвѣты всегда, что я
Наконецъ спросилъ ребенка:
Гдѣ ты взялъ букетъ, дитя?

«У меня могильщикъ дядя,
Онъ отвѣтилъ; и живу
Вмѣстѣ съ нимъ я на кладбищѣ;
Тамъ цвѣты я эти рву».

И пошелъ я съ грустной думой,
 Тихо молвивъ: узнаю
 Я и здѣсь, судьба, все ту же
 Шутку вѣчную твою!

Въ каждой радости, что въ жизни
 Намъ тобою послана,
 Капля есть отравы горькой, —
 Грусть на днѣ затаена.

II.

АЛЬМАНЗОРЪ.

(Изъ Гейне).

I.

Есть соборъ въ Кордовѣ; старый
 Мощный куполъ подпираютъ
 Исполнскія колонны;
 Ихъ числомъ — тринадцать сотенъ.

Стѣны стараго собора,
 И колонны тѣ, и куполъ
 Изрѣченъими корана
 Сверху до низу покрыты.

Этотъ храмъ воздвигли мавры
 Всемогущему Аллаху;
 Но съ тѣхъ поръ, временъ пучина
 Измѣнила въ мірѣ много.

Башня та, съ которой звали
 На молитву правовѣрныхъ,

Превратилась въ колокольню;
Слышенъ звонъ на ней тоскливый.

На священныхъ тѣхъ ступеняхъ,
Гдѣ слова пророка пѣлись,
Нынче лисне монахи
Католическіе служатъ.

И, раскрашенныя всюду,
Тамъ стоятъ святыхъ статуи;
Дымъ отъ ладона клубится,
И въ дыму мигаютъ свѣчи...

Вотъ Альманзоръ бенъ Абдулла
Подъ соборнымъ, темнымъ сводомъ
На колонны грустно смотреть
И такія шепчетъ рѣчи:

«Мощны вы и колоссальны,
Въ честь Аллаха васъ воздвигли;
А теперь сносить должны вы
Терпѣливо христіанство.

Вы жили съ нимъ по немногу,
Вамъ не тяжело ваше бремя,
Такъ ужъ тотъ, кто послабѣе
И давно примирится...»

И въ соборѣ кордуанскомъ,
Альманзоръ съ лицомъ веселымъ,
Предъ украшенной купелью,
Низко голову склоняетъ.

II.

Храмъ покинувъ, онъ поспѣшно
На коня вскочилъ. Взявались
Кудри влажные, и перья
Колыхались на шляпѣ.

По дорогѣ въ Альколею,
Вдоль рѣки Гвадалевивира,
Гдѣ бѣлѣть цвѣтъ миндальный,
Апельсинъ душистый зрѣть,

Вотъ куда помчался рыцарь!..
Онъ поетъ, смѣется, свищетъ,
И его веселью вторять
Пѣнье птицъ и водъ журчанье.

Въ Альколеѣ обитаетъ
Донья Клара ди Альварецъ;
На войну отецъ уѣхалъ,
Безъ него свободнѣй въ замкѣ.

Вотъ ужъ слышится въ отдаленнѣхъ
Альманзоръ литавры, трубы...
Вотъ огни мелькаютъ въ окнахъ
Сквозь листву деревьевъ темныхъ...

Въ Альколеѣ балъ. Танцуютъ
Тамъ двѣнадцать дамъ красивыхъ
И двѣнадцать кавалеровъ —
Альманзоръ царитъ надъ всѣми!

Онъ, какъ будто окрыленный
Счастьемъ, носится по залъ, —
Очаровывать красавицъ
Онъ умѣетъ лестью тонкой...

Цѣловалъ сейчасъ онъ руки
У прекрасной Изабеллы,
И ужъ вотъ подсѣлъ къ Эльвирѣ,
И глядитъ въ лицо ей нѣжно...

Онъ съ усмѣшкой Леонорѣ
Говорить: хорошъ я нынче?
И указываетъ взглядомъ
Платье свой, вышитый крестами.

Дамъ въ любви всѣхъ увѣряя,
Тридцать разъ, по крайней мѣрѣ,
Онъ воскликнулъ въ этотъ вечеръ
«Я клянусь — какъ христiанинъ!»

III.

Все затихло въ Альколеѣ.
Смолкли музыка и говоръ,
Скрылись рыцари и дамы,
И огней не видно въ окнахъ.

Альманзоръ и донья Клара,
Лишь одни остались въ залѣ.
Ихъ обоихъ озаряетъ
Блѣдный свѣтъ послѣдней лампы.

Въ кресла сѣла донья Клара,
Альманзоръ сѣлъ на скамейку,

И усталой головою
Онъ припалъ къ волѣчамъ милой...

Съ грустной думою во взорѣ,
Изъ флакона золотого
Масло розовое дама
Льетъ на кудри Альманзора.

Съ грустной думою во взорѣ,
Дама нѣжными устами
Къ тѣмъ кудрямъ густымъ прильнула...
Альманзоръ чело нахмурилъ.

Изъ очей ея лучистыхъ
Слезы вапаютъ на кудри
Смоляные Альманзора...
Онъ со злобью стиснулъ губы.

И мечтаетъ рыцарь — будто
Онъ опять стоитъ въ соборѣ,
Головой на грудь поникнувъ,
И глухой тамъ говоръ слышать...

То колонны гигантскихъ ропотъ:
«Вносить нѣтъ больше силы
«Это время...» И всѣ вмѣстѣ
Пошатнулись великаны.

Съ трескомъ куполъ провалился;
И попы и богомольцы
Стонуть, ужасомъ объаты,
И святыхъ блѣдѣютъ лики...

III

Н О Ч Ь Ю.

Жалобно вѣтеръ въ трубѣ завываетъ,
Ночь непривѣтная смотритъ въ окно.
Маятникъ мѣрно стучитъ. Догораетъ
Блѣдный ночникъ. Въ дождѣ спать всѣ давно.

Мнѣ одному, этой поздней порою,
Сонъ не смежаетъ тяжелыхъ рѣсницъ.
Прошлаго тѣни встаютъ предо мною,
Много знакомыхъ мнѣ вспомнилось лицъ.

Вспомнились тѣ, что когда-то такъ сжѣло
Вышли на битву съ неправдой и зломъ;
Дѣлу благому отдавшись всецѣло,
Передъ толпой не склоняясь челомъ.

Тѣ, что, отвергнувъ всѣ блага мірскія,
Честную имъ нищету предпочли;
Въ комъ ни обманъ, ни гоненія людскія,
Вѣры въ добро умертвить не могли.

Гдѣ-то теперь вы? О, пусть ваше слово
Намъ прозвучитъ въ эту темную ночь...
Пусть оно силу на подвигъ суровый
Дастъ намъ, готовымъ въ борьбѣ изнемочь.

Зовъ нашъ услыште, средь тьмы безпроглядной,
Нуженъ усталымъ вашъ братскій привѣтъ;
Гаснетъ ихъ вѣра; увидѣть отрадный
Взоры не чаютъ разсвѣтъ!

А. Плещеевъ.

PANEM ET LABOREM.

Работы, работы, работы!...
Не денегъ, не хлѣба—труда
Прошу я у васъ, господа:
Работы мнѣ дайте, работы!...

Зачѣмъ мнѣ просить подаянье,
Когда есть охота къ труду
И вѣра въ людей—упованье,
Что въ нихъ не звѣрей я найду!...

Богъ далъ мнѣ здоровыя руки
И прочно скроённую грудь,
Готовъ я на всякія муки—
Лишь трудъ бы достать какъ нибудь!...

Работы!... Семья, малолѣтки!...
Не съ голоду-жъ имъ помирать?
Что сдѣлали бѣдные дѣтки,
Чѣмъ ты виновата, ихъ мать?...

Какъ вынести голода муки,
Рядъ длинныхъ бессонныхъ ночей,
Рыданія женскаго звуки
И крики голодныхъ дѣтей!...

Работы, работы, работы!...
Не денегъ, не хлѣба—труда
Прошу я у васъ, господа:
Работы мнѣ дайте, работы!...

В—ръ Орловъ.

ПЕРВЕНЦЫ ЛИЦЕЯ И ЕГО ПРЕДАНИЯ.

Велико значеніе поэта, который проводит въ сознаніе народа жизнь его и изъ тайниковъ роднаго слова вызываетъ новый міръ идей, образовъ и звуковъ. Царскосельскій Лицей, давшій Россіи нѣсколькихъ замѣчательныхъ людей на разныхъ поприщахъ, болѣе всего однакожь привлекаетъ вниманіе потомства потому, что въ немъ началъ свое развитіе величайшій русскій поэтъ. Лицей былъ назначенъ для приготовленія молодыхъ людей «къ важнымъ частямъ государственной службы», но насмѣшливая судьба устроила, что первымъ блестящимъ плодомъ его воспитанія былъ юноша, вовсе не годившійся для службы и однакоже болѣе всѣхъ прославившій это заведеніе. Еще прежде нежели произносились имена знаменитыхъ въ наше время питомцевъ первоначальнаго Лицея, Пушкинъ былъ извѣстенъ всей Россіи, какъ воспитанникъ перваго выпуска его. Въ позднѣйшее время нашлись люди, которые стали собирать подробности пребыванія въ немъ нашего поэта и его товарищей. И не мудрено: цѣлый отдѣлъ стихотвореній Пушкина, отдѣлъ, исполненный блеска и игривости молодой жизни, отмѣченъ именемъ Лицея; всякая черта, служащая къ разъясненію этого періода Пушкинской поэзіи, становится драгоцѣнна.

Къ сожалѣнію, сами воспитанники Лицея и близкаго ему лицейскаго пансіона, сдѣлали немного для исторіи этихъ заве-

деній. Лицейскій пансіонъ возникъ очень скоро послѣ Лицея, имѣлъ съ нимъ отчасти то же начальство и тѣхъ же преподавателей, и потому исторія одного тѣсно связана съ исторіею другаго. Изъ воспитанниковъ ихъ только двое серьезно, хотя и различно, потрудились въ этомъ дѣлѣ, именно В. П. Гаевскій и безымянный авторъ (князь Н. Г—нъ?) книги: *Блаженный пансіонъ Царскосельскаго Лицея (С.-Петербургъ, 1869 года)*.

Г. Гаевскій напечаталъ въ *Современникъ* 1853 и 1854 годовъ три замѣчательныя и очень талантливо написанныя статьи о Дельвигѣ, въ которыхъ не могъ не коснуться также Пушкина и Лицея вообще, а потомъ, въ 1863 году, онъ помѣстилъ въ томъ же изданіи двѣ столь же интересныя статьи подъ заглавіемъ: *Пушкинъ въ Лицѣ и его лицейскія стихотворенія*. Въ названной книгѣ о царскосельскомъ пансіонѣ разсмотрѣна со всѣхъ сторонъ весьма обстоятельно и съ большою любовью вся жизнь этого воспитательнаго заведенія въ связи отчасти съ исторіею Лицея. Сюда же слѣдуетъ отнести часть записокъ Пущина, одного изъ товарищей поэта, напечатанную въ московскомъ *Атенѣ* 1859 года. Во время приготовленій къ празднованію пятидесятилѣтія Лицея тогдашній библіотекаръ его, И. Я. Селезневъ, занялся, по приглашенію юбилейной комиссіи, разработкою лицейскаго архива и издалъ сперва матеріалы для исторіи этого заведенія, а потомъ довольно подробный «очеркъ» ея, основываясь главнымъ образомъ на официальныхъ источникахъ. Г. Селезневъ, хотя по мѣсту своего образованія чуждый Лицею, умѣлъ однакожь оживить точную передачу фактовъ теплымъ сочувствіемъ къ учрежденію и его воспитанникамъ, и, вообще говоря, выполнилъ свою задачу весьма удовлетворительно. Тогда же старинный лицейскій профессоръ, нынѣ покойный, И. П. Шулгинъ сообщилъ въ рѣчи, произнесенной на торжественномъ актѣ, рядъ своихъ собственныхъ воспоминаній. Наконецъ, къ числу занимавшихся Пушкинскимъ періодомъ Лицея надобно присоединить двухъ постороннихъ писателей, которые значительно подвинули разработку біографіи поэта,—гг. Бартенева и Анненкова. При исчисленіи книгъ и статей, касающихся

исторіи Лицея, нельзя умолчать также объ одномъ важномъ рукописномъ источникѣ, на который гг. Гаевскій и Анненковъ часто ссылаются. Это «замѣтки стараго лицеиста», набросанныя въ 1854 году барономъ (нынѣ графомъ) М. А. Корфомъ по прочтеніи статьи П. И. Бартенева о пребываніи Пушкина въ Лицеѣ (*Московскія Вѣдомости* того же года, №№ 117 — 119). Обязательность высокоуважаемаго автора «замѣтокъ» даетъ и мнѣ возможность пользоваться въ настоящемъ случаѣ этимъ драгоценнымъ матеріаломъ. Прибавлю, что въ моихъ рукахъ находятся сверхъ того остатки архива перваго курса Лицея, хранившіеся у покойнаго адмирала Матюшкина. Чувствуя упадокъ силъ, онъ за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти, въ 1872 году, передалъ ихъ въ наслѣдство мнѣ, какъ лицеисту, для котораго преданія стараго Лицея всегда были особенно дороги.

Изъ всего такимъ образомъ напечатаннаго и написаннаго о Лицеѣ можно теперь узнать гораздо болѣе, нежели сколько было извѣстно въ стѣнахъ самаго заведенія воспитывавшимся въ немъ молодымъ людямъ послѣдующихъ поколѣній. При всемъ томъ нельзя согласится съ П. В. Анненковымъ, чтобы мы имѣли уже, какъ онъ говоритъ, *полную* исторію Лицея. Много остается еще добавить, выяснить и провѣрить, тѣмъ болѣе что въ разсказахъ самихъ воспитанниковъ перваго выпуска встрѣчаются немаловажныя разнорѣчія: новое доказательство, какъ трудно добывать достовѣрныя историческія свѣдѣнія даже о близкой къ намъ эпохѣ.

Какъ о наставникахъ, такъ и о товарищахъ своихъ старинные лицеисты въ нѣкоторыхъ случаяхъ отзываются различно, каждый по своимъ впечатлѣніямъ. Въ примѣръ достаточно привести несходныя сужденія Пушкина и графа Корфа о Куницынѣ, или взгляды на самого поэта, высказанныя съ одной стороны тѣмъ же графомъ Модестомъ Андреевичемъ, съ другой Пущинымъ. Разногласія обнаруживаются даже въ фактическихъ показаніяхъ. Такъ послѣднее изъ названныхъ лицъ обстоятельно говоритъ о впечатлѣніи, произведенномъ на императора Александра Павловича, при выпускѣ перваго курса, прощальною пѣсню Дельвига, а изъ другихъ свидѣ-

тельство оказывается что государь совсѣмъ не присутствовалъ при ея пѣніи.

Обратившись къ этому предмету по поводу скопившихся у меня лицейскихъ бумагъ, я однакожъ никакъ не берусь во всѣхъ частныхъ случаяхъ рѣшить, на чьей сторонѣ правда; не имѣю также въ виду существенно дополнить исторію Лицея. Мое намѣреніе только собрать нѣсколько о немъ воспоминаній, чтобы показать и хорошія и дурныя стороны этого заведенія и тѣмъ способствовать къ правильному пониманію значенія его въ исторіи русскаго образованія. Притомъ же я вполне сочувствую замѣчанію г. Анненкова, что въ виду близкаго сооруженія памятника Пушкину, «на совѣсти каждаго, имѣющаго возможность пояснить нѣкоторые черты его нравственной фizioноміи, лежитъ обязанность сказать свое сильное слово, какъ бы маловажно оно ни было». На исторію перваго періода существованія Лицея съ характеристикой лицъ, къ нему принадлежавшихъ, надобно смотрѣть какъ на одинъ изъ матеріаловъ для другаго, рисующагося въ будущемъ всенароднаго памятника Пушкину—историко-критическаго изданія его сочиненій.

Имена Лицея и Пушкина неразрывно связаны между собою въ культурной исторіи Россіи, и трудно сказать, кто кому болѣе обязанъ: Пушкинъ Лицею, или Лицей Пушкину.

Вся обстановка новаго училища была необыкновенно благоприятна для развитія поэтическаго таланта. Царское Село соединяло въ себѣ двойное обаяніе свѣжихъ историческихъ воспоминаній и живописныхъ красотъ мѣстности, хотя и созданныхъ болѣе чудесами искусства, чѣмъ природой. Съ одной стороны сады и рощи, очаровательно-тихое уединеніе, величавые памятники военной славы и посреди всего этого невидимый, но всюду присущій, исполинскій и прекрасный образъ гениальной Екатерины. Понятно, какъ сильно это двойное обаяніе должно было дѣйствовать на воспріимчивую душу одного изъ первенцевъ Лицея. Удивительно ли, что обѣ стороны такой обстановки ярко отразились въ творчествѣ молодаго поэта? Онѣ и впоследствии не утратили своего живительнаго вліянія на его фантазію. Лицейскія воспоминанія до конца

жизни съ неизмѣнною силою возвращаются въ его стихотвореніяхъ. Сущность его отношеній къ Лицею и Царскому Селу прекрасно выражена въ стихахъ, написанныхъ имъ при возвращеніи послѣ многихъ лѣтъ къ дорогимъ мѣстамъ:

Воспоминаньями смущенный,
 Исполненъ сладкою тоской,
 Сады прекрасные, подъ сумракъ вашъ священный
 Вхожу съ понижею главою!
 Такъ отрокъ Библіи, безумный расточитель,
 До капли истощивъ раскаянья фіалъ,
 Увидѣвъ наконецъ родимую обитель,
 Главою поникъ и зарыдалъ...

Среди суетныхъ увлеченій и въ тяжелыя минуты поэтъ обращался къ святынѣ своихъ воспоминаній:

И славныхъ лѣтъ передо мною
 Являлись вѣчные слѣды:
 Еще исполнены великою женою,
 Ея любимые сады
 Стоять населены чертогами, столпами... и проч.

Пушкинъ не остался въ долгу у заведенія, въ которомъ видѣлъ колыбель своей славы. Значеніе поэта для позднѣйшаго Царскосельскаго Лицея заключалось не въ одномъ блескѣ его имени, которымъ это учрежденіе гордилось, не въ одной любви, съ какою онъ прославлялъ Лицей въ стихахъ своихъ: воспоминаніе о Пушкинѣ дало основной тонъ и цвѣтъ всей внутренней жизни Лицея. Конечно и послѣ него, какъ при немъ, строго-научное направленіе не пустило корня въ стѣнахъ этого разсадника министерствъ и гвардіи. Лицей по ученію оставался далекъ даже отъ того идеала высшаго учебнаго заведенія, который имѣли въ виду при его основаніи. Но преданіе о Пушкинѣ и его товарищахъ удержало Лицей на томъ пути, на который онъ твердо сталъ съ самаго начала. Имя Пушкина было для Лицея палладіумомъ и спасло его отъ духовнаго паденія въ ту нерадостную пору, когда желѣзная рука Аракчеева исторгла Лицей изъ-подъ вліянія князя Голицына и отдала его подъ военную опеку. Не смотря на измѣнившійся духъ управленія, чтеніе и авторство остались любимыми занятіями лицейстовъ. Правда, что это мѣшало приоб-

рѣшенію основательныхъ школьныхъ познаній, но такая само-
дѣятельность неоспоримо имѣла всетаки свою полезную сторону,
изошряя умственные способности, развивая и питая любознатель-
ность; изъ чтенія также почерпались свѣдѣнія, хотя и не си-
стематическія; стремленіе же къ авторству заставляло юно-
шей работать и прилагать знанія на практикѣ. А это также
не маловажные элементы умственного воспитанія.

Впрочемъ и ученіе шло не дурно по тѣмъ предметамъ,
которые были въ рукахъ способныхъ и дѣятельныхъ препо-
давателей. Но въ сожалѣнію, таковы были далеко не всѣ
представители науки въ Лицеѣ, хотя онъ и считался первымъ
изъ закрытыхъ учебныхъ заведеній въ Россіи. При качествен-
ной скудости педагогическихъ силъ, лицеисты охотно обра-
щались къ такимъ самостоятельнымъ занятіямъ, которыя наи-
болѣе соотвѣтствовали духовнымъ потребностямъ ихъ возра-
ста. Бывали конечно и примѣры прискорбныхъ увлеченій,
когда бездарность тратила время на безплодное риемоплетство,
или когда чтеніе не шло далѣе романовъ, ничего не давав-
шихъ въ замѣнъ упущенныхъ уроковъ. Но это только частные
случаи. При такомъ направленіи Царскосельскій Лицей никогда
не доходилъ до той пустоты и суетности, до той любви къ
праздности, къ наслажденіямъ и разгулу, которыя могутъ
овладѣть закрытымъ заведеніемъ, когда оно лишится благо-
творной силы преданія и умственныхъ интересовъ, когда
всякая духовная жизнь въ немъ подавлена преобладаніемъ
грубыхъ страстей и цинизма. Такому печальному паденію
Царскосельскаго Лицея всегда противоdѣйствовало жившее
въ немъ, благодаря хранительнымъ традиціямъ, уваженіе къ
умственному превосходству, къ литературному таланту и труду.

Но какимъ образомъ, съ самыхъ первыхъ мѣсяцевъ суще-
ствованія Лицея, въ немъ пробудилась та замѣчательная са-
модѣятельность, о которой единогласно говорятъ всѣ свидѣ-
тельства? Вотъ вопросъ чрезвычайно любопытный и до сихъ
поръ почти еще не затронутый. Предположеніе г. Анненкова,
что воспитанники, скучая отъ бездѣлья, искали въ занятіяхъ
спасенія отъ скуки, еще не разрѣшаетъ этого вопроса: отъ
скуки охотнѣе прибѣгаютъ къ другимъ развлеченіямъ. Соби-

ратся для того, чтобы вмѣстѣ сочинить пѣсню или чтобы общими силами рассказать повѣсть, которую всякій продолжаетъ развивать по-своему съ того мѣста, гдѣ другой остановился, это значило любить умственные забавы, чувствовать потребность въ упражненіи ума и воображенія. Было ли это слѣдствіемъ присутствія одного необыкновеннаго таланта или соединеніи нѣсколькихъ даровитыхъ юношей, или возбужденіе исходило извнѣ отъ кого-нибудь изъ наставниковъ? Талантливые воспитанники, страстно любившіе литературу, бывали въ Лицеѣ и послѣ, однакожъ явленіе подобной авторской производительности въ такой степени никогда болѣе въ немъ не повторялось. Въ рукахъ г. Гаевского былъ самый ранній сборникъ перваго курса, подъ заглавіемъ *Вѣстникъ*; тамъ было упомянуто, что «Инспекторъ Лицея Мартынъ Ст. Пилецкій предложилъ учредить собраніе всѣхъ молодыхъ людей, которыхъ общество найдетъ довольно способными въ исполненіи должности сочинителя, и чтобы всякій членъ сочинилъ что-нибудь въ продолженіе по крайней мѣрѣ двухъ недѣль, безъ чего его выключать». Трудно однакожъ вывести отсюда заключеніе, чтобы главнымъ виновникомъ литературнаго движенія въ кругу первыхъ лицейстовъ былъ Пилецкій, человѣкъ съ весьма плохимъ образованіемъ и до того нелюбимый ими, что они наконецъ вступили съ нимъ въ открытую борьбу и принудили его удалиться. Но Пилецкій въ приведенномъ случаѣ могъ быть только исполнителемъ чужаго внушенія.

Были, кажется, два обстоятельства, которыми, кромѣ даровитости воспитанниковъ, объясняется ихъ оживленная литературная дѣятельность. Отецъ Пушкина былъ знакомъ съ извѣстнѣйшими московскими писателями; этимъ путемъ тамошній литературный міръ сдѣлался легко доступенъ для лицейскихъ поэтовъ, и съ 1814 г. ихъ опыты начинаютъ являться въ печати: понятно какъ перспектива такой чести должна была возбуждать молодые умы и перья. Другимъ важнымъ обстоятельствомъ было то, что семеро изъ товарищей Пушкина до поступленія въ Лицей были въ Московскомъ университетскомъ пансіонѣ: двое (Масловъ и Яковлевъ) были доставлены прямо оттуда, въ слѣдствіе распоряженія министра;

остальные пятеро (Вольховскій, Данзасъ, Ломоносовъ, Матюшкинъ и Ржевскій) прибыли въ Лицей частнымъ образомъ изъ родительскихъ домовъ. Извѣстно, что въ Московскомъ университетскомъ пансіонѣ было сильно развито литературное направленіе. Еще въ 1780-хъ годахъ труды его воспитанниковъ печатались въ сборникахъ, носившихъ разныя заглавія; а въ послѣдніе годы прошлаго столѣтія, когда въ этомъ заведеніи воспитывался Жуковскій, между пансіонерами образовалось даже литературное общество, или «собраніе» для чтенія и разбора ихъ сочиненій и переводовъ. Оно имѣло свой особенный уставъ. Основателемъ и первымъ предсѣдателемъ этого общества былъ Жуковскій. Ученическіе труды его и нѣкоторыхъ изъ его товарищей, напримѣръ Грамматина и Петина (прославленнаго Батюшковымъ), были впослѣдствіи изданы въ видѣ сборника, состоявшаго изъ нѣсколькихъ томовъ, подъ заглавіемъ *Утренняя заря* (М. 1800—1808).

Случайно ли было сходство между литературными собраніями Московскаго пансіона и Лицея? Тогдашній профессоръ русской словесности въ новомъ царскосельскомъ заведеніи, Кошанскій, былъ самъ питомецъ Московскаго университета и преподаватель при его пансіонѣ; онъ придавалъ особенную важность письменнымъ упражненіямъ и по-его желанію книга *Утренняя заря*, при самомъ открытіи Лицея, была приобретена какъ одно изъ пособій по русской каедрѣ. Наконецъ и первый директоръ Лицея, В. Ѳ. Малиновскій, также воспитывался нѣкогда въ Московскомъ университетѣ. Происходя изъ духовнаго сословія, онъ получилъ основательное образованіе, для котораго важными средствами служили ему съ молодости, подъ руководствомъ профессора Барсова, практическія упражненія прозой и стихами, такъ что самъ онъ рано привыкъ къ самостоятельности. Онъ обладалъ замѣчательною способностью къ языкамъ и въ зрѣломъ возрастѣ постоянно продолжалъ распространять свои свѣдѣнія: читалъ, авторствовалъ и переводилъ.* Такимъ образомъ при основаніи Лицея

* См. *Памятную книжку Лицея 1856—1857 г.* и Н. Сущкова *Московский университетскій благородный пансіонъ*, М. 1858.

мы видимъ и въ начальствѣ его, и на одной изъ главныхъ кафедръ, и между воспитанниками элементы, перенесенные изъ Московскаго университетскаго пансіона, и трудно не предположить нѣкоторой взаимной связи въ быту того и другаго заведенія. Все соединилось, чтобы въ новомъ разсадникѣ наукъ приготовить самую благодарную почву для занятій литературою. Удивительно ли, что первые плоды этого разсадника были взлелѣяны поэзіей, а не наукой?

Внутренняя жизнь перваго курса Лицея хорошо отражается въ письмахъ воспитанника Илличевскаго, писанныхъ во время самаго пребыванія его въ заведеніи и потому составляющихъ драгоценный источникъ для занимающаго насъ предмета. Все существенное изъ нихъ напечатано мною въ *Русскомъ Архивѣ* 1864 г.

Илличевскій, сынъ томскаго губернатора, попавъ въ Лицей изъ петербургской гимназіи (тогда единственной, нынѣ 2-й), переписывался съ оставшимся тамъ бывшимъ товарищемъ своимъ Фусомъ, впоследствии непремѣннымъ секретаремъ Академіи Наукъ. Въ литературѣ Илличевскій оставилъ послѣ себя только небольшой томикъ «Опытовъ въ антологическомъ родѣ», изданный въ 1827 г.; но находясь въ Лицѣѣ, онъ былъ однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ его литераторовъ. Онъ писалъ басни, эпиграммы, посланія, и кромѣ того отличался искусствомъ рисовать каррикатуры. При журналѣ *Лицейскій Мудрецъ* сохранились его акварельныя иллюстраціи, которыя и теперь не потеряли своего относительнаго достоинства. Илличевскій, уже въ первые мѣсяцы послѣ поступленія въ Лицей, сознавался, что много былъ обязанъ Пушкину. «Что касается до моихъ стихотворческихъ занятій», писалъ онъ 25 марта 1812 года, «я въ нихъ успѣлъ чрезвычайно, имѣя товарищемъ одного молодаго человѣка, который, живши между лучшими стихотворцами, приобрѣлъ много въ поэзіи знаній и вкуса; и читая мои прежніе стихи, вижу въ нихъ непростительныя ошибки». Замѣчательно, что уже такъ рано Пушкинъ заявилъ свое значеніе и вліяніе въ кругу товарищей. Не менѣе любопытно слѣдующее тотчасъ за этимъ свѣдѣніе: «Хотя у насъ, правду сказать, запрещено сочинять,

но мы съ нимъ (т. е. съ Пушкинымъ,—Илличевскій еще не называетъ его) пишемъ украдкою». Такое запрещеніе, какъ надобно полагать, было вызвано тѣмъ, что молодые новобранцы Лицея, увлекаясь примѣромъ своего даровитаго собрата, слишкомъ неумѣренно предавались своей страсти къ авторству во вредъ урокамъ. Безъ этого предположенія трудно допустить, чтобы такой просвѣщенный начальникъ какъ Малиновскій сталъ запрещать своимъ питомцамъ подобныя занятія. Да и Кошанскій всегда считалъ умѣніе писать самой существенной стороной литературнаго образованія. Впрочемъ запрещеніе было во всякомъ случаѣ непродолжительно; уже черезъ мѣсяцъ (26 апрѣля) Илличевскій писалъ: «Скажу тебѣ новость: намъ позволили теперь сочинять, и мы начали періоды». (Въ своей Общей Реторикѣ Кошанскій считаетъ нужнымъ начинать сочиненія съ періодовъ, которые и называетъ «началами прозы»).

Рядомъ съ этимъ извѣстіемъ Илличевскій изображаетъ учебный бытъ новаго заведенія слѣдующимъ образомъ: «Учимся въ день только 7 часовъ, и то съ перемѣнами, которыя по часу продолжаются; на мѣстахъ никогда не сидимъ; кто хочетъ учиться, кто хочетъ гуляеть; уроки, сказать правду, не весьма велики; въ праздное время гуляемъ, а нынче-жъ начинается лѣто: снѣгъ высохъ, трава показывается, и мы съ утра до вечера въ саду, который лучше всѣхъ лѣтнихъ петербургскихъ». Чтобы понять эти слова, надобно вспомнить что тогда при Лицеѣ еще не было своего сада (который устроенъ былъ позже, по старанію Энгельгардта): воспитанники въ свободные часы ходили въ большой царскосельскій садъ и тамъ располагались особенно на такъ называемомъ *розовомъ полѣ*—вправо отъ мраморнаго мостика, гдѣ въ царствованіе Екатерины II дѣйствительно сажали розы, но при первомъ курсѣ Лицея ихъ уже не было; тамъ молодые люди гуляли, рѣзвились, играли въ лапту и пр.

То же положеніе учебной части въ Лицеѣ продолжалось и послѣ. За нѣсколько мѣсяцевъ до перехода въ старшій курсъ * Илличевскій наивно пишетъ: «Ежели уроки мѣша-

* До преобразованія Лицея въ 1830-хъ годахъ, въ немъ было два курса или

ють тебѣ свободно вести со мною переписку, то и мнѣ не мѣмѣ мѣшаетъ (только не уроки: il s'en faut de beaucoup!), а страсть къ стихамъ. Къ счастью, уроковъ у насъ немного и времени довольно; и такъ я со всѣмъ успѣваю раздѣливаться. Черезъ нѣсколько времени онъ повторяетъ прежнія свѣдѣнія о ходѣ лицейскихъ занятій, но прибавляетъ: „Ты самъ знаешь, что всѣ училища подъ одну статью: начало хорошо; чѣмъ же далѣе, то становится хуже. Благодаря Бога, у насъ по крайней мѣрѣ царствуетъ свобода (а свобода дѣло золотое)... Лѣтомъ досугъ проводимъ въ прогулѣхъ, зимою въ чтеніи книгъ, иногда представляемъ театръ; съ начальниками обходимся безъ страха, шутимъ съ ними, смѣемся“. Здѣсь приведу замѣчаніе, слышанное мною отъ Матюшкина. Послѣ смерти перваго директора Лицея, Малиновскаго, долго не было настоящаго начальства. Профессора, исправлявшіе эту должность, не умѣли приобрести авторитета. Притомъ воспитанники были какъ свои во многихъ царскосельскихъ домахъ и видѣли профессоровъ на равной съ собою ногѣ, и потому тѣ являлись передъ ними безъ всякой ореолы величія. Таковъ былъ напримѣръ домъ управлявшаго Царскимъ Селомъ графа Ожаровскаго, жившаго очень открыто; тамъ воспитанники часто встрѣчались съ Кошанскимъ, который былъ неравнодушенъ къ супругѣ хозяина. Впослѣдствіи онъ написалъ стихи на смерть графини, вызвавшіе пародію. Дельвига: „На смерть вучера Агафона“, напечатанную въ *Библиографическихъ Запискахъ* 1859 года.

Употребляя мало времени на уроки, лицеисты за то много читали. Фусъ въ одномъ письмѣ спрашивалъ Илличевскаго, „доходятъ ли до Лицея новыя книги. На это тотъ отвѣчаетъ размышленіемъ о пользѣ чтенія и прибавляетъ: «Мы стараемся имѣть всѣ журналы, и впрямъ получаемъ: *Пантеонъ*, *Вѣстникъ Европы*, *Русскій Вѣстникъ* и пр.» Далѣе онъ говоритъ, что они наслаждаются не только современны-

класса, *старшій* и *младшій*, изъ которыхъ въ каждомъ оставались по три года. Курсомъ называли также совокупность воспитанниковъ одного пріема, и въ этомъ смыслѣ подъ 1-мъ курсомъ разумѣютъ лицестовъ, вышедшихъ въ 1817 году.

ми поэтами: Жуковскимъ, Батюшковымъ, Крыловымъ, Гнѣдичемъ, но заглядываютъ также въ сочиненія: Ломоносова, Хераскова, Державина, Дмитриева, а иногда бесѣдуютъ и съ иностранными пѣвцами: Расиномъ, Вольтеромъ, Делилемъ. «Не худо», заключаетъ онъ, «заимствуя отъ нихъ красоты неподражаемыя, переносить ихъ въ свои стихотворенія». Здѣсь Иличевскій слегка намѣчаетъ то, что такъ поэтически и прелестно развито въ *Городкѣ* Пушкина. Понятіе о пользѣ чтенія глубоко запало въ умы лицействъ. Еще въ 1822 году Пушкинъ писалъ изъ Кишинева брату: «Чтеніе—вотъ лучшее ученіе». * Но къ этому слѣдовало бы прибавить, что чтеніе должно производиться не такъ, какъ оно производилось въ Лицеѣ. О томъ, что въ немъ необходима система, что оно должно быть въ связи съ ученіемъ и имѣть какой-нибудь заранее опредѣленный господствующій характеръ, лицеисты не думали и никто имъ этого не объяснялъ. Впрочемъ конечно и разнообразное чтеніе безъ плана можетъ имѣть образовательное дѣйствіе. Это направленіе продолжалось въ Лицеѣ и послѣ: воспитанники читали русскіе журналы, читали поэтовъ, историческія сочиненія, книги по политической экономіи, путешествія, романы, драмы, и пріобрѣтали довольно обширное знакомство съ литературой главныхъ европейскихъ народовъ. Нехорошо только то, что многіе исподтишка читали во время лекцій даже хорошихъ профессоровъ, плохо готовили уроки и охлаждѣвали къ ученію.

Сообщенія Иличевскаго о необязательности ученія въ Лицеѣ его времени могутъ показаться иному читателю преувеличенными; легко при этомъ заподозрить молодого человѣка въ нѣкоторой хвастливости передъ своимъ менѣе свободнымъ пріателемъ. Но есть другія свидѣтельства, которыя представляютъ учебную часть тогдашняго Лицея еще въ худшемъ видѣ. Достаточно припомнить повторявшіеся уже неоднократно рассказы объ урокахъ Галича, или мѣсто, приведенное г. Гаевскимъ изъ рукописи графа Корфа. На основаніи тѣхъ же данныхъ картина внутренней жизни первона-

* Библиогр. Записки 1858 г. № 1.

чальнаго Лицея вышла у г. Анненкова едва ли не слишкомъ уже мрачною. Еслибъ тамъ жилось дѣйствительно такъ плохо, то чѣмъ объяснялась бы та горячая привязанность къ мѣсту своего воспитанія, та признательная память о немъ, то крѣпкое товарищество, которыя, начиная уже съ перваго курса, составляли отличительную черту всѣхъ бывшихъ лицейстовъ. Къ тому же мы знаемъ, что съ самаго начала отсюда выходили хоть немногіе люди съ основательными познаніями; слѣдовательно Лицей всегда давалъ средства къ образованію, но не всѣ желали и умѣли ими пользоваться. Вся формальная и officialная часть при первомъ курсѣ шла очень плохо, но за то бойко работали внутреннія силы и пружины, приводимыя въ движеніе духомъ времени, исключительными обстоятельствами и присутствіемъ нѣсколькихъ недюжинныхъ личностей. Вотъ разгадка той странности, на которую указываетъ графъ Корфъ, говоря: «Нашъ курсъ, болѣе всѣхъ запущенный, вышелъ едва ли не лучше всѣхъ другихъ, по крайней мѣрѣ несравненно лучше всѣхъ современныхъ ему училищъ... Какъ это сдѣлалось, трудно дать ясный отчетъ: по крайней мѣрѣ ни наставникамъ нашимъ, ни надзирателямъ не можетъ быть приписана слава такого результата».

Изъ писемъ Илличевскаго мы видимъ далѣе, что посылать свои произведенія въ московскіе и петербургскіе журналы, даже еще во время пребыванія въ младшемъ курсѣ, было между лицейстами перваго выпуска дѣломъ обыкновеннымъ. Кроме сочиненій Пушкина, уже печатались также сочиненія Дельвига, Кюхельбегера, Пущина и самого Илличевскаго. Послѣдній пытался даже поставить въ Петербургѣ на сцену свой переводъ какой-то оперы и затѣвалъ большія литературныя предпріятія, какъ на примѣръ изданіе *Новаго Плутарха для юношества* и составленіе біографіи знаменитаго математика Эйлера. По всему видно, что стремленіе создать что-нибудь крупное, капитальное, было общею чертою молодыхъ лицейскихъ авторовъ. Пушкинъ также, за полтора года до выпуска, затѣваетъ большое сочиненіе. 16-го января 1816 года Илличевскій сообщаетъ о немъ: «Онъ пишетъ теперь комедію въ 5-ти дѣйствіяхъ, въ стихахъ, подъ названіемъ *Фило-*

софѣ. Планъ довольно удаченъ, и начало, то есть 1-е дѣйствіе, до сихъ поръ только написанное, обѣщаетъ нѣчто хорошее; стихи—и говорить нечего, а острыхъ словъ сколько хочешь!» Отъ этого только начатаго Пушкинымъ труда не осталось никакихъ слѣдовъ; конечно онъ, сознавая свой планъ неудачнымъ, скоро бросилъ работу, и принялся за поэму *Русланъ и Людмила*, первыя пѣсни которой были, какъ извѣстно, написаны еще въ Лицеѣ.

Журналъ *Лицейскій Мудрецъ* долго считали потеряннымъ вмѣстѣ съ бумагами, оставшимися послѣ умершаго въ Италіи Корсакова, къ которому относится мѣсто 19-го Октября, начинающееся словами:

«Онъ не пришелъ, кудрявый нашъ пѣвецъ
Съ огнемъ въ очахъ съ гитарой сладкогласной».

Но г. Гаевскій въ 1863 году пользовался и этимъ журналомъ, по крайней мѣрѣ уцѣлѣвшей частью его, и возвративъ сообщилъ ея содержаніе. Теперь она, въ числѣ другихъ бумагъ, передана мнѣ покойнымъ Матюшкинымъ.

Сохранившійся *Лицейскій Мудрецъ* составляетъ небольшую тетрадь или книжку, въ формѣ продолговатаго альбома, въ красномъ сафьянномъ переплетѣ. На лицевой сторонѣ переплета, въ золотомъ вѣнцѣ, читается заглавіе и подъ нимъ означенъ годъ: «1815».

Въ январѣ этого года воспитанники перешли въ старшій курсъ, а возобновленный журналъ сталъ выходить осенью и продолжался еще въ началѣ 1816 года. Въ этотъ періодъ явилось четыре нумера, которые всѣ и содержатся въ описанной книжкѣ. Въ концѣ каждаго раскрашенные рисунки работы Иличевскаго, представляющіе то воспитанниковъ, то наставниковъ въ разныхъ сценахъ, отчасти описанныхъ въ статьяхъ журнала. Издателями, по словамъ Матюшкина, были: Данзасъ (будущій секунданта Пушкина) и Корсаковъ. Статьи по большей части писаны красивымъ почеркомъ перваго, почему въ началѣ книжки и означено: «Въ типографіи Данзаса». Изъ прибавленной къ этому шутки: «Печатать позволяется, Цензоръ Баронъ Дельвигъ», можно заключить, что этотъ товарищъ, всѣми уважаемый за свою основательность,

просматривалъ статьи до переписки ихъ начисто. Почти вся проза принадлежитъ, кажется, самому Данзасу; по крайней мѣрѣ, во 2-мъ уже номерѣ онъ бранить своихъ читателей за то, что они ничего не даютъ въ журналъ, и грозить имъ, что если это будетъ продолжаться; «если, говоритъ онъ, ваши Карамзины не развернутся и не дадутъ мнѣ какихъ-нибудь смѣшныхъ разговоровъ: то я сдѣлаю вамъ такую штуку, отъ которой вы не скоро отдѣлаетесь. Подумайте.—Онъ не будетъ издавать журнала.—Хуже.—Онъ натретъ ядомъ листочки *Лицейскаго Мудреца*.—Вы почти угадали: я подарю васъ усыпительною балладою г. Гезеля» (то есть Кюхельбекера). Послѣдній, то подъ приведеннымъ именемъ, то съ намекомъ на пристрастіе въ дерптскимъ студентамъ или на дурное произношеніе русскаго языка, служить постояннымъ предметомъ насмѣшекъ на страницахъ *Лицейскаго Мудреца*. Одна изъ статей любопытна какъ современное свидѣтельство о толкахъ, которые возбуждало недавнее паденіе властителя Европы. Она имѣетъ форму письма въ издателя, подъ заглавіемъ: «Занятія Наполеона Буонапарте на Нортумберландѣ». Авторъ воображаетъ, что онъ, плывя на одномъ кораблѣ съ эксъ-императоромъ, отдѣленъ только перегородкою отъ его каюты и видитъ сквозь щелку все, что онъ дѣлаетъ: «властелинъ Франціи, бичъ вселенной, родоначальникъ великой династіи Наполеонидовъ... поймалъ двѣ крысы, и бросивъ межъ ними кусокъ сахара, занимался тѣмъ, что эти твари ссорились и дрались за него съ остервененіемъ!.. Порадовавшись удали французской крысы, онъ ихъ опять запираетъ въ свой ящикъ, и гуляя по комнатѣ, говоритъ: «Oh, le maudit vieillard de Blücher! il m'a fait bien du mal... Bien mal fait d'avoir quitté Elbe. J'avais tout ce que je voulais. Mon unique plaisir à présent composent ces deux rats, que je fais combattre; aujourd'hui c'est le Français qui a le dessus, j'en suis bien aise.. Бѣдный монархъ! тебя разбили, посадили на корабль и везутъ въ вѣчную тюрьму, а твое утѣшеніе въ двухъ крысахъ!»

Стоитъ также упомянуть объ одной мысли въ статьѣ «Апологія». Авторъ защищаетъ слѣдующимъ образомъ вызовъ въ

Россію иностранныхъ преподавателей: «Стоялъ я столбнякомъ въ лѣсу и думалъ, помнится мнѣ, о томъ, какъ бы выгнать всѣхъ профессоровъ чужестранцевъ изъ матушки Русской земли, а на мѣсто ихъ поставить въ университеты Самоѣдовъ и Чукчей. Ахъ, постойте, любезные чтецы, я перерву мой рассказъ коротенькимъ размышленіемъ. Какую пользу это принесетъ Россіи, а особенно намъ, школьникамъ? Теперь въ классахъ говорятъ о правахъ естественныхъ, а преподаютъ только теорію; а подъ профессорствомъ г. Чукчи мы, раздирая ногтями мясо кобылье, повторяли бы естественное право на самой лучшей практикѣ».

Стихотворная часть *Лицейскаго Мудреца* принадлежитъ, по преданію, Корсакову, Илличевскому и др. На пародію «Пѣвца» Жуковского и одну эпиграмму Илличевского уже указалъ г. Гаевскій въ одной изъ статей своихъ. Всего любопытнѣе переписанныя въ этомъ журналѣ *національныя пѣсни* (замѣчательное для того времени названіе) перваго курса, до сихъ поръ еще остающіяся не напечатанными въ цѣлости. Г. Анненковъ нашелъ отрывки изъ нихъ между автографами Пушкина и передалъ въ своихъ «Матеріалахъ» немногіе оттуда куплеты. Г. Гаевскій сообщилъ другіе отрывки. По свидѣтельству Пушкина, знаменитый поэтъ принималъ участіе въ сочиненіи національныхъ пѣсенъ, которыя, какъ извѣстно, сочинялись сообща.

Въ слѣдующемъ куплетѣ:

„Но кто нѣмецкихъ бредней томъ
Покроетъ вѣчной пылью?
Пилецкій, пастыръ душъ съ крестомъ,
Ибонниковъ съ бутылю...

покойный Матюшинъ признавалъ себя авторомъ послѣдняго стиха. О лицахъ, къ которымъ относится это мѣсто, было уже не разъ упоминаемо въ печати. Выраженіе *нѣмецкія бредни* намекаетъ на героя пѣсни Гауэншильда, профессора нѣмецкой литературы, который одно время исправлялъ должность директора. Какъ онъ, такъ и другіе два наставника, рядомъ съ нимъ названные, достаточно уже охарактеризированы, со словъ графа Корфа, гг. Гаевскимъ и Анненковымъ. О

Гауэншильдъ Иличевскій писалъ Фусу: «Попечитель вашъ Уваровъ нарочно призвалъ его изъ Вѣны въ Россію и доставилъ ему мѣсто въ Лицеѣ». Мы можемъ пояснить теперь, что этотъ вызовъ былъ не во благо русскому юношеству. Чуждый новому поприщу своей дѣятельности, этотъ австріецъ думалъ только о личной своей выгодѣ, и успѣвъ снискать довѣренность графа Разумовскаго, достигъ такого положенія, въ которомъ ничего не было легче какъ употребить еѣ во зло. Ранняя смерть перваго директора, уже въ мартѣ 1814 года, была истиннымъ несчастіемъ для новаго заведенія, хотя можетъ-быть онъ и не вполне соответствовалъ своему назначенію. «В. Θ. Малиновскій, пишетъ графъ Корфъ, былъ человекомъ добрый и съ образованіемъ, хотя нѣсколько семинарскимъ, но слишкомъ простодушный, безъ всякой людскости, слабый и вообще не созданный для управленія какою-нибудь частію, тѣмъ болѣе высшимъ учебнымъ заведеніемъ. Значеніе свое онъ получилъ, вѣроятно, отъ того, что былъ женатъ на дочери извѣстнаго протоіерея Андрея Афанасьевича Самборскаго, сперва священника при церкви нашего посольства въ Лондонѣ, потомъ законоучителя и духовника великихъ князей Александра и Константина Павловичей и наконецъ духовника великой княгини Александры Павловны, по вступленіи ея въ бракъ съ эрцгерцогомъ палатиномъ Венгерскимъ. Есть впрочемъ вся вѣроятность думать, что и въ выборѣ Малиновскаго не обошлось безъ участія тогдашняго государственнаго секретаря (Сперанскаго), который издавна былъ очень близокъ къ Самборскимъ и въ ихъ домѣ впервые познакомился съ тою, которая послѣ сдѣлалась его женою, сиротою бѣднаго англійскаго пастора Стивенса».

Не смотря на нѣкоторые недостатки, Малиновскій былъ человекъ просвѣщенный и честный: потерявъ его черезъ два съ небольшимъ года послѣ своего основанія, Лицей вдругъ осиротѣлъ, и начались его невзгоды. Двухлѣтнее междуцарствіе, о которомъ долго жила память въ Лицеѣ, отзывалось на немъ весьма печальными послѣдствіями. Графъ Разумовскій, при всѣхъ своихъ добрыхъ намѣреніяхъ, впалъ въ непростительную ошибку, не приискавъ тотчасъ же способнаго

преемника Малиновскому; но онъ сдѣлалъ еще болѣшую ошибку, когда, видя плоды анархіи, ввѣрилъ судьбу двухъ высшихъ заведеній своекорыстному иностранцу, не знавшему порядочно русскаго языка. Новообразованный лицейскій пансіонъ возникъ изъ частнаго приготовительнаго училища, устроеннаго первоначально на собственные средства этимъ находчивымъ пришлецомъ. Кандидатомъ на должность директора пансіона, преобразованнаго въ казенное заведеніе, явился было Кошанскій; но связи и привилегія иноземнаго происхожденія заставили предпочесть Гауэншильда, преподававшаго въ Лицеѣ нѣмецкую литературу по-французски. Результатомъ его пансіонскаго управленія былъ черезъ нѣсколько лѣтъ долгъ въ 10000 рублей.

По словамъ графа Корфа, «Гауэншильдъ, при довольно заносчивомъ нравѣ, былъ человекъ скрытный, хитрый, даже коварный. Доказательствомъ общей къ нему ненависти служила національная пѣсня, которая пѣвалась хоромъ на голось гремѣвшаго тогда по цѣлой Россіи «Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ», безъ всякаго секрета и только что не самому Гауэншильду въ лицо. Первые четыре стиха пѣлись *adagio* и *sotto voce*; потомъ темпъ ускорился, а съ нимъ возвышались и голоса, которые наконецъ переходили въ совершенную бурю. Разумѣется, прибавляетъ нашъ источникъ, что тутъ имѣлись въ виду не поэтическія красоты и не прелести гармоніи, а только выраженіе общаго чувства».

Къ счастью, бразды лицейскаго правленія не долго были въ рукахъ Гауэншильда; въ началѣ 1816 года директоромъ Лицея назначенъ былъ Е. А. Энгельгардтъ. При разстройствѣ, до котораго дошли дѣла въ періодъ междуцарствія, при совершенномъ упадкѣ дисциплины, нужно было необыкновенное умѣніе, чтобы возстановить правильный ходъ жизни и порядокъ во всѣхъ ея отправленіяхъ. Будучи лично извѣстенъ государю и пользуясь его довѣріемъ, бывшій директоръ Педагогическаго института находился конечно въ особенно-благопріятныхъ обстоятельствахъ для выполненія трудной задачи; но въ тому присоединялись и рѣдкія способности его къ административному и педагогическому дѣлу. Недавно напечатанная

записка его объ обязанностях воспитателя* показываетъ какъ разумно онъ смотрѣлъ на предстоявшій ему трудъ въ послѣднемъ отношеніи. Дѣйствуя въ этомъ смыслѣ, Энгельгардтъ успѣлъ вскорѣ снискать въ такой степени любовь и уваженіе воспитанниковъ, что имя его сдѣлалось навсегда дорого Лицею, и вокругъ этого имени впослѣдствіи сгруппировались всѣ самыя свѣтлыя воспоминанія лицействова. Хотя бы въ дѣйствіяхъ Энгельгардта и было нѣкоторое суетное стремленіе къ эффекту, хотя бы въ нихъ и можно было указать на кое-какіе промахи и увлеченія, а иногда ошибки въ частныхъ отношеніяхъ къ тому или другому воспитаннику (напримѣръ къ Пушкину, котораго онъ не понималъ и который ему не сочувствовалъ), все же нельзя отказать «Егору Антоновичу» въ вѣрномъ пониманіи молодежи и средствъ вести её. Одинъ годъ управленія его при первомъ курсѣ заслонилъ собою прежнія замѣшательства, и для послѣдующихъ поколѣній лицействова имя его знаменательно слилось со всею первою эпохою существованія Лицея.

Понятно, что для нихъ этотъ періодъ, озаренный и славою историческихъ событій, и блестящею извѣстностію нѣкоторыхъ изъ первенцевъ Лицея, являлся въ поэтическомъ свѣтѣ, и преданія о первомъ курсѣ переходили «изъ рода въ родъ» не безъ прикрасъ воображенія. Они пріобрѣли еще болѣе прелести послѣ того какъ Лицей въ 1822 году былъ причисленъ къ военно-учебнымъ заведеніямъ.

Около 1830 года, когда я воспитывался въ Лицеѣ, преданія эти были еще довольно свѣжи, но какая разница въ духѣ времени и обстоятельствахъ! Правда, что и при тогдашнемъ директорѣ, генералѣ Гольтгоерѣ, бывшемъ начальникѣ дворянскаго корпуса, человекѣ добромъ и честномъ, управленіе Лицея, вообще говоря, было довольно мягкое, но все таки руководящимъ началомъ этого управленія былъ страхъ, а не любовь. Не видя въ представителяхъ администраціи Лицея высшаго образованія, мы не могли смотрѣть на нихъ съ полнымъ довѣріемъ: мы жалѣли о прошломъ и не совсѣмъ были довольны

* См. *Русскій Архивъ* 1872 года.

настоящимъ. Кое-что изъ прежнихъ порядковъ еще сохранялось: такъ у каждаго воспитанника была своя особая небольшая спальня, но намъ уже не позволялось днемъ заниматься въ этихъ комнатахъ. По-старому выписывались еще для насъ газеты и журналы, которые прикрѣплялись въ нарочно устроенной для этого высокой конторкѣ, и мы могли брать изъ лицейской библіотеки книги по собственному выбору, но на нѣкоторыхъ авторовъ было наложено безусловное запрещеніе. Такъ какъ однакожъ надзоръ былъ почти исключительно внѣшній, то намъ было очень легко обходить это запрещеніе: мы не только читали Вольтера, но и дѣлали изъ него выписки, означая ихъ какимъ-нибудь вымышленнымъ именемъ. Изданіе рукописныхъ литературныхъ журналовъ считалось также запрещеннымъ, но это не мѣшало намъ, подражая первому курсу, составлять тайкомъ подобныя сборники, гдѣ иногда являлись сатирическіе стихи и статьи, напримѣръ рассказы о лицейскихъ событіяхъ языкомъ Нестора, въ духѣ и тонѣ древней лѣтописи. Послѣдній родъ авторства достигъ особеннаго развитія у нашихъ старшихъ, такъ что одинъ изъ воспитанниковъ этого курса мало по малу написалъ обширное повѣствованіе этого рода на столбцахъ, которые наконецъ однакожъ попали въ руки тогдашняго инспектора, профессора Оболенскаго, и исчезли, кажется даже не безъ послѣдствій для автора при его выпускѣ. Надобно отдать справедливость тогдашнему начальству въ томъ, что внѣшняя сторона управленія была вполне удовлетворительна: насъ хорошо кормили, чисто одѣвали и вообще содержали какъ слѣдуетъ, но въ нравственномъ и умственномъ отношеніяхъ многое бы могло быть гораздо лучше при большей способности и образованности начальства.

Въ каждомъ изъ двухъ курсовъ было въ наше время по 25 человѣкъ. Въ отношеніяхъ между тѣмъ и другимъ господствовалъ характеръ, благопріятный для воспитанія. Меньшіе съ большимъ уваженіемъ смотрѣли на старшихъ, имѣли высокое понятіе о ихъ учебной и нравственной жизни, которой вблизи не видѣли, потому что доступъ въ старшій курсъ былъ имъ закрытъ, и считая себя обязанными охранять честь

и преданія Лицея, старались быть достойными своихъ предшественниковъ. Оттого товарищескій бытъ этого заведенія былъ выше пансіонскаго и отличался благородствомъ отношеній.

При переходѣ изъ пансіона мы застали въ Лицеѣ еще трехъ профессоровъ и двухъ гувернеровъ, бывшихъ при немъ съ основанія. Это много значило при той непрочности, какою во всемъ ознаменовалось первое время существованія Царско-сельскаго Лицея. Въ самомъ дѣлѣ, въ шестилѣтіе перваго курса, однихъ директоровъ было три, не считая промелькнувшихъ въ этой должности профессоровъ, а сколько смѣнилось между тѣмъ гувернеровъ! Имъ не было счета, какъ видно изъ составленнаго г. Селезевымъ списка. Такова уже была судьба Лицея: перемѣны съ самаго начала быстро слѣдовали одна за другою, какъ въ самомъ заведеніи, такъ и въ верховной надъ нимъ администраціи: уже при первомъ курсѣ смѣнилось два министра просвѣщенія, а потомъ, по переходѣ Лицея въ военное вѣдомство до нашего курса, т. е. въ теченіе какихъ нибудь 5—6 лѣтъ, онъ прошелъ черезъ руки четырехъ главныхъ начальниковъ: графа Коновницина, Гогеля, П. В. Кутузова и Демидова, назначеннаго уже при насъ. Послѣдовавшія позднеѣ перемѣны извѣстны. Нельзя сказать, чтобъ Лицей началъ свое существованіе подъ счастливою звѣздою, развѣ такую считать звѣзду Пушкинской поэзіи.

Изъ старыхъ профессоровъ, дошедшихъ до насъ отъ перваго курса, поговорю только объ одномъ, потому что о немъ есть два совершенно противоположныя между собою свидѣтельства, и надобно наконецъ выяснить истину. Это Кошанскій. Въ русской журналистикѣ, съ 1830-хъ годовъ, насмѣшки надъ его риторикой составляли долго одно изъ тѣхъ общихъ мѣстъ нашей критики, которыя въ ней всегда имѣются въ запасѣ, потому что ничего нѣтъ удобнѣе какъ при случаѣ щегольнуть готовымъ и по видимому неопровержимымъ приговоромъ. Между тѣмъ объ этомъ учебникъ говорилъ большею частію только по наслышкѣ, не зная его и даже не имѣя точнаго понятія о его содержаніи. Обыкновенно воображали, что риторика Кошанскаго занимается только тропами и фигурами. На самомъ же дѣлѣ эти такъ называемыя украшенія

рѣчи составляютъ только небольшую часть его Общей реторики, рассматривающей источники, виды и общія правила произвѣсскихъ сочиненій; другой его курсъ, Частная реторика, есть то, что нынѣ проходитъ подъ именемъ теории словесности и трактуетъ подробно о каждомъ отдѣльномъ родѣ и видѣ прозы. Нѣтъ спору, что съ нынѣшней точки зрѣнія въ каждой изъ этихъ книжекъ можно отыскать много несовершеннаго и пожалуй страннаго; но при этомъ не должно терять изъ виду, во первыхъ, что обѣ онѣ имѣютъ одно рѣдкое для того времени достоинство,—историческую основу, знакомить въ правильной системѣ съ исторіею древнихъ и новыхъ литературъ, въ особенности русской, и во вторыхъ, что онѣ заключаютъ въ себѣ только нить или канву, по которой дальнѣйшее развитіе и оживленіе предмета предоставляется знанію и искуству хорошаго преподавателя. Такимъ можно было по справедливости назвать самого Кошанскаго. При первомъ курсѣ онъ не успѣлъ заявить себя, можетъ быть въ слѣдствіе своей продолжительной болѣзни, а также и оттого, что по разнымъ обстоятельствамъ пришелъ въ столкновеніе съ нѣкоторыми изъ своихъ учениковъ. Такъ должно заключать по отзывамъ графа Корфа, по извѣстному посланію Пушкина *Къ моему Аристарху* и по упомянутой выше пародіи Дельвига. Но въ послѣдующее время Кошанскій приобрѣлъ совсѣмъ другое значеніе. Начать съ того, что учебники его еще не были изданы, и слово *реторика* даже не произносилось на его лекціяхъ, хотя въ нихъ и входило многое изъ того, что впоследствии явилось въ названныхъ книжкахъ. Преподавая латинскій языкъ и русскую литературу, онъ занималъ насъ почти только практически и умѣлъ въ высшей степени возбудить наше вниманіе, разшевелить нашу самостоятельность. Этого достигъ онъ можетъ-быть именно потому, что былъ наученъ опытомъ и собственными своими ошибками. Прежніе его труды, изданные еще въ Москвѣ, по греко-римской археологіи и латинскому языку, далѣе особенное сочувствіе, какое ему оказывалъ знаменитый кураторъ М. Н. Муравьевъ, не оставляютъ никакого сомнѣнія, что Кошанскій былъ вполне подготовленъ къ своей каедрѣ въ Лицеѣ.

Желая ознакомить насъ не съ одною латинскою словесностію, но со всѣмъ классическимъ міромъ, онъ рассказывалъ намъ содержаніе гомеровыхъ поэмъ, объяснялъ міеологию и бытъ древнихъ народовъ, читалъ *Иліаду* въ тѣхъ отрывкахъ изъ перевода Гнѣдича, которые были уже напечатаны. Мы заслушивались его рассказовъ и чтеній. Русскихъ поэтовъ читалъ онъ съ нами въ собраніи *Образцовыхъ сочиненій* и останавливался особенно на Жуковскомъ, сопровождая чтеніе умнымъ, оживленнымъ комментариемъ. Читать съ воспитанниками Пушкина еще не было принято и въ Лицеѣ; его мы читали сами, иногда во время классовъ, украдкою. Тѣмъ не менѣе однакожъ Кошанскій разъ привезъ намъ на лекцію только что полученную отъ Пушкина изъ деревни рукопись *19 Октября 1825 года* («Роняетъ лѣсъ багряный свой уборъ») и прочелъ намъ это стихотвореніе съ особеннымъ чувствомъ, прибавляя къ каждой строфѣ свои поясненія. Только тамъ, гдѣ рѣчь шла о заблужденіяхъ поэта, онъ довольствовался многозначительной мимикой, которая вообще входила въ его приемы. Особенно при стихахъ:

„Наставникамъ, хранившимъ юность нашу,
Не помня зла, за благо воздадимъ“,

онъ далъ намъ почувствовать, что и Пушкинъ не во всемъ заслуживаетъ подражанія. Легко понять, какое впечатлѣніе произвелъ на насъ профессоръ этимъ чтеніемъ. Послѣ урока мы принялись переписывать драгоцѣнные стихи о родномъ Лицеѣ и тотчасъ выучили ихъ наизусть.

Другую сторону вліянія на насъ Кошанскаго составляли собственныя наши упражненія, къ которымъ онъ насъ постоянно побуждалъ, то задавая не мудренныя, но умно выбранныя темы, то предоставляя намъ самимъ придумывать ихъ, требуя изобрѣтательности въ сюжетѣ и изящества въ изложеніи. По временамъ онъ поощрялъ насъ пробовать свои силы въ стихотворствѣ, и потомъ читалъ наши опыты въ слухъ передъ всѣмъ классомъ. Правило, которому онъ слѣдовалъ при ихъ обсужденіи, самимъ имъ выражено въ его

учебникѣ; попытки учащихся, по его словамъ, «не должны охлаждаться порицаніемъ, но согрѣваться участіемъ друга-наставника, который всегда говоритъ *прежде* что хорошо и почему; а *послѣ* показываетъ, что должно быть иначе и *какимъ образомъ*». Мы полюбили Кошанскаго, съ нетерпѣніемъ ожидали его лекцій и довѣрчиво показывали ему свои, даже и внѣклассные, поэтическіе грѣхи. Также точно относились къ нему и наши старшіе, между которыми двое, подъ его руководствомъ, въ замѣчательной степени успѣли развить свой талантъ: это были князь А. В. Мещерскій и особенно Деларю (оба уже умершіе). Пушкинъ, при насъ посѣтившій Лицей, читалъ ихъ стихотворенія и ободрилъ молодыхъ поэтовъ, посоветовавъ однакожъ первому изъ нихъ не писать французскихъ стиховъ.

Въ доказательство, что не на насъ однихъ и не случайно Кошанскій такъ дѣйствовалъ, приведу отзывъ воспитанника лицейскаго пансіона, напечатанный въ исторіи этого заведенія: «И Георгіевскій и Троицкій и преподаватели въ низшихъ классахъ», замѣчаетъ авторъ, «преподавали, вообще говоря, очень хорошо; но всѣхъ ихъ превосходилъ *Кошанскій*, бывшій въ свое время въ Лицеѣ и пансіонѣ едва ли не тѣмъ же, чѣмъ профессоръ *Мерзляковъ* былъ въ свое же время въ Московскомъ университетѣ. Съ многостороннею классическою образованностію и большою опытностію въ преподаваніи, онъ соединялъ необыкновенно тонкій и изящный вкусъ восторженное поэтическое настроеніе и особенный даръ передавать то и другое своимъ слушателямъ. Лекціи его вполнѣ можно было назвать эстетическими, исполненными занимательности и вкуса. Онъ старался поддерживать и развивать въ слушателяхъ своихъ установившуюся еще со временъ Пушкина и Дельвига любовь къ литературнымъ упражненіямъ, прозаическимъ и стихотворнымъ, и обращалъ особенное вниманіе и заботливость на тѣхъ воспитанниковъ, которые обнаруживали способности и склонность къ нимъ. Вся его внѣшность, необыкновенно мягкая и изящная въ формахъ, вполнѣ соответствовала его внутреннимъ достоинствамъ, и все вмѣстѣ внушало къ нему искреннюю любовь и уваженіе воспитанниковъ.

Будучи старшимъ изъ профессоровъ Лицея и пансіона, со времени ихъ открытія, онъ былъ однако еще въ зрѣлыхъ лѣтахъ (въ 1811 году ему было 29 лѣтъ). Два раза онъ былъ назначаемъ исправляющимъ должность директора Лицея, а въ 1828 г. по собственной просьбѣ былъ уволенъ отъ должности профессора въ Лицеѣ и пансіонѣ, и умеръ въ 1831 году въ должности директора Института слѣпыхъ въ С.-Петербургѣ». *

Въ такомъ же духѣ. отзывается о Кошанскомъ, въ подробномъ извѣстіи о его жизни, г. Селезневъ, основывавшійся въ этомъ случаѣ на показанія бывшихъ лицейцевъ. Изложивъ содержаніе курса Кошанскаго, онъ замѣчаетъ: «Вообще говоря, лекціи его походили на бесѣды. На нихъ профессоръ не скупился на объясненія, сравненія и примѣры, заимствуя ихъ изъ ближайшей среды общественной. Известное изложеніе это перешло въ послѣдствіи въ печать, въ его Реторику. Тамъ сохранились слѣды заботливости профессора сдѣлать предметъ занимательнымъ. ** Въ частныхъ примѣчаніяхъ книги разсѣяно множество сужденій, которыя на каедрѣ развиваемы были имъ въ полныя лекціи. Занимательности бесѣдъ много содѣйствовала начитанность профессора. Не станемъ обвинять Кошанскаго въ томъ, въ чемъ онъ не виноватъ. Курсъ его отсталъ отъ современнаго преподаванія, учебники его перестали быть руководствами, но для этого нужно было пережить болѣе четверти столѣтія и притомъ XIX.» ***

У насъ Кошанскій собственно не проходилъ никакого систематическаго курса, вѣроятно потому, что уже собирався покинуть Лицей: скоро онъ, заболѣвъ, пересталъ къ намъ ѣз-

* *Благородный пансіонъ Царскосельскаго Лицея* (СПБ. 1869), стр. 183.

** Такъ на стр. 57 Частной Реторики разсказанъ случай изъ жизни императора Александра I: «Государь, прогуливаясь въ Царскомъ Селѣ вокругъ большаго пруда, замѣтилъ, что лебеди играютъ, плещутся въ водѣ и хотятъ летѣть, но не могутъ. Онъ позвалъ садовника и спросилъ: «Что это значитъ, Лиминъ? Лебеди летать не могутъ?»—Государь! отвѣчалъ садовникъ: у нихъ обрѣзано по одному крылу, чтобъ не разлетѣлись...—Этого не дѣлать, сказалъ Александръ: когда имъ хорошо, они сами здѣсь жать будутъ; а дурно — пусть летятъ, куда хотятъ!»—Послѣ сего большая часть лебедей разлетѣлась въ Павловскъ, въ Гатчину и на взморье; но къ осени дѣйствительно почти всѣ возвратились».

*** *Памятная книжка Лицея* на 1856—1857 г., С.-Петербургъ, стр. 155.

дять, и мы перешли подъ руководство бывшаго его адъюкта П. Е. Георгіевскаго, человѣка почтеннаго, весьма исправнаго, но къ сожалѣнію не даровитаго и менѣе ученаго. Тутъ-то мы поняли, что значитъ личность профессора, и перестали заниматься латынью и уроками русской литературы съ прежнимъ увлеченіемъ. О Кошанскомъ мы горько сожалѣли, и у всѣхъ насъ осталось благодарное о немъ воспоминаніе.

Я могъ бы поговорить здѣсь о нѣкоторыхъ умершихъ лицествахъ перваго курса, но чтобы не утомлять вниманія читателей, перейду прямо къ Пушкину.

Во время моего пребыванія въ Лицеѣ поэтъ два раза посѣтилъ его: въ первый разъ въ 1829 г.; тогда я былъ еще въ младшемъ курсѣ и не видѣлъ его, такъ какъ онъ ходилъ только къ старшимъ; второе его посѣщеніе было въ 1831 г., когда онъ, женившись, проводилъ лѣто въ Царскомъ Селѣ. Никогда не забуду восторга, съ какимъ мы его приняли. Какъ всегда водилось, когда пріѣзжалъ кто-нибудь изъ нашихъ «дѣдовъ», мы его окружили всѣмъ курсомъ и гурьбой провожали по всему Лицею. Обращеніе его съ нами было совершенно простое, какъ съ старыми знакомыми; на каждый вопросъ онъ отвѣчалъ привѣтливо, съ участіемъ разспрашивалъ о нашемъ бытѣ, показывалъ намъ свою бывшую комнату и передавалъ подробности о памятныхъ ему мѣстахъ. Послѣ мы не разъ встрѣчали его гуляющимъ въ царскосельскомъ саду, то съ женою, то съ Жуковскимъ, котораго мы видѣли у себя около того же времени. Онъ присутствовалъ у насъ на экзаменѣ изъ исторіи. Вскорѣ послѣ того были напечатаны вмѣстѣ, въ одной брошюрѣ въ четвертку, три стихотворенія: одно Жуковскаго—«Старая пѣсня на новый ладъ», (на побѣды Паскевича), и двѣ пьесы Пушкина—«Клеветникамъ Россіи» и «Бородинская Годовщина». Жуковскій доставилъ въ Лицей нѣсколько экземпляровъ этой брошюры.

Всѣмъ извѣстно, что при переходѣ воспитанниковъ перваго выпуска изъ меньшаго курса въ старшій, на послѣднемъ экзаменѣ въ январѣ 1815 г. присутствовалъ Державинъ и что Пушкинъ прочелъ тогда приготовленное къ этому случаю стихотвореніе свое: *Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ*. Въ те-

традяхъ знаменитаго Еватерининскаго лирика, между разными переплетенными вмѣстѣ брошюрами, сохранилось и это стихотвореніе, писанное рукою Пушкина и съ полною его подписью. Вѣроятно, это тотъ самый списокъ, по которому Пушкинъ читалъ вслухъ свое произведеніе. Удивительно, какъ твердъ былъ уже тогда его почеркъ и какъ мало онъ измѣнился впоследствии. Это стихотвореніе въ собраніи сочиненій поэта напечатано въ первоначальномъ видѣ, почти безъ всякихъ измѣненій. Только въ предпоследней строкѣ третій стихъ читается въ автографѣ такъ:

„Какъ древнихъ лѣтъ пѣвецъ, какъ лебедь странъ Элліны“.

Въ позднѣйшей же редакціи:

„Какъ нашихъ дней пѣвецъ, славянскій бардъ дружины“.

Въ той же тетради Державина находится рукописный алфавитный списокъ тогдашнихъ лиценстовъ, а рядомъ съ нимъ печатная «программа открытаго испытанія воспитанникамъ начальнаго курса императорскаго Царскосельскаго Лицея Генваря 4 и 8 дня 1815 г.». Въ первый день предметами испытанія означены: «Законъ Божій, Логика, Географія, Исторія, Нѣмецкій языкъ и нравоученіе»; во второй день: «Латинскій языкъ, Французскій языкъ, Математика, Физика и Россійскій языкъ». По каждому предмету изложены далѣе довольно подробныя программы. Вотъ что входило въ экзаменъ изъ русскаго языка: 1) Разные роды слоговъ и украшенія рѣчи, 2) Краткая литература краснорѣчія въ Россіи, 3) Славянская грамматика, и 4) Чтеніе собственныхъ сочиненій. Программа кончалась слѣдующими строками: «Воспитанники могутъ быть спрашиваемы посѣтителями и профессорами обо всѣхъ вышеозначенныхъ предметахъ. Въ заключеніе показаны будутъ опыты воспитанниковъ въ рисованіи, чистописаніи, фехтованіи и танцованіи». Изъ числа гостей на этомъ экзаменѣ, Илличевскій въ письмѣ къ Фусу называетъ, кромѣ Державина: Горчакова, Саблукова, Салтыкова, Уварова и Филарета. По словамъ графа Корфа, тутъ былъ также министръ просвѣщенія князь Голицынъ; изъ постороннихъ профессоровъ онъ упоминаетъ: Лоди, Кукольника, и Плисова; «сверхъ того были, прибавляетъ онъ, родители и родственники нѣко-

торыхъ изъ насъ, была и обыкновенная царскосельская публика».

Отъ покойнаго Матюшкина я слышалъ, что при поступленіи въ Лицей Пушкинъ довольно плохо писалъ порусски. У Кошанскаго онъ считался по своимъ свѣдѣніямъ 16-мъ, а Матюшкинъ 15-мъ, хотя послѣдній, по собственному сознанию, ужъ конечно въ сущности зналъ языкъ гораздо хуже. Это продолжалось до послѣдняго времени передъ выпускомъ, когда пересаживаніе по успѣхамъ прекратилось. Товарищамъ всегда казалось, что Пушкинъ по развитію какъ будто старше всѣхъ ихъ. Въ поэзіи Илличевскій считался его соперникомъ, такъ что у каждаго изъ нихъ была своя партія приверженцевъ: въ глазахъ нѣкоторыхъ Илличевскій былъ даже выше по таланту, но, какъ мы уже видѣли, самъ онъ признавалъ неизмѣримое превосходство Пушкина.

Въ Лицеѣ Карамзинъ увидѣлъ Пушкина въ 1816 г., на обратномъ пути изъ Петербурга въ Москву. Карамзина сопровождали два поэта: Вас. Льв. Пушкинъ и князь П. А. Вяземскій, который тогда и познакомился съ даровитымъ юношей. Рассказываютъ, что Карамзинъ, прочитавъ въ Лицеѣ какіе-то стихи Пушкина, сказалъ: «Въ немъ зрѣетъ великій поэтъ». По отъѣздѣ гостей нашъ лицеистъ вступилъ въ переписку съ княземъ Вяземскимъ и Василиемъ Львовичемъ. Письмо его въ первомъ напечатано недавно въ *Русскомъ Архивѣ* (1874, № 1); во второму написалъ онъ стихотворное посланіе. Отвѣтъ дяди сохранился въ бумагахъ, переданныхъ мнѣ Матюшкинымъ. Вотъ онъ:

Москва. 1816, апрѣля 17.

«Благодарю тебя, мой милый; что ты обо мнѣ вспомнилъ. Письмо твое меня утѣшило, и точно сдѣлало съ праздникомъ. Желанія твои сходны съ моими; я истинно желаю чтобъ *непокойные* стихотворцы оставили насъ въ покоѣ. Это случиться можетъ только послѣ *дождика въ четвергъ*. Я хотѣлъ было отвѣчать на твое письмо стихами, но съ нѣкоторыхъ поръ Муза моя стала очень лѣнива, и ее тормозить надобно чтобъ

вышло что-нибудь путное. Вяземскій тебя любить и писать къ тебѣ будетъ. Николай Михайловичъ въ началѣ мая отправляется въ Царское Село. Люби его, слушайся и почитай. Совѣты такого человѣка послужать къ твоему добру, и можетъ быть къ пользѣ нашей словесности. Мы отъ тебя многого ожидаемъ. — Скажи Ломоносову, * что не похвально забывать своихъ пріятелей; онъ написалъ къ Вяземскому предлинное письмо, а мнѣ и поклона нѣтъ. Скажи однако, что хотя я и не пеняю ему, но люблю его душевно. Что до тебя касается, мнѣ въ любви моей тебя увѣрять не должно. Ты сынъ Сергѣя Львовича и братъ мнѣ по Аполлону. Этого довольно. Прости, другъ сердечной. Будь здоровъ, благополученъ, люби и не забывай меня.

Василій Пушкинъ.

П. П. Вотъ эпиграмма, которую я сдѣлалъ *Яжелбицахъ*.
*Сходство съ Шихматовымъ и хромымъ почталіономъ**.*

«Шихматовъ! почталіонъ! Какъ не скорбѣть о васъ?

Признаться надобно, что участь ваша злая:

У одного нога хромая,

А у другого хромъ Пегасъ».

Это письмо бросаетъ новый свѣтъ на одно изъ лицейскихъ стихотвореній Пушкина, озаглавленное: *Желаніе* (см. его *Сочиненія* въ первомъ изданіи Исакова, Спб. 1859, т. I, стр. 150). Оказывается, что въ немъ поэтъ обращается къ своему дядѣ вскорѣ послѣ ихъ свиданія въ Царскомъ Селѣ. Сообщенное выше письмо служить отвѣтомъ на это посланіе, и выраженіе Василья Львовича: *непокойные стихотворцы* вызвано слѣдующимъ концомъ посланія:

Да не воскреснутъ отъ забвенья
Покойный господинъ Бобровъ,

* Въ *Яжелбицахъ* мы нашли почталіона хромого, и Вяземскій мнѣ эту далъ эпиграмму. (Прим. В. Л. Пушкина).

** Сергій Ломоносовъ, одинъ изъ товарищей Пушкина, впоследствии бывшій посланникомъ въ Америку, а еще позднѣе въ Голландію, до Лицея получилъ первоначальное образованіе въ какомъ-то петербургскомъ учебномъ заведеніи вмѣстѣ съ княземъ Вяземскимъ.

Хвали газетчика достойный,
 И Николевъ, поэтъ покойный,
 И *непокойный* графъ Хвостовъ,
 И всѣ, которые на свѣтѣ
 Писали слишкомъ мудрено,
 То есть и холодно и темно,
 Что очень стыдно и грѣшно.

Въ рукахъ моихъ находятся два неизвѣстныхъ до сихъ поръ подлинныя письма А. С. Пушкина къ Гнѣдичу, писанныя изъ Кишинева. Они обязательно переданы мнѣ Л. М. Лобановымъ, котораго отецъ, умершій въ 1846 г. членомъ 2-го отдѣленія Академіи Наукъ, нѣкогда служилъ съ Гнѣдичемъ въ Императорской Публичной библіотекѣ.

Сообщая эти два письма, напередъ замѣчу, что первое изъ нихъ, отъ 24-го марта 1821 г., было писано на другой день послѣ письма поэта въ Дельвигу, которое уже давно напечатано (Сочиненія Пушкина, изд. Анненковымъ, т. I, стр. 81). Какъ это письмо къ Дельвигу, такъ и письмо къ Гнѣдичу начинаются стихами. Пушкинъ въ ту пору любилъ подобныя поэтическія вставки въ «почтовую прозу», бывшія въ обычаѣ еще съ прошлаго вѣка и пущенныя въ ходъ особенно Вольтеромъ. Стихи въ помѣщаемомъ ниже письмѣ, нигдѣ еще не напечатанные, показываютъ между прочимъ, что Пушкинъ тогда уже, т. е. въ мартѣ 1821 г., изучалъ Овидія, а выраженія, приведенныя имъ изъ этого автора во второмъ письмѣ, свидѣтельствуютъ, что нашъ поэтъ читалъ своего любимца не во французскомъ переводѣ, какъ думали нѣкоторые, а въ подлинникѣ.

Извѣстно, что поэма «Русланъ и Людмила» уже послѣ отъѣзда Пушкина на югъ была отпечатана въ Петербургѣ подъ надзоромъ Гнѣдича; но до сихъ поръ не знали, когда и куда именно экземпляръ ея, по выходѣ книги въ свѣтъ, былъ высланъ поэту. Г. Бартеневъ, въ извѣстномъ трудѣ своемъ (*Пушкинъ въ южной Россіи*, стр. 24), допускаетъ предположеніе, что Пушкинъ еще на Кавказѣ могъ получить это изданіе. Слѣдующее за симъ письмо окончательно разъясняетъ этотъ вопросъ.

Цисьмо 1.

Въ странѣ, гдѣ Юліей вѣнчанный
 И хитрымъ Августомъ изгнанный
 Овидій мрачны дни влачилъ;
 Гдѣ элегическую лиру
 Глухому своему кумиру
 Онъ малодушно посвятилъ,
 Далече сѣверной столицы
 Забылъ я вѣчный вашъ туманъ,
 И вольный гласъ моей цѣвницы
 Тревожитъ сонныхъ Молдаванъ.
 Все тотъ же я какъ былъ и прежде:
 Съ поклономъ не хожу къ невѣждѣ,
 Съ Орловымъ* спору, мало пью,
 Октавію — въ слѣпой надеждѣ —
 Молебновъ лести не пою,
 И Дружбѣ легкія посланья
 Пишу безъ строгаго старанья.
 Ты, коему судьба дала
 И смѣлый умъ и духъ высокой,
 И важнымъ пѣснямъ обрекла,
 Отрадѣ жизни одинокой;
 О ты, который воскресилъ
 Ахилла призракъ величавый,
 Гомера Музу намъ явилъ,
 И смѣлую пѣвицу славы
 Отъ звонкихъ узъ освободилъ**, —
 Твой гласъ достигъ уединенья,
 Гдѣ я сокрылся отъ гоненья
 Ханжи и гордаго глупца*** —

* Михайломъ Федоровичемъ.

** Т. е. эпическія пѣсни Гомера началъ переводить стихами безъ рима, — безаметрами.

*** Эти стихи становятся понятнѣе послѣ прочтенія въ брошюрѣ г. Барте-

И вновь онъ оживилъ пѣвца,
 Какъ сладкій голосъ вдохновенья.
 Избранникъ Феба! твой привѣтъ,
 Твои хвалы мнѣ драгоцѣнны;
 Для Музъ и дружбы живъ поэтъ.
 Его враги ему презрѣнны:
 Онъ Музу битвой площадной
 Не унижаетъ предъ народомъ,
 И поучительной лозой
 Зоила хлещетъ мимоходомъ.

Вдохновительное письмо ваше, почтенный Николай Ивановичъ, нашло меня въ пустыняхъ Молдавіи; оно обрадовало и тронуло меня до глубины сердца—благодарю за воспоминаніе, за дружбу, за хвалу, за упреки, за форматъ этого письма—все показываетъ участіе, которое принимаетъ живая душа ваша во всемъ что касается до меня. Платье, спитое по заказу вашему на Руслана и Людмилу прекрасно. И вотъ уже четыре дни какъ печатные стихи, виньета и переплетъ дѣтски утѣшаютъ меня. Чувствительно благодарю почтеннаго АО; эти черты сладкое для меня доказательство его любезной благосклонности*.—Не скоро увижу я васъ; здѣшнія обстоятельства пахнутъ долгой, долгою разлукой! Молю Феба и Казанскую Богоматерь, чтобъ возвратился я къ вамъ съ молодостью, воспоминаньями и еще новой поэмой; — та, которую недавно кончилъ, окрещена *Кавказскимъ плетникомъ*. Вы ожидали многое, какъ видно изъ письма вашего — найдете малое, очень малое. Съ вершинъ заоблачныхъ безснѣжнаго

нева „Пушкинъ въ южной Россіи“, разсказа о его отношеніяхъ въ Кашинѣ (см. стр. 117). То же выражаетъ его маленькая пьеса *Уединеніе*, 1822 года:

Блаженъ кто въ отдаленной снѣгъ,
 Вдали взыскательныхъ невѣждъ,
 Дни дѣлитъ межъ трудовъ и лѣни,
 Воспоминаній и надеждъ;
 Кому судьба друзей послала;
 Кто скрытъ, по милости Творца,
 Отъ усыпителя глупца,
 Отъ пробудителя нахала.

* Извѣстный уже изъ другихъ болѣе раннихъ изданій вензель АО означалъ Оленина, который сочинялъ виньетку къ поэмі.

Бешту видѣлъ я только въ отдаленіи ледяныя главы Казбека и Эльбруса.—Сцена моей поэмы должна бы находиться на берегахъ шумнаго Терека, на границахъ Грузіи въ глухихъ ущеліяхъ Кавказа — я поставилъ моего героя въ однообразныхъ равнинахъ, гдѣ самъ прожилъ два мѣсяца, — гдѣ возвышаются въ дальномъ разстояніи другъ отъ друга четыре горы, отрасль послѣдняя Кавказа.—Во всей поэмѣ не болѣе 700 стиховъ—въ скоромъ времени пришлю вамъ ее — дабы сотворили вы съ нею что только будетъ угодно—

Кланяюсь всѣмъ знакомымъ, которые еще меня не забыли—обнимаю друзей—Съ нетерпѣніемъ ожидаю 9 тома Руской Исторіи—Что дѣлаетъ Н. М.? здоровы ли Онъ, жена и дѣти? — Это почтенное семейство ужасно недостаетъ моему сердцу.—Дельвигу пишу въ вашемъ письмѣ—Vale.

Пушкинъ.

1821 марта 24.
Кишиневъ.

Письмо 2.

Второе неизданное письмо къ Гнѣдичу писано почти ровно черезъ годъ послѣ перваго и касается «Кавказскаго плѣнника», котораго изданіе поэтъ опять поручилъ переводчику Иліады. Двѣ строки этого письма, именно тѣ, которыя здѣсь печатаются курсивомъ, были уже извѣстны изъ черноваго отпуса, найденнаго въ бумагахъ поэта г. Анненковымъ и приведеннаго въ его *Матеріалахъ* (стр. 97). Любопытно, что продолженіе черноваго письма, тамъ же сообщенное и содержащее оцѣнку новой поэмы, исключено самимъ Пушкинымъ при перепискѣ письма начисто. Вотъ подлинное письмо:

29 апрѣля 1822. Кишиневъ.

Parve (nec invideo) sine me, liber, ibis in urbem,
Neu mihi! quo domino non licet ire tuo.

Не изъ притворной скромности прибавлю: Vade, sed incultus, qualem decet exulis esse! *недостатки этой повѣсти, поэмы или чего вамъ угодно, такъ ясны что я долгу не могу*

рѣшится ее напечатать. Поэту возвышенному, просвѣщенному цѣнителю поэтовъ, вамъ предаю моего Кавказскаго плѣнника: въ награду за присылку прелестной вашей Идилліи * (о которой мы поговоримъ на досугѣ) завѣщаю вамъ скучныя заботы изданія, но дружба ваша меня избаловала. Назовите это стихотвореніе сказкой, повѣстію, поэмой или вовсе никакъ не называйте, издайте его въ двухъ пѣсняхъ или только въ одной, съ предисловіемъ или безъ, отдаю вамъ въ полное распоряженіе. Vale.

Пушкинъ.

(Письмо на цѣломъ листѣ почтовой бумаги; оно проколото; на оборотѣ надпись: «Николаю Ивановичу Гиббичу», безъ адреса, изъ чего видно, что это письмо было вложено въ какое-нибудь другое).

О кавказско-кишиневской эпохѣ жизни и поэзіи Пушкина я имѣлъ недавно случай бесѣдовать съ почтенной Катериной Николаевной Орловой, рожденной Раевской, съ именемъ которой связываются воспоминанія о двухъ знаменитѣйшихъ русскихъ писателяхъ (она по женской линіи правнучка Ломоносова). Большинству читателей конечно извѣстно, что Пушкинъ, возвращаясь съ Кавказа, напелъ К. Н. Раевскую въ числѣ обитателей крымскаго имѣнія Юрзуфа, и потомъ, въ первыхъ письмахъ изъ Кишинева, говорилъ о ней съ особеннымъ уваженіемъ. Эта замѣчательная женщина сохраняетъ еще и въ глубокой старости всю свѣжесть своего живаго ума, ясность души и привѣтливость общительнаго нрава; она по-прежнему слѣдитъ за литературой, и то, что пишется о Пушкинѣ, не ускользаетъ отъ ея вниманія. Не касаясь нѣкоторыхъ неточностей, замѣченныхъ Катериной Николаевной въ разсказахъ его біографовъ, упомяну только о двухъ любопытныхъ обстоятельствахъ, не совсѣмъ согласныхъ съ ходячими преданіями и еще разъ показывающихъ, какъ иногда «дѣ-

* Идиллія *Рыбаки*, напечатанной незадолго передъ тѣмъ въ *Сынъ Отечества*. Вѣроятно, она была прислана Пушкину въ отдѣльномъ оттискѣ.

ляется исторія», какъ по канвѣ иногда самыхъ простыхъ случайностей выводятся въ послѣдствіи затѣйливые узоры.

Старшій изъ братьевъ Раевскихъ, пріятелей Пушкина, Александръ Николаевичъ, родился въ 1795 г.; меньшей, Николай, въ 1801-мъ. Александръ страдая отъ раны въ ногѣ, лѣчился на Кавказѣ еще до пріѣзда туда Пушкина съ нѣкоторыми изъ членовъ этого семейства. Александръ тамъ и оставался долѣе прочихъ, и потомъ проѣхалъ прямо въ калужскую деревню, ту самую, гдѣ въ послѣдствіи, въ царствованіе Николая, Катерина Николаевна жила съ мужемъ своимъ, М. Ѳ. Орловымъ. Александръ Раевскій былъ чрезвычайно уменъ, и тогда уже успѣлъ внушить Пушкину такое высокое о себѣ понятіе, что нашъ поэтъ предрекалъ ему блестящую извѣстность. Позднѣе, когда они видались въ Каменкѣ и Одессѣ, Александръ Раевскій, замѣтивъ свое вліяніе на Пушкина, вздумалъ потрунить надъ нимъ и сталъ представлять изъ себя ничѣмъ не довольнаго, разочарованнаго, надъ всѣмъ глумящагося человѣка. Поэтъ поддался искусной мистификаціи, и написалъ своего *Демона*. Раевскій долго оставлялъ его въ заблужденіи, но наконецъ признался въ своей проказѣ, и послѣ они часто и много смѣялись, перечитывая вмѣстѣ это стихотвореніе, объ источникахъ и значеніи котораго въ послѣдствіи такъ много было писано и истощено догадокъ.

Съ меньшимъ братомъ, Николаемъ, Пушкинъ былъ еще болѣе друженъ и считалъ себя ему обязаннымъ за какую-то важную услугу. Они познакомились еще въ Петербургѣ. Николай Раевскій страстно любилъ литературу, музыку, живопись, и самъ писалъ стихи. На обратномъ пути съ Кавказа онъ какъ-то повредилъ себѣ ногу, и это было поводомъ остановки путешественниковъ въ Юрзуфѣ. Катерина Николаевна рѣшительно отвергаетъ недавно напечатанное показаніе, будто Пушкинъ, учился тамъ подъ ея руководствомъ англійскому языку. Ей было въ то время 23 года, а Пушкину 21, и одинъ этотъ возрастъ, по тогдашнимъ строгимъ понятіямъ о приличіи, могъ служить достаточнымъ препятствіемъ къ такому сближенію. По ея словамъ, все дѣло могло состоять развѣ только въ томъ, что Пушкинъ съ помощью Н. Н. Раевского въ Юрзуфѣ на-

чаль читать Байрона и что когда они не понимали какого-нибудь слова, то, не имѣя лексикона, посылали на верхъ къ Екатеринѣ Николаевнѣ за справкой. Здѣсь же Николай Николаевичъ первый познакомилъ Пушкина съ Шенъе.

Ошибаются также, думая, что Пушкинъ изъ Крыма проводилъ своихъ кавказскихъ спутниковъ до кievскаго имѣнія Давыдовыхъ, Каменки. Послѣ посѣщенія Бахчисарая Раевскіе доѣхали съ нимъ только до Симферополя или можетъ быть до Перекопа, и тамъ разстались. Каменка, какъ извѣстно, принадлежала матери Раевскаго, Катеринѣ Николаевнѣ Давыдовой (второй мужъ ея былъ Левъ Денисовичъ Давыдовъ). Тамъ все семейство съѣзжалось обыкновенно къ Екатеринину дню, 24 ноября, а уже въ первыхъ числахъ декабря возвращалось въ Кіевъ. Свадьба старшей дочери, К. Н. Раевской, съ Орловымъ была въ маѣ 1821 г., и Пушкинъ на ней не присутствовалъ, а былъ онъ въ Каменкѣ до того, зимою.

Въ первой изъ своихъ недавнихъ статей о Пушкинѣ П. В. Анненковъ въ примѣчаніи привелъ дословно—не раздѣляемое имъ впрочемъ—мнѣніе о поэтѣ одного изъ товарищей его по Лицею. При всемъ моемъ уваженіи къ авторитету этого лица въ свѣдѣніяхъ о первоначальномъ Лицеѣ и его воспитанникахъ, я позволяю себѣ думать, что въ этомъ взглядѣ есть нѣкоторое недоразумѣніе или невольное преувеличеніе. Конечно молодой Пушкинъ ни дома, ни въ заведеніи не могъ получить строго-нравственной основы, а жгучая страстность и рѣдкое остроуміе значительно усиливали для него обыкновенную мѣру искушеній молодости. Но мы знаемъ какъ высоко, въ минуты особенныхъ возбужденій, было душевное настроеніе Пушкина, знаемъ какъ неутомимо онъ работалъ надъ собою, какъ самъ себя перевоспиталъ размышленіемъ и чтеніемъ. Конечно онъ представляетъ одинъ изъ самыхъ поразительныхъ примѣровъ самообразования въ Россіи. Нѣтъ спора, что Пушкинъ въ молодости былъ въ полномъ смыслѣ повѣсою; что онъ нерѣдко предавался влеченію страстей, онъ и для краснаго словца, для острой эпиграммы забывалъ лучшія правила и чувства. Но именно въ такихъ случаяхъ онъ и казался хуже, чѣмъ былъ на самомъ дѣлѣ (въ чемъ впрочемъ сознаются и строгіе судьи

его); самым же собою онъ являлся тогда, когда выходилъ изъ-подъ вліянія внѣшнихъ соблазновъ. Извѣстно, какъ глубоко онъ, въ позднѣйшіе годы, раскаивался въ легкомысленномъ вожуствѣ, которому принесъ дань въ молодости. Рано убѣдился онъ, что

„Служенье музъ не терпитъ суеты,
Прекрасное должно быть величаво“,

и если все-таки часто измѣнялъ этому взгляду, то причиною была не коренная испорченность сердца, а страстная природа, которая брала свое, вопреки разуму и убѣжденіямъ.

Какъ благородно признаніе, тогда же высказанное имъ, при сравненіи себя съ Дельвигомъ:

„Но я любилъ уже рукоплесканья,
Ты гордый пѣлъ для музъ и для души;
Свой даръ, какъ жизнь, я тратилъ безъ вниманья,
Ты геній свой воспитывалъ втиши.“

И сколько чертъ высокаго благородства мы видимъ въ жизни Пушкина! Съ какимъ строгимъ самоосужденіемъ онъ говорилъ о своемъ прошломъ при возвращеніи въ первый разъ послѣ Лицея въ Царское Село, когда онъ сравнилъ себя съ блуднымъ сыномъ. Кто такъ говорить, не можетъ не быть искреннимъ; такого настроенія нельзя дать себѣ искусственно; подъ него нельзя поддѣлаться. Если-бъ это не была въ высшей степени благородная душа, какой смыслъ могло бы имѣть вѣрное замѣчаніе г. Анненкова «о заслугахъ Пушкина дѣлу воспитанія благородной мысли и изящнаго чувства въ отечествѣ». Нѣмецкій поэтъ сказалъ, что злые не поютъ. Кажется, можно распространить эту мысль и согласиться, что истинный поэтъ не можетъ быть вполне недобрымъ человекомъ. Кто глубоко чувствуетъ и понимаетъ красоту, не можетъ не быть расположеннымъ ко всему добру. Онъ можетъ падать и низко падать нравственно, но любовь къ прекрасному облегчаетъ ему возможность вставать и снова возвышаться.

Многое въ этомъ отношеніи хорошо понято и ловко выражено г. Анненковымъ. Чтобы отдать полную справедливость нашему поэту, надобно также принять въ соображеніе тѣ умственные и нравственные элементы, среди которыхъ ему приходилось жить:

немногіе умѣли бы дать такой отпоръ, какъ онъ, обществу, окружавшему его, напр. въ Кишиневѣ. Эта среда могла бы окончательно погубить его, еслибъ постоянный умственный трудъ и творчество не укрѣпляли его для борьбы за сохраненіе своего человѣческаго достоинства. На кишиневскій періодъ жизни Пушкина должно смотрѣть какъ на серьезную подготовительную школу для дальнѣйшей быстро разрастающейся въ ширину и глубину дѣятельности его могучаго таланта.

Конечно въ жизни его легко отыскать много заблужденій, слабостей, даже сумасбродствъ; но едва ли кто-нибудь укажетъ въ ней на низкій или противный чести поступокъ. Много приносилъ онъ жертвъ суетности, тщеславію, легкомыслію, но доходилъ ли онъ когда-либо до униженія ради выгоды или успѣха?

Недавно кто-то печатно упрекнулъ Пушкина за бѣдность содержанія изданныхъ въ послѣднее время писемъ его изъ Кишинева. Къ сожалѣнію, критикъ не обратилъ вниманія на прежде извѣстныя письма поэта за ту же эпоху, въ которыхъ давно оцѣненъ важный біографическій матеріалъ; критикъ забылъ также, что во всѣхъ писмахъ и запискахъ, имѣющихъ только минутную цѣль и вовсе не назначаемыхъ для публики, мы никакъ не въ правѣ требовать того, что можетъ быть поучительно для потомства. Дѣло въ томъ, что интересъ такихъ писемъ заключается совсѣмъ не въ положительныхъ фактахъ и не въ важныхъ размышленіяхъ: при видимой бѣдности содержанія они всетаки могутъ быть очень интересны. Съ своей стороны я долженъ признаться, что въ новыхъ писмахъ Пушкина меня часто поражали внезапныя искры ума и остроумія, которыя въ ту эпоху могли принадлежать только человѣку, далеко ее опередившему. Вотъ гдѣ лежала тайна быстрого самоусовершенствованія юноши, говорившаго, что «для существа одареннаго душою нѣтъ другого воспитанія, кромѣ того, которое каждому дается обстоятельствами его жизни и имъ самимъ». (Изъ письма къ Дельвигу 1821 г.).

А. Гротъ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ.

(А. Ф. К—ой).

Еще обвѣянная югомъ,
Въ его загарѣ золотомъ,
Ты шла соединиться съ другомъ
Въ краю повинutomъ родномъ.

Напрасно зимъ душистыхъ розы
Вѣнки сплетали надъ тобой —
Манили бѣлыя березы
Тебя лепечущей листвою.

Ты ихъ ждала. Призывно пѣли
Въ лѣсахъ родныя пѣсни бурь;
Тамъ гордо возносили ели
Тѣмъ вѣтвѣхъ иглъ своихъ въ лазурь.

Тамъ нивы стлались на просторѣ...
И тщетно привлекало взоръ
Алмазомъ брызжущее море,
Все въ ожерельи синнихъ горъ.

Не здѣсь, не солнцемъ залитая —
Подъ хмурымъ небомъ и дождемъ
Сложилась повѣсть молодая
О чувствахъ до сихъ поръ живомъ.

Его первоначальный лепетъ,
Тотъ пламень вспыхнувшій въ сердцахъ,
И этотъ плачь, и этотъ трепетъ
Разлуки, все разбившей въ прахъ,

И жданный тягостные годы
Свиданья возжеланный мигъ:
Все въ этомъ краѣ непогоды,
Вдали морей и горъ чужихъ,

Въ глуши степей его безбрежныхъ,
Гдѣ воесть бѣлая метель
И стелеть изъ сугробовъ снѣжныхъ
Зимѣ на полгода постель.

Въ родномъ углу уединенномъ,
Въ безлюдьи тихаго села —
Въ томъ захоластьѣ незабвенномъ,
Гдѣ ты любила и жила...

Вдали отъ свѣта и искусства,
Отъ избранныхъ далече душъ,
Ты всю наполнишь жизнью чувства
Свою безжизненную глушь!

И пусть надъ тѣмъ уединеньемъ,
Гдѣ ждетъ тебя желанный другъ,
Манящимъ снова искушеньемъ
Не пронесется свѣтлый югъ...

П. Ковалевскій.

СЦЕНЫ И. О. ГОРБУНОВА.

I.

НА РѢКѢ.

Сцена изъ народнаго быта.

Лица:

ДѢДУШКА СТЕПАНЪ, старикъ, лѣтъ 60, сторожъ опустѣвшей барской усадьбы.

ИВАНЪ, крестьянинъ, егеръ.

ВАСЯ

НАСТЯ

ГРИШКА

ДЕМА и

другіе

} Крестьянскія дѣти изъ близкаго села.

ЖАРЕННЫЙ, 16 лѣтъ, учился въ Петербургѣ у портнаго, отданъ родственникамъ по приговору Окружнаго суда.

На берегу рѣки поросшемъ ивой землянка. Изъ рѣки выдался въ берегъ большой камень. На противоположномъ крутомъ берегу старыя барскія дома, съ заколоченными окнами.

Дѣдушка Степанъ сидитъ у землянки, чинитъ сапогъ. Иванъ подходитъ.

ИВАНЪ.

Богъ помощь, дѣдушка, Степанъ.

ДѢДУШКА СТЕПАНЪ.

Спасибо, милый человѣкъ, спасибо тебѣ. Что Богъ далъ?

И в а н ъ.

Плохо!.. Пару чирять... (къ собакамъ) Кушъ, ляжь тутъ, подлая!

Дѣдушкѣ Степанъ.

Что мало?

И в а н ъ.

Съ ружьемъ что-то... Очень отдавать стало... нѣтъ никакой возможности. Утромъ зайца хлестанулъ, на силу на ногахъ устоялъ... Въ кузницу надо зайти, казенникъ отвернуть... Ильичъ не приходилъ?

Дѣдушкѣ Степанъ.

Выпалилъ тутъ кто-то по рѣбѣ.

И в а н ъ.

Должно онъ, окромя его не кому. Надо полагать, онъ теперича къ Кривому ударился.

Дѣдушкѣ Степанъ.

Отошелъ онъ, значитъ, отъ генерала-то?

И в а н ъ.

Отошелъ, мѣста ищетъ.

Дѣдушкѣ Степанъ.

А житье, кажись, у генерала-то хорошее.

И в а н ъ.

Умирать бы ненадо, но только и терпѣть нѣтъ никакой возможности.

Дѣдушкѣ Степанъ.

Ну!

И в а н ъ.

Очень ужъ дерется.. Такъ дерется—страсть! Ежели онъ

теперича стрѣляетъ и бакъ, напримѣръ, мимо—сей-часъ съ-горя въ ухо. Лучше не стой близко... Сапожки гонопишь?

Дѣдушка Степанъ.

Да, парнишекъ Мавриному... починить просилъ...

Иванъ.

Это черненькій-то?

Дѣдушка Степанъ.

Да, черненькій. Вчера прибѣжалъ: дѣдушка, говоритъ, почини. Такой шустрый мальчишка, я такихъ и не видывалъ. Даромъ что махонькой, отъ земли не видать, а пойдетъ говорить—складнѣе барскаго сына. Ежели бы его въ ученье въ какое хорошее...

Иванъ.

Ты ребятъ уже больно балуешь, сказываютъ.

Дѣдушка Степанъ.

Цѣлый день они у меня тутъ. Вотъ жаръ-то посвалилъ, всѣ сей часъ прибѣгутъ. Васютка ужъ вонъ тамъ подъ ивой старается, удить. Съ большимъ мнѣ, другъ, хуже, вѣрно тебѣ говорю... не люблю... а парнишка придетъ—первый онъ у меня человекъ. Ты думаешь—парнишко что? Онъ все понимаетъ, все смыслить, только ты его не бей, не огорчай его...

Иванъ.

Что ты, дѣдушка Степанъ, развѣ возможно ихъ не бить? Первое дѣло—безъ этого онъ не выростетъ, а второе дѣло—ежели его не бить, онъ тебя почитать не станетъ... Не очень то бы бить, а такъ потрепать инный разъ—это очень имъ въ пользу.

Дѣдушка Степанъ.

Стало быть, ты словъ не умѣешь, коли малаго ребенка бьешь...

Дѣдушка Степанъ.

Рыбы въ рѣкѣ, батюшка, много. Въ рѣкѣ рыба, въ лѣсу птица — все на пользу намъ далъ Господь Царь небесный.

Вася (всматриваясь).

Дѣдушка и портной съ ними.

Дѣдушка Степанъ.

Я этого портнаго... Приди онъ только! Я ему покажу какъ рыбу травить. Ты и не знайся съ имъ, батюшка; окромя худаго отъ него ни чему не обучишься.

Вася.

Онъ намени въ матеу въ свою камнемъ запустилъ... Ужъ и драли же его за это. Матка-то завyla, мнѣ говорить, съ имъ не совладать, а сусѣдъ его и поймалъ... Ужъ онъ его возжей хлесталъ, хлесталъ...

Дѣдушка Степанъ.

Ишь ты, въ родительницу!...

Вася.

Онъ говорить, она ему не мать, а сродственница; у меня, говорить, нѣтъ ни отца, ни матери; меня, говорить, изъ воспитательнаго дому сюда оборотили...

ЯВЛЕНІЕ IV.

Подходятъ нѣсколько ребятъ.

Всѣ.

Здравствуй, дѣдушка Степанъ.

Дѣдушка Степанъ.

Здорово, молодчики! Далеча ли срядились?

Гришка.

Корѣ, дѣдушка, драли, домой идемъ.

Дѣдушка Степанъ.

Рыбу завтра ловить приходите.

Гришка.

Неколи. Нонѣ корье драли, а завтра лекарь съ фабрики велѣлъ чтобы безпремѣнно мать—мачиху рвать. *

Дѣдушка Степанъ.

Тамъ у старой плотины ее тѣма тѣмущая.

Гришка.

Мы туда и пойдемъ. Мы и лѣтось тамъ же рвали.

Дема.

Да и за пьянымъ боромъ, по рѣчкѣ, сколько хошь.

Вася.

Мы туда завтра за муравлиными яицами...

Дѣдушка Степанъ (къ портному).

А ты слышишь: ежели ты будешь окурмокъ ** въ рѣку кидать, рыбу травить, я тебя, знаешь... Ишь ты, непутевый!..

ЖАРЕННЫЙ (становясь въ позу).

Не страшно!..

Дѣдушка Степанъ.

Ты у насъ тутъ всю рыбу потравилъ, озорникъ этакой! Рыбу Богъ намъ на потребу создалъ, а ты ее травишь. Безстыдникъ! Вася, порой, батюшка, червячковъ, а я пойду вершу погляжу.... Я тебя такъ пугну отсюда, что ты у меня, и своихъ не узнаешь. (Уходитъ).

ЯВЛЕНИЕ V.

Тѣже безъ дѣдушки.

ЖАРЕННЫЙ (вслѣдъ Степана).

. Старый чортъ! (Ребята смѣются).

* Лекарственная трава.

** Кукельванъ.

Тил. Ф. С. Судицкаго.

В а с я.

Чтожъ ты дѣдушку-то ругаешь, онъ постарше тебя.

Ж а р е н н ы й.

Стара у попа собака! Я всѣ ваши верши перерѣжу.... а сторожку сожгу... ей Богу сожгу.... (Кидаетъ въ воду камень).

Г р и ш к а.

Что рыбу-то пугаешь. Чортъ!

Ж а р е н н ы й.

Новъче ночью я къ попу въ садъ за яблоками....

Д е м а.

Не поспѣли еще... зеленые...

Ж а р е н н ы й.

Печенные они ничего, вкусно.

Д е м а.

А шея-то у тебя крѣпка?

Ж а р е н н ы й.

Крѣпкая, крѣпче твоей!... Когда я въ Обуховской больницѣ лежалъ, со втораго этажу меня спустили....

Г р и ш к а.

За что?

Ж а р е н н ы й.

За бѣльемъ мы съ товарищемъ у Вознесенскаго мосту на чердакъ залѣзли, а дворники насъ и выждали... Пашѣ сейчасъ лопаты назадъ, а я, пока его крутили, хотѣлъ шмыгнуть; старшій дворникъ какъ звизнетъ меня, такъ я и покатился.... (Всѣ смѣются). Сейчасъ въ больницу. Доктора эти миаи меня, миаи,—нутромъ, говорятъ, здоровъ, только въ ребрахъ у него поврежденіе.

Д е м а.

Вотъ такъ приладилъ!

ЖАРЕНЫЙ.

Порядочно!.. Вылечили меня и сейчасъ въ острогъ. Слѣдователь допрашивать сталъ: повинись, говоритъ, скажи какъ дѣло было? Ничего, говорю, я не знаю, потому какъ мнѣ дворники память отшибли и поэтому случаю я въ больницѣ лежалъ. Опосля этого въ судъ повезли... народу, братецъ ты мой, жендары.... Сейчасъ всѣхъ присягу примать заставили. Ты, говоритъ, какой вѣры? Здѣшной, говорю. Воровалъ бѣлье? Никакъ нѣтъ, а что дворники меня били оченно и даже теперь рукой владать не могу.

ДЕМА.

Я бы, кажись.... (Смѣется). Ужъ оченно страмъ!..

ЖАРЕНЫЙ.

А ужъ меня въ острогѣ одинъ мѣщанинъ обучилъ—ты, говоритъ, главная причина, говори одно: били да и шабашъ. И вышло намъ такое разрѣшеніе: Пашку въ арестанскія роты служить, а меня въ деревню по етапу. Къ Покрову, Богъ дастъ, я опять въ С.-Петербургъ уйду.

ГРИШЕЛ.

А ежели опять поймають, такова жару зададутъ.

ЖАРЕНЫЙ.

Тамъ канпанія большая—ничего. Ужъ оченно тамъ жистъ хорошая.... слободно... Разъ мы въ вѣятрѣ у одного барина.. (*Изъ кустовъ показывается дѣдушка Степанъ*). Старый чортъ этотъ опять идетъ... Пойдемъ братцы... (*Къ Васѣ*). А ты ему скажи: будетъ онъ меня помнить. Я ему покажу. Въ вѣятрѣ мы разъ у одного барина.... (*уходятъ*).

ЯВЛЕНИЕ VI.

Вася садится на камень и закидываетъ удочку. На противоположномъ берегу показывается Настя.

НАСТЯ.

Васька, матушка велѣла домой чтобы...

ВАСЯ (насаживая червя).

Я заночую здѣсь.

НАСТЯ.

Матушка сердается. Совсѣмъ, говоритъ, отъ дому отбился.

ДѢДУШКА СТЕПАНЪ.

Скажи, голубка, дѣдушка - молъ завтра самъ приведетъ. Они молъ въ вершамъ пойдутъ.

НАСТЯ.

Раньше приходите. Прощайте.

ДѢДУШКА СТЕПАНЪ.

А ты бы... тово... рыбу-то бы съ собой захватила, скородки на двѣ у насъ будетъ. Скажи матери, Васютка все наловилъ...

НАСТЯ.

Да онъ ловить-то не умѣетъ.

ДѢДУШКА СТЕПАНЪ.

Нѣтъ, ловить важно...

ВАСЯ.

Я сейчасъ головля поймалъ...

ДѢДУШКА СТЕПАНЪ.

Свѣжая она теперь... Поужинаете...

НАСТЯ.

Завтра на покось пойдѣмъ, обжаримъ...

ДѢДУШКА СТЕПАНЪ.

А косить то еще много?

НАСТЯ.

Росы на двѣ еще хватить

(Вася отталкиваетъ лодку на противоположный берегъ и возвращается).

Спасибо, дѣдушка. Прощайте.

Вася.

Щука давя плеснула вонъ у энтаго куста... здоровая!..

Дѣдушка Степанъ.

Лукавая эта рыба-то... Что-то Богъ намъ въ верши послалъ...

Вася.

А далече, дѣдушка, отсюда?

Дѣдушка Степанъ.

Нѣтъ, недалече.. Вотъ мы поужинаемъ да и поѣдемъ... Тихо теперь, хорошо.... (рѣжетъ хлѣбъ). Садись, батюшка.. (садятся). Господи благослови. Ъшь, во славу Божью. Ты бы лучеу погрызъ, посоли-ка его да хорошенько... Вотъ такъ.

Вася.

Дѣдушка, намедни къ намъ посредственниѣхъ прїѣзжалъ, народъ на сходку сколачивали, чтобы съ души по полтиннику и ребятъ, значить, всѣхъ грамотѣ обучать. А опосля того волостной всѣхъ ребятъ собиралъ. Я, говорить, тетка Варвара, Васютку первого возьму. Три копеечки мнѣ далъ...

Дѣдушка Степанъ.

Это за твою добродѣтель....

Вася.

А мужики которые, мы, говорить, ребятъ своихъ не выдадимъ... Въ кабаѣхъ подрались. Коряга ужъ оченно кричалъ.

Дѣдушка Степанъ.

А волостной-то что?

Вася.

Долго онъ съ ими ругался, а Корягѣ говорить: я тебя, говорить, въ солдаты отдамъ. А Коряга ему:—я, говорить три затылка заростилъ,—меня отдать невозможно....

Дѣдушка Степанъ.

Это, батюшка, хорошо. Ежели ты обучишься—первый человекъ будешь. Кто перомъ умѣетъ, такому человеку завсегда

прѣсвѣтъ есть. Не токма по нашему по крестьянскому дѣлу, а ежели и господинъ который необученый... Доѣдай, любдай, голубчикъ, простынетъ.

В а с я.

Я ужъ сытъ.

Дѣдушкѣ Степанъ.

Ну, и слава тебѣ Господи. Богъ напиталъ, никто не видалъ...

В а с я.

Темно какъ стало.

Дѣдушкѣ Степанъ.

Темно. Теперь лихому человѣку хорошо, теперь ужъ лихой человѣкъ на дорогу вышелъ. Возьми-ка ведерочко, залей огонь-то.

В а с я (заливаетъ).

Я боюсь ночью-то...

Дѣдушкѣ Степанъ.

Чего, голубчикъ, бояться. Доброму человѣку бояться нечего, лихихъ людей здѣсь нѣтъ, они теперича на проѣзжей дорогѣ, али въ городу гдѣ поближе, гдѣ народъ ходитъ, а здѣсь имъ дѣлать нечего — люди мы съ тобой бѣдные, взять съ насъ нечего.

В а с я.

Страшно очень. Разъ мы съ матушкой за хворостомъ ѣздили да въ оврагѣ въ ночи-то и застряли...

Дѣдушкѣ Степанъ.

Испужались!

В а с я.

Страсть!.... А въ барскомъ домѣ, дьячекъ сказывалъ, никому невозможно ночью пройти...

Дѣдушка Степанъ.

Ну!..

Вася.

Сейчасъ умереть!

Дѣдушка Степанъ.

Чтожъ тамъ?

Вася.

А старый баринъ тамъ по ночамъ ходитъ.

Дѣдушка Степанъ.

Зря болтають, батюшка. Самъ я ему голубчику и могилку-то воялъ и восточекъ-то его, поди, нѣтъ теперь.

Вася.

Нѣтъ, дѣдушка, видѣли—ходить.... Сердитый...

Дѣдушка Степанъ.

Полно, глупенькой, врать-то....

Вася.

Очень ужъ мнѣ жутко, дѣдушка.

Дѣдушка Степанъ.

А ты сотвори молитву... Сядись въ лодку.

Вася (садится).

Темъ какая по рѣкѣ-то... Тихо...

Дѣдушка Степанъ (зажигая фонарь).

Ночь, батюшка... Ночью завсегда тихо. А ты вотъ что: ты рѣки ночью не бойся... Я съ малыхъ лѣтъ на рѣкѣ живу, съ малыхъ лѣтъ я ее знаю... Говорятъ ежели что, ты этому не вѣрь, мало что бабы болтають. Вотъ ежели въ лѣсу, тамъ страшно—и звѣрь и попадается и все... а въ рѣкѣ окромя рыбки голубушки никого нѣтъ и та спитъ теперь. Вотъ мы верши посмотримъ да въ стогу и заночуемъ.. сѣно-то свѣжее... чудесно!... Экая намъ съ тобой жисть-то, милый человекъ, умирать не надо... (Отпихиваетъ лодку отъ берега).

10 февраля, 1874 г.

II.

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ.

СЦЕНА.

Около воздушнаго шара толпа народа.

— Скоро полетить?

— Не можемъ знать, сударь. Съ самыхъ вечереи надувають; раздуть, говорить невозможно.

— А чѣмъ это, братцы, его надувають?

— Должно кислотой какой... Безъ кислоты тутъ ничего не сдѣлаешь.

— А какъ онъ полетить—съ человѣкомъ?

— Съ человѣкомъ... Самъ нѣмецъ полетить, а съ нимъ портной.

— Портной!?...

— Портной нанялся летѣть... Купцы наняли...

— Портной!...

— Пьяной?

— Нѣтъ, чрезвычайный, какъ слѣдуетъ.

— Портной!... Зачѣмъ же это онъ летитъ?

— Запутался человѣкъ, ну и летитъ. Вѣстимо, отъ хорошаго житья не полетишь, а, значить, завертѣлся...

— Мать его тамъ старушка у воротъ стоитъ плачетъ... На кого ты, говорить, меня оставляешь.—Ничего, говорить, матушка, слетаю, опосля тебѣ лучше будетъ. Знать, говорить, мнѣ судьба такая, чтобы, значить, летѣть.

— Давай мнѣ теперича, при бѣдности моей, тысячу цѣлювыхъ, да скажи: Петровъ, лети!..

— Полетишь?

— Я то?

— Ты то?

— Низачто! Первое дѣло—мнѣ и здѣсь хорошо а второе дѣло—ежели теперича этотъ портной летить, самый онъ выходитъ пустой человѣкъ... Пустой человѣкъ!.. Я теперича осьмушечку выпилъ. Богъ дастъ—другую выпью и третью, можетъ по грѣхамъ моимъ... а летѣть мы не согласны. Такъ ли я говорю?—Не согласны!...

— Гдѣ же теперича этотъ самый портной?

— А вонъ ему вупцы водки подносятъ.

— Купецъ ублаготворить, особливо ежели самъ выпивши.

— Всѣ пьяные... Ужъ они его угощали и цѣловать пробовали—все дѣлали. А одинъ говоритъ:—ежели, Богъ дастъ, благополучно прилетишь, я тебя не забуду.

— Идетъ, идетъ... Портной идетъ...

— Кто?

— Посторонись, братцы...

— Портной идетъ...

— Это онъ самый и есть?

— Онъ самый...

— Летишь?

— Летимъ; прощайте.

— Насъ прости, Христа-ради, милый человѣкъ.

— Прощай, братъ!.. Кланяйся тамъ... Несчастный ты человѣкъ, вотъ я тебѣ что скажу! Мать плачетъ, а ты летишь...

— Это дѣло наше...

— Но только ежели этотъ пузырь вашъ лопнетъ, и какъ ты оттедова турманомъ... въ лучшемъ видѣ... только патки засверкаютъ...

— Смотри-ка, братцы, вупцы его подъ руки повели; сей часъ, должно, сажать его будутъ...

— Ты что за человѣкъ?

— Портной...

— Какой портной?

— Портной съ Покровки отъ Гусева. Вупцы его летѣть наняли.

— Летѣть! Гриненко, сведи его въ часть.

— Помилите...

— Я-те подечу!.. Гриненко!.. Извольте видѣть!.. Летѣть!..

Гриненко, возьми...

— Поволокли голубчика!...

— Полетѣлъ!...

— Да, за этакія дѣла...

— И какъ это возможно безъ начальства летѣть!...

— Народъ-то ужъ оченно избаловался, придумываетъ что чуднѣй!...

— Что это мошенника повели?

— Нѣтъ, сударь, портнова...

— Что же, укралъ онъ что?

— Никакъ нѣтъ, сударь... Онъ изволите видѣть... Бѣдный онъ человѣкъ... и вупцы его наняли, что бы сей часъ, значитъ, въ шару летѣть.

— На воздушяхъ...

— А квартальному это обидно показалось...

— Потому—безпорядокъ...

— Летить, братцы, летить... Трогай!..

Иванъ Горбуновъ.

ПОЭТУ И ЧИТАТЕЛЮ.

(изъ А. Штебера).

Если ищешь вдохновенья—
Съ тайнымъ трепетомъ въ груди,
Какъ во храмѣ для моленья,
Въ глубь души своей уйди,

Чтобы внѣшней суетою
Не развлекся праздно ты,
Чтобъ возсталъ передъ тобою
Ясно образъ красоты;

Чтобъ во всѣхъ частяхъ и въ цѣломъ
Могъ его ты созерцать
И потомъ какъ бы на бѣломъ
Чистомъ мраморѣ ваять.

Хочешь генія твореньемъ
Насладиться—вотъ, читай;
Но съ святымъ благовѣнемъ
Къ этой книгѣ приступай.

Чтобы весь покрытый свѣтомъ
Воплощенный идеаль,

Образъ созданный поэтомъ,
Предъ умомъ твоимъ предсталъ,

Чтобъ въ глубокомъ созерцаньи
Шелъ ты дальше, до конца,
И постигнуть могъ въ созданьи
Идеалъ его творца.

Д. Михаловскій.

A LA POINTE.

Недвижно безмолвное море...
По берегу чинно идутъ
Знакомыя лица, и въ сборѣ
Весь праздный, гуляющій людъ.

Проходитъ банкиръ бородатый,
Гремитъ офицеръ палашомъ,
Попарно снуютъ дипломаты
Съ серьезнымъ и кислымъ лицомъ.

Какъ муміи важны и прямы
Въ коляскахъ своихъ дорогихъ
Болтаютъ нарядныя дамы,
Но рѣчи не клеются ихъ.

„Вы будете завтра у Зины?“
„Княгиня мой низкій поклонъ“.....
„Изъ Бадена пишутъ кузины,
Что Бисмаркъ испортилъ сезонъ.“

Блондинка съ улыбкой небесной
Лепечетъ поднявши лорнетъ:

„Какъ солнце заходить чудесно!“
А солнца давно уже нѣтъ.

Гуманное общество тѣша,
Несется пріятная вѣсть:
Пришла изъ Берлина депеша,
Убитыхъ не могутъ и счесть.

Графиня супруга толкаетъ....
„Однако, мой другъ, посмотри,
Какъ радостно Рейсъ выступаетъ,
Какъ жалокъ несчастные Флѣри!“

Не слышно веселаго звука,
И гордо на всемъ берегу
Царить величавая скука,
Столь чтимая въ свѣтскомъ кругу.

Темнѣетъ. Роса набѣжала.
Туманомъ одѣлся заливъ.
Разѣѣхались дамы сначала,
Запасъ новостей истощивъ.

Наружно-смиренны и кротки,
На промыселъ выгодный свой
Отправились въ городъ кокетки
Безпечной и хищной гурьбой.

И слѣдомъ за ними, зѣвая,
Дивя ихъ своей пустотой,
Ушла молодежь золотая
Оканчивать день трудовой.

Разсѣялись всадниковъ кучи,

Коляски исчезли въ пыли....
На западѣ хмурыя тучи
Какъ пологъ свинцовый легли.

Одинъ я. Опять надо мною
Вездѣ тишина и просторъ.....
Въ лѣсу далеко за водою
Какъ молнія, вспыхнулъ костеръ.

Какъ рвется душа, изнывая,
На яркое пламя костра!
Кипитъ здѣсь бесѣда живая
И будетъ кипѣть до утра;

Отъ холода, скуки, ненастья
Здѣсь вѣрно надежный пріютъ;
Быть можетъ, неожиданное счастье
Свилو себѣ гнѣздышко тутъ....

И сердце трепещетъ невольно.....
И знаю я: вѣхать пора,
Но какъ-то разстаться мнѣ больно
Съ далекимъ мерцаньемъ костра.

10 Августа
1870-го года.

А. Апухтинъ.

Изъ юношескихъ стихотвореній Т. Мура.

О, не гляди такъ на меня! Твой жгучій взглядъ
Изъ глазъ потоки слезъ невольно исторгаетъ.
Не знаешь ты, что онъ собой напоминаетъ
Все, чѣмъ когда-то былъ я счастливъ и богатъ.
Когда тотъ взглядъ, ко мнѣ порою обращаясь,
То говорилъ *люблю*, то *нѣтъ* вдругъ говорилъ,
И, какъ безумный, я душой за нимъ слѣдилъ,
Весь затаенный смыслъ въ немъ разгадать стараясь,
Не думалъ я, чтобъ часъ мучительный пробилъ,
Когда въ укоръ себѣ, на посмѣянье свѣту
Узнаю, что одну фальшивую монету,
Какъ драгоценный перлъ, у сердца я хранилъ!
Да, правды много такъ во взглядѣ томъ сіяло,
Что кто подумалъ бы и угадалъ бы это-жъ,
Что въ немъ царить одни—обманъ, притворство, ложь?
Нѣтъ, жизнь всю за него отдать казалось мало.
Такъ если живъ твой взглядъ, что счастье мнѣ сулить,
—О, пощади меня! Ты видишь, сердце снова
Страдать по прежнему и полюбить готово
И страсти сдержанной ужъ въ немъ огонь горитъ.
Поработить меня—пустая лишь забава:
Безумно-горячо я рвусь къ любви земной,
Нещадно жъ пошутить и поиграть со мной—
Какая честь, скажи, какая въ этомъ слава?

Ю. Дюпелъмайеръ.

ПОСРЕДНИКЪ.

(ГЛАВА ИЗЪ ПОВѢСТИ).

I.

На одномъ изъ тѣхъ широко гладкихъ пространствъ К.... губерніи, которыя не именуются степями, хотя и имѣютъ на то полное право, далеко кругомъ видна зеленѣющая, какъ островъ, густая роща обозначающая помѣщичью усадьбу.— Тутъ, подъ навѣсомъ столѣтнихъ липъ, существовалъ недавно, вѣроятно существуетъ и нынѣ вытянутый въ одну линію старый деревянный господскій домъ съ мезониномъ.— Зданіе въ то время, когда начинается нашъ разсказъ не обозначало никакихъ признаковъ ветхости и выкрашено было заново темнооранжевымъ цвѣтомъ съ бѣлыми опушками и кантиками.— Подновленная крыша блестѣла на солнцѣ яркой зеленой краской. Разбитыхъ оконъ въ домѣ, противъ сельскаго обыкновенія, не оказывалось. Стекла сверкали глянцемъ. Весь домъ былъ похожъ на выстроенную роту, ожидающую инспекторскаго смотря.— Видно было, что помѣщикъ отставной генералъ-маіоръ Ѳеодоръ Львовичъ Лудинъ, командовавшій нѣкогда гвардейскимъ полкомъ, привыкъ къ порядку и любилъ акуратность.— Непріятности по службѣ, при нѣкоторыхъ нововведеніяхъ въ военномъ вѣдомствѣ, повышение сверстника,

неполученіе ожидаемой награды заставили его выйти въ отставку и поселиться въ деревнѣ. Въ деревнѣ онъ охотно бы нарядилъ крестьянъ своихъ въ мундиры и заставилъ бы ихъ молотить рожь въ три темпа, но уничтоженіе крѣпостнаго права рѣшительно ужъ тому воспротивилось. Отъ одной досады генералъ перешелъ къ другой. Крестьяне не только не стояли передъ нимъ руки по швамъ, не только издали не ломали ему шапки, но кромѣ того не выходили на урочныя работы, не выплачивали оброка, спорили о всякихъ пустякахъ и не оказывали никакого послушанія. Въ этомъ генералъ видѣлъ признаки общественнаго разрушенія, и когда ему докладывалъ прикащикъ, что староста поѣхалъ съ жалобой на него, генерала и разныхъ орденовъ кавалера, къ волостному старшинѣ и что волостной писарь опять затѣялъ новыя кляузы, Федоръ Львовичъ готовъ былъ кликнуть фельдфебеля и дать ему приказаніе отвести ослушниковъ на конюшню для дальнѣйшихъ распоряженій. Но, увы, — прикащикъ одинъ сохранялъ видъ подобострастья за 600 руб. объявленнаго жалованья и невысказанное право красть сколько ему угодно. Съ глубокимъ вздохомъ осмѣливался онъ представлять его превосходительству, что времена теперь уже другія, что самоуправство воспрещается закономъ, и что если оно и проскакиваетъ иногда въ измѣненномъ видѣ и съ другаго конца, то и это, уповательно, уже не надолго. Слушая такія рѣчи, генералъ желчно смѣялся, поздравлялъ русскую землю съ отиѣннымъ порядкомъ, взъерошивалъ рѣдкіе сѣдые волосы, раскуривалъ трубку и объявлялъ, что онъ уѣзжаетъ, — дѣлайте дескать какъ знаете, а я безъ субординаціи жить не могу. — Нѣсколько разъ онъ даже хотѣлъ вернуться въ Петербургъ. Но въ Петербургѣ, одинъ его товарищъ уже командовалъ дивизіей, другой, моложе его пятью годами по службѣ, произведенъ былъ уже въ генералъ-лейтенанты. Какъ же будетъ онъ жить съ ними въ одномъ городѣ, вступить опять на службу ему не приходилось, да и служба-то сама измѣнилась въ многомъ. Москвы не любилъ онъ, какъ олицетво-

ренія отставки; за границей ни что его не привлекало. Иностранныхъ языковъ онъ не зналъ, политикой, искусствомъ, наукой, даже природой онъ не интересовался. Горизонтъ его замыкался Марсовымъ полемъ, и то постарымъ преданьямъ то есть выправкой, вытягиваніемъ носковъ, церемоніальнымъ маршемъ, повзводными эволюціями. Въ памяти его звенѣли трубачи, горнисты, барабаны, крики командованія и когда въ воспоминаніяхъ своихъ онъ живо представлялъ себя сверкающій штыками плацъ - парадъ и въ облакахъ пыли при громѣ музыкѣ несущуюся пеструю толпу коней, мундировъ, развѣвającychся султановъ, аксельбантовъ, орденовъ — онъ долго сидѣлъ въ задумчивости, вперивъ вдаль мутный взоръ бѣловатыхъ выдающихся глазъ и крупная слеза скатывалась незамѣтно по загорѣлому его лицу на бѣлѣющіе усы. Живой обломокъ другой эпохи, другаго образа мыслей, онъ попалъ въ новую среду понятій и стремленій, къ которой ничѣмъ не былъ подготовленъ и въ которой ничего не понималъ. Онъ привыкъ слушаться и приказывать. Но разсуждать о томъ что хорошо, что дурно, но принимать участие въ развитіи самобытной народной жизни... этого отъ него никогда не требовалось. Онъ былъ по природѣ справедливъ, добродушенъ, честенъ, щедръ, хлѣбосолъ. Въ полку его любили, не смотря на его взыскательность по службѣ. Состояніе у него было большое. Жилъ онъ всегда роскошно. Все это онъ за собой признавалъ, и никакъ не могъ онъ объяснить себя—какъ, по какой причинѣ, онъ, соединяющій въ себѣ всѣ достоинства начальника, былъ вдругъ лишенъ всякой начальнической власти... и гдѣ же... у себя?... въ своей родовой вотчинѣ, гдѣ еще недавно его встрѣчали на колѣнахъ и валялись у него въ ногахъ, испрашивая его милостей. Развѣ онъ покривилъ душой? Развѣ онъ сдѣлалъ какое нибудь безчестное дѣло? Развѣ онъ кого нибудь обидѣлъ? Развѣ онъ не кормилъ голодныхъ, не обстраивалъ погорѣвшихъ? Онъ ничего, рѣшительно ничего дурнаго за собой не зналъ. Зачѣмъ же онъ наказанъ? Зачѣмъ же онъ, заслуженный генералъ,

сталъ ниже мошенника, имъ же изъ его конторы выгнаннаго, волостнаго писаря, котораго всѣ слушаются, тогда какъ его, генерала, получившаго столько знаковъ отличія, никто не слушается. Все это казалось ему вопіющей несправедливостью. Онъ, передъ которымъ дрожалъ гвардейскій полкъ, долженъ былъ становиться на одну доску съ послѣднимъ мужикомъ, его нагло обманывающимъ, — судиться съ нимъ передъ какимъ нибудь отставнымъ поручикомъ, явно мужику потворствующимъ, тогда какъ такъ просто было бы посадить поручика подъ арестъ, а мужика высѣчь. Поневоѣ Федоръ Львовичъ затаилъ въ душѣ глубокое негодованіе, хозяйство предоставилъ прикащику, а самъ оставилъ за собой хлопоты около дому, строенія выправилъ во всѣхъ ихъ частяхъ и принадлежностяхъ, къ густой рощѣ присадилъ по ранжиру длинныя прямыя аллеи кругомъ всей усадьбы, окопался рвомъ, замкнулся со всѣхъ сторонъ валомъ, оставилъ для выѣзда одни ворота, и огородился какъ въ крѣпости на пушечный выстрѣлъ отъ села, имѣя въ тылу большой прудъ, а по всѣмъ фасамамъ неприступныя фортификаціи. Къ счастью, старинный садъ съ разноцвѣтной зеленью, въ безпорядкѣ разбросанный около примыкающаго къ дому круга тѣнистыхъ липъ, нѣсколько смягчалъ грозную симметрію генеральскаго обиталища.

Въ прекрасный іюльскій день стояла погода удушливая. Ни одинъ листикъ на деревьяхъ не шевелился. Въ природѣ все дремало и притихло. Звонокъ для садовыхъ рабочихъ уже возвѣстилъ полдень, по усадьбѣ казалось все вымерло. Въ одной только бесѣдкѣ изъ зеленого трельяжа съ пригнутой къ нему акаціей слышался шорохъ.

Въ бесѣдкѣ шелъ разговоръ между семнадцатилѣтней дочерью генерала и ея гувернанткой. Молодая дѣвушка съ черными волосами, едва сдерживаемыми голубой сѣткой, и въ бѣломъ утреннемъ платьѣ нетерпѣливо ударила по землѣ кончикомъ зонтика. Глаза ея сверкали.

— Вы всегда браните меня, говорила она по-французски, что я читаю англійскіе романы. Да что же прикажете мнѣ чи-

татъ. Французскихъ миѣ не даютъ. Русскіе возможные я читаю, а теперь для меня русскихъ кажется нѣтъ, по крайней мѣрѣ то, что я пробовала читать. Въ журналахъ описываютъ большею частью что-то весьма скучное... и совершенно для меня непонятное.

— Я вамъ не совѣтую читать русскихъ романовъ, отвѣчала высокая красивая женщина лѣтъ за тридцать съ греческимъ носомъ и необыкновенно тонкими губами. — Я вамъ совѣтую вообще не читать романовъ, а читать хорошія поучительныя книги для образованія ума и сердца.

Эти слова были высказаны, сухо, тономъ величавымъ какъ будто по официальной обязанности.

Молодая дѣвушка возразила вспылчиво:

— Да я, развѣ я не читаю вашихъ серьезныхъ книгъ. Я читаю по вашему желанію и вашихъ классиковъ и Боссюэта и Фенелона, читаю Гизо и Вилльмена, Баранта вашего читаю. Да вѣдь это работа, а не отдохновеніе, не удовольствіе. — Помилуйте, мнѣ семнадцать лѣтъ, мнѣ и повеселиться хочется. А въ этомъ зеленомъ монастырѣ съ тоски умереть можно. Гулять негдѣ, степь кругомъ, сосѣдства нѣтъ, общества нѣтъ, развлеченія нѣтъ, дорогъ даже нѣтъ. Последнее мнѣ остается—жить въ книгахъ, чужой жизнью. Вы и это хотите отнять у меня.

— Во всемъ есть мѣра, на все есть время, протяжно вымолвила гувернантка. Отчего же не развлечь себя иногда легкимъ увеселительнымъ и свойственнымъ вашимъ лѣтамъ чтеніемъ, но вы не читаете, а глотаете книги. Какъ только васъ заинтересуетъ какая нибудь сказка, вы не можете съ ней разстаться, готовы не спать, не обѣдать, пока не дочитали всего до конца. Этого я одобрить не могу. Тутъ крайность, могу даже сказать болѣзнь.... какъ всякая страсть. Мало ли у васъ удовольствій другихъ въ деревнѣ—гулянье, катанье, бесѣды съ вашимъ папенькой.

— Съ папенькой? — тутъ молодая дѣвушка судорожно вскинула головкой... Да онъ почти не говоритъ со мной.

Онъ почти всегда недоволенъ или молчитъ или бранить всѣхъ. А что я для него? Игрушка, когда на мнѣ хорошенькое платье. Непонятливая кукла, когда онъ начинаетъ рассказывать про свой полкъ.

— Позвольте... прервала старшая собесѣдница. — О родителяхъ должно всегда относиться съ уваженіемъ и не осуждать ихъ. У васъ тоже со временемъ будутъ дѣти и вы будете требовать отъ нихъ, чтобы они уважали свою мать.

Будущая мать еще болѣе вспыхнула. Слезы досады сверкнули на ея большихъ глазахъ. Она хотѣла сказать что-то весьма колкое, но остановилась, закусивъ губы до крови и, немного подумавъ, отвѣчала съ принужденнымъ смиреніемъ.

— Я никого не обвиняю... Я сама виновата. Согласна. Я вообразила себѣ, что Россія край образованный, что жить въ деревнѣ не то, что жить въ ссылѣ за какое нибудь преступленіе... Въ Смольномъ монастырѣ меня не приготовили къ моей настоящей жизни.

— О вашемъ воспитаніи, прервала наставница, я говорить не могу. Вы лучше меня знаете, отчего вы воспитывались въ Смольномъ монастырѣ. Что же касается до того, что вообще въ Россіи воспитаніе не соотвѣтствуетъ требованіямъ дѣйствительности, это вопросъ такой важный, что такъ какъ вы русская, а я французенка, то о немъ говорить мнѣ неприлично и я это оставляю слѣдовательно въ сторонѣ. — Я только замѣтила, что въ Россіи жизнь всѣхъ обыкновенно застаетъ въ расплохъ, — и что въ Россіи человѣкъ тамъ именно теряется, гдѣ долженъ выказать волю. Хотѣла бы я знать, что вы бы сдѣлали на моемъ мѣстѣ? Вы знаете, что родители мои были весьма знатные люди. Дѣдъ мой былъ маркизомъ. Отецъ мой былъ командоромъ почетнаго легіона. Я родилась въ кружевахъ. Политическіе перевороты лишили, къ несчастію, насъ всего... и я должна существовать трудами своими. Конечно, вашъ батюшка такъ любезенъ, что не дастъ мнѣ чувствовать все, что есть унижительнаго въ настоящемъ положеніи наслѣдницы маркизовъ Шаторивъ. Конечно, мнѣ

иногда очень тяжело... но я умѣю владѣть собой — а вы не умѣете...

— Отчего же?...

— Оттого, что вы нетерпѣливы, избалованы, не умѣете безъ досады выслушать истину, и возмущаетесь противъ всего, что даже косвенно можетъ задѣть ваше самолюбіе.

— Да что же мнѣ дѣлать! Я рада бы исправиться.

— Это вы похвально сказали, но въ васъ есть итальянская кровь и русская необузданность, и я боюсь вы забудете мои совѣты.

— Какіе совѣты?

— Вотъ видите... Вы уже и забыли. А кажется я вамъ сейчасъ же совѣтовала не предаваться вашей страсти къ романамъ.

— Развѣ это страсть?..

— А что же?.. Когда молодая дѣвушка, природой счастливо одаренная, становится по праву хозяйкой дома у вдоваго отца, когда она поняла всю суетность, всю поверхность своего прежняго воспитанія, что она должна дѣлать?— Неужели лежать цѣлый день подъ деревомъ или на кушеткѣ съ какимъ нибудь нелѣпымъ романомъ *Mistriss Wood* въ рукахъ? Не лучше ли ей сдѣлаться настоящей хозяйкой дома, начать жизнь дѣятельную, распредѣлить свое время, подумать о своемъ второмъ, правильномъ воспитаніи, обезопасить себя отъ обмановъ воображенія и доказать, что она въ будущемъ не готовитъ себя для разсѣянности и забавы, а для пользы и добродѣтели...

Молодая дѣвушка вскочила съ скамьи и съ дѣтскимъ увлеченіемъ хотѣла броситься на шею наставницы, но удержалась, взглянувъ на холодное выраженіе ея лица. Наслѣдница маркизовъ говорила какъ поучительная книга, но ни въ ея правильныхъ чертахъ, ни въ ея однозвучномъ голосѣ не проявлялось даже и тѣни любви и участія, которые одни могутъ придать поученію силу убѣдительности.

За бесѣдой раздался громкій повелительный голосъ:

— Людмила... Людмила... Гдѣ ты?

Людмила бросила книгу на лавку и поспѣшно выбѣжала изъ бесѣдки къ отцу.

Федоръ Львовичъ, не смотря на сѣдину, былъ еще плотный, статный мужчина, съ ловкими движеніями, съ цвѣтомъ лица нѣсколько похожимъ на красноватый сафьянъ, вѣроятно, отъ привычки къ стужамъ, морозамъ и дождямъ сѣверной природы. Онъ былъ въ военной фуражкѣ и въ сѣренкомъ сюртучкѣ, съ вдѣтымъ въ петлицу орденомъ.

— Я думалъ, что ты пропала, сказалъ онъ.

— Я сидѣла и зачиталась въ бесѣдкѣ, отвѣчала дочь, цѣлуя у него жилистую руку. — Мадамъ Шмидтъ меня за то и бранила.

Генералъ улыбнулся наставницѣ и закругливъ плечи по какому-то прежнему генеральскому щегольству.

— Хорошенько ее... а бесѣдку надо будетъ скрыть.

— Папенька!.. какъ можно?..

— А что... впередъ не зачитывайся, отца не забывай.

Генералъ былъ въ духѣ, что съ нимъ иногда случалось, когда погода была хорошая, и въ особенности, когда онъ ожидалъ гостей. Какъ русскій человекъ, онъ любилъ угощать. Людмила съ утра замѣтила, что на кухнѣ происходило что-то необыкновенное и что дворецкій Егоръ Самсоновичъ нѣсколько разъ заботливо бѣгалъ къ погребу.

— У насъ будутъ гости? спросила она.

— Какъ же... Большая оказывается сегодня намъ маленькимъ людямъ честь. Развѣ я тебѣ не говорилъ. Насъ удостоиваетъ сегодня своимъ посѣщеніемъ самъ г-нъ мировой посредникъ, отставной арміи поручикъ и бронзовой цѣли кавалеръ. Я уже думалъ не надѣть ли полную парадную форму, да отъ старосты никакого приказанья по сему предмету еще не получалъ. Авось, и такъ обойдется!

Тутъ онъ разразился громкимъ генеральскимъ хохотомъ.

— А когда же, папенька, вы съ посредникомъ познакомились? Я думала, что онъ къ вамъ не ѣздитъ.

— Гдѣ же, помилуйте, ему было пріѣхать ко мнѣ съ визитомъ въ его высокому чинѣ! Исправникъ, становой, тѣ пріѣзжали. И за то спасибо. Не подумали, что вѣжливостью передъ старымъ человѣкомъ можно уронить себя, а посредникъ? Куда ты,—слышалъ я, что пріѣзжалъ онъ только въ мою контору, распорядиться моимъ имѣніемъ; дать приказанія моимъ людямъ, мужиковъ по головкѣ погладить, чтобъ и впередъ не слушались, а потомъ и поминай какъ звали.

— Да какъ же, папенька, сегодня-то?

— А вотъ какъ. Третьяго дня ѣздилъ я къ нашему сосѣду Щуринову. Хотѣлъ потѣшить бѣднаго человѣка. Житье-то ему признаться не завидное... Да помню я, въ 29-мъ году я служилъ съ его братомъ въ одной бригадѣ. Такъ вотъ пріѣхалъ, да и встрѣтился у него съ посредникомъ. Ну и познакомились... Слово за словомъ. Я говорю, что это вы спѣсивитесь, что къ старому солдату заглянуть не хотите. Занять, говорить. Дѣловъ много. Ну дѣла дѣлами, а чай обѣдать все-таки надо. Вотъ и согласился сегодня пожаловать. Ты однако посмотри, чтобъ столъ былъ накрытъ какъ слѣдуетъ, чтобъ онъ видѣлъ, что онъ въ порядочномъ домѣ и что не смотря на ихъ стараніе, у насъ все-таки кое-что еще осталось.

— Слушаю, папенька.

Федоръ Львовичъ отправился къ себѣ, приготовить на всякій случай кое-какія бумаги о разверстаніи угодій, образующемъ для него нѣчто въ родѣ личной обиды. Разложивъ на столѣ огромный планъ, надѣвъ очки и взявъ карандашъ въ руки, онъ скоро углубился въ соображенія оборонительнаго свойства, какъ бы готовясь выдержать приступъ сильнаго непріятели. Мадамъ Шмидтъ, вдругъ нѣсколько поблѣднѣвшая, задумчиво устремилась къ мезонину, гдѣ находилась ея комната, подлѣ комнаты Людмилы. Людмила съ своей стороны пошла къ флигелю, гдѣ дымилась кухня. Толстый поваръ въ бѣлой курткѣ и въ бѣломъ беретѣ тотчасъ явился на ея зовъ и между ними произошло небольшое совѣщаніе.

Молодая дѣвушка разспрашивала съ важностью и достоинствомъ будущей хозяйки. Поваръ отвѣчалъ съ полнымъ величіемъ самоувѣренности и непогрѣшимости. Людмила притворилась, что его понимаетъ и поспѣшила въ пріемныя комнаты. Въ комнатахъ ей показалось душно. Она затворила окна, опустила шторы и потомъ по ступенямъ балкона слѣтѣла въ цвѣтникъ, нарвала цѣлую кучу цвѣтовъ, связала два огромные букета и поставила ихъ сама въ двѣ японскія вазы на столъ, приготовленный къ обѣду. Проходя мимо зеркала, она невольно въ него взглянула и испугалась. Нѣжное ея личико было все въ пятнахъ.

— Что скажетъ мадамъ Шмидтъ? подумала она громко, что подумаетъ посредникъ? сказала ей тайное женское чувство.

Она поспѣшила въ свою комнату раздѣлась, опрыскалась холодной водой и миля какъ Психея Кановы легла на кушетку.

— Дуняша, что я надѣну къ обѣду?

— Что прикажете, сударыня... Я приготовила лиловое баржевое платье.

— Нѣтъ... я и то красна.

— Бѣлое кисейное прачка принесла, сѣренькое подать можно съ мушками, голубое съ полосками, зеленое въ тѣнь... А что, сударыня, видно хорошіе господа будутъ сегодня къ обѣду? — Поваръ трюфель готовить. — Дай то Богъ жениха намъ хорошаго, да добраго, да богатаго, да главное, чтобъ барышня, онъ вамъ по сердцу пришелся. Признательно сказать, мнѣ больше ничего и не надо. Каждый день, вѣрьте слову, Бога молю. Ужъ такая забота моя, что и сказать нельзя.

— Ахъ, Дуняша, какой ты вздоръ говоришь. Дай мнѣ бѣлое кисейное. Хорошо выглажено.

— Сама, барышня, гладила. Здѣшнимъ прачкамъ ничего вѣдь дать нельзя. Батъ разъ испортятъ. Да какія онѣ прачки, прости Господи... Ничему не ученые, просто бабы деревенскія... мужички.

Людмила пролежала цѣлый часъ въ полудремотѣ и ду-

мала, думала, сама не зная о чемъ... То ей казалось, что она поднялась на воздухъ и носится между облаками, то вдругъ ей чудилось, что она несется по степи, обгоняя вѣтеръ, и что чье-то дыханіе горячо дышетъ у самой ея щеки, и что въ этомъ дыханіи слышатся шопотомъ какія-то слова, которыхъ она никогда еще прежде не слыхивала, а между тѣмъ ей было какъ-то задумчиво-весело, какъ-то упоительно-легко. Пріѣздъ въ деревнѣ молодого человѣка—событіе далеко не обыкновенное. Но кто сказалъ Людмилѣ, что посредникъ молодой человѣкъ и что такое вообще посредникъ. Вѣроятно какой-нибудь бѣдный чиновникъ, который и взглянуть на нее не посмѣетъ. Отчего же такое волненіе, такое ожиданіе?... Выходить на повѣрку, что мадамъ Шмидтъ-то и права. Вотъ что значитъ читать романы, дать какое-то глупое мечтательное, несбыточное направленіе мыслямъ, искать и требовать романическаго въ Курскій губерніи въ труппѣ, о которой герои романовъ и во снѣ не видывали. А впрочемъ не все ли равно, гдѣ мы живемъ, въ Италіи, въ Малороссіи. Не наружная обстановка, а блаженство сердечное, вотъ цѣль земной жизни, а что нужно для блаженства, для святаго безграничнаго блаженства?—Пожатіе руки, взоръ, полный сочувствія, отгаданная наклонность, единая мысль, сознаніе радости и спокойствія при свиданіи, сознаніе взаимнаго горя при разлукѣ. Это немного... и это все... Этого нигдѣ не сыщешь, искавши. Это вдругъ скажется невзначай—тамъ гдѣ и не думаешь.

Вдали зазвенѣлъ колокольчикъ.

— Барышня!... ѣдетъ, ѣдетъ! дай Богъ въ добрый часъ!

— Что ты, Дуняша... еще рано... Мимо проѣдутъ, какъ всегда.

— Нѣтъ-съ, сударыня... съ большой дороги своротили. Извольте одѣваться.

Колокольчикъ становился все слышнѣе и, наконецъ, издали показался запыленный тяжелый тарантасъ, который, объѣхавъ кругомъ палисадника, остановился у крыльца.

Людмила, набросивъ на себя легкую мантилью, осторожно выглянула изъ-за спущенной сторы и съ замирающимъ сердцемъ начала смотрѣть сверху на то, что происходило у подъѣзда.

Изъ тарантаса съ трудомъ вышелъ весьма толстый господинъ, въ нанковомъ сюртугѣ. Очутившись на крыльцѣ, онъ снялъ картузь, вынулъ изъ кармана вѣтчатый бумажный платокъ и сталъ имъ обтирать красную лысину, окаймленную, какъ лавровымъ вѣнкомъ, двумя прядями сѣдыхъ волосъ. Людмила чуть не заплакала. Мечты ея разлетѣлись, какъ стая испуганныхъ ласточекъ. Она одѣлась на-скоро, не взглянула ни разу въ зеркало и зашла къ своей сосѣдкѣ, чтобъ вмѣстѣ спуститься въ гостиную. Но г-жи Шмидтъ въ комнатѣ не было. — Раздался первый звонокъ къ обѣду. — Феодоръ Львовичъ, какъ человѣкъ аккуратный, никого не ждалъ. При первомъ звонокѣ надо было собираться. Второй звонокъ означалъ, что супъ на столѣ и что хозяинъ садится кушать.

Когда Людмила вошла въ гостиную, отецъ ея сидѣлъ съ толстымъ господиномъ, лицо котораго, за исключеніемъ необходимаго, было тоже похоже на лысину. Господинъ вздыхалъ и горько на что-то жаловался.

— А вотъ вамъ моя дочь, прервалъ его Феодоръ Львовичъ, — прошу быть знакомымъ. — Мила! сосѣдъ нашъ, Никаноръ Авдѣевичъ Щуриновъ.

«Это не онъ», подумала Людмила и обернулась. Въ столовой стоялъ высокій молодой человѣкъ и съ кѣмъ-то говорилъ, но съ кѣмъ — не было видно. «Вотъ это онъ», подумала Людмила, и на этотъ разъ, не ошиблась. Въ столовой стоялъ мировой посредникъ.

II.

Онъ остановился въ волостномъ правленіи, переодѣлся и прошелъ черезъ садъ. Генералу понравилось, что онъ былъ

во фракъ, одѣтъ просто, но весьма прилично. Генералъ, забывшись, хотѣлъ было даже поцѣловать его три раза и говорить ему ты. Но онъ опомнился, замѣтивъ холодную и нѣсколько серьезную фیزیономію своего гостя. Они даже бесѣдовали съ полчаса, но когда пріѣхалъ Щуриновъ, то посредникъ вышелъ въ столовую и вступилъ въ разговоръ съ особой, которой Людмила не могла разглядѣть. Молніеноснымъ женскимъ взглядомъ, она окинула его съ ногъ до головы. Онъ былъ лѣтъ тридцати, не хорошъ и не дуренъ, не великъ и не малъ, съ чертами, нѣсколько крупными, съ глазами маленькими, но выразительными, съ курчавыми темными волосами и усами, плечистъ и съ широкимъ затылкомъ — признакъ твердой воли. Онъ говорилъ такъ тихо, что словъ его нельзя было слышать, но лицо его было блѣдно и онъ казался смущенъ. Общее первое впечатлѣніе было невыгодное. Людмилѣ онъ рѣшительно не понравился.

Въ это время Щуриновъ жалобно продолжалъ свою роль.

— Я, ваше превосходительство, не зналъ попаду ли сегодня къ вамъ. Повѣрите-ль... въ двѣ недѣли шесть кучеровъ перемѣнилъ. И сегодня у меня кузнецъ на козлахъ сидитъ... Право-съ... Не остаются каналы, что станешь съ ними дѣлать. Жалованье запрашиваютъ страшное. Деньги давай имъ впередъ. Иначе не идутъ... а деньги получаютъ, пьютъ безъ просыпа. Двоихъ у меня насилу откачали. Видно, грѣхи наши были тяжкіе.

Помѣщикъ Щуриновъ, столбовой курскій дворянинъ, никогда и нигдѣ не служилъ. Дворянское званіе удовлетворяло прежде вполнѣ его честолюбію, имѣніе въ 40 заложенныхъ душъ — его вещественнымъ требованіямъ. Онъ въ 50 лѣтъ былъ пашой въ миниатюрѣ, имѣлъ повара, который игралъ при томъ на скрипкѣ, буфетчика, который былъ и ключникомъ по хозяйству, стремяннаго — онъ же прикащикъ — поочередно понукающаго собаками и людьми, двухъ босыхъ казачковъ, которые раскуривали у него трубки, двухъ кучеровъ, которые смотрѣли за садомъ и за экипажами, наконецъ

пьянаго старичка, который, въ веселую минуту, плясалъ передъ нимъ послѣ обѣда въ присядку. Женская его прислуга была еще многочисленнѣе. Онъ держалъ для семейства двухъ нянекъ, трехъ горничныхъ: одну для самовара и двухъ для комнатъ, двухъ прачекъ, двухъ ключницъ. Все это кормилось чѣмъ Богъ послалъ въ общей застольной и усиливалось еще мальчишками по наряду.

Въ огородахъ саживалось и сѣялось все потребное для пищи растительной. Женскій полъ усердствовалъ по части пекари, квасовъ, солений, наливокъ. Мужескій доставлялъ доходецъ болѣе существенный, а иной разъ, лишняя рекрутская квитанція позволяла помѣщику съѣздить въ губернский городъ, провести нѣсколько пріятныхъ вечеровъ съ своей братьей, дворянами. И вдругъ все разомъ рушилось. Поваръ со скрипкой, казачки съ трубками, прикащикъ съ борзыми, горничныя съ самоварами и даже сознаніе дворянской спѣси, дворянской силы... все исчезло какъ сновидѣніе. Въ домѣ осталось семейство: жена, теща, восемь человѣкъ дѣтей, да старая, параличемъ разбитая нянька и пьяный старичекъ, который и въ присядку плясать пересталъ. Наступили горькія минуты. Дѣло коснулось разомъ дворянскаго самолюбія и насущнаго хлѣба. Надѣла съ выкупомъ едва хватило на покрытіе казеннаго долга. Имущества осталось — старая усадьба да десятины сто, съ небольшимъ, безъ рабочихъ рукъ, и безъ капитала. Никаноръ Авдѣвичъ, всегда похотѣй на лучезарное солнце, началъ походить на багровую луну, и когда доставалъ кучера, ѣздилъ по сосѣдямъ напѣвать со вздохами, свою слезливую монотонную злелю, съ неизбѣжнымъ припѣвомъ: «За грѣхи терпимъ. Видно, грѣхи наши были тяжкіе».

— Представьте, ваше превосходительство, продолжалъ онъ, до чего у нихъ безсовѣстность доходить. Былъ у меня огородникъ... Всѣмъ мнѣ мошенникъ обязанъ. Говорю я ему: помоги мнѣ, братецъ, въ огородѣ. Чтожъ вы думаете? Контрактъ, говорить, напишемъ. — Нѣтъ, каково вамъ пока-

жется? чтобъ и съ нимъ-то, съ мошенникомъ, контрактъ сталъ заключать, а онъ у меня сапоги чистилъ? Да, хоть бы грамотъ-то зналъ.

— Это точно, замѣтилъ, покручивая усы, генералъ. Это точно... Грубость теперь большая... Однако, соловья баснями не кормятъ. Пора и щей солдатскихъ отвѣдать. Викторъ Ивановичъ, не угодно ли закусить, чѣмъ Богъ послалъ. Милочка, поди-ка сюда, мой другъ. Присядь пониже... Это Викторъ Ивановичъ Палинъ, нашъ мировой посредникъ. Вся твоя будущность зависитъ отъ его доброжелательства. Онъ теперь нашъ отецъ и командиръ.

Палинъ холодно поклонился и сталъ еще блѣднѣе. Видно было, что онъ вооружился терпѣніемъ на цѣлый день. Людмила покраснѣла и слегка поклонилась.

Въ это время задребезжалъ второй звонокъ къ обѣду.

— Милости просимъ...

Генералъ и Щуриновъ подошли къ водѣ. Посредникъ отказался и сталъ подлѣ Людмилы. Она ожидала, что онъ ей что нибудь непремѣнно скажетъ и собиралась духомъ, чтобы отвѣчать. Однако онъ ей ничего не сказалъ, — даже не взглянулъ на нее, а о чемъ-то думалъ.

Сѣли за столъ, роскошно убранный. Тарелки были поставлены серебряныя, употребляемыя нѣкогда на маневрахъ, когда генералъ угощалъ въ лагерѣ офицеровъ своего полка. Егоръ Самсоновичъ въ синемъ фракѣ, въ бѣломъ галстухѣ, съ воротничкомъ выше ушей, величаво отдавалъ приказанія двумъ официантамъ въ нитяныхъ перчаткахъ и ливрейному слугѣ. Людмила сѣла передъ дымящейся серебряной миской и стала разливать супъ. На право ея сѣлъ со вздохомъ Никаноръ Авдѣевичъ, на лѣво молчаливо-угрюмый посредникъ. Подлѣ посредника усѣлся генералъ. Пятый приборъ остался пустой. Симметрия приготовленного стола была испорчена, что весьма непріятно подѣйствовало на генерала.

— А гдѣ же г-жа Шмидтъ?... спросилъ онъ. — Развѣ она не знаетъ, что мы обѣдаемъ въ три часа.

— Онѣ, ваше превосходительство, извиняются, виѣшался почтительно Егоръ Самсоновичъ. — Къ обѣденному столу быть сегодня не могутъ, чувствуютъ себя не совсѣмъ здоровыми.

— Что это? обратился Федоръ Львовичъ къ дочери и насколько измѣнился въ лицѣ.

— Не знаю, папенька. Давеча она была совершенно здорова.

Говоря это, Людмила взглянула на посредника и ей почудилось, что онъ сдерживалъ насмѣшливую улыбку. Это ей показалось страннымъ. Съ другой стороны она находила еще страннѣе и крайне невѣжливымъ, что онъ не только не говорилъ съ ней, но упорно не глядѣлъ даже вовсе на нее, какъ будто бы ей не 17 лѣтъ, какъ будто она не красавица. Сама съ нимъ заговорить она ни подъ какимъ видомъ не хотѣла, и требуя уже тайно къ себѣ поклоненія и обиженная невниманіемъ, обратилась къ лысому сосѣду, который въ грустныхъ размышленіяхъ ѣлъ за четверыхъ.

— Вы ѣздите верхомъ? спросила она его. — Я такъ люблю ѣздить верхомъ.

— Какъ же-съ... очень... то есть... гдѣ же мнѣ теперь... съ моимъ тѣлосложеніемъ. А прежде... большой былъ охотникъ... и лошади были... могу... сказать. Ну... ваше превосходительство, какой у васъ поваръ.

— Вамъ нравится... хотите еще.

— Нѣтъ ужъ не могу болѣе... а впрочемъ... попрошу... Какой у меня былъ поваръ, ваше превосходительство, — няница горькій, — но за то когда я его вытрезвлю. Мастеръ! Не знаю куда мошенникъ дѣвался. Былъ у губернатора. Теперь бажется въ острогѣ.

— А садъ у васъ большой? спросила Людмила.

— Какому быть саду у насъ разоренныхъ людей. Рощица есть небольшая. Былъ цвѣтникъ, крапивою теперь заросъ... А вы, сударыня, по вашимъ лѣтамъ цвѣточки любите... Понятное дѣло! Вотъ у меня... Тутъ Никаноръ Ав-

дѣвичъ поперхнулся и чуть не задохся, онъ хотѣлъ глотать и говорить въ одно время, оправившись онъ продолжалъ. — Вотъ у меня дочь Варвара... кругленькая такая. Я называю ее Барбочка, та тоже страшная охотница до цвѣтовъ. Того гляди вѣнчочекъ сплететъ, горшечикъ какойнибудь достанетъ желтофіоли, бальзамина... Въ этомъ возрастѣ горя еще не понимаютъ... Не то что мы грѣшныя при старости. Терпимъ за грѣхи свои... Вѣрите-ль, Людмила Федоровна...

За этимъ послѣдовала трогательная картина всѣхъ бѣдствій, претерпѣваемыхъ семействомъ помѣщика. Супруга его, родственница княгини Челокотуевой, оставалась съ одной горничной дѣвкой. Дочери его сами глядятъ бѣлье. Прачекъ найти нѣтъ средства. И слова никому не смѣй сказать. Сей часъ расчета требуютъ. Прежде у нихъ были крѣпостные. Теперь мы сами стали крѣпостными.

На эту тему долго продолжались варіаціи. Людмила, наклонивъ личико къ рассказчику, казалось слушала его съ большимъ вниманіемъ, но не слыхала ни одного слова. Все вниманіе ея было обращено на разговоръ слѣва между ея отцомъ и посредникомъ.

— А! вы кажется служили въ военной службѣ?

— Служилъ.

— А! въ какомъ полку?

— Въ Нижегородскомъ драгунскомъ.

— А! стало быть на Кавказѣ?

— Да.

— А! чѣмъ же вы служили?

— Солдатомъ.

Генералъ немного отодвинулся.

— А! вы были разжалованы?

— Да.

— А! по какому случаю? Коль смѣю спросить. За шалость, вѣроятно?

Посредникъ улыбнулся. Глаза его какъ будто открылись

и блеснули. Онъ былъ хорошъ въ эту минуту. Людмила искоса это замѣтила.

- Да... сказалъ онъ,—за шалость.
- Гдѣ же вы напалили?
- Въ университетѣ...
- А! вы были студентомъ?
- Былъ.
- Въ Петербургѣ?
- Въ Петербургѣ.
- Бончили курсъ?
- Бончилъ.
- Чѣмъ?
- Кандидатомъ.
- Странно!.. И тогда вы напалили. Какъ же это?
- Наша шалость была политическая.
- А!.. понимаю. Ну, а на Кавказѣ въ дѣлахъ были?
- Былъ.
- Ранены?
- Раненъ.
- Получали награды?
- Какъ же. Прощенъ, получилъ два офицерскіе чина.
- А кресты имѣете?
- Имѣю.
- Какіе?
- Владиміра съ мечами, георгіевскій солдатскій.

Генералъ ударилъ кулакомъ по столу, такъ что рюмки зазвенѣли. У него за храбрость въ дѣлахъ ни одного ордена не было, потому что онъ ни въ одномъ сраженіи никогда не находился. Не смотря на то военное чувство въ немъ всегда истинно било сильной струей. Въ глазахъ его посредникъ весь преобразовался. Онъ глядѣлъ на него съ завистью, съ восторгомъ, чуть ли не съ благоговѣніемъ.

— Мила! крикнулъ онъ.—Слышала ты, у Виктора Ивановича георгій за храбрость. Да какъ же это? Вы должны носить его по статуту. Я бы спалъ съ нимъ.

— Я и ношу его въ городѣ и на службѣ. Но здѣсь мы на дачѣ.

— Нѣтъ, Викторъ Ивановичъ, нѣтъ, это вы напрасно дѣлаете.—Человѣкъ шампанскаго!—Будете ко мнѣ ѣздить, потѣшите меня, старика.. надѣвайте хоть ленточку.

— Извольте...

— Кто бы могъ подумать! А? Посредникъ и георгіевскій кавалеръ. Да скажите же пожалуйста, Викторъ Ивановичъ, отчего же вы въ отставку вышли?

— По случаю окончанія войны.

— Такъ что за дѣло. Вы могли продолжать службу.

— Я не находилъ надобности быть въ военной службѣ безъ войны.

— Отчего же?

— Не за чѣмъ..

— Не за чѣмъ.. Не за чѣмъ. Какъ? Почему?—Генералъ растерялся. Стало быть онъ самъ тридцать лѣтъ трудился совершенно напрасно... трудиться было не за чѣмъ. Да это вольнодумство, масонство.—Онъ не могъ сообразить ничего. Онъ думалъ сперва обидѣться, но вспомнилъ между тѣмъ, что подлѣ него сидитъ настоящій воинъ, кровью своей заслужившій прощенье и отличіе, а это въ глазахъ его имѣло такой вѣсъ, что онъ самъ, по чувству, признавалъ себя какъ будто подчиненнымъ.

Подали шампанское.

Федоръ Львовичъ пріосанился и сказалъ протяжно.

— За здоровье нашего мирового.—Тутъ онъ остановился и горячо воскликнулъ:

— Нѣтъ, какъ угодно, за ихъ здоровье я пить не стану. Извините меня, Викторъ Ивановичъ. Мнѣ жаль, мнѣ прискорбно, что вы посредникъ... Я пью за здоровье нашего сосѣда, нашего дворянина, нашего заслуженнаго георгіевскаго кавалера, который имѣлъ честь носить военный мундиръ, который имѣлъ счастье служить государю и отечеству, — не

такъ какъ я на ученьяхъ, — а кровью своей въ дѣлахъ съ непріателемъ. — Ваше здоровье, Викторъ Ивановичъ. — Чокнемтесь. — Чокнись и ты, Людмила.

Людмила поднесла рюмку свою къ рюмкѣ Палина. Онъ взглянулъ на нее и она замѣтила, что онъ остоленѣлъ, не могъ сказать ни одного слова.

— Ура! промывчалъ Никаноръ Авдѣевичъ, не пропускавшій мимо ни одной бутылки, подносимой Егоромъ Самсоновичемъ.

Людмигъ стало неловко. Палинъ глядѣлъ на нее пристально, какимъ то страннымъ взглядомъ наблюдателя и художника. Стало быть онъ былъ, прежде озабоченъ, что въ самомъ дѣлѣ ее не замѣтилъ. Стало быть онъ не притворился разсѣяннымъ и равнодушнымъ, не игралъ никакой роли. Но теперь какъ онъ ее началъ разсматривать, онъ любовался ею, какъ знатокъ любитъ картиной Рафаэля или греческой статуей. И дѣйствительно Людмила могла возбудить восторгъ человека одареннаго тонкимъ эстетическимъ вкусомъ. Черты ея не столько отличались правильностью, сколько миловидностью. Античная форма ея головки и шеи, привязъ затылка, округленность крошечныхъ ушей, овалъ лица, спускъ плечь, столь важный въ женской красотѣ, гибкость талии, соразмѣрность бюста и ногъ, всѣ эти условія прекраснаго придавали ей граціозность необыкновенную. Оттого каждое невольное ея движеніе казалось картиною. Густые и черные какъ смола волосы съ синеватымъ волнистымъ отливомъ были до необычайности мягки и несмотря на усилія гребня вились мелкими кудрями, прорывавшимися на нѣсколько открытый, дѣтскій лобъ и виски; изобличающіе сѣтъ голубенькихъ жилокъ. Большіе глаза, отуманенные длинными черными рѣсницами, казались оттого черными, но они были темно-голубые и замѣчательно выразительны, то задумывались и казались синимъ бархатомъ, то искрились блестками въ минуты гнѣва и веселости, то изображали безмятежное спокойствіе, напоминающее озеро въ безоблачный лѣтній день. Носикъ, нѣжно отточенный, былъ нѣсколько вздернутъ, ротъ

маленькій съ закругленнымъ подбородкомъ, верхняя губа нѣсколько приподнята отчего при малѣйшей улыбкѣ выказывался рядъ блестящихъ и рѣдко посаженныхъ зубовъ. Вообще верхняя часть лица изобличала характеръ пылкій, даже страстный, нижняя—безпечность, веселость, чистосердечность ребенка. Ребенкомъ и казалась она, по нѣжности кожи, по легкому румянцу.

Платье на ней было бѣлое кисейное съ большимъ голубымъ поясомъ. Ей стало вдругъ дасадно, что она не позаботилась болѣе о своемъ нарядѣ.—Она не понимала, что въ небрежности наряда и таилась особая прелесть.

Палинъ не сводилъ съ нея глазъ. Она чувствовала, что краснѣетъ, хотѣла что-то сказать, — не сумѣла. Генералъ ее выручилъ.

— А скажите, пожалуйста, обратился онъ снова къ посреднику.—Какъ далеко отсюда имѣніе князя Турагова?

— Верстъ сорокъ.

— Оно у васъ подъ командой?

— Оно подъ командой у закона, замѣтилъ улыбнувшись Палинъ.

— Да! ну это конечно. Но я хотѣлъ спросить: кто тамъ посредникомъ?

— Я.

— Хорошее имѣніе?

— Большое имѣніе.

— Да! Тураговъ богатый человекъ... то есть былъ богатый человекъ... Теперь богатыхъ помѣщиковъ нѣтъ, не въ упоръ будь вамъ сказано. Я съ нимъ познакомился въ 28-мъ году. Онъ былъ гвардіи поручикомъ, когда я вступилъ подпрапорщикомъ въ полкъ, которымъ послѣ имѣлъ честь командовать. Теперь онъ сенаторъ и чуть ли не получилъ Бѣлаго Орла.—Я вамъ расскажу забавный случай,—такъ сказать анекдотъ, который съ нимъ былъ.—Это было-съ въ 37, нѣтъ виновать въ 38-мъ нѣтъ точно..въ 37-мъ, еще большіе дожди шли. Стояли мы въ Красномъ селѣ. По ночамъ игра



въ азартъ завелась, я вамъ доложу, у насъ страшная. Ну, разумѣется, люди все молодые, время убить чѣмъ нибудь надо. Да и деньги водились. Не то что теперь.—Только представьте себѣ Тураговъ въ одинъ присѣсть пробухалъ 60.000. — Знаете, былъ немножко выпивши. А игралъ съ нимъ, штатскій какой-то, шулеръ естественный, съ брилліантами на всѣхъ пальцахъ. Нарочно къ ночи изъ города пріѣзжалъ банкъ метать. Я вижу, что дѣло нечисто и поднялъ скандалъ. Шулеръ на меня вломился въ амбицію, какъ вы смѣете, милостивый государь, говорить, что я мастеръ подтасовывать. — Извините, говорю я, — я не сказывалъ, что вы мастеръ подтасовывать, я сказалъ, что вы такъ скверно подтасовываете, что малый ребенокъ увидитъ, да и показалъ пиковую семерку что онъ на всякій случай припряталъ себѣ въ рукавъ. — Ха, ха, ха!.. Ну тутъ конечно расправа короткая. Запись къ чорту! Шулера въ окно! А вотъ съ того времени съ Тураговымъ мы и подружились. И теперь, повѣрите ли, какъ встрѣтимся, ужъ непременно вспомнить: а помнишь ли, какъ ты, братецъ, меня спасъ? Я моимъ состояніемъ, говоритъ, тебѣ обязанъ. Я этому мерзавцу все бы проигралъ. А вотъ теперь, по твоей милости, живу. — Да! хорошій онъ человекъ. У него и сынъ уже на службѣ.

— У нихъ ваше превосходительство хорошо обошлось, подхватилъ Никаноръ Авдѣевичъ, языкъ коего уже нѣсколько отяжелѣлъ. — Брестяне пошли на четверть надѣла. На-те вамъ, отвяжитесь только. Хорошо, когда это можно сдѣлать, самое лучшее дѣло... если долговъ нѣтъ. И тутъ бѣдному человеку притѣсненіе... Просто хотъ въ петлю... Да вотъ... про себя доложу, ваше превосходительство: пустошь у меня было гвоздиловская. Вздили мы прежде туда съ семействомъ чай пить. Давалъ я ее своимъ крестьянамъ въ пользованіе—такъ, по глупости. Она дѣдовская, къ имѣнію не принадлежитъ. Въ уставную грамоту, разумѣется, включать ее не слѣдовало.. хотъ на кого сошлюсь, сами разсудите... особнякъ, въ череполосѣхъ.—На глазахъ помѣщика показались слезы..

Дѣдовское благословеніе, женино приданое, что же вѣдь... отняли. — Грѣхъ вамъ, Викторъ Ивановичъ, конечно, мы люди маленькіе, обидѣть насъ легко. Да каково-то будетъ на томъ свѣтѣ.

Людмила взглянула на посредника. Онъ молчалъ, только въ чертахъ его показалось выраженіе спокойной и презрительной горделивости.

Людмила угадала, что онъ не хотѣлъ оправдываться, что онъ усталъ повторять одно и тоже людямъ, не желающимъ его понять. Что, наконецъ, онъ, неустрашимый въ борьбѣ съ непріятелемъ, отказывался отъ состязанія съ тупоуміемъ. Все это молніей промелькнуло въ ея головѣ.

— Папенъка, сказала она, я приказала подать фрукты и кофе на балконѣ.

Палинъ взглянулъ на нее съ благодарностью.

Стулья отодвинулись. Обѣдавшіе отправились подъ холщевой навѣсъ балкона. Выпивъ чашку кофе, Никаноръ Авдѣевичъ извинился передъ генераломъ, что сдѣлалъ привычку отдыхать послѣ обѣда. За тѣмъ, шепнувъ что-то на ухо Егору Самсоновичу, который въ отвѣтъ одобрительно кивнулъ ему головой, исчезъ съ нимъ по направленію къ флигелю, предназначенному для гостей. Генералъ послѣ обѣда не спалъ никогда, боясь удара.... Онъ курилъ трубку, но казался встревоженъ, оглядывался на всѣ стороны, крутилъ усы и вдругъ вскочилъ съ мѣста и вышелъ.

Посредникъ и Людмила остались вдвоемъ. Тутъ уже необходимо было начать разговоръ.

— Не хотите ли курить? спросила она.

— Благодарю васъ. Я не курю.

Людмила открыла синіе глаза свои во всю ихъ величину, и пытливымъ взоромъ ребенка долго и пристально смотрѣла на посредника.

— Вы не разсердитесь на меня, сказала она наконецъ.

— Я... Зачѣмъ?

— Мнѣ хочется у васъ что-то спросить.

— Спрашивайте.

— За чѣмъ вы не отвѣчали на глупость Никанора Авдѣевича?

Палинъ взглянулъ въ удивленіемъ на генеральскую дочь.

— Еслибъ я долженъ былъ отвѣчать на всѣ глупости, которыя слышу, мнѣ бы не оставалось времени для исполненія моей обязанности.

— А ваша какая обязанность.

— Развѣ вы не знаете... Я здѣшній посредникъ.

— Это я знаю... Названіе я знаю... Но вотъ что я хотѣла бы знать: что такое посредникъ?

— Посредникъ—какъ вамъ сказать... Это такой человѣкъ, на котораго мужики сердятся за помѣщиковъ, а помѣщики за мужиковъ.

— Да развѣ ихъ нельзя примирить?

— Не скоро... сказалъ грустно Палинъ. Мы по крайней мѣрѣ этого не увидимъ. Трудъ нашъ выше нашихъ силъ. Отъ насъ хотятъ, чтобъ мы все сдѣлали въ одинъ день, чтобъ и крестьяне поняли вдругъ то, чего и помѣщики еще не понимаютъ. Вотъ и Никаноръ Авдѣевичъ на меня сердится, и батюшка вашъ на меня сердится, какъ будто я что нибудь значу и могу. Я здѣсь ровно ничего, какъ только слуга, исполнитель закона.

— А законъ хорошъ?... спросила наивно Людмила.

— Да! воскликнулъ Палинъ. Законъ хорошъ. Законы рѣдко бываютъ дурны. Исполненіе плохо, люди нехороши. Но все равно... Мы должны радоваться. Молодость теперь большое счастье. Вы счастливѣе меня потому, что моложе, вы долго еще будете жить, потому что не знаете горя и трудностей. Вы много еще увидите, и доживете до того времени, когда Никаноры Авдѣевичи и всѣ ихъ упреки, всѣ ихъ оскорбленія, даже всѣ ихъ невымысленныя страданія и огорченія, будутъ невозможными.

Говоря такъ, Палинъ вдругъ остановился. Лицо его оживленное и похорошѣвшее отъ какого-то разгорающагося вдохновенія, мгновенно измѣнилось, стало блѣдно и сурово.

Людмила оглянулась и замѣтила, что госпожа Шмидтъ, выступивъ на шагъ отъ двери, смотрѣла на нихъ, насмѣшливо сжавъ губы и сохраняя свой величавый видъ. Только щеки ея противъ обыкновенія пылали.

— А вы и не спросили о моемъ здоровьѣ... обратилась она къ своей воспитанницѣ.—Батюшка вашъ внимательнѣе васъ.

Людмилѣ стало досадно, что съ ней обращаются, какъ съ дѣвочкой въ присутствіи посторонняго.

— Да вы здоровы, отвѣчала она рѣзко. Иначе вы не пришли бы сюда.

— Какъ вы сегодня нарядны! подхватила съ колкостью гувернантка.

Людмила вспыхнула. При ней явно намекали молодому человѣку, что она для него нарядилась. Будь она опытиѣе, она бы съумѣла злобно отшутиться, но какъ ребенокъ, она потеряла до того присутствіе духа, что не зная, что дѣлать, двумя прыжками порхнула въ садъ, гдѣ тотчасъ, не оглядываясь, скрылась за кустами цвѣтущей сирени.

— Что за несносный характеръ, медленно сказала г-жа Шмидтъ.—А впрочемъ женихи скоро явятся. Она единственная наследница. Найдеть себѣ мужа.

— А вашъ мужъ гдѣ? спросилъ холодно Палинъ.

Отвѣтомъ ему былъ сперва странный взглядъ, похожій на вызовъ. Въ этомъ взглядѣ можно было прочесть и нѣжность и ненависть, на выборъ.

— Вы знаете, промолвила она едва внятно, что я свободна. Мой мужъ въ Сибири.

— Викторъ Ивановичъ, раздался за ними голосъ генерала, не угодно ли вамъ посмотрѣть на планы имѣнія въ моемъ кабинетѣ?

— Къ вашимъ услугамъ.

Оба удалились.

Госпожа Шмидтъ, тихо опустилась на плетеный стулъ, оперла голову рукой и осталась неподвижна. Передъ ней раз-

стился прудъ голубымъ зеркаломъ. Далѣ торчали въ безпорядкѣ крыши сельскихъ избъ вокругъ церкви съ зеленымъ куполомъ; за ними чернѣли конопляники и сверкали желтыя нивы, вплоть до небосклона. На селѣ издали слышались пѣсни и слабо звенѣлъ колокольчикъ дальняго проѣзжаго. Въ воздухѣ отзывалось тихимъ дремотнымъ спокойствіемъ русской деревенской жизни. Не было лишь спокойствія въ душѣ гувернантки. Безвзорно глядѣла она въ даль, и мысли ея были далеко. Въ чертахъ ея высказывались тоскливость, досада, угроза, и долго, до самаго чая, сидѣла она такъ, не двигаясь, отдавшись вся своей тоскѣ—холодной, непримиримой, безслезной.

Графъ В. Соллогубъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ А. Н. МАЙКОВА.

I.

МЕНУЭТЬ.

Да-съ, я видѣлъ менуэтець—
О-го-го! Скажу вамъ... да-съ...
Къ государынѣ пакетецъ
Въ Петербургъ возилъ я разъ.

Ну дворець—само собою
Ужъ Арминины сады—
И гирляндю цвѣтною
Колыхаются ряды.

Только спросишь: «Въ этой парѣ
Кто? простите!» Назовутъ,
И стоишь ты какъ въ угарѣ!
Вмѣсто музыки-то тутъ

Взрывы слышишь, бой трескучій,
Пушки залпами палятъ,
И отъ брандеровъ подъ тучи
Флоты цѣлые летятъ!

Спросишь, напримѣръ: «Кто это?»
 «Графъ Орловъ».—Чесменскій?—«Онъ»
 «Ну а тамъ?»—Суворовъ!.. Свѣта
 Преставленье! чисто сонъ!

«А съ самой, позвольте, кто же?»
 Князь Таврическій... Горитъ
 Въ брилліантахъ весь... и—Боже!
 Что за поступь! что за видъ!

Скажешь: духи бурь и грома
 Потрясающіе міръ,
 Всѣ, въ урочный часъ, здѣсь, дома,
 Собираются на пиръ.

И вступая въ домъ къ царицѣ,
 Волшебствомъ какимъ-то тутъ,
 Вдругъ блестящей вереницей
 Кавалеры предстаютъ.

Передъ ней склоняютъ вѣны,
 И она лишь, какъ живой
 Образъ тагъ сказать Россіи,
 И видна надъ всей толпой...

II.

ВЪ СТЕПЯХЪ.

Мой взоръ теряется въ торжественномъ просторѣ...
 Сіяетъ ковыля серебряное море
 Въ дрожащихъ радугахъ, незримый хоръ пѣвцовъ
 И степь и небеса весельемъ наполняетъ.
 И только тѣнь порой отъ быстрыхъ облаковъ
 На этомъ праздникѣ какъ дума пробѣгаетъ.

1862.

III.

ВОПРОСЪ.

Мы всѣ хранители огня на алтарѣ
 Вверху стоящіе, что городъ на горѣ,
 Дабы всѣмъ видѣнь былъ! мы соль земли, мы свѣтъ!...
 Когда голодные толпы въ годнну бѣдъ
 Изъ темныхъ доловъ къ намъ о хлѣбѣ вопіютъ,
 Прокормимъ какъ нибудь мы этотъ темный людъ,
 Чтобъ не умереть ему, не голодать,
 Намъ есть пока, что дать!

Но еслибъ умеръ въ немъ живущій идеалъ
 И жгучимъ голодомъ духовнымъ онъ взалкалъ,
 И вдругъ о помощи возопіялъ бы къ намъ
 Своимъ старѣйшинамъ, пророкамъ и вождямъ,—
 Мы всѣ хранители огня на алтарѣ
 Вверху стоящіе, что городъ на горѣ,
 Дабы всѣмъ видѣнь былъ, и въ ту свѣтилъ бы тьму,—
 Чтобъ дали мы ему?...

IV.

У ПАМЯТНИКА КРЫЛОВА.

Вотъ дѣдушка Крыловъ... Всегда въ тотъ уголъ сада
 Къ нему толпа идетъ; всегда веселье тамъ
 И смѣхъ. Старикъ какъ будто радъ гостямъ.
 Съ улыбкой доброю, съ привѣтливостью взгляда,
 Со старческой неспѣшностью рѣчей,
 Онъ точно говоритъ съ своихъ высокихъ креселъ

Про нравы странные и глупости звѣрей,
И всѣ смѣются вокругъ, и самъ онъ тихо-весель...
Но что-то странное въ немъ есть. Толпа уйдетъ,
И, кажется старикъ впадетъ сей-часъ же въ думу;
Улыбка добрая съ лица его спорхнетъ

Вслѣдъ умолкающему шуму,
И лобъ наморщится, и скажетъ онъ, съ тоской,
Во слѣдъ намъ покачавъ маститой головой:

«Ахъ всѣ-то вы, какъ посмотрю я, дѣти!
Вотъ—побасенками старикъ потѣшилъ васъ;
Вы посмѣялися и прочь пошли, смѣясь,—
Того не вѣдая, какъ побасенки эти
Достались старику, и какъ неразъ пришлось
Ему, слагая ихъ, смѣяться, но—сезозъ слезъ,
Ужъ жало испытать ехидны ядовитой,
И когти всяческихъ, большихъ и малыхъ птицъ,

И язвинны на пальцахъ отъ лисицъ,
И на спинѣ своей ослиное копыто...
И то, что кажется вамъ въ басенкѣ моей
Лишь шуткой—отъ того во времена былыя,

Вся, можетъ, плакала Россія,
Да плачетъ, ~~можетъ~~ быть, еще и до сихъ дней!...»

А. Майковъ.

ОБЪ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЪ Г. ОСТРОВСКАГО:

„ДМИТРІЙ САМОЗВАНЕЦЪ И ВАСИЛІЙ ШУЙСКІЙ“.

(ИЗЪ ПРИГOTOВЛЯЕМАГО КЪ ПЕЧАТИ СОБРАНІЯ КРИТИЧЕСКИХЪ
ЭТЮДОВЪ О ЗАМѢЧАТЕЛЬНѢЙШИХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ НАШЕЙ ЛИ-
ТЕРАТУРЫ).

Судя по заглавію, можно бы подумать, что авторъ имѣлъ въ виду раздѣлить интересъ пьесы между двумя равносильными дѣйствующими личностями, противопоставивъ одну другой, чѣмъ онъ, разумѣется, нарушилъ бы одно изъ главныхъ условій художественнаго произведенія—единство его и цѣлость. Авторъ не сдѣлалъ этой ошибки. На самомъ дѣлѣ настоящій центръ и герой драмы есть Шуйскій. Самозванецъ, при всей своей важности, все-таки есть лицо второстепенное. По ходу дѣйствія, по цѣли, къ которой направлены всѣ его пружины и по той волѣ, которая ими движетъ, первенство принадлежитъ Шуйскому.

Шуйскій свергаетъ съ престола Лжедмитрія и тѣмъ пролагаетъ къ нему путь самому себѣ. И такъ на Шуйскомъ естественно сосредоточивается все вниманіе читателя или зрителя. Надобно, чтобы авторъ въ дѣйствительномъ историческомъ Шуйскомъ — въ его характерѣ, жизни и судьбѣ, понялъ и отличилъ драматическіе элементы—это главное. Исторія Шуйскаго извѣстна. Ловкій царедворецъ при Борисѣ Годуновѣ, внутренно, конечно, съ прочими древнихъ родовъ боярами, питавшій къ нему нерасположеніе, какъ къ узур-

патору, но, повидимому, готовый служить ему вѣрно и засвидѣтельствовавшій это исполненіемъ въ Угличѣ извѣстнаго порученія, согласно съ его видами, потомъ присягнувшій Лжедмитрію, не смотря на то, что онъ лучше всѣхъ зналъ, что это не истинный царевичъ, — Шуйскій склонился передъ могучимъ напоромъ событій, заботясь, повидимому, только о своей безопасности. Скрѣпя сердце, онъ, можетъ быть, вмѣстѣ съ другими вельможами, преклонился бы со всѣмъ передъ совершившимся фактомъ, и для избѣжанія общественныхъ смутъ, остался бы вѣренъ новому хищнику престола, если бы этотъ послѣдній велъ себя благоразумно. Но нравственная несостоятельность Лжедмитрія, не смотря на нѣкоторые его блестящіе качества, скорѣе изобличилась, и Шуйскій, достовѣрно знавшій истину смерти царевича Дмитрія, не могъ долѣе сносить обмана, не обѣщавшаго никакихъ благопріятныхъ послѣдствій ни для кого, кромѣ самого обманщика и его друзей и покровителей, поляковъ и іезуитовъ. Чувство національной чести и личной чести древняго княжескаго рода возмутилось въ немъ — Шуйскій открыто и смѣло сталъ противъ позора и скорби видѣть на тронѣ Мономаховомъ дерзкаго пройдоху. Легкомысліе, ложный расчетъ, или великодушіе спасли отъ плахи Шуйскаго, но не погасили въ немъ желанія свергнуть съ престола счастливаго искателя приключеній, а напротивъ, къ патріотическому побужденію и чувству оскорбленнаго родоваго достоинства присоединили жажду мести за осужденіе на казнь и за унижительное помилованіе. Теперь жребій Шуйскаго рѣшенъ — онъ долженъ погубить Лжедмитрія, или погибнуть самъ. Но что же потомъ, если удастся первое? Кто займетъ вакантное мѣсто на тронѣ? Весьма естественно, ему могло придти на мысль, что сѣвшему подобаешь пожать и плоды. Шуйскій, конечно, былъ честолюбивъ, и вотъ честолюбію его казалось сама судьба открывала широкое поприще. Примѣръ Годунова доказалъ, что при извѣстныхъ обстоятельствахъ и простой подданный можетъ достигнуть верховной власти. Но кромѣ

того за Шуйскаго были и знатность рода и не запятнанность преступленіемъ, потому что не могло же, въ глазахъ его, считаться преступленіемъ уничтоженіе похитителя, попиравшаго народное чувство и готовившаго государству страшную будущность, подъ вліяніемъ Польши и папства. Правда, Шуйскому, въ случаѣ успѣха, недоставало бы всенароднаго формальнаго избранія, но мудрымъ правленіемъ, такъ же какъ и освобожденіемъ отечества отъ чуждой неожиданной власти, онъ могъ надѣяться заслужить народную санкцію въ признаніи столь счастливо для народа совершившагося факта. Предъ нимъ конечно былъ печальный и поучительный опытъ Годунова, котораго не спасло ни избраніе отъ козней и предательства бояръ, считавшихъ себя и заслугами и правомъ крови ближе его къ трону. Но кого научаютъ чужіе опыты? Особенно честолюбецъ всегда готовъ слѣпо вѣрить въ свою звѣзду и думать, что онъ составляетъ исключеніе и что если его предшественники пали, то пали отъ своихъ ошибокъ, для избѣжанія коихъ у него всегда найдется довольно ума и искусства. Авторъ разбираемаго нами сочиненія не имѣлъ въ виду досказать судьбы Шуйскаго; онъ избралъ изъ его жизни и дѣятельности одинъ моментъ низверженія съ престола Лжедмитрія—на то была его воля.

Изъ сказаннаго видно, что историческій эпизодъ Шуйскаго дѣйствительно заключаетъ въ себѣ возможность драмы, и что слѣд. авторъ не ошибся, избравъ его сюжетомъ своего драматическаго произведенія. Тутъ есть и та чрезвычайность положенія и обстоятельствъ, которая вызываетъ человѣка на дѣла, требующія энергическаго напряженія нравственныхъ силъ, и силы эти поднимаетъ до обширныхъ видовъ; тутъ есть взволнованная, бурная среда, поражающая грозныя страсти, блестящіе успѣхи и великія бѣдствія. Словомъ, тутъ есть и нравственная мощь человѣка, искушаемая, но не подавляемая судьбою и вѣчный антагонизмъ между индивидуальностію человѣческою и общимъ непреложнымъ ходомъ вещей—одна изъ главныхъ стихій, дающихъ такой ве-

личавый и такой трагическій характеръ исторіи человѣчества. Эпоха самозванцевъ и междоусобицъ съ такими характеристическими личностями, каковы Годуновъ, Лжедмитрій, Шуйскій, съ движеніемъ народныхъ массъ и ихъ представителями и вождями, каковы: Скопинъ-Шуйскій, Ляпуновъ, Мининъ, Пожарскій, Гермогенъ, архимандритъ Діонисій, Палицынъ и проч. — эпоха русской жизни со всѣми ея тревоженіями и чисто національнымъ ея духомъ, безъ сомнѣнія, составляютъ самую знаменательную часть нашей исторіи, къ которой наша поэзія будетъ обращаться, какъ къ роднику богатыхъ драматическихъ концепцій.

Лжедмитрій, второстепенное лицо драмы, составляетъ и до сихъ поръ неразгаданную загадку для историка, психолога и поэта. Самое необъяснимое въ немъ, это родъ замѣчательной образованности, ставившей его выше среды, надъ которою онъ такъ странно былъ призванъ властвовать — это широта государственныхъ видовъ, доказывающая умъ, навѣвшій въ высшихъ идеяхъ правленія и власти. Способности даны ему были природою; но гдѣ онъ могъ приобрести качества, которыя даются только извѣстнымъ положеніемъ и благопріятными обстоятельствами? Въ Польшѣ, какъ думаютъ нѣкоторые и какъ думаетъ, кажется, самъ авторъ, гдѣ Дмитрій систематически былъ подготовляемъ враждебною Годунову партіей къ тому, чтобы занять его мѣсто. Но справедливо ли послѣднее? Автору драмы впрочемъ не было никакой надобности вдаваться въ соображенія о томъ, какъ все это могло сложиться. Ему нужны были характеры, явившіеся на исторической аренѣ уже съ готовыми элементами и задатками художественной драмы, вмѣстѣ съ постигшимъ ихъ концемъ, а они въ достаточной ясности обозначались исторіей. Въ драмѣ Дмитрій самъ, кажется, если не вѣритъ въ свои царственные права, то все-таки считаетъ себя не обманщикомъ, а какимъ-то избраннымъ существомъ, свыше призваннымъ къ роли, которую теперь долженъ выполнить.

Я,—говорить онъ,—себя не знаю,
Младенчества не помню. Царскимъ сыномъ
Я назвался не самъ.—Бояре,
Давно меня царевичемъ назвали,
И съ торжествомъ и злобнымъ смѣхомъ въ Польшу
На береженье отдали. Не самъ я
На Русь пошелъ; на смѣну Годунова
Давно меня зоветъ твоя столица,
Давно идетъ по всей Россіи шопотъ,
Что Дмитрій живъ. Опальное боярство
Изъ монастырскихъ келій посылало
Ко мнѣ въ Литву, окольными путями,
Своихъ покорныхъ, молчаливыхъ слугъ
На Годунова съ челобитьемъ. Въ Польшѣ
Король меня царевичемъ призналъ,
Благословилъ меня на царство папа,
Царевичемъ зовутъ меня бояре,
Царевичемъ зоветъ меня народъ.

Какъ сонъ припоминаю,
Что въ дѣтствѣ я былъ вспылчивъ, какъ огонь;
И здѣсь въ Москвѣ, въ большомъ дому боярскомъ,
Шептали мнѣ, что я въ отца родился,
И радостно во мнѣ играло сердце.
Такъ кто же я?.. Ну, если я не Дмитрій,
То сынъ любви, иль прихоти царицы...
Я чувствую, что не простая кровь
Течетъ во мнѣ; войнолюбивымъ духомъ
Кипитъ душа—побѣдъ, коронъ я жажду,
Мнѣ битвъ кровавыхъ нужно, нужно славы,
И цѣлый свѣтъ въ свидѣтели геройства
И подвиговъ моихъ. Отецъ мой Грозный,
Пусти меня! Счастливый самозванецъ
И царствъ твоихъ невольный похититель
Я не возьму тиранскихъ правъ твоихъ
Губить и мучить. Я себѣ оставляю
Одно святое право всѣхъ владыкъ —
Прощать и миловать. Я обещаю
Прославить Русь и вознести высоко,
И потому теперь сажусь я смѣло
На сей священный грозный маестатъ.

Авторъ съ большимъ психологическимъ тактомъ выставилъ рельефно эту черту совѣстливости въ характерѣ Самозванца. Пусть этотъ Дмитрій будетъ орудіе Польши, іезуитовъ и московскихъ бояръ, ненавидѣвшихъ Годунова; но безъ глубокаго сознанія, если не права своего, то назначенія самой судьбы, онъ не могъ бы дѣйствовать такъ, какъ онъ дѣйствовалъ, съ такою отвагою и самоувѣренностію, не могъ бы въ такой мѣрѣ проявить замѣчательныхъ способностей, которыми онъ обладалъ безспорно. Во всемъ этомъ нужна сила вѣры въ самого себя и свой жребій, нужна внутренняя опора, которую человѣкъ можетъ найти только въ своей совѣсти и убѣжденіи. Убѣжденіе это можетъ быть основано на ложныхъ началахъ и фактахъ, но оно нужно, чтобы окружить человѣка нравственнымъ обаяніемъ и дать ему господство надъ умами, хотя бы то на время. Но вообще характеръ Лжедмитрія совмѣщаетъ въ себѣ разныя противорѣчія, пеструю и яркую смѣсь дурнаго съ хорошимъ. Онъ вовсе не золъ; напротивъ, онъ готовъ дѣлать добро, миловать, прощать. Въ его правительственной программѣ преобладаютъ либеральныя начала, невѣдомыя тогдашней Россіи, и стремленіе къ реформамъ, что, между прочимъ, сильно повредило ему въ общественномъ мнѣніи.

Править—говорилъ онъ боярамъ—
 Вы знаете одно лишь средство—страхъ!
 Вездѣ, во всемъ вы дѣйствуете страхомъ:
 Вы женъ своихъ любить васъ приучили
 Побоями и страхомъ; ваши дѣти
 Отъ страха глазъ своихъ поднять на васъ не смѣютъ;
 Отъ страха пахарь пашетъ ваше поле;
 Идетъ отъ страха воинъ на войну;
 Ведетъ его подъ страхомъ воевода;
 Со страхомъ вашъ посолъ посольство править;
 Отъ страха вы молчите въ думѣ царской!
 Отцы мои и дѣды, государи,
 Въ Ордѣ татарской, за широкой Волгой,
 По ханскимъ ставкамъ страха набирались,

И страхомъ править у татаръ учились.
Другое средство лучше и надежнѣй—
Щедротами и милостью царить (стр. 42).

Когда Басмановъ изобличаетъ Шуйскаго въ измѣнѣ, Лже-
дмитрій говоритъ:

Не вѣрю я. Владычество тирапа
Пугливаго васъ приучило видѣть
Измѣнниковъ вездѣ.

Потомъ продолжаетъ:

Я никого не осужу одинъ,
И не пролью ни капли крови русской!
Надъ Шуйскимъ судъ назначить въ нашей думѣ
Изъ выборныхъ отъ всѣхъ чиновъ народа,
И дать ему всѣ средства оправдаться.

Но всѣ эти прекрасныя стремленія, вмѣстѣ съ доблестію
воина и мечтами героя, вмѣстѣ съ обширными замыслами
политическаго честолюбія, подрывались порывами его страст-
ной натуры, не могшей подчиниться тѣмъ разумнымъ поня-
тіямъ, какія рождались въ его собственномъ умѣ. Онъ не
только хотѣлъ имѣть власть, но и наслаждаться плодами ея.
Молодость соблазняла его приманками удовольствій, и онъ
не хотѣлъ въ нихъ отказывать себѣ, хотя эти удовольствія
находились въ прямомъ противорѣчій съ окружавшимъ его
порядкомъ вещей. И предполагаемый отецъ его, Грозный
Иванъ, любилъ удовольствія, и какъ ни были они грубы и
грязны, но они были свои, туземнаго происхожденія, и по-
тому народъ, привыкшій къ мысли, что властителю все поз-
волено, смотрѣлъ на нихъ сквозь пальцы. Удовольствія Са-
мозванца, именно потому, что они были болѣе утонченнаго
свойства, поражали всѣхъ своимъ несогласіемъ съ обще-
ственными обычаями. Отдавшись разъ силѣ своихъ страст-
ныхъ влеченій, подстрекаемый удобствомъ удовлетворять ихъ

безотчетно, онъ становился безразсуденъ, забывалъ совершенно правило, которое вѣроятно было не чуждо его правительственнымъ идеямъ, что недолжно становиться въ противорѣчіе съ вѣковыми обычаями, нравами и даже предразсудками подвластнаго ему народа, и дошелъ наконецъ до существеннаго и явнаго оскорбленія національнаго чувства. Онъ не хотѣлъ давать воли ни полякамъ, ни іезуитамъ, вовсе не сочувствуя ихъ политическимъ и религіознымъ замысламъ, а между тѣмъ прельщаемый образомъ жизни своихъ иноземныхъ сподвижниковъ и протекторовъ, дозволилъ имъ поступки, оскорбительные для русскихъ, какъ бы ихъ прямой соучастникъ и поощритель.

«Все новое» — говорить одно изъ дѣйствующихъ лицъ пьесы, калачникъ:

Палаты новы у царя; у нѣмцевъ
Кафтаны новы — бархатъ фіолетовъ;
У русскихъ вѣра новая—латинцы
Въ самомъ Кремлѣ поставили костель,
И цѣлый день гнусятъ свои обѣдни,
Своимъ душамъ на вѣчную погибель
И на соблазнъ крещеному народу.
Теперь обѣдать съ музыкой садятся,
Не молятся, ни рукъ не умываютъ.
Поляки бьютъ народъ, сѣкутъ и рубятъ
И встрѣчнаго и поперечныхъ; бродятъ
По улицамъ, по лавкамъ, по базарамъ,
Берутъ добро безъ денегъ и безъ спросу. (Стр. 78).

Такъ все болѣе и болѣе Лжедмитрій возбуждалъ недовѣріе къ своему царскому происхожденію въ народъ, который былъ убѣжденъ, что настоящій русскій царевичъ не дозволилъ бы себѣ такихъ рѣзкихъ отступленій отъ отеческихъ обычаевъ и преданій. Пріѣздъ Марины въ Москву переполнилъ мѣру народнаго терпѣнія и ускорилъ взрывъ всеобщаго негодованія. Эта честолюбивая, надменная иноземка хотѣла не только того, чтобы Россія чтила въ ней свою вѣчанную

царицу, но чтобы, вопреки своей вѣрѣ, достоинству и постоянной враждѣ къ ея отчизнѣ, чтала въ ней польку. Она хотѣла въ Россіи основать вторую Польшу, съ ея правами, формами и образомъ жизни, со всѣмъ ея бытомъ, относясь съ пренебреженіемъ ко всему, что должна была уважать въ новомъ отечествѣ за дарованное ей величіе, или казаться уважающею изъ благоразумія. Самозванца, страстно въ нее влюбленнаго, она окончательно совратила съ настоящаго пути и столкнула его въ бездну съ трона, на которомъ онъ, можетъ быть, и удержался бы, если бы его мудрость равнялась прихотямъ судьбы, вознесшимъ его такъ высоко. Но этой-то мудрости и не дается ея случайнымъ созданіемъ; катастрофа должна была совершиться—и она совершилась скорѣе и неожиданнѣе, чѣмъ могли полагать втайнѣ не вѣрившіе въ прочность новой власти.

Дѣйствіе, въ которомъ проявляютъ себя противопоставленные другъ другу лица, начинается въ домѣ Шуйскаго сценою народнаго движенія, возбужденнаго приближеніемъ къ Москвѣ Дмитрія. Къ боярину, какъ къ лицу, пользующемуся наибольшою передъ другими народною любовью и довѣріемъ, собрались граждане московскіе, съ заявленіемъ своихъ радостныхъ чувствованій о возстановленіи на царствѣ древней отрасли русскихъ царей. Идея этого общаго движенія выражается въ слѣдующихъ немногихъ словахъ одного изъ гражданъ:

Привелъ Господь! Царевичъ прирожденный
На дѣдовскихъ и отческихъ престолахъ
И на своихъ на всѣхъ великихъ царствахъ
Возсѣлъ опять и утвердился.

Другое лицо дополняетъ эту мысль, говоря:

Чудо
Великое свершилось. Божій промыслъ
Измѣнниковъ достойно покаралъ,

И сохранилъ лѣпорожденну отрасль
Отъ племени царей благочестивыхъ.

Но тутъ же въ народѣ проносится глухо молва, что ожидаемый царь не истинный царевичъ. Нѣкоторые намеками, другіе открыто выражаютъ другъ другу свои сомнѣнія и опасенія, и передаютъ зловѣщіе признаки чего-то необычайнаго, несовмѣстнаго съ общими ожиданіями и вѣрою. Является Шуйскій; въ толпѣ онъ ведетъ себя сдержанно и двусмысленно, не подтверждая подозрѣній и не противорѣча имъ. Но нѣкоторымъ изъ приближенныхъ своихъ онъ прямо объявляетъ о подложности Дмитрія. На вопросъ Осипова: не монахъ ли онъ? Шуйскій отвѣчаетъ:

Ну, нѣтъ, не чернецомъ онъ смотреть...
Ошиблись мы съ Борисомъ. Монастырской
Повадки въ немъ не видно. Рѣчи быстры
И дерзостны, и поступью проворенъ,
Войнолюбивъ и смѣлъ, очами зорокъ,
Орудуетъ доспѣхомъ чище ляховъ,
И на коня взлетаетъ, какъ татаринъ.

Потомъ рѣшительно говоритъ тому же Осипову:

Онъ воръ, не царь, и сходства очень мало
Съ покойникомъ; не царская осанка,
Вертлявъ, и говорливъ, и безбородъ,
Обличіе и поступь препростыя,
Не сановитъ, да и лѣтами старше!

Нѣсколькимъ купцамъ, добивавшимся удостовѣренія въ истинѣ, онъ объясняетъ также прямо, что этотъ Дмитрій не царевичъ, а Отрепьевъ.

И такъ Шуйскій въ самомъ началѣ драмы выступаетъ уже противъ Лжедмитрія и старается посѣять и распространить враждебное къ нему расположеніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ возбудить къ себѣ сочувствіе, какъ къ единственному изобличителю обмана и защитнику народной чести и законно-

сти. Тутъ же, въ прекрасномъ монологѣ, онъ раскрываетъ и свои виды на престолъ.

Русь — говорить онъ —
Скомороха на тронѣ царскомъ
Терпѣть не станетъ. Рано или поздно,
Бродяга, царь московскій самовольный
Поплатится удалой головой.
Потомъ... Потомъ — я царь!

Весь этотъ монологъ на стр. 22, 23 и 24 отличается блестящимъ литературнымъ достоинствомъ, какъ по вѣрности идей, такъ и по изяществу поэтического рисунка и изложенія. На одно только мѣсто мы можемъ указать, которое намъ кажется ошибочнымъ и въ психологическомъ смыслѣ и въ смыслѣ самой пьесы, именно, гдѣ Шуйскій, говоря о своихъ видахъ на престолъ, выражается такъ:

Умомъ, обманомъ, даже преступленьемъ
Добьюсь вѣнца.

Такое немножко грубое и слишкомъ хладнокровное сознаніе въ предосудительныхъ замыслахъ едва ли естественно въ человѣкѣ, недостигшемъ вершины зла, гдѣ уже вовсе не церемонятся ни съ совѣстію и ни съ какими нравственными началами. Да и къ чему Шуйскому рѣшаться на такія темныя крайности, или даже мечтать о нихъ, когда и безъ того онъ могъ достигнуть цѣли? Событія такъ сложились, что въ этихъ крайностяхъ не было никакой необходимости—обстоятельства сами открывали ему путь къ престолу. Отъ того и въ драмѣ онъ дѣйствуетъ открыто, самоувѣренно и прямо. Онъ мужественно идетъ на встрѣчу очевиднымъ опасностямъ, не боится пытки, плахи. Его сила не въ обманѣ и козняхъ, а въ законности самаго дѣла, въ избавленіи Россіи отъ тѣхъ бѣдствій, какими угрожаетъ ей торжество Лжедмитрія и друзей его поляковъ, и если онъ думаетъ о престолѣ, то съ его точки зрѣнія, не имѣлъ ли онъ права помышлять о немъ, какъ о

наградъ за свой подвигъ, когда прямыхъ и законныхъ наследниковъ не было? Конечно, это не есть героическое великодушіе, однакожъ и не есть вина, которая бы ставила его наравнѣ съ великими историческими злодѣями. О какомъ же преступленіи тутъ можетъ быть рѣчь, когда верховная власть, такъ сказать, сама впадала въ его руки? Въ самой драмѣ нѣтъ ни повода къ нему, ни факта въ этомъ родѣ. Авторъ этою чертою, можетъ быть, хотѣлъ означить, что и Шуйскій принадлежалъ къ тому разряду честолюбцевъ, которые для возвышенія своего не останавливаются ни передъ какою нравственною преградой; однако изъ хода въ драмѣ этого не видно, и не зачѣмъ было безъ нужды бросать тѣнь на характеръ, обставленный въ ней другими атрибутами, не имѣющими такого предосудительнаго значенія. Что Шуйскій честолюбивъ и что честолюбіе вообще не такая дорога, которая бы вела къ святости—это вѣрно; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы всякій по ней идущій непременно свирѣпствовалъ и злодѣйствовалъ, безъ очевидной надобности, опрокидывая всѣхъ и все ему встрѣчающееся.

Вторая сцена первой части заключаетъ въ себѣ торжественную встрѣчу Лжедмитрія въ Бремлѣ. Посреди оживленной группы русскихъ гражданъ, нѣмцевъ и поляковъ, привѣтствующихъ новаго царя, являются знатнѣйшіе бояре, члены царскаго сингглата—Мстиславскій, Буракинъ, Бѣльскій, Воротыпскій, Басмановъ. Видно, что у нихъ нѣтъ единодушнаго чувства, которое должно бы одушевлять всякаго въ достопамятный моментъ, когда является спасенный отъ Годуновскаго ножа законный наследникъ престола; всѣ они какъ то смущены, встревожены, носятъ въ себѣ какую то затаенную думу, или обращаются съ какимъ нибудь укоромъ другъ къ другу, напоминая этимъ общую боярскую рознь и вражду. Ихъ, по видимому, не очень заботитъ будущность, которая за этимъ днемъ ожидаетъ Россію. Одинъ Голицынъ выражаетъ мысли, достойные государственнаго и земскаго чловека, хотя съ аристократическимъ оттѣнкомъ:

Да, настало время—говорить онъ—
 Вздохнуть и намъ. Димитрій, Богомъ данный,
 Видалъ иные царства и уставы
 Иную жизнь боярства и царей;
 Оставить онъ тиранскіе порядки;
 Народу льготы, намъ, боярамъ, вольность
 Пожалуетъ; веругъ трона соберется
 Блистательный совѣтъ вельможъ свободныхъ,
 А не рабовъ трепещущихъ и льстивыхъ
 Иль бражниковъ опричины кровавой
 На всѣхъ концахъ Россіи провлятой.

Шуйскій холоденъ и сдержанъ; но по временамъ у него
 вырываются замѣчанія, исполненные ироніи. Лжедмитрій по-
 шелъ въ архангельскій соборъ поклониться праху почившихъ
 князей и царей русскихъ, а на площади гремѣла польская
 музыка. На восклицаніе Мстиславскаго: «веселый день!»
 Шуйскій отвѣчаетъ:

И царь у насъ веселый:
 Самъ молится, а музыка играй!
 Повеселить отцовъ и дѣдовъ хочетъ.
 Давно они въ тиши гробницъ смиренно
 Подъ пѣніе молебное, подъ дымомъ
 Кадильныхъ ароматовъ, почиваютъ,
 И музыки доселѣ не слыхали.

Драма подвигается впередъ—Басмановъ доноситъ Лже-
 дмитрію объ измѣнѣ Шуйскаго, чему сначала онъ не вѣ-
 ритъ; однако, по настоянію Басманова, назначаетъ надъ из-
 мѣнникомъ судъ въ Царской Думѣ. Въ сценѣ, гдѣ это про-
 исходитъ, Лжедмитрій, между прочимъ, предается размы-
 шленію о своемъ происхожденіи, судьбѣ и своемъ назначеніи.
 Изъ монолога объ этомъ мы привели уже нѣсколько стиховъ;
 но весь онъ заключаетъ въ себѣ превосходную характери-
 стику Лжедмитрія по исторической правдѣ и вѣрности пси-
 хологическаго анализа, а вмѣстѣ съ тѣмъ составляетъ бли-
 стательную поэтическую картину отличающуюся ясностію и

теплотою колорита. Мы просимъ читателей особенно обратить вниманіе на выраженіе чувствованій самозванца, когда онъ вступилъ въ царственные чертоги и на обращеніе его къ Іоанну Грозному. Это мѣсто чрезвычайно замѣчательно въ томъ смыслѣ, о какомъ мы сейчасъ сказали. Далѣе открывается судъ надъ Шуйскимъ, который признается въ томъ, что дѣйствительно возбуждалъ въ народѣ мысль о подложности явившагося Дмитрія, но въ защиту свою приводитъ причину, что онъ тѣмъ только исполнялъ волю покойнаго царя Бориса, повелѣвшему ему, еще въ началѣ появленія Дмитрія, объявить всенародно, что настоящій царевичъ погибъ, и слѣдовательно этотъ не настоящій царевичъ. На укоризну Басманова, что онъ не только тогда, но и теперь смущаетъ народъ, Шуйскій отвѣчалъ уклончиво, но безъ робости и малодушія. Дмитрій ведетъ себя съ достоинствомъ, спокойно, безъ гнѣва, самъ не хочетъ произнести приговора надъ обвиняемымъ, но повелѣваетъ это сдѣлать Думѣ по закону и совѣсти. Дума приговариваетъ Шуйскаго къ смерти. Дмитрій отмѣняетъ это рѣшеніе, приказывая вывести Шуйскаго на лобное мѣсто, положить голову его на плаху и объявить ему прощеніе. Въ послѣдовавшей за тѣмъ сценѣ Дмитрія съ Масальскимъ, есть мѣсто, которое намъ показалось совершенно и неумѣстнымъ и лишнимъ. Это декларація самозванца о любви его къ Есеніи, дочери Бориса и намѣренія добиться ея сочувствія. Онъ даже изъявляетъ желаніе по-рыцарски сразиться за нее съ какимъ нибудь соперникомъ, чтобы цѣною побѣды пріобрѣсти ея сердце. Хотѣлъ ли авторъ этимъ представить сколь возможно ощутительнѣе легкомысліе Лжедмитрія, которое быстро и неожиданно переходило отъ важныхъ государственныхъ заботъ къ веселой игрѣ въ юношескія чувствованія и потѣхи, для чего необходимо, разумѣется, требовалась женщина? Но въ такомъ случаѣ, эпизодъ, придуманный авторомъ, занимаетъ слишкомъ ничтожное мѣсто въ драмѣ; онъ видимо составляетъ что-то приставочное въ пьесѣ, не имѣющее ни начала, ни послѣдствій, что-то случайное какъ бы

слегка и нечаянно набѣжавшее. Для показанія легкомыслія Лжедмитрія, достаточно было и другихъ данныхъ, которыми авторъ и воспользовался. При томъ извѣстно, что Дмитрій неотличался доброю нравственностію и что его любовныя забавы носили на себѣ характеръ грубаго сластолюбія, котораго и сдѣлалась жертвою Ксенія. Облагородить это помощію рыцарскаго сентиментализма, какъ это сдѣлалъ авторъ, значило поступить явно противъ свидѣтельства исторіи. Да и естественна ли любовная выходка Дмитрія почти наканунѣ брака его съ Мариною, въ которую онъ влюбленъ, и при томъ передъ глазами поляковъ, ея родственниковъ и друзей?

Касательно легкомыслія Лжедмитрія очень хорошо выразился Басмановъ въ отвѣтъ своемъ Голицыну и Мстиславскому на замѣчаніе ихъ о томъ, что ему не удалось погубить Шуйскаго:

Обидно мнѣ не за себя, бояре!
Онъ добрый царь, но молодъ и довѣрчивъ;
Играетъ онъ короной Мономаха,
И головой своей и всѣми нами.

Послѣ сцены Дмитрія съ царицей Марьей, гдѣ она принимаетъ его за своего сына, онъ съ большею увѣренностію и, такъ сказать, безъ оглядки предается своимъ идеямъ и порокамъ, болѣе и болѣе забывая о благоразумной осторожности. Шуйскій между тѣмъ не дремлетъ. Ставъ, послѣ избавленія отъ плахи, при помощи своей ловкости и ума, близкимъ человѣкомъ къ Дмитрію, онъ все рѣшительнѣе и смѣлѣе подвигаетъ дѣло свое впередъ. Онъ пользуется всѣми его ошибками, которыя растутъ и накапливаются съ каждымъ днемъ, искусно возбуждаетъ въ народѣ, посредствомъ усердныхъ своихъ агентовъ, противъ него негодованіе и въ средѣ самыхъ бояръ, находитъ себѣ тайныхъ единомышленниковъ. Прибытіе Марины въ Москву, какъ мы видѣли уже, служитъ для Лжедмитрія новымъ искушеніемъ и усиливаетъ средства Шуйскаго. Уступая безразсуднымъ ея домогательствамъ, онъ

дѣлаетъ неслыханное въ Россіи дѣло — вѣнчаетъ женщину царскимъ вѣнцомъ, при этомъ расточаетъ безсчетно государственную казну на подарки ей и пиры, въ которыхъ все — и музыка, и пляска и одежда и яства чужія, противныя народу. Напрасно вѣрный Басмановъ предостерегаетъ его; тяжесть ошибокъ его и страстныхъ увлеченій, какъ неотразимая роковая сила гнутъ его неотразимо на ту сторону, гдѣ готовить ему бездну Шуйскій и оскорбленное національное чувство. И хотя онъ наконецъ послушался Басманова и велѣлъ арестовать Шуйскаго, однако это было уже поздно. Авторъ очень искусно схватываетъ главные характеристическіе симптомы въ этомъ бурномъ и хаотическомъ волненіи событій чрезвычайныхъ и страстей, направляя всѣ ихъ къ одной неизбежной катастрофѣ — гибели Лжедмитрія и торжеству Шуйскаго. Сцена, гдѣ происходитъ эта трагическая развязка начинается набатомъ. Дмитрій и Басмановъ думаютъ сначала, что это пожаръ.

Пожаръ теперь бѣда — говоритъ послѣдній —
Москва горѣтъ горазда;
Какъ пріймется и не уймешь покуда
Не выгоритъ поболѣ половины.

Но оба скоро удостовѣряются, что это призывъ къ общему возстанію. Начинается страшное смятеніе — народъ, предводительствуемый Шуйскимъ, врывается къ Кремлю и проникаетъ въ царскія палаты. Дмитрій однако не теряетъ присутствія духа и велитъ призвать къ защитѣ нѣмцевъ и поляковъ, желая умереть, если это необходимо, въ битвѣ съ мечомъ въ рукахъ. Басмановъ, вѣрный до конца тому, кому онъ присягнулъ, падаетъ пораженный Татищевымъ. Дмитрій скрылся и его повсюду ищутъ. Шуйскій ободряетъ народъ и распоряжается, какъ главное лицо и какъ мастеръ дѣла.

Проворите ребята! говоритъ онъ — не забывать зачѣмъ пришли! Пограбить успѣете. Ищите намъ разстригу, уйти нельзя. Тащите къ намъ живаго или мертваго! Обезоружьте

нѣмцевъ. Нетрогать ихъ, они впередъ годятся, спасайте бабъ! Возьми, Татищевъ, стражу, поставь при нихъ; царицыны покои оберегай! Не съ бабами воюемъ!

На одну минуту однако устѣхъ возстанія дѣлается сомнительнымъ такъ, что самъ Шуйскій смутился — стрѣльцы хотятъ стоять за Дмитрія, пока ихъ не увѣрятъ, что онъ не истинный царевичъ. Шуйскій успѣваетъ уничтожить всѣ ихъ сомнѣнія. Дмитрій найденъ обезоруженный и раненый; но онъ свердо стоитъ за свое мнимое право и осыпаетъ укоризнами Шуйскаго, требуетъ суда народнаго — Шуйскій отвѣчаетъ:

Намъ судиться поздно!

Ты осужденъ!.. кончайте съ нимъ, ребята!

А между тѣмъ обращается къ народу, толпящемуся у двора и говоритъ, указывая на Дмитрія:

Эй! винится!

Во всемъ, во всемъ разстрига повинился.

Валуевъ убиваетъ несчастнаго — Шуйскій восклицаетъ къ народу: «покончили!» Въ народѣ слышны клики:

Храни тебя Господь на многи лѣта!

Великій Князь и Государь Василій Ивановичъ.

Таковы въ главныхъ чертахъ содержаніе пьесы и ходъ ея дѣйствія и то и другое очень просто и всегда опираются на историческія данныя. Авторъ не задавался никакою отвлеченною мыслью; единственною цѣлію его было — извлечь изъ фактовъ нашей исторіи присущіе имъ драматическіе элементы и представить ихъ въ органически цѣлой художественной, соотвѣтственной имъ формѣ. Изъ этого однако не слѣдуетъ, чтобы у автора не было никакой направительной мысли. Въ характерѣ и дѣйствіяхъ Шуйскаго, какъ и въ судьбѣ Лжедмитрія, онъ повялъ и поставилъ на видъ историческій законъ,

что если неизбежный ходъ вещей вызываетъ на сцену міра извѣстныя событія, то свободѣ воли человѣческой предоставлено изъ самаго этого хода извлекать сущность и направлять событія по своему усмотрѣнію и видамъ, и что далѣе эти виды должны быть судимы и взвѣшиваемы по высшему нравственному принципу, каковы бы ни были успѣхи или неуспѣхи ихъ. Угрожаемая русская народность требовала защиты противъ тѣхъ, кто ей угрожалъ. Такъ или иначе это требованіе должно было выразиться и нуженъ былъ дѣйтель, который бы взялъ на себя великое народное дѣло и по своимъ способностямъ и характеру въ состояніи былъ бы совершить его. Надобно было уничтожить главную силу, слишкомъ рѣзко, слишкомъ несвоевременно и незаконно воздвигшуюся на измѣненіе народныхъ нравовъ и обычаевъ, которые могли быть измѣнены только или ходомъ самыхъ вещей, или реформою диктатуры, по диктатуры не чужой, а своенародной, облеченной всѣми полномочіями закона, и исторической необходимости, а не пришлою воли. Тутъ были самые противуестественные и враждебные народу распорядители — поляки и католики и подъ ихъ вліяніемъ Лжедмитрій, обманщикъ, да хотя бы и не обманщикъ, но лицо дѣйствовавшее совершенно вопреки національному чувству — онъ, этотъ непризванный, чужой, неразумный реформаторъ долженъ былъ пасть и Шуйскій создалъ его паденіе. Чтожъ ему предстояло сдѣлать послѣ того? Предоставить народной волѣ избрать царя, или тотчасъ воспользовавшись благопріятною минутою сдѣлаться самому царемъ. Тамъ было прекрасное, благородное, высоконравственное дѣло, здѣсь соблазнялъ успѣхъ обширнаго личнаго честолюбія, эгоизма. Собственная воля Шуйскаго въ этихъ противоположныхъ равносильныхъ понужденіяхъ вещей должна была рѣшить — какому теченію послѣдовать; ей предстояло выдержать испытаніе передъ судомъ великаго нравственного закона — Шуйскій не выдерживаетъ его, онъ долженъ быть и осужденъ этимъ судомъ за то, что въ совершенномъ имъ дѣлѣ онъ поставилъ на мѣсто общественной воли

свой эгоизмъ, свою личную волю, свое честолюбіе. Положимъ, что онъ былъ достойнѣе всѣхъ занять мѣсто, на которое покушался взойти, что онъ искренне и справедливо вѣрилъ въ возможность умиротворить Россію и дать ей блага, которыхъ никто другой тогда дать ей не могъ. Но нравственный законъ требовалъ, что бы не онъ самъ далъ себѣ это назначеніе, вмѣстѣ съ сопряженными съ нимъ правами, чтобы онъ дождался ихъ отъ тѣхъ, кто имѣлъ право судить о его достоинствахъ и справедливости его притязаній. Словомъ, по пресѣченіи царскаго рода, новаго царя должна была возвести на тронъ не партія, а Россія. Онъ не былъ, какъ замѣчено нами выше, преступникомъ, потому что не похищалъ ничьего права, какъ Годуновъ и Самозванецъ, но въ всякомъ случаѣ, онъ не честный, не добродѣтельный человѣкъ, потому что сдѣлалъ то, чего не слѣдуетъ дѣлать честному и добродѣтельному человѣку—свои личные интересы онъ поставилъ выше общественнаго долга. Его нельзя ни презирать, ни ненавидѣть; но и уважать его не за что. Словомъ онъ таковъ, какимъ представляетъ его намъ исторія.

Въ заключеніе драмы, авторъ поясняетъ ея общую мысль, влагая въ уста Голицына слѣдующіе стихи о Шуйскомъ:

Крамольникъ онъ отъ головы до пятокъ!
 Бояриномъ ему бы оставаться,
 Крамольнику не слѣдъ короноваться.
 Крамолой сѣлъ Борисъ, а Дмитрій силой;
 Обомъ тронъ Московскій былъ могилой.
 Для Шуйскаго примѣровъ не довольно:
 Онъ хочетъ сѣсть на царство самовольно.
 Не царствовать ему! На тронъ свободный
 Садится лишь избранныкъ всенародный.

Пьеса Г. Островскаго заключаетъ въ себѣ замѣчательныя художественныя красоты. Правда, зданіе драмы не отличается широкими и величественными размѣрами, которые бы поражали смѣлостію задачи и обиліемъ творческихъ комбинацій. Авторъ не возвышается до того всеобщаго, необы-

чайнаго момента нашей исторической жизни, гдѣ совершилось столь много трагическаго и важнаго для нашей будущности. Онъ держится въ скромныхъ границахъ одной личности Шуйскаго въ связи съ другою—личностію Лжедмитрія и ближайшихъ къ нимъ отношеній. Онъ также не отличается изобрѣтательностію положеній, свидѣтельствующею о силѣ поэтическаго творчества. Предназначивъ себѣ цѣль изъ избраннаго имъ историческаго мотива извлечь его драматическія стихи, онъ воспользовался ими не только съ полнымъ знаніемъ исторіи, но и съ искусствомъ опытнаго и даровитаго поэта. Дѣйствіе въ его пьесѣ развивается въ постепенно возрастающей занимательности само собою, безъ всякихъ искусственныхъ усилій со стороны поэта, безъ афектаціи; онъ предоставляетъ ему идти своимъ естественнымъ историческимъ путемъ, заботясь единственно о сосредоточеніи вниманія читателя или зрителя на главныхъ моментахъ и лицахъ и о томъ, чтобы эти моменты и лица являлись передъ нимъ въ движеніи и полно тѣ жизни. Въ пьесѣ нѣтъ выдуманыхъ произвольно и напрасно ни лицъ, ни событій и страстей—и вообще простота ея въ планѣ и исполненіи, отсутствіе всякаго усложненія, запутанности, умничанья, составляетъ одно изъ существенныхъ ея качествъ и достоинствъ. Что касается до характеровъ, то разумѣется всего болѣе обращаютъ на себя вниманіе по своей сосредоточенности, характеры Шуйскаго и Лжедмитрія, о которыхъ мы и должны были распространиться выше. Другіе характеры, съ меньшимъ значеніемъ для драмы, не нуждались въ такой полнотѣ и опредѣленности развитія, тѣмъ не менѣе многіе изъ нихъ, нѣсколько болѣе выдвигающіеся, отгѣнены чертами своеобразными. Таковы, выступающіе изъ безцвѣтной среды, бояре: Голицынъ, Татищевъ, Басмановъ. Послѣдній впрочемъ такое замѣчательное историческое лицо, что требовалось бы, по нашему мнѣнію тщательнѣйшей и болѣе серьезной оттушовки. Слѣдовало бы кажется хоть нѣсколькими чертами дать почувствовать зрителю или читателю, почему онъ такъ рев-

носно служить Дмитрію и охраняетъ его. Не могъ онъ не знать, что это за личность—и должны быть сильныя причины, заставляющія его держаться стороны самозваннаго царя. Басмановъ не дюжинный царедворецъ, который бы изъ одного мелкаго своекорыстія или боязни рѣшился стать подъ его знамена и оказать столько преданности дѣлу, ни въ законности котораго, ни въ прочности онъ не могъ быть увѣренъ. Надобно было имѣть въ виду, что Басмановъ былъ изъ людей новыхъ, что бояре древняго рода смотрѣли на него съ пренебреженіемъ и что онъ видѣлъ въ Дмитріи данныя, по которымъ послѣдній могъ сдѣлаться опорой земскихъ людей, а не быть только орудіемъ придворныхъ возней. Женщины, царица Марѳа и Марина Мнишекъ, являются съсвойственными имъ историческими чертами — одна слабою, изъ боязни, ради выгодъ житейскихъ жертвующею своими материнскими чувствами въ пользу Самозванца, пока онъ могучъ и отрекающеюся отъ него въ минуту неизбежнаго паденія; Марина властолюбивою, хитрою, жаждущею короны и царскаго величія. Всѣ другія лица, содѣйствующія ходу драмы, не смотря на кратковременность своего появленія, обозначены по возможности каждое индивидуальными чертами. Таковы представители народнаго движенія *калачникъ*, умный и бойкій подстрекатель народа противъ Лжедмитрія, *Коневъ*, движимый тѣмъ же чувствомъ, но простодушнѣе и сосредоточеннѣе перваго, подъячій съ обычнымъ своимъ офиціальнымъ подмигиваньемъ и придирчивостію и проч. Мы позволили себѣ только сдѣлать замѣчаніе противъ юродиваго Аеоппи. Юродивый сдѣлался общимъ мѣстомъ въ нашихъ историческихъ драмахъ. Безъ него не обходится почти ни одна. Оставляя въ сторонѣ религіозную сторону, эти русскіе. Діогены составляютъ типическое проявленіе нашей народности. Прикрывшись щитомъ религіи и дѣйствительно воодушевленные ею, они принимали на себя роль публицистовъ и обличителей общественныхъ и административныхъ пороковъ. Это были олицетворенные протесты различныхъ злоупотреб-

лений, единственные въ тѣ темныя времена, когда страхъ смыкалъ всѣмъ уста и когда письменныя изобличенія кромѣ тайныхъ доносовъ и подметныхъ писемъ, были невозможны. Одинъ Божій человѣкъ, убогій, отвергнутый міромъ и самъ его отвергнувшій, напускающій на себя безуміе, но въ высшей степени умный и тонкій, одинъ такой человѣкъ, подъ покровительствомъ ученія, что такимъ Богъ открываетъ свою волю, могъ въ мистической экзальтаціи притворной или истинной, являться смѣлымъ глашатаемъ противъ злоупотребленій власти всесильнаго произвола и порока. Для этого надобно было имѣть замѣчательную силу ума и воли. Поэтому мы нисколько не противъ употребленія этого элемента въ нашей исторической поэзіи. Но его уже кажется слишкомъ много употребляли и онъ опошлялся, сдѣлался, какъ выше мы замѣтили, общимъ мѣстомъ. Въ пьесѣ Островскаго онъ является не въ лучшемъ свѣтѣ—по обыкновенію, онъ говоритъ мистически, но безъ всякой надобности — дѣло слишкомъ ясно само по себѣ и не требуетъ никакихъ таинственныхъ, чрезвычайныхъ пружинъ и возбужденій. Отъ того его никто и не слушаетъ и онъ является только какъ бы по заведенному порядку, что нельзя же обойтись безъ юридиваго, когда дѣло идетъ о прошлыхъ и особенно смутныхъ временахъ.

О языкѣ драмы, мы не можемъ отозваться иначе, какъ съ полнымъ уваженіемъ. Это чистый русскій языкъ, употребленный и обработанный вполне художественно. Онъ живъ, отчетливъ, легокъ и благороденъ, не переставая быть языкомъ *соразмернымъ*, т. е. согласнымъ съ характеромъ мыслей и положеній лицъ и вещей. Тутъ нѣтъ ни изысканныхъ фразъ, ни пошлой преднамѣренной вульгарности, изъ которыхъ одними стараются нерѣдко придать важный тонъ выраженію безъ важности идей, а другою придать слогу народность, какъ будто поэтически и вѣрно понятая наша народность не есть въ высшей степени благородство.

Но одно изъ важнѣйшихъ правъ этого литературнаго произведенія на одобреніе критики состоитъ въ томъ, что, при-

надлежа по идеѣ и намѣренію къ разряду поэтическихъ, оно дѣйствительно заключаетъ въ себѣ много поэзіи. Ни историческая достовѣрность, ни искусно составленный планъ и удачное распредѣленіе частей и обрисовка характеровъ, ни правильный и чистый языкъ не въ состояніи были бы возбудить въ душѣ отрадныхъ и высокихъ эстетическихъ впечатлѣній, если бы произведеніе не проникнуто было теплою струею жизни и одушевленія, безъ которыхъ нѣтъ ни красоты, ни поэзіи, ни художественнаго значенія. Еще одно важное, художественное качество пьесы, это то, что историческій элементъ въ ней очищенъ отъ всего лишняго и несущественнаго, отъ чего поэтическая сторона его блеститъ тѣмъ ярче и свободнѣе. Недостатки въ пьесѣ г. Островскаго есть — и какъ имъ не быть, когда ихъ не чужды и произведенія Шекспира, Гете и подобныхъ имъ гигантовъ искусства? Мы и замѣтили нѣкоторые изъ нихъ. Но всякіе недостатки въ вещахъ человѣческихъ бываютъ двухъ родовъ — одни, которые губятъ самую цѣль и характеръ вещей и слѣдовательно трудъ, предпринятый для ней, дѣлается тщетнымъ; другіе мѣшаютъ достиженію абсолютнаго совершенства, въ которомъ, какъ извѣстно, отказано человѣку и всѣмъ его дѣйствіямъ. Одни наказываются общимъ невниманіемъ, или, пожалуй, чѣмъ нибудь худшимъ, такъ какъ отъ человѣка зависѣло избѣжать ихъ, не принимаясь за дѣло, для котораго онъ не обладаетъ надлежащими силами; другіе прощаются ихъ виновнику, изъ уваженія къ тому, что онъ успѣлъ сдѣлать лучшаго, несмотря на общее человѣческое несовершенство. Есть дурное, при которомъ очевидно невозможно ничто хорошее; но есть худое, до того превосоздаемое хорошимъ, что надобно уже быть крайне взыскательнымъ и несправедливымъ въ критикѣ, чтобы изъ-за него не видѣть и не признавать послѣдняго.

МАЛЕНЬКІЯ КАРТИНКИ.

(въ дорогѣ).

Я разумѣю дорогу паровую, чугулку и пароходы. Про дороги прежнія, про дороги «конемъ» — какъ выразился недавно одинъ мужичекъ, мы, жители столицъ, стали совсѣмъ забывать. А должно быть и на нихъ теперь можно встрѣтить много новаго противъ прежнихъ порядковъ. Я покрайней мѣрѣ слышалъ много любопытнаго отъ рассказчиковъ, и такъ какъ повсемѣстнымъ, будто бы, разбойникамъ я все-таки не вѣрю вполне, то и собираюсь чуть не каждое лѣто проѣхать куда нибудь поглубже, по прежнимъ дорогамъ, для собственнаго назиданія и поученія. А пока милости просимъ на чугулку.

Ну вотъ мы входимъ въ вагонъ. Русскіе люди классовъ интеллигентныхъ, являясь въ публику и сбиваясь въ массу, всегда становятся любопытны для поучающагося наблюдателя; но въ дорогѣ особенно. У насъ въ вагонахъ заговариваютъ другъ съ другомъ туго; особенно характерны въ этомъ отношеніи самыя первыя мгновенія пути. Всѣ какъ бы настроены другъ противъ друга, всѣмъ какъ-то не по себѣ; оглядываются съ самымъ недовѣрчивымъ любопытствомъ, смѣшаннымъ непременно съ враждебностью, стараясь въ

тоже время сдѣлать видъ что не только не замѣчаютъ одинъ другаго, но и не хотятъ замѣчать.

Въ интеллигентныхъ отдѣленіяхъ поѣзда первыя мгновенія размѣщеній и дорожныхъ ознакомленій, для очень многихъ—суть рѣшительно мгновенія страданія, невозможнаго нигдѣ, напримѣръ, за-границей, именно потому, что тамъ всякій знаетъ и тотчасъ же вездѣ самъ находитъ свое мѣсто. У насъ же, безъ кондуктора и, вообще, безъ руководителя трудно обойтись и найти себѣ свое мѣсто сразу, даже гдѣ бы то ни было, не только въ вагонахъ, а даже и въ вагонахъ съ билетомъ въ рукахъ. Я не про одни споры изъ-за мѣстъ говорю. Случится спросить о чемъ нибудь самомъ необходимомъ незнакомаго сосѣда, около котораго сѣли—и вопросъ задается въ самомъ трусливо-усласщенномъ тонѣ, точно вы рискнули на чрезвычайную опасность. Спрашиваемый разумѣется тотчасъ же испугается и посмотритъ съ необыкновенной нервной тревогой; и хотя и отвѣтитъ вдвое торопливѣе и усласщеніе вопрошающаго, тѣмъ не менѣе оба они, не смотря на взаимную усласщенность, довольно долго еще продолжаютъ чувствовать нѣкоторое преоригинальное опасеніе: «а не вышло бы какъ нибудь драки!» Предположеніе это хоть и не всегда сбывается, но въ первое мгновеніе, когда гдѣ бы то ни было собираются въ незнакомую толпу образованные русскіе люди,—это предположеніе хоть на мигъ, хоть въ видѣ безсознательнаго лишь ощущенія, а право должно проноситься, по всѣмъ этимъ собравшимся вмѣстѣ образованнымъ русскимъ сердцамъ.

— И это вовсе не потому,—яростно замѣтилъ мнѣ на это замѣчаніе одинъ пессимистъ изъ «болѣющихъ сердцемъ»,—это вовсе не потому, что они взаимно не довѣряютъ европеизму своего развитія, а непремѣнно и потому еще, что у насъ почти всякій согласенъ въ глубинахъ европейской души своей, что его пожалуй и стоитъ побить... нѣтъ, о нѣтъ, безконечно совралъ!—съ крикомъ поправилъ себя тотчасъ же мой пессимистъ, — никогда нашъ европеецъ не со-

знается, что его стоитъ прибить! Нѣтъ, это слишкомъ много чести ему приписать! Сознаніе, хотя бы лишь самое отдаленное, что тебя стоитъ высѣчь,—есть уже начало добродѣтели, а гдѣ у насъ добродѣтель? Лганье передъ самимъ собой у насъ еще глубже укоренено чѣмъ передъ другими. У насъ всякій можетъ почувствовать что его стоитъ высѣчь, но никогда не сознается, даже и себѣ самому, что его и впрямь надо бы хорошенько вспороть.

Привожу это мнѣніе пессимиста въ видѣ оригинальности, отчасти лишь любопытной; самъ же я не во всемъ съ нимъ согласенъ и наклоненъ къ мнѣнію гораздо болѣе примирительному.

Второй періодъ собравшагося въ дорогѣ русскаго образованнаго общества, т. е. періодъ завязывающихся разговоровъ, наступаетъ всегда почти очень скоро послѣ перваго, т. е. періода трусливыхъ высматриваній и подергиваній. Не умѣютъ заговорить лишь въ началѣ, а потомъ расходятся такъ, что иной разъ и не удержишь. Что дѣлать: крайности — наша черта. Виновата къ тому же и наша бездарность; кто что ни говори, а у насъ ужасно мало талантовъ, въ какомъ бы то ни было родѣ; напротивъ, ужасно много того, что называется «золотою серединою». Золотая середина — это нѣчто трусливое, безличное, а въ то же время чванное и даже задорное. Боятся заговорить, чтобы какънибудь себя не скомпрометировать, дичатся и совѣстятся: умные, потому что считаютъ всякій самостоятельный шагъ какъ бы ниже ума своего, а глупые изъ гордости. Но такъ какъ русскій человѣкъ, по природѣ своей, въ то же время и самый общительный и стадный человѣкъ на всемъ земномъ шарѣ, то и выходитъ, что въ эту первую четверть часа всѣ до того наконецъ изстрадаются, что наконецъ сами себѣ станутъ въ тягость и примутъ съ радостью когда ктонибудь первый рѣшится разбить стекло и завязать хоть чтонибудь въ родѣ

общаго разговора. На желѣзныхъ дорогахъ это разбитіе стекла происходитъ иногда довольно забавнымъ образомъ, но всегда почти нѣсколько иначе чѣмъ на пароходахъ (причину объясню ниже). Иногда, надъ всеобщей «срединой» и бездарностью, вдругъ и совсѣмъ неожиданно, возникаетъ геніальный талантъ и увлекаетъ примѣромъ своимъ съ разу всѣхъ до единого. Вдругъ объявляется такой господинъ, который, среди всеобщаго напряженнаго молчанія и конвульсивныхъ потугъ, громко и безъ всякаго приглашенія, безъ всякаго даже повода, мало того — безъ малѣйшаго даже присюсюкиванья, столь необходимаго по нашимъ понятіямъ каждому джентльмену, когда онъ вдругъ очутится среди незнакомаго общества; безъ малѣйшей этой подленькой скандировки въ выговорѣ самыхъ обыкновенныхъ словъ, столь укоренившейся въ нѣкоторыхъ нашихъ джентльменахъ тотчасъ же послѣ освобожденія крестьянъ, въ видѣ какъ-бы обиды по этому поводу; напротивъ, съ видомъ самаго прежняго, стариннаго джентльмена, начинаетъ рассказывать, всѣмъ вообще и никому въ особенности — ни болѣе ни менѣе, какъ свою собственную автобіографію, разумѣется къ совершенному и недовѣрчивому изумленію слушателей. Всѣ сначала даже теряются и вопросительно переглядываются другъ съ другомъ; ободряются лишь мыслію, что «вѣдь во всякомъ случаѣ это не они говорятъ, а онъ». Такой рассказъ, съ самыми интимными, а иногда даже и чудесными подробностями, можетъ продолжаться полчаса, часъ, сколько угодно.

Мало-по-малу всѣ начинаютъ ощущать на себѣ магическое вліяніе таланта, — ощущаютъ именно тѣмъ, что вовсе не находятъ себя обиженными, несмотря даже на все желаніе того. Всѣхъ, главное, поражаетъ то, что онъ никому не льститъ, ни въ чемъ ни у кого не заискиваетъ, въ слушатель рѣшительно не нуждается, подобно тому, какъ нуждается въ немъ какой нибудь обыкновенный, бездарный болтунъ; говорить же единственно потому, что не можетъ таить въ себѣ своего сокровища. «Хотите слушайте, хотите нѣтъ, мнѣ вѣдь

все равно; я вѣдь только чтобъ васъ осчастливить», — вотъ что, кажется, могъ бы онъ сказать; между тѣмъ и этого даже не говорить, потому что всѣ чувствуютъ себя совершенно свободными, тогда какъ въ самомъ началѣ (ну, нельзя же безъ этого), когда онъ только что началъ такъ неожиданно говорить, разумѣется каждый почувствовалъ себя, въ первыя мгновенія, какъ бы лично обиженнымъ. Мало-по-малу ободряются до того, что начинаютъ его останавливать, спрашивать, входить въ подробности, ну, разумѣется, со всѣми возможными предосторожностями. Джентльменъ, съ необычайнымъ вниманіемъ, хотя и безо всякой услуженности, тотчасъ же васъ выслушиваетъ и тотчасъ же вамъ отвѣчаетъ, — поправляетъ васъ, если вы ошибаетесь, и немедленно соглашается съ вами, если вы хоть чуть-чуть выходите правы. Но поправляя-ли, соглашаясь-ли онъ рѣшительно доставляетъ вамъ несомнѣнное удовольствіе; вы это чувствуете всѣмъ существомъ вашимъ, каждую минуту, и рѣшительно не понимаете, какъ это онъ умѣетъ хорошо такъ дѣлать. Вы, напримѣръ, ему только-что возразили; и хоть онъ, не далѣе какъ за минуту, говорилъ совершенно противоположное, но теперь выходитъ, что и онъ говорилъ именно тоже самое, что вы только-что изволили найти нужнымъ ему замѣтить, и совершенно съ вами согласенъ, такъ что и вы польщены и онъ сохранилъ свою полную независимость. Польщены же вы бываете иногда до того, послѣ иного удачнаго вашего возраженія, да еще при всѣхъ, что начинаете оглядываться на публику съ видомъ настоящаго именинника, несмотря даже на весь вашъ умъ, но таково ужъ обаяніе таланта. О, онъ все видѣлъ, все знаетъ, вездѣ былъ, вездѣ ходилъ, вездѣ сидѣлъ и только-что вчера всѣ съ нимъ простились. Онъ еще тридцать лѣтъ назадъ приходилъ къ извѣстному министру, въ прошлое царствованіе, а потомъ къ генералъ-губернатору Б—ву, жаловаться на его родственника, вотъ что отличился недавно своими мемуарами, и Б—въ тотчасъ же посадилъ его съ собой курить сигары. Та-

кихъ сигаръ онъ потомъ никогда не куривалъ. Конечно, ему лѣтъ пятьдесятъ на видъ, такъ что онъ можетъ помнить и Б—ва; но вчера еще онъ провожалъ извѣстнаго жида Ф., только-что бѣжавшаго за-границу, и тотъ, въ послѣднюю минуту разлуки, открылъ ему всѣ свои послѣднія тайны, такъ что только онъ одинъ во всей Россіи и знаетъ теперь всю подноготную всей этой исторіи. Пока дѣло шло о Б—вѣ всѣ еще были спокойны, тѣмъ болѣе что и разсказъ-то вышелъ изъ-за сигаръ; но при имени Ф. самые даже солиднѣйшіе изъ слушателей принимаютъ особенно заинтересованный видъ; даже наклоняются нѣсколько къ разсказчику и слушаютъ съ алчностью, и при этомъ безъ малѣйшей даже зависти въ томъ, что разсказчикъ въ дружбѣ съ такимъ высшимъ жидомъ, а они нѣтъ. Шаръ «Жюль-Фавръ» — одно надуванье и непременно лопнетъ; въ франко-прусскую войну леталъ совсѣмъ другой, а этотъ новый. Тутъ un mot de Jules-Favre о князѣ Бисмаркѣ, прошлаго года ему на ухо и подъ секретомъ въ Парижѣ — впрочемъ хотите вѣрьте, хотите нѣтъ; даже видно, что разсказчикъ особенно не настаиваетъ, но про проектъ новыхъ акцизныхъ законовъ онъ знаетъ все что третьяго-дня говорилось въ Государственномъ Совѣтѣ; даже лучше знаетъ чѣмъ знаютъ въ самомъ Государственномъ Совѣтѣ. Остроумнѣйшій анекдотъ, какъ съострилъ при томъ *** о кабатчикахъ. Всѣ улыбаются и заинтересованы очень потому что ужасно похоже на правду. Инженерный полковникъ сообщаетъ сосѣду вполголоса, что онъ давеча почти тоже самое слышалъ и что чуть-ли это не правда; кредитъ разсказчика мгновенно вырастаетъ. Съ Г—вымъ онъ ѣздитъ въ вагонахъ тысячу разъ, ты-ся-чу разъ, и тутъ вовсе не то; тутъ анекдотъ, котораго никто не знаетъ и Незнакомцу ровно ничего не будетъ, потому что замѣшано извѣстное лицо, и лицо хочетъ непременно всему положить предѣлъ. Лицо пристало и сказала, что не будетъ вмѣшиваться, но лишь до извѣстной черты, а такъ какъ оба перешли черту, то лицо конечно вмѣшается. Онъ самъ тутъ былъ и все это видѣлъ;

самъ въ станціонную книгу записывалъ въ качествѣ свидѣтеля. Примирять разумѣется. За то про охотничьихъ собакъ, и про извѣстныхъ собакъ, нашъ джентльменъ говорить такъ, какъ будто въ собакахъ-то и состояла главная задача всей его жизни. Разумѣется, подъ конецъ ясно для всѣхъ, какъ дважды два, что онъ никогда не ѣздилъ съ Г—вымъ, ровно ничего не записывалъ въ книгѣ, съ Б—вымъ не курилъ, собакъ не имѣлъ, очень далеко отъ Государственнаго Совѣта; тѣмъ не менѣе всякому, даже специалисту, понятно, что онъ все это знаетъ и даже довольно прилично знаетъ, такъ что очень и очень можно, не компрометируя себя, слушать. Но не въ извѣстіяхъ дѣло, а въ удовольствіи слушать ихъ. Замѣтенъ впрочемъ и пробѣлъ у всезнайки: мало и даже почти совсѣмъ неговорить о школьномъ вопросѣ, объ университетахъ, о классицизмѣ и реализмѣ, и даже объ литературѣ—точно эти темы совсѣмъ даже и не подозрѣваются имъ. Спрашиваешь себя, кто бы это могъ быть и рѣшительно не находишь отвѣта. Знаешь только что талантъ, но специальности его угадать не можешь. Предчувствуешь однако что это типъ, и, какъ и всякій рѣзко очерченный типъ, непременно имѣетъ свою специальность, и если ее не угадываешь, то именно потому что не знаешь типа и его до сихъ поръ не встрѣчалъ. Особенно сбиваетъ съ толку наружность: одѣтъ широко, и портной у него былъ очевидно хорошій; если лѣтомъ, то непременно по-лѣтнему, въ коломнянѣ, въ гетрахъ и въ лѣтней шляпѣ, но... все это на немъ нѣсколько какъ бы ветхо, такъ что если и былъ хорошій портной, то только *былъ*, а теперь уже можетъ и нѣтъ. Высокъ, худощавъ, очень даже; держитъ себя какъ-то не по лѣтамъ прямо; смотреть прямо передъ собой; видъ смѣлый и съ неотразимымъ достоинствомъ; ни малѣйшаго нахальства, напротивъ, благоволеніе во всемъ, но безъ сахара. Небольшая съ просѣдью бородака клиномъ, не то чтобъ совсѣмъ наполеоновская, но за то самого дворянскаго обрѣза. Вообще манеры безукоризненны, а къ манерамъ у насъ очень наджи.

Очень мало курить, даже можетъ и совсѣмъ нѣтъ. Поклажи никакой, — маленькій тощій сачекъ, въ родѣ ридикульчика, несомнѣнно заграничной когда-то выдѣлки, теперь же непозволительно истершійся, вотъ и все. Кончается тѣмъ, что такой джентльменъ вдругъ и совсѣмъ неожиданно исчезаетъ, и даже непремѣнно на какой нибудь самой незначительной станціи, на какомъ нибудь самомъ неважномъ поворотѣ куда-нибудь, куда никто и не ѣздитъ. По уходѣ его кто нибудь изъ наиболѣе слушавшихъ и поддакивавшихъ, вслухъ рѣшаетъ, что «все врало». Разумѣется, тутъ всегда окажутся двое такихъ, что всему повѣрили и заспорятъ; въ противоположность имъ непремѣнно окажутся двое такихъ, которые еще съ самаго начала были обижены и если молчали и не возражали «вралю», то единственно отъ негодованія. Теперь они съ жаромъ протестуютъ. Публика смѣется. Кто-нибудь, доселѣ очень скромно и солидно-молчавшій, съ видимымъ знаньемъ дѣла заявляетъ предположеніе, что это — «особый, стародворянскій типъ благороднаго приживальщика высшей руки, самъ помѣщикъ, но только маленькій, благородный лѣнтяй съ чрева матери, дѣйствительно съ хорошими знакомствами и всю жизнь витающій около высшихъ людей, — типъ чрезвычайно полезный въ обществѣ, особенно въ деревенской глуши, куда за-частую заглядываетъ и куда особенно любить ѣздить гостить». Съ неожиданнымъ мнѣніемъ всѣ какъ-то вдругъ соглашаются, споры прекращаются; но стекло разбито и разговоры завязаны. Даже и безъ разговоровъ всякій чувствуетъ себя какъ дома и всѣмъ вдругъ стало совершенно свободно. А между тѣмъ все благодаря таланту.

Впрочемъ, если только не брать въ расчетъ тагъ называемыхъ случайныхъ скандаловъ и иныхъ неминуемыхъ неожиданностей, довольно иногда непріятныхъ и, къ несчастію, все-таки слишкомъ частыхъ, то по дорогамъ нашимъ, въ результатѣ, все-таки можно проѣхать. Разумѣется, съ предосторожностями.

Я уже написалъ однажды и напечаталъ, что задача про-

ѣхать пріятно и весело по желѣзной нашей дорогѣ заключается, главное, «въ умѣніи давать врать другимъ и какъ можно болѣе этому вранью вѣрить; тогда и вамъ дадутъ тоже съ эффектомъ прилгнуть если и сами вы соблазнитесь; стало быть взаимная выгода». Здѣсь же подтверждаю, что и доселѣ придерживаюсь того же мнѣнія, и что высказано было оно мною нимаю не въ юмористическомъ, а напротивъ въ самомъ положительномъ смыслѣ. Что же собственно до вранья и особенно желѣзно-дорожнаго, то я уже заявилъ тогда же, что почти и не считаю его порокомъ, а напротивъ естественнымъ отправленіемъ нашего національнаго добродушія. Злыхъ лгуновъ у насъ почти нѣтъ, а напротивъ почти всѣ русскіе лгуны — люди добрые. Не говорю, впрочемъ, что хорошіе.

Тѣмъ не менѣе поражаетъ иногда, даже и въ дорогахъ, даже и въ вагонахъ, нѣкоторая вновь-зародившаяся жажда разговоровъ серьезныхъ, жажда учителей на всевозможныя соціальныя и общественныя темы. И являются учителя. Объ нихъ я тоже писалъ, но то особенно поражаетъ, что изъ желающихъ учиться и научиться всего болѣе женщинъ, дѣвицъ и дамъ, и совершенно не стриженныхъ, смѣю васъ въ томъ увѣрить. Скажите, гдѣ встрѣтите вы теперь дѣвицу или даму безъ книжки, въ дорогѣ или даже на улицѣ? Можетъ быть я преувеличилъ, но все-таки очень много пошли съ книжками, и не то, чтобъ съ романами, а все съ похвальными книжками, съ педагогическими, или съ естественно-научными; даже читаютъ Тацита въ переводѣ. Однимъ словомъ жажды и ревности очень много, самой благородной и свѣтлой, но... но все это еще какъ то нейдетъ. Ничего нѣтъ легче какъ напрымѣръ увѣрить такую ученицу почти въ чемъ вамъ угодно, особенно если кто складно умѣетъ поговорить. Женщина глубоко-религіозная вдругъ, въ вашихъ глазахъ соглашается съ выводами почти атеистическими и съ рекомендуемымъ при мнѣніемъ ихъ. А ужъ насчетъ педагоги напрымѣръ, такъ чего-чего имъ не внушаютъ и чему-чему онѣ не способны увѣровать! Содроганіе пройдетъ иногда при мысли, что она,

пріѣхавъ домой, тотчасъ и начнетъ примѣнять на дѣтяхъ и на супругѣ то, чему ее научили. Ободряешься лишь догадкой, что можетъ быть она вовсе и не поняла учителя, или поняла совершенно противоположно, и что дома спасетъ ее инстинктъ матери и супруги и здравый смыслъ, столь сильный въ русской женщинѣ, даже съ изначала русскихъ вѣковъ. Но смыслъ смысломъ, а все-таки пожелать надо и научнаго образованія, только твердаго и настоящаго, а не то, что изъ всякихъ книжекъ, да по вагонамъ. Тутъ самые похвальные шаги могутъ обратиться въ плачевные.

Хорошо на нашихъ дорогахъ и то, что, —опять таки если не считать разныхъ «случаевъ», —можно проѣхать почти что *incognito* все время пути, молча и ни съ кѣмъ даже не заговаривая, если ужъ очень говорить не желаешь. Теперь только развѣ одни священники прямо начинаютъ съ распросовъ: «кто вы, куда ѣдете, по какимъ дѣламъ и чего ожидаете». Но впрочемъ и этотъ благодушный типъ кажется не переводится. Напротивъ даже и въ этомъ родѣ бываютъ, съ недавняго времени, пренеожиданныя встрѣчи, такъ что глазамъ не вѣришь.

На пароходахъ, какъ я сказалъ уже, разговоры завязываются нѣсколько иначе чѣмъ въ вагонахъ. Причины естественныя, и во-первыхъ уже то, что публика *избраннѣе*. Я, конечно, говорю лишь про пароходную публику перваго класса, про публику *на кормѣ*. Про публику *носовую*, т. е. втораго разряда и говорить не стоитъ; да и не публика она, а просто пассажиры. Тамъ мелкотравчатые, тамъ узлы съ поклажей, давка и тѣснота, тамъ вдовы и сироты, тамъ матери кормятъ грудью дѣтей, тамъ общипанные старички получающіе пенсію, тамъ переѣзжающіе священники, цѣлыя артели рабочихъ, мужики съ своими бабами и краухами хлѣба въ мѣшкахъ, пароходная прислуга, кухня. Бормовая публика, вездѣ и всегда, совершенно игнорируетъ носовую и не имѣетъ

объ ней никакого понятія. Можетъ быть покажется страннымъ мнѣніе, что пароходная «первоклассная» публика всегда *избраннѣе* чѣмъ даже соотвѣтственнаго разряда въ вагонахъ. Въ сущности конечно это неправда, да и вся эта публика чуть лишь пріѣдетъ домой и сойдетъ съ парохода, немедленно, въ нѣдрахъ семействъ своихъ, понижаетъ свой тонъ даже до самаго натурального; но покамѣстъ семейство это на пароходѣ, оно поневолѣ подымаетъ свой тонъ до нестерпимо великосвѣтскаго, единственно, чтобъ казаться не хуже другихъ. Вся причина въ томъ, что больше пространства гдѣ помѣститься, и больше досугу, чтобъ поковеркаться, чѣмъ на желѣзной дорогѣ, то есть, какъ я сказалъ уже — причина естественная. Тутъ не такъ сбиты виѣстъ, публика не рискуетъ образоваться изъ себя *кучу*, не такъ быстро летятъ, не такъ подчинены необходимости, звонку, минутѣ, заснувшимъ или расплакавшимся дѣтямъ; тутъ вы не принуждены обнаруживать иные ваши инстинкты въ такомъ натуральномъ и уторопленномъ видѣ; напротивъ, тутъ все похоже на строгую гостиную; входя на палубу вы какъ будто званый и входите въ гости. Между тѣмъ вы все-таки связаны пятью-шестью часами совмѣстнаго пути, пожалуй цѣлымъ днемъ пути, и непременно знаете, что надо доѣхать вмѣстѣ и почти познакомиться. Дамы почти всегда лучше одѣты чѣмъ бываетъ это въ вагонахъ, дѣти ваши въ самыхъ очаровательныхъ лѣтнихъ костюмахъ если только вы хоть сколько нибудь себя уважаете. Разумѣется и тутъ иногда встрѣчаются дамы съ узлами и отцы семействъ, совсѣмъ какъ настоящіе отцы у себя дома, иные даже съ дѣтьми на рукахъ и съ надѣтыми орденами на всякій случай; но это лишь низкій типъ «взаправду путешествующихъ», принимающихъ дѣло плебейски серьезно. Въ нихъ нѣтъ высшей идеи, а одно только уторопленное чувство самосохраненія. Настоящая публика немедленно игнорируетъ этихъ жалкихъ людей, хотя бы они сидѣли подлѣ, да и сами они тотчасъ же начинаютъ понимать свое мѣсто, и

хоть крѣпко займутъ оплаченныя свои мѣста, но передъ общимъ тономъ совершенно и покорно стушевываются.

Однимъ словомъ, пространство и время измѣняютъ условія радикально. Тутъ даже и самый «талантъ» не могъ бы начать съ своей автобіографіи, а долженъ бы былъ поискать другаго пути. Можетъ даже и совсѣмъ бы не имѣлъ успѣха. Тутъ разговоръ почти не можетъ завязаться изъ одной только дорожной необходимости. Главное, тонъ разговоровъ долженъ быть совершенно другой, «салонный», а въ этомъ вся сущность. Само собою, если пассажиры незнакомы другъ съ другомъ предварительно, то стекло еще труднѣе разбивается чѣмъ въ вагонѣ. Общій разговоръ на пароходѣ чрезвычайная рѣдкость. Собственныя же страданія отъ собственного лганья и кривляній, особенно въ первыя мгновенія пути, даже значительнѣе чѣмъ въ вагонѣ. Если вы хоть чуть-чуть внимательный наблюдатель, то навѣрно будете поражены какъ можно нагнать въ какую нибудь четверть часа, сколько нагнутъ всѣ эти пышныя дамы и столь уважающіе себя ихъ супруги. Конечно все это встрѣчается всего чаще, и въ самомъ чистомъ видѣ, въ поѣздкахъ такъ сказать увеселительныхъ, каникулярныхъ, въ поѣздкахъ отъ двухъ до шести часовъ всего пути. Лгутъ же всѣмъ: манерами, красивыми позами; каждый какъ будто каждое мгновеніе заглядываетъ на себя въ зеркало. Пискливой скандировки фразъ, самой неестественной и противной, самаго невозможнаго произношенія словъ, съ какимъ никто бы не рѣшился произносить ихъ, еслибы только чуть-чуть уважалъ себя, — кажется еще больше чѣмъ бываетъ въ вагонахъ. Отцы и матери семействъ (т. е. пока не завязалось еще никакого общаго разговора на палубѣ) стараются говорить между собою неестественно громко, изъ всѣхъ силъ желая показать, что совсѣмъ какъ у себя дома, но тотчасъ же и постыдно не выдерживаютъ характера: заговариваютъ между собою о совершенныхъ пустякахъ, ужасно не идущихъ къ дѣлу, къ мѣсту и къ положенію, а иногда мужъ обращается къ женѣ, какъ не-

знакомый кавалеръ къ незнакомой ему дамѣ, гдѣ нибудь въ гостяхъ. Вдругъ быстро и безъ причины обрываютъ уже завязанный разговоръ, да и вообще говорятъ болѣе отрывками; нервно и безпокойно оглядываются на сосѣдей, слѣдятъ за взаимными отвѣтами съ недоувѣрчивостью и даже съ испугомъ, а иной разъ даже и совсѣмъ краснѣютъ одинъ за другаго. Если же случится имъ (т. е. заставить необходимость) заговорить другъ съ другомъ о чемъ нибудь прямо идущемъ къ дѣлу и къ положенію, и объ чемъ всякому мужу съ женой можетъ случиться нужда переговорить въ началѣ дорогъ, — объ чемъ нибудь хозяйственномъ, напримѣръ, или семейномъ, о дѣтяхъ, о томъ что у Мишеньки кашель, а здѣсь свѣжо, или у Сонички слишкомъ поднимаются юбочки, — то конфузятся и быстро начинаютъ шептаться, чтобъ по возможности никто ихъ не разслышалъ, хотя въ томъ, что они говорятъ ровно ничего нѣтъ неприличнаго или предосудительнаго, а напротивъ все достойно самаго полного уваженія, тѣмъ болѣе, что всѣ эти дѣти и хлопоты не у нихъ однихъ, а точно также есть и у всякаго, даже па этомъ самомъ пароходѣ. Но именно эта-то самая простѣйшая идея ни за что и не приходитъ имъ въ голову и даже имѣть ее кажется имъ ниже ихъ достоинства. Напротивъ, каждая семейная группа болѣе склонна, хотя и съ завистью, принять чуть не всякую другую семейную группу на этой палубѣ за нѣчто, во-первыхъ, хоть граду-сомъ высшее себя, во-вторыхъ за нѣчто изъ какого-то особаго міра, въ родѣ какъ изъ балета, но ужъ ни подъ какимъ видомъ за людей тоже могущихъ имѣть, подобно имъ — хозяйство, дѣтей, нянекъ, пустой кошелекъ, долгъ въ лавочкѣ и проч. Такая мысль была бы даже слишкомъ для нихъ оскорбительною; безотрадною даже; разрушала бы такъ сказать идеалы.

На пароходахъ, къ числу первыхъ начинающихъ вслухъ заговаривать, можно причислить, почти прежде всѣхъ, гувернантокъ, — разумѣется разговоры съ дѣтьми и на французскомъ языкѣ. Гувернантки въ обществѣ средней руки, боль-

шею частію всегда одного пошиба, т. е. всѣ молоденькія, всѣ недавно, изъ учебнаго заведенія, всѣ не совсѣмъ хороши собою, но и никогда не бываютъ вполне дурны; всѣ въ темныхъ платьицахъ, всѣ съ стянутыми тальями, всѣ стараются выказать ножку, всѣ съ гордою скромностью, но и съ самымъ непринужденнымъ видомъ, свидѣтельствующимъ о высокой невинности, всѣ до фанатизма преданы своимъ обязанностямъ, у каждой непременно съ собою англійская или французская книжка благовоспитаннаго содержанія, чаще всего какое нибудь путешествіе. Вотъ она беретъ на руки двухъ-лѣтнюю дѣвочку, а сама, не спуская глазъ, строго, но съ любовью, зоветъ заигравшуюся шести-лѣтнюю сестру ребенка (въ соломенной шляпѣ съ незабудками, въ бѣломъ коротенькомъ съ кружевцами платьицѣ и въ очаровательныхъ дѣтскихъ ботиночкахъ) своимъ гувернантски-французскимъ языкомъ: *Wega, venez-ici*, — непременно классическое *venez-ici*, и непременно съ сильнѣйшимъ удареніемъ на соединительномъ звукѣ *zi*. Мать семейства, полная и необычайно высшаго общества женщина (мужъ ея тутъ же — европейскаго хотя и помѣщичьяго вида господинъ, росту не малаго, болѣе плотенъ чѣмъ худошавъ, съ легкою просѣдью, съ бѣлокурою бородой, хоть и длинною, но несомнѣнно парижской модели, въ бѣлой пуховой шляпѣ, одѣтъ по лѣтнему, чина сомнительнаго) — мать семейства немедленно замѣчаетъ, что гувернантка взявъ на руки двухъ-лѣтнюю Нину, беретъ на себя лишній трудъ невыговоренный въ условіи, и чтобъ напомнить той, что она вовсе не такъ-то это цѣнитъ, необычайно ласковымъ голосомъ, исключаящимъ однако малѣйшую мечту въ подчиненной дѣвицѣ о правѣ на дальнѣйшую фамиллярность, замѣчаетъ, что ей съ Ниной должно быть «тя-же-ло» и что надо кликнуть няньку, при чемъ безпокойно и повелительно осматривается вокругъ, чтобъ отыскать улизнувшую няньку. Европейскій супругъ ея дѣлаетъ даже недоконченное движеніе въ томъ же смыслѣ, будто желая бѣжать отыскивать няньку, но одумывается и остается, и видимо доволенъ, что

все-таки одумался и не побѣжалъ за нянькой. Онъ, кажется, немножко на посылкахъ у своей высшей дамы-супруги, и въ то же время принимаетъ это къ сердцу. Гувернантка спѣшитъ успокоить на счетъ себя высшую даму, увѣряя вслухъ и на распѣвъ, что она «такъ любитъ Нину» (страстный поцалуй Нинѣ). Тутъ опять легкій окрикъ по-французски на Вѣру, съ тѣмъ же *zici*, но любовь такъ и сверкаетъ изъ глазъ этой преданной дѣвицы даже и къ виноватой Вѣрѣ. Вѣра наконецъ подбѣгаетъ подпрыгивая и фальшиво ластится (шести-семи лѣтній ребенокъ, еще въ чинѣ ангела, и тотъ уже жметъ и коверкается!). Мамзель немедленно начинается на ней опрашивать, безъ всякой впрочемъ необходимости, колеретку; затѣмъ и звала ее...

Пароходу этому всего шесть часовъ пути и поѣздка почти что увеселительная. Повторяю опять: безъ сомнѣннѣя два-три дня пути, гдѣ нибудь по Волгѣ, или изъ Кронштадта въ Остенде взяли бы свое: необходимость разогнала-бы гостиную, балетъ полинялъ-бы и растрепался и стыдливо припрятанные инстинкты выскочили бы наружу въ самый открытомъ видѣ, даже радуясь своему праву выскочить. Но три дня и шесть часовъ — разница и на нашемъ пароходѣ все осталось въ самомъ «чистомъ видѣ», съ начала и до конца. Вотъ мы понеслись, въ прелестный июньскій день, въ десятомъ часу утра, по тихому и широкому озеру. Носовая часть парохода клонится отъ «пассажировъ», но тамъ это лишь всякая всячина, о которой мы ровно ничего знать не хотимъ; у насъ-же, какъ я сказалъ, свой салонъ. Есть впрочемъ и у насъ изъ такихъ, что вездѣ собой задаютъ задачу, такъ что, по правдѣ, и не знаешь, что съ ними дѣлать, на примѣръ нѣмецъ-докторъ съ семействомъ, состоящимъ изъ его муттеръ и изъ трехъ германо-косоротыхъ дѣвицъ, на которыхъ трудно чтобъ кто нибудь изъ русскихъ жениховъ могъ полюбиться. Для всѣхъ этихъ лицъ нашъ

законъ не писанъ. Старики докторъ совершенно въ своей тарелкѣ; онъ уже надѣлъ свою дорожную клеенчатую нѣмецкую фуражку, весьма глупой формы, и сдѣлалъ это нарочно для независимости, то есть по крайней мѣрѣ это намъ такъ кажется. Но взаимнѣ этого недоумѣнія есть одна прехорошенькая дамочка и инженеръ - полковникъ, есть старушка-мать съ тремя нѣсколько перерѣлыми, но весьма шикаватыми дочками, средне-высшаго петербургскаго генеральскаго круга, дѣвцами должно быть зазорными и уже выдавшими виды. Есть два хлыща, одинъ художникъ, есть юнкеръ и есть кавалерійскій офицеръ изъ одного извѣстнаго гвардейскаго кавалерійскаго полка; но онъ держитъ себя въ какомъ то надменномъ уединеніи и молчитъ свысока, конечно считая себя не въ своемъ обществѣ и это всѣмъ у насъ очевидно нравится. Но всѣхъ болѣе обращаетъ на себя вниманія и занимаетъ собою мѣста очутившееся вмѣстѣ съ нами *начальство*. Это впрочемъ весьма добродушнаго вида превосходительство, въ фуражкѣ и въ полуформѣ. Всѣ сейчасъ же узнають, что это самый старшій чиновникъ и такъ сказать «хозяинъ губерніи»; утверждаютъ даже, что онъ теперь ѣдетъ что-то «обозрѣвать». Вѣроятно, что онъ просто провожаетъ свою супругу и семейство недалеко, на лѣтнюю ихъ резиденцію. Супруга его замѣчательно красивая дама, лѣтъ тридцати шести или семи, изъ знатной фамиліи С-хъ, (о чемъ отиѣнно хорошо знаютъ на пароходѣ), ѣдетъ со всѣми четырьмя дѣтьми (все дѣвочки, старшей лѣтъ десять), съ гувернанткой-швейцаркой, и, къ негодованію нѣкоторыхъ нашихъ дамъ, держитъ себя слишкомъ по-мѣщански, хотя и нестерпимо «поднимаетъ носъ». Одѣта по будничному, «и это теперь у нихъ въ модѣ, у ма-те-рей се-мей-ствъ», — протянула вполголоса одна изъ генеральскихъ дочекъ, съ завистью осматривая изящный фасонъ слишкомъ скромнаго платья супруги хозяина губерніи. Обращаетъ тоже отиѣнное и даже нѣсколько высшее на себя вниманіе одинъ высокій, худощавый, съ сильною просѣдью джентльменъ, лѣтъ уже

примѣрно пятидесяти-шести или семи, и независимо усѣвшійся почти на самомъ проходѣ на пароходномъ складномъ стульчикѣ, рѣшительно спиною къ публикѣ, и черезъ борть лѣниво и безпредметно смотрящій на воду. Всѣмъ извѣстно что это *такой-то*, камергеръ и щеголь въ прошлое царствованіе, и хоть не Богъ знаетъ какого значенія теперь, но за то самого высшего круга, баринъ, прожившій много въ своей жизни денегъ и что-то очень долго скитавшійся въ послѣднее время заграницей. Онъ одѣтъ даже нѣсколько и небрежно и вида самого партикулярнаго, но осанка самого безукоризненнаго русскаго милорда и даже почти безъ примѣси французскаго парикмахера, что уже одно составляетъ совершенную рѣдкость въ настоящемъ русскомъ англичанинѣ. У него на пароходѣ два лакея, а съ нимъ собака сеттеръ удивительной красоты. Она ходитъ по нашей палубѣ и желая познакомиться тычетъ носъ между колѣнками сидящей публики, видимо наблюдая очередь. И хоть это скучно, но никто этимъ не обижается, а нѣкоторые изъ насъ даже пробуютъ и погладить собаку, но непремѣнно съ видомъ знатоковъ, совершенно умѣющихъ оцѣнить достоинство дорогаго пса, и у которыхъ завтра же можетъ быть у каждаго точно такой же сеттеръ. Но сеттеръ ласки принимаетъ равнодушно, какъ настоящій аристократъ, и у колѣнъ остается не по долгу, и хоть и машетъ чуть-чуть хвостомъ, по лишъ изъ свѣтской вѣжливости, лѣниво и равнодушно. У милорда очевидно знакомыхъ здѣсь нѣтъ, но по обрюзглому и разваренному виду его совершенно ясно, что ему никого и не надо, и не изъ принципа какогонибудь, а просто потому что не надо. Въ административному значенію «хозяина области» онъ, на складномъ своемъ стульчикѣ, въ высшей степени равнодушенъ и равнодушіе это тоже въ высшей степени безпринципное. Но уже видно, что разговоръ между ними несомнѣнно готовъ завязаться. Администраторъ похаживаетъ около складнаго стульчика, и изъ всѣхъ силъ желаетъ заговорить. Онъ хоть и женатъ на урожденной С—й, по самъ со свойственнымъ ему примодушнѣмъ,

кажется признаетъ себя на довольно крупную степень пониже милорда,—разумѣется безовсякой потери достоинства; вотъ эту то послѣднюю задачу и предстоитъ теперь разрѣшить ему. Тутъ вертится одинъ господинъ «со второй ступеньки» и, по его старанью, хозяинъ и милордъ какъ-то успѣли уже случайно и безъ предварительнаго ознакомленія, перебраться двумя словами. Поводомъ послужило извѣстіе сообщенное господиномъ «со второй ступеньки» объ одномъ сосѣднемъ губернаторѣ, тоже извѣстномъ аристократѣ и который, за границей, спѣша на воды къ своему семейству, какъ то вдругъ сломалъ себѣ въ вагонѣ ногу. Нашъ генералъ пораженъ ужасно, и ему очень хотѣлось бы узнать подробности. Милордъ знаетъ подробности и довольно обязательно уже промямлилъ сквозь вставные свои зубы двѣ-три пары словъ, впрочемъ, не глядя на генерала и даже неизвѣстно кому говори,—ему или вѣстовщику «со второй ступеньки». Генералъ съ искреннимъ нетерпѣніемъ стоитъ надъ стуломъ, заложивъ за спину руки, и ждетъ. Но милордъ рѣшительно неблагонадеженъ и пожалуй вдругъ замолчитъ и забудетъ о чемъ говорилъ. Покрайней мѣрѣ у него видъ такой. Животрепещущій господинъ «со второй ступеньки» такъ и дрожитъ надъ нимъ, желая не дать ему замолчать. Онъ поставилъ себѣ священнѣйшимъ долгомъ свести обоихъ высшихъ джентльменовъ и познакомить ихъ между собою.

Замѣчательно, что такихъ господъ «со второй ступеньки» всегда довольно въ дорогѣ, особенно около «старшихъ» лицъ, и уже потому одному, что въ дорогѣ ихъ некуда отогнать. Но ихъ и не отгоняютъ, потому что они довольно полезны, разумѣется если сами находятся въ извѣстныхъ благопріятныхъ и подходящихъ условіяхъ. У нашего, напримѣръ, даже орденонъ на шеѣ и самъ онъ хоть и въ гражданской, но въ форменной какой-то одеждѣ и фуражка у него съ какими-то форменнымъ околышемъ—стало быть въ нѣкоторомъ отношеніи при-

личень. Такой господинъ такъ и начинается съ того, передъ старшимъ лицомъ, что всѣмъ своимъ существомъ выражаетъ собою, безъ словъ, одной фигурой, въ видѣ предупрежденія: «Вѣдь я со второй ступеньки; на равную ногу не бью ни за что и на первую ступеньку къ вамъ не покушусь. Обидѣться на меня вы никакъ не можете, ваше превосходительство, а развлечь васъ я могу даже со счастьемъ себѣ-съ, такъ что вы всегда можете отвѣтить мнѣ сверху внизъ на вторую ступеньку, а я свое мѣсто даже до гроба моего всегда знаю-съ.» Безъ сомнѣнія ясно, что эти господа бьются изъ выгоды, но «чистый типъ» подобныхъ господъ дѣйствуетъ даже и безъ расчета на выгоду, а изъ нѣкотораго чиновничьяго вдохновенія; вотъ въ такомъ то случаѣ онъ и полезенъ, тутъ-то онъ и искренно веселъ, тутъ-то онъ и простодушенъ до того, что въ немъ даже исчезаетъ лакей; а выгода его все-таки приходитъ сама собою, какъ фактъ и необходимое слѣдствіе.

Къ начинающемуся разговору «двухъ высшихъ лицъ» всѣ на палубѣ становятся вдругъ чрезвычайно внимательны; не то чтобъ они желали тоже примкнуть; это было бы даже слишкомъ, а хотъ поглядѣть и послушать. Иные уже бродятъ около, но болѣе всѣхъ страдаетъ европейскій мужъ «вышей дамы». Онъ чувствуетъ, что могъ-бы не только подойти, но даже и въ разговоръ ввязаться, и что даже имѣетъ на то нѣкоторое свое право: генералы генералами, а Европа Европой, какъ вѣдь тамъ хотите. И совсѣмъ, совсѣмъ бы онъ не хуже другихъ могъ поговорить о губернаторѣ, сломавшемъ за границую ногу! Онъ даже думаетъ, съ этою цѣлью, поласкать сеттера и съ этого какъ-нибудь и начать, но гордо отдергиваетъ уже протянувшуюся руку: и даже вдругъ ощущаетъ непреодолимое побужденіе задать сеттеру ногою пинка. Мало по малу онъ принимаетъ какъ-бы уединенный и обиженный видъ, на минутку отходить и

начинаетъ всматриваться въ блестящую даль озера. Супруга его, онъ видитъ это, смотритъ на него съ самой ехидной ироніей. Этого онъ не выдерживаетъ и возвращается опять къ «разговору», ходитъ и бродитъ около разговора, какъ душа въ чистилищѣ. И если безгрѣшная душа эта способна хоть что нибудь ненавидѣть, то ненавидитъ она въ эту минуту господина со «второй ступеньки», ненавидитъ изо всѣхъ силъ, и не будь только этого господина со второй ступеньки, ничего бы можетъ и не было изъ того что далѣе произошло!

— Те-ле-гра-фи-ровалъ сюда,—скандируетъ сухопарый милордъ, слѣдя за сеттеромъ и едва отвѣчая генералу,—и я въ первую минуту во-об-ра-зите себѣ, по-те-ря-лся...

— Вѣроятно вамъ родственникъ?—желалъ бы освѣδο-миться генералъ, но сдерживаетъ себя и ждетъ.

— И представьте, семейство въ Карлсбадѣ, а онъ те-ле-гра-фи-ровалъ, опять безсвязно шамкаетъ милордъ, наладивъ одно: «телеграфировалъ».

Его превосходительство продолжаетъ ждать, хотя въ лицѣ его изображается сильнѣйшее нетерпѣніе. Но милордъ вдругъ умолкаетъ совершенно и рѣшительно забываетъ о разговорѣ.

— Вѣдь у него кажется... главное его имѣнье... въ Тверской губерніи?—рѣшается наконецъ самъ спросить генералъ, съ нѣкоторымъ стыдомъ неуверенности.

— Оба, оба су-хо-щавые, и Яковъ и А-ри-стархъ... Оба брата. Братъ теперь въ Бес-са-ра-бін. Яковъ ногу сломалъ, а Аристархъ въ Бес-са-ра-бін.

Генералъ вздергиваетъ голову и находится въ чрезвычайномъ недоумѣніи.

— Су-хо-ща-вые, а имѣнье женинно, отъ Га-ру-ни-ныхъ. Она у-ро-ж-денная Га-ру-ни-на.

— А!—радуется генералъ. Онъ видимо доволенъ тѣмъ, что «она Гарунина». Онъ теперь понимаетъ.

— Добрѣйшій кажется человѣкъ, съ жаромъ воскли-

цаетъ онъ...—Я его зналъ... то есть я именно думалъ здѣсь познакомиться... благороднѣйшій человѣкъ!

— Добрѣйшій человѣкъ, ваше превосходительство, добрѣйшій! и знаете именно, какъ вы изволили сейчасъ опредѣлить: «добрѣйшій-съ!» горячо ввязывается развязный человѣчекъ со второй ступеньки и неподдѣльный восторгъ сіяетъ въ глазахъ его. Онъ осанисто озирается на пассажировъ, и чувствуетъ себя нравственно, выше всѣхъ насъ остальныхъ на палубѣ.

Этого уже совершенно не выдерживаетъ европейскій господинъ, скитающійся «около разговора». Увы, тутъ даже цѣлый фатумъ!

Въ томъ, главное, фатумъ, что супруга его, «высшая дама», когда то еще въ дѣвицахъ была чуть не подругой супруги «хозяина губерніи», урожденной С—й, и тогда еще тоже дѣвицы. «Высшая дама» — тоже чья-то «урожденная» и тоже причисляетъ себя къ существамъ нѣсколько высшаго типа, чѣмъ супругъ ея. Вступая давеча на пароходъ, она отлично знала, что хозяйка губерніи тоже поѣдетъ на пароходъ и рассчитывала съ ней «встрѣтиться». Но увы, онѣ не «встрѣтились» и даже съ перваго шагу, съ перваго взгляда обозначилось съ необычайною ясностію, что и не могутъ встрѣтиться! «И все это изъ за несноснаго этого человѣка!»

А «несносный этотъ человѣкъ» съ своей стороны слишкомъ хорошо знаетъ безсловныя мысли своей супруги и слишкомъ приучился ихъ узнавать въ семилѣтіе своего супружества. А между тѣмъ и онъ «въ Аркадіи рожденъ». У него здѣсь, въ этой же губерніи, въ старину было восемьсотъ даже душъ! На выкупныя они и проѣздили всѣ эти семь лѣтъ за границей и даже на дубовую рощу (триста десятинъ-съ!), проданную еще три года назадъ. И вотъ они теперь возвратились въ отечество, даже четыре уже мѣсяца какъ въ отечествѣ, и ѣдутъ теперь въ развалины своего

помѣстья, сами не зная за чѣмъ. Главное, высшая дама кажется и знать не хочетъ, что уже нѣтъ болѣе ни выкупныхъ, ни дубовой роши. Но всего болѣе она раздражена тѣмъ, что вотъ уже они четыре мѣсяца какъ воротились, а ей все ни съ кѣмъ не удастся «встрѣтиться». Случай съ генеральшей не первый. «И все изъ-за него, изъ-за этого ничтожнаго человѣчишка!»

— Что въ томъ, что у него европейская борода, за то ни значенія, ни чинишка, ни связей! Онъ ничего не сдумѣлъ самъ выдумать, даже жениться самъ не сдумѣлъ. И какъ могла я за него выйти. Я бородой прельстилась! Пусть онъ тамъ говоритъ, что бесѣдовалъ съ Милемъ и способствовалъ низверженію Тьера; вѣдь за это ему здѣсь ничего не дадутъ; да кому же и врать: еслибъ Тьера низвергалъ, я-бы видѣла...

Счастливыи мужъ великолѣпно, отлично знаетъ, что таковы именно мысли о немъ его «высшей дамы», и именно въ эту минуту. Она не высказала ему желанія «встрѣтиться» съ хозяйкой губерніи, но онъ знаетъ, что если не устроить ей этой встрѣчи, то это причтется ему уже на всю жизнь. Ктому же онъ самъ непремѣнно хочетъ, чтобы она первая созналась, что онъ не только съ Милемъ, но даже и съ отечественными генералами можетъ поговорить, что онъ тоже птица, и не простая какая нибудь, а настоящая птица каганъ. Увы, вотъ это-то добровольное признаніе супругою его совершенствъ и составляло, въ сущности, главнѣйшую задачу всей его столь манкированной жизни, и даже всю цѣль ея, съ самыхъ первыхъ часовъ супружества! Какъ это такъ устроилось, слишкомъ долго передавать, но это было такъ, и тутъ было все и ничего болѣе. И вотъ онъ вдругъ, нервно, потерянно, шагаетъ впередъ и становится прямо противъ милорда.

— Я... генералъ... я тоже былъ въ Карлсбадѣ,—лепечетъ онъ съ дубу генералу, и представьте, генералъ, тамъ при мнѣ тоже былъ случай съ ногой... Это вы про Аристарха

Яковлевича изволили говорить? ужасно быстро повертывается онъ вдругъ къ милорду, не выдержавъ генерала.

Генералъ вздергиваетъ голову и съ нѣкоторымъ удивленіемъ смотритъ на подбѣжавшаго господина, который говоритъ, а самъ весь трясется. Но милордъ не вскинулъ даже и головы, а между тѣмъ, о ужасъ, протягиваетъ руку и европейскій господинъ ясно чувствуетъ, что милордъ, упираясь рукой съ боку въ его ноги, съ силою отстраняетъ его съ мѣста. Онъ вздрагиваетъ, смотритъ внизъ и вдругъ замѣчаетъ причину: забѣжавъ и легкомысленно помѣстившись между скамейкой и стульчикомъ милорда, онъ и не замѣтилъ какъ задѣлъ, лежавшую на скамейкѣ трость его, которая уже скользнула и готова упасть со скамейки. Онъ быстро отскакиваетъ, трость падаетъ и милордъ съ ворчаньемъ нагибается поднять ее. Въ то же самое мгновеніе раздается ужасный визгъ: Это сеттеръ, которому отскочившій на два шага господинъ отдалъ лапу. Сеттеръ визжитъ нестерпимо, нелѣпно; милордъ всѣмъ корпусомъ поворачивается на стульчикѣ и яростно скандируетъ господину:

— Я васъ по-кор-нѣйше прошу оставить въ по-коѣ мою со-ба-ку....

— Это не я.... Это она сама.... бормочетъ собесѣдникъ Миля, желая провалиться сквозь палубу.

— Вы не повѣрите, вы не повѣрите, сколько я должна была выстрадать изъ-за этого без-дар-наго человѣка! слышится ему сзади яростный полусепотъ его супруги на ухо гувернанткѣ,—и даже не слышится, а только всѣмъ существомъ предчувствуется, а супруга можетъ быть и не шептала ничего гувернанткѣ...

Но вѣдь ужъ все равно! Онъ не только рѣшается провалиться сквозь палубу, но даже готовъ ступеваться куда нибудь на носъ, спрятаться у колеса. Такъ кажется и дѣлается. По крайней мѣрѣ въ остальную часть пути его что-то не видно у насъ на палубѣ.

Все кончается у насъ тѣмъ что администраторъ не выдерживаетъ, и познакоивъ милорда съ своей супругой, самъ отправляется въ каюту, гдѣ, стараньями капитана, уже изготовленъ карточный столъ. Всѣ знаютъ маленькую слабость администратора. Господинъ со второй ступеньки все уже устроилъ и добылъ позволительныхъ по обстоятельствамъ партнеровъ: приглашены—одинъ чиновникъ, состоящій при постройкѣ ближайшей желѣзной дороги, съ какимъ-то неестественной величины жалованьемъ, и уже нѣсколько знакомый его превосходительству, и инженеръ-полковникъ, хотя и не знакомый, но согласившійся составить партію. Этотъ держитъ себя угрюмо и туповато (отъ напыла собственнаго достоинства), но разыгрываетъ партію хорошо. Желѣзно-дорожный чиновникъ нѣсколько тривиаленъ, но умѣетъ сдерживаться; господинъ же со второй ступеньки, сѣвшій за четвертаго, ведетъ себя совершенно такъ, какъ ему надо вести себя. Генералъ испытываетъ большое удовольствіе.

А милордъ между тѣмъ знакомится съ генеральшей. О томъ, что она урожденная С—я, онъ со всѣмъ позабылъ и не догадывался. Теперь онъ вдругъ припомнилъ ее еще шестнадцатилѣтней дѣвочкой. Генеральша обращается съ нимъ нѣсколько свысока и какъ будто небрежно, но это все только видъ. Она вяжетъ какое-то вязанье и едва глядитъ на него; но милордъ становится чѣмъ дальше, тѣмъ милѣе; онъ одушевляется, правда шамкаетъ и брызгается, но такъ отлично рассказываетъ (разумѣется по-французски), припоминаетъ такіе прелестные анекдоты, такіа дѣйствительно-остроумныя вещи.. А сколько онъ знаетъ сплетенъ! Генеральша улыбается все чаще и чаще. Обаяніе прелестной женщины дѣйствуетъ на милорда до странности, онъ все ближе и ближе подвигается къ ней свой стульчикъ, онъ наконецъ совсѣмъ какъ-то раскисаетъ и какъ-то странно хихикаетъ... Этого уже окончательно не можетъ вынести несчастная «высшая дама». Съ ней дѣлается тикъ (*tic douloureux*), она переходитъ въ дамскую каюту, въ особое отдѣленіе, вмѣстѣ съ гувернанткой

и съ Ниной. Начинаются вкусныя примочки, раздаются стоны. Губернантка чувствуетъ, что «утро потеряно» и рѣшительно дуется. Она не хочетъ заговаривать, усадила Вѣру, а сама смотреть въ книжку, которую, впрочемъ, не читаетъ.

— Это съ ней однако же въ первый разъ во всѣ три мѣсяца,—мѣряетъ ее глазами страдающая дама.—Она бы должна говорить, должна! Меня развлекать должна, меня сожалѣть; она губернантка, она должна юлить, распинаться, это все, все черезъ этого человѣчишку!—и она съ ненавистью продолжаетъ коситься на дѣвицу. Заговорить же съ ней сама не хочетъ изъ гордости. Дѣвица между тѣмъ мечтаетъ про только что покинутый Петербургъ, про бакенбарды двоюроднаго брата, про офицера его пріятеля, про двухъ студентовъ. Мечтаетъ объ одной компаніи, гдѣ такъ много собирается студентовъ и студентокъ и куда ее уже приглашали.

«А чортъ бы драгъ! рѣшаетъ она окончательно: пробуду у этихъ езоповъ еще мѣсяць и если все также будетъ скучно, удеру въ Петербургъ. А жрать будетъ нечего, пойду въ акушерки. Наплевать!»

Пароходъ наконецъ подходитъ къ пристани и всѣ бросаются къ выходу, какъ изъ спертаго темничнаго воздуха. Какой жаркій день, какое ясное, прекрасное небо! Но мы на небо не смотримъ, некогда. Мы спѣшимъ, спѣшимъ; небо не уйдетъ.

Небо дѣло домашнее, небо дѣло не хитрое; а вотъ жизнь прожить, — такъ не поле перейти.

ПЛѢННИЦА

(ИЗЪ ВИКТОРА ГЮГО).

Вотъ плѣнница. Окружена
Толпой свирѣпою, она
Проклятій злобныхъ внемлетъ крикъ.
Уныль ея поблеклый ликъ,
Сверкающій потупленъ взглядъ,
Лохмотья, рубища хранятъ
Слѣды кровавой раны.

Въ чемъ
Ея вина? Никто о томъ
Не знаетъ и она сама
Всѣхъ меньше. Тамъ гдѣ дыма тьма
Ложилася, гдѣ вопль рѣзни
Не умолкалъ, ее они
Съ оружемъ взяли.

Голодъ злой
Несчастную въ кровавый бой
Быть можетъ бросилъ; можетъ быть
Она хотѣла раздѣлить
Судьбу того, кого любить
Велѣло сердце,—и пошла
За нимъ покорно въ бездну зла;
Быть можетъ, голосъ мщенья звалъ
Ее въ борьбу и ей шепталъ:
«Ты голодна, ты въ нищетѣ,
Нѣтъ крова у тебя; а тѣ,
Кому ты отдаешь свой трудъ,
Въ безчестной роскоши живутъ!»
И кинулась въ тоскѣ она,
Куда влекла ее волна
Гражданской смуты....

Будто звѣрь,
 Къ цѣпи прикована, теперь
 Она идетъ среди солдатъ.
 Ругательствъ и насмѣшекъ градъ
 Ее преслѣдуетъ. Съ тоской
 На грудь поникнувъ головой,
 Она молчитъ и лишь, порой,
 Какъ бы мгновенный, дикій страхъ
 Мелькаетъ у нея въ очахъ....

Заслышавъ шумъ, навстрѣчу къ ней
 Изъ зеленѣющихъ алей
 Выходятъ дамы. Красоты
 Онѣ исполнены. Цвѣты
 Уборовъ пышныхъ головныхъ
 И шолкъ и бархатъ платьевъ ихъ
 Сіяютъ ярко въ свѣтѣ дня;
 Иныя, нѣжный станъ склона,
 Идутъ съ любовниками въ рядъ
 Рука съ рукою, и блестятъ
 На пальцахъ ихъ изящныхъ рукъ
 Брильянты, золото....

И вдругъ,
 Завидѣвъ плѣнницу, толпой
 Онѣ бѣгутъ къ ней съ воплемъ злой,
 Безумной радости; ихъ взоръ
 Сверкаетъ мщеньемъ.... О, позоръ!
 Одни съ ругательствомъ плюютъ
 Въ ея лицо, другія рвутъ
 Ея рану зонтиками!...

Такъ
 Волчицу свора злыхъ собакъ
 Терзаетъ въ ярости.

Печаль
 Меня томить: мнѣ жертву жаль,
 И гнуснымъ палачамъ ее
 Я шлю проклятіе мое!

В. Вуренинъ.

Сцены изъ перваго дѣйствія драмы: **ПОСАДНИКЪ.**

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

Бояринъ Глѣбъ Мироничъ, степенный посадникъ Новгородскій.
Посадница, жена его.
Вѣра, дочь ихъ.
Василько, женихъ Вѣры.

Боярыня Мамелѣа Дмитровна, вдова прежняго посадника.
Подвойскій.
Три товарища Василька.

Дѣйствіе въ Великомъ Новгородѣ въ XIII столѣтіи.

Домъ посадника.

ПОСАДНИЦА и боярыня МАМЕЛѢА ДМИТРОВНА.

БОЯРЫНЯ.

Что-жь это значить, матушка? Чай вѣче
Ужъ отошло, а Глѣба твоего
Миронича доселѣ нѣту? Полно
Ужъ вѣдомо-ль ему, что у тебя
Сижу я?

ПОСАДНИЦА.

Какъ-же, матушка Мамелѣа
Дмитровна! Передъ его уходомъ
Твой посланный намъ повѣстилъ, что ты
Пожаловать изволишь.

БОЯРЫНЯ.

Дивно мнѣ,

Что онъ не поторопится; чай знаетъ —
О вѣчевомъ услышать приговорѣ
И мы хотимъ! Ну, а невѣста гдѣ-жь?

ПОСАДНИЦА.

Вишь, у ея кормилицы вчера
Убили мужа; утѣшать вдову
Она пошла, сударыня.

БОЯРЫНЯ.

Да; много
Теперь есть въ Новѣгородѣ вдовъ,
Да и сиротъ не мало. И затѣмъ-то
Совѣтовалъ Гома Григорычъ миръ
Намъ учинить. Онъ дѣло говорилъ.
Его-же вздумали смѣнять. Пустое
Затѣяли!

ПОСАДНИЦА.

Да говорятъ онъ городъ
Сбирался сдать?

БОЯРЫНЯ.

Кто это говорить?
Не вѣрь тому! На всей новгородской
На волѣ онъ хотѣлъ мириться съ княземъ!
Отъ самого слыхала.

ПОСАДНИЦА.

Статься можетъ.

Его-то, чай, ты лучше знаешь.

БОЯРЫНЯ.

Знаю,
Сударыня: благочестивъ и вѣжливъ;
Почтителенъ и скромненъ; вхожъ ко мнѣ
Не первый годъ; а я вѣдь не со всякимъ
Вожу хлѣбъ-соль.

ПОСАДНИЦА.

Кто-жъ этого не знаетъ!
Кого къ себѣ примаешь ты, того
Весь городъ чтить.

БОЯРЫНЯ.

Да, матушка; на деньги
 Да на породу не смотрю. Кто прамъ,
 Бойся Бога да живеть по правдѣ,
 Хоть черныи будь онъ — милости прошу!
 Кто-жъ въ чемъ не чистъ, такъ будь онъ хоть

самъ князь —

Не прогнѣвись, ворота на запорѣ!
 Боярину намени Аввакуму
 Дверь указала.

ПОСАДНИЦА.

Право? А за что?

БОЯРЫНЯ.

Провѣдалъ, вишь, что корабли разбило
 Путятины, да съ долговымъ листомъ
 Присталъ къ нему; притиснулъ такъ Путяту,
 Что тотъ ему за полъ-цѣны товары
 Свои отдалъ; а Аввакумъ возьми ихъ,
 Перепродай, да ссуду ровно вдвое
 И выручи!

ПОСАДНИЦА.

Ахъ, стыдъ какой!

БОЯРЫНЯ.

И послѣ

Безсовѣстнаго дѣла своего,
 Онъ, скаредный, еще не побоялся
 Ко мнѣ прійти; да я ему при всѣхъ:
 Пей, батюшка, свою сегодня чару,
 И помни веусъ — впередъ не поднесутъ!

ПОСАДНИЦА.

Что-жъ? И ушелъ?

БОЯРЫНЯ.

Небось, не засидѣлся.

ПОСАДНИЦА.

Жена-то бѣдная!

БОЯРЫНЯ.

Та ни при чемъ;

Я въ тотъ-же день сказать велѣла ей:
По прежнему ко мнѣ пускай-де ходить,
Ей рада-де!

ПОСАДНИЦА.

Да какъ-же ей теперь-то
Ходить къ тебѣ?

БОЯРЫНЯ.

А держится за мужа,
Ино вольна и не ходить. Одно
Могу сказать: Варуху моему
Буслаичу покойному жена
Покорная и добрая была я;
Но еслибъ онъ, Господь меня прости,
Что студное-бы учинилъ, я съ нимъ-бы
Не стала жить, пошла-бы въ монастырь!

ПОСАДНИЦА.

Такъ, матушка; но вѣдь сама-же ты
Пускать въ себѣ, кажися, перестала
Какъ-бишь ее?... Что съ мужемъ-то не ходить?

БОЯРЫНЯ.

Якуниху? Я выгнала ее
За то, что стыдъ и обыкъ позабыла:
Пока Якунъ въ Новѣгородѣ былъ,
Они ни разу съ Чернымъ не видались,
А только лишь уѣхалъ мужъ въ Торжокъ,
Что день, то къ ней таскаться началъ Черный!
По моему жена по разумѣнью

Должна предъ мужемъ голову держать
Поклонную: хранить не только вѣрность,
Но такъ вести себя, чтобъ про нее
Никто не смѣлъ худаго и подумать.
Но если мужъ безчестный—брось его,
Вернись къ роднымъ, не то—вселися въ пустынь,
Иль постригись!

ПОСАДНИЦА.

Такъ, матушка, вѣстимо....

БОЯРЫНЯ.

И матерямъ твержу, для дочерей
Чтобъ жениховъ богатыхъ не искали;
Напредъ всего, чтобъ зять боялся Бога!
И правду блюлъ!

ПОСАДНИЦА.

Вѣстимо....

БОЯРЫНЯ.

А не то,
Пусть лучше въ дѣвкахъ дочери сидятъ!

ПОСАДНИЦА.

Вѣстимо такъ; да гдѣ-жъ найти такаго,
Чтобъ не было на немъ укору?

БОЯРЫНЯ.

Значить,

Есть и на вашемъ?

ПОСАДНИЦА.

Грѣхъ его винить,
А помирнѣй конечно-бы хотѣлось
Для нашей Вѣры.

БОЯРЫНЯ.

Значить, сорванецъ?
Зачѣмъ-же ты дала согласье?

ПОСАДНИЦА.

Я-то?

И, матушка! Да мнѣ ль со Глѣбомъ спорить
 Съ Мироничемъ? Согласья моего
 Не спросить онъ. Къ тому-жъ и полюбились
 Другъ-другу молодые....

БОЯРЫНЯ.

Не причина!

Опричь тебя тутъ некому рѣшать;
 Колю матери не по-сердцу женихъ,
 Такъ прочь его! Тебѣ, чай, лучше вѣдать
 Что дочери пригодно. Не хочу —
 И кончено!

ПОСАДНИЦА.

Да не-за-что его
 Корить-то, матушка.

БОЯРЫНЯ.

Благочестивъ?

ПОСАДНИЦА.

Благочестивъ, сударыня.

БОЯРЫНЯ.

И вѣжливъ?

Почтителенъ, какъ слѣдуетъ, къ тебѣ?

ПОСАДНИЦА.

Ужъ какъ-же зятю къ тещѣ нарѣченной
 Почтительну не быть!

БОЯРЫНЯ.

Одно мнѣ въ немъ

Не нравится: въ повольникахъ бывалъ.

посадница.

Что-жь дѣлать, матушка! Мужъ говорить:
Не удержать боярамъ молодежи;
Коль нѣтъ войны, гдѣ-жь удалъ показать?

боярыня.

Да удалъ-то безбожная. На Волгу
Твой, что-ль, ходилъ?

посадница.

На Чудскую, кажись,
Ходилъ на Емь, аль на Студено море.

боярыня.

А то походъ затѣяли на Волгу
Повольники при мужѣ. Въ Костромѣ
Урвали дѣвокъ, отвезли въ Сарай
Да тамъ и продали татарамъ. Что?
Чай, добрая повольница?

посадница.

Помилуй,
Какіе-же повольники то были!
То воры, матушка!

боярыня.

Не велика
Межъ ними рознь. Повольнику до вора
Рукой подать. И Чермный вотъ, что нонѣ
Толкается по женамъ по чужимъ,
Онъ также былъ въ повольникахъ; на Пермь
Никакъ ходилъ.

(Вѣра вбѣгаетъ, испуганная, и бросается на лавку).

посадница.

Что, Вѣрушка, съ тобой?
Чего дрожишь ты?

БОЯРЫНЯ.

Что-те приключилось,
Сударыня? Не видишь, что-ль, меня?

ВЪРА (вставая).

Прости, прости, боярыня Мамелфа
Димитровна! съ испугу я... прости!
На улицахъ такая давка, крикъ,
Бѣгутъ, шумать, толкаются, чуть съ ногъ
Не спшибли....

БОЯРЫНЯ.

Только? Больно ты труслива,
Сударыня. Всегда бываетъ такъ,
Когда народъ отъ вѣча по домамъ
Расходится.

ПОСАДНИЦА.

Хлѣбни водицы, Вѣра,
Да Расскажи, не слышала-ль чего?
Чѣмъ кончилось?

ВЪРА.

Поставленъ воеводой
Бояринъ Чермный.

БОЯРЫНЯ.

Чермный? Воевода?
На Оомино на мѣсто?

ВЪРА.

Межъ собой
Такъ говорили встрѣчные; о томъ-то
У нихъ и споръ.

БОЯРЫНЯ.

Ну, нѣчего сказать!
Ну, признаюсь! Не чаяла того!
Еще-бъ кого другаго—пусть-бы такъ!
Но Чермнаго!

посадница.

Я, матушка, слыхала,
И Глѣбъ Миронычъ также говорить,
Что доблестнѣй нѣтъ Чермнаго во всей
Землѣ Новгородской.

боярыня.

Сорванецъ!
Прихвостникъ бабій! Человѣкъ безъ страху
Безъ Божьяго!

посадница.

Но, кажется, его
И рать я городъ любить....

боярыня.

А за что?
За то, что лихъ вертѣтся на конѣ,
Да каждый день на площадь въ новомъ корзнѣ
Выходить къ нимъ! Да медомъ угощаетъ
Всѣ пять Концовъ! Да уличанъ своихъ
Знай кормить до отвалу! Вотъ за что
Ему любовь! А что-бъ онъ смогъ сидѣть
Когда Ома не можетъ — нѣтъ, не вѣрю!
Онъ сгубить насъ! То Глѣбъ Миронычъ вашу
Твой заварилъ! Ужъ не взыщи, а я
Въ глаза ему скажу!

посадница.

Но можетъ статья,
Оно не такъ, сударыня; быть можетъ,
Ослышалася Вѣра...

боярыня.

Чермный! Вотъ ужъ
Сокровище нашли! И водить имъ
Всегда не та, другая баба. Нонѣ

Какая-то Наталья завелась;
 Что вздумаетъ, то и чинить; казну
 Его, пѣвка, высосала всю!
 Прогнать ее, безстыжую, велѣла-бъ
 Я метлами изъ города!

ВЪРА.

Наталью?

Нѣтъ, матушка, боярыня, должно быть,
 Тебѣ не такъ сказали; не такая
 Она совсѣмъ! Неправду про нее
 Тебѣ связали!

БОЯРЫНЯ.

Что ты, что ты, мать?
 Отколѣ знать тебѣ? Да про нее
 И говорить тебѣ не слѣдъ, ни даже
 Упомянуть! Не дѣвичье то дѣло,
 Сударыня!

ВЪРА.

Я видѣла ее...

БОЯРЫНЯ.

Что-о? Ее? Ослышалась никакъ я?

ПОСАДНИЦА.

Гдѣ видѣла ее ты, Вѣра?

ВЪРА.

Въ церкви,
 На той недѣлѣ, матушка. Стояла
 Она одна, прижавшись въ уголку,
 Молилась такъ усердно, и на ней
 Была одежда бѣдная, простая;
 Когда-же служба кончилась, тихонько
 И робко такъ къ иконѣ подошла,
 Украдкой жемчужное монисто

Повѣсила на вѣнчикъ, и скорѣй
 Изъ церкви вонъ. Отца Захаря кто-то
 О ней спросилъ; вздохнулъ отецъ Захарій
 И говоритъ: Наталья это, та,
 Которую бояринъ Чермный любить;
 Все, что-бъ онъ ей ни подарилъ, на церковь
 Она несетъ; казну-жъ, какая есть,
 Межъ нищихъ дѣлить; духомъ, вишь, сама
 Есть нищая, и многое за то
 Простится ей!

ПОСАДНИЦА.

Пусть такъ, но все-жъ тебѣ
 Знать про нее не гоже...

БОЯРЫНЯ.

Что подарки
 Она свои на церковь отдаетъ
 И нищую жалѣетъ братью — это
 Зачтется ей, на томъ свѣту зачтется;
 Ты-жъ неразумна, дитятко, еще;
 Не вѣдаешь о чемъ бываетъ вмѣстно
 Боярышнѣ, о чемъ не вмѣстно знать.
 Коль при тебѣ впередъ о той Натальѣ
 Заговорятъ, ты, дитятко, молчи.

(Звонъ струнъ и пѣсня за сценой).

ГОЛОСЪ.

Какъ ушкуйники по морю
 Славятъ Новгородъ пошли,
 Они, слава, проходили
 Ажъ до Мурманской земли!

ХОРЪ.

Ай люли, люли, люли,
 Ажъ до Мурманской земли!

БОЯРЫНЯ (къ Посадницѣ).

Кто это тамъ въ сѣняхъ твоихъ горланить?

ГР. А. Н. ТОЛСТОЙ.

ВАСИЛЬЕО (входить съ товарищами).

Опускайте стягъ, Мурмане!

Выдавайте корабли...

(Увидя боярыню, прерываетъ пѣсню).

Боярыня, прости! Не чаялъ я,
Что здѣсь ты...

БОЯРЫНЯ.

А еслибы меня

И не было, все-жъ, государь, не входить
Такъ въ честный домъ. На приступъ, что-ль ты лѣзешь?
Аль думаешь, что съ вражьимъ кораблемъ
Ты сбѣгился?

ВАСИЛЬЕО.

Боярыня, прости!

Съ разбѣгу мы, на радости вопли,
Что по-боку спровадили Оому,
А Чермный сталъ надъ нами воеводой!
(къ товарищамъ).

Ступайте, братцы! Тестя лишь дождусь
И тотчасъ къ вамъ!

РАДЬЕО.

Смотри-жъ, не заживайся!

ГОЛОВНЯ.

Заклада не забудь!

ВАСИЛЬЕО.

Небось!

СТАВРЪ.

Простите,

Боярыни!

РАДЬЕО.

Обычай нашъ веселый

Въ вину намъ не поставьте!

ГОЛОВНЯ.

Бьемъ челомъ!

(Всѣ трое уходятъ. За сценой слышна удаляющаяся пѣсня:

Мы, ушкуйники, съ баграми
Славить Новгородъ пришли и пр.).

БОЯРЫНЯ.

Ну, хороши вы, батюшка! И впрямь
Повольническая шайка!

ВАСИЛЬКО.

Виноваты,

Сударыня!

(Подходить къ Вѣрѣ).

Дай на тебя скорѣй
Поллюбоваться, радость ты моя,
Безцѣнная!...

БОЯРЫНЯ.

Постой-ка, государь,
Пожалуй-ка сюда! Съ тобой, кажись,
Я говорю, такъ ты сперва постой
Да выслушай меня, а ужъ потомъ,
Когда я кончу, да скажу: ступай!
Тогда иди къ невѣстѣ!

ВАСИЛЬКО.

Виновать!

Что, матушка, прикажешь?

БОЯРЫНЯ.

А чтобъ ты

Обычай помнишь, батюшка. Съ чего
У васъ сегодня головы вскружились?
Нашли чему обрадоваться! Чермный
Сталъ воеводой Новгородскимъ! Шутъ онъ
Гороховый, твой Чермный!

ВАСИЛЬКО.

Ужъ на этомъ
Насъ извини, боярыня! Позволь,
Тебѣ не въ гнѣвъ...

БОЯРЫНЯ.

Да ты меня, отецъ,
Перебивать-то не могли! Тебя
Я разуму учу, такъ стой да слушай;
Авось умнѣ будешь. И не только
Тебѣ скажу, безумному повѣсь,
А всѣмъ скажу, и наперво твоему
Скажу я тестю...

(Входитъ Посадникъ).

Легокъ на поминѣ!

ПОСАДНИКЪ.

Поклонъ тебѣ, боярыня Мамелфа
Димитровна! Какъ, матушка, живешь?

БОЯРЫНЯ.

Съ находкой поздравляю, Глѣбъ Мирунычъ!
Ну, батюшка, ужъ есть чѣмъ похвалиться!
Убилъ бобра!

ПОСАДНИКЪ.

Ты это про кого,
Сударыня? Про Чермнаго? Онъ вѣчемъ
Поставленъ есть. Объ этомъ толковать
Ужъ нечего.

БОЯРЫНЯ.

А кто мнѣ запретить?
Я съ той поры, какъ помню лишь себя,
Всѣмъ въ очи правду рѣзала; и нонѣ
Скажу тебѣ: гдѣ былъ у васъ разсудокъ
Ому смѣнить?

ПОСАДНИКЪ.

Про то тебѣ отвѣтъ
Я послѣ дамъ, сударыня. Теперь
Дозволь мнѣ дѣло кончить.

(къ Васильку).

Тамъ Подвойскій
Ждетъ у дверей. Проси его войти.

(Василько уходитъ).

БОЯРЫНЯ.

Смотри, пожалуй! Вѣчемъ, вишь, поставленъ!
Да развѣ все апостолы сидятъ
На вѣчѣ-то? Чай сторона твоя
Перекричала тѣхъ, кто былъ разумнѣй!
Да, слава Богу, Новгородъ не весь
По дудѣ пляшетъ по твоей! Доселѣ,
Слышь, спорять ваетъ! Опомнятся, дастъ Богъ,
Еще до завтра!

(Входитъ Подвойскій).

ПОСАДНИКЪ.

Государь Подвойскій!
Дай знать Кончанскимъ старостамъ, что я
Прошу ихъ всѣхъ пожаловать, приказъ
По городу услышать, да вели
Чтобъ бирючи по улицамъ кричали:
Боярину-де Чермному дана
Отъ вѣча власть на жизнь и смерть, а онъ
Смерть положилъ отъ нынѣшняго дня
Всѣмъ, кто ему нарушить послушанье.
Коль дѣломъ это, иль словомъ провинится —
Хватать строптивыхъ!

БОЯРЫНЯ.

Отчасу не легче!
Съ вторыхъ поръ въ Новгородъ слово

Ужъ не вольно? Не въ Ироды-ль цари
Вы Чермнаго поставили?

ПОСАДНИКЪ (къ Подвойскому).

Сей ночью

Бѣжалъ одинъ изъ плѣнныхъ. Повѣстить
По всѣмъ Концамъ, чтобы, во что-бъ ни стало,
Его нашли.

ВОЯРЫНЯ.

Да долго-ли ты будешь
Еще свои приказы раздавать?
Я все ему толкую, онъ-же словно
Меня и нѣтъ!

ПОСАДНИКЪ (отпустивъ Подвойскаго).

Что, матушка, тебѣ
Угодно отъ меня?

ВОЯРЫНЯ.

Ушамъ не вѣрю!
На жизнь и смерть судить насъ будетъ Чермный!
Приказано на улицахъ хватать
Кто Чермнаго не хвалить! Да вѣдь этакъ
Ты, государь, пожалуй и меня
Схватить велишь?

ПОСАДНИКЪ.

Нѣтъ, матушка, мы бабъ
Не трогаемъ. Кричи себѣ, коль хочешь,
Во здравіе!

ВОЯРЫНЯ.

И буду, государь!
Кому вы городъ отдали-то въ руки?
Безпутному, шальному сорванцу!
Да не ему—его Натальѣ городъ
Вы отдали! Не знаемъ развѣ мы,

Кто держать верхъ надъ вѣмъ? Не воеводу,
А воеводшу, Господи прости,
Вы надъ собой поставили!

ПОСАДНИКЪ.

Ты все-ли,

Сударыня, сказала?

БОЯРЫНЯ.

Нѣтъ, не все!

За что Оому смѣнили вы? За то-ли,
Что миръ хотѣлъ онъ учинить? Чай лучше,
Чтобъ приступомъ насъ взяли? Изъ церквей
Иконы потащили-бъ? Да на щитъ
Дружиннику-бъ досталась дочь твоя?
Вотъ до чего не допустить хотѣлъ
Оома, а вы его-же очернили,
Гудой обозвали! Да пока
Я, батюшка, жива, пока языкъ мой
Еще къ гортани не присохъ, дотоль
Кричать не перестану, что напрасно
Отставленъ онъ! Ужъ не взыщи, а кто
Безвинно терпитъ, да къ тому-жъ мнѣ другъ,
Ужъ за того до самой смерти буду
Горой стоять!

ПОСАДНИКЪ.

Ты кончила-ль теперь,

Сударыня?

БОЯРЫНЯ.

Могу еще и болѣ

Тебѣ сказать, отецъ мой...

ПОСАДНИКЪ.

Не трудися.

Хотя Великій Новгородъ тебѣ

Отвѣта и не держать, но за то,
 Что вдовью честь твою онъ уважаетъ
 И по дѣломъ тебя за правду чтить,
 Я, такъ и быть, тебѣ отвѣчу. Слушай,
 Боярыня: Оому смѣнили мы
 За то, что сдать совѣтовалъ онъ городъ,
 Когда еще держаться можно намъ.
 Который-же верховный воевода
 Не вѣрить самъ, что онъ побьетъ врага —
 Ужъ тотъ побить заранѣ. Чермный вѣрить
 Въ себя и въ насъ, въ него же вѣрить рать.
 Не правда то, что имъ Наталья водить,
 Никто еще досель имъ не водилъ.
 А что живетъ онъ въ Новгородѣ веселъ —
 То до поры, пока отвѣта не-взялъ
 Онъ на себя. Ты, матушка, пойми:
 Онъ словно шолкъ блестящій, шамаханскій,
 Что и цвѣтистъ и гибокъ; поглядѣть —
 Ужъ ничего нѣтъ мягче; а попробуй
 Его порвать — лишь руки натрудишь!

БОЯРЫНЯ.

Хвали, хвали его, отецъ, а я
 Скажу тебѣ: нѣтъ Божьяго на томъ
 Благословенья, кто не вѣрить въ Бога!
 Не ходить въ церковь, батюшка, твой Чермный,
 Второе воскресенье не видала
 Его въ соборѣ!

ПОСАДНИКЪ.

Некогда ему
 Въ соборѣ быть. Ужъ двѣ недѣли съ валу
 Онъ не сходилъ. Подъ прыскомъ вражьихъ стрѣлъ,
 Отъ приступовъ спасая городъ, служить
 Онъ Господу!

БОЯРЫНЯ.

Что? Некогда быть въ церкви?
Нѣтъ времени молиться? Стало быть,
Намъ не нужна молитва?

ПОСАДНИКЪ.

Не криви
Моихъ рѣчей, боярыня. Молитва
Всегда нужна. Но если волѣ нашей
Грозить бѣда, ее одной молитвой
Не изживешь. Защитникъ нуженъ намъ!
И не о томъ мы спрашивать должны:
Онъ часто-ли, не часто-ль ходить въ церковь,
А какъ онъ въ бой полки свои ведетъ!

БОЯРЫНЯ.

Сударыня-посадница, ты слышишь?
О тѣлѣ онъ велитъ лишь помышлять,
А душу ставить ни во что! Ступай
Въ свою свѣтлицу, Вѣра, уходи!
Отца не слушай, уходи сейчасъ!
Безбожницей тебя онъ сдѣлать хочетъ!
Сударыня-посадница, скорѣй
Дочь уведи!

ПОСАДНИКЪ.

Боярыня! Тебѣ
Корить меня, кажися, и порочить
Я вдоволь далъ. Но при себѣ учить
Мою жену и дочь я не позволю.
Не прогнѣвись, а въ домъ я своею
Самъ господинъ!

БОЯРЫНЯ (вставая).

Здѣсь долѣ оставаться
Невмѣстно мнѣ. Другимъ давать уроки,
А не себѣ ихъ слышать отъ другихъ

Привыкла я. Учиться благочестью
 И въжеству собирается ко мнѣ
 Весь Новгородъ. Самой-же научиться
 Какъ мнѣ вестись — на это я стара,
 И отвыкать молиться Богу также!
 Я, матушка-посадница, тебя
 За мужнины за рѣчи не виню,
 Одно тебѣ на память только слово
 Еще скажу: дочь отъ него держи
 Подалѣ, матушка, подалѣ — слышишь?
 Теперь прости—прошу не провожать!

(Уходитъ).

ПОСАДНИКЪ (слѣдитъ за ней глазами).

Тыфу, взбалмочная баба!

ПОСАДНИЦА.

Глѣбъ Мironычъ!
 Свѣтъ мой, голубчикъ! Что-бъ тебѣ пойти
 Догнать ее, предъ ней-бы извиниться?
 Намъ, право, съ нею ссориться не слѣдъ,
 Она въ великомъ гнѣвѣ!

ПОСАДНИКЪ.

Какъ? Еще
 Предъ ней мнѣ извиняться?

ПОСАДНИЦА.

Свѣтъ, подумай:
 Всѣ на тебя подымутся теперь!

ПОСАДНИКЪ.

А мнѣ какое дѣло?

ПОСАДНИЦА.

И слова
 Твои перетолкуютъ!

ПОСАДНИКЪ.

Мнѣ-то что-жъ?

Иль въ самомъ дѣлѣ я безбожникъ?

ПОСАДНИЦА.

Сила

Святая съ нами! Но тебя, мой свѣтъ,
Осудятъ всѣ! Отъ недруговъ твоихъ
Богъ вѣсть теперь пойдутъ какіе толки!

ПОСАДНИКЪ.

Бояться толковъ — шагу не ступить!

ПОСАДНИЦА.

Вѣдь чтить-же ты и самъ ее доселѣ!

ПОСАДНИКЪ.

Я чту ее, но гнуться передъ ней —
Ужъ не взыщи! Нашла коса на камень!

ВАСИЛЬЕО.

И подлинно! Такого не встрѣчала
Она отпора!

ПОСАДНИКЪ.

Новгородъ старуху
Избаловалъ?

ВАСИЛЬЕО.

А выплыла кажимъ
Въ дверь кораблемъ!

ПОСАДНИКЪ.

Шабашъ о ней — довольно!
О чемъ вы тутъ шептались межъ собой?

ВАСИЛЬЕО.

Мы, государь...

ВЪРА.

Они хотятъ...

ПОСАДНИКЪ.

Въ чемъ дѣло?

ВЪРА.

Вишь вылазку затѣяли они!

ПОСАДНИКЪ.

Какъ вылазку? Кто вылазку затѣялъ?

ВАСИЛЬКО.

Мы, государь, Словенскіе ребята:
Съ Гончарскими побились объ закладъ.
Тѣ говорятъ: не пустить воевода!
Мы-жъ говоримъ: зачѣмъ его спрощать?
Мы выѣземъ въ полночь о себѣ,
А послѣ скажемъ воеводѣ!

ПОСАДНИКЪ.

Кто

Вамъ отогреть ворота?

ВАСИЛЬКО.

Не въ ворота —

Мы по веревкамъ, государь. За нами
Ихъ приберутъ, когда-жъ вернемся, снова
Намъ выкинуть!

ПОСАДНИКЪ.

Изрядно! И могли

Подумать вы, что я, и съ воеводой
Позволимъ то?

ВАСИЛЬКО.

Пожалуй, государь,
Намъ не мѣшай; у насъ уже все дѣло
Улажено.

ПОСАДНИКЪ.

Съ ума вы, что-ль, сошли?

Когда нашъ князь готовить новый приступъ —
Тутъ каждый дорогъ человѣкъ, а вы.
Ребачиться затѣяли? Брось дурь!

ВАСИЛЬКО.

Не можемъ, Глѣбъ Мironычъ! Объ закладъ
Побились мы!

ПОСАДНИКЪ.

Такъ я перевязать

Васъ прикажу.

ВАСИЛЬКО.

Не въ гнѣвъ тебѣ, а насъ
Вязать не слѣдъ. Въ Новѣгородѣ было
Такъ искони, что молодежь могла
Всегда какъ хочетъ тѣшиться, и воля
У насъ на то отъ пращѣдовъ идетъ!

ПОСАДНИКЪ.

Великое ты выговорилъ слово;
А знаешь-ли какой его есть толкъ?
Въ чемъ воля-то? Въ томъ, что чужой мы власти
Не терпимъ надъ собой! Что мы съ князьями
По старинѣ ведемъ свой уговоръ:
• Се будь твое, а се будь наше. Въ наше-жъ
Ты, княже, не вступайся! А когда
• Тотъ уговоръ забудетъ князь, ему
Мы кажемъ путь, другаго-жъ промышляемъ
Себѣ на столъ. Вотъ наша воля въ чемъ.
И за нее съ низовыми мы нонѣ
Ведемъ войну, и за нее, коль надо,
Поляжемъ всѣ! И чтобы воля эта
Была крѣпка, и чтобы никто не могъ
Надъ нами государемъ называться —

Мы Новгородъ Великій государемъ
 Поставили, и головы послушно,
 Свободныя, склонили передъ нимъ.
 Вотъ наша воля! Правъ своихъ держаться,
 Чужія чтить, блюсти законъ и правду,
 Не прихоти княжія исполнять,
 Но то чинить безропотно и свято,
 Что государь нашъ Новгородъ велитъ —
 Вотъ воля въ чемъ! А чтобы всякій дѣлать
 Воленъ былъ то, что въ голову взбредетъ —
 Нѣтъ, то была-бъ не воля — неуряде
 То было-бы! Когда-бъ такую волю
 Терпѣли мы, давно княжной-бы стали
 Мы вотчиной, иль раздѣлили-бъ насъ
 Между собой сосѣди! Вывинь дурь
 Изъ головы!

ВАСИЛЬКО.

Самъ вижу, Глѣбъ Мироничъ,
 Что виновать, и если только прежде
 Подумалъ-бы, заклада-бъ не держалъ.
 Но посуди: Словенскіе меня
 Начнутъ корить; Гончарскіе-же на-смѣхъ
 Меня подымутъ!

ПОСАДНИКЪ.

Что тебѣ за дѣло?

ВАСИЛЬКО

Какъ что за дѣло? Трусомъ обзовутъ!
 Стыдъ будетъ мнѣ, безчестье понесу я!

ПОСАДНИКЪ.

Ты развѣ трусъ?

ВАСИЛЬКО.

Ты знаешь самъ, что нѣтъ!

ПОСАДНИКЪ.

А коль не трусь, о чемъ твоя забота?
Не предъ людьми — передъ собой будь чистъ!

ВАСИЛЬКО.

Такъ, государь, да не легко-же...

ПОСАДНИКЪ.

Что?

Чужіе толки слышать? Своего,
А не чужаго бойся нарѣканья —
Чужое вздоръ!

ВАСИЛЬКО.

Тебѣ-то благо, Глѣбъ
Мироновичъ, такъ говорить! Высоко
У каждаго стоишь ты въ мысли. Твой
Великъ почетъ. Но что-бы сдѣлалъ ты
Коль на тебя-бы студное что-либо
Взвалили люди?

ПОСАДНИКЪ.

Плюнулъ-бы на нихъ!
Вотъ что-бы сдѣлалъ. Иль ужъ самъ себѣ
Не вѣдомъ я? Себя я, благо, знаю,
Самъ чту себя. Довольно мнѣ того.

ПОСАДНИЦА.

Ахъ, свѣтъ мой Глѣбъ! Вотъ этимъ-то и нажилъ
Ты недруговъ! Ни за-что никому
Не сдѣлаешь уступки! Ни другихъ,
Ни самого себя, вишь, не жалѣешь!
А такъ нельзя! Живемъ вѣдь не одни,
Съ людьми живемъ. Ужели-жъ на людей
И не смотрѣть? Когда-бъ ты захотѣлъ,
Иной-бы разъ друзей себѣ словечкомъ
Нажить-бы могъ!

ПОСАДНИКЪ.

Не въ норѣ моемъ
 За дружбою гонаться. Еслибъ я
 Пошелъ на то, чтобъ людямъ угождать,
 Не стало-бы меня на угожденья,
 Все мало-бъ имъ казалось. Людей
 По шерсти-ль гладь, иль противъ шерсти — то-же
 Тебѣ отъ нихъ спасибо! Я-же хочу
 Не слыть, а быть. Для собственной своей
 Чинить хочу для совѣсти, и самъ
 Свое себѣ спасибо говорить.
 А что болтать они про это будутъ,
 То для меня равно какъ если дождь
 По крышѣ бьетъ!

(къ Васильку).

Поди къ своимъ, скажи:
 Посадникъ Глѣбъ вамъ запретилъ и думать
 О вылазкѣ. А къ вечеру вернись;
 Съ тобой пойдемъ мы вмѣстѣ къ воеводѣ,
 Укажетъ онъ какъ удалъ показать!

(идетъ къ двери).

ВАСИЛЬКО (топнувъ ногой).

Хоть утопиться — право въ ту-же пору!

ПОСАДНИКЪ (услышавъ его, оборачивается).

Топись, когда враговъ отъ нашихъ стѣнъ
 Прогонимъ мы, — теперь-же и топиться
 Ты не воленъ! Ты Новгороду держишь
 Теперь отвѣтъ! Какъ смѣешь ты имѣть
 Хотѣніе свое, когда я самъ,
 Я, Глѣбъ, себя другому подчинилъ,
 Изъ рукъ Оомы мной вырванную власть
 Тому вручилъ, кто лучше всѣхъ защиту
 Умѣетъ вестъ? Какъ смѣешь о стыдѣ
 Ты помышлять, когда у насъ свобода

Шатается? Что значить честь твоя
Предъ Новгородской честью? Двадцать лѣтъ
Посадничью мою храню я честь —
Но еслибъ только ей спасенье наше
Я могъ купить — какъ святъ Господь, я-бъ отдалъ
Ее сейчасъ! Все нынѣ позабудь —
Одну бѣду грозящую намъ помни!
А стыдъ тому, чья подлая душа
Иное-бъ что, чѣмъ Новгородъ вмѣщала,
Пока бѣда надъ нимъ не миновала!
(уходить).

Гр. А. Толстой.

СЕЛЬСКАЯ ИДИЛЛЯ.

(изъ дневника неопытной помѣщицы).

Быль знойный, душный іюльскій полдень. Солнце ослѣпительно сіяло на безоблачномъ небѣ. Обширное поле спѣлыхъ колосьевъ стояло такъ неподвижно, словно вылитое изъ золота. Поле перехватывали мягкія, темнозеленныя, усыпанныя розовой кашею, sprysnutyia утреннимъ ливнемъ межи; надъ межами тихонько, чуть-чуть волновался легкій паръ. По полю куда-то вилась узкая проселочная дорожка. Вдали синѣлъ большой лѣсъ.

Жатва уже началась. На нѣкоторыхъ участкахъ поля видѣлись сложенные копны, подъ которыми отдыхали жницы.

Вѣроятно такой именно благодатный день описалъ нашъ поэтъ Кольцовъ въ своей «Жницѣ»:

Высоко стоитъ
Солнце на небѣ,
Горячо печетъ
Землю матушѣу.

Какъ хороша его жница!

Душно дѣвигѣ,
Грустно на полѣ,
Нѣтъ охоты жать
Колосистой ржи;
Всю сожгло ее
Поле жаркое,
Горитъ горю все
Лицо бѣлое...

И здѣсь, передъ моими глазами была жница... Она одна не спала, тихо сидѣла поодаль подъ тѣнью конны и какъ будто о чемъ-то задумалась.

И у этой, подумала я, можетъ случиться:

Охъ болить у ней
Сердце бѣдное,
Заронилось въ немъ
Небывалое!

Я видѣла изъ за колосьевъ только часть ея лица, полосу краснаго головнаго платка, да бѣлый рукавъ рубашки. На сколько можно судить издали, она была молода, красива, ни щета не наложила на нее своего отвратительнаго отпечатка.

У меня забилося сердце...

Поэтъ Кольцовъ, подумала я, писалъ въ тяжелыя времена, но если даже тогда находились свѣтлыя черты въ народной жизни, то что же теперь, когда народу живется вольнѣе, когда онъ развивается и совершенствуется?

Мнѣ вспомнились слова Алексиса Витиеватова на обѣдѣ у предводителя, и сердце мое забилося еще сильнѣе...

«Сладко слѣдить за народнымъ развитіемъ, хорошо, любоваться, что посылно содѣйствуемъ народному благу! Будемъ же идти бокъ о бокъ съ народомъ, будемъ его заботливо поддерживать на тернистой стезѣ самосовершенствованія! Тутъ требуются жертвы, но развѣ кто изъ насъ убоится жертв?»

Какъ дружно всѣ крикнули: «никто! никто!» и какъ залпомъ выпили шампанское за народъ! Даже я, сама не помню какъ, проглотила полный бокалъ. Я бы тогда огонь проглотила.

Я глядѣла на жницу и спрашивала себя:

О чемъ она задумалась? Какія ея желанія и стремленія? Чѣмъ подарила ее жизнь? Чего она еще ждетъ отъ этой жизни? Какія бури она вынесла? Какія видала радости и печали?

У меня явилось непреодолимое желаніе заглянуть въ ея внутренній міръ. Кто знаетъ, думала я, можетъ случиться тутъ встрѣтятся такія психологическія тонкости, какихъ и не ожи-

даешь... Можетъ статься, нечаянно обнаружатся замѣчательныя черты нравовъ и обычаевъ...

— Подойду, заведу разговоръ, рѣшила я, и авось чтонибудь вывѣдаю, авось удастся заглянуть въ этотъ простой, но полный свѣжести и поэзіи внутренній міръ.

Слѣдуя по цвѣтушей межѣ, я направилась въ сторону задумавшейся жницы, и чтобы привлечь ея вниманіе, стала тихо покашливать.

Жница тотчасъ же оглянулась и на мой поклонъ отвѣтила поклономъ.

Я подошла ближе и начала съ жалобы на усталость, мучительный зной и жажду.

Она, прикрывая личико младенца, уснувшего у ея груди, предложила мнѣ испить водицы изъ глинянаго кувшинчика, который стоялъ тутъ же во ржи, спросила, кто я такая, издали ли меня Богъ несетъ, и подвинулась, давая мнѣ мѣстечко сѣсть въ тѣни.

Она тотчасъ угадала, что я не «тутошняя».

— Погулять въ наши края пріѣхали? спросила она.

— Не погулять, а поработать, отвѣтила я ей.

Она оглянула меня еще разъ съ ногъ до головы.

Я была въ совершенно простенькомъ сѣромъ платьѣ, въ совершенно простенькой шляпкѣ.

— Учить что-ль маленькихъ господъ понѣмечки? спросила она.

— Нѣтъ.

— Что-жъ, вы вышиваете что-ль узоры? Тутъ жила разъ такая барышня, что вышивала,—и не сказать какъ ужъ она, бають, красно вышивала!

Я постаралась ей объяснить, что не всѣ барышни занимаются нѣмецкимъ преподаваніемъ да узорами. Сердце у меня было переполнено, я говорила не стѣсняясь. Я силилась дать ей понять, что у насъ есть задачи болѣе высокія, что мы теперь всею душой преданы дѣлу народнаго образованія, а слѣдовательно народному благу, что мы хотимъ передать на-

роду свои знанія, что знанія для него необходимы въ видахъ его будущаго... Я, разумѣется, излагала все это простымъ, доступнымъ для нея языкомъ, но она все-таки мало меня понимала. Я видѣла по ея лицу, что всѣ мои слова для нея китайская грамота.

— Вы меня понимаете? спрашивала я. Понимаете, что я говорю?

— Понимаю, отвѣчала она съ улыбкою.

— Но не совсѣмъ? Развѣ я непонятно говорю?

Она улыбнулась!

Наконецъ, мнѣ удалось отъ нея добиться того, что «всѣ господа мудрено говорятъ», — «понятно, да мудрено».

Сердце у меня сжалось... Я думала, что меня нельзя смѣшать со «всѣми господами» и что я говорю не «мудрено»!

Я, однако, побѣдила тяжелое чувство. Мнѣ, во что бы то ни стало, хотѣлось достигнуть своей цѣли — заглянуть въ ея внутренній міръ.

Я свела разговоръ на урожай, начала толковать о разныхъ лѣтнихъ хозяйственныхъ заботахъ и тревогахъ, потомъ спросила изъ какой она деревни.

— Изъ Кириловки, отвѣчала она. Можетъ бывали, знаете?

— Проѣзжала. Село, кажется, большое?

— Большое.

— А какъ люди у васъ живутъ? Богатыхъ больше, или бѣдныхъ?

— Больше бѣдныхъ.

— А вы?

— Мы ничего, слава Богу.

— Не изъ послѣднихъ, значить, въ селѣ?

— Не изъ послѣднихъ, отвѣчала она съ такою улыбкою, которая ясно показывала, что они — изъ первыхъ.

— Хорошо съ мужемъ живете?

— Хорошо.

— Еще дѣтки есть?

— Есть еще двое.

- А свекровь не злая?
- Злѣе бывають.
- У васъ большая семья?
- Большая. Деверья, золовки... и дѣдъ еще живъ.
- И всѣ въ согласьи между собой?
- У насъ свекоръ брани не любитъ. Чуть что, такъ сейчасъ и поучить.
- Вы молоды шли за мужъ?
- По семнадцатому году.
- Охотою шли?
- Охотою.
- Большою охотою?
- Ничего...
- И потомъ не жалѣли?
- Что-жъ жалѣть-то: ужъ не воротить.
- Да вѣдъ случается, что знаешь воротить нельзя, а все-таки сердце ноетъ, все-таки не отвязывается мысль: ахъ, за чѣмъ это такъ вышло, а не иначе!
- Случается.
- А вамъ не случилось?
- Нѣтъ. Можетъ за другимъ-то еще бы хуже было.
- Вы долго его знали до замужства?
- Гдѣ тамъ долго! Всего два раза и видѣла.
- Расскажите мнѣ, какъ вы выходили замужъ.
- Да какъ и всѣ. Сговорили насъ да и обвѣнчали.
- А до замужства какъ вы жили?
- Да какъ и всѣ.
- Вы вѣдъ помните, какъ вы маленькой дѣвочкой были?
- Помните, какъ до невѣстъ доросли?
- Извѣстно, помню.
- Ну, расскажите мнѣ, пожалуйста; мнѣ очень хочется знать, какъ у васъ въ деревняхъ растутъ, живутъ... Пожалуйста, расскажите!
- Да что рассказывать-то?
- Ну, что вы дѣлали, когда были маленькой дѣвочкой?

— Скотъ пасла. У насъ деревня большая (я изъ Тросты взята, за тридцать верстъ отсюда), скота много.

— И цѣлый день пасли скотъ?

— А то какъ же? Бывало, выгонишь на зорьѣ...

Передъ ней какъ будто возстала картина прошлаго. Она на нѣсколько секундъ умолкла и затѣмъ прибавила:

— У насъ тамъ веселыя мѣста.

— Веселыя?

— Да. Рѣчка быстрая, лѣса большіе. Что цвѣтовъ, что ягодъ! Мы пасли скотъ подъ самымъ лѣсомъ. Въ жару, бывало, лежишь въ кустахъ...

— Ну и что жъ? глядите кругомъ?..

— Глядишь въ траву... или на небо... слушаешь, какъ кругомъ шелеститъ листь... И такія чудныя, мысли приходятъ на умъ!

— Какія же чудныя мысли?

— Да разныя... Теперь ужъ забыла... Мало ли что взбредетъ на умъ ребятишкамъ? думаешь, бывало, какъ вотъ это все на свѣтѣ чудно сотворено... Небо голубое, солнце красное... Извѣстно дѣти!

Она улыбнулась и тихонько вздохнула.

— Чему вы усмѣхнулись? спросила я.

— Да вотъ, вспомнила... То-то дѣти глупы! Хотѣлось мнѣ все на облака попасть... Да такъ хотѣлось, что хоть плачь! Или то же, что бы крылья у меня выросли... что бы это мнѣ полетѣть куда нибудь... Ужъ и сама не знаю куда... Гдѣ бы не скотъ мнѣ пасти, а... ужъ и не знаю что! И этакъ, бывало, жутко станеть, ажно не вздохнешь... Словно душить что... Придешь домой—ни ѣды, ни сну... Лежишь на лавкѣ, горько этакъ, что всѣ спятъ, обидно чего-то... Глядишь на звѣздочки, покуда ажно слезы потекутъ... И заснешь-то, такъ видишь все такое... Крылья у тебя будто и ты летишь, и радуешься, а крылья разомъ подсыбаются и въ яму въ какую-то тонешь... А то разъ увидала я нашу барышню, бѣленькая она этакая, нарядная, властительная—и потомъ съ ума у меня

не идти, что кабы я была барышня... И не такъ мнѣ ея наряды и сласти, какъ что она всюду можетъ, куда хочетъ... Какъ только, бывало, подумаю, такъ ажно задрожу вся... Ужъ чего не приберу бывало! Можетъ, обнадеживаюсь, какой царевичъ замужъ меня возьметъ, какъ вотъ въ сказкахъ сказывается... Или, можетъ, я колдовать выучусь... Мало ли какая дурь!...

Она снова улыбнулась, снова тихонько вздохнула и смогла.

— Сколько тутъ богатыхъ силъ подъ спудомъ! подумала я. Неужто онѣ такъ и останутся подъ спудомъ? Боже мой! и скоро ли наступить, наконецъ, желанное время, когда всѣ будутъ правильно развиваться, совершенствоваться, вносить свою долю нравственного богатства въ общую сокровищницу человѣчества!

Я сказала ей:

— Какъ жаль, что вы не учились!

Она только взглянула на меня, но ничего не отвѣтила.

Я долго объясняла ей необходимость ученія; доказывала, какъ оно много даетъ, какъ уравниваетъ. Она все слушала молча. Я увлеклась, привела примѣры энергіи и предприимчивости и не знаю ужъ какъ у меня вырвалось:

— Я бы на вашемъ мѣстѣ ушла, убѣждала учиться! Понимаете?

— Чтобы это мнѣ-то было уйти? спросила она.

— Да, вамъ! вскрикнула я:

— Куда?

— Какъ куда?

— Идти-то мнѣ?

На меня точно плеснули холодной водой. Въ самомъ дѣлѣ, куда ей было уйти?

Она переспросила:

— Куда?

— Въ большой городъ, отвѣтила я, но запнулась, потому что мнѣ вдругъ въ первый разъ представились всѣ трудности

и напасти, ожидающія деревенскаго человѣка въ незнакомомъ городѣ.

Она поглядѣла на меня и какъ-то такъ странно улыбнулась, что я покраснѣла и поскорѣе замѣтила:

— Правда, вы и дороги никуда не знали, и...

— И на знамой бы пропала, добавила она.

— Почему пропали?

— А кто жъ кормить бы сталъ? Къ кому бъ я пошла?

— Когда хочешь чего нибудь добиться, такъ всѣмъ ужъ рискуешь, возразила я,—не раздумываешь, что впереди тебя ждетъ!

— Это только барышнямъ можно, отвѣтила она.

— Какъ барышнямъ? почему-же барышнямъ? вскрикнула я.

— Потому барышни нѣжныя и ихъ всякій пожалѣетъ, а мы... Мы темныя...

— Да послушайте, развѣ у васъ не было и поближе людей?

— Какихъ людей?

— Хорошихъ! которые бы васъ хорошо приняли... Вѣдь бываютъ по деревнямъ такіе люди, я слыхала, знавала...

Я глядѣла на нее, я ожидала, что она назоветъ Витіеватовыхъ...

Но она не назвала ихъ, а только проговорила:

— Можеть и бываютъ.

Мнѣ припомнились слова Алексиса Витіеватова о старикѣ, который выучился читать и съ утра до вечера читаетъ, и я сказала себѣ: слава Богу! не всѣхъ одолѣла такая апатія, какъ мою собесѣдницу!

Я сказала ей:

— У васъ есть гдѣ-то тутъ старикъ, который вотъ на старости лѣтъ выучился читать, и теперь съ утра до вечера читаетъ.

— А кто-жъ его кормить-то? спросила она.

— Кого?

— А этого старика-то. Коли онъ съ зари до зари читалъ, такъ работа-то какъ-же?

И она опять такъ улыбнулась, и такъ поглядѣла, что я снова смутилась. Какъ же, въ самомъ дѣлѣ, этотъ старикъ могъ читать?

Я ей отвѣтила, что вѣрно ему помогъ ктонибудь.

— Кто-жъ помогать будетъ? возразила она. Всякому тоже кормиться надо. Мало что наплетутъ люди! У насъ, вонъ, рассказывали, что одинъ старикъ леталъ въ Кіевъ, а онъ совсѣмъ не леталъ.

— Но вѣдь есть же у васъ гдѣнибудь какіе-нибудь хорошіе умные люди, съ которыми можно обо всемъ посоветоваться, потолковать, поговорить...

— Некогда разговаривать-то у насъ.

— Я знаю, работы много, но вѣдь все-таки выберется часокъ-другой... Ну въ праздники... Въ праздники вѣдь гуляютъ?

— Въ праздники гуляютъ.

— Ну?

— Ну, пьяны бываютъ.

Каждое ея слово рѣзало меня, словно ножомъ!

— А какой у васъ священникъ? спросила я.

— Отецъ Левонтій.

— Нѣтъ, не имя, а какой онъ человекъ-то, — хорошій, добрый? Въ уваженіи онъ у васъ?

— Извѣстно въ уваженіи.

— Въ случаѣ какой бѣды можно къ нему пойти?

— А что-жъ онъ въ бѣдѣ? Коли вотъ родины либо крестины, похороны либо свадьба, или пособоровать, такъ заплатишь и пойдетъ.

— А кому нечего заплатить?

— Ужъ какъ-нибудь спроможется.

— Ну, а если не спроможется?

— Ужъ не знаю. Онъ, какъ если мало дадутъ, урезаетъ

такъ, что Господи Боже мой! Отработку такую положить, — немилостивую!

— Какую это отработку?

— А вотъ чтобы это отработать у него на полѣ, либо на огородѣ, кому за поминанье, кому за свадьбу.

— Да зачѣмъ-же соглашаются на такія отработки? вскрикнула я.

Она опять только посмотрѣла на меня, но ничего не отвѣтила, не пояснила.

— Зачѣмъ-же соглашаются? повторила я.

— Какъ-же тягаться-то съ нимъ? Онъ заѣстъ.

Я просто начинала приходить въ отчаяніе! Всѣ мои свѣтлыя мечты разрушались.

— Неужли вы не знаете Витіеватовыхъ? спросила я. Неужли не слыхали хоть про нихъ?

— Это про помѣщиковъ-то нашихъ?

— Да.

— Какъ не знать, не слыхать! Мы ихніе крѣпостные были.

— Ну что-жъ?

— А что?

— Вѣдь добрые?

— Добрые.

У меня отлегло отъ сердца.

— Вѣдь къ нимъ всѣ могли ходить, ихъ всѣ могли о чемъ угодно спрашивать?

— Какъ можно! Ужъ коли кто ходилъ, такъ по горькой по нуждѣ.

— Отчего-жъ это?

Она опять улыбнулась также какъ и прежде — не то съ сожалѣніемъ къ моему простодушію, не то съ насмѣшкой надъ нимъ, и отвѣтила:

— Какъ же намъ, мужикамъ, туда можно ходить?

— Да вѣдь добрые!

— Добрые, а все-таки у нихъ тамъ и собаки, и цвѣты

такіе, что подороже насъ. Дуракомъ-то тоже стоять не хочется.

— Такъ вы никогда и не бывали?

— Какъ не бывать! Брѣвостными когда были, такъ насъ сгоняли на барскій дворъ хороводы водить.

— Сгоняли? Какъ сгоняли? Силою? этого быть не можетъ! вскрикнула я.

— Да не плетью, а такъ, приказано и иди.

— Да вѣдь васъ тамъ не обижали?

— Нѣтъ. Заставялъ, бывало, хороводъ водить, а сами сидятъ, смотреть. Которую подзываютъ: «Поди-ка сюда! Какъ тебѣ имя? Пряники любишь?» А потомъ промежъ собой по нѣмецки. Разглядываютъ какой лобъ, какіе глаза. Дадутъ пятакъ. А одинъ баринъ, Алексѣй Ивановичъ, такъ все за щеку щипалъ. Или заставить, бывало, глаза закатывать: «Смотри на небо!» И смотришь на небо.

Я точно съ облаковъ упала. Алексисъ! Нѣтъ, тутъ что нибудь не такъ, искажено, перепутано...

— Ну, а теперь? спросила я, стараясь быть спокойною.

— Теперь хороводы не собираютъ. Тѣперь господа скучные стали, все серчаютъ, что зачѣмъ мужики стали портиться.

— Какъ портиться?

— Въ городъ, говорятъ, зачѣмъ ѣздить, цѣны городскія узнаютъ. Нѣтъ, говорятъ, ужъ простоты по деревнямъ; всѣ измошенничались, ни у кого не купишь сходно ни цыпленка, ничего...

— Алексѣй Ивановичъ школу завелъ? спросила я.

— Завелъ.

— Ну что-жъ, хорошо учать тамъ? Кто учить? Самъ Алексѣй Ивановичъ?

— Дьяконъ учить.

— Хорошо?

— Должно хорошо, только вотъ драчливъ ужъ больно.

— Какъ? Алексѣй Ивановичъ позволяетъ?

— Да онъ при немъ не станеть.

— Но вѣдь Алексѣй Ивановичъ часто бываетъ, онъ бы замѣтить...

— Какъ-же ему замѣтить-то? Онъ придетъ-то по прохладѣ, ужъ когда и вихры выдраны и грядки выдолбаны...

— Какія грядки?

— А дьяконскія. Онъ это поучить ихъ, а потомъ: идите на отдыхъ грядки полоть, либо закуты чистить, либо перья драть.

Нѣсколько минутъ мы молчали. Наконецъ я оправилась и спросила:

— А какъ вамъ жилось, когда вы подросли?

— Какъ подросла, посадили прясть, жать стали посылать.

— А мысли-то чудныя все таки приходили въ голову?

— Умнѣ стала.

— Да вѣдь это не глупость! Умнымъ-то людямъ и приходятъ такія мысли! Умные люди все хотятъ знать, до всего хотятъ добратся.

— Какъ за день то измаеться, такъ ровно мертвецъ свалишься,—ни рукъ ни ногъ не чуешь, въ головѣ ровно туманъ какой.

А говорить, что дѣвичье время самое хорошее. Дѣвушкамъ меньше работы и заботы.

— Меньше то, меньше.

— Зимой на посидѣлки ходятъ, лѣтомъ на улицу гулять?

— Ходятъ.

— О чемъ же вы тогда больше всего думали?

— Въ дѣвкахъ-то? Ни о чемъ не думала, какія тамъ думы

— Въ чемъ же веселье было?

— Какъ въ чемъ! Извѣстно, дѣвичье дѣло беззаботное. Знаешь одного отца-мать. Хоть они и строгіе, да одни.

— Теперь заботъ прибавилось?

— Какъ не прибавиться! Теперь свекру угоди, свекрови угоди, золовкамъ, деверьямъ...

— Да вѣдь если мужъ васъ любитъ, такъ въ обиду не дастъ.

— Кабы ему за всѣми моими обидами-то глядѣть, такъ онъ бы и борозды одной не провель! отвѣтила она, снова улыбаясь.

— А мыслей вамъ ужъ теперь не приходитъ?

— Какихъ мыслей?

— Чудныхъ-то? Вотъ, чтобы полетѣть куда, или въ облака попасть...

— Что-жъ я теперь за дура, за такая!

— О чемъ же вы теперь больше всего думаете?

— Мало-ли думъ-то! Ночью дитя кричить, на зарѣ ко-рова мычить, то не справлено, другое не сготовлено. Когда такой денекъ выдастся, что какъ сядешь обѣдать, такъ и проглотить ничего не можешь: дрожить все внутри-то, а руки и ноги ровно чужія... Вечеру домой идешь, такъ чуть дышаешь. Позабудешь, какъ кого звать... А! вонъ наши просыпаются!

Нѣсколько жницъ поднимались изъ подъ копенъ.

— Однако, вы вѣдь не жалуетесь на бѣдность? сказала я.

— Чего-жъ намъ жаловаться? Намъ нечего жаловаться! отвѣтила она и какъ будто даже нѣсколько обидѣлась. Мы, слава Богу, живемъ хорошо! Ну, лежи смирно! обратилась она къ ребенку, укладывая его въ плетушку.

— Теперь жать приметесь?

— Пора.

Она взяла серпъ и принялась за работу.

Я поглядѣла на спящую въ плетушкѣ дѣвочку и мнѣ стало невыразимо жаль ея.

Что ожидаетъ тебя, бѣдная дѣвочка? подумала я. Будешь сначала пасти скотъ, будутъ тебѣ, можетъ, являться мысли объ «облакахъ», о «крыльяхъ»... Куда тебѣ обратиться? У попа тебя встрѣтятъ «отработки», у барина будутъ «цвѣты и собаки подороже тебя», дяконъ «на отдыхъ» загонитъ закуту чистить... Потомъ ты примешься за работу и будешь работать какъ лоховая лошадь, потомъ выйдешь замужъ и ужъ до того поглотятъ тебя заботы о кускѣ хлѣба, до того одолѣетъ безу-

станное труженичество, что ты, возвращаясь домой послѣ трудового дня, будешь «забывать, какъ кого звать».

Боже мой! да вѣдь это чисто животная жизнь!

Но и эта животная жизнь выпадетъ тебѣ на долю только при благополучномъ, удачномъ исходѣ твоихъ тяжкихъ трудовъ,—если тебѣ удастся занять мѣсто между «богатыми».

А если ты займешь мѣсто въ ряду «бѣдныхъ»? Господи! какъ же существуютъ «бѣдные»?

Ахъ! лучше объ этомъ не думать, позабыть!

Нервы страшно расходились...

А я такъ мечтала! О, мечты мои, мечты!...

Марко-Вовчокъ.

ТРИ ЭЛЕГИИ.

(А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ).

І.

Ахъ! что изгнанье, заточенье?
Захочетъ — выручить судьба!
Что врагъ? возможно примиренье,
Возможна равная борьба;

Какъ гнѣвъ его ни безпредѣленъ,
Онъ промахнется въ добрый часъ...
Но той руки ударъ смертеленъ,
Которая ласкала насъ!...

Одинъ, одинъ!... А ту, вѣкъ полны
Мои ревнивыя мечты,
Умчали роковыя волны
Пустой и милой суеты.

Въ ней сердце жаждетъ жизни новой,
Не сносить горестей оно
И доли трудной и суровой
Со мной не дѣлитъ ужъ давно...

И тайна все: печаль и муку
Она сокрыла глубоко,
Или рѣшилась на разлуку
Благоразумно и легко?

Кто скажетъ мнѣ?... Молчу, скрываю
Мою ревнивую печаль,
И столько счастья ей желаю,
Что-бъ было прошлаго не жаль!

Что-жъ, если сбудется желанье?...
О, нѣтъ! живеть въ душѣ моей
Неотразимое сознанье,
Что безъ меня нѣтъ счастья ей!

Все, чѣмъ мы въ жизни дорожили,
Что было лучшаго у насъ —
Мы на одинъ алтарь сложили,
И этотъ пламень не угасъ!

У береговъ чужаго моря,
Вблизи, вдали онъ ей блеснетъ
Въ минуту сиротства и горя,
И — вѣрю я — она придетъ!

Придетъ... и какъ всегда, стыдлива,
Нетерпѣлива и горда,
Потупить очи молчаливо.
Тогда... Что я скажу тогда?...

Безумецъ! для чего тревожишь
Ты сердце бѣдное свое?
Простить не можешь ты ее —
И не любить ее не можешь!...

II

Бьется сердце безпокойное,
Отуманились глаза.
Дуновение страсти знойное
Налетѣло, какъ гроза.

Вспоминаю очи ясныя
Дальней странницы моей,
Повторяю стансы страстные,
Что сложилъ когда-то ей.

Я зову ее, желанную!
Улетимъ съ тобою вновь
Въ ту страну обѣтованную,
Гдѣ вѣнчала насъ любовь!

Розы тамъ цвѣтутъ душистѣе,
Тамъ лазурнѣй небеса,
Соловьи тамъ голосистѣе,
Густолиственнѣй лѣса...

III.

Разбиты всѣ привязанности, разумъ
Давно вступилъ въ суровыя права,
Гляжу на жизнь невѣрующимъ глазомъ...
Все кончено! Съдѣтъ голова.

Вопросъ рѣшенъ: трудись, пока годишься,
И смерти жди! Она не далека...
Зачѣмъ же ты, о сердце! не миришься
Съ своей судьбой?... О чемъ твоя тоска?...

Непрочно все, что нами здѣсь любимо,
Что день—сдаемъ могилѣ мертвеца,
Зачѣмъ же ты въ душѣ неистребима
Мечта любви, не знающей конца?...

Усни... умри!...

Н. Некрасовъ.

ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ И РАЗСКАЗОВЪ О МОРСКОМЪ ПЛАВАНІИ.

I.

11-го декабря прошлаго и 6-го января нынѣшняго года, небольшое общество морскихъ офицеровъ собралось отпраздновать дружескимъ обѣдомъ двадцатилѣтнюю годовщину избавленія ихъ отъ гибели въ означенныя числа на морѣ, при крушеніи въ 1854 году въ Японіи фрегата «Діана».

На второмъ изъ этихъ обѣдовъ присутствовалъ и я, ласково приглашенный главнымъ лицомъ этой группы, въ которой было нѣсколько офицеровъ, перешедшихъ на фрегатъ «Діана» съ фрегата «Паллада».

Можетъ быть, имя этого послѣдняго фрегата напомнить нѣкоторымъ читателямъ путевыя замѣтки автора этихъ строкъ. Обращая благодарный взглядъ назадъ, къ той эпохѣ, къ плавателямъ, радушно принявшимъ меня въ свой кругъ, и къ публикѣ, ласково встрѣтившей мое незатѣйливое, но вѣрное повѣствованіе о плаваніи въ Японію, — я рѣшаюсь опять заговорить, конечно въ послѣдній разъ, объ этомъ путешествіи.

Многое возобновилось въ памяти плавателей за этимъ обѣдомъ, много приведено было забытыхъ подробностей путешествія, особенно при крушеніи «Діаны». Японская экспе-

диція была тутъ почти вся въ сборѣ, въ лицѣ главныхъ ея представителей, кромѣ бывшаго командира «Паллады» (теперь вице-адмирала и сенатора И. С. У.), и я въ этомъ, знакомомъ мнѣ кругу, сталъ какъ будто опять плователемъ и секретаремъ адмирала. Возьму же опять перо, перенесусь за двадцать лѣтъ назадъ и доскажу, между прочимъ, о томъ что случилось съ «Палладой» и какъ заключилось дальнѣйшее плаваніе моихъ спутниковъ, послѣ того, какъ я разстался съ ними.

А заключилось оно грандіозной катастрофой, именно землетрясеніемъ въ Японіи и гибелью фрегата «Діаны», о чемъ въ свое время газеты извѣщали публику. О томъ же подробно доносилъ великому князю, генералъ-адмиралу, начальнику экспедиціи въ Японію, генералъ-адъютантъ (нынѣ графъ) Е. В. Путятинъ.

Бываютъ не рѣдко страшныя и опасныя минуты въ морскихъ плаваніяхъ вообще: было нѣсколько такихъ минутъ и въ нашемъ плаваніи до береговъ Японіи. Но такіе ужасы, какіе испытали наши плователи съ фрегатомъ «Діана», почти безпримѣрны въ лѣтописяхъ морскихъ бѣдствій.

Обязанность—изложить событіе въ донесеніи—лежала бы на мнѣ, по моей должности секретаря при адмиралѣ, еслибъ я продолжалъ плаваніе до конца. Но я не жалѣю, что не мнѣ пришлось писать рапортъ: у меня не вышло бы такого капитальнаго произведенія, какъ рапортъ адмирала (Морской Сборникъ, іюль, 1855).

Я могу только жалѣть, что не присутствовалъ при эффектномъ заключеніи плаванія и что мнѣ не суждено было сдѣлать иллюстрацію и этого событія, подъ вліяніемъ собственнаго впечатлѣнія, на ряду со всѣмъ тѣмъ, что мнѣ пришлось самому видѣть и описать.

Я шутя замѣтилъ своимъ бывшимъ спутникамъ, что не совсѣмъ не имѣлъ права мѣшаться въ группу лицъ, праздновавшихъ избавленіе свое отъ гибели. Хотя я потерялъ возможность написать главу о землетрясеніи, но я могъ торжествовать,

что совершенно случайно избѣжалъ, не только гибели, которой избѣжали и они, но и выстраданной ими драмы приготовления къ ней, и потомъ продолжительныхъ и тяжелыхъ ея послѣдствій.

Въ то самое время, какъ они близки были къ гибели, я, въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ, проѣзжалъ десять тысячъ верстъ по Сибири, отъ Аяна на Охотскомъ морѣ до Петербурга и, въ свою очередь переживалъ, если не страшныя, то трудныя, иногда и опасныя въ своемъ родѣ минуты.

Всякій читатель конечно поспѣшитъ сказать, что и онъ, и всѣ другіе, не бывшіе на мѣстѣ, также точно избѣжали гибели. Да, пожалуй, съ тою только разницею, что читателю и всѣмъ другимъ — и не предстояло тамъ быть, а я, по своей обязанности, непремѣнно былъ бы, и только нечаянно избѣжалъ участія въ крушеніи.

Открылась крымская кампанія. Это совершенно измѣняло первоначальное назначеніе фрегата и цѣль его пребыванія на водахъ восточнаго океана. Дѣло, начатое съ Японіей о заключеніи торговаго трактата и объ опредѣленіи нашихъ съ нею границъ на островѣ Сахалинѣ, должно было, по необходимости, прекратиться, и адмиралъ, въ послѣднее наше пребываніе въ Нагасаки, рѣшилъ идти, сначала къ русскимъ берегамъ восточной Сибири, куда, на смѣну «Палладѣ», долженъ былъ прибыть посланный изъ Кронштадта фрегатъ «Діана», а потомъ, зайдя еще въ Японію, условиться о возобновленіи послѣ войны начатыхъ переговоровъ. Далѣе нельзя было предвидѣть, какое положеніе пришлось бы принять по военнымъ обстоятельствамъ: оставаться ли у своихъ береговъ, для защиты ихъ отъ непріятеля, или искать встрѣчи съ нимъ на открытомъ морѣ. Можетъ быть пришлось бы, по неимѣнію извѣстій о непріятелѣ, оставаться праздно въ какомъ-нибудь нейтральномъ портѣ, на примѣръ въ Санъ-Франциско, и тамъ ждать исхода войны.

Я испугался этой перспективы неизвѣстности и «ожиданія» на неопредѣленный срокъ, гдѣ бы то ни было, у нашихъ ли

пустынныхъ азіатскихъ береговъ, или хотя бы и въ такомъ новомъ для меня и занимательномъ мѣстѣ, какъ Сантъ-Франциско. Что тамъ дѣлать мѣсяцы, можетъ быть годъ или годы—ибо какъ было предвидѣть срокъ войны? Тогда Pacific Rail Road еще не было, чтобы пробраться черезъ американскій материкъ домой — и мнѣ пришлось бы отдать себя на волю случайныхъ обстоятельствъ т. е. оставаться тамъ безъ цѣли, празднымъ и лишнимъ лицомъ.

Притомъ меня, два года плаванія, не то что утомили, а утолили вполне мою жажду путешествія. Мнѣ хотѣлось домой, въ свой обычный кругъ лицъ, занятій и образа жизни.

Я намекнулъ адмиралу о своемъ желаніи воротиться. Но онъ, озабоченный начатыми успѣшно и неоконченными переговорами и открытіемъ войны, которая должна была поставить его въ неожиданное положеніе участника въ ней, думалъ, что я считалъ конченнымъ самое дѣло, приведшее насъ въ Японію. Онъ замѣтилъ мнѣ, что не совсѣмъ потерялъ надежду продолжать съ Японіей переговоры, не смотря на войну, и что слѣдовательно и мои обязанности секретаря нельзя считать конченными.

А того, что кончилось мое желаніе путешествовать, онъ не замѣтилъ, не смотря на мой глубокій вздохъ, которымъ я встрѣтилъ его отвѣтъ. Да я и не путешествовалъ, а плавалъ по службѣ. Я былъ «командированъ для исправленія должности секретаря при адмиралѣ, во время экспедиціи къ нашимъ американскимъ владѣніямъ»: такъ записано было у меня въ формулярномъ спискѣ. Слѣдовательно у меня и не было никакого права на «хочу» или «не хочу» оставаться, или воротиться. Но потомъ, послѣ нѣсколькихъ разговоровъ съ адмираломъ объ этомъ, онъ самъ сжалился. Я видимо сталъ скучать, да можетъ быть, онъ и самъ сомнѣвался, удастся ли ему идти въ Японію, такъ какъ на первомъ планѣ теперь была у него обязанность не дипломата, а война. — И вотъ онъ, неожиданно для меня, съ свойственной ему добротой,

однажды рѣшилъ: «Богъ съ вами, поѣзжайте: я знаю, что здѣсь вамъ скучно будетъ теперь.»

Я не заставилъ повторять себѣ этого приглашенія, и ни одну бумагу, въ качествѣ секретаря, не писалъ такъ усердно, какъ предписаніе себѣ самому, отъ имени адмирала, «слѣдовать до С. Петербурга, и чтобы мнѣ вездѣ «чинили свободный пропускъ и оказываемо было въ пути, со стороны начальствующихъ лицъ, всякое содѣйствіе» и т. д.

Все это происходило въ устьяхъ Амура. Фрегатъ «Діана» уже пришелъ на смѣну «Палладѣ», которая отслужила свой срокъ, состарѣлась, и притомъ избита была вытерпѣнными нами штормами, особенно у мыса Доброй Надежды, и ураганомъ въ Китайскомъ морѣ. Сначала ее хотѣли ввести въ устье Амура, но по мелководью это оказалось невозможно. Ее оставили въ Татарскомъ проливѣ, въ «Императорской бухтѣ». Ее разоружили, т. е. сняли съ нея пушки, порохъ, все что можно было снять, а ветхій остовъ ея былъ оставленъ подъ надзоромъ моряковъ и казаковъ, составлявшихъ нашъ постъ въ этой бухтѣ, съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ прихода туда французовъ и англичанъ, его затопили, не давъа непріятелю случая похвастаться захватомъ русскаго судна.

Такъ «Паллада» и кончила свое существованіе въ этой бухтѣ: отъ нея оставалось одно днище, которое вѣроятно пригодилось нашимъ людямъ, содержавшимъ тамъ постъ.

Во время этихъ хлопотъ разоруженія, перехода съ «Паллады» на «Діану», смѣны одной команды другою, отправленія сверхкомплектныхъ офицеровъ и матросовъ сухимъ путемъ въ Россію, я и выпросился домой. Это было въ началѣ августа 1854 года.

Тогда же пріѣхалъ къ намъ съ Амура бывшій генералъ губернаторъ Восточной Сибири, Н. Н. Муравьевъ, и пробывъ у насъ дня два на фрегатѣ, уѣхалъ въ Николаевскъ, куда должна была идти и шкуна «Востокъ», для доставленія его со свитою въ Аянъ, на Охотскомъ морѣ. На этой шкунѣ я и отправился съ фрегата, и съ радостью, что возвращаюсь

домой, и не безъ грусти, что долженъ разстаться съ этимъ кругомъ отличныхъ людей и товарищей.

Помню теперь еще минуту комического страха, которую я испыталъ, впрочемъ напрасно, когда, отойдя на шкунѣ съ версту отъ фрегата, мы стали на мель въ устьѣ Амурскаго лимана. Онъ весь усыянъ мелями, такъ что даже и легкая шкуна наша, и до Николаевска, и послѣ него до Охотскаго моря, безпрестанно становилась на мель. Но это ей, и всякому маленькому суду, ни почемъ. Она также легко снималась съ мелей, какъ и становилась на нихъ. Я былъ внизу въ каютѣ и располагался тамъ съ своими вещами, какъ вдругъ бывший на верху командиръ ея, покойный В. А. Римскій-Корсаковъ, крикнулъ мнѣ съ верху: «адмиралъ ѣдетъ къ намъ: не за вами ли?» Я на минуту остолбенѣлъ, потомъ побѣжалъ на верхъ, думая что Корсаковъ шутитъ, пугаетъ нарочно. Нѣтъ, не шутитъ: вонъ синяя гичка и въ ней адмиралъ! «Да, вѣрно передумалъ!» съ ужасомъ думалъ я, глядя на гичку.

Но адмиралъ пріѣхалъ за какимъ-то другимъ дѣломъ, а болѣе, кажется, взглянуть, какъ мы стоимъ на мели, или просто захотѣлъ прокатиться и еще разъ пожелать намъ счастливаго пути—теперь я уже забылъ. Тутъ мы окончательно разстались до Петербурга.

II.

Обращаюсь къ выше сказаннымъ мною словамъ о страшныхъ и опасныхъ минутахъ, испытанныхъ нами въ плаваніи.

«Страшныя» и «опасныя» минуты—это не синонимы, какъ не синонимы и самыя слова «страхъ» и «опасность» вообще,—на морѣ особенно. Страшныхъ минутъ для иныхъ вовсе не существуетъ, для другихъ—ихъ множество. Это зависитъ отъ привычки или непривычки къ морю, т. е. отъ знакомства или незнакомства съ его характеромъ, съ устройствомъ и управленіемъ корабля, и наконецъ отъ нервозности характера или воспитанія плователя. Новичку все кажется страшно

или сомнительно на кораблѣ. «Пошелъ всѣ на верхъ!» скомандуетъ боцманъ, и четыреста человѣкъ бросятся, какъ угорѣлые, точно спасать кого-нибудь или сами спастись отъ гибели, затопаютъ по палубѣ, полѣзутъ на ванты: незнающій дѣла или нервозный человѣкъ вздрогнетъ, подумаетъ, что случилась какая нибудь бѣда. Ничего не бывало: надо прибавить или убавить парусовъ, или что нибудь въ этомъ родѣ. А тамъ загремитъ бѣгущій по роульсамъ (колесцамъ) канатъ. Не то такъ отъ качки, какъ будто съ отчаянія, распахнетъ свои дверцы какой нибудь шкапъ въ каютѣ, и вся его внутренность, т. е. посуда, — съ трескомъ и звономъ полетитъ во всѣ стороны и разобьется въ дребезги. Чего не представится испуганному воображенію новаго пловца при этомъ трескѣ! Минута — «страшная», но только развѣ для буфетчика, который не заперъ крѣпко дверцы и которому за это достанется.

Такъ и мнѣ, не ходившему дотолѣ никуда въ море, далѣе Кронштадта и Петергофа, приходилось часто впадать въ сомнѣніе или страхъ при этихъ, по не привычкѣ, «страшныхъ», но вовсе не «опасныхъ» шумахъ, трескахъ, бѣготнѣ, пока я не ознакомился съ правилами и обычаями морскаго быта.

Другое дѣло «опасныя» минуты: онѣ не часты, и даже иногда вовсе не замѣтны, пока опасность не превратится въ прямую бѣду. И мнѣ случалось забывать или, по невѣдѣнію, прозѣвать испугаться тамъ, гдѣ бы къ этому было больше повода, нежели при паденіи посуды изъ шкафа, иногда самага шкафа, или дивана.

О многихъ «страшныхъ» минутахъ я подробно писалъ въ своемъ путево́мъ журналѣ, но почти не упомянулъ объ «опасныхъ»: онѣ не сдѣлали на меня впечатлѣнія, не потревожили нервъ — и я забылъ ихъ, или, какъ сказалъ сейчасъ, прозѣвалъ испугаться, отъ того вѣроятно прозѣвалъ и описать. Упомяну теперь два-три такихъ случая.

Идучи на фрегатѣ «Паллада» изъ Кронштадта въ Англію, мы проходили Зундъ.

Я писалъ тогда, какъ неблагопріятно было наше плаваніе по Балтійскому морю, въ октябрьскую холодную погоду, при противныхъ вѣтрахъ и туманахъ. Кромѣ того, какъ я тоже писалъ, у насъ умерло три человѣка отъ холеры. И привычнымъ людямъ казалось трудно такое плаваніе, а мнѣ, новичку, оно было еще невыносимо и потому, что у меня, отъ осенняго холода, возобновились жестокіе припадки, которыми я давно страдалъ, невралгій съ головными и зубными болями. Въ каютѣ, отъ вѣшняго воздуха, съ дождемъ, отчасти съ морозомъ, защищала одна рама въ маленькомъ окнѣ.

Иногда я приходилъ въ отчаяніе. Какъ, при этихъ боляхъ, я выдержу двухъ-или трехъ-годичное плаваніе? Я слегъ и утѣшалъ себя только мыслью, что, добравшись до Англіи, вернусь назадъ. И къ этому еще туманы, качка и холодъ!

Съ приближеніемъ къ Даніи, воздухъ сталъ гораздо мягче, теплѣе, но туманы продолжались. При входѣ въ Зундъ, мы, какъ всегда дѣлается въ узкихъ проходахъ, вызывали конечно лодмана, чтобы провести насъ проливомъ. Вызываютъ обыкновенно лодманскимъ флагомъ, потомъ, если флагъ не видѣнъ, палятъ изъ пушки. Но вѣроятно флага, за туманомъ, съ берегу не было видно, (я теперь забылъ эти подробности) а пушка могла палить и по другой причинѣ: что бы ни было, но лодманъ не явился. Мы шли, такъ сказать, ощупью, подвигаясь тихо, осторожно, но все же подвигались: нельзя же стать въ открытомъ морѣ на одномъ мѣстѣ. Когда туманъ совсемъ прояснился, мы были уже въ проливѣ.

Было тепло, мнѣ стало легче, я вышелъ на палубу. И теперь еще помню, какъ поразила меня прекрасная, тогда новая для меня картина чужихъ береговъ, датскаго и шведскаго.

Обаяніе, производимое величественною картинностью моря и береговъ, возымѣло свое дѣйствіе надо мною. Я невольно отдавался ему, но потомъ опять возвращался къ своимъ сомнѣніямъ: привыкну ли къ морской жизни, дадутъ ли мнѣ покой ревматизмы? Море, и тянетъ къ себѣ, и пугаетъ, пока не привыкнешь къ нему. Такое состояніе духа очень наивно выра-

зила мнѣ одна французенка, во Франціи, на морскомъ берегу, во время сильнѣйшей грозы, въ своемъ отвѣтѣ на мой вопросъ: «любить ли она грозу?» «Oh, monsieur, c'est ma passion» восторженно сказала она: «mais... je suis mal à mon aise!»

Капитанъ, и такъ называемый «дѣдъ», хорошо знакомый читателямъ «Паллады», старшій штурманскій офицеръ (нынѣ генералъ)—оба были наверху и о чемъ-то горячо и заботливо толковали. «Дѣдъ» безпрестанно бѣгалъ въ каюту, къ картѣ, и возвращался. Затѣмъ оба зорко смотрѣли на оба берега, на море, въ напрасномъ ожиданіи лощмана. Я все любовался на картину, особенно на цѣлую стаю купеческихъ судовъ, которыя, какъ утки, плыли кучей и все жались къ шведскому берегу, а мы шли почти по срединѣ, нѣсколько ближе къ датскому.

Тревожился по минутно капитанъ, тревожился и дѣдъ, и не разъ конечно называлъ лощмана за неявку «каторожнымъ». Онъ побѣждалъ въ двадцатый разъ внизъ. Вдругъ капитанъ послалъ поспѣшно за нимъ.

Они, казалось, оба были чѣмъ-то поражены.

— Мы на мели! дошли до моего слуха тихія слова.

Я пощупалъ ногой палубу: она перестала двигаться, ноги стояли будто на землѣ.

Я смотрѣлъ на все это разсѣяннo и слушалъ съ большимъ равнодушіемъ, что говорили кругомъ. Меня убаюкивалъ тихій плескъ моря, теплая погода и поглощала картина новыхъ береговъ, а еще болѣе радовала затихшая головная и зубная боль.

— Какая благодать! говорилъ я себѣ, ощутивъ подъ ногами неподвижныя доски палубы.

Но что за суматоха поднялась на фрегатѣ — «изъ за такихъ пустяковъ!» думалъ я.

Засвистали всѣхъ на верхъ, поднялась возня, шумъ: «спускать шлюбу!» заводить верпы!» только и слышалось. Офицеры, кто спалъ, кто читалъ или писалъ, всѣ принялись за дѣло.

«Верпы» — маленькіе якоря, которые завеза на нѣсколько

десятьковъ сажень отъ фрегата, бросаютъ на дно, а канатъ отъ нихъ наматываютъ на шпиль, и вертять послѣдній, чтобы такимъ образомъ сдвинуть судно съ мѣста. Это — своего рода домашній способъ помогать дѣлу, какъ употребляютъ домашній способъ тушить огонь, до прибытія пожарной команды.

Но тяжелый нашъ фрегатъ, съ грузомъ, не на одну сотню тысячъ пудъ, точно обрадовался случаю и легъ прочно на песокъ, какъ иногда добрый пьяница, тоже «нагрузившись» и долго шлепая невѣрными стопами по грязи, вдругъ возьметъ да и ляжетъ средь дороги. Напрасно трезвый товарищъ толкаетъ его въ бока, приподнимаетъ, то руку, то ногу, иногда голову. Рука, нога и голова падаютъ снова, какъ мертвыя. Гуляка лежитъ тяжело, неподвижно и безнадежно, пока не придутъ двое «городовыхъ» на помощь.

И фрегатъ, потрогиваемый слабыми верпами, какъ будто подается, поползетъ, крякнетъ, раздадутся радостныя восклицанія, — а онъ ни съ мѣста. Нѣтъ, надо послать за «городовыми». И послали.

Смотрѣлъ я на всю эту суматоху и дивился: «вотъ привычные люди, у которыхъ никакихъ «страшныхъ» минутъ не бываетъ, а теперь какъ будто боятся! На мели: великая важность! Постоять, да и сойдеть, какъ задуетъ вѣтеръ посвѣжѣе, заколеблется море», — думалъ я, твердо шагая по твердой палубѣ. Неопытный слѣпецъ!

— Подступиться развѣ въ нимъ и спросить, что ихъ такъ тревожитъ? — Приступу нѣтъ: и не глядеть!

Я помню только, что одинъ изъ офицеровъ, баронъ Ш. одѣлся въ форму и поспѣшно посланъ былъ въ Копенгагенъ за пароходомъ, помочь намъ сняться съ мели.

Пока моряки переживали свою «страшную» минуту, не за себя, а за фрегатъ конечно — я и другіе, неприкосновенные въ дѣлу, пили чай, ужинали, и какъ у себя дома, легли спать. Это въ первый разъ послѣ тревогъ холода, качки!

— «Какая благодать!» — твердилъ я, ложась, какъ на бе-

регу, дома, на неподвижную постель. «Завозите себѣ тамъ верпы, а я усну, какъ давно не спалъ»!

Чуть ли не грезилось мнѣ тогда во снѣ, что мы дальше не пошли, а такъ на мели и остались, что морское начальство въ Петербургѣ соскучилось ждать, когда мы сдвинѣмся, и отложило экспедицію, и что мы всѣ воротились домой безмятежно спать на неизблемыхъ ложахъ.

Но подъ утро, сквозь сонъ, я услышалъ шумъ свистка, почувствовалъ, какъ моя койка закачалась подо мной, и какъ насъ потащилъ могучій «городовой», пароходъ изъ Копенгагена. Тогда, кажется, явился и лоцманъ.

На другой день, когда вышли изъ Зунда, я спросилъ, отчего всѣ были въ такой тревогѣ, тѣмъ болѣе, что средство, т. е. Копенгагенъ и пароходъ, были подъ рукой? Тогда только объяснили мнѣ техническую сторону дѣла: что значить, когда судно «притенется» къ мели. Прежде всего, даже легкое притененіе что нибудь попортить въ килѣ, или въ обшивкѣ (у нашего фрегата дѣйствительно, какъ оказалось при осмотрѣ въ Портсмутскомъ докѣ, оторвалось нѣсколько листовъ мѣдной обшивки, а безъ обшивки плавать нельзя, ибо-де къ дереву пристають во множествѣ морскія инфузоріи и точать его), а главное: еслибъ задулъ свѣжій вѣтеръ и развелъ волненіе, тогда фрегатъ не сошелъ бы съ мели, какъ я, по младенчеству своему въ морскомъ дѣлѣ, полагалъ, а разбился бы въ щепы!

— «И опять таки мы всѣ воротились бы домой»!—думалъ я, дополняя свою грезу: берегъ близко, рукой подать: не утонули бы мы, а я еще немного и плавать умѣю.» — Опять неопытность! Умѣть плавать въ тихой водѣ, въ рѣчкахъ, да еще въ купальняхъ, и плавать по морскимъ, расхолодившимся волнамъ—это неизмѣримая, какъ я убѣдился послѣ, разница. Въ послѣднемъ случаѣ рѣдкій матросъ, привычный пловецъ, выплываетъ.

Такимъ образомъ «опасная» минута, продолжавшаяся ночь, была мною вовсе не замѣчена.

Но не на морѣ только, а вообще въ жизни, на всякомъ

шагу, грозятъ намъ опасности, часто, къ спокойствію нашему, не замѣчаемыя. Зато, какъ будто для уравновѣшенія хорошаго съ дурнымъ, всюду разсыяно много «страшныхъ» минутъ, гдѣ воображеніе подозрѣваетъ опасность, которой нѣтъ. На море въ этомъ отношеніи много клепаютъ напрасно, благодаря «страшнымъ», въ глазахъ непривычныхъ людей, минутамъ. И я бывалъ въ числѣ послѣднихъ, пока не былъ на морѣ.

Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы и сами моряки были вовсе нечувствительны ко всѣмъ случайностямъ, постигающимъ плавателей. Не изъ камня же они: люди—вездѣ люди, и искренній морякъ,—а моряки почти всѣ таковы,—всегда откровенно сознается, что онъ не бываетъ вполнѣ равнодушенъ къ труднымъ или опаснымъ случаямъ, переживаемымъ на морѣ. Бываетъ и у моряка—и тяжело и страшно на душѣ, и онъ нерѣдко про себя, подъ вліяніемъ такихъ минутъ, рѣшается—не ходить больше въ море, лишь только доберется до берега. А поживши недѣлю, другую, мѣсяцъ на берегу—его неудержимо тянетъ опять на любимую стихію, къ извѣстнымъ ему испытаніямъ.

Но морякъ, конечно, не потревожится никогда пустыми страхами воображенія,—и не поддастся мелочнымъ и малодушнымъ опасеніямъ на каждомъ шагу, по привычкѣ къ морю съ ранней молодости.

III.

По приходѣ въ Англію, забылись и страшныя и опасныя минуты, головная и зубная боли прошли, благодаря неожиданно хорошей для тамошняго климата погодѣ, и мы, проживъ тамъ два мѣсяца, пустились далѣе. Я забылъ и думать о своемъ намѣреніи воротиться, хотя адмиралъ, узнавъ о моей болѣзни, соглашался было отпустить меня. Впередъ, дальше, манило новое. Тамъ, въ заманчивой дали, было тепло и ревматизмы невѣдомы.

помяну о пережитой мною въ Англіи морально-страш-

ной для меня минутъ, которая, не относясь къ числу морскихъ тревоженій, касается, однакоже, все того же путешествія, и она задала мнѣ тревоги больше всякой качки.

Адмирала съ нами не было: онъ прежде фрегата уѣхалъ одинъ въ Англію дѣлать разныя приготовленія къ продолжительному плаванію, и между прочимъ приобрѣлъ тамъ шкуну «Востокъ», для плаванія вмѣстѣ съ «Палладой», и занимался снаряженіемъ ея, и разными другими дѣлами. Въ Петербургѣ я видѣлъ его мелькомъ, и уже на Портсмутскомъ рейдѣ явился къ нему въ качествѣ секретаря и послѣдовалъ за нимъ въ Лондонъ. Онъ сейчасъ же поручилъ мнѣ написать нѣсколько бумагъ въ Петербургъ, между прочимъ изложить кратко исторію нашего плаванія до Англіи, и вмѣстѣ о томъ, какъ мы «притянулись» къ мели, и о необходимости ввести фрегатъ въ Портсмутскій докъ, отчасти для осмотра поврежденія, а еще болѣе для приспособленія къ фрегату, тогда еще новаго, водо-опрыснительнаго пароваго аппарата.

Онъ мнѣ показалъ бумаги, какія самъ писалъ до моего пріѣзда въ Лондонъ. Я прочиталъ и увидѣлъ, что... ни за что не напишу такъ, какъ онъ написаны, т. е. такимъ строгимъ, точнымъ и сжатымъ стилемъ: просто не умѣю!

«Зачѣмъ ему секретарь?» — въ страхѣ думалъ я: «онъ пишетъ лучше всякихъ секретарей: зачѣмъ я здѣсь? Я — лишній!» Мнѣ стало жутко. Но это было только начало страха. Это опасеніе я кое-какъ одолѣлъ мыслью, что если адмиралу не недостаетъ умѣнья, то неостанетъ времени самому писать бумаги, вести всю корреспонденцію и излагать на бумагу переговоры съ японцами.

Самое худшее было впереди, когда я вернулся изъ Лондона въ Портсмутъ, и когда надо было излагать въ рапортѣ исторію плаванія до Англіи и причины ввода фрегата въ докъ. Я думалъ, что это ровно ничего не значить. Я помнилъ каждый шагъ и каждую минуту — и вотъ взять только перо да и строчить привычной рукой: было, молъ. холодно, вѣтеръ дулъ, вачало, или было тепло, вотъ *принхали* въ

Данію.... (Боже васъ сохрани сказать когда-нибудь при морякѣ, что вы на кораблѣ «пріѣхали»: покраснѣютъ! «Пришли», а не пріѣхали!) Нѣтъ — вижу, не клеится. Ничего не выходитъ. «А вы возьмите,—«говорятъ»—шканечный журналъ, гдѣ шагъ за шагомъ описывается все плаваніе». Кромѣ того, я взялъ еще книги и бумаги подобнаго содержанія. Погляжу въ одну, въ другую бумагу, или книгу, потомъ въ шканечный журналъ и читаю:

«Положили марсель на стенгу», — «взяли гротъ на гитовы», — «ворочали оверштагъ», — «привели фрегатъ въ вѣтру», — «легли на правый галсъ» — «шли на фордевиндъ», «обрасопили рей»... вѣтеръ дулъ NNO или SW». А тамъ слѣдуютъ «утлегаръ» «ахтеръ-штевень» — «шкюты» «брассы» «фалы» и т. д. и т. д. Этими фразами и словами, какъ бисеромъ, унизанъ былъ весь журналъ. «Боже мой, да я ничего не понимаю!» — думалъ я въ ужасѣ, царапая сухимъ перомъ по бумагѣ: — «хоть убей, ничего! Зачѣмъ я поѣхалъ!»

Мнѣ припомнилась школьная свамья, гдѣ сидя, бывало, мучаешься до пота надъ «мудренымъ» переводомъ съ латинскаго или нѣмецкаго языковъ, а учитель, какъ теперь адмиралъ, торопитъ, спрашиваетъ: «скоро ли? готово ли? Покажите говорить, мнѣ, прежде нежели дадите переписывать»...

— «Что я покажу?» ворчалъ я въ отчаяніи, глядя на бѣлую бумагу. Среди этихъ терминовъ, изъ живаго слова только и остаются нѣсколько глаголовъ, и между ними еще вспомогательный: много помощи отъ него!

Въ трехнедѣльный переѣздъ до Англіи, я, конечно, слышалъ часть этихъ выраженій, но пропускалъ мимо ушей, не предвидя, что они, въ теченіи двухъ, трехъ лѣтъ, будутъ моею, почти единственной литературой.

«Зачѣмъ я здѣсь? А если ужъ понесло меня сюда, то зачѣмъ я не воспользовался минутнымъ расположеніемъ адмирала отпустить меня и не уѣхалъ? Ахъ, хоть бы опять заболѣли зубы и голова!» — мысленно вопилъ я про себя, отвращая взглядъ отъ шканечнаго журнала.

Кромѣ этихъ терминовъ, цѣликомъ перешедшихъ къ намъ при Петрѣ Великомъ изъ голландскаго языка и усвоенныхъ нашимъ флотомъ, выработалось въ морской практикѣ еще свое особое русское нарѣчіе. Напримѣръ, моряки говорятъ и пишутъ: «приглубый берегъ», т. е. имѣющій достаточную глубину для кораблей. Это очень хорошо выходитъ по русски, такъ же какъ напримѣръ выраженіе: «остойчивый» «остойчивость», т. е. прочное, надлежащее сидѣнье корабля въ водѣ;—«навѣтренная» и «подвѣтренная» сторона, или еще: «отстояться на якорѣ, т. е. воспротивиться напору вѣтра и т. д., очень много. Нѣкоторые изъ этихъ выраженій и подобные имъ, напримѣръ, «вытравливать (вмѣсто выпускать) канатъ или веревку»,—и т. п. просятся въ русскую рѣчь и не въ морскомъ быту. Но за то мелькаютъ между ними—очень рѣдко конечно, и другія—съ натяжкой, съ насиліемъ языка. Напримѣръ, моряки пишутъ: «такой-то фрегатъ гдѣ нибудь въ бухтѣ» стоялъ «мористо»,—это уже не хорошо, но еще хуже—«мористѣе», въ сравнительной степени. Не морскому читателю, конечно, въ голову не придетъ, что «мористо» значитъ близко, а «мористѣе» ближе къ открытому морю, нежели къ берегу.

Словомъ, свой бытъ, нравы, свой языкъ и цѣлая литература! Не помню, какъ я раздѣлался съ первымъ рапортомъ: вѣроятно я написалъ его береговымъ, а адмиралъ украсилъ морскимъ слогомъ—и бумага пошла. Потомъ и я ознакомился съ этимъ языкомъ и многое не забылъ и до сихъ поръ.

IV.

Теперь перенесемся въ Восточный Океанъ, въ двадцатые градусы сѣверной широты, къ другой «опасной» минутѣ, пережитой у Ликейскихъ острововъ, о которой я ничего не сказалъ въ свое время. Я не упоминаю объ ураганѣ, встрѣченномъ нами въ Китайскомъ морѣ, у группы острововъ Баши,

когда у насъ зашаталась гротъ-мачта, грозя рухнуть и положить на бокъ фрегатъ. Объ этомъ я подробно писалъ.

Въ путешествіи своемъ, въ главѣ: «Ливейскіе острова», я вскользь упомянулъ, что два дня передъ приходомъ нашимъ на Ливейскій рейдъ дулъ крѣпкій вѣтеръ, мѣшавшій намъ войти—и больше ничего. Вотъ этотъ вѣтеръ чуть не надѣлалъ намъ большой бѣды.

Мы подходили къ островамъ около вечера. На глазомѣръ оставалось версты три—и намъ слѣдовало зайти за коралловый рифъ, кривой линіей опоясывавшій все видимое пространство главнаго, большаго острова. Издали чуть чуть видно было, какъ буруны перекачивались, играя пѣной, черезъ каменную гряду. Въ этой грядѣ было два входа на рейдъ, одинъ узкій съ сѣвера, другой еще уже — съ юга. Фрегату входить надо было очень вѣрно, какъ каретѣ вѣзжать въ тѣсныя ворота, чтобы не наткнуться на рифъ. Адмиралъ не рѣшился въ сумерки рисковать и предпочелъ подождать разсвѣта. Отдали якорь при тихомъ, ласковомъ вѣтрѣ, въ теплой, южной ночи—и заранѣе тѣшились надеждой завтра погулять по новымъ прелестнымъ мѣстамъ. Наши суда: «Князь Меншиковъ» и шкуна «Востокъ», кажется, оба—(забылъ теперь) уже пришли прежде насъ и проскользнули въ узкости легко. Небольшимъ судамъ, неглубоко сидящимъ въ водѣ—это ни по чемъ. Офицеры оттуда пріѣзжали къ намъ и уѣхали.

Вдругъ около полуночи задулъ вѣтеръ, не съ берега, а съ океана къ берегу—а мы въ этомъ океанѣ стояли на якорѣ! Отдали другой якорь — и готовились бороться съ неожиданнымъ и внезапнымъ врагомъ. Мы, не моряки, спали опять безмятежно и безмятежныѣ всѣхъ—я. По своему береговому, не совсѣмъ еще въ морскомъ дѣлѣ окрѣпшему понятію, я все думалъ, что стоять на мѣстѣ все таки лучше, нежели ходить по морю. Оно, пожалуй, и такъ, если стоять во время шторма въ закрытомъ портѣ, но мы стояли въ океанѣ! Такъ провели ночь, безпокойно, т. е. они, моряки, слѣдя за успѣхами вѣтра. На другой день, около полудня, вѣтеръ сталъ стихать: на-

чали сниматься съ якоря—и только что второй якорь «всталъ» (со дна) и поставлены были марселя (паруса), какъ раздался крикъ вахтеннаго: «Дрейфуетъ!» (тащить). «Отдать якорь!» вслѣдъ за тѣмъ немедленно раздалась команда.

Все это, т. е. команда и отдача якорей, уборка парусовъ продолжалось нѣсколько минутъ, но фрегатъ успѣло «подрейфовать» силой вѣтра и теченія версты на полторы ближе къ рифамъ. А вѣтеръ опять задулъ крѣпче. Отданъ былъ другой якорь (ихъ всѣхъ четыре на большихъ военныхъ судахъ)—и мы стали въ виду каменной гряды. До насъ достигалъ шумъ перекачивающихся буруновъ.

Я—ничего себѣ: всматривался въ отрывшіяся теперь со-всѣмъ подробности новаго берега, глядѣлъ не безъ удовольствія, какъ скачутъ черезъ камни, точно бѣшенныя бѣлыя лошади, буруны, кипя пѣной; наблюдалъ, какъ начальство безпокоится, какъ появляется иногда и задумчиво поглядываетъ на рифы адмиралъ, какъ всѣ примолкли и почти не говорятъ другъ съ другомъ. Да и нечего говорить, развѣ только спрашивать: «выдержать ли якорныя цѣпи и канаты напоръ вѣтра, или нѣтъ?» Вопросъ, похожій на гоголевскій вопросъ: «дойдетъ, или не дойдетъ колесо до Казани?»—Но для насъ онъ былъ и гамлетовскимъ вопросомъ: быть или не быть?—Чуть вѣтеръ тише—ну, надежда: выдержать; а заревѣлъ и натянулъ канаты—сомнѣніе и злоба. А фрегатъ такъ и возить взадъ и впередъ, насколько позволяютъ канаты обоихъ якорей—и вотъ-вотъ немножко еще—трахъ... и...

— «И что?»—допытывался я уже на другой день на рейдѣ, ибо тамъ, за рифами, опять ни къ кому приступу не было: такъ всѣ озабочены. Да почему то и не ловко было спрашивать, какъ бываетъ не ловко заговаривать, гдѣ есть трудный больной въ домѣ, о томъ: выздоровѣетъ онъ, или умретъ?

— «Какъ что! Лопни канаты—и черезъ нѣсколько минутъ фрегатъ наваливается на рифы: ну—и въ щепы!»

— «Сейчасъ и въ щепы! хорошо, положимъ—и въ щепы. Конечно, это огромная бѣда, но все же люди спасутся...

— «Тутъ, у этихъ рифовъ, при этомъ волненіи? Подите!»

Я не унывалъ нисколько, отчасти потому, что мнѣ казалось невѣроятнымъ, чтобы цѣпи — канаты двухъ, наконецъ трехъ, и даже четырехъ якорей, не выдержали, а главное — берегъ близко. Онъ, а не рифы, былъ для меня «каменной стѣной», на которую я безконечно и возлагалъ все упованіе. Это совершенно усыпляло всякій страхъ, и даже подозрѣніе опасности, когда она была очевидна. И я смотрѣлъ на всю эту «опасную» двухъ-дневную минуту, какъ на дѣло, до меня нисколько не касающееся.

И только на другой день, на берегу, вполне вникнувъ я въ опасность положенія, когда въ разговорахъ объ этомъ выяснилось, что между берегомъ и фрегатомъ, при этихъ огромныхъ, какъ горы, волнахъ, сообщенія на шлюбкахъ быть не могло, что еслибъ фрегатъ разбился о рифы, то ни наши шлюбки, а ихъ шесть—семь, и большой барказъ, — ни шлюбки съ другихъ нашихъ судовъ, не могли бы спасти и пятой части всей нашей команды. При волненіи, онѣ, т. е. шлюбки, имѣли бы полный комплектъ гребцовъ, и мѣста для другихъ почти не было бы совсѣмъ, развѣ для какихъ нибудь десяти человѣкъ на шлюбку, а насъ всѣхъ было болѣе четырехъ сотъ. И тѣ десять человѣкъ стѣсняли бы свободныя дѣйствія гребцовъ и не при этомъ океанскомъ волненіи. «И просто не выгresti бы на такихъ волнахъ!» говорили мнѣ.

Бывшіе на берегу офицеры съ американскаго судна сказывали, что они ожидали уже услышать ночью съ нашего фрегата пушечныя выстрѣлы, извѣщающіе о критическомъ положеніи судна, а англійскій миссіонеръ говорилъ, что онъ молился о нашемъ спасеніи.

Однако лейтенантъ Савичъ чуть ли не на двойкѣ (двухъ-весельной шлюбкѣ) съ двумя гребцами, изволилъ оттуда прокатиться до насъ по этимъ волнамъ — «посмотрѣть, что вы тутъ дѣлаете», сказалъ онъ. И посидѣвши съ нами, также отправился назадъ. И теперь помню, какъ скорлупка-двойка вдругъ пропадала изъ глазъ, будто проваливалась въ глубину между

двухъ водяныхъ горъ, и долго не видно было ея, и потомъ всползала опять бокомъ на гребень волны. Я не спускалъ глазъ съ Савича, пока онъ не скрылся за рифъ и, конечно, не у него, а у меня сжималось сердце страхомъ: „вотъ, вотъ кувырнется и не появится больше!“

Провели мы еще, что называется, *mauvais quart d'heure* въ Татарскомъ проливѣ, гдѣ мы медленно подвигались къ устьямъ Амура. Офицеры на шлюбкахъ посылались впередъ для измѣренія глубины—и по ихъ слѣдамъ шелъ тихо и фрегатъ, безпрестанно останавливаясь, иногда въ ожиданіи прилива. И вотъ въ одинъ вечеръ стали на якорь на хорошей глубинѣ. По сторонамъ видны были оба берега, Манджурскій и острова Сахалина,—и очень близко. Мы расположились покойно. Утромъ стали сниматься съ явора, поставили гротъ-марсель, и въ это время фрегатъ потащило нѣскольکو десятковъ сажень впередъ. Якорь опять отдали. Глубины подъ килемъ все таки оказалось достаточно, но далѣе подвигаться не рѣшили, ожидая, что съ приливомъ воды прибудетъ. Но оказалось, что мы стоимъ уже на большой водѣ, на приливѣ, и вскорѣ вода начала убывать, и когда убыла, подъ килемъ оказалось всего фута три, четыре.

Вотъ тутъ и началась опасность. Вѣтеръ немного засвѣжѣлъ и, помню я, какъ фрегатъ сталъ бить объ дно. Сначала было два, три довольно легкихъ удара. Затѣмъ такъ треснуло, что затрещали шлюбки на боканцахъ и марсы (балконы на мачтахъ). Всѣ, бывшіе въ каютахъ, выскочили въ тревогѣ, а тутъ еще ударъ, еще и еще. Потонуть было трудно: оба берега въ какой-нибудь верстѣ; мѣстами, на отмеляхъ, вода была по поясъ человѣку.

Но если-бы удары продолжались чаще и сильнѣе, то корпусъ тяжело-нагруженного и вооруженнаго фрегата, конечно, могъ бы раздаться, и рангоутъ, т. е. верхнія части мачтъ и реи, полетѣть внизъ. А такъ какъ эти деревья, кажущіяся снизу лучинками, вѣсятъ, которое двадцать, которое десять

пудъ, — то всѣмъ намъ приходилось тоскливо стоять внизу и ожидать, на кого они упадутъ.

Послѣ смѣшно было вспоминать, какъ, при каждомъ ударѣ и трескѣ, всѣ мы проворно переходили одни на мѣсто другихъ на палубѣ. «Страшновато» было! какъ говорилъ, бывало, я въ подобныхъ случаяхъ спутникамъ. Впрочемъ все это продолжалось, можетъ быть, часа два, пока не начался опять приливъ, подбавившій воды, и мы снялись и пошли дальше.

У.

Мы подвергались опасностямъ и другаго рода, хотя не морскимъ, но весьма вѣроятнымъ тогда, и обязательнымъ, такъ сказать, для военнаго судна, которыхъ не только нельзя было избѣгать, но должно было на нихъ напрашиваться. Это встрѣча и схватка съ непріятельскими судами. Сколько помню, адмиралъ и капитанъ неоднократно рѣшались на отважный набѣгъ къ берегамъ Австраліи, для захвата англійскихъ судовъ, и кажется, если не ошибаюсь, только неувѣренность, что наша старая, добрая Паллада выдержитъ еще продолжительное плаваніе отъ Японіи до Австраліи, удерживало ихъ, а еще, конечно, и неувѣренность, по неизмѣнно нивакихъ извѣстій, застать тамъ чужія суда. Въ послѣднее наше пребываніе въ Шанхаѣ, въ декабрѣ 1853 г., и въ Нагасаки, въ январѣ 1854 г., до насъ еще не дошло извѣстіе объ окончательномъ разрывѣ съ Турціей и Англіей; мы знали только, изъ запоздавшихъ газетъ и писемъ, что близко къ тому—и больше пока ничего. Я помню, что въ Шанхаѣ ко мнѣ все приставалъ лейтенантъ англійскаго флота, кажется Скоттъ, чтобъ я поддерживалъ съ нимъ пари о томъ, будетъ ли война или нѣтъ? Онъ утверждалъ, что не будетъ, я былъ противнаго мнѣнія. Пари не состоялось, и мы ушли сначала въ Нагасаки, потомъ въ Манилу — все еще въ невѣдѣніи о томъ, въ войнѣ

мы уже, или нѣтъ — и съ каждымъ днемъ ждали извѣстія и въ каждомъ встрѣчномъ суднѣ предполагали непріятеля.

Въ этой неизвѣстности о войнѣ пришли мы и въ Маниллу и застали тамъ на рейдѣ военный французскій пароходъ. Ни мы, ни французы не знали, какъ намъ держать себя другъ съ другомъ, и визитами мы не мѣнялись, какъ это всегда дѣлается въ обыкновенное время. Пробывъ тамъ недѣли три, мы ушли, но передъ уходомъ узнали, что тамъ же ожидали англійскую эскадру.

Такъ какъ мы могли встрѣтить ее, или французскія суда, и можетъ быть съ извѣстіями объ открытіи военныхъ дѣйствій, — то у насъ готовились къ этой встрѣчѣ и приводили фрегатъ въ боевое положеніе. Капитанъ поговаривалъ о томъ, что, въ случаѣ одолѣнія превосходными непріятельскими силами, необходимо-де поджечь пороховую камеру и взорваться.

Всѣ были болѣе или менѣе въ ожиданіи, много говорили, готовились, смотрѣли въ зрительныя трубки во всѣ стороны.

Одинъ только о. Аввакумъ, нашъ добрый и почтенный архимандритъ, относился ко всѣмъ этимъ ожиданіямъ пассивно, какъ почти и ко всему. невозмутимо-покойно, и даже скептически. Какъ онъ самъ лично не имѣлъ враговъ, всѣми любимый, и самъ всѣхъ любившій, то и не предполагалъ ихъ нигдѣ и ни въ комъ: ни на морѣ, ни на сушѣ, ни въ людяхъ ни въ корабляхъ. Если у него и была вражда, такъ это развѣ къ большой пушкѣ, какъ совершенно ненужному въ его глазахъ предмету, которая стояла въ его каютѣ и отнимала у него много простора и свѣту.

Онъ жилъ въ своемъ особомъ мірѣ идей, знаній, добрыхъ чувствъ—и въ сношеніяхъ со всѣми нами былъ одинаково дружелюбенъ, привѣтливъ. Мудреная наука жить со всѣми въ мирѣ и любви была у него не наука, а сама натура, освященная принципами глубокой и просвѣщенной религіи. Это давалось ему легко: ему не нужно было умѣнья—онъ инымъ быть не могъ. Онъ не вмѣшивался никогда не въ свои дѣла, никому ни въ чемъ не навязывался, былъ скромнень, не старал-

ся выставить себя и не претендовалъ на право собственныхъ, неотъемлемыхъ заслугъ, а оказывалъ ихъ молча и много—и своими познаніями, и нравственнымъ вліяніемъ на весь кружокъ плавателей, не поученіями и проповѣдями, на которыя не былъ щедръ, а просто примѣромъ ровнаго, покойнаго характера и кроткой, почти младенческой души.

Въ бесѣдахъ умъ его приправлялся часто солью легкаго, и всегда добродушнаго юмора.

Кажется, я смѣло могу поручиться за всѣхъ моихъ товарищей плаванія, что ни у кого изъ нихъ не было съ этою прекрасною личностію ни одной непріятной, даже досадной минуты.... А если бывали, то вотъ развѣ какого комическаго свойства. Напримѣръ, помню, однажды, гуляя со мной на шканцахъ, онъ вдругъ... плюнулъ на палубу. Ужасъ!

Шканцы—это нѣчто въ родѣ корабельной кожи, самое парадное, почти священное мѣсто. Палуба—скоблится, трется кирпичомъ, моется почти каждой день и блеститъ, какъ стекло.

А о. Аввакумъ—разчихался, разморгался и — плюнулъ. Я помню взглядъ изумленія вахтеннаго офицера, брошенный на него, потомъ на меня. Онъ сдѣлалъ такое же усиліе надъ собой, чтобъ воздержаться отъ какого нибудь замѣчанія, какъ я—отъ смѣха. «Какъ жаль, что онъ—не матросъ!» шепнулъ онъ мнѣ потомъ, когда о. Аввакумъ отвернулся. Долго помнилъ эту минуту офицеръ, а я долго веселился ею.

Въ другой разъ, гдѣ-то въ поясахъ сплошнаго лѣта, при безвѣтріи, мы прохаживались съ о. Аввакумомъ все по тѣмъ же шканцамъ. Вдругъ ему вздумалось взобраться по трехъ-ступенной лѣсенкѣ на площадку, съ которой обыкновенно стоя командуетъ вахтенный офицеръ. Отецъ Аввакумъ обзрѣлъ море и потомъ, обернувшись спиной къ нему, вдругъ... сѣлъ на эту самую площадку «отдохнуть», какъ онъ говаривалъ.

Опять скандалъ! Капитана на верху не было—и вахтенный офицеръ смотрѣлъ на архимандрита—какъ будто хотѣлъ его съѣсть, но не рѣшался замѣтить, что на шканцахъ сидѣть нельзя. Это, конечно, зналъ и самъ о. Аввакумъ, но по раз-

сѣянности забыть, не приписывая этому никакой существенной важности. Другіе, кто тутъ былъ, улыбались — и тоже ничего не говорили. А самъ онъ не догадывался и «отдохнуть» сталъ опять ходить.

При кротости этого характера и невозмутимо—покойномъ, созерцательномъ умѣ, онъ не легко поддавался тревогамъ. Преслѣдованіе на морѣ враговъ нами, или погоня враговъ за нами, казались ему больше фантазією адмирала, капитана и офицеровъ. Онъ равнодушно глядѣлъ на всѣ военныя приготовленія и продолжалъ, лежа или сидя на постели у себя въ каютѣ, читать книгу. Ходилъ онъ въ обычное время гулять для моціона и воздуха на верхъ, не высматривая непріятеля, въ котораго не вѣрилъ.

Вдругъ однажды раздался крикъ: «пароходъ идетъ! Дымъ видѣнъ»!

Поднялась суматоха. „Пошелъ по орудіямъ!“ скомандовалъ офицеръ. Всѣ высыпали на верхъ. Кто-то позвалъ и отца Аввакума. Онъ неторопливо, какъ всегда, вышелъ и равнодушно смотрѣлъ, куда всѣ направили зрительныя трубы и въ напряженномъ молчаніи ждали, что окажется.

Скоро всѣ успокоились: это оказался не пароходъ, а китоловное судно, поймавшее кита и вытапливавшее изъ него жиръ. Отъ этого и дымъ. Непріятель все не показывался. «Бѣгаетъ нечестивый, ни единому же ему гонящу!» слышу я голосъ сзади себя.

Оборачиваюсь: это о. Аввакумъ выразилъ такъ свой скептическій взглядъ на ожидаемую встрѣчу съ врагами. Я засмѣялся, и онъ тоже. «Да право такъ!» замѣтилъ онъ, спускаясь неторопливо опять въ каюту.

VI.

Но какъ все страшное и опасное, испытываемое многими плавателями, а также испытанное и нами въ плаваніи до

Японіи, кажется блѣдно и ничтожно въ сравненіи съ тѣмъ, что привелось испытать моимъ спутникамъ въ Японіи. Все, что произошло тамъ, представляетъ рядъ страшныхъ, и опасныхъ, и гибельныхъ вмѣстѣ,—не минутъ, не часовъ, а дней и ночей.

Много ужасныхъ драмъ происходило въ разныя времена съ кораблями и на корабляхъ. Кто ищетъ въ книгахъ сильныхъ ощущеній, за неизмѣнимъ послѣднихъ въ самой жизни, тотъ найдетъ большую пищу для воображенія въ «Исторіи кораблекрушеній», гдѣ въ нѣсколькихъ томахъ собраны и описаны многіе случаи замѣчательныхъ крушеній у разныхъ народовъ. Погибали на морѣ отъ бурь, отъ жажды, отъ голода и холода, отъ болѣзней, отъ возмущеній экипажа.

Но никогда гибель корабля не имѣла такой грандіозной обстановки, какъ гибель «Діаны», гдѣ великолѣпный спектакль былъ устроенъ самой природой. Не разъ на судахъ бывали ощущаемы колебанія моря отъ землетрясенія,—но сколько помнится, большихъ судовъ отъ этого не погибало.

Пересѣвъ на «Діану» и выбравъ изъ команды «Паллады» надежныхъ и опытныхъ людей, адмиралъ все таки рѣшилъ попытаться зайти въ Японію, и если не окончить, то закончить на время переговоры съ тамошнимъ правительствомъ и условиться о возобновленіи ихъ по окончаніи войны, которая уже началась, о чемъ получены были наконецъ извѣстія.

Передъ отплытіемъ изъ Татарскаго пролива, время, съ августа до конца ноября, прошло въ приготовленіяхъ къ этому рискованному плаванію, для котораго готовились припасы на непредвидѣнный срокъ, въ виду ожиданія встрѣчи съ непріателемъ.

По окончаніи всѣхъ приготовленій, адмиралъ, въ концѣ ноября, вдругъ рѣшился на отважный шагъ: итти въ центръ Японіи, коснуться самаго чувствительнаго ея нерва, именно въ городъ Оосаки, близъ Міако, гдѣ жилъ микадо, глава всей Японіи, сынъ неба или, какъ неправильно прежде называли его въ Европѣ, «духовный императоръ». Тамъ, думалъ не безъ основанія адмиралъ, японцы струсятъ неожиданнаго появле-

нія иностранцевъ въ этомъ закрытомъ и священномъ мѣстѣ и скорѣе согласятся на предложенныя имъ условія.

Такъ и сдѣлалъ. «Діана» явилась туда — и японцы дѣйствительно струсили, но, къ сожалѣнію, это средство не повело къ желаемымъ результатамъ. Они стали просить удалиться, и всѣ берега свои заставили рядами лодокъ, такъ что сквозь нихъ надо бы пробиваться силою, а къ этому средству адмиралъ не имѣлъ полномочія прибѣгать.

Японцы тутъ ни о какихъ переговорахъ не хотѣли и слышать, а приглашали немедленно отправиться въ городъ Симодо, въ бухтѣ того же имени, лежащей въ углу огромнаго залива Іеддо, при выходѣ въ море. Туда, по словамъ ихъ, отправились и уполномоченные для переговоровъ японскіе чиновники. Туда-же черезъ нѣсколько дней направилась и «Діана». Въ этой бухтѣ предстояло ей испытать страшную катастрофу.

Здѣсь я кладу перо, какъ путешественникъ и авторъ. Далѣе меня не было съ плавателями, и я являюсь только редакторомъ нѣкоторыхъ ихъ воспоминаній, рассказовъ и донесеній о крушеніи «Діаны» и о возвращеніи въ Россію.

Постараюсь сдѣлать это въ нѣсколькихъ намекахъ, какъ можно короче, чтобы не лишать большаго интереса тѣхъ изъ читателей, которые пожелаютъ ознакомиться съ событіемъ изъ самаго рапорта адмирала, гдѣ все изложено—полно, подробно и весьма просто и удобопонятно, не смотря на обиліе морскихъ терминовъ.

Все это событіе и послѣдствія его принадлежатъ исторіи нашего мореплаванія, а теперь пока они теряются на страницахъ мало доступнаго большинству публики спеціальнаго морскаго журнала.

«Однимъ изъ тѣхъ ужасныхъ, рѣдкихъ явленій въ природѣ, случающихся однако чаще въ Японіи, нежели въ другихъ странахъ, совершалась гибель фрегата «Діана». Такъ начинается рапортъ адмирала къ великому князю генералъ-адмиралу,—и затѣмъ, шагъ за шагомъ, минута за минутой, повѣствуетъ о

грандіозномъ событіи и его разрушительномъ дѣйствиіи на берегахъ и на фрегатахъ.

Прочитавъ это повѣствованіе и выслушавъ изустные рассказы многихъ свидѣтелей,—можно наглядно получить вульгарное изображеніе событія, и въ миниатюрѣ, такимъ образомъ: возьмите большую круглую чашку, налейте до половины воды и дайте чашкѣ быстрое, круговращательное движеніе — а на воду пустите яичную скорлупу, или представьте себѣ на ней миниатюрное суденышко, съ полнымъ грузомъ и людьми. Вотъ положеніе судна и людей. Но въ чашкѣ нѣтъ ни скаль, стоящихъ въ видѣ острова посерединѣ, ни угловатыхъ береговъ,—а это все было въ бухтѣ Симодо.

Надо замѣтить, что бухта Симодо не закрыта съ моря, и слѣдовательно не можетъ служить постояннымъ безопаснымъ мѣстомъ для стоянки судовъ.

11 декабря, въ 10 часовъ утра, рассказывалъ адмиралъ—онъ и другіе, бывшіе въ каютахъ, замѣтили, что столы, стулья и прочее нѣсколько колеблется, посуда и другіе предметы прискакиваютъ, и поспѣшили выйти на верхъ. Все повидимому было еще покойно. Волненія въ бухтѣ не замѣчалось, но вода какъ будто бурлила или клокотала.

Около городка Симодо течетъ довольно быстрая горная рѣчка: на ней было нѣсколько джонокъ (мелкихъ японскихъ судовъ). Джонки вдругъ быстро понеслись, не по теченію, а назадъ, вверхъ по рѣчкѣ. Тоже необыкновенное явленіе: тотчасъ послали съ фрегата шлюбку съ офицеромъ, узнать, что тамъ дѣлается. Но едва шлюбка подошла къ берегу, какъ ее водою подняло вверхъ и выбросило. Офицеръ и матросы успѣли выскочить и оттащили шлюбку дальше отъ воды. Съ этого момента начало разыгрываться страшное и грандіозное зрѣлище.

Вотъ рисунокъ этой картины въ двухъ-трехъ главныхъ и поверхностныхъ штрихахъ.

Вслѣдствіе колебанія морскаго дна у береговъ Японіи, въ бухту Симодо влился громадный валъ, который воснулся

берега и отхлынулъ, но не успѣлъ уйти изъ бухты, какъ на встрѣчу ему, съ моря, хлынулъ другой валъ, громаднѣе. Они столкнулись, и не вмѣстившаяся въ бухтѣ вода пришла въ круговоротное движеніе и начала полоскать всю бухту, хлынувъ на берега, вплоть до тѣхъ высотъ, куда спасались люди изъ Симодо. Второй валъ покрылъ весь Симодо и смылъ его до основанія. Потомъ еще валъ, еще и еще. Круговращеніе продолжалось съ возрастающей силой, а вмѣстѣ съ тѣмъ ломалось, смывалось, тонуло и исчезало съ береговъ все, что еще уцѣлѣло. Изъ тысячи домовъ осталось шестнадцать и погибло около ста человѣкъ. Весь заливъ покрылся обломками домовъ, джонокъ, трупами людей и безчисленнымъ множествомъ разнообразнѣйшихъ предметовъ: жилищъ, утвари и проч. Все это прибило къ одному изъ береговъ въ такой массѣ, что образовало, по словамъ рапорта адмирала, «какъ бы продолженіе берега».

А что дѣлалось съ фрегатомъ въ это время?

По изустнымъ разсказамъ свидѣтелей, поразительнѣе всего казалось перемѣнное возвышеніе и пониженіе берега: онъ, то приходилъ въ ровень съ фрегатомъ, какъ былъ, то вдругъ возвышался саженьей на шесть вверхъ. Нельзя было рѣшить, стоя на налубѣ, поднимается ли вода, или опускается самое дно моря? Вращеніемъ воды видало фрегатъ изъ стороны въ сторону, прижимая на какую нибудь сажень къ скалистой стѣнѣ острова, около котораго онъ стоялъ, и грозя раздробить какъ орѣхъ, и отбрасывая опять на середину бухты.

Потомъ стало ворочать его, то въ одну, то въ другую сторону съ такой быстротой, что въ тридцать минутъ, по словамъ рапорта, было сдѣлано имъ сорокъ два оборота! Наконецъ начало бить фрегатъ, по причинѣ перемѣнной прибыли и убыли воды, объ дно, о свои явора, и еласть, то на одинъ, то на другой бокъ. И когда во второй разъ по-

ложило—онъ оставался въ этомъ положеніи.... И страхъ, и опасность, и гибель—все уложилось въ одну эту минуту!

Всѣ уцѣпились, кто за что могъ. Все оцѣпенѣло въ молчаніи. Потомъ раздалися слова молитвы: всѣ молились, кто словами, и всѣ, конечно, внутренно, такъ усердно, какъ, по пословицѣ, только молятся на морѣ. Богъ услышалъ молитвы моряковъ и «провидѣнію», говорить рапортъ адмирала, «угодно было спасти насъ отъ гибели». Вода пошла на прибѣль и фрегатъ всталъ, но въ какомъ положеніи!

Не всѣ, однако, избавились и отъ гибели: одинъ матросъ поплатился жизнью, а двое искалѣчены. Двѣ неприкрѣпленныя пушки, при наклоненіи фрегата, упали и убили одного матроса, а двумъ другимъ, и между прочимъ боцману Терентьеву, раздробили ноги.

Помню я этого Терентьева, худошаваго, рябаго, лихаго боцмана, всегда съ свисткомъ на груди и съ линькомъ или лопаремъ въ рукахъ. Это тотъ самый, о которомъ я упоминалъ въ путешествіи на «Палладѣ» и который угощалъ моего Оадѣева, то линькомъ, то лопаремъ по спинѣ, когда этотъ послѣдній, радѣя мнѣ (безъ моей просьбы, а всегда сюрпризомъ мнѣ), таскалъ украдкой прѣсную воду на умыванье, сверхъ положеннаго количества, изъ систернъ, во время плаванія въ Нѣмецкомъ морѣ.

Нѣсколько часовъ продолжалось это возмущеніе воды при безвѣтріи и наконецъ стихло. По осмотрѣ фрегата, онъ оказался весь избитъ; трюмъ былъ наполненъ водой, подмочившей провизію, аммуницію и все частное добро офицеровъ и матросовъ. А главное, не было болѣе руля, который, оторвавшись, вмѣстѣ съ частью фальшь-киля, проплылъ, въ числѣ прочихъ обломковъ, мимо фрегата.

Фрегатъ разоружили: свезли всѣ шестьдесятъ орудій на берегъ и отдали на сохраненіе японцамъ, объяснивъ имъ, какъ важно для насъ, чтобы орудія не достались непріятелю. И

японцы укрыли и сохранили ихъ тщательно, построивъ для того особые сараи.

Вообще они, не смотря на то, что потерпѣли сами отъ землетрясенія, оказали нашимъ всевозможную помощь и послуги. Японскія власти присылали провизію и снабжали всѣмъ нужнымъ.

Нашъ Государь оцѣнилъ ихъ услуги и, въ благодарность за участіе къ русскимъ плователямъ, подарилъ всѣ 60 орудій японскому правительству.

Но и наши не оставались у нихъ въ долгу. Въ то самое время, когда фрегатъ крутило и било объ дно, на него нанесло напоромъ воды двѣ джонки. Съ одной изъ нихъ сняли съ большимъ трудомъ и приняли на фрегатъ двухъ японцевъ, которые не охотно дали себя спасти, подъ вліяніемъ строгаго еще тогда запрещенія отъ правительства сноситься съ иноземцами. Третій товарищъ ихъ рѣшительно побоялся, по этой причинѣ, послѣдовать примѣру первыхъ двухъ и тотчасъ же погибъ, вмѣстѣ съ джонкой. Сняли также съ плившей мимо крыши дома старуху.

Когда утихло, адмиралъ послалъ на развалины Симодо К. Н. Посѣта и доктора, подать помощь раненымъ. Но, ради все того же страха, раненыхъ спрятали и объявили, что ихъ нѣтъ. Но наши успѣли мелькомъ замѣтить ихъ.

Такъ кончился первый актъ этой морской драмы,—первый потому, что «страшныя», «опасныя» и «гибельныя» минуты далеко не исчерпались землетрясеніемъ. Второй актъ продолжался съ 11-го декабря 1854 по 6-е января 1855 г., когда плователи покинули, фрегатъ или, вѣрнѣе, когда онъ покинулъ ихъ совсѣмъ и они буквально выбросились на чужой, отдаленный отъ отечества берегъ.

Фрегатъ повели, придѣлавъ фальшивый руль, осторожно, какъ носятъ раненаго въ госпиталь, въ отысканную въ другомъ заливѣ, верстахъ въ 60 отъ Симодо, закрытую бухту «Хеда», чтобы тамъ повалить на отмель, чинить и опять плавать. Но всѣ надежды оказались тщетными. Дня два плователи

носимы были бурнымъ вѣтромъ по заливу, и наконецъ должны были, съ неимовѣрными усиліями, перебраться всѣ, (при морозѣ въ 4°) сквозь буруны, на шлюбахъ, по канату, на берегъ, у подошвы японскаго Монблана, горы Фудзи, въ противоположной сторонѣ отъ бухты Хеда. Съ наступленіемъ тихой погоды хотѣли, наконецъ, посредствомъ японскихъ лодокъ. дотащить кое-какъ пустой остовъ до бухты—и все таки чинить. Если фрегатъ держался еще на водѣ въ тогдашнемъ своемъ положеніи, такъ это, сказывалъ адмиралъ, происходило между прочимъ отъ того, что систерны въ трюмѣ, обыкновенно наполненныя прѣсной водой, были тогда пусты, и эта пустота и мѣшала ему погрузиться совсѣмъ. Сто лодокъ тянули его; оставалось верстъ пять, шесть до мѣста, какъ вдругъ налетѣлъ шквалъ, развелъ волненіе, всѣ лодки бросили внезапно буксиръ и едва успѣли, и наши офицеры, провожавшіе фрегатъ, тоже, укрыться по маленькимъ бухтамъ. Пустой фрегатъ качало волнами съ боку на бокъ.

Ночью нельзя было слѣдить за нимъ, а на утро его уже не было...

Когда читаешь донесенія и слушаешь рассказы, какъ погибала «Діана», хочется плакать, какъ при рассказѣ о медленной агоніи человѣка.

Вотъ эти два числа — 11 декабря, день землетрясенія. и 6 января, высадка на берегъ, какъ знаменательные дни въ жизни пловцовъ, и были поводомъ къ собранію ихъ за двумя вышепомянутыми обѣдами.

Наконецъ третье дѣйствіе—это возвращеніе путешественниковъ, тоже подъ страхомъ и опасностями своего рода, разными путями, въ Россію.

Такъ кончилось крушеніе «Діаны», которое займетъ самое видное мѣсто въ лѣтописи морскихъ бѣдствій.

VII.

Къ этому остается прибавить немного, что еще рассказывали мнѣ мои бывшіе спутники о дальнѣйшихъ своихъ походахъ и о заключеніи этой замѣчательной во всѣхъ отношеніяхъ экспедиціи.

Отъ подошвы Фудзи наши герои, сухимъ путемъ, черезъ горы, направились въ ту же бухту «Хеда», куда намѣревались ввести фрегатъ, и расположились тамъ на бивуакахъ (въ морозъ, не забудьте!), пока готовились бараки для помѣщенія, временнаго и, по возможности, не долгаго, потому что въ положеніи Робинсоновъ Крузе пяти стамъ человѣкамъ долго оставаться нельзя. Надо было изыскать средство уйти отсюда какимъ бы то нибыло образомъ. Дождаться отвѣта на рапортъ, пока онъ придетъ въ Россію, пока отсюда выплутъ другое судно, чего въ военное время и нельзя было сдѣлать,—значить нести всѣ тягости какого-то плѣна. Не затѣмъ прошли сквозь всѣ гибели, чтобы киснуть на полудикомъ прибрежьи, сложивъ руки, когда «наши тамъ... дерутся!» думали плователи.

Рѣшили искать помощи въ самихъ себѣ—и для этого, ни больше, ни меньше, положилъ адмиралъ, построить судно съ помощью, конечно, японскихъ услугъ, особенно по снабженію всѣмъ необходимымъ матеріаломъ: деревомъ, желѣзомъ и проч. Плотники, столяры, кузнецы были свои; въ команду всегда выбираются люди знающіе всѣ необходимыя въ корабельномъ дѣлѣ мастерства. Такъ и сдѣлали. Черезъ четыре мѣсяца уже готова была шкуна, названная въ память бухты, пріютившей разбившихся плователей, «Хеда».

Изъ донесеній извѣстно, что наши плователи раздѣлились на три отряда: одинъ отправился на нанятомъ американскомъ суднѣ къ устьямъ Амура, другой на Бременскомъ суднѣ былъ встрѣченъ англійскимъ военнымъ судномъ. Но англичане приняли нашихъ не за военно-плѣнныхъ, а за претерпѣвшихъ

кораблекрушеніе, и раздѣливъ по своимъ судамъ, доставили ихъ вкругомъ Мыса Доброй Надежды въ Европу.

Наконецъ самъ адмиралъ, на самодѣльной шкунѣ «Хеда», съ остальною партіею около сорока человекъ, прибылъ тоже, едва избѣжавъ погони англійскаго военнаго судна, въ устья Амура и по этой рѣкѣ поднялся вверхъ до русскаго поста Усть-Стрѣлки, на сліяніи Шилки и Аргуни, и достигъ Петербурга,

Чего стоило одно это странствованіе по этой пустынной тогда еще вовсе не изслѣдованной нашей Миссисипи!

Самъ адмиралъ, капитанъ (теперь адмиралъ) Посєтъ, капитанъ Лосевъ, лейтенантъ Пещуровъ и другіе, да человекъ осьмнадцать матросовъ, составляли эту экспедицію, рѣшившуюся въ первый разъ со времени присоединенія Амура къ нашимъ владѣніямъ, подняться вверхъ по этой рѣкѣ на маленькомъ пароходѣ, на которомъ въ первый же разъ спустился по ней генераль-губернаторъ Н. Н. Муравьевъ.

Онъ самъ воротился тогда въ Иркутскъ сухимъ путемъ (и я применилъ къ его свитѣ), а пароходъ, и при немъ баржу, открытую большую лодку, гдѣ находились неумѣщавшіеся на пароходѣ люди и провизія, предоставилъ адмиралу. Предполагалось употребить на это путешествіе до Шилки и Аргуни, къ мѣсту сліянія ихъ, въ мѣстечко Усть-Стрѣлку, мѣсяца полтора, и провизіи взято было на два мѣсяца, а плаваніе продолжалось около трехъ мѣсяцевъ.

И чего не случалось съ нашими странниками! То вдругъ воды въ рѣкѣ нѣтъ и плыть нельзя, то сильно несетъ теченіемъ. То дровъ въ изобиліи, то одинъ мелкій хворостъ по берегамъ. пегодный и на лучину: нечѣмъ пищу варить и топить пароходъ! Въ иныхъ мѣстахъ у туземцевъ: Мангу, Орочанъ, Гольдовъ, Гиляковъ и другихъ, о которыхъ европейскіе этнографы, можетъ быть, и не подозреваютъ, можно было вымѣнивать сушеное оленьє мясо, просо, на бисеръ, гвозди и т. п., а въ другихъ мѣстахъ было, или совсѣмъ пусто по берегамъ, или жители, завидѣвъ, особенно ночью, извергаемый

пароходомъ дымъ и мириады искръ, въ страхѣ бѣжали дальше и прятались, такъ что приходилось голоднымъ пловцамъ самимъ входить въ ихъ жилища и хозяйничать, брать провизію и оставлять бусы, зеркальца и т. п. предметы въ замѣнъ. Сами ловили рыбу и иногда роскошничали за стерляжьей ухой, особенно въ первой половинѣ плаванія

Когда не было лѣса по берегамъ, пловцы углублялись въ стороны, для добыванія дровъ. Матросы рубили дрова, офицеры таскали ихъ на пароходъ. Адмиралъ порывался раздѣлять ихъ заботы, но этому всѣ энергически воспротивились, предоставивъ ему болѣе легкую и почетную работу, какъ-то: накрывать на столъ, мыть тарелки и чаши.

Въ послѣднія недѣли плаванія всѣ средства истощились: по три раза въ день пили чай и ѣли по горсти пшена—и только. Достали было однажды кусокъ сушеннаго оленьяго мяса, но не свѣжаго, съ червями. Сначала поусумнились ѣсть, но потомъ подумали хорошенько, вычистили его, вымыли и... «стали кушать», «для примѣра, между прочимъ, матросамъ», —прибавилъ К. Н. П., рассказывавшій мнѣ объ этомъ странствіи. «Полно, такъ ли, думалъ я, слушая: для примѣра-ли, —не по пословицѣ ли: «голодъ не тетка»?

За два дня до прибытія на Усть-Стрѣлку, гдѣ былъ нашъ постъ, начальникъ послѣдняго, узнавъ отъ посланнаго впередъ Орочанина, о крайней нуждѣ пловцовъ, выслалъ имъ на встрѣчу все необходимое въ изобиліи, и между прочимъ теленка. Вотъ только гдѣ, пройдя тысячи три верстъ, эти не блудные, а блуждающіе сыны, добрались наконецъ до упитаннаго тельца!

Такъ кончилась эта экспедиція, въ которую укладываются вся Одиссея и Энеида — и ни Эней, съ отцомъ на плечахъ, ни Одиссей, не претерпѣли и десятой доли тѣхъ злоключеній, какія претерпѣли наши Аргонавты, изъ которыхъ. —

„Иныхъ ужъ вѣтъ, а тѣ далече“!

Однихъ унесла могила: архимандрита Аввакума. Этотъ скромный, ученый, почтенный человѣкъ ѣздилъ потомъ съ графомъ Путятинымъ въ Китай, для заключенія Тсянзинскаго трактата, и по возвращеніи продолжалъ оказывать пользу по сношеніямъ съ китайцами, по знакомству съ ними и съ ихъ языкомъ, такъ какъ онъ прежде прожилъ въ Пекинѣ лѣтъ пятнадцать при нашей миссіи. Онъ жилъ въ Александро-Невской Лаврѣ и скончался тамъ лѣтъ восемь или десять тому назадъ.

Нѣтъ болѣе въ живыхъ также капитана (потомъ генерала Лосева, В. А. Римскаго-Корсакова, бывшаго потомъ директоромъ морскаго корпуса, обоихъ медиковъ, Арефьева и Вейриха, лихаго моряка Савича, штурманскаго офицера Попова, и можетъ быть когонибудь еще.

Другіе большей частью здѣсь: старшіе занимаютъ высокіе посты въ морской и въ другихъ службахъ, осыпаны отличіями, — младшіе на пути къ отличіямъ. Третьи подвизаются еще на морѣ: такъ адмиралъ И. И. Бутаковъ, бывшій старшимъ офицеромъ на «Палладѣ», командуетъ нашей эскадрой въ Греціи бывшіе мичмана теперь начальствуютъ большими пароходами; другіе управляютъ техническими заводами и т. д.

Съ самыми лучшими чувствами симпатіи и добрыхъ воспоминаній обращаюсь я постоянно къ этой эпохѣ плаванія по морямъ, къ кругу этихъ отличныхъ людей, и встрѣчаюсь съ ними всегда, какъ будто не разставался никогда.

Мнѣ поздно желать и надѣяться плыть опять въ дальнія страны: и я не надѣюсь и не желаю болѣе. Лѣта охлаждають всякія желанія и надежды. Но я хотѣлъ бы перенести эти желанія и надежды въ сердца моихъ читателей — и — если представится имъ случай идти (помните «идти»: а не «ѣхать») на кораблѣ въ отдаленныя страны — предложить совѣтъ: ловить этотъ случай, не слушая никакихъ преждевременныхъ страховъ и сомнѣній. Читатель, можетъ быть, возразитъ на этотъ совѣтъ, что довольно и того, что написано въ этой главѣ, чтобы навсегда отбить всякую охоту къ морскимъ путе-

шествіямъ. Напротивъ, именно этотъ разказъ и подтверждаетъ мой совѣтъ. Какъ-же: въ то время, когда отъ землетрясенія падали города и селенія, валились скалы, гибли дома и люди на берегу, фрегатъ все держался, и изъ пятисотъ человѣкъ погибъ одинъ! И послѣ, потерявъ корабль, плователи отдѣлялись благополучно и всѣ добрались домой, и большая часть живутъ и здравствуютъ до нынѣ.

Русскій священникъ въ Лондонѣ посѣтилъ насъ передъ отходомъ изъ Портсмута и послѣ обѣдни сказалъ прекрасную рѣчь, въ которой остерегалъ отъ этихъ страховъ. Онъ исчислилъ опасности, какія можемъ мы встрѣтить на морѣ — и напугавъ сначала порядкомъ, заключилъ тѣмъ, что «и жизнь на берегу кипитъ страхами, опасностями, огорченіями и бѣдами,—слѣдовательно, мы мѣняемъ только однѣ на другія».

И это правда. Обыкновенно ссылаются на то, какъ много погибаетъ судовъ. А если счесть, сколько поѣздовъ сталкивается на желѣзныхъ дорогахъ, сваливается съ высотъ, сколько гибнетъ людей въ огнѣ пожаровъ и т. д., то на которой сторонѣ окажется перевѣсъ? И сколько вообще расходуется бѣднаго человѣчества по мелочамъ, въ одиночку, не всегда въ глуши какихъ-нибудь пустынь, лѣсовъ, а въ многолюдныхъ городахъ!

«А все же «страшновато» какъ-то на морѣ: сомнѣнія, неувѣренность, одни ожиданія опасностей чего стоятъ»!... скажутъ на это.

Да, тутъ есть правда: но человѣку врожденна мужественность, чтобы побѣждать робкія движенія души и закалять нервы привычкою. Самые робкіе характеры кончаютъ тѣмъ, что свыкаются. Даже женщины служатъ хорошимъ примѣромъ тому: сколько англичанокъ и американокъ пускаются въ дальнія плаванія и выносятъ, даже любятъ большіе морскіе перѣзды!

За то какія награды! Дальнее плаваніе населить память, воображеніе, прекрасными картинами, занимательными сценами, обогатить умъ нагляднымъ знаніемъ всего того, что

знаешь по слуху,—и кромѣ того введетъ плователя въ тѣсное, почти семейное сближеніе, съ цѣлымъ кругомъ моряковъ, отличныхъ, своеобразныхъ людей и товарищей.

И этого всего потомъ изъ памяти и сердца нельзя выжить во всю жизнь: и не надо—какъ рѣдкихъ и дорогихъ гостей.

Январь, 1874.

И. Гончаровъ.

ЗАМѢТКИ О ПУШКИНѢ.

Имя Пушкина растетъ. Уже при самомъ своемъ появленіи оно производило на людей какое-то магическое дѣйствіе, но, тогда какъ такое дѣйствіе обыкновенно съ годами слабѣетъ или исчезаетъ, очарованіе имени Пушкина продолжается до сихъ поръ и даже становится глубже.

За новизной бѣжать смиренно
Народъ безсмысленный привыкъ.

Вотъ обыкновенный ходъ дѣла; люди имѣютъ несчастіе забывать прошлое и обращаться душою къ новымъ предметамъ. По-немногу они перестаютъ понимать и чувствовать даже самое прекрасное, самое великое, что только можетъ явиться на землѣ, и предпочитаютъ ему предметы часто гораздо низшаго разряда. Такъ было и съ Пушкинымъ; было послѣ него нѣсколько минутъ, когда новыя литературныя явленія казались навсегда заслонили его; вкусъ къ Пушкину тупѣлъ и все вниманіе сосредоточивалось на новомъ предметѣ восторга. Но проходило время, и то, что въ-близъ казалось огромнымъ, становилось на разстояніи меньше, и наконецъ мы видѣли, что Пушкинъ по прежнему возвышается надъ всею нашею литературою и до него и послѣ него.

Конечно, пониманіе стараго писателя всегда бываетъ менѣе доступно, менѣе распространено, чѣмъ иного новаго. Но за то это пониманіе стало глубже; мы приписываемъ теперь Пушкину гораздо болѣе важное значеніе, чѣмъ приписывалось прежде. Мы съ удивленіемъ видѣли, что когда мы измѣняли и старались возвысить свою точку зрѣнія, то это не вело къ умаленію нашего поэта,

а только открывало намъ новыя, еще не видѣнные нами черты его силы и красоты. Мы находимъ теперь, что, несмотря на множество по видимому новыхъ путей, которыми шла до сихъ поръ русская литература, эти пути были только продолженіемъ дорогъ уже начатыхъ или совершенно пробитыхъ Пушкинными. Въ настоящую минуту съ удовольствіемъ читается большой романъ, въ которомъ молодой авторъ между прочимъ развилъ нѣкоторыя черты одного изъ произведеній Пушкина, — даже не взявши всѣхъ чертъ, какія годились бы для его предмета. Сдѣлана была не одна попытка формулировать значеніе Пушкина, но это огромное и многообразное явленіе, наполняя каждую изъ добытыхъ для него формулъ, какъ будто не вмѣщается ни въ одной изъ нихъ; чувствуется, что въ немъ есть еще многое, перехватывающее края самой широкой формулы.

Вотъ почему до сихъ поръ всякій желающій говорить о Пушкинѣ, долженъ, намъ кажется, начать съ извиненія передъ читателями, что онъ берется въ томъ или другомъ отношеніи измѣрять эту неисчерпаемую глубину. Мы здѣсь не думаемъ предлагать чертъ, которыми рисуется полный образъ Пушкина; мы предложимъ только частныя замѣчанія, отдѣльныя наблюденія; искренняя любовь къ произведеніямъ поэта можетъ быть не дастъ намъ провиниться въ дерзости.

I.

Пушкинъ не былъ нововводителемъ. Онъ не создалъ никакой новой литературной формы и даже не пробовалъ создавать. Онъ писалъ точно такія же элегіи, посланія, поэмы, сонеты, романсы, какіе обыкновенно писались тогда у насъ и въ иностранныхъ литературахъ. „Евгеній Онѣгинъ“ имѣетъ форму произведенія Байрона, форма „Капитанской дочки“ взята съ романовъ Вальтеръ-Скота, а „Борисъ Годуновъ“ есть по видимому прямой сколокъ съ трагедій Шекспира. Чтобы убѣдиться, какъ мало было у Пушкина реформаторскихъ стремленій въ этомъ отношеніи, стоитъ припомнить, что на „Бориса Годунова“ онъ смотрѣлъ какъ на огромное нововведеніе, только потому, что до тѣхъ поръ трагедій у насъ писались въ французской классической формѣ и что ему при-

шлось *первому* вводить шекспировскую форму. „Борисъ Годуновъ“, какъ извѣстно, былъ раскупленъ съ несмѣнной быстротою, но въ литературѣ и между друзьями поэта былъ встрѣченъ холодомъ и молчаніемъ. Такъ какъ Пушкинъ былъ твердо увѣренъ во внутреннихъ достоинствахъ своего произведенія, то онъ приписывалъ его неуспѣхъ только одному — *новости* формы. Что же онъ вывелъ отсюда? Весьма любопытно, что онъ почти готовъ былъ обвинить самого себя. Вотъ что онъ писалъ:

„Каюсь, что я въ литературѣ скептикъ (чтобъ не сказать хуже), и что всѣ ея секты для меня равны, представляя каждая свою выгодную и невыгодную сторону. Обряды и формы должны ли суетно поработать литературную совѣсть? Зачѣмъ писателю не повиноваться принятымъ обычаямъ въ словесности своего народа, какъ онъ повинуется законамъ своего языка? Они должны владѣть своимъ предметомъ не смотря на затруднительность правилъ, какъ онъ обязанъ владѣть языкомъ не смотря на грамматическія оковы“. (т. I. стр. 146. Изд. Анненк.).

И нѣсколько далѣе:

„Воспитанные подъ вліяніемъ французской критики, Русскіе привыкли къ правиламъ, утвержденнымъ сею критикою и неохотно смотрятъ на все, что не подходило подъ ея законы. *Нововведенія* опасны и, кажется, не нужны“. (стр. 147).

Въ этихъ словахъ выражается не одно огорченіе; они слишкомъ точны и ясны, и притомъ вполне согласуются съ обыкновенною практикою Пушкина. Мы видимъ на опытѣ, что для него всѣ формы были равны; съ удивительною гибкостью онъ цѣнилъ и уловлялъ всѣ достоинства данной формы и умѣлъ приспособляться къ ея стѣсненіямъ. Вотъ отчего онъ былъ *скептикъ*, то есть ни за какою формою не признавалъ ни безусловной законности, ни безусловной негодности; вотъ отчего онъ не былъ, какъ онъ выражается, *суетно поработанъ* формамъ, то есть былъ вполне свободенъ отъ нихъ, могъ по произволу держаться той, какой ему вдувается. Въ каждой онъ чувствовалъ себя почти одинаково ловко; онъ вливалъ въ нихъ обыкновенно столько содержанія, что оно такъ сказать поглощало форму.

Были въ его время привычныя образы, привычныя украшенія для поэтическихъ произведеній; таковы напримѣръ мифологическіе образы, Муза, Аполлонъ, Вакхъ, Киприда и пр. Пушкинъ цѣлкомъ принялъ и до конца дней сохранилъ ихъ. Онъ употребляетъ ихъ даже въ самыхъ искреннихъ, выплывшихъ изъ сердца стихахъ:

Я слышу вновь друзей предательскій привѣтъ.

На *страхъ Вакха и Киприды*, и пр.

И какъ хорошо выходитъ! Ибо дѣло всегда не столько въ словахъ и образахъ, сколько въ томъ, что они выражаютъ.

Любимый размѣръ Пушкина опять самый обыкновенный, самый общепотребительный,—четырехстопный ямбъ Ломоносовскихъ одъ. Если мы вспомнимъ, какъ играли стихомъ Жуковский, Дельвигъ и потомъ Лермонтовъ, то убѣдимся, что у Пушкина не было желанія разнообразить размѣры или выдумывать новые. Его стихъ не ему принадлежитъ; онъ по справедливости долженъ быть приписанъ Ломоносову, владѣвшему имъ съ совершенно поэтическимъ мастерствомъ. Пушкинъ, написавшій самъ нѣсколько одъ (напр. „Чудесный жребій совершился“, „Великій день Бородина“, при чемъ онъ только упростилъ форму строфы), нашелъ сверхъ того, что нѣтъ нужды искать другихъ размѣровъ для другихъ родовъ стихотвореній и что въ томъ же стихѣ онъ можетъ выражать и множество другихъ чувствъ. И здѣсь форма для него была безразлична; стихъ получалъ другой звукъ вслѣдствіе внутренняго теченія рѣчи, а не внѣшняго своего размѣра.

Но всего яснѣе обнаружилась эта безпримѣрная гибкость и подвижность Пушкинскаго генія въ языкѣ. Пушкинъ такъ точно чувствовалъ значеніе, оттѣнокъ, красоту, фізіономію каждаго слова и каждаго оборота словъ, что не исключалъ изъ своей рѣчи ни единого слова и ни единого оборота. Онъ употреблялъ ихъ всѣ какъ скоро приходило ихъ мѣсто и наступала въ нихъ надобность. Поэтому никакой изысканности, манерности, односторонности нѣтъ въ языкѣ Пушкина. Можно сказать, что онъ навсегда закончилъ образованіе нашего литературнаго языка; въ самомъ дѣлѣ онъ лишилъ насъ возможности отличиться старомодностію или нововведе-

ніями, потому что дѣломъ и примѣромъ разрѣшили литературѣ всякія старомодности и всякія нововведенія, съ однимъ условіемъ— чтобы они были умѣстны и нужны. Въ настоящее время можно и должно имѣть свой *слогъ*, но попытка имѣть свой языкъ невозможна и смѣшна, ибо она значила бы уклоняться отъ употребленія какихъ нибудь словъ или оборотовъ даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ именно они должны быть употребляемы.

Вотъ почему у насъ нѣтъ писателя такого обильнаго словами и оборотами, какъ Пушкинъ. Въ этомъ и заключается истинное мастерство языка. Если сравнить языкъ Пушкина съ языкомъ Карамзина, то можно подумать, что языкъ Пушкина гораздо старѣе, такъ какъ въ немъ встрѣчается множество формъ уже изгнанныхъ Карамзинскихъ. Славянизмы, старыя слова также мало пугали Пушкина, какъ и формы простонародныя. До конца жизни онъ писалъ (особенно въ прозѣ) *сей, оный, токмо, потребный, являетъ* и т. п. Теперь, благодаря ему же, намъ это не странно; но прежде было не то, какъ свидѣлствуетъ хотя бы война противъ *сихъ* и *онихъ*.

Намъ кажется, что едва ли возможно разумѣть что нибудь опредѣленное подъ выраженіями *Пушкинскій стихъ, Пушкинскій слогъ*; и этотъ стихъ и этотъ слогъ до такой степени гибки и разнообразны, что ихъ кажется можно опредѣлять только отрицательными качествами, напримѣръ отсутствіемъ всего лишняго, неумѣстнаго, односторонняго, монотоннаго. Такъ называемая Пушкинская фактура стиха едва ли не большею частію принадлежитъ Ломоносову, слѣдовательно есть какъ бы общая фактура свойственная русскому языку. Несомнѣнно, что стихи Жуковского или Лермонтова имѣютъ особенности гораздо болѣе ясныя, гораздо большее своеобразіе въ звукѣ, чѣмъ бесконечно-разнообразные стихи Пушкина. Возьмите стихи:

О люди! Всѣ похожи вы
 На прародительницу Еву:
 Что вамъ дано, то не влечетъ,—
 Васъ непрестанно змій зоветъ

Бъ себѣ, въ таинственному древу;
Запретный плодъ вамъ подавай,
А безъ того вамъ рай не въ рай.

Это чудесные стихи, но вѣстѣ съ тѣмъ это самая простая русская рѣчь, которую можно характеризовать только тѣмъ, что въ ней нѣтъ ничего лишняго, ничего книжнаго, ничего натянутого, и т. д. А вотъ другіе ямбы:

Для береговъ отчизны дальней
Ты покидала край чужой;
Въ часъ незабвенный, въ часъ печальный
Я долго плакала предъ тобой, и пр.

Здѣсь тоже простота и отчетливость, но стихъ получилъ несравненную, волшебную музыкальность.

II.

Изумительная чуткость была причиной, что Пушкинъ употреблялъ въ дѣло весь запасъ внѣшнихъ формъ, какой нашелъ въ литературѣ своей и чужой. Но она иногда вела его еще дальше. Иногда Пушкинъ становился какъ бы подражателемъ, то есть перенималъ весь складъ рѣчи, все настроеніе и тонъ какого нибудь поэта. Известно, что Пушкинъ высоко цѣнилъ современныхъ ему и предшествовавшихъ русскихъ поэтовъ. Это происходило отъ необыкновенно живаго ощущенія красоты, которая онъ въ нихъ находилъ и которая заслоняла отъ него ихъ недостатки и малое достоинство въ цѣломъ. Цѣня такимъ образомъ чужія произведенія, Пушкинъ иногда совершенно входилъ въ ихъ тонъ. Вотъ, напримѣръ, стихотвореніе, которое какъ будто написано самимъ Жуковскимъ:

Если жизнь тебя обманетъ,
Не печалься, не сердись;
Въ день унынія смирись; —
День веселья вѣрь настанетъ.

Сердце въ будущемъ живеть,
Настоящее уныло.
Все мгновенно, все пройдетъ;
Что пройдетъ, то будетъ нило.

Три посланія къ Языкову совершенно сбиваются на языковскіе стихи и звукомъ и мыслями.

Языковъ! кто тебѣ внушилъ
Твое посланье удалое?
Какъ ты шалишь и какъ ты мнѣ,
Какой избытокъ чувствъ и силъ,
Какое буйство молодое!
Нѣтъ, не кастальскою водою
Ты воспонилъ свою Камену;
Пегасъ иную Ипокрену
Копытомъ вышибъ предъ тобой.
Она не хладной льется влагой,
Но пѣнится хмѣльною брагой,
Она разымчива, пьяна
Какъ сей напитокъ благородный,
Смѣянье рому и вина,
Безъ примѣси воды негодной,
Въ Тригорскомъ жаждою свободной
Открытый въ наши времена.

Эту шаловливую шутку можно принять за злую насмѣшку; Пушкинъ *передразнилъ* Языкова, конечно ни мало о томъ не думая и искренно восхищаясь *удалымъ* посланіемъ.

Точно такъ намъ кажется, что складъ Державина отразился, и едвали выгодно для Пушкина, въ слѣдующихъ стихахъ „Памятника“:

Нѣтъ! весь я не умру: душа въ заветной мирѣ
Мой прахъ переживетъ и тѣнья убѣжитъ —
И славенъ буду я, доколь въ полунномъ мірѣ
Живъ будетъ хоть одинъ пѣитъ.

Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой,
И назоветъ меня *всякъ сущій въ ней языкъ*—
И гордый внукъ Славянъ, и Финъ, и нынѣ дикой
Тунгузъ, и другъ степей Калмыкъ.

Мы подчеркнули особенно бросающіяся въ глаза выраженія; эти архаизмы и галицизмы нѣсколько принужденны и объясняются едвали не однимъ вліяніемъ Державина.

Батюшковъ едвали не чаще всего отзывается въ Пушкинскихъ стихахъ. Чистою, античною красотою своего выраженія онъ долженъ былъ особенно привлекать Пушкина. Примѣровъ можно бы привести множество. Удивительное стихотвореніе: „Въ младенчествѣ моемъ она меня любила“ представляетъ въ высшей степени всѣ характерныя достоинства Батюшкова, которыя Пушкинъ пустилъ въ дѣло, подражая въ тоже время своему любимому Шеню.

Такимъ образомъ Пушкинъ былъ воспитанъ на нашихъ поэтахъ, ему предшествовавшихъ. Благодаря имъ уже были готовы и тотъ языкъ и тотъ стихъ, которыми онъ писалъ. Они не даромъ такъ усердно заботились о словахъ и безъ конца толковали о красотѣ стиховъ; ихъ труды не пропали. Недоставало у нихъ только чего-то неуловимаго, но самаго важнаго, недоставало такой сильной поэзіи, которая бы дала полную жизнь всему ими созданному и накопленному. Пушкинъ явился, и всѣ ихъ чаянія совершились, всѣ порыванія исполнились.

Разумѣется Пушкинъ стоялъ выше всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ и слѣдовательно впадалъ въ замѣтное подражаніе имъ болѣею частію только тогда, когда его талантъ дѣйствовалъ не полною своею силою; обыкновенно же поэзія, на которой онъ былъ воспитанъ, преображалась у него въ формы несравненно высшія и неузнаваемыя. Но, кромѣ нашихъ поэтовъ, встрѣчались ему и такіа созданія человѣческаго слова, которыя стояли наравнѣ съ нимъ и тогда его подражательность производила непостижимыя чудеса искусства. Однажды онъ хотѣлъ писать повѣсть изъ времёнъ Нерона. Разсказъ долженъ былъ идти отъ лица какого-то молодого римлянина; и вотъ Пушкинъ сталъ писать по русски прозу, звучащую

и текущую совершенно такъ, какъ классическая латинская рѣчь.

Приведемъ нѣсколько строкъ:

„Цезарь путешествовалъ; мы съ Титомъ Петроніемъ слѣдовали за нимъ издали. По заходѣнн солнца намъ разбивали шатеръ, разставляли постели — мы ложились пировать и весело бесѣдовали. На зарѣ снова пускались въ дорогу и сладко засыпали каждый въ лектнѣхъ своей, утомленные жаромъ и ночными наслажденіями.“

„Мы достигли Кумъ и уже думали пуститься дальше, какъ явился къ намъ посланный отъ Нерона. Онъ принесть Петронію повелѣніе Цезаря возвратиться въ Римъ и тамъ ожидать рѣшенія своей участи, вслѣдствіе обвиненія. Мы были поражены ужасомъ: одинъ Петроній выслушалъ равнодушно свой приговоръ; отпустилъ гонца съ подаркомъ и объявилъ свое намѣреніе остановиться въ Кумахъ. Онъ послалъ своего любимаго раба выбрать ему домъ и сталъ ожидать его возвращенія въ кипарисной рощѣ, посвященной Евменидамъ.“ (Т. I. стр. 397. Изд. Анненк.).

Лучше не рассказать бы самый лучший римскій прозаикъ. Трудно разсмотрѣть даже внѣшніе приемы, при которыхъ совершенно это чудо искусства: чуть чуть замѣтные латинскіе обороты, плавность теченія, нѣсколько отвлеченныя, но совершенно точныя слова. Но главное дѣло, кажется, въ томъ внутреннемъ строѣ рѣчи, въ силу котораго ясность и краткость доведены здѣсь до высочайшей степени. Какъ просто и естественъ рассказъ, а между тѣмъ рассказано очень много; ни одно слово не пропало даромъ, и они такъ расположены, что картина какъ будто разворачивается сама собою.

Другое чудо, еще болѣе удивительное, представляютъ подражанія Пушкина народнымъ стихамъ. Духъ и складъ народной поэзіи уловлены такъ, что сомнѣваешься, дѣйствительно ли это сочинено Пушкинымъ, а не подслушано у народа.

Только на проталинахъ весеннихъ
Показались ранніе цвѣточки,
Какъ изъ царства восковая,
Изъ душистой келейки медовой
Вылетаетъ первая пчелка.

Полетѣла по раннимъ цвѣточкамъ
 О красной веснѣ развѣдать:
 Скоро ли будетъ гостя дорогая,
 Скоро-ль луга зазеленѣютъ,
 Распустятся клейкіе листочки,
 Зацвѣтетъ черемуха душиста?..

Это не конченная вещь, точно такъ, какъ не конченъ и другой
 большой отрывокъ:

Какъ весенней теплою порою,
 Изъ-подъ утренней бѣлой зорюшки,
 Что изъ лѣсу, лѣсу дремучаго
 Выходила медвѣдица, и пр.

Это только пробы пера, наброски, сами собою явившіеся въ то
 время, когда Пушкинъ предавался своимъ *невольнымъ мечтамъ*;
 между тѣмъ они несомнѣнно превосходятъ всѣ многочисленные и упор-
 нныя попытки приблизиться къ народной поэзіи, которыя мы видимъ
 до сихъ поръ.

Послѣ этого не правъ ли былъ Пушкинъ, когда онъ сравнивалъ
 себя съ эхомъ, отражающимъ всякій звукъ?

Ты внималъ грохоту громовъ
 И гласу бури и валовъ
 И крику сельскихъ пѣтуховъ
 И плешь отвѣтъ.
 Тебѣ-жъ нѣтъ отзыва: таковъ
 И ты, поэтъ.

Онъ хорошо чувствовалъ, что его поэтическая сила способна все
 объять, вездѣ находить себѣ пищу.

Таковъ прямой поэтъ. Онъ сѣтуетъ душой
 На пышныхъ играхъ Мельномены —
 И улыбается забавѣ площадной
 И вольности лубочной сцены.

III.

Но не пассивно, какъ эхо, отзывалась Пушкинская поэзія на всѣ явленія. Пассивное отраженіе было исключеніемъ, случайною, легкою игрою таланта. Обыкновенно же отражаемый предметъ *возводился*, говоря извѣстными словами Гоголя, *въ перлъ созданія*. Онъ былъ насквозь проникаемъ свѣтомъ поэзіи и всѣ его краски, всѣ темныя и свѣтлыя черты выступали съ совершенною яркостію и тонкостію.

Есть у Пушкина рядъ подражаній, въ которыхъ во всей силѣ обнаруживается эта способность вполне видѣть красоту и безобразіе, цвѣтъ и тѣнь взятаго предмета, цѣнить и измѣрять ихъ до малѣйшей черты. Сюда относятся, напримѣръ, его „подражанія Корану“. Девять стихотвореній первостепеннаго достоинства.

Коранъ есть книга очень загадочная, очень трудная для оцѣнки. Ея содержаніе повидимому незначительно; такъ можно судить отчасти уже потому, что она вообще мало занимаетъ европейскихъ читателей. Между тѣмъ она очевидно способна производить на людей сильное дѣйствіе, и въ настоящую минуту духъ этой книги совершаетъ большія завоеванія въ Индіи и Китаѣ, побѣждаетъ тамъ древнѣйшія религіи человѣчества, среди которыхъ христіанство дѣлало лишь слабые успѣхи.

Шопенгауэръ, философъ, умѣющій такъ глубоко понимать всѣ религіозныя явленія, съ недоумѣніемъ смотритъ на силу Корана и отзывается о немъ очень рѣзко. „Эта плохая книга“, говоритъ онъ, „была достаточна, чтобы основать міровую религію, удовлетворять вотъ уже 1200 лѣтъ метафизической потребности безчисленныхъ милліоновъ людей, сдѣлаться основою ихъ морали и значительнаго презрѣнія къ смерти, а также одушевить ихъ на кровавыя войны и обширнѣйшія завоеванія. Мы находимъ въ ней плачевнѣйшій и скуднѣйшій видъ теизма. Многое въ ней можетъ быть потеряно отъ перевода; но я не могъ въ ней открыть ни одной цѣнной мысли“. (Bd. 2 s. 178. Die Welt).

Сами арабы, какъ упоминаетъ Ренанъ, утверждаютъ, что главная сила Корана заключается въ его поэтическомъ достоинствѣ,

и при томъ не столько въ содержаніи, сколько въ формѣ, въ такомъ удивительномъ теченіи рѣчи, что даже они, привыкшіе ко всякимъ стихотворнымъ тонкостямъ, не могли устоять противъ очарованія этой прозы.

Не любопытно ли послѣ этого взглянуть, что же сдѣлалъ Пушкинъ въ своихъ подражаніяхъ? Извѣстно, какъ обыкновенно дѣлаются подражанія *восточному*; европеецъ беретъ кой-какія чужія краски и даже мысли, но располагаетъ и развиваетъ ихъ по своему, по европейски. Пушкинъ же съ своею невѣроятною гибкостью старался уловить весь складъ Корана, весь безпорядокъ, всю быстроту и силу переходовъ, и даже то, что онъ въ другомъ мѣстѣ называетъ *какою-то восточною безмыслицею, имѣющею свое поэтическое достоинство (Путеш. въ Арзрумъ)*. Шутливыя примѣчанія, которыми снабжены „Подражанія Корану“, кажутся могутъ быть приведены въ подтвержденіе того, что Пушкинъ превосходно видѣлъ свой оригиналъ и съ этой стороны, что онъ, искренно чувствуя всю его поэзію, въ тоже время почти готовъ былъ пародировать его.

Рѣчь Аллаха начинается такъ:

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечемъ и правой битвой,
Клянуся утренней звѣздой,
Клянусь вечернею молитвой,
Нѣтъ не покинулъ я тебя, и пр.

Въ этой клятвѣ есть какая-то загадочность и разнородность предметовъ, игра словъ (*утренней и вечерней*) и въ тоже время странная сила и гармонія. Лермонтовъ плѣнился этими стихами, и въ его „Демонѣ“ тоже есть клятва, даже гораздо длиннѣе. Но какая разница!

Клянусь я первымъ днемъ творенья,
Клянусь его послѣднимъ днемъ,
Клянусь позоромъ преступленья
И вѣчной правды торжествомъ,
Клянусь паденья горькой мукой,
Побѣды краткою мечтой,
И пр. и пр.

Все это очень краснорѣчиво, но вмѣстѣ совершенно блѣдно и холодно; демонъ дѣлаетъ правильныя антитезы, логически переходить отъ одной мысли къ другой, почти пускается въ разсказъ; порыва, загадочности, страсти нѣтъ нисколько. Взять восточный оборотъ рѣчи, но лишень всего характернаго.

Конецъ стихотворенія у Пушкина представляетъ также удивительную черту: быстрое, яркое противорѣчье, которое вполнѣ выражаетъ быстроту душевныхъ движеній.

Мужайся жъ, презирай обманъ,
Стезю правды бодро слѣдуй,
Люби сиротъ, и мой коранъ
Дрожащей твари проповѣдуй.

Не успѣлъ Аллахъ дать заповѣдь милосердія: *люби сиротъ*, какъ въ слѣдующемъ стихѣ уже вспыхнулъ въ душѣ араба гнѣвъ и онъ требуетъ, чтобы *тварь дрожала* предъ его Кораномъ.

Второе „Подражаніе“ объяснено самимъ Пушкинымъ.

Третье представляетъ поразительное теченіе рѣчи. Въ началѣ раздаются величественныя звуки:

Съ небесной книги списокъ данъ
Тебѣ, пророкъ, не для строитивыхъ.

Потомъ тонъ смягчается, дѣлается кроткимъ, тихимъ.

Почто-жъ кичится человекъ?
За то-ль, что нагъ на свѣтъ явился,
Что дышетъ онъ не долгій вѣкъ,
Что слабъ умереть, какъ слабъ родился?
За то-ль, что Богъ и умертвить
И воскресить его по волѣ?
Что съ неба дни его хранить
И въ радостяхъ и въ горькой долѣ?
За то-ль, что далъ ему плоды,
И хлѣбъ, и финикъ, и оливу,
Благославилъ его труды
И вертоградъ, и холмъ, и ниву?

И вдругъ раздается громъ негодованія:
 Но дважды ангелъ вострубитъ!
 Угрозы сыплются градомъ и величественно заколѣютъ.

Но дважды ангелъ вострубитъ,
 На землю громъ небесный грянетъ:
 И братъ отъ брата побѣжитъ
 И сынъ отъ матери отпрянетъ,
 И всѣ предъ Бога притекутъ,
 Обезображенные страхомъ
 И нечестивые падутъ,
 Покрыты пламенемъ и прахомъ.

Музыка удивительная! Поставить союзъ *но* такъ, какъ онъ тутъ поставленъ, едва ли бы рѣшился какой европейскій поэтъ. Полный разрывъ теченія мыслей и виѣстъ строгая связь душевныхъ движеній, явный безпорядокъ и чудесная гармонія.

Остановимся еще на *шестомъ* подражаніи. По звуку оно похоже на воинственный маршъ, дышащій жаромъ битвы:

Не даромъ вы приснились мнѣ
 Въ бою съ обрѣтыми главами,
 Съ окровавленными мечами,
 Во рвахъ, на башнѣ, на стѣнѣ.
 Внемлите радостному кличу,
 О дѣти пламенныхъ пустынь,
 Ведите въ плѣнъ младыхъ рабынь,
 Дѣлите бранную добычу!
 Вы побѣдили: слава вамъ,
 А малодушнымъ посмѣянье.
 Они на бранное призванье
 Не шли, не вѣря дивнымъ снамъ.
 Прельстясь добычей боевою
 Теперь въ раскаяньи своемъ
 Рекутъ: возьмите насъ съ собою
 Но вы скажите: не возьмемъ!

И вдругъ все оканчивается сладкими, свѣтлыми звуками:

Блаженны падшіе въ сраженьи,
Они теперь вошли въ одежду
И потонули въ наслажденьи
Неотравляемомъ ничѣмъ.

Мы не станемъ разбирать другихъ подражаній, такъ какъ для ясности разбора пришлось бы приводить стихотворенія цѣликомъ. Скажемъ вообще, что всѣ они имѣютъ ту же яркую своеобразность. Смѣшеніе чувственности съ религіозными движеніями души, быстрые порывы и переходы чувствъ, немногосложная, но сверкающая фантазія, и при всемъ этомъ полнѣйшая музыкальность, волшебное теченіе рѣчи—таковъ характеръ Корана, какъ онъ уловленъ Пушкинныиъ. Мы сомнѣваемся, чтобы у какого-нибудь другаго европейскаго поэта были стихотворенія въ такой степени *вос- точныя*. А. прекрасны они въ первой степени.

IV.

Наконецъ Пушкинъ писалъ иногда и *пародіи*, въ которыхъ обнаруживается та же его изумительная чуткость. Способный по произволу принять тонъ и складъ какого угодно писателя, онъ тонко чувствовалъ малѣйшія уклоненія его отъ идеала поэтической красоты; этотъ идеалъ былъ такъ ясенъ для Пушкина, что уклоненія выступали какъ темныя пятна на яркомъ свѣтѣ, и нашъ поэтъ иногда забавлялся, подробно обозначая густоту и контуръ этихъ пятенъ.

Такъ онъ написалъ пародію на Данта, на его *Божественную комедію*. Въ пародіи изображены двѣ казни, совершаемыя въ аду. Сперва Дантъ и Виргилій увидѣли, какъ бѣсенокъ

Крутилъ ростовщика у адскаго огня.
Горячій капалъ жиръ въ копченное корыто
И лопалъ на огонь печеный ростовщикъ.

Виргилій объясняетъ, за что казнится этотъ человѣкъ:

Жиръ должниковъ своихъ сосалъ сей злой старикъ
И ихъ безжалостно крутилъ на вашемъ свѣтѣ.

Наконецъ передается рѣчь самого ростовщика:

Тутъ грѣшникъ жареный протяжно возопилъ:
«Сто на сто я терплю! процентъ неимовѣрный!»

Вторая казнь совершается надъ двумя сестрами. Бѣсы забавляются; пускаютъ раскаленное ядро по стеклянной горѣ, и когда гора растрескалась.

Схватили подъ руки жену съ ея сестрой
И обнажили ихъ, и внизъ пихнули съ крикомъ—
И обѣ сидючи пустились внизъ стрѣлой.

Стекло ихъ рѣзало, вшивалось въ тѣло имъ...

За что совершалась такая казнь и какія признанія вырывались у жертвъ, остается неизвѣстнымъ, такъ какъ разсказъ не конченъ.

Мастерскіе стихи, мастерская живопись, и въ то же время очевидная насмѣшка. Грубо-чувственные образы и краски Данта схвачены вполне и пересмѣяны, также какъ пересмѣяна и наивная торжественность рѣчи.

Можетъ быть въ то же самое время, когда писалась эта пародія, Пушкинъ какъ будто задалъ себѣ вопросъ: а какъ же слѣдовало бы писать настоящія, безупречно-поэтическія терцины? — и написалъ удивительное стихотвореніе:

Въ началѣ жизни школу помню я...

Г-жа Кухановская справедливо полагаетъ, что въ яркихъ образахъ этихъ стиховъ изображаются нѣкоторые важнѣйшія событія духовной жизни Пушкина и что

Смиренная, одѣтая убого,
Но видомъ величавая жена

вѣроятно есть олицетвореніе религіи.

Бъ пародіи на Данта близко по нашему миѣнію стихотво-

реніе: „Какъ съ древа сорвался предатель ученикъ.“ Точно такъ есть нѣчто напоминающее пародію не только въ монологѣ Изабеллы изъ трагедіи Альфіери (Т. I, стр. 350, изд. *Анненк.*), но и въ переводѣ изъ Аріоста (стр. 465); и въ томъ и другомъ стривекъ выпукло выступаютъ неестественность и изысканность.

Но самая замѣчательная пародія Пушкина есть „Лѣтописи седа Горохина,“ въ которой онъ пародировалъ первыя главы „Исторіи Государства Россійскаго.“ Ложный тонъ Карамзина здѣсь разоблаченъ совершенно, притомъ не вообще, а съ точнымъ указаніемъ истинныхъ свойствъ предмета, по отношенію къ которому этотъ тонъ ложенъ. Черты русской жизни, намѣченныя здѣсь Пушкинымъ, истинно драгоценны — и стоили бы подробнаго разбора (положимъ наприимѣръ, такъ называемыя крѣпостныя отношенія); ибо вѣрность этихъ чертъ и правдивость ихъ освѣщенія поразительны. Важность „Лѣтописи“ видна уже изъ того, что съ нея начинается поворотъ въ дѣятельности Пушкина и онъ пишетъ рядъ повѣстей изъ русской жизни, заканчивающійся „Капитанскою дочкою.“ Въ развитіи русской литературы едва ли есть пунктъ болѣе важный; здѣсь мы ограничиваемся только тѣмъ, что указываемъ на этотъ пунктъ.

V.

Цѣль наша была указать, въ какія отношенія становился Пушкинъ къ литературѣ своей и иностранной, и вообще къ явленіямъ поэзіи, которыя ему встрѣчались. Это была сила безмѣрно гибкая и широкая; она готова была принять всякую форму, всякій тонъ, всякій образъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ она никогда до конца не покорялась формамъ, по видимому принимаемымъ съ величайшей любовью и пониманіемъ. Пушкинъ не даромъ называетъ себя въ этомъ отношеніи *скептикомъ*; онъ способенъ былъ отнестись критически къ тому самому, чѣмъ увлекался и во что, такъ сказать, воплощался. Онъ оставался самимъ собою и въ то время, когда принималъ всякія формы; а когда сбрасывалъ ихъ съ себя, то являлся въ невообразимой самобытной красотѣ.

Если сравнить Пушкина съ современными ему поэтами, Баратынскимъ, Дельвигомъ, Языковымъ и т. д., то при всемъ внешнемъ сходствѣ окажется та разница, что у Пушкина форма была лишь орудіемъ для выраженія чувства и мысли, а у нихъ на оборотъ форма часто занимаетъ первое мѣсто, безпрестанно слышится, что забота о красотѣ стиха и выраженія перевѣшиваетъ заботу о содержаніи. Отсюда произошло то неотразимое очарованіе, которое производили стихи Пушкина; казалось, что въ нихъ русскій языкъ, всякія красоты стиха и формы, о которыхъ хлопотали цѣлыя поколѣнія литературы, въ первый разъ получили свой настоящій смыслъ, въ первый разъ оказались вполне нужны, вполне уместны, совершенно естественны. Всѣ изысканности и искусственности становились въ устахъ Пушкина живою, точно выражающею свой смыслъ рѣчью; красота словъ и образовъ вдругъ обратилась въ красоту чувствъ и мыслей.

Отчего же это происходило? Оттого, что Пушкинъ поэзію, живую въ его душѣ, цѣнилъ выше всего, ей одной служилъ, одну ее хотѣлъ выражать. Пушкинъ былъ правдивѣйшій и искреннѣйшій изъ поэтовъ. Несмотря на всю свою гибкость, онъ никогда не сочинялъ ни чувствъ, ни ихъ выраженія; несмотря на его любовь ко всему красивому, къ красивымъ формамъ, звукамъ, словамъ, никакіе слова, звуки, формы не могли подкупить его своею красотою. Съ совершенной отчетливостію онъ чувствовалъ, когда въ немъ дѣйствуетъ вдохновеніе и когда нѣтъ, и не писалъ ни одного произведенія, которое бы не вытекало прямо изъ души.

Необыкновенная сила Пушкинскаго генія обнаруживается именно въ этомъ прямотѣ. Болѣе открытаго, болѣе прямо себя обнаруживающаго поэта невозможно найти. Разстояніе между душою Пушкина и его стихотвореніями было такъ мало, что меньше и не бываетъ и быть не можетъ. При сравненіи его съ другими поэтами оказывается, что одни часто, а иные постоянно, говорятъ не своимъ языкомъ, поютъ такъ сказать *не своимъ голосомъ*, кто фальцетомъ, кто напряженнымъ басомъ, тогда какъ у Пушкина каждый звукъ есть чистый грудной голосъ, не измѣненный никакимъ напряженіемъ.

Вотъ почему въ Пушкинѣ наша поэзія сдѣлалась *правдою*. Исчезло то разногласіе и противорѣчіе, которое прежде чувствовалось между поэзією и жизнью; въ стихахъ Пушкина при всей полнотѣ поэзіи жизнь являлась со всею своею реальностію, безъ искаженій и подкрашиваній.

Всѣмъ извѣстно, съ какими мастерствомъ Пушкинъ возводилъ въ поэзію самыя по видимому прозаическія предметы. Онъ никогда не выбиралъ того, что покрасивѣе и повеличавѣе; грязь Одессы и мощеніе въ ней улицъ онъ описываетъ также звучно, какъ море и горы. Но онъ могъ это дѣлать съ полнымъ правомъ только потому, что никогда ни въ чемъ не отступалъ отъ истины. Чтобы показать, какъ велика его точность, сдѣлаемъ небольшое сравненіе. Пушкинъ часто говорилъ о Петербургѣ, и всякій, кто знаетъ этотъ городъ, долженъ согласиться, что въ описаніяхъ Пушкина нѣтъ ни единой фальшивой черты.

Сводъ небесъ зелено-блѣдный,
Скука, холодъ и гранитъ...

.
Мосты повисли надъ водами,
Темнозелеными садами
Ея покрылись острова...

.
Твоихъ оградъ узоръ чугунный,
Твоихъ задумчивыхъ ночей
Прозрачный сумракъ, блескъ безлунный..

.
И ясны спящія грамады
Пустынныхъ улицъ, и свѣтла
Адмиралтейская игла...

Все это безукоризненно точно. Возьмите же теперь другаго поэта, Лермонтова, и попробуйте сравнить. Описывается такая же ночь, какъ у Пушкина.

Задумчиво столбы дворцевъ нѣмыхъ
По берегамъ тѣснились какъ тѣни,

И въ *тѣхъ вѣдѣхъ* гранитныхъ *крылецъ* ихъ
Будались *широкія ступени*.

Прекрасные стихи, но въ этой картинѣ почти все ложно. Видъ дворцовъ не похожъ; они никакъ не *тѣснятся* и не близки къ берегамъ,—все въ Петербургѣ просторно. А *гранитныя крыльца, широкія ступени, тѣхъ вѣдѣхъ* — все чистая выдумка, все сказано, какъ говорится, только для красоты слога. Далѣе описывается домъ:

Изъ мрамора волнистаго колонны
Кругомъ *тѣснились* чинно, и балконы
Чугунные, воздушные семей
Межъ нихъ гордились *дивною рѣзбой*.

Дивная рѣзба на чугунѣ—ужасное сочиненіе, а балконы гордящіеся такою рѣзбою—еще большее.

Все это конечно только промахи, но они показываютъ направленіе таланта, его напряженность и расположеніе не дорожить истиною. У Пушкина вовсе нѣтъ подобныхъ промаховъ,—вотъ что замѣчательно; нѣтъ даже въ слабыхъ и молодыхъ произведеніяхъ.

Интересно сравнить у обоихъ поэтовъ описаніе Кавказа. Оди обмолвка Лермонтова въ „Демонѣ“ очень известна; объ ней даже говорилъ въ „Вѣстникѣ Естественныхъ Наукъ“ покойный профессоръ Рулье.

И Терекъ прыгая, какъ лъвица
Съ *косматой гривой* на хребтѣ...

Но есть тамъ же не обмолвка, а настоящая фальшь, явное преувеличеніе красокъ. Мы находимъ эту фальшь въ описаніи Грузіи:

Счастливыи, пышный край земли!
Столпообразныя руины
Звонко-бѣгущіе ручьи
По дну *изъ камней разноцвѣтныхъ*
И кущи розъ и пр.

Что такое *столпообразныя руины*? Читатель, не выдавши

Грузинъ, вообразить себѣ полуразрушенныя колоннады. Между тѣмъ на дѣлѣ это изрѣдка попадающіяся развалины круглыхъ башенъ, очень грубыхъ, небольшихъ и невысокихъ построекъ, замѣчательныхъ только тѣмъ, что онѣ дѣйствительно круглыя, то есть одни представляютъ подобіе чего-то архитектурнаго.

Звонкоблудущіе ручьи — конечно хорошее названіе для горныхъ потоковъ, всегда имѣющихъ быстрое теченіе. Но сказать, въ видѣ похвалы, что дно ихъ изъ *каменей разноцвѣтныхъ*, значитъ почти тоже, что восхищаться разноцвѣтными камнями петербургской мостовой: одинъ потемнѣе, другой посвѣтлѣе, а есть и красноватые.

Нигдѣ у Пушкина не замѣтно расположенія къ такимъ преувеличеніямъ. Мы привели здѣсь примѣры изъ *описаній*, какъ самыя ясныя и убѣдительныя; но тоже самое должно сказать и о характерѣ лицъ и о свойствѣ изображаемыхъ чувствъ. Пушкинъ не былъ расположенъ ни самъ становиться, ни ставить свои лица на ходули. Тогда какъ многіе поэты стремятся поразить читателей напряженіемъ и надуманною крайностію своихъ чувствъ, онъ становился чѣмъ дальше, тѣмъ проще и правдивѣе.

Поэтическая сила Пушкина была такъ велика, такъ истинна, что прямота и правдивость была для него самымъ естественнымъ дѣломъ. Онъ не могъ соблазниться ни какою фальшью, ни чѣмъ надуманнымъ, навѣяннымъ, напряженнымъ. И вотъ почему онъ сталъ создателемъ русской поэзіи. Онъ сбросилъ съ себя всѣ иноземныя вліянія, подъ которыми развивалась наша литература; нѣкоторая искусственность и изысканность, которыми она отзвѣчалась до Пушкина, исчезли у него безъ слѣда. Въ поэзіи стали прямо выражаться инстинкты русскаго сердца, стала отражаться русская дѣйствительность.

VI.

Поэзія есть дѣло таинственное. Откуда она рождается, къ чему ведетъ, въ какихъ отношеніяхъ находится къ другимъ явленіямъ человѣческой жизни — все это трудные вопросы, несмотря на то, что въ простѣйшихъ своихъ формахъ поэзія встрѣчается намъ еже-

минутно и что почти каждый человекъ есть поэтъ, хотя бы и въ очень слабой степени.

Самыя понятныя на свѣтѣ люди считаютъ жизнь, то есть наши потребности, желанія, наслажденія и страданія, практическія цѣли и практическіе труды. Все это имѣетъ для насъ непосредственную достовѣрность и несомнѣнное значеніе, ибо все это, какъ говорится, прямо беретъ насъ за живое. Искусство же не принадлежитъ къ этой области; это какое-то придаточное и производное явленіе, стремленіе зачѣмъ-то переживать нашу жизнь еще разъ, но не въ дѣйствительности, а въ воображеніи, *въ мечтахъ*, какъ говорили во времена Пушкина и Жуковского. Человекъ, положимъ, испытываетъ радость или горе. Ему мало того, что эти чувства дѣйствительно присутствуютъ въ его душѣ; онъ начинаетъ пѣть, то есть онъ повторяетъ свои чувства въ словахъ и звукахъ. Ему для чего-то нужно это воплощеніе испытываемыхъ имъ движеній души, и легко убѣдиться, что оно не есть простое повтореніе. Чувства въ пѣснѣ являются въ нѣкоторомъ преобразованномъ видѣ и получаютъ очевидно какое-то другое значеніе.

Странно дѣйствуютъ пѣсни. Положимъ смерть отняла у человека любимое, дорогое существо, и онъ подавленъ своимъ несчастьемъ. Убѣжать отъ трупа и забыть его—вотъ самое практическое, что можно сдѣлать. Между тѣмъ люди стараются какъ будто растравить свою горестъ, упиться ею. Раздаются похоронныя пѣсни, и сердца надрываются, и льются слезы даже у тѣхъ, кто безъ этого могъ бы остаться спокойнымъ и равнодушнымъ. Но удивительное дѣло! Горе, нарочно вызванное, нарочно повторенное и углубленное, становится легче; оно потеряло свой прежній грубый характеръ, поднялось на какую-то высоту и преобразилось.

Тутъ мы взяли искусство въ непосредственномъ соприкосновеніи съ жизнью. Но въ другихъ случаяхъ непрактическій характеръ искусства обнаруживается еще рѣзче и яснѣе. Любитель пѣсенъ поетъ и грустныя и веселыя пѣсни, когда ему не о чемъ ни грустить, ни веселиться. Онъ при этомъ испытываетъ и радость и грусть, но очевидно не *такія*, какія свойственны дѣйствительной жизни. Если бы печаль, ужасъ, негодованіе и тому подобныя чувства, испытыва-

важны нами, когда мы отдаемся созерцанію произведеній искусства, были вполне похожи на чувства, которыя тѣми же именами обозначаются въ дѣйствительности, то мы конечно убѣгали бы отъ большей части художественныхъ произведеній. Между тѣмъ среди веселаго общества часто исполняется мрачный Requiem, и мы готовы каждый день смотрѣть въ театрѣ на убійства и сумасшествія. Люди, для которыхъ недоступенъ истинный характеръ художества, которые слишкомъ погружены въ жизнь, иногда удивляются этому. „Охота наводить на себя тоску!“ замѣчаютъ они. Но и веселая музыка ихъ иногда не веселитъ, а только раздражаетъ. Очевидно для искусства нужно быть нѣсколько свободнымъ душою, немножко забыть о себѣ.

Чтобы потрясти чувства черни древняго Рима, люди должны были дѣйствительно убивать другъ друга на сценѣ, быть дѣйствительно растерзываемы звѣрями. Но мы, когда сидимъ въ театрѣ, не только не должны думать, что убійства, пожары, сумасшествія совершаются передъ нами дѣйствительно, но даже для полного дѣйствія искусства, все время должны быть твердо увѣрены, что все вокругъ насъ совершенно благополучно и безопасно. Если бы мы забывшись вообразили, что на сценѣ раздаются дѣйствительныя вопли боли, или дѣйствительно совершается убійство, то художественное впечатлѣніе было бы мгновенно разрушено этимъ впечатлѣніемъ жизни, мы бы почувствовали дѣйствительную жалость, дѣйствительный ужасъ, и были бы вырваны изъ міра художества. Даже если мы замѣтимъ, что актеръ смѣется не искусственно, а потому что дѣйствительно расхохотался и не могъ бы удержаться, художественное впечатлѣніе нарушается. Очевидно жизнь и искусство—два міра различныя. Непремѣнное условіе искусства есть *искусственность*, то есть, чтобы передъ нами была не природа, а только какой-то ея образъ.

Этотъ образъ имѣетъ для насъ особенное значеніе. Не смотря на то, что искусство есть только созерцаніе, чувства, испытываемыя нами при его дѣйствіи, глубже, яснѣе, опредѣленнѣе, чѣмъ дѣйствительныя чувства. Какъ будто краски художественнаго міра гуще, ярче, чѣмъ міра дѣйствительности. Вотъ почему, когда мы

говорить о предметахъ и явленіяхъ жизни, мы часто недовольствуемся обыкновеннымъ языкомъ, а заимствуемъ слова изъ сферъ искусства. „Тутъ есть что-то *поэтическое*;“ „да это *романъ!*“ „какова *сцена* или *картина?*“ „случай чисто *трагическій*, или чисто *комическій*;“ „онъ въ этой *драмѣ* играетъ очень дурную *роль*“ и т. д. Такія выраженія обозначаютъ, что мы нашли въ дѣйствительности больше, чѣмъ она обыкновенно даетъ намъ, что она почему-то вдругъ окрасилась ярче своего обыкновеннаго цвѣта.

Если же возьмемъ художниковъ, то отдѣльность искусства отъ жизни выступить уже вполне. Они на все смотрятъ не такъ, какъ обыкновенные люди, то есть они безпрестанно видятъ вокругъ себя поэтическое, трагическое, комическое, картины, драмы,—словомъ все то, чтó обыкновенному человѣку открывается лишь изрѣдка, когда и въ немъ вспыхнетъ художественная искорка, а многими и вовсе не открывается. Но этого мало. Художники умѣютъ, часто по самымъ ничтожнымъ поводамъ, переноситься въ чужую жизнь, или въ свое прошлое, и переживать самыя разнообразныя чувства. И эти они занимаютъ какъ настоящихъ дѣломъ, то есть вмѣсто того, чтобы жить и чувствовать въ дѣйствительности, они лучшее свое время проводятъ въ томъ, что *забываютъ міръ*, какъ говоритъ Пушкинъ, и отдаются чувствамъ, образамъ, лицамъ, возникающимъ въ ихъ воображеніи. Въ этомъ ихъ собственномъ мірѣ не соблюдается никакого порядка времени и мѣста, и ходъ его явленій больше всего зависитъ отъ какого-то глубокаго внутренняго движенія души, называемаго *вдохновеніемъ*.

Все, что мы сказали, еще не объясняетъ намъ сущности искусства, его цѣли и происхожденія. Но здѣсь указана та его существенная черта, которая никогда не должна быть упускаема изъ виду. Какая бы ни была цѣль искусства и каково бы ни было его содержаніе, оно всегда будетъ какинъ-то преобразеннымъ повтореніемъ жизни, созерцаніе котораго даетъ другіе результаты, чѣмъ простое соприкосновеніе съ жизнью.

Вотъ отчего говорятъ, что искусство есть *подражаніе природѣ* что оно *украшаетъ природу*, что оно *выше природы*, что оно есть *творчество*, что цѣль его *наслажденіе прекраснымъ*,

что оно имѣетъ *примирающую силу*, и т. д. Всѣ эти формулы имѣютъ свою справедливую сторону въ томъ, что стремятся выразить нѣкоторую разнородность искусства съ дѣйствительностію.

Отсюда же объясняются тѣ уклоненія, въ которыя впадаетъ искусство. Стремясь, по самой своей природѣ подняться надъ дѣйствительностію, оно легко обращается въ *ложь*, пренебрегаетъ жизнью и ея правдою, приучаетъ людей жить и довольствоваться воображеніемъ, раздвояетъ ихъ существованіе, обращаетъ ихъ въ существа, которыя вѣчно умиляются, восхищаются, ищутъ прекраснаго и возвышеннаго, слѣдовательно по видимому живутъ очень высокою душевною жизнью, на самомъ же дѣлѣ часто не обладаютъ никакою дѣйствительною красотою чувствъ.

Изъ той же существенной черты проистекаетъ наконецъ непониманіе искусства и вражда противъ него.

Въ самомъ дѣлѣ, причину отрицанія искусства составляютъ не одни его ложныя и дурныя явленія: самая сущность его недоступна и враждебна многимъ людямъ. Кто весь поглощенъ жизненными интересами, тотъ естественнымъ образомъ смотритъ враждебно на это созерцаніе, при которомъ человѣкъ видитъ въ жизни не предметъ личной своей дѣятельности, а какое-то зрѣлище, смотритъ на нее почти такъ, какъ смотрѣлъ бы житель иной планеты случайно залетѣвшій на землю. Для многихъ же, никогда не подымавшихся мыслью выше насущныхъ интересовъ, искусство не имѣетъ и этого смысла; оно для нихъ глупая, скучная забава, возможная только для людей ничего недѣлающихъ.

Все это доказываетъ только идеальную природу искусства, которая отъ него неотъемлема и безъ пониманія которой въ немъ нельзя ничего понять.

Припомнимъ нѣкоторые слова Пушкина объ искусствѣ. Въ предисловіи къ одной изъ его поэмъ сказано: „твореніе искусства — *обманъ*.“ (*Бахчисарайскій Фонтанъ*. Москва, 1824. стр. XVII). Такъ выразилъ тогдашній взглядъ на дѣло кн. П. Вяземскій. Самъ Пушкинъ обыкновенно называетъ произведенія искусства — *вымыслами*, напримѣръ:

Надъ вымысломъ слезами обольюсь.

Вотъ съ какою поразительною наивностію онъ выражалъ ту мысль, что область искусства есть нѣчто отдѣльное отъ жизни *. Но эти вымыслы и обманы онъ конечно считалъ чѣмъ-то очень высокимъ и важнымъ, такъ какъ посвятилъ имъ свою жизнь. Въ такомъ смыслѣ чего-то высокаго и важнаго употреблено слово *обманъ* и въ знаменитыхъ стихахъ:

Тѣмъ низкихъ истинъ мнѣ дороже
Насъ возвышающей *обманъ*.

Обманъ тутъ не значитъ мошенничество или ложь, а только нѣкоторый *образъ*, который, хотя бы былъ вымысломъ, возвышаетъ насъ, давая намъ понимать, въ чемъ состоитъ истинная красота человѣческой души. Выше находится стихъ еще болѣе парадоксальный:

Да будетъ проклять правды свѣтъ!

Но тотчасъ-же слѣдуетъ многозначительное поясненіе:

Да будетъ проклять правды свѣтъ,
Когда *посредственности хладной*,
Завистливой, къ соблазну жадной,
Онъ угождаетъ праздно.

Вотъ чудесное указаніе на свойства поэзіи. Она, положимъ, есть вымыселъ, обманъ; но такой, который не возбуждаетъ, или по крайней мѣрѣ не долженъ возбуждать въ насъ ни зависти, ни соблазна, никакихъ заднихъ мыслей, никакого своекорыстнаго, низкаго желанія. Между тѣмъ правда, то есть жизнь, дѣйствительность, постоянно не даютъ намъ смотрѣть на себя безпристрастно и съ высоты; онѣ затрогиваютъ насъ лично, нашъ эгоизмъ, онѣ чисто угождаютъ нашимъ низкимъ страстямъ. Нужна поэзія для того, чтобы оторвать насъ отъ своекорыстныхъ помысловъ. Къ несчастію поэзія недоступна *посредственности хладной*, а всегда найдется такая правда, которая угодитъ этой посредственности.

* Вотъ Пушкинское представленіе настоящаго поэта: „Поэзія бываетъ исключительно страстію немногихъ, родившихся поэтами: она объемлетъ и поглощаетъ всѣ наблюденія, всѣ усилія, всѣ впечатлѣнія ихъ жизни“ (Т. V. стр. 541).

Но мы знаемъ, что Пушкинъ былъ правдивѣйшій и искреннѣйшій изъ поэтовъ. Значить онъ очень дурно выражался, называя поэзію вымысломъ и обманомъ, тогда какъ самъ всею душою стремился къ правдѣ. Собственнымъ примѣромъ онъ показываетъ, что правда есть неизмѣнное требованіе истиннаго искусства, та внутренняя правда, о которой Аристотель говорилъ, что она истиннѣе самой дѣйствительности. Дурна та поэзія, которая, подымаясь надъ міромъ теряетъ чувство правды; нехорошъ и тотъ поэтъ, кто бережно хранитъ это чувство, но, сознавая свое безсиліе, робко держится за дѣйствительность. Пушкинъ въ этомъ отношеніи образецъ поэтовъ; онъ свободно восходилъ на всякія высоты поэзіи, никогда не измѣняя правдѣ.

Н. Н. Страховъ.

29 января, 1874.

ГДѢ ЛУЧШЕ.

Темнѣетъ неба сводъ лазурный;
На сонный міръ спустилась ночь,
Совсѣмъ стихаетъ вѣтеръ бурный
И тучи быстро мчатся прочь.

На необъятномъ морѣ дикомъ,
Густѣя, всталъ туманъ сѣдой;
Не умолкая, съ громкимъ крикомъ
Кружатся чайки надъ водой...

Чей это голосъ раздается
Средь шума пѣнящихся волнъ?
Рыбакъ подъ парусомъ несется,
Направивъ къ берегу свой чолнъ.

Но очеркъ берега неясный
Въ дали туманной потонулъ;
Чтобъ сократить свой путь опасный
Рыбакъ нашъ пѣсню затянулъ.

Онъ пѣлъ: «мое родное море!
«Тебя люблю всѣмъ сердцемъ я,
«Въ твоёмъ чарующемъ просторѣ
«Отраднo дышетъ грудь моя.

«Здѣсь я провелъ года изгнанья...
 «Тебѣ, выпучая волна,
 «Я повѣрялъ мои страданья,
 «Все, чѣмъ душа была полна...

«...Я не желаю лучшей доли:
 «Здѣсь на свободѣ я живу,
 «Меня не давить гнетъ неволи,
 «Куда хочу, туда плыву.

«И съ одиночествомъ я сжился, —
 «Меня не тянетъ никуда...
 «Я вѣрно съ моремъ подружился,
 «И не вернусь ужъ никогда

«Въ тотъ міръ, гдѣ жизнь совсѣмъ иная,
 «Гдѣ суета и вѣчный шумъ;
 «На части рвется грудь больная,
 «Всегда въ тревогѣ бѣдный умъ.

«И знаю я, въ «житейскомъ морѣ»
 «Живется слишкомъ тяжело:
 «Тамъ, что ни шагъ, борьба и горе...
 «И торжествуетъ всюду зло!..

«Тамъ громче вопли и проклятья,
 «Чѣмъ въ бурю волнъ морскихъ прибой...
 «Кровь проливаютъ люди-братья,
 «Всегда враждуя межъ собой...

«Тамъ гибнуть честныя стремленья,
 «Безвинно-страдающихъ людей...
 «Царятъ насилье, преступленья,
 «И не смолкаетъ звонъ цѣпей!..

«Угрюмо, страшно море это,
«Но...» — Вотъ блеснулъ вдругъ огонекъ
И пѣснь осталась недопѣта:
Причалилъ къ острову челнокъ.

Петръ Выковъ.

БАБУШКИНЪ РАЙ.

РАЗСКАЗЪ

ИЗЪ СЕМЕЙНОЙ СТАРИНЫ *.

Бабушка Анна Васильевна была совершенно противоположностью своему мужу Ивану Яковлевичу. Моложе его, она пережила его нѣсколькими годами и умерла, какъ и онъ, безъ малаго шестидесяти четырехъ лѣтъ.

Дѣдушка Иванъ Яковлевичъ былъ небольшого роста, плечистый, сѣдой, совершенно лысый, съ мясистымъ носомъ и черными, влажными, лукавыми глазками. Отъ природы лѣнивый и мѣшковатый, онъ подъ старость совершенно осунулся, ходилъ въ коричневой или зеленой, охотничьей курткѣ, въ широкихъ нанковыхъ панталонахъ, подпоясанныхъ ремнемъ, и въ высокихъ съ кисточками сапогахъ. Бѣлье у него впрочемъ, благодаря бабушкѣ, было всегда тонкое и безукоризненно чистое.

Бабушка Анна Васильевна была высокая, худая и блѣдная, съ быстрыми умными глазами, прямымъ, вострымъ носомъ, и не взирая на преклонные годы, стройная и не полѣтавъ проворная и дѣятельная. Въ праздники она ходила въ черномъ левантиновомъ, въ будни въ неизмѣнномъ бѣломъ коленкоровомъ платьѣ. На сѣдыхъ волосахъ ея всегда красовался чистый кисейный чепецъ: на шеѣ легкой волной былъ наброшенъ бѣлый, запущенный подъ платье, платочекъ. Къ этому, въ холодные дни, иногда прибавлялась—сѣрая фланелевая фуфайка дѣдушки, или его кры-

* Два другихъ, изъ той же серіи очерковъ автора: „Разсказы бабушки“ и „Лейбкамpaneцъ“ помѣщены въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ 1870 и 1871 годовъ.

тый синимъ демикотономъ, на бѣлыхъ, мерлушевыхъ смушкахъ, халатъ. По хозяйству Анна Васильевна ходила въ мужскихъ сапогахъ, а въ гости по сосѣдству ѣздила въ тележкѣ, при чемъ любила надѣвать старую дѣдушкину ополченскую шинель и его теплый на лисьемъ мѣху картузь. — „Спартанка!“ говорили, глядя на нее въ такомъ нарядѣ, сосѣди. И бабушка дѣйствительно была спартанка.

У Анны Васильевны не было своей постоянной комнаты. Одну недѣлю она спала въ зеленой гостиной, другую въ портретной, иногда перекочевывала въ угольную, или въ библіотеку. „Долги мучать, бессонницей страдаетъ!“ шептали о ней сосѣдки. Бабушка любила читать. Хорошо образованная въ молодости, знавшая нѣмецкій и французскій языки, она и подъ старость не покидала любви къ книгамъ и къ выпискамъ изъ нихъ того, что ей особенно нравилось. Добывъ въ городѣ или у кого-нибудь изъ окрестныхъ знакомыхъ, новую любопытную книгу, она уносила ее къ себѣ и рядомъ съ нею клала толстую тетрадь. Послѣ ея смерти, на чердакѣ амбара, нашли цѣлыя кны такихъ тетрадей, четкими и крупными почеркомъ исписанныхъ выдержками изъ любимыхъ ея авторовъ: Вольтера, Руссо, Вольтера и Дидерота. Постоянной, личной прислуги у бабушки тоже не было. Помогали ей въ ея надобностяхъ деревенскія бабы, ходившія по очереди убирать барскій домъ. Анна Васильевна съ молоду любила кроить и перешивать разный носильный хламъ. А потому и въ старости нерѣдко можно было видѣть ее на коврѣ, въ гостиной или въ портретной, въ кругу пяти-шести деревенскихъ бабъ, за распарываньемъ и перешиваньемъ платьевъ, которыхъ впрочемъ бабушка никогда потомъ не носила.

Въ семьѣ господствовалъ немалый безпорядокъ. Бабушка безъ устали читала; дѣдушка то и дѣло охотился. Дѣти обучались съ грѣхомъ по поламъ. При нихъ когда-то проживалъ гувернеръ, изъ французскихъ гвардейскихъ солдатъ, эмигрантъ Санбефъ. Пристроясь въ этой семьѣ, Санбефъ выписалъ изъ Франціи и свою жену. Мадамъ Санбефъ отлично готовила кушанья. Мужъ ея, впрочемъ, не столько занимался обученіемъ ввѣренныхъ ему питомцевъ, сколько охотой съ ружьемъ по болотамъ, ловлей рыбы или лягушекъ себѣ

и женѣ на соусъ, да разсказами любовныхъ исторій, во вкусѣ новеллъ Боккаччо. Дѣти подросли. Мальчики облеклись въ мундиры и уѣхали въ дальніе поля. Дѣвочки вышли за мужъ. Уѣхали изъ деревни и Санбефъ съ женою. Впослѣдствіи они открыли въ городѣ колбасную и отлично торговали.

Хозяйство дѣдушки, въ началѣ двадцатыхъ годовъ, стало болѣе и болѣе приходить въ упадокъ. Случалось такъ, что при пяти имѣніяхъ и въ нихъ при семи тысячахъ десятинахъ земли, не хватало денегъ на покупку припасовъ для стола. Гости впрочемъ не переводились въ домѣ дѣдушки. Не смотря на долги, Иванъ Яковлевичъ жилъ въ свое удовольствіе: имѣлъ собственныхъ музыкантовъ, хоръ пѣвчихъ, а на охоту выѣзжалъ съ сотнею и болѣе гонимыхъ и борзыхъ.

Обѣдъ въ домѣ заказывалъ всякъ, кто хотѣлъ. Своей птицы зачастую не хватало, а приносили ее, какъ молоко, яйца и огородную зелень, по очереди, въ счетъ барщины, съ села. Разливала чай и ходила въ комнатахъ, при ключахъ, худенькая, съ жидкою, сѣдою косичкой и постоянно босая, дѣвушка Марья.

Иванъ Яковлевичъ, мало развитой, робкій и съ юныхъ лѣтъ несообщительный и молчаливый, отъ долговъ и разстройства дѣлъ, былъ постоянно не въ духѣ. Анна Васильевна о мужѣ всегда однако отзывалась съ отиѣннымъ уваженіемъ, увѣряя всѣхъ, что Иванъ Яковлевичъ весьма упрямый и тонкій человѣкъ, и что самое его молчаніе—многозначительно. Даже къ сердечнымъ слабостямъ Ивана Яковлевича она относилась крайне снисходительно. Когда у него въ лѣсу, на хutorѣ, въ Курбатовомъ, завелась въ лицѣ весьма красивой лѣсничихи, Ульянки, фаворитка,—Анна Васильевна и въ этой Ульянкѣ сверхъ ожиданія, находила нѣкоторую степень ума „привлекательнаго“ и рѣдкаго „въ этомъ сословіи“. Жалѣя здоровье Ульянки, она ей подарила свою старую котиковую шубку и собственные шерстяные чулки. А замѣчая косые взгляды и даже ропотъ невѣстокъ, при видѣ предпочтенія, которое оказывалось этой Дульциней, говорила: „Вы, сударыньки мои, не фыркайте и не смотрите слишкомъ строго на то, коли и собственный муженецъ у какой-либо изъ васъ иногда отшатнется въ

сторону. Жена, иными вы мои, это тоже, что новенькое платье; чай, слышали: за ново ситцы на колочѣ висятъ... А мужъ нашъ господинъ и владѣйка. Мы должны радоваться его удовольствіямъ и беречь его — паче зѣнцы ока...“ Невѣстки слушали такіе рѣчи молча и наставленій свекрови отнюдь не одобрили.

Навѣщая родныхъ и знакомыхъ, Анна Васильевна любила привозить мужу въ гостиницѣ пробы разныхъ кушаньевъ. „Покушайте, зельхонъ, говорила она въ такихъ случаяхъ, развязывая крыночки и горшочки: это — постное пироженъ съ рыбкой и съ грибами; очень вкусно; а это — паштетъ изъ дупелей“. И Иванъ Яковлевичъ, забираясь на сутки и болѣе на охоту въ лѣсъ, присылалъ въ гостиницѣ женѣ стряпню Ульянки при записочкахъ: „Покушайте и вы, герцхонъ, издѣлія моего кухмистра; на тарелкѣ — бѣлые грибы въ сметанѣ, а въ мискѣ — застуженные караси. Жѣ ву бѣзъ, и рекомендую — превкусны“.

Жилъ Иванъ Яковлевичъ въ родовомъ селѣ Пришибѣ. Въ остальныхъ его имѣніяхъ — въ Ольшанкѣ, на Середней, въ Великомъ селѣ и на Богатой — всѣмъ управляли прикащики. Дѣла Ивана Яковлевича, что ни годъ, становились хуже и хуже. Заимодавцы оказывались злѣе и злѣе. Судьба имѣній висѣла на волоскѣ. А устроить дѣла, постороже надблести за распорядами управляющихъ, не хватало воли, терпѣнія и рѣшимости.

Стараясь, чтобъ ничто дурное и тревожное не доходило до мужа, Анна Васильевна сама возилась съ заимодавцами, спорила съ ними, молила ихъ объ отсрочкахъ, выслушивала ихъ упрёки и даже брань, но къ мужу этихъ господъ не допускала. Иванъ Яковлевичъ зналъ такіе обычаи жены, и если кто либо изъ кредиторовъ являлся въ Пришибѣ, онъ сказывался больнымъ, требовалъ пивокъ и все собирався ихъ ставить, пока назойливые гости не уѣзжали.

— Вы бы, зельхонъ, отправились на Серединю, или въ Ольшанку, — говорила иной разъ мужу бабушка: дѣла тамъ, слышно, изъ рубѣ вонъ плохо идуть...

— Да зачѣмъ же я, герцекъ, туда поѣду?

— Ради Бога, побѣжайте; побѣрьте этихъ мошенниковъ управляющихъ. Сколько у васъ земель, овецъ и скота, а доходовъ почти никакихъ... Сыновья на службѣ, надо имъ и на обмундировку и на житье; ну, и молодые люди,—повеселиться тоже... А денегъ у насъ давно ни алтына...

— Ахъ, герценька! я бы и поѣхалъ, да вонъ... кажется, собирается гроза...

Иванъ Яковлевичъ былъ вообще не храброго десятка, но особенно боялся грозы. Онъ избѣгалъ быть въ пути во время дождя, опасаясь, что его непременно убьетъ громъ. Человѣкъ нителный и слабый во всѣхъ отношеніяхъ, въ дорогу онъ собирался особенно всоохотно. Иногда эти сборы длились по нѣскольку недѣль.

Всѣ знаютъ, бывало, что бариня уговорила барина и что баринъ наконецъ рѣшился выѣхать. И начинаются приготовления. Съ пяти-шести часовъ утра передняя, въ подобныхъ обстоятельствахъ, уже полна. Писарь, конторщикъ, десятскіе и ключникъ, переминаясь съ ноги на ногу, вздыхая и зѣвая, стоятъ въ ожиданіи воя и приказаній барина. А баринъ проснется и, тоже зѣвая и вздыхая, прихлебываетъ ложечкой на постели чай, разсматриваетъ свои руки или, собираясь понюхать табакъ, развертываетъ и опять свертываетъ на колѣняхъ клѣтчатый носовой платокъ.

Каждый разъ съ вечера въ такихъ случаяхъ ученики Сан-бефши, сѣдовласый поваръ Естухъ Ничка и старая повариха Нешка, нажарятъ барину и напекутъ въ дорогу всякой всячины. Призывался и лихой на пѣсни и на выпивку слесарь Оедька. Появлялся и низенькаго роста, несчетные разы мятый на выѣздѣ молодыхъ лошадей, коренастый, мрачный и вѣчно смотрѣвшій въ землю, главный кучеръ Ивашко. Слесарю Оедькѣ отдавался строгій наказъ — получше осмотрѣть и перечесть въ дорогу бариновы ружья. Ивашкѣ приказывалось — пораньше накормить, наконить и приготовить любимую караковую четверню бариновыхъ лошадей. Но съѣстные припасы, ружья и лошади давно, бывало, готовы, приказные по нѣскольку разъ выйдутъ изъ передней на

крыльцо, размять усталыя спины и покурить, и на селѣ все хоромятся по дворанъ, чтобъ не перейти барину дороги, а баринъ все не выходитъ изъ своей опочивальни.

Анна Васильевна, въ такихъ обстоятельствахъ, вертитъ-вертитъ спицами чулка, глядитъ то въ одно окно, то въ другое, потерѣетъ наконецъ терпѣніе и входитъ къ мужу.

— Что же вы, зельхонъ, не ѣдете?—спрашиваетъ она, видя, что мужъ по прежнему сидитъ, свѣсивъ необутыя ноги съ постели и рассматриваетъ руки или носовой платокъ.

— А что, герценька, отвѣчаетъ Иванъ Яковлевичъ: ѣхать, видно, сегодня не приходится.

— Почему?

— Руки терпнуть и ногти на пальцахъ что-то какъ-будто синіе. Это вѣрно къ переměнѣ погоды. Пусть лучше до завтра.

— Какой же еще погоды! вскидывается въ досадѣ бабушка: смотрите, — Божій день ясенъ, а въ саду, въ полѣ, какой ароматъ!...

— Ну, нѣтъ, отвѣчаетъ дѣдушка: я вотъ и Нешку повариху призывалъ; говорить, всю ночь до утра курица какая-то на кухнѣ кричала: видно, будетъ дождь.

— Да какой же дождь? на небѣ ни облачка!

— И сонъ, герценька, я видѣлъ сегодня; совсѣмъ нехорошій сонъ... Покойнаго попа, отца Ивана, будто я въ прудѣ купать, а онъ меня осилилъ и верхомъ на мнѣ будто по саду поѣхалъ... Да и вчера былъ тоже сонъ... Снился покойный тятенька...

И начнетъ рассказывать Иванъ Яковлевичъ свои сны, да такъ медленно, съ разстановками, что бабушка не вытерпитъ и уйдетъ. Отъѣздъ, разумѣется, при этомъ отлагался. А тѣмъ временемъ и прикащики отдаленныхъ вотчинъ проноухаютъ, что баринъ собирается ихъ провѣрять, и принимаютъ свои мѣры.

Иванъ Яковлевичъ наконецъ рѣшается. Старая барыня молбенъ отслужила, ходитъ веселая, довольная. Къ крыльцу подкачена желтобокая, выписанная изъ Вѣны коляска, и въ нее горой наложены всякіе склады, погребцы, узлы, укладки и свертки. Лакей и парикмахеръ Гаврюшка, со всякой всячиной подъ мышками, мечется,

какъ угорѣлый изъ кухни въ кладовую, изъ кладовой въ музыкантскую, а изъ музыкантской въ швальню, не забывая впрочемъ по пути забѣжать и позубоскалить къ кружевницамъ и коверницамъ. Солнце подбирается къ десяти часамъ. Ужъ и жарко.

— Пора, говорить, — кончивъ кофе, Иванъ Яковлевичъ: можно бы, герцогъ, и запрягать.

— Куриную котлетку только или фрикасе изъ дичи скушали бы еще на дорогу, — говорить, не помня себя отъ радости, бабушка.

Она подаетъ знакъ ключницѣ.

Черезъ полчаса въ хомутахъ ведутъ и запрягаютъ лошадей. Лягавый жирный песъ Бекасъ усѣлся между торчащими ружьями на возлахъ, радостно визжитъ и воетъ отъ нетерпѣнія.

А тѣмъ временемъ, какъ Иванъ Яковлевичъ, медленно жуя и перебирая косточки, кушаетъ напутственное фрикасе и куриную котлетку, — ключница Марья, высунувшись изъ коридора, шопотомъ докладываетъ баринѣ, что на деревнѣ... появился мужикъ съ Средней.

— Кто? кто? — спрашиваетъ, слышавъ этотъ шопотъ, баринъ.

— Капитошка Кочетъ.

— Зачѣмъ онъ?

— Родныхъ пришелъ навѣстить... потому у него кума... представляетъ, не видя тревожныхъ знаковъ барыни, сѣдая ключница.

— Позвать Капитошку! — объявляетъ, утирая губы и въ раздумьи шевеля бровями, баринъ.

И является Капитошка. Поклонится онъ, станетъ, какъ ни въ чемъ неповинный, у двери и молчитъ.

— Все ли у васъ тамъ благополучно? спрашиваетъ, нюхая табакъ, Иванъ Яковлевичъ.

— Какъ вамъ, сударь, сказать... кажись бы все...

— А болѣзней никакихъ не слышно?

— Какъ не слышно! Есть...

— Какія же?

— А ходитъ одна, сказать бы и пустая, да такая, что руки и ноги у людей отнимаются, а то и попрыщеть...

— Слышите, герценька?— спрашиваетъ, глядя на жену, Иванъ Яковлевичъ: такая, что и попрыщеть.

— Слышу, — отвѣчаетъ, сердито глядя поверхъ очковъ на Капитона, Анна Васильевна.

— Ну, а погода? допытывается баринъ, начиная опять на колѣняхъ разстилать и свертывать носовой платокъ.

— У васъ тутъ, сударь, еще бы и ничего, отвѣчаетъ на заданный урокъ Капитонъ: а вотъ степню сегодня я шелъ, такъ и не приведи Богъ, какая тамъ шла туча. Какъ выйдете въ поле, то будетъ и дождь и громъ.

— Ну иди же ты, Капитонъ, на кухню да вели себѣ дать водки и пирога, — а я лучше пережду.

Иванъ Яковлевичъ до того боялся грозы, что даже въ коннатахъ съ первыми ударомъ грома приказывалъ запереть ставни и двери, зажигалъ лампадки у образовъ, ложился среди бѣла-дня въ постель, голову прикрывалъ одеяломъ и такъ лежалъ, пока удалялась гроза.

Но случалось, что Иванъ Яковлевичъ наконецъ и выйдеть, да вспомнить, что въ то утро всталъ съ постели лѣвой, а не правой ногой, или увидить на улицѣ, крестъ-на-крестъ упавшія, двѣ соломинки, или кто-нибудь въ деревнѣ перейдетъ ему дорогу: то непремѣнно возвращается и къ новому отъѣзду соберется уже не скоро.

Жизнь Анны Васильевны на старости была вообще не легка. Сыновья были на службѣ, дочери замужемъ. Однѣ книги ее утѣшали. Твердая нравомъ, начитанная и унылая старушка не унывала. Мужнино хозяйство, правда, шло до того плохо, что, при тридцати-сорока лошадяхъ на конюшнѣ, иной разъ не на чѣмъ было выѣхать: лошади то хропали, то были запалены, и кучеръ Иванъ-ко подѣ-часъ докладывалъ, что нѣтъ ни единого цѣлаго и сноснаго хонута. За то въ коннатахъ, благодаря хлопотамъ Анны Васильевны, всегда было чисто, уютно, свѣтло, и пріятно пахло. Позолота на зеркальных рамкахъ потускнѣла правда, и потерялась,

и Гавришка нерѣдко ходилъ съ прорванными локтями. За то цвѣты по окнамъ были постоянно свѣжи и зелены. Полы въ комнатахъ бабы подметали вѣниками изъ душистыхъ травъ, вошни и вытирали суконками. И если Анна Васильевна не всегда имѣла деньги на собственные необходимыя потребности, если сама она пила чай изъ безносаго чайника, за то мужу кофей на завтракъ подавался не иначе, какъ въ серебряномъ, съ рѣзьбой и съ цвѣткомъ на крышкѣ, кофейникѣ и съ такою же сахарницей. Въ новый годъ прислуга не выбрасывала изъ дому сору, а оставляла его гдѣ-нибудь въ углу за дверью или подъ печкой, чтобъ не вынести вонъ изъ дому... счастья...

Что-жъ за „счастье“ было у бабушки?

Анна Васильевна, лѣтомъ, съ книгой на балконѣ, а зимой, съ чулкомъ, склоняясь къ промерзшему окну, по цѣлымъ часамъ простаивала, глядя черезъ садъ на дорогу въ дальнюю ихъ вотчину на рѣкѣ Богатой.

Тамъ за Донцомъ, за сто слишкомъ верстъ, въ бывшей Азовской, тогда уже Екатеринославской губерніи, была дѣдушкина земля и стоялъ, построенный въ прошломъ вѣкѣ его отцомъ хуторъ.

Тамъ-то и былъ „бабушкинъ рай“... И этотъ рай была бабушкина крестница—Груня.

Чуднымъ образомъ досталось это утѣшеніе бабушкѣ. Вышла какъ-то лѣтомъ Анна Васильевна въ старый пришибской садъ, взглянуть, не осыпалась ли завязь на молодыхъ, посаженныхъ ею щепкахъ? Она взглянула на яблони—добрый крестьянинъ, плодовитку и антоновку; взглянула на бергамоты и дуди... Все было благополучно. Она нарвала цвѣтовъ и уже хотѣла уйти, какъ у корня груши-тонковѣтки, въ сочной высокой травѣ, услышала, какой-то писекъ. Анна Васильевна склонилась къ землѣ, бережно раздвинула траву. Передъ ней, перебирая голыми ручками и ножками, копошилось крохотное въ оборванныхъ пеленочкахъ дитя.

Найденная подъ грушей, дѣвочка была названа Груней, при-

ната, вырощена и воспитана бабушкой. А когда Грунѣ помогъ пятнадцатый годъ и она уже была обучена грамотѣ, шитью, домашнему хозяйству, пѣнію и даже игрѣ на клавиринахъ, Анна Васильевна рѣшилась съ нею разстаться.

„Дѣвка на возрастѣ и страхѣ, какъ хорошѣтъ!“ думала про себя бабушка: „сынки то и дѣло изъ полковъ навѣдываются, сосѣдніе военные тоже какъ комары здѣсь толкуются, и одинъ изъ нихъ, этотъ картежникъ и сердцеѣдъ, майоръ Иностранцевъ, особенно сильно сталъ на Груню поглядывать... Надо ее спроводить подальше.“

И Анна Васильевна, скрѣпя сердце и обливаясь слезами, Груню спроводила. Она снабдила ее одеждою и обувью, наставленіями, благословеніемъ и книгами и отправила ее за Донецъ, на Богатую, подъ надзоръ и руководство стараго и опытнаго, но хвораго управляющаго изъ нѣмцевъ, Флуга. Старикъ Флугъ, однако же, вскорѣ умеръ. — „Поставьте на его мѣсто Флугшу, стала совѣтовать бабушка мужу: нѣмка, почитай, и такъ при покойномъ всѣмъ тамъ заправляла. Управится и теперь. Особенно же при ней наша Груня; будутъ у нихъ для насъ масло и птица, будутъ, какъ слѣдъ, догляжены овцы, кони и все наше добро.“ Мужъ согласился.

Груня привыкла къ хозяйству и дѣйствительно хорошо управлялась. Она по часту переписывалась съ бабушкой. — „Живу хорошо, милостивая государыня и крестная матушка, писала она: только скучаю. Степь, ни села кругомъ не видно, ни лѣса. Новый флигель, поодаль отъ батрацкихъ избъ, сколоченъ тепло, заборъ вокругъ двора высокъ и крѣпокъ, а на ночь мы ворота съ Миной Карловной запираемъ на замокъ. Ленъ цвѣтетъ — все поле голубенькое, какъ ситчикъ, что вы прислали. Овцы здравствуютъ, — табунъ съ нови бѣжить, земля дрожить, — а ужъ садъ да и огородъ у насъ, на рѣчкѣ Богатой — не чета, маменька, вашему: будутъ яблоки апортъ, будутъ гливы-безсѣмянки, будутъ черешни и бѣлая слива. Припасайте, крестная, сахару: всего наваримъ. Да пришлите книжечекъ. Смерть, по вечерамъ, тоска. Прочла я Наталью боярскую дочь... Ахъ, какъ хорошо. А не вышло ли, маменька, продолженія Онѣгина? Да еще слышно, — купецъ тутъ съ бакалей

сбился съ дороги, у насъ кормилъ,—ходятъ, говорятъ, въ спискахъ стихи, Горе отъ ума. Очень хвалятъ и у него списано нѣсколько стихиковъ... Принимайте. Флугшу лихорадка бьетъ, да и глазами хвораетъ. Нѣтъ ли какихъ капель?”

Грунѣ исполнилось шестнадцать лѣтъ. Высокая, темнорусая, степенная и гордая, съ полною крѣпкою грудью, румяная и широкая въ кости,—Груня ходила съ увальцемъ, говорила медленно, будто нехотя, работала не спѣша. Большіе сѣрые глаза смотрѣли ласково... Она станеть, не двигая ни рукой, ни бровью, улыбнется,—всю душу освѣтитъ. А пѣла, забравшись въ поле или въ садъ, — не наслушаешься.

„Ой, соберется онъ на Богатую, соберется!“ мыслила, въ тоскѣ о своей питонкѣ и въ тревогѣ о мужѣ, Анна Васильевна: „Середняя, Ольшанка ближе къ дому, и дѣла тамъ вотъ какъ запущены, — а его туда не сдвинешь. На Богатую же, въ такую даль, какъ разъ, онъ угодить, — и не спохватиться... Да, да, угодить; и маіоръ Иностранцевъ съ намъ собирается... Недаромъ Иванъ Яковлевичъ сталъ толковать, что на табунъ надо взглянуть. Ружья началъ чистить, — дичи, говорятъ, лисицъ, да дрохвъ, не оберешься тамъ... Знаю, сударь, на какую дичь твой другъ Иностранцевъ мѣтитъ.“

Съ упавшими отъ жалости и страха сердцемъ Анна Васильевна вздыхала, хмурилась, быстро перебирала спицами чулка и не отходила отъ оконъ, изъ которыхъ былъ видѣнъ путь на Богатую.

Оласенія бабушки однако не сбылись. Груня вскорѣ ускользнула отъ всякой опасности.

Бабушка продолжала навѣщать хуторъ на Богатой.

Особенно любила Анна Васильевна встрѣчать весну на этомъ хуторѣ. Поѣдетъ къ роднымъ на Самару или на Торепъ, отговѣется тамъ въ великій постъ и заѣдетъ провѣдать Груню.

А Грунѣ пошелъ восемнадцатый годъ.

Февраль-бокогребъ дохнетъ тепломъ, да не такъ, какъ слѣдуетъ. Коляя заборовъ, угли хать и сараевъ на подсолнечной

сторонѣ, съ утра затаитъ, а къ вечеру обморзнуть опять. Мартъ еще держитъ и холодъ и снѣгъ, хотя небо становится ласковѣе, голубѣе. Вотъ благовѣщеніе, конецъ поста. Дружнѣе дуетъ съ полдня знакомый, теплый и полный обязательной нѣги вѣтерокъ. Старый табунщикъ Максимъ глянулъ въ окно, подтанулъ носъ и говоритъ женѣ: „А что, Ганна, должно быть и весна на дворѣ?“ — „Можетъ и весна!“ отвѣчаетъ покорно и робко жена. И оба они выходятъ на порогъ хаты, жутко и весело вглядываясь въ заснѣвшую степь. — „Пора барышнѣ доложить, пусть отпашетъ господамъ, не разнять ли табуна на водѣ, не выгнать ли коней хоть на старня живы?“

Выходитъ и Груня за ворота. Кругомъ еще тихо. А бѣлыя перистыя облака беспокойно несутся надъ вздувшеюся отъ подпора дальнихъ водъ Богатой. Еще заранѣе морозитъ; еще по ночамъ хруститъ подъ ногами. А въ лицо уже пахнетъ нѣжнѣе, щедрнѣе, будто праздничнымъ тепломъ. Вышла Груня въ поле, оглядывается кругомъ, точно паръ молодого хлѣбнаго вина разлитъ и струится въ воздухъ. И отъ cadaго вошедшаго съ надвора, отъ его одежды, лица и рѣчей — пахнетъ весной. И вотъ весна пришла.

Огромный, исхудалый за зиму грачъ, звонко каркая, летитъ съ поля на выгонъ. Выглянуло солнце, глядитъ и не прячется. Подъ его лучами затаили родники, сугробы и наметы. Все точно дымится, обрушается, шумитъ и плыветъ. Къ вечеру будто отступить. Выйдетъ Груня на крыльцо, кругомъ тихо, только собаки на дальней овчарѣ лаютъ, да въ темнотѣ кое-гдѣ раздастся шелестъ подтаявшаго снѣга, неугомонное шумуканье и пошептыванье бѣгущей по скатамъ въ разныхъ уголкахъ и направленіяхъ воды. Стоитъ Груня и слушаетъ, что говорить воды и что нашептываетъ весна? Вотъ все стихло, не слышать ничего. Но въ потьмахъ у сарая что-то вновь зашелестѣло: вода понемногу скопилась, пробуравила подъ соломой, сваленной у коновязи дырку, закипѣла и точно ухнула, рѣзво понеслась вдоль двора къ рѣкѣ. А не то мелкими, звонкими каплями, какъ горохъ или дробь, вдругъ посыплется что-то съ крышъ, точно охватило ихъ налетѣвшими, бродячими тепломъ, и онѣ подъ его струей затаили...

Прошелъ день-другой, пришла недѣля. Груню манить въ садъ. Изъ влажнаго, пригрѣтаго чернозема, пробиваются первыя травы, тутъ же на солнышекѣ прямо и разцвѣтая. Голубые пролѣски и бѣлые ландыши гнѣздятся между безлистныхъ еще деревьевъ. Явились ласточки, мотыльки. Цвѣтковыя почки на вѣтвяхъ вздулись, и ихъ липкіе, душистые лепестки разворачиваются зелеными и бѣлыми кулачками. Еще день—вишень и терна не узнать: все сливается въ бѣлую стѣну, и запахомъ меда далеко несетъ отъ нихъ. Показались мошки и комары. На тропинкахъ обозначились ямки пауковъ. Рогатый черный жукъ суетливо катитъ задомъ, черезъ былинки и сучья, скопченный изъ всякаго хлама шарикъ. Отозвалась кукушка. А вотъ и соловьи...

Сидеть Груня на крыльцѣ, мысли ея далеко — съ Кавказскими плѣнниками, или съ цыганомъ Алеко. Дворъ хутора на взгорьѣ. За выгономъ влѣво и вправо неоглядная степь, на днѣ широкаго лога—извилины рѣчки Богатой, а за рѣкой опять взгорье и опять синяя, гладкая степь,—все это видно съ крыльца, какъ на ладони. Во дворѣ тихо. Рабочіе, старъ и младъ, ушли на посѣвъ. Овцы и лошади пасутся далеко по буграмъ; за косогоромъ ихъ не видно. Солнце грѣетъ. Птицы затихли. И ни одинъ звукъ не долетаетъ до Груни. Развѣ хлопотунъ-пѣтухъ, роясь въ кучѣ сора, отзовется на отошедшихъ къ сторонкѣ куръ, да согнанная коршуномъ или кошкой стая голубей съ шумомъ взлетитъ съ овчарни или съ мельницы и кружась унесется къ вербамъ на луга...

Груня смотритъ на голубей, на сарай, подъ который кучей свалены живыя дровни, на всякую домашнюю рухлядь, развѣшенную Флугшей по веревкѣ между погребомъ и амбаромъ, на зачѣнныя тулупы, наволоки, кофты, одѣяла, платки и мѣшки. Посидитъ Груня, вздохнетъ и идетъ въ садъ. А тамъ въ сочныхъ травахъ и въ кустахъ, кипитъ домовитая хлопотная пѣвчихъ птишекъ и звѣревокъ. Въ земляныхъ, листовыхъ и древесныхъ тайникахъ вездѣ пищать, копошатся, звенять и шушукать новорожденные крылатые и четвероногіе сеньи. А въ воздухѣ жарче и жарче. Земля накаляется. По степи, волнуясь, роста и опять

исчезая, движутся исполинскія туманныя шары... Скоро, на колыяхъ заборовъ и на высохшихъ былинкахъ, явится остроносенькая, вѣчно-чиликающая «птичка-жажда». Загремятъ страшныя грозы, прольются шумные дожди...

Грунѣ исполнилось девятнадцать лѣтъ.

Въ концѣ зимы того года, ѣздивши съ Флугшей въ церковь ближняго села, Груня простудилась и пролежала большую часть великаго поста. Бабушка и фельдшера къ ней присылала и сама ее навѣстила на страстной недѣлѣ. Много въ эту зиму въ степи болѣло людей. Старый табунщикъ Максимъ умеръ и на его мѣсто Иванъ Яковлевичъ прислалъ отъ себя другаго наѣздника, Родку, по прозвищу Вѣлогубова. О смерти и о похоронахъ Максима, а равно о присылкѣ Вѣлогубова, Груня знала смутно, по слухамъ, изрѣдка долетавшимъ въ свѣтелку, гдѣ она томила въ болѣзни. На пасху Груня оправилась. Еще блѣдная, худая и слабая она приодѣлась, накинута на голову платокъ и, пошатываясь, отъ скуки вышла на крыльцо, а оттуда въ садъ.

Былъ конецъ апрѣля. Вечерѣло. Овцы шли къ водопою. Табунъ рѣзко несся по степи домой.

Груня потянула грудью вольнаго, свѣжаго воздуха и глаза закрыла отъ блеска солнца, тонувшаго за рѣкой, да отъ запаха распускавшихся деревъ и цвѣтовъ. Никогда еще весна такъ не плѣняла и не чаровала Груни. Слезы покатались у ней по лицу. Она присѣла на коцкѣ, склонилась головой на руку и сперва тихо, потомъ громче и громче, съ переливами, запѣла нѣкогда модную пѣсню, которой за клавесиномъ выучилась у крестной:

Я бѣдная пастушка,
Весь міръ мой—этотъ лугъ,
Собачка мнѣ—подружка,
Барашекъ—милый другъ...

За спиной Груни послышались шаги. Что-то зашелестѣло въ кустахъ. Она смолкла, оглянулась. Раздвинувъ вѣтви вишеника,

передъ нею, безъ шапки, стоялъ высокій, статный человѣкъ: въ сѣромъ старенькомъ, обхваченномъ ремнемъ армякѣ, на поясѣ подпалоу, ножъ и ланцетъ, самъ онъ русый, борода чуть пробивается, молодое, обвѣтренное лицо, и ласковые, смѣющіеся и виѣстъ робкіе глаза.

— Птушки, сударынька! это вамъ-съ!.. сказалъ подошедшій, разжмая широкую мезолистую ладонь.

Груня взглянула: передъ ней на протянутой рукѣ сидѣли рядкомъ, шевелясь и раскрывъ желтые, мягкіе носы, двѣ чуть обросшія сѣрымъ пухомъ птички.

— Что это? спросила Груня.

— Птушки, сударынька, жавороночки! а може и скворцы... не бойтесь, это вамъ...

— А ты самъ кто такой.

— Новый табунщикъ, Родька, коли изволили слышать.

Груня встала.

— Ну, Родивонъ, сдѣлай же ты мнѣ божескую милость, сказала она: отнеси ты этихъ пташекъ туда, откуда ихъ взялъ. Это соловьи... Пусть себѣ живутъ... Да бережно, смотри, положи, чтобъ соловьи не откинулась. А за вниманіе благодарствую...

Съ этими словами Груня ушла. Поглядѣлъ ей вслѣдъ Родивонъ, вздохнулъ и, почесывая затылокъ, долго не сходилъ съ мѣста. Какъ стемнѣло, онъ спустился въ ягодные кусты, положилъ птицъ на гнѣздо, въ сборную избу ужинать не зашелъ, а сѣлъ на коня, шевеля плеткой, тихо выѣхалъ въ степь, и Груня изъ своей свѣтелки слышала, какъ по темному бугру за рѣкой, на привольи, раздавалась его громкая, заунывная пѣсня...

«Охъ, и гдѣ-же ты, гдѣ-же ты,

«Моя любезная...?»

Съ той поры Родивонъ не выходилъ изъ головы Груни. Она пряталась отъ него, избѣгала его, но невольно слѣдила за всѣмъ, что онъ дѣлалъ и что о немъ говорили.

Въ срединѣ мая на Богатую пришли подводны, забирать про-

данную купцамъ прошлогоднюю пшеницу и кое-что изъ запасовъ льна. За болѣзнью Флугни кули вѣсилъ и, какъ грамотный, по списку отпускалъ подъ надзоромъ Груни Родивонъ. Первые все нагрузились и съ купеческихъ прикащиковъ уѣхали; стали грузиться вторые; подводчики устали и пошли обѣдать. Въ прохладномъ, пахнущемъ мукой и развѣшенными новыми вѣниками, амбарѣ остались только Родивонъ да Груня. Поглядывая на Груню, Родивонъ карандашомъ выводилъ послѣднія отиѣтки въ амбарномъ спискѣ. Груня зѣвнула.

— Это у васъ, барышня, какое колечко? спросилъ Родивонъ, встрахивая запятыми кудрями.

— Сердоликъ, крестной подарокъ! отвѣтила Груня, протягивая руку.

— Да что ты, непутный, поди! мукой всю перепачкаешь! — крикнула она, сѣясь и съ силой отталкивая Родивона: ой, да не жми же такъ, больно... пусти... Мину Карловну позову...

Родивонъ не отступалъ. Онъ крѣпче обнялъ Груню, подхватилъ ее отъ полу, какъ перышко, посадилъ на куль рядомъ съ собой и сказалъ:

— Что-жъ, сударыня, кричите; одинъ, видно, нѣтъ конецъ...

— Да пусти-же ты, сумасшедшій, что затѣялъ! одумайся! ой!..

— Нечего нѣтъ, барышня, думать. Сердце изныло. Одна дорога: либо въ петлю, либо въ воду... День хожу, какъ шальной, ночи не сплю — помутила меня твоя красота, Грунюшка...

Трепетъ побѣждалъ по тѣлу Груни. Она вспыхнула, искоса поглядывая на Родивона.

— Ахъ, отчего я не богатый, да не знатный! продолжалъ Родивонъ: не пойдешь за простаго, не отдадутъ такой крали за сермяжника...

Груня вырвалась отъ Родивона. — „Руки коротки!“ сказала она, толкнувъ его такъ, что тотъ о закроу ударился спиной. — „Минѣ Карловнѣ — вотъ ей Богу — все расскажу!“ прибавила она, безъ оглядки уходя изъ амбара. А когда вечеромъ уѣхали послѣдніе подводы, Груня вышла на крыльцо, подозвала Родивона, взяла у него амбарные списки и, не уходя въ горницы, спросила: „кто ты родомъ и откуда къ господамъ нашимъ взялся?“

— Княжескій я, нѣсколько замѣвшись, тихо отвѣтилъ Родька: въ пѣвчяхъ былъ—не вытерпѣлъ; въ огородахъ—не по праву вышелъ; лошадей любилъ—ну, съ тѣмъ и остался...

— Какъ же къ господамъ-то къ нашимъ пристаеъ?

— У лекаря, у Егора Оадемча Слѣзиевскаго, сперва кучеромъ ѣздилъ, а онъ меня и къ вашимъ господамъ направилъ.

— По пачпорту, что-ли, ходишь?

— Мы оброчные, еще тише отвѣтилъ Родька.

— Есть же у тебя отецъ, мать? допытывала Груня, разглядывая стоявшаго передъ ней безъ шапки молодца.

— Какъ перстъ, барышня, одинъ я на свѣтѣ...

— Ну, иди-же, Родивонъ, къ себѣ, да впередъ не смѣй озорничать. Не то, поссоримся.

— А книжечки, сударыня, нѣтъ ли почитать? лукавыми, карими глазами усмѣхнулся Родька.

— Постѣ приходи... Найду, сама тебя кликну и отдамъ!.. а самъ не смѣй!—вся покрасѣвшись, обернулась и тихо ушла къ себѣ въ горницу Груня.

Кончился май. Началась косовица, полотье огорода и льна. Груня ходила въ поле къ гребцамъ и къ помольщикамъ въ огородахъ и на луга. Не зная пора. Весело и разныться, не смотря на зной и духоту. Вездѣ въ часы рожьдха неслась болтовня словоохотливыхъ захожихъ поденщицъ. Бабы толковали о хозяйствахъ мужей, дѣвки о женихахъ да полюбовникахъ. И всякія тайны сосѣдокъ—хуторянокъ при этомъ невольно узнавала Груня: гдѣ парни хорошіе и гдѣ дурные, и кто кого любитъ и съ кѣмъ знается, и кто кого гонитъ, или за кого собирается замужъ. Вонъ загорѣлая, статная, съ черными бровями и русой косой красавица, бросивъ грабли, божится, что нѣтъ на свѣтѣ лучшаго, какъ ткачихинъ сынъ; но она его прогнала и не пуститъ къ своей хатѣ, хоть убейся онъ. Другая, худощавая, блѣдная, забитая лихорадкой, лежитъ подъ кошкой и, загнувъ руки за красивую голову, шепчетъ подругѣ, какъ въ воскресенье, въ слободѣ, ее затронулъ у церкви поповичъ

и что она при этомъ отвѣтила, и какъ оставивъ своихъ, она уже и свободу миновала, а поповичъ все за нею, все за нею, идетъ и просить, чтобъ она въ такой-то вечеръ вышла къ нему постоять за ворота. И всюду любовь, всюду нѣга, всюду голосъ, зовущій къ нѣмой, неизвѣданной, чудной жизни...

Гребцы идутъ пестрыми рядами по свѣжимъ покосамъ, а Груня глядитъ вдаль, гдѣ по синѣющему пригорку Родивонъ водить на просторѣ вольный табунъ. Соберется Груня съ дворовыми стрипухами въ сосѣдній лѣсокъ по грибы,—Родивонъ уже тамъ: подойдетъ къ ней, ласково такъ рѣчи ведетъ, застѣчивъ, глазъ на нее не подниметъ, а съ другими зубы скалитъ, пѣсни во все горло поетъ. „Такъ, такъ! онъ полюбилъ меня, оттого и стыдится!“ думаетъ Груня, съ кузовкомъ грибовъ идя домой.

„А коли не съ нимъ? размышляла какъ-то Груня, погасивъ свѣчу и собираясь ко сну въ своей горницѣ: отдадутъ меня за чиновника, отдадутъ за офицера... Да будетъ ли тотъ такъ любить? Простой, подневольный человекъ... Лишь бы не обманулъ,—крестная выкупить его у князя... Смѣшленный, умный такой, да работающій: все знаетъ, грамотный,—ему быть не при лошадяхъ... Ему цѣлой вотчиной править, такъ не испортить дѣла...“

Груня откинула пологъ на кровати, распустила косу, присѣла и, не раздвываясь, стала глядѣть въ окно. Полный мѣсяцъ влилъ въ ясномъ небѣ. Кудрявая акація не шелохнувшись стояла на садовой полянѣ противъ окна. Тихо. Только кузнечики трещать по лугамъ, да изрѣдка на птичномъ дворѣ крикнетъ пѣтухъ, и ему прерывистымъ, звонкимъ баскомъ вторятъ молодые, подроставшіе пѣтушки.

Что-то зашелестѣло подъ окномъ. Груня привстала, слушаетъ. Чья-то рука будто скользнуть по стеклу, нажимаетъ раму. Рана открылась. „Боже! пеужели воры?“ подумала, мертвѣя отъ ужаса, Груня: „съ нами крестная сила!..“ Она спряталась за пологъ.

— Барышня, вы не спите? это я! — шепчетъ изъ саду голосъ.

— Да кто ты, говори! или я крикну...

— Не кричите, барышня, это я... Родивонъ...

— Что тебѣ?

— Книжечки нѣтъ ли? скука... смерть — тоска!.. шепчетъ Родивонъ.

— Нашелъ, безумецъ, въ какое время книжку просить! Поди, говорю тебѣ, поди... чтобъ и духу твоего не нахло! какъ можно! такая пора...

— Да вы, сударыня, слушайте, не бойтесь... да вы только подойдите сюда къ окну... Хоть словечко промолвите...

„Встать ли? подойти-ли къ нему, озорнику?“ рассуждала, не выходя изъ-за полога, Груня. А ночь тиха, свѣтъ мѣсяца щедро льется на землю. Медвяный запахъ цвѣтущихъ липъ врывается въ открытое окно...

Въ началѣ іюля, Анна Васильевна получила отъ Груни письмо, съ просьбой о благословеніи и о разрѣшеніи ѡйвиться за-мужъ за Родивона. Сильно озадачила и огорчила эта вѣсть старуху. Она ни словомъ не проговорилась о томъ мужу, а велѣла запречь крытыя дрожки, съѣздила на Богатую, посовѣтовалась съ Флугшей, разспросила Груню, потребовала къ себѣ на глаза Родьку и, давъ ему добрую головоулку, кончила тѣмъ, что благословила его на бракъ съ Груней. Свадбу сыграли въ ту же осень въ Пришибѣ. Родька сталъ именоваться Родивономъ Максимычемъ и получилъ званіе конторщика, а въ слѣдующемъ году, когда умерла Флугша, Грунѣ и Родивону было передано и все управленіе хозяйствомъ на Богатой.

Отлично зажила Груня съ мужемъ. Черезъ годъ у нихъ родилась дочь, которая также удостоилась быть крестницей Анны Васильевны. Груня завѣдывала коровами, птицей, садомъ и огородомъ; Родивонъ Максимычъ овцами, лошадьми и хлѣбопашествомъ. Доходы съ Богатой удвоились. Не нахвалится новыми хозяйствомъ далекаго хутора Иванъ Яковлевичъ. А ужъ объ Аннѣ Васильевнѣ и говорить нечего: она души въ нихъ не чаяла.

— Да кто же онъ, матушка, такой этотъ вашъ новый управляющій? спрашивали Анну Васильевну любопытныя сосѣдки.

— Четвертинскаго князя крѣпостной, изъ дворовыхъ, съ Литвы, а проживалъ при домѣ князя въ Москвѣ. Былъ у насъ прежде почитай конюхомъ, а вонъ за отличіе да за стараніе чѣмъ его мужъ мой пожаловалъ.

— Вы его, матушка, выкупили?

— Самъ выкупился; безъ того я крестницы за него не отдавала.

И дѣйствительно Вѣлогубовъ въѣхалъ въ Москву, и передъ вѣчаніемъ, привезъ оттуда отпускную. Все шло хорошо. Только самъ Родивонъ Максимычъ сталъ что-то неспокоенъ: по часту охаетъ, ходитъ задумчивъ, мало разговариваетъ, а ужъ жену любить — не наглядится на нее, да и съ дочкой-подросточкомъ такъ ласковъ да нѣженъ, съ рукъ ее не спускаетъ, слезы потихоньку утираетъ, любуясь на нее.

— Что ты, Родя, печалишься будто? спрашиваетъ его Груня: изъ-за чего думы твои? или ты чѣмъ недоволенъ, или я тебѣ не угодила?

— Всѣмъ я, Грунѣшка, доволенъ, оттого-то и мысли мои.. Ну, думаю, какъ все это кончится? Ну, какъ ничего не станеть у меня, ни тебя, ни дочки, ни всего?

— Какъ не станеть и отчего? Бога ты гнѣвишь, Родя, и не добро думаешь.

— Одначе... постой, отвѣть: а что... вдругъ,—ну, какъ вы помрете, или кто васъ отберетъ?

— Полно, пустяки ты говоришь. Я думала, о чемъ о другомъ онъ заботится... А ты о смерти... пустяки! Всѣ мы подъ Богомъ, всѣ подъ его волею, онъ насъ и помилуетъ. Лучше ты бѣглыхъ вонъ тутъ не держи. Самъ толкуешь про становаго, про Сидора Акимыча, не человѣкъ, а звѣрь...

— Полно Груня, будто бѣгле не люди? Жаль ихъ, да и работаютъ какъ... А обо мнѣ ты не думай, это пройдетъ...

Родивонъ однако же не унимался: похудѣлъ, пожелтѣлъ, даже старѣй будто сдѣлался на нѣсколько годовъ. И началось это съ той поры, какъ онъ съѣздили на ярмарку продавать выбранныхъ изъ табуна лошадей. На ярмаркѣ, между всякими народомъ у

кабака, его узналъ какой-то рыжий и невзрачный съ виду, загулящій побродяжка. Родивонъ сильно смѣшался при видѣ этого человѣка и сперва на его привѣтъ не признался; но потомъ они пошли въ трактиръ и двое сутокъ тамъ угощались. Загулящій человѣкъ, на радости отъ встрѣчи съ старымъ пріятелемъ, остался мертвецки пьяный подъ лавкою трактира, а Родивонъ уѣхалъ домой, но съ той поры его какъ въ воду опустили: совсѣмъ сталъ иной.

Эти заботы, спустя нѣкоторое время, какъ будто и прошли. Родивонъ съ виду казался спокойнѣе. Но къ зинѣ онъ получилъ откуда-то письмо и опять закручинился: началъ искать денегъ въ займы, добылъ сколько могъ, и выслалъ ихъ куда-то, а прежняго спокойствія не видѣлъ. — „Откуда письма получаешь?“ допытывала жена. — „Отъ родныхъ, изъ нашихъ мѣстъ“, отвѣчалъ Родивонъ, но писемъ жентъ не показывалъ.

Какъ-то, въ Спасовку, написала Анна Васильевна къ Грунѣ письмо, что сильно соскучилась по ней и что хорошо бы Груня сдѣлала, если бы пока тепло собралась и навѣстила ее съ дочкой.

— Что, ѣхать ли намъ къ крестной? спросила мужа Груня.

— Нѣтъ, обожди.

— Какъ ждать! Спасовка вонъ проходить, скоро Успеневъ день, пчелу гора морить, медъ къ господамъ отсылать; и мы бы при этомъ случаѣ съ Параней поѣхали.

— Поѣдешь послѣ Вадвиженя; лентъ надо молотить на сѣмена — я одинъ не управлюсь.

Но и пчелу поморили, и медъ послали, и Успеневъ день прошелъ, а Родивонъ не отпускалъ Груни за Донецъ.

Въ концѣ августа, стояла особенно жаркая погода. Родивонъ съ утра верхомъ, а послѣ обѣда на бѣговухъ дрожжахъ объѣхалъ поля, взглянулъ, какъ пасутся овцы и лошади, повѣрилъ счетъ подводъ, перевозившихъ остальные копы на гумно, и навѣстилъ грабарей, рывшихъ въ степи новый прудъ. Онъ возвратился на

вечерней зарѣ до нельзя усталый, на-скоро поужиналъ, перенюхавъ нѣсколько словъ съ женой, поласкалъ дочку и ушелъ спать.

Долго Груня возилась съ уборкой посуды и съ отдачей разныхъ приказаній, сходила за мужа въ анбаръ и въ кладовую. Спать ей не хотѣлось. Изъ головы у нея не шли слова, всколыхъ сказанныя мужемъ за ужиномъ. — „Всяки порядки бывають, зашѣтилъ онъ, добрая порослячій бокъ съ кашей: вотъ хоть бы волыныя, значить, отпускныя... Иной тебѣ вчесеть туда такое слово, что послѣ и не расхлебашь.“ — „Да ты это про что?“ спросила, похолодѣвъ отъ страха, Груня. — „Ничего... это я про одного нашего землячка вспомнилъ“ — отвѣтилъ со вздохомъ Родивонъ: „да и становой опять въ голову пришелъ. Ужъ точно Иродъ изъ челоуѣвъ, какъ-есть душегубъ; намедни пятерныхъ бѣглыхъ изловилъ на Терновой и всѣхъ ушкѣ въ кандалы да въ острогъ... Есть тоже такой баринъ графъ Аракчеевъ, коли слышала — къ тому попадись, жвага съѣсть...“ — „Да вѣдь онъ въ Питерѣ, при царѣ служить,“ — сказала Груня. — „Въ Питерѣ-то, въ Питерѣ, а подъ землей всякаго найдетъ, коли захочетъ... Чай слышала, къ Чугуеву уже подбирается...“

Все наконецъ затихло въ горницахъ. Груня взглянула на спящую въ углу за шкафомъ Парашу, помолилась, раздѣлась, легла возлѣ мужа и заснула.

Спать Родивонъ да не спокойно, по временамъ вздрагиваетъ и мечется. Снится ему, что онъ изнываетъ отъ духоты. — „Охъ, хоть бы вѣтеръ пахнулъ въ лицо, думаетъ онъ: хоть бы глотокъ студеной водицы...“ Странныя грезы порхаютъ надъ его изголовьемъ.

Красное въ веснушкахъ, отекающее, пьяное лицо склоняется надъ нимъ, сѣрые безстыжіе глаза смѣются, рыжая борода щекочетъ ему губы и носъ. — „Ха-ха-ха! поймался Родька, поймался, землячокъ!“ хохочетъ на всю комнату пьяная рожа: „вставай, арестантъ! вотъ онъ, вотъ! ха-ха-ха! тебѣ хорошо, мнѣ худо... берите его...“ — Тьфу ты, сгинь! отмахиваясь руками, изъ всѣхъ силъ плюнулъ на стѣну Родивонъ.

Онъ вскочилъ, присѣлъ на кровати, протеръ глаза. Въ кон-

патѣ мертвая тишина. Полный мѣсяцъ смотритъ съ неба. Чебрецомъ и калуферомъ пахнетъ изъ огорода. И чудные, серебристые звуки несутся въ окно: тя-ти, — телень-тень, — ти-ти... Звенитъ, звенитъ что-то тамъ въ сверкающей дали, за рѣкой, смолкнетъ и опять отзовется, будто спускается со взгорья, ближе и ближе подплываетъ къ рѣкѣ. — „Батюшки-свѣты! колокольчикъ!“ думаетъ Родивонъ: „это полиція... меня ищутъ... Куда дѣться?“

Онъ бережно, мимо Груни, слѣзъ съ кровати, на-скоро одѣлся, отыскавъ въ потьмахъ ведро съ водой, перегнулъ его, жадно отпилъ разъ и другой, и бросился къ окну. Во дворѣ ни звука. Хромая дворовая собаченка Стрѣлка, наставя чуткіе уши, лежитъ на мѣсяцѣ у крыльца. Она увидѣла хозяина, легонько помахала хвостомъ, встала и ковыляя побѣжала въ садъ. Родивонъ за нею. Выскочила собачка на освѣщенную мѣсяцемъ дорожку, постояла, поджавъ ланку, у одного куста, у другаго, скусила верхушку какой-то травы, вѣжливо положила ее, перепрыгнула черезъ канавку, обнюхала какой-то бугорокъ, уставилась носомъ за рѣку и вдругъ замерла, точно слыша что-нибудь въ той сторонѣ. А въ ушахъ Родивона опять шумъ и звонъ... Затихая и вновь раздаваясь, несутся серебристые звуки: телень-тень, ти-ти... тень...

„Милочка, Стрѣлочка! да ты врешь, обозналась! никого нѣту!“ готовъ молить собаченку Родивонъ. И вдругъ его, какъ варомъ обдало. Онъ вздрогнулъ, судорожно по поясъ двинулся въ высокую душистую, болотную траву и замеръ. Прохладнымъ лужкомъ съ зарѣчнаго бугра явственно донеслось фырканье одной лошади, другой, и негромкое постукиванье бережно катившихся колесъ. — „Брадутся! колокольчикъ подвязали!“ пронеслось въ головѣ Родивона: „ни къ кому больше, какъ ко мнѣ...“

Вскликнувъ собаченку, чтобы та не разлажалась, Родивонъ бросился въ комнаты, разбудилъ жену и наскоро рассказалъ ей въ емъ дѣло. Та ахнула, заметалась. — „Звать ли кого изъ людей?“ — „Не зови никого... Пропадать видно! самъ управлюсь...“

Черезъ часъ, за бѣлою скатертью, уставленной всякою сибѣю и флагами, передъ пыхтѣвшимъ самоваромъ, при свѣчѣ, сидѣлъ низенькій, сѣденькій, лысый и сутуловатый, въ разстегнутомъ мун-

дирѣ и при шпажѣнѣ, становой. Родивонъ, съ заложенными за спину руками, растерянно и покорно стоялъ передъ нимъ. Груня, чуть живая отъ страху, выглядывала на нихъ изъ-за двери въ сосѣдную комнату.

— Дверь въ сѣни заперъ? спросилъ, упиная поросенка, становой.

— Заперъ.

— Никто не знаетъ, что я пріѣхалъ?

— Никто.

— Гдѣ кучеренокъ?

— На птичню, за дворъ отвелъ.

— А лошади?

— Въ конюшню къ корму поставилъ.

— Ворота?

— На засовѣ.

— Такъ какъ-же?

— Чего-съ?

— Отдаешь тройку бѣлоногихъ жеребцовъ на придачу?

— Въ чему на придачу-съ?

— Десятокъ овецъ отпустишь, коровенку таку какую, али двѣ, сукоца на бешметъ...

— Много будетъ, ваша милость! въ силу проговорилъ Родивонъ: нельзя-ли поменше?... Я подначальный! взныщется... Господа притомъ строгіе...

— Строгіе? засмѣялся становой: знаю я ихъ лучше тебя! А это, читай... что?... „Доношу вашему благородію, что на рѣчѣ Богатой, по фальшивому виду.... проживаетъ....“ ну ка, читай, братецъ, самъ: „проживаетъ бѣглый, графа Алексѣя Андреевича Аракчеева вѣрнопольной слуга, Василій Ильинъ сынъ, Самохваловъ... А бѣгалъ онъ трижды и сидѣлъ въ острогѣ въ Муромѣ, да сидѣлъ въ Херсонѣ и въ Бахмутѣ... я мнѣ про то доподлинно извѣстно... мѣщанинъ Исая Перекатовъ...“

— Исайка, ваше благородіе, вретъ; онъ по злобѣ...

— Не вретъ, я тебѣ докажу... Ты Васька, а не Родивонъ, Самохваловъ — а не Бѣлогубовъ... Лучше признавайся да поми-

римся; а то будешь меня помнить. Хе-хе... Черезъ часъ, черезъ два, знай ты это, подойдутъ понятные. Письмоводитель съ сотскими въ Лозовой остался; чуть зорька выглянетъ, всѣ будутъ здѣсь... Такъ согласенъ? Помни—свяжу, а тамъ—въ кандалы и въ Сибирь... что въ Сибирь? хуже! къ самому графу Аракчееву по этапу перешлю... Онъ те вчешетъ—съ живаго кожу сдеретъ! Хе-хе...

— Смилуйтесь, Сидоръ Акимычъ! смилуйтесь! не своими голосомъ взмолился Родивонъ: все берите; не погубите только жоны, да маленькой дочки.

— Да ты можешь и въ-заправду не графа Аракчеева крѣпостной, а князя Четвертинскаго вольноотпущенный? — шутилъ, видимо хмѣля отъ старой Флугшиной запеканки, становой.

Родивонъ упалъ ему въ ноги.

— Гдѣ состряпалъ пачпортъ? — крикнулъ, затопавъ на него, становой.

— Въ Бердянскѣ у жида купилъ.

— У Герцика? знаю... А отпускную гдѣ добылъ?

— Тамъ же.

— Что далъ?

— Два золотыхъ.

Становой покатился со смѣху.

— Вотъ, сударыня, обратился онъ къ Грунѣ, наливая стаканъ: за вашъ хлѣбъ, да соль, готовъ я вамъ помочь. А опрометчиво поступили, опрометчиво... неужели многотимая, столь высокаго ума и характера дама, Анна Васильевна, ваша крестная матушка, — я ихъ довольно знаю! и ручку имъ не разъ цѣловалъ!—неужели, говорю, не нашла бы она вамъ лучшаго сокола? Эхъ, эхъ... А запеканка мое почтеніе!.. вѣчная память Минѣ Карловнѣ—и ея, а равно покойнымъ мужемъ ея — много почтованъ!.. Что, любезный?—обратился становой къ Родивону: не слышать ли понатыхъ? не пришли еще?

— Не видно что-то, отвѣтилъ Родивонъ, взглядывая въ окно.

— Такъ готовъ, душенька ты моя, бѣлоногихъ... Рѣзвы, ухъ рѣзвы! Видѣлъ, какъ ты на этихъ жеребцахъ по ярманкамъ свою кралю-сударушку покачивалъ... Готовъ, а я тѣмъ временемъ

маленечко сосну... Да ты не бойся—все теперь у насъ будетъ гладко, шито! Никто, опричь меня, про доносъ этотъ не знаетъ, даже и письмоводителю я не показывалъ... Рыло у него не чисто... По-натыхъ твоихъ же часомъ отпущу назадъ и напишу, куда слѣдуетъ, что нѣтъ такого въ здѣшнихъ мѣстахъ; а про подарки ты вы-дашь мнѣ росписку, что деньги-молъ за все сполна получилъ....

„Слава тебѣ Господи! слава!“ не помня себя отъ радости, взмолилась Груня, когда становой погасилъ свѣчу и прикинулся на лавкѣ, захрапѣлъ въ первой горницѣ, а Родивонъ ушелъ ему готовить тройку бѣлоногихъ.

— Ъдемъ, шепнулъ, входя къ женѣ въ попыхахъ, Родивонъ.

— Куда?

— Нечего толковать. Буди и бери Параню, да захвати хлѣба, одежды. Послѣ все расскажу.

— Да онъ же поладилъ съ тобой, согласился! — лепетала, дрожавшими руками одѣвая дочку, Груня.

— Знаю я ихъ, ненасытныхъ волковъ. Дай ему только лапу въ глотку, всю кровь высосетъ. Пропали мы, пропали... Скорѣе сваряжайся, скорѣй... Люди не скоро сойдутся,—успѣемъ уйти—загоню коней до смерти, а сто верстъ проскачу — въ Бахмутѣ есть пріятель, далѣе отъ него уйдемъ... въ Анапу или за Кубань.

Родивонъ подошелъ съ топоромъ къ спящему становому и хотѣлъ было сразу съ нимъ порѣшить, да раздумалъ. Онъ пошарилъ потомъ съ фонаремъ на чердакѣ и верругъ дома, взглянулъ ни-моходомъ на акацію, раздумывая—не повѣсится ли?—возвратил-ся наконецъ къ женѣ, поднялъ у печки топоромъ половицу, вы-нулъ оттуда кожаный поясъ съ деньгами, снялъ со стѣны ружье, вздохнулъ, перекрестился на образъ и вышелъ на крыльцо.

На востокѣ чуть-чуть начинало бѣлѣть. Запряженная Родивонѣмъ тройка жеребцовъ, какъ вкопаная, стояла на привязи укрывца.

Родивонъ усадилъ въ телѣгу Груню съ дочкой, бросилъ къ нимъ кое какіе пожитки, бережно растворилъ ворота, самъ сѣлъ на облучокъ, снялъ шапку, еще разъ перекрестился, прислушался. Вездѣ тихо. Только въ сосѣдней слободѣ за бутромъ, какъ бы по волку, тавкаютъ собаки.

Телѣга безъ шума выѣхала за ворота, поднялась на еще темный выгонъ, стала переваливать за косогоръ. Родивонъ беспокойно задвигался, подобралъ возжи и сперва рысью, потомъ вскачь пустилъ храпѣвшихъ и рвавшихся жеребцовъ.

„Охъ, да что же это? что?“ заговорила въ страхѣ, оглядываясь, Груня: „никакъ у насъ, Родивонъ Максимычъ, пожаръ?“

Родивонъ съ трудомъ переводилъ дыханіе и молчалъ. Онъ крѣпче надвинулъ шапку на ухо, крѣпче налегъ на бѣлоногихъ, и тройка, выбравшись на дорогу къ Волчьей, скрылась за горой, въ то время, какъ начавшійся за спинами бѣглецовъ пожаръ далеко освѣтилъ долину Богатой, въ томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ хуторъ и гдѣ Богатая сливалась съ рѣчкой Богатенькой.

Дождь, гдѣ спалъ жертвенно-пьяный становой, вспыхнулъ и горѣлъ, какъ свѣча. Не успѣли сбѣжаться изъ задворныхъ избъ разбуженные ревомъ скотины и гуломъ огня батраки, не успѣли подойти завидѣвшіе пламя понятые, отъ новаго дома Ивана Яковлевича остался одинъ пепелъ.

Письмоводитель далъ знать въ городъ. Явился исправникъ. По окончаніи слѣдствія, былъ составленъ протоколъ, а въ протоколѣ было сказано слѣдующее: „По Вожьему изволенію, такого-то года, мѣсяца и числа, на хуторѣ лейбъ-гвардіи прапорщика такого-то, отъ неизвѣстной причины, въ глухое ночное время, приключился пожаръ. А на томъ пожарѣ, кромѣ лошадей, коровъ и прочаго имущества владѣльца сгорѣли: становой приставъ Сидоръ Акимовъ Солодкій, со всѣми его бумагами, пара обывательскихъ коней, съ повозкою, и управляющій тѣмъ хуторомъ, вольноотпущенный Родивонъ Максимовъ Бѣлогубовъ, съ женою Аграфеною Ивановою и съ малолѣтней дочкой, Прасковьею. Въ чемъ и подписуемся...“

Вѣсть о пожарѣ на хуторѣ и о гибели управляющаго съ семьей сильно поразила Ивана Яковлевича и Анну Васильевну. Иванъ Яковлевичъ рѣшилъ раздѣлаться съ землей и со всѣмъ хозяйствомъ на Богатой. Анна Васильевна мужу не перечила. Это нѣмнѣе вскорѣ было продано курскому второй гильдіи купцу, Ивану Михайловичу Слатину. Иванъ Яковлевичъ былъ доволенъ тѣмъ,

что вырученными деньгами уплатилъ не мало особенно тяжёлыхъ долговъ. Анна Васильевна была за то неутѣшна.

„Нѣтъ моего рая, нѣтъ Грунюшки, тосковала старуха: погибла моя Груня, съ мужемъ и съ дочкой, да еще какою страшною смертію погибла! И все я виновата, я... Зачѣмъ боялась, зачѣмъ ее туда отослала?..“

Прошелъ годъ и два, прошло нѣсколько лѣтъ. Умеръ и дѣдушка Иванъ Яковлевичъ.

Аннѣ Васильевнѣ, по его кончинѣ, не жилось болѣе въ старомъ, пришибскомъ домѣ. Она тосковала, не знала куда дѣться, и по часту гостила въ лѣсномъ домикѣ, при винокуренномъ заводѣ, въ Курбатовомъ.

Нѣкто г. Важеновъ, борисоглѣбскій уланъ и мѣстный поэтъ за много лѣтъ передъ тѣмъ, а именно въ 1802 году, оставилъ, въ альбомѣ бабушки, слѣдующее „Изображеніе пріятнаго мѣста Курбатова.“

«Курбатовъ! ты сокрытъ природой подъ горами...
 «Въ тебѣ собраніе прекраснѣйшихъ картинъ;
 «Величественъ твой видъ, обилень ты водами,
 «И у природы—знать—ты прелюбезной сынъ...
 «Въ тебѣ я созерцаю пріятные предметы,
 «Долину, горы, лѣсъ, звѣринецъ, водометы,
 «И какъ изъ тростника Михайло козъ гонялъ...
 «Тогда-то въ сердцѣ я твой видъ благословлялъ!»

Что же манило бабушку въ лѣсную глушь, въ тихое, пустынное Курбатово? Здѣсь умеръ дѣдушка. Сверхъ того домикъ въ Курбатовѣ сильно напоминалъ Аннѣ Васильевнѣ выстроенный по его образцу сгорѣвшій домъ на Богатой, гдѣ она въ прежніе годы любила съ Груней встрѣчать весну. Подъ конецъ дней своихъ бабушка еще болѣе стала походить видомъ и нравомъ на спартанку. Уѣдетъ изъ Пришиба на заводъ, велитъ отпрячь лошадей и пойдетъ бродить съ книжкой или съ вузовкомъ, будто за грибами, въ окрестностяхъ старой винокурни, по лѣсу и по лугамъ.

„Нѣтъ моего рая, нѣтъ Груни!“ тоскуетъ бабушка: „думала

ее сосватать за Калиныча, за винокура. Жила бы, радовала бы меня и по днесь. А теперь? Гдѣ то витають душеньки ея и ея дочка? Ахъ! не прошу себѣ, никогда не прошу... я виновата въ ихъ смерти... я!"

Бабушка ходить между высокихъ сосенъ, по песчаному при-
стѣну, между кудрявыхъ березъ и ольхъ, по лугамъ. Стародав-
ніе годы ходять по слѣдамъ бабушки.— „Ничего, никакого при-
даного я не принесла мужу, думаетъ она: пользовалась его иму-
ществомъ. Полъ-состоянія предлагалъ онъ мнѣ отписать по дар-
ственной. Все, все отдала бы, лишь бы жива была Груня..."

А лѣсъ стонетъ, поетъ, отзывается на тысячи голосовъ. По
влажному остывшему илу, таская изъ него свѣжіе, сладкіе ко-
решки, бѣгаютъ кулички и черныя, дикія курочки. Сырая поверх-
ность грязи утѣвается крестиками ихъ ножекъ, какъ старинная
рукопись словами. Каждый кустъ, каждая вѣтка одѣты своимъ
благоуханіемъ. Чубатый удодъ посвистываетъ на бугоркѣ; слышится
рѣзкое чоканье дрозда; кукушка вдали отзывается; дятлы и иволги
какъ куски разноцвѣтнаго сукна перебрасываются съ дерева на дерево.

А на зарѣ—нескончаемый лѣсной концертъ... Вверху, внизу,
вездѣ слышится музыка. Цѣлое море звуковъ проливается на лѣсъ
и на зеленые луга.

Возвратится бабушка на крутой бугоръ, на которомъ стоитъ
старый заводскій домикъ, сядетъ на крылечко, развернетъ на ко-
лѣняхъ книжку, или глядя вдаль, шевелить спицами чулка, —
мысли ея за Донцомъ. Слушая весеннія лѣсныя пѣсни, и бабуш-
кинъ фаворитъ пѣтухъ, старѣвшійся при винокурнѣ, не унимается:
смотреть съ холма на луга и на озера и то и дѣло кричить...
Да крикнетъ иной разъ такъ, что самъ отшатнется въ сторону и,
наставивъ одинъ глазъ въ землю, а другой на бабушку, какъ бы
разсуждаетъ: кто это такъ странно крикнулъ?

Незадолго передъ смертію, бабушка возила больного внука
на Кислыя воды, на Кавказъ. На одной станціи, не доѣзжая Ека-
теринодара, она мѣняла лошадей. Станціонный писарь взглянулъ въ

ея подорожную и слегка будто изменился въ лицѣ. Онъ пригласилъ Анну Васильевну въ особую горницу, заперъ за собою дверь и спросивъ ее, не у нея ли на хуторѣ когда то проживала съ мужемъ и съ дочкою Аграфена Бѣлогубова, рассказалъ ей, какими образомъ Бѣлогубовы спаслись отъ огня и какъ они долгое время скрывались по близости въ казачьихъ станицахъ, въ томъ числѣ и на этой станціи, гдѣ Родивонъ занимался старостой.

— Ну, а Груня? спросила, ни жива ни мертва отъ страху бабушка: гдѣ она теперь? жива ли?

— Не знаю...

— А мужъ ея?

— Лошадки по Кубани въ послѣднее время, сказываютъ, торговалъ...

— Отчего-жъ они, безумные, отчего-жъ вы о чемъ не дали мнѣ вѣсти? зачѣмъ терзали меня?

— Боились, сударыня-матушка.

— Меня боились?

— Не васъ, сударыня, не васъ... Они такъ васъ хвалили и помнать — я все уговаривалъ ихъ къ вамъ писать... Боились же своего графа-то Аракчеева...

— Да онъ вѣдь давно померъ...

— А дѣло-то ихнее — бѣгство, а потомъ пожаръ — нешто померли?

Бабушка залглась слезами...

Въ Пятигорскѣ, въ Кисловодскѣ и въ Екатеринодарѣ, вездѣ Анна Васильевна отыскивала Бѣлогубовыхъ, сулила за указаніе ихъ значительную сумму денегъ, съ властями переписывалась, даже черезъ мирныхъ черкесовъ сносилась съ горцами — ничто не помогло. Слѣдъ Бѣлогубовыхъ пропалъ навсегда.

— Вотъ, душенька, говорила бабушка внуку, рассказавъ ему эту исторію: я стара, у меня ничего нѣтъ, имѣніе дѣда твоего раздѣлено... Выростешь, попомни это... души-то крѣпостныя... души... Читай умныя книги, все поймешь...

Григорій Данилевскій.

ДВѢ БАСНИ.

I.

ХВОСТИКЪ.

Не знаю какъ и почему,
Звѣрей владыка, левъ могучій,
Велѣлъ народу своему,
Къ нему собраться въ лѣсъ дремучій.
«Кто явится ко мнѣ скорѣй,
«Тотъ будетъ мнѣ другихъ милѣй,
«Того по царски награжу;
«А прочихъ строго накажу!»
Сказалъ онъ. А къ нему дорога,
Трудна, длинна была немного.

Вотъ звѣри и пустились въ путь.
Сперва прошли это по-знатиѣ;
За ними тѣ, кто по-ловчѣе;
А прочіе ужъ какъ-нибудь.
Верблюды, мулы и коровы,
Бараны, овцы, волъ здоровый,
Полезный все, но смирный скотъ,
Весь позади другихъ идетъ.
Толпа звѣрей!.. И шумъ, и топотъ...
Тѣсняются, лѣзутъ всѣ впередъ;
Никто дороги не даетъ
Другому; всюду давка, ропотъ.
Вдругъ... поросенокъ прибѣжалъ.
Визжитъ, вертитъ хвостомъ, хлопочетъ;
Впередъ скорѣй пробиться хочетъ.
Но гдѣ тутъ! Тѣсно! глупъ онъ, малъ,
И позади бы всѣхъ остался,

Да въ счастью съ теткой повстрѣчался.

«Mon Dieu! ma tante! совсѣмъ бѣда!

«Не знаю какъ попасть туда.

«Идти со всѣми—несподручно;

«Такъ трудно, далеко и скучно;

«Пожалуй можно и устать.

«Ma tante! Нельзя-ль похлопотать?»

—«Ахъ! милый мой, я непремѣнно!

«Ты сынъ моей сестры безцѣнно!»

«Ступай за мной; сейчасъ иду;

«У льва я кое съ кѣмъ въ ладу;

«Мнѣ тамъ знакомъ кабанъ, роденька.

«Ахъ! вотъ и онъ: Cousin, de grace!

«Большая просьба есть до васъ;

«Нельзя-ли намъ помочь маленько,

«Вотъ этихъ обогнать скотовъ?»

—«Ma chère cousine! Для васъ готовъ,

«Avec plaisir! За мной ступайте;

«Смотрите же, не отставайте».

И вотъ кабанъ въ толпу идетъ;

Толкаетъ, давить всѣхъ, грызетъ.

Столкнуться съ нимъ—плохое дѣло!

Пырнетъ кликомъ—не камень тѣло!

Попробуй-ка не пропусти.

Да и у льва-то онъ въ чести.

Пройти ему труда не много;

Въ толпѣ просторъ; вездѣ дорога;

Такъ онъ легко и безъ хлопотъ,

Скорехонько прошолъ впередъ;

А вплоть за нимъ прошла кузина,

Съ нимъ видно близкая скотина.

И поросенокъ вперед!

Да онъ-то какъ впередъ пробрался?

За хвостикъ тетенькихъ держался.

Попробуй-ка другой пройди!
 Вѣдь право: какъ это иной,
 Далеко бывши за тобой,
 Впередъ такъ скоро поспѣваетъ?
 Посмотришь: глупъ, лѣнивъ и малъ,
 Какъ поросенокъ замаралъ
 Себя давно; а пролѣзаетъ!

Знать тоже хвостикъ помогаетъ.

II.

И Н Д Ю К Ъ.

Въ какомъ-то обществѣ пернатыхъ,
 Разнокалиберныхъ крылатыхъ,
 Случился разговоръ про птицъ,
 Извѣстныхъ въ государствѣ лицъ.
 Конечно всѣхъ критиковали
 (У насъ должно быть переняли),
 Но больше всѣхъ терпѣлъ индюкъ.

«Ну что за птица? вонъ изъ рукъ! —
 И посмотрѣть-то даже жалко!» —
 Подругамъ говорила галка, —
 «Не мѣсто индюку въ лѣсу».
 — «А посмотрите на носу
 Какую онъ таскаетъ штуку!
 А ноги-то его! а ростъ!
 Какъ неуклюжъ онъ! что за хвостъ!...
 Ужъ намъ не наложить ли руку, —
 — Прибавилъ гусь, — на индюка?
 Прогнать урода, дурака...»
 — «Конечно, — подхватила утка, —
 Онъ глупъ какъ пень, угрюмъ, сердитъ;

Собою онъ насъ всѣхъ срамить;
А это, господа, не шутка!»

Вотъ такъ честили индюка,
До самой той поры, пока,
Благодаря его супругѣ,
А можетъ быть и по заслугѣ,
Судьба его не возвела,
Въ министры у царя-орла.
Какъ только принялъ онъ портфели,
Къ нему всѣ птицы налетѣли!
Кричатъ, что онъ уменъ, красивъ;
И величавъ, и милъ, и живъ.
Изъ первыхъ галка подсказала;
И комплиментовъ наставляла.
«Пустите!—загорланилъ гусь,—
Ему я первый поклонюсь!»
А утка индюку твердила,
Что бабушка ея ходила,
На томъ дворѣ, гдѣ его дѣдъ,
Пройдя, оставилъ какъ-то слѣдъ;
Такъ значить, вовсе не чужая
Она ему, почти родная,
Чуть не племянница!

Такъ вотъ,
Какой случился оборотъ,
Какая значить сила въ чинѣ.
Такъ было прежде, такъ и нынѣ:
Покуда не въ чинахъ Оедотъ,
Позоръ онъ всѣмъ, дуракъ, уродъ;
Его по шеѣ всякій тычетъ.
Судьба Оедота возвеличить —
И около него возня!
Рабы всѣ передъ нимъ! родня!

А. Франкъ.

ОТМѢТКИ

при чтеніи историческаго похвальнаго слова Екатерины II,
написаннаго Карамзиннымъ.

I.

Не знаю, пришла ли кому-нибудь въ Россіи мысль прочесть предъ 24-мъ числомъ ноября истекшаго года историческое похвальное слово императрицы Екатерины II, написанное Карамзинымъ тому безъ малаго три четверти вѣка. Но мнѣ на чужбинѣ запала эта мысль и въ умъ и въ сердце. Лишенный радости присутствовать на Екатерининскомъ и всенародномъ празднествѣ, которое въ минувшемъ ноябрѣ торжествовалъ Петербургъ при сочувствіи всей Россіи, я хотѣлъ, по крайней мѣрѣ, поклониться Екатеринѣ въ честномъ и скромномъ памятникѣ, воздвигнутомъ ей литературнымъ ваятелемъ, художникомъ мысли и слова.

Похвальные слова вышли нынѣ, какъ и многое другое, изъ употребленія, но было время, когда, особенно во Франціи, были они живою и уважаемою отраслью литературы; теперь мѣсто ихъ занимаютъ біографіи и монографіи.

Впрочемъ, дѣло не въ формѣ, не въ покрое, не въ оболочкѣ. Формы видоизмѣняются болѣе наружно, чѣмъ существенно: иногда старыя формы вовсе разбиваются; но содержаніе, но истинно живущее остается неприкосновеннымъ, если при рожденіи своемъ воспріяло оно отпечатокъ и залогъ жизни, и обладаетъ внутреннею цѣлостію. При этихъ условіяхъ, несмотря на новыя требованія, на прихотливость своеправнаго и самовластительнаго вкуса, однимъ словомъ, несмотря на то, что можно бы назвать нравственною, духовною модою, свѣдѣнницею моды матеріальной, всякое умствен-

ное произведеніе, будь то книга, картина и тому подобное, имѣетъ свою внутреннюю жизнь: мысль, чувства, одушевляющія это произведеніе, переживаютъ время свое и не утрачиваютъ достоинства своего. Сапфиръ все тотъ же сапфиръ, хотя и въ старинной оправѣ. Цѣнители внутреннего значенія не пожертвуютъ имъ изъ пристрастія ко внѣшней отдѣлкѣ. Напротивъ, истинные художники, совѣстливые поклонники искусства, часто дорожатъ этимъ отпечаткомъ старины. Нетолько пріятно, но даже и нужно время отъ времени освѣжать свой вкусъ подобными отступленіями отъ воззрѣній и обычаевъ настоящаго. Чувство пресыщается и окончательно притупляется, когда оно исключительно обращено на однообразіе текущаго и на господствующіе приемы и краски того или другаго дня.

Въ отношеніи къ литературѣ, особенно полезно и отрадно возвращаться, безъ пристрастія и безъ приговора, заранѣе замышленного, къ источникамъ, которые нѣкогда утоляли и прохладжали нашу нравственную и умственную жажду.

Твореніе Карамзина, о которомъ идетъ рѣчь, возбудило въ насъ желаніе сказать о немъ нѣсколько словъ. Оно не просто образцовое произведеніе искусства: оно сверхъ того можетъ удовлетворять троякимъ требованіямъ, въ отношеніи историческомъ, гражданскомъ и общежитейскомъ. Во всѣхъ этихъ видахъ носитъ оно отпечатокъ и знаменье времени своего и виѣсть съ тѣмъ вѣрный и глубокой отпечатокъ личности самого автора.

II.

Нѣкоторые изъ предполагаемыхъ преобразованій и государственныхъ попытокъ Екатерины, какъ напримѣръ, созваніе депутатовъ со всей Россіи, не вполне развились и осуществились; но и сами положенія, набросанныя начала, хотя не дозрѣли до событія, но нѣмѣ того оставили слѣды по себѣ.

Они и нынѣ не стерлись съ лица русской земли. Сами собою были они уже благотворительны. Они внесли въ общество новыя понятія и новыя стремленія. Они, такъ-сказать, перевоспитали об-

щество, или по крайней мѣрѣ значительную часть его. Слова: *либерализмъ*, *гуманность*, *прогрессъ* не имѣли тогда права гражданства ни въ академическомъ словарѣ, ни въ общемъ употребленіи, но значеніе ихъ, истинное и дѣйствительное, но многозначительный смыслъ ихъ распространили вліяніе свое въ безымянномъ еще, но не менѣе того плодотворномъ могуществѣ. Громки и велики были дѣла Екатерины, твердо вошедшія въ исторію и въ ней сохранившіяся въ полномъ блескѣ своемъ, въ несокрушимой силѣ совершившихся событій. Но много было еще силъ, такъ-сказать, неочевидныхъ, неосознательныхъ, которыми располагала Екатерина. Эти силы запечатлѣлись на обществѣ: послѣ временнаго молчанія, онѣ сочувственно и ободрительно отзывались въ первыхъ годахъ царствованія любимаго ею внука, онѣ отзываются и нынѣ.

Петръ преобразовалъ, создалъ или подготовилъ новую политическую и государственную Россію. Но суровость нравовъ, но пробужденіе умовъ, общая потребность въ образованности худо повиновались богатырской и самовластной рукѣ его. Нравы не смягчались. Благородныя, нравственныя и умственныя побужденія и стремленія мало и рѣдко прорывались изъ общаго застоя. Общество еще не нуждалось въ свѣтѣ дня, въ свѣжести живительнаго воздуха. Екатерина внесла въ русское общество просвѣтительныя и животворныя стихіи, и внесла ихъ не крутыми мѣрами, не насильствуя личной воли. Она, такъ-сказать, не самодержавно просвѣщала общество; но чистымъ и женскимъ искусствомъ направляла она общее настроеніе, общее мнѣніе. Нѣтъ сомнѣнія, что въ ней женщина много содѣйствовала силѣ самодержца. Въ преданности волѣ ея много было рыцарства и воодушевленія.

Она не только продолжала дѣло, начатое Петромъ, но облекла его большею законностью, округлила, смягчила пружины, которыя приводили его въ дѣйствіе. Петръ былъ натуры суровой, многосносливой: онъ себя не берегъ, думалъ, что и другихъ беречь не для чего. Онъ былъ сложенія, желѣзомъ окованнаго; къ вещамъ и людямъ прикасался онъ желѣзною рукою. Екатерина къ тѣмъ и другимъ приложила женскую руку, почти не менѣе твердую,

нежели рука Петра, равно искусную и жизнедеятельную, но, разумеется, болѣе мягкую и ласковую. Она умѣла облечь силу самодержавія пріемами сочувственными, не пугающими, не оскорбляющими нравственнаго достоинства, нравственной независимости каждаго лица. Мы здѣсь выхваляемъ Екатерину не въ ущербъ Петру. Петръ былъ дѣятель своего времени, дѣятель пылкій, нетерпѣливый, какъ-будто предчувствовавшій, что ему нужно сдѣлать, нужно все перевернуть, чтобы успѣть сдѣлать всему, по крайней мѣрѣ, починъ: прорубить дремучій лѣсъ и поставить вѣхи для означенія, гдѣ, какъ и куда должна быть направлена задуманная имъ дорога. Екатерина—дѣятель эпохи уже болѣе подготовленной къ воспріятію новыхъ понятій, новыхъ порядковъ. Крутая ломка и передѣлка уже были совершены Петромъ. Онъ на свою личную отвѣтственность и на отвѣтственность памяти о себѣ предъ потомствомъ принялъ съ самоотверженіемъ всю неблагоприятную и часто прискорбную сторону дѣйствій, которыя почиталъ онъ, ошибочно или нѣтъ, нужными и необходимыми. Дорога предъ Екатериною была уже расчищена: съ природою бороться ей уже не было, или менѣе потребно было, да и Европа Петра не была еще Европою Екатерины.

Благія начала, введенныя Екатериною въ государственномъ и общественномъ устройствѣ, немогли не отозваться въ литературѣ нашей. Карамзину предоставляется честь, что онъ изъ первыхъ и съ большимъ успѣхомъ проникнуть былъ миротворительнымъ вліяніемъ новаго дня, восшедшаго надъ Россіей. Подъ этимъ вліяніемъ перенесъ онъ литературу на почву новую и всеѣмъ болѣе доступную. Карамзину вообще, какъ приверженцами, такъ равно и противниками, приписывается, что онъ преобразовалъ общеупотребительный языкъ, раскрылъ въ этомъ орудіи мысли новыя качества и способности: плодъ этихъ изысканій проявилъ онъ въ первыхъ произведеніяхъ своихъ. Но главное достоинство его не въ материальномъ преобразованіи рѣчи нашей, какъ ни велика и эта заслуга: основное, зиждительное достоинство его выражается въ томъ, что онъ навѣялъ новый духъ на литературу нашу, оживилъ ее новыми побужденіями и направленіемъ, нравственно согрѣлъ ее, приблизилъ ее къ обществу и его сблизилъ съ нею. Тутъ прямо вы-

казываются вліянія Екатерининскаго времени. За сближеніемъ общества съ правительствомъ и силою законодательною, неминуемо, логически должно было слѣдовать и общественное сближеніе съ литературою, которая и должна быть выраженіемъ общества. До него литература была власть довольно суровая, мало общительная; она была сама по себѣ, общество само по себѣ. Ей поклонялись издали, уважали и чествовали ее суевѣрно, но равнодушно. Съ нимъ литература сдѣлалась живою частью общества, членомъ общей народной семьи. И прежде, даже и нынѣ, были и встрѣчались люди, которые смѣялись и смѣются надъ такъ-называемою *сентиментальностію* его. Впервые, эта способность умиленія, это сочувствіе любви къ явленіямъ природы, къ человечеству, эта, пожалуй, первическая чуткость и чувствительность были въ немъ не привитыя, не заимствованныя: онъ былъ вполне самородный. Эти природныя личныя склонности и расположенія могли иногда влечь за собою свои частныя и временныя недостатки и уклончивости. Но вмѣстѣ съ тѣмъ были они чистымъ и обильнымъ источникомъ живой впечатлительности его, глубокой любви ко всему прекрасному и доброму, силы ощущеній и увлекательной способности живо выражать ощущенія и чувства свои и передавать ихъ другимъ. Къ тому же эта *сентиментальность* была въ нашей литературѣ петолько дозволительна, но совершенно умістна и своевременна. Она была сильнымъ и радикальнымъ противудѣйствіемъ литературы чрезмѣрно безстрастной и нѣсколько сухой и безжизненной. Мягкость, мягкосердечіе, проявившіяся въ литературѣ нашей подъ перомъ Карамзина, были безъ сомнѣнія плодомъ царствованія Екатерины. Письма русскаго путешественника и многія другія произведенія его, не исключая даже и «Бѣдной Лизы», носили отпечатокъ этого мягкаго и благораствореннаго времени. Вліяніе его еще сильнѣе и явственнѣе выражается въ историческомъ похвальномъ словѣ. Оно зрѣлый и сочный плодъ, снятый прямо съ дерева. Въ полномъ сознаніи и съ живѣйшимъ чувствомъ Карамзинъ, приступая къ изображенію Екатерины, могъ воскликнуть: „благодарность и усердіе есть моя слава. Я жилъ подъ Ея скипетромъ и я былъ счастливъ Ея правленіемъ, и буду говорить о Ней!“

III.

Похвальное слово раздѣлено на три части. „Екатерина безсмертна своими побѣдами, мудрыми законами и благотѣльными учрежденіями: взоръ нашъ слѣдуетъ за нею по сими тремъ поприщамъ“ — говоритъ авторъ. Въ отиѣткахъ нашихъ будемъ держаться того же порядка.

Въ первой части изображаются въ сжатой, но, можно сказать, полной картинѣ, и рядъ преобразованій, введенныхъ Екатериною въ наше войско, и рядъ блистательныхъ и плодоносныхъ побѣдъ, одержанныхъ войскою, ею преобразованною и воодушевленною именемъ ея и любовью къ ней. Слѣдующими словами авторъ начинаетъ главу свою:

„Сколь часто поэзія, краснорѣчіе и мнимая философія гремятъ противъ славолубія завоевателей! сколь часто укоряютъ ихъ безчисленными жертвами сей грозной страсти! но истинный философъ различаетъ, судитъ, и не всегда осуждаетъ. Прекестная мечта всемірнаго согласія и братства, столь милая душамъ нѣжнымъ, для чего ты была всегда мечтою? Правило народовъ и государей не правило частныхъ людей: благо сихъ послѣднихъ требуетъ, чтобы первые болѣе всего думали о внѣшней безопасности: а безопасность есть могущество.“

„Петръ и Екатерина хотѣли приобрѣтеній, но единственно для пользы Россіи, для ея могущества и внѣшней безопасности, безъ которой всякое внутреннее благо не надежно.“

Все это такъ; но позволяемъ себѣ сдѣлать здѣсь маленькую замѣтку и оговорку. Если допросить исторію всеобщую и объѣмлющую всѣ столѣтія, то увидимъ, что каждый народъ, каждое правительство понимаютъ по своему законность правъ своихъ на необходимое обезпеченіе и застрахованіе себя отъ притязаній и покушеній сосѣда, и сосѣда часто довольно отдаленнаго. Политическій катихизисъ, обязательный для совѣсти cadaго, еще не опредѣленъ и не вошелъ въ законную силу; но что толковать тутъ о политикѣ? она неповинна и здѣсь ни при чемъ. По несповѣдимымъ судьбамъ, естественныя условія всего созданнаго и

живущаго опираются на препирательствѣ и борьбѣ. Необходимость войны, вслѣдствіе той или другой причины, того или другаго предлога, той или другой страсти, есть прискорбное таинство въ жизни человѣчества. Люди съ малолѣтства, еще дѣтьми, дерутся между собою изъ зависти, жадности, любостыжанія, чтобы выхватить изъ рукъ товарища игрушку или лакомство. А дикіе звѣри, а домашнія животныя, не грызутся ли между собою по врожденному инстинкту? Кажется, тутъ политика ни въ чемъ не замѣшана, а есть война.

Въ этомъ первомъ отдѣленіи, посвященномъ воинскимъ подвигамъ, встрѣчаются мастерскіе и одушевленные очерки. Въ самомъ разсказѣ отзываются живость движенія и пламень боя. Особенно замѣчательно то, что сказано о Румянцовѣ. Изображеніе его отличается особенною меткостью и воспроизводительностью кисти. Кажется, что изъ всѣхъ военныхъ предводителей царствованія Екатерины, Румянцевъ былъ ему наиболѣе сочувственъ. Вотъ что говоритъ онъ о Задунайскомъ:

„Сей великій мужъ славно отличилъ себя во время войны прусской; взявъ Кольбергъ, удивлялся хитрости искуснаго Фридриха, но часто угадывалъ его тайные замыслы; сражался съ нимъ и видѣлъ нѣсколько разъ побѣгъ его воинства.“

„Если таланты изъясняются сравненіемъ, то Задунайскаго можно назвать Тюреномъ Россіи. Онъ былъ мудрый полководецъ; зналъ своихъ непріятелей, и систему войны образовалъ по ихъ свойству; мало вѣрилъ слѣпому случаю, и подчинялъ его вѣроятностямъ разсудка: казался отважнымъ, но былъ только проницателемъ, соединялъ рѣшительность съ тихимъ и яснымъ дѣйствіемъ ума; не зналъ ни страха, ни запальчивости, берегъ себя въ сраженіяхъ единственно для побѣды; обожалъ славу, но могъ бы снести и пораженіе, чтобы въ самомъ несчастіи доказать свое искусство и величіе; обязанный геніемъ натурѣ, прибавилъ къ ея дарамъ и силу науки; чувствовалъ свою цѣну, но хвалилъ только другихъ; отдавалъ справедливость подчиненнымъ, но огорчился бы въ глубинѣ сердца, если бы кто нибудь изъ нихъ могъ сравниться съ нимъ талантами: судьба избавила его отъ сего

неудовольствія.—Такъ думаютъ о Задунайскомъ благородномъ ученики его.“

Замѣчательно, что въ сей военной главѣ вовсе не упоминаетъ онъ о Потемкинѣ, несмотря на притязанія его на славу полководца и на военныя почести, которыми былъ онъ возвышенъ. Такое умалчиваніе едвали не есть умышленное. Высокая, нравственная, цѣломудренная натура Карамзина не могла вполне ладить съ этимъ баловнемъ счастья, хотя одареннымъ нѣкоторыми свойствами и особенно вдохновеніями государственнаго дѣятеля. Карамзинъ, вѣроятно, не прощалъ ему, что, при счастіи своемъ, онъ нерѣдко имъ употреблялъ во зло, что онъ, такъ сказать, *барился*, нѣжился и сатрапствовалъ въ счастіи и могуществѣ своемъ. Карамзинъ не прощалъ *великолювному князю Тавриды*, какъ прозвалъ его Державинъ, что онъ не всегда соблюдалъ нравственное достоинство, безъ котораго истиннаго величія быть не можетъ. Съ одной стороны будетъ блескъ, сила, порабощеніе толпы; съ другой—обаяніе, уступчивое потворство; но прочной связи, трезвыхъ, сознательныхъ впечатлѣній не будетъ. На русскомъ языкѣ есть прекрасное, глубоко-умное слово: *временщикъ*. Какъ дворы, такъ и общественное мнѣніе, а къ сожалѣнію, иногда и сама исторія, имѣютъ своихъ временщиковъ. Карамзинъ былъ не изъ тѣхъ, которые поклонялись бы имъ. Ему было совѣстно записать имя Потемкина рядомъ съ именами болѣе безукоризненными, болѣе свѣтлыми, съ именами Румянцева, Суворова, Репнина, Петра Панина, Долгорукаго-Крымскаго. Въ панегиристѣ отзывался уже строгій и нелицепріятный судъ будущаго историка. Впрочемъ, въ другомъ мѣстѣ авторъ удѣляетъ нѣсколько строкъ Потемкину. Онъ, какъ-будто мимоходомъ, но вѣрно и живо набрасываетъ очеркъ его. „Видѣли мы при Екатеринѣ“ говоритъ онъ „возвышеніе челоуѣка, котораго нравственное и патріотическое достоинство служить еще предметомъ споровъ Россіи. Онъ былъ знатенъ и силенъ: слѣдственно не многіе могутъ судить о немъ безпристрастно; зависть и неблагодарность суть два главныя порока челоуѣческаго сердца. Но то неоспоримо, что Потемкинъ имѣлъ умъ острый, проникательный; разумѣлъ

великія напѣренія Екатерины, и потому заслуживалъ ея довѣренность. Еще неоспоримѣе то, что онъ не имѣлъ никакого рѣшительнаго вліянія на политику, внутреннее образованіе и законодательство Россіи, которыя были единственнымъ твореніемъ ума Екатерины.“

IV.

Вторую часть творенія своего авторъ начинаетъ слѣдующими словами:

„Екатерина-завоевательница стоитъ на ряду съ первыми героями вселенной; міръ удивлялся блестящимъ успѣхамъ ея оружія, но Россія обожаетъ ея уставъ, и воинская слава героини затмѣвается въ ней славою образовательницы государства. Мечъ былъ первымъ властелиномъ людей, но одни законы могли быть основаніемъ ихъ гражданскаго счастія; и, находя множество героевъ въ исторіи, едва знаемъ нѣсколько именъ, напоминающихъ мудрость законодательную.“ Въ этой главѣ Карамзинъ, съ меткостью присяжнаго законовѣда и съ теплымъ чувствомъ гражданина, обозрѣваетъ всѣ труды Екатерины по части законодательной, административной и всѣхъ многосложныхъ отраслей государственнаго устройства. Ничто не забыто: многое анализируется съ ясностью и знаніемъ дѣла; на все достойное особеннаго вниманія указано: на весь трудъ проливается свѣтъ добросовѣстной и положительной критики. Съ умѣніемъ и порядкомъ размѣщается на нѣсколькихъ страницахъ полное и вѣрное извлеченіе изъ государственныхъ актовъ тридцати-трехъ лѣтнаго существованія. Въ этомъ искусствѣ собирать матеріалы да приводить ихъ въ порядокъ уже угадывается завтрашній историкъ.

Между прочими богатствами, оставленными Екатериною въ наслѣдіе Россіи, особенное сочувствіе и прилежаніе автора обращены на знаменитый Наказъ ея.

Извѣстно, что подвигъ, предназначенный депутатамъ, собраннымъ со всѣхъ концовъ обширной, и что ни говори, а все же,

разноплеменной Россіи, не достигъ окончательной цѣли и былъ прекращенъ въ самомъ развитіи своемъ.

„Ея Наказъ долженствовалъ быть для депутатовъ аріадниною нитью въ лабиринтѣ государственнаго законодательства, но онъ, открывая имъ путь, означая все важнѣйшее на семъ пути, содержитъ въ своихъ мудрыхъ правилахъ и душу главныхъ уставовъ политическихъ и гражданскихъ, подобно какъ зерно заключаетъ въ себѣ видъ и плодъ растенія.“

Легко понимаемъ, что нынѣшній реализмъ, съ пуританскою своею совѣстью, смущается баснословными воспоминаніями, которыя выглядываютъ изъ этихъ словъ. Аріаднина нить, лабиринтъ—все это ребяческія преданія! но что же дѣлать, если то, что нынѣ преданіе, еще вчера было достоинствомъ общей европейской литературы?

Далѣе авторъ продолжаетъ:

„Уже депутаты російскіе сообщали другъ другу свои мысли о предметахъ общаго уложенія, и жезлъ маршала гремѣлъ въ торжественныхъ ихъ собраніяхъ. Екатерина невидимо внимала каждому слову, и Россія была въ ожиданіи; но турецкая война воспылала, и Монархиня обратила свое вниманіе на внѣшнюю безопасность государства.“

„Сограждане! принесемъ жертву искренности и правдѣ; скажемъ, что Великая не нашла, можетъ быть, въ умахъ той зрѣлости, тѣхъ различныхъ свѣдѣній, которыя нужны для законодательства.“

„Да не оскорбится тѣмъ справедливая гордость народа Россійскаго! Давно ли еще сіяетъ для насъ просвѣщеніе Европы? и мудрость Ликурговъ была ли когда-нибудь общаю? Не всегда ли великое искусство государственнаго образованія считалось небеснымъ вдохновеніемъ, известнымъ только нѣкоторымъ избраннымъ душамъ? Оставляя суевѣрныя преданія древности о Нимфахъ Эгеріяхъ, можемъ согласиться, что Нумы всѣхъ вѣковъ имѣли нужду въ чрезвычайныхъ откровеніяхъ генія. Сколько мудрости потребно законодателю! Сколь трудно знать человѣческое сердце, предвидѣть всевозможныя дѣйствія страстей, обратить въ добру ихъ бурное стрем-

леніе, или оставить твердыми оплотами, согласить частную пользу съ общей; наконецъ, послѣ высочайшихъ умозрѣній, въ которыхъ духъ человѣческій, какъ древле Моисей на горѣ Синайской съ невидимымъ Божествомъ сообщается, спуститься въ обыкновенную сферу людей и тончайшую метафизику преобразить въ уставъ гражданскій, понятный для всякаго!

„Но собраніе депутатовъ было полезно: ибо мысли ихъ открыли Монархинѣ источникъ разныхъ злоупотребленій въ государствахъ. Прославивъ благую волю свою, почтивъ народъ довѣренностію, убѣдивъ его такимъ опытомъ въ ея благотворныхъ намѣреніяхъ, Она рѣшилась Сама быть законодательницею Россіи.“

Карамзинъ не могъ изслѣдовать всѣ труды комиссіи, которые только на дѣлѣ обнародовались. Но мысль его, что собраніе депутатовъ, хотя и не довершившее подвигъ свой, было полезно, не подлежитъ сомнѣнію. Предъ нами развалины недостроеннаго зданія; но самая попытка воздвигнуть подобное зданіе, есть уже само по себѣ историческое событіе. Возвращаясь на родину и въ дома свои, депутаты выдержали уже нѣкоторое политическое воспитаніе. Благодѣтельныя, человѣколюбивыя и *законно-свободныя* (какъ императоръ Александръ 1-ый перевелъ слово *libéral*) правила и понятія, пущенныя въ обращеніе, не могли не оставить нѣсколько свѣтлыхъ слѣдовъ въ умѣ многихъ изъ участвующихъ въ этомъ дѣлѣ. Въ провинціи, въ отдаленныхъ мѣстахъ Россіи, занесены были сѣмена, которыя должны были, гдѣ болѣе, гдѣ менѣе, но всеже оплодотворить почву. Наказъ есть болѣе книга политической нравственности, чѣмъ книга практической политики. Но со всѣмъ тѣмъ и Наказъ сдѣлалъ свое дѣло и совѣщанія депутатовъ сдѣлали свое.

Слова, падающія въ народъ съ высоты престола, имѣютъ всегда отголосокъ въ народѣ, не только въ настоящемъ, но часто, кажется, до новаго дня преобразованій въ будущемъ. Будь Наказъ написанъ частнымъ публицистомъ, онъ не могъ бы имѣть то значеніе, ту важность, которыми онъ проникнуть, когда воображаешь себѣ, что это плодъ мыслей, чувствованій и желаній державнаго лица. Переводъ на русскій языкъ Мармонтелева «Велисарія», на-

печатанный частнымъ переводчикомъ, хотя и талантливымъ, затерялся бы въ библіотекѣ, вмѣстѣ со многими другими книгами; но если вспомнить, что этотъ переводъ обязанъ существованіемъ своимъ перу Екатерины, въ сообществѣ съ нѣкоторыми лицами, приближенными ко двору ея, въ самое то время, когда подлинникъ подверглся во Франціи порицаніямъ Сорбонны и офіціальному осужденію, то этотъ переводъ пріемлетъ иное и высшее значеніе. Это въ своемъ родѣ знаменіе времени, указаніе на поэтическую и общественную температуру современной эпохи. Жаль, что ни одному изъ нашихъ ученыхъ и литературныхъ учреждений не пришла мысль изготавить къ празднеству Екатерины новое изданіе книги, тѣмъ болѣе, что въ настоящее время сдѣлалась она библиографическою рѣдкостью!

V.

Считаемъ не излишнимъ извлечь изъ второй главы, посвященной законодательной дѣятельности Государини нѣкоторыя мѣста, по мнѣнію нашему, чѣмъ-нибудь особенно замѣчательныя. Онѣ могутъ послужить отчасти характеристикѣ Екатерины и вмѣстѣ съ тѣмъ ея панегириста.

Онъ говоритъ: „Она уважала въ подданномъ санъ человѣка, нравственнаго существа, созданнаго для счастія въ гражданской жизни. (Замѣтьте съ какою осторожностью, не пускаясь въ историческія умозрѣнія, авторъ опредѣляетъ свойство счастія, о которомъ онъ упоминаетъ). Петръ великій хотѣлъ возвысить насъ на степень просвѣщенныхъ людей: Екатерина хотѣла обходиться съ нами, какъ съ людьми просвѣщенными.“

„Монархиня презирала и самыя дерзкія сужденія, когда оныя происходили единственно отъ легкомыслія и не могли имѣть вредныхъ послѣдствій для государства: ибо она знала, что личная безопасность есть первое для человѣка благо и что безъ нее жизнь наша, среди всѣхъ этихъ способовъ счастія и наслажденія, есть вѣчное мучительное безпокойство.“

Упомянувъ о внутреннемъ преобразованіи нашихъ армій, которое есть, какъ онъ говоритъ, *дѣло Екатерины*, авторъ продолжаетъ:

„Она произвела, что воины одного полка считали себя дѣтьми одного семейства, гордились другъ другомъ и стыдились другъ за друга; Она, требуя отъ однихъ непрекословнаго повиновенія, другимъ предписала въ законъ: не только человеколюбіе, но и самую привѣтливость, самую ласковую учтивость; изъявляя, можно сказать, нѣжное попеченіе о благосостояніи простаго воина, хотѣла, чтобы онъ зналъ важность сана своего въ имперіи, и, любя его, любилъ отечество.“

„Монархія (въ Наказѣ) прежде всего опредѣляетъ образъ правленія въ Россіи—*самодержавный*; не довольствуется единымъ всемогущимъ изрѣченіемъ, но доказываетъ необходимость сего правленія для неизмѣримой имперіи.“

Раздѣляя это мнѣніе, авторъ говоритъ: „Здѣсь примѣры служатъ убѣдительнѣйшимъ доказательствомъ. Римъ, котораго именемъ цѣлый міръ назывался, въ единомъ самодержавіи Августа, нашелъ успокоеніе послѣ всѣхъ ужасныхъ мятежей и бѣдствій своихъ. Что видѣли мы въ наше время? Народъ многочисленный на развалинахъ трона хотѣлъ повелѣвать самъ собою: прекрасное заданіе общественнаго благоустройства разрушилось; неописанныя несчастія были жребіемъ Франціи, и сей гордый народъ, осыпавъ пепломъ главу свою, проклиналъ десятилѣтнее заблужденіе, для спасенія политическаго бытія своего вручаетъ самовластіе честолюбивому корсиканскому воину.“ Далѣе: „Мое сердце не менѣе другихъ воспламеняется добродѣтелию великихъ республиканцевъ; но сколько кратковременны блестящія эпохи ея? Сколь часто именемъ свободы позволялось тиранство и великодушныхъ друзей ея заключало въ узы?“

Въ искренности сказанныхъ словъ и признанія автора сомнѣваться нельзя. Карамзинъ былъ въ самомъ дѣлѣ душою республиканецъ, а головою монархистъ. Первымъ былъ онъ по чувству своему, горячимъ преданіямъ юности и духовной своей независимости; вторымъ сдѣлался онъ вслѣдствіе изученія исторіи и

съ нею приобретенной опытности. Говоря нѣзычными языкомъ, скажемъ: какъ человекъ, былъ онъ либералъ, какъ гражданинъ былъ онъ консерваторъ. Таковымъ былъ онъ и у себя дома и въ кабинетѣ Александра. Замѣтимъ мимоходомъ, что въ этомъ кабинетѣ нужно было имѣть нѣкоторую долю независимости и смѣлости, чтобы оставаться консерваторомъ.

Екатерина говоритъ: „лучше повиноваться законамъ подъ единымъ властелиномъ, нежели угождать многимъ.“ (Нельзя не обратить вниманія на тонкій и глубокий смыслъ выраженія: Екатерина не говоритъ: повиноваться законамъ одного властелина, а законамъ подъ единымъ властелиномъ.)

„Предметъ самодержавія, говоритъ законодательница, есть не то, чтобы отнять у людей естественную свободу, но чтобы дѣйствія ихъ направить къ величайшему *благу*“.

(*Благо* вѣроятно означаетъ здѣсь *благосостояніе, bien-être*)

„Сіе правленіе (самодержавное), говоритъ Карамзинъ, тѣмъ благотворнѣе, что оно соединяетъ выгоды Монарха съ выгодами подданныхъ: чѣмъ они довольнѣе и счастливѣе, тѣмъ власть его святѣе и ему пріятнѣе; оно всѣхъ другихъ сообразнѣе съ цѣлю гражданскихъ обществъ, ибо всѣхъ болѣе способствуетъ тишинѣ и безопасности.“

Вотъ исповѣданіе политической вѣры Карамзина. Коротко знавшіе его убѣжденія говорятъ, что онъ не былъ ни политическимъ, ни религіознымъ лицемеромъ, расчеты и какое бы то ни было корыстолюбіе были ему чужды.

Далѣе авторъ прекрасно опредѣляетъ сенатъ. Онъ большой приверженецъ сего Петровскаго учрежденія, и подлинно изъ всѣхъ тогдашнихъ государственныхъ учрежденій оно легче и прочнѣе принялось на русской почвѣ. Слѣдовательно, оно удовлетворяло живымъ и насущнымъ потребностямъ страны. Долго въ Россіи въ отдаленныхъ провинціяхъ и въ простомъ народѣ только и знали, что государи и сенатъ.

Карамзинъ, упоминая о власти, которую Екатерина предоставляетъ сенату, разрѣшая ему входить съ представленіями государю, если сенатъ найдетъ въ законахъ, присланныхъ ему для испол-

ненія что-нибудь *вредное, темное, или противное уложению*, заключаетъ слѣдующими словами:

„Такимъ образомъ Сенатъ въ отношеніи къ Монарху есть совѣсть его, а въ отношеніяхъ къ народу—рука Монарха; вообще онъ служить эгидою для государства, будучи главнымъ блюстителемъ порядка.“ Кстати замѣтить здѣсь, что въ другомъ мѣстѣ, онъ, какъ опытный законовѣдецъ и какъ-будто человѣкъ измученный судейскими проволочками—онъ вѣроятно не имѣлъ въ жизни ни одной тяжбы—мѣтко указываетъ на одну изъ язвъ судопроизводства. Говоря объ учрежденіи палатъ гражданской и уголовной, которыя имѣютъ права коллегій и судятъ въ средоточіи губерній, онъ прибавляетъ: „Всѣ нужны объясненія могутъ быть доставляемы скоро, и *медленность, первое зло по неправдѣ* пресѣкается.“ И въ знаменитой запискѣ своей. „О древней и новой Россіи“, позднѣе написанной Карамзиннымъ, все съ тѣмъ же рвеніемъ отстаиваетъ сенатъ. Вотъ что онъ говоритъ: „Фельдмаршалъ Минихъ замѣчалъ въ нашемъ государственномъ чинѣ нѣкоторую пустоту между Трономъ и Сенатомъ, но едва ли справедливо. Подобно древней Боярской Думѣ, Сенатъ въ началѣ своемъ имѣлъ всю власть, какую только высшее правительствующее мѣсто въ самодержавіи имѣть можетъ. Генераль-Прокуроръ служилъ связью между нимъ и государемъ; тамъ вершались дѣла, которыя бы надлежало вершить Монарху: по человѣчеству, не имѣя способа обнять ихъ множества, онъ далъ Сенату свое верховное право и свое око въ Генераль-Прокурорѣ, опредѣливъ въ какихъ случаяхъ дѣйствовать сему важному мѣсту по извѣстнымъ законамъ и въ какихъ требовать его Высочайшаго соизволенія. Сенатъ издавалъ законы, повѣрялъ дѣла коллегій, рѣшалъ ихъ сомнѣнія, или испрашивалъ у Государя, который, принимая на него жалобы отъ людей частныхъ, грозилъ строгою казнью ему въ злоупотребленіи власти, или дерзкому челобитчику въ несправедливой жалобѣ.“

Вообще, приведенныя выписки изъ узаконеній и правительственныхъ мѣръ Екатерины доказываютъ съ какимъ искусствомъ и сочувствіемъ, съ какою критическою разборчивостью авторъ умѣлъ воспользоваться матеріалами, имѣющимися у него подъ руками; въ

этомъ трудѣ выказывается государственный умъ и будущій историкъ который въ примѣчаніяхъ своихъ, въ написанной имъ исторіи, извлекъ и согласовалъ всѣ свѣдѣнія, всѣ указанія изъ лѣтописей и другихъ источниковъ, имъ открытыхъ.

Указывая на новое поприще государственной дѣятельности, открытое не служащему дворянству призывомъ его занимать должности по выбору, авторъ говоритъ: „Прежде дворянство наше гордилось какою-то, можно сказать, дикою независимостью въ своихъ помѣстіяхъ; теперь, избирая важныя судебныя власти и черезъ то участвуя въ правленіи, оно гордится своими великими государственными правами, и благородныя сердца ихъ болѣе нежели когда-нибудь любить свое отечество.“

Здѣсь позволимъ себѣ высказать маленькое критическое замѣчаніе. Вмѣсто того, чтобы сказать положительно *гордиться*, не вѣрнѣе ли было бы сказать: *должно гордиться*.

Но, можетъ быть, такой уклончивый оборотъ рѣчи не ладитъ съ требованіями и условіями похвального слова, хотя бы и историческаго. Но какъ бы то ни было, не законы и не учрежденія виноваты, когда общество не умѣетъ вполнѣ ими пользоваться. Много званныхъ, мало избранныхъ. Но были же избранные, которые при равнодушіи другихъ постигли важность даруемыхъ имъ правъ, добросовѣстно признавая, что права возлагаютъ и обязанности. Далѣе: „Новое учрежденіе“ говоритъ авторъ „пресѣкло многія злоупотребленія господской власти надъ рабами, поручивъ ихъ судьбу особенному вниманію помѣщика. Сіи гнусныя, но къ утѣшенію добраго сердца, малочисленные тираны, которые забываютъ, что быть господиномъ, есть для истиннаго дворянина, быть отцемъ своихъ подданныхъ, не могли уже тиранствовать во мракѣ; лучъ мудраго правительства освѣтилъ тѣ дѣла; страхъ былъ для нихъ краснорѣчивѣе совѣсти, и судьба подвластныхъ земледѣльцевъ смягчилась.“

Многіе обвиняютъ Карамзина въ пристрастной приверженности къ крѣпостному помѣщичьему праву. Мы сейчасъ видѣли, какъ сильно возстаетъ онъ противъ злоупотребленій этого права, не обинуясь позорить онъ злыхъ помѣщиковъ клеймомъ: *гнуснаго ти-*

ранства. Какъ человѣкъ, онъ безъ, сомнѣнія, въ душѣ своей за уничтоженіе крѣпостнаго состоянія, которое влечетъ за собою ужасы, имъ упоминаемые; какъ политикъ, какъ публицистъ, онъ могъ думать, что время для этого уничтоженія еще не настало. Онъ не доктринеръ, готовый принести все въ жертву единственно для торжества принципа. Онъ могъ ошибаться по части политической экономіи, могъ опасаться гибельныхъ послѣдствій, которыя могли и не осуществиться. Это дѣло другое; публицистъ не обязанъ быть пророкомъ; довольно и того, если правильно судить онъ о настоящемъ: взвѣшиваетъ выгоды и невыгоды вопроса, сужденію его подлежащаго, и приходитъ къ заключенію по совѣсти своей и по своему разумію. Чтобы о дѣйствіяхъ человѣка и писателя (а писанія его—тоже дѣйствія) судить безпристрастно и правильно, нужно всегда принимать въ соображеніе эпоху ему современную и, такъ сказать, внутреннюю среду умственного и нравственного положенія его. Всякая картина, для прямаго дѣйствія ея на зрителя, требуетъ, чтобы выставлена была она въ приличномъ и собственномъ ей свѣтѣ. Карамзинъ писалъ записку свою „о древней и новой Россіи“ въ то самое время, когда надъ Европою и особенно надъ Россіею висѣла шпага Дамоклеса, т. е. Наполеона, уже поразившая двѣ трети Европы. Карамзину могло казаться неудобнымъ крутыми преобразованіями и мѣрами дѣлать въ то время опыты надъ Россіею, т. е. ломать, уничтожать живныя силы, которыми такъ или иначе держалась она, и создать наскоро новыя еще неизвѣстныя силы, которыя, во всякомъ случаѣ, не успѣли бы предъ подходящею грозою достаточно развиться и окрѣпнуть. Съ другой стороны, онъ уже посвятилъ нѣсколько лѣтъ трудолюбивой жизни своей на возсозданіе исторіи глубоко и пламенно любимаго имъ отечества. Онъ шагъ за шагомъ, столѣтіе за столѣтіемъ, событіе за событіемъ, слѣдилъ за возростаніемъ и непрерывно мужающимъ могуществомъ государства. Не могъ же онъ не притти къ тому заключенію и убѣжденію, что, не смотря на частныя, прискорбныя и предосудительныя явленія, все-же находились въ этомъ развитіи, въ этомъ устроившемся складѣ и порядкѣ, многіе зародыши силы и живучести. Безъ того не удержалась бы Россія. Онъ

полюбилъ Россію, каковою сложилась она и выросла. И это очень натурально. Вотъ вдохновенія и основы консерватизма его. Либералу, т. е. тому, что называютъ либераломъ, трудно быть хорошимъ историкомъ. Либералъ смотритъ впередъ и требуетъ новаго: онъ презираетъ минувшее. Историкъ долженъ возлюбить это минувшее, не суевѣрно, но родственною любовью. Анатомировать бытописаніе, какъ охладѣвшій трупъ, изъ одной любви къ анатоміи, исторіи, есть трудъ неблагодарный и бесполезный.

Въ доказательство того, что Карамзинъ не былъ политическимъ старовѣромъ, приведемъ слѣдующія строки изъ похвального слова: „Я означилъ только главныя дѣйствія Екатерины, дѣйствія уже явныя, но еще многія хранятся въ урнѣ будущаго, или въ началѣ своемъ жеще примѣтны для наблюдателя. Оно необходимо, просвѣщая народъ, окажется тѣмъ благодѣтельнѣе въ слѣдствіяхъ, чѣмъ народъ будетъ просвѣщеннѣе.“

Слѣдовательно, Карамзинъ не замыкалъ народъ въ извѣстныхъ и не перешагиваемыхъ границахъ: онъ ни гражданъ не закрѣплялъ къ неизмѣнному во вѣки строю, ни земледѣльцевъ не закрѣплялъ вѣчно къ землѣ. Онъ понималъ, что тѣмъ и другимъ должно прорубать новыя просѣки, раскрывая новыя горизонты, но подлѣ однимъ условіемъ, а именно *Просвѣщенія*. Въ этомъ словѣ заключается все.

VI.

Съ такою же сметливою выборкою, какъ и въ предыдущихъ главахъ, авторъ и въ третьей части похвального слова обозначаетъ главнѣйшія дѣйствія Екатерины по части народной благотворительности и просвѣщенія. Каждое учрежденіе не во многихъ словахъ, но вѣрно изображено и выставлено въ полномъ объемѣ своемъ. Замѣчанія или поясненія по тому или другому предмету оцѣниваютъ существенное достоинство и указываютъ на цѣль и пользу его. Упоминая о воспитательномъ или сиротскомъ домѣ, авторъ говоритъ:

„Тамъ несчастные младенцы, жертвы бѣдности или стыда, пріеются во святилище добродѣтели, спасаются отъ бури, которая сокрушила бы ихъ на первомъ дыханіи жизни; спасаются и, что еще

болѣе, спасаютъ, можетъ быть, родителей отъ адскаго злодѣянія къ несчастію не безпримѣрнаго.

„Тамъ воспитаніе, приучая питомцевъ къ трудолюбію и порядку, готовитъ въ нихъ отечеству полезныхъ гражданъ. Искусные въ художествахъ и ремеслахъ, которые дѣлаютъ человека независимымъ властелиномъ жизни своей, сіи питомцы монаршей щедрости выходятъ въ свѣтъ, и послѣдній даръ ими изъ рукъ ея пріемлемый есть—гражданская свобода.“ Здѣсь встрѣчаемъ прекрасный портретъ Бенцаго, который „служилъ Екаторинѣ первымъ орудіемъ для исполненія ея благотворныхъ, въ великомъ дѣлѣ, намѣреній. Бенцкій жилъ и дышалъ добродѣтелію, не блестящею и не громкою, которая изумляетъ людей, но тихою и медленно-награждаемою общимъ уваженіемъ, да и *редкою*, ибо люди стремятся болѣе къ блестящему, нежели къ основательному, и мужественному, ибо она не страшится никакихъ трудовъ. Онъ довольствовался славой быть помощникомъ Екаторины, радовался своимъ трудами и, будучи строгимъ наблюдателемъ порядка, безпрестанно взыскивая и требуя, сей другъ человѣчества умѣлъ заслужить любовь и надзирателей и питомцевъ, ибо требовалъ только должнаго и справедливаго. Герой, искусный министръ, мудрый судья есть конечно украшеніе и честь государства; но благодѣтель юности не менѣе ихъ достоинъ жить въ памяти благодарныхъ гражданъ.“

Уже императрица Анна учредила кадетскій корпусъ, но цвѣтущая и многополезная пора его принадлежитъ царствованію Екаторины.

“Кадетскій корпусъ, говоритъ авторъ, производилъ хорошихъ офицеровъ и даже военачальниковъ; ко славѣ его должно вспомнить, что Румянцевъ былъ въ немъ воспитанъ. Но сіе учрежденіе клонилось уже къ своему паденію, когда Екаторина обратила на оное творческій взоръ свой—умножила число питомцевъ, надзирателей; предписала новыя для нихъ законы, сообразныя съ человѣколюбіемъ, достойныя Ея мудрости и времени. Военная строгость, которая доходила тамъ нерѣдко до самой крайности, обратилась въ прилежное, но кроткое надзираніе, и юныя сердца, прежде ожесточаемыя грозными наказаніями, исправлялись отъ легкихъ поро-

ковъ гласомъ убѣдительнаго наставленія. Прежде нѣмецкій языкъ, математика и военное искусство были почти единственнымъ предметомъ науки ихъ: Екатерина прибавила какъ другіе языки (особливо совершенное знаніе русскаго), такъ и всѣ необходимыя для государственнаго просвѣщенія науки, которыя, смягчая сердца, умножая понятія человѣка, нужны для благовоспитаннаго офицера: ибо мы живемъ уже не въ тѣ мрачныя, варварскія времена, когда отъ воина требовалось только искусство убивать людей, когда видъ свирѣпый, голосъ грозный и дикая наружность считались нѣкоторою принадлежностью сего состоянія. Уже давно первыя Европейскія Державы славятся такими офицерами, которые служатъ единственно изъ благороднаго честолюбія, любятъ побѣду, а не кровопролитіе; повелѣваютъ, но не тиранствуютъ; храбры въ огнѣ сраженія и пріятны въ обществѣ; полезны отечеству шпагою, но могутъ быть ему полезны и умомъ своимъ. Такихъ хотѣла имѣть Монархія, и корпусъ сдѣлался ихъ училищемъ.“

На памяти нашей еще встрѣчались въ обществѣ бывшіе кадеты, которые достигли до высшихъ государственныхъ степеней и были образованными и пріятными людьми. Упомянемъ между прочими: Кушниковъ, члена государственнаго совѣта, Салтыкова (М. А.), сенатора, и попечителя казанскаго университета Полетаева.

Вопросъ о *народныхъ училищахъ*, который теперь на очереди во многихъ государствахъ, у насъ былъ уже угаданъ и, по возможности, разрабатываемъ предусмотрительнымъ и просвѣщеннолюбивымъ умомъ Екатерины. Карамзинъ также въ похвальномъ словѣ обращаетъ на него особенное и сочувственное вниманіе. Но сей вопросъ, повидимому, не изъ тѣхъ, которые легко поддаются соображеніямъ и предначертаніямъ власти и требованіямъ принциповъ и умозрительности. Вопросъ сей, если и подвинулся со временъ Екатерины, то все же медленно и находится все еще развѣ на полу дорогѣ. Общее народное обученіе и поголовная грамотность, какъ о нихъ многіе ни заботятся, остаются пока въ разрядѣ *благочестивыхъ желаній* и будущихъ благъ. У насъ, кромѣ политическихъ и духовныхъ затрудненій, присущихъ этому вопросу, не должно забывать и о затрудненіяхъ матеріальныхъ, топографиче-

скихъ и климатическихъ. Пространство нашей русской земли, скудость во многихъ областяхъ народонаселенія разбросаннаго, разсѣяннаго на этихъ необозримыхъ пространствахъ, сильныя морозы, губительныя метели, нѣтъ въ каждомъ селеніи училище и учителя дѣло несбыточное. Ходить ребенку на урокъ одному, худо одѣтому, за три, пять, а часто и болѣе верстъ при 15 градусахъ мороза, а также и здѣсь часто и болѣе, при сѣжныхъ вьюгахъ, при краткости нашего зимняго дня, при продолжительности нашей зимы, за которую слѣдуетъ продолжительная распутица, все это равномѣрно противодѣйствуютъ практикѣ.

Какъ бы то ни было, слова Карамзина еще не устарѣли, пережитыя дѣйствительностью. Пора дѣйствительности еще не настала; читая его, можно думать, что читаешь страницу изъ вчера вышедшей книжки русскаго журнала.

Вотъ что авторъ говоритъ въ первый годъ текущаго столѣтія:

„Екатерина учредила вездѣ въ малѣйшихъ городахъ, и въ глубинѣ Сибири народныя училища, чтобы разлить, такъ сказать, богатство свѣта по всему государству. Особенная коммисія, изъ знающихъ людей составленная, должна была устроить ихъ, предписать способы ученія, издавать полезнѣйшія для нихъ книги, содержащія въ себѣ главныя, нужнѣйшія человѣку свѣдѣнія, которыя возбуждаютъ охоту къ дальнѣйшимъ успѣхамъ, служить ему ступенью къ высшимъ знаніямъ, и сами собою уже достаточны для гражданской жизни народа, выходящаго изъ мрака невѣжества. Сія школы, образуя учениковъ, могутъ образовать и самыхъ учителей, и такимъ образомъ быть всегдашнимъ и время отъ времени яснѣйшимъ источникомъ просвѣщенія. Онѣ могутъ и должны быть полезны всѣхъ академій въ мірѣ, дѣйствуя на первые элементы народа; и смиренный учитель, который дѣлаетъ бѣдности и трудолюбія изъясняетъ буквы, ариметическія числа и рассказываетъ въ простыхъ словахъ любопытные случаи исторіи, или, развертывая нравственный ватиканскій, доказываетъ сколь нужно и выгодно человѣку быть добрымъ, въ глазахъ философа почтенъ не менѣе метафизика, котораго глубокомысліе и тонкоуміе, для самыхъ ученыхъ едва вразумительно или мудраго натуралиста, фізіолога, астронома, занимающихъ своею наукою только часть людей.“

СТАТУСЪ

Могла ли въ похвальномъ словѣ быть забыта литература съ ея „сильнымъ вліяніемъ на образованіе народа и счастье жизни“? Екатерина не только покровительствовала ей, поощряла ее царскими вниманіемъ и щедротами, но и сама была литераторъ. Она находила время на все: и эту силу на всестороннюю дѣятельность почерпала она, по мнѣнію панегириста, *въ духъ порядка, который лагодѣтеленъ для всякаго и въ добромъ Монархѣ—счастье народа*. Замѣчательны слѣдующія слова:

„Если она (Екатерина) своими ободреніями не произвела еще болѣе талантовъ, виною тому независимость генія, который одинъ не повинуется даже и Монархамъ, дикъ въ своемъ величіи, упрямъ въ своихъ стремленіяхъ, и часто самыя неблагопріятныя для себя времена предпочитаетъ блестящему вѣку, когда мудрые Цари съ любовью призываютъ его для торжества и славы.“

Въ числѣ многихъ благодѣтельныхъ мѣръ, принятыхъ въ царствованіе Екатерины, для водворенія въ обществѣ нашемъ образованности и просвѣщенія, авторъ упоминаетъ о слѣдующей, которая, безъ сомнѣнія, не могла оказаться безплодною: „желая присвоить Россіи лучшія творенія древней и новой чужестранной литературы, она учредила комиссію для переводовъ, опредѣлила награду для трудящихся—и скоро почти всѣ славнѣйшіе въ мірѣ авторы вышли на нашъ языкъ, обогатили его новыми выраженіями, оборотами, а умъ Россіянъ—новыми понятіями.“

Жаль, что эта комиссія, или что-нибудь подобное, уже не существуетъ. Намъ переводы нужны. Система туземныхъ протекціонистовъ въ литературѣ никуда не годится: привозная литература вездѣ полезна, а у насъ и подавно. Но, не стѣсня частныхъ и вольнопрактикующихъ переводчиковъ въ свободѣ переводить все, что имъ подъ руку попадетъ, или придется по вкусу, хорошо бы имѣть у насъ учрежденіе, на примѣръ подъ надзоромъ академіи, которое слѣдило бы за всеобщимъ литературнымъ движеніемъ и заботилось о выборѣ для перевода на русскій языкъ книгъ полезныхъ какъ въ отношеніи къ наукѣ, такъ и нравственности и политическому воспитанію народа. Не достаточно печься о распространеніи грамотности и возбужденіи духовныхъ позывовъ къ ней:

нужно еще пещись и о приготовленіи здоровой пищи для грамотныхъ. Вредная, испорченная пища не лучше голода.

VII.

Изданные и вновь издаваемые въ наше время біографическіе матеріалы съ каждымъ днемъ болѣе и короче знакомятъ насъ съ Екатериною. Предъ нами растетъ величіе Екатерины, но вмѣстѣ съ тѣмъ проникаемъ мы и въ свойства личности ея частной и домашней. Мы доселѣ жили историческою жизнью ея: нынѣ живемъ жизнью ея ежедневной. Доселѣ могли мы говорить о государственной: „Екатерина въ низкой долѣ и не на царскомъ бы престолѣ была бѣ великою женой“. Нынѣ можемъ сказать, съ достовѣрностью и убѣжденіемъ, что при-этомъ была она умѣйшею и любезнѣйшею женщиною. Привлекательность и прелесть ума и нрава ея были также родъ всемогущества—всемогущество обаянія.

Жаль, что эти посмертныя свѣдѣнія не могли быть извѣстны нашему панегиристу. Они обогатили бы похвальное слово многими занимательными и блестящими страницами. Онъ, разумѣется, съ похвалою и горячимъ сочувствіемъ отзывался о перепискѣ Екатерины въ современными ей европейскими знаменитостями, и въ этой перепискѣ „Европа удивляется не имъ, а ей.“ Но эта переписка все-же носитъ почти офиціальнѣйшій характеръ. Эти письма подготовлены, обработаны въ виду европейскаго суда и суда потомства. Писавшая ихъ могла предвидѣть, что *тайна писемъ* не будетъ соблюдена. Но мы теперь застаемъ Екатерину, такъ сказать, врасплохъ. Отъ вниманія нашего и розыска не ускользаетъ ни малѣйшая строка, наскоро наброшенная бѣглымъ карандашемъ. Мы, такъ сказать, разбираемъ ее по косточкѣ. Мы анатомируемъ ее, и что же? Часто посмертныя изслѣдованія, загробныя нескромности нарушаютъ добрую память сошедшаго съ лица земли въ полномъ блескѣ величія и безукоризненной славы; съ Екатериною сбывается совершенно иное. Исторія внесла уже на скрижали свои громкія и великія дѣла ея: строгую, а часто и пристрастную рукою занесла она и несовершенства и погрѣшности

ея, свойственные всѣмъ смертнымъ на землѣ. Но отнынѣ правдивая исторія обогатится новыми свѣдѣніями, которыя прольютъ невѣдомый блескъ на личность ея и выкупятъ многіе упреки, которыми отяготили память ея отъ этой загробной ревизіи дѣлъ ея и помышлений. Государиня нисколько не унываетъ: напротивъ; но частная личность, но человѣкъ, но женщина возвышается и обрисовывается въ самомъ плѣнительномъ образѣ. Недаромъ Екатерина отказывалась при жизни отъ статуй и похвальныхъ титуловъ. Она умѣла ждать и вѣровала въ потомство — потомство оправдало вѣру ея.

IX.

Говорить ли о языкѣ и слогѣ похвальнаго слова? Казалось бы, это было бы и лишнимъ. А впрочемъ въ наше время именно можетъ быть и несовершенно не умѣстнымъ сказать о томъ нѣсколько словъ. Правильность, ясность, свободное, но вѣстѣ съ тѣмъ послѣдовательное и, такъ сказать, *образумленное* теченіе рѣчи, искусство ставить каждое слово именно тамъ, гдѣ ему быть надлежитъ и гдѣ оно выразительнѣе—все это является здѣсь въ изящномъ порядкѣ и полной силѣ. Трезвость слога не влечетъ за собою сухости. Нѣкоторые ораторскіе приемы, свойственные вообще похвальному слову, не заносятся до высокопарности. Все живо, но мѣрно, все одушевлено ясною мыслью и теплымъ чувствомъ. Мы уже намекали, что будущій историкъ угадывается въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разбираемаго нами произведенія. Нынѣ, прочитавъ все похвальное слово, скажемъ, что оно въ полномъ объемѣ есть, такъ сказать, проба пера, которое авторъ готовъ исключительно посвятить исторіи. Слогъ, т. е. то, что прежде называли слогомъ, есть нынѣ слово и понятіе, утратившія значеніе свое. Одни литературные старообрядцы обращаютъ вниманіе на него. Въ нашъ скороспѣшный и скороспѣлый вѣкъ, въ вѣкъ желѣзныхъ дорогъ, паровыхъ силъ, телеграфовъ, фотографій, мало заботятся объ отдѣлкѣ. Все торопятъ и всѣ торопятся—это хорошо! Жизнь коротка: почему же не удесятерить цѣнность и значеніе времени, если есть на то возможность? Но искусство терпѣть отъ

той усиленной гонки за добычею: искусство нуждается въ трудѣ, трудъ требуетъ усидчивости, а мы и трудиться и сидѣть разучились. Рѣдко кто наложить на себя обузу и епитимью просидѣть нѣсколько дней и по нѣскольку часовъ сряду, хотя бы передъ фанъ-Дейкомъ или Брюловымъ, чтобы имѣть портретъ свой во весь ростъ. Мы всѣ бѣжимъ по сосѣдству къ ближайшему фотографу, который дѣло свое покончить въ пять минутъ.

Посмотрите на черновые листы Карамзина и Пушкина: они, казалось бы, писали легко и отъ избытка вдохновенія и силъ, а между тѣмъ тетради перечеркнуты, перемараны вдоль и поперекъ. Тотъ и другой перепробуетъ иногда три четыре слова, прежде нежели попадетъ на слово настоящее, которое выразить вполнѣ мысль, со всѣми ея оттѣнками. — Да это египетская работа! скажутъ мнѣ. Такъ; но египетскія работы воздвигали пирамиды, переживающія тысячелѣтія. Правила, искусство, вкусъ зодчества измѣнились въ теченіе времени; но любознательность и просвѣщенные путешественники со всѣхъ концовъ міра съѣзжаются къ этимъ пирамидамъ изучать ихъ и любоваться ими. Слогъ есть оправа мысли и души, онъ придаетъ ей форму, блескъ и жизнь. Не даромъ сказано, что въ слогъ выдается весь человѣкъ: каковъ человѣкъ, таковъ и слогъ его. Въ прозѣ Жуковскій и Пушкинъ принадлежали школѣ Карамзина; но слогъ Жуковского не есть слогъ Карамзина, а слогъ Пушкина не есть слогъ Жуковского. Слогъ даетъ разнообразіе и разнохарактерность таланту и выраженію. Слогомъ живетъ литература. Гдѣ или когда нѣтъ слога, нѣтъ и литературы.

Если есть музыка *будущаго*, то можно сказать о языкѣ Карамзина, что это музыка *минувшаго*. Между тѣмъ этотъ языкъ не устарѣлъ, какъ не устарѣла музыка Моцарта. Могли оказать измѣненія, то къ лучшему, то къ худшему; но діапазонъ все-таки остается вѣрнымъ и образцовымъ. При началѣ литературнаго поприща Карамзина, обвиняли его въ *галлицизмахъ*. Мы давно гдѣ-то сказали, что критики его ошибались. *Галлицизмы* его были необходимы *европеизмы*. Никакой языкъ, никакая литература совершенно избѣгнуть ихъ не могутъ. Есть денежные

знаки, которые вездѣ пользуются свободнымъ обращеніемъ: червонецъ вездѣ червонецъ. Такъ бываетъ и съ иными словами и оборотами. Есть лингвистическія завоеванія, которые нужны, а потому и законны. Но есть лингвистическія переряженія, пестрыя заплатки, которые вшиваются въ народное платье. Эти смѣшны и только портятъ основную ткань.

Чтобы показать то, что мы разумѣемъ подѣ словомъ и подѣ искусствомъ писать, выберемъ изъ многихъ мѣстъ одно, наприимѣръ слѣдующее:

„Геройская ревность къ добру соединялась въ Екатеринѣ съ рѣдкимъ проицаніемъ, которое представляло Ея всякое дѣло, всякое начинаніе въ самыхъ дальнѣйшихъ слѣдствіяхъ, и потому Ея воля и рѣшеніе были всегда непоколебимы. Она знала Россію, какъ только одни чрезвычайные умы могутъ знать государство и народы; знала даже мѣру своимъ благодѣяніямъ; ибо самое добро въ философическомъ смыслѣ можетъ быть вредно въ политикѣ, какъ скоро оно несоразмѣрно съ гражданскимъ состояніемъ народа. Истина печальная, но опытомъ доказанная! Такъ, самое пламенное желаніе осчастливить народъ можетъ родить бѣдствія, если оно не слѣдуетъ правиламъ осторожнаго благоразумія согражданъ! Я напому вамъ Монарха, ревностнаго къ общему благу, дѣятельнаго, неутомимаго, который пылалъ страстію человеколюбія, хотѣлъ уничтожить вдругъ всѣ злоупотребленія, сдѣлать вдругъ все добро, но который ни въ чемъ не имѣлъ успѣха, и при концѣ жизни своей видѣлъ съ горестью, что онъ государство свое не приблизилъ къ цѣли политическаго совершенства, а удалилъ отъ нея: ибо преемнику, для возстановленія порядка, надлежало всѣ новости его уничтожить. Вы уже мысленно наименовали Іосифа—сего несчастнаго Государя, достойнаго, по его благимъ намѣреніямъ, лучшей доли! Онъ служилъ тѣни, отъ которой мудрость Екатерины тѣмъ лучезарнѣе сіяетъ. Онъ былъ несчастливъ во всѣхъ предпріятіяхъ—Она во всемъ счастлива; Онъ съ каждымъ шагомъ впередъ отступалъ назадъ—Она безпрерывными шагами шла къ своему великому предмету; писала уставы на морѣ неизгладимыми буквами; творила во время и потому для вѣчности и потому никогда дѣлъ своихъ не передѣлывала.“

Здѣсь нельзя ни единого слова ни прибавить ни убавить, ни переставить; но и еще примѣръ:

„Европа удивлялась *счастію* Екатерины. Европа справедлива, ибо мудрость есть рѣдкое счастье; но кто думаетъ, что таинный, неизъяснимый случай рѣшитъ судьбу государствъ, а не разумная или безрасудная система правленія, тотъ по крайней мѣрѣ не долженъ писать исторіи народовъ. Нѣтъ, нѣтъ! феноменъ Монархини, которой всѣ войны были завоеваніями и всѣ уставы счастьемъ имперіи, изъясняется только соединеніемъ великихъ свойствъ ума и души.“

Все это такъ просто и ясно сказано, что читатель, не посвященный въ таинства искусства, можетъ подумать, что и каждый съумѣлъ бы такъ изъясниться; но дѣло въ томъ, что, кромѣ здоровой мысли, здѣсь есть еще и здоровое выраженіе, плодъ многихъ и обдуманныхъ изученій языка и свойства его.

При всей изящности языка и самаго изложенія должны, разумѣется, встрѣтиться въ похвальномъ словѣ прикрасы чеканки, нѣкоторыя, такъ сказать, литературныя *чинкве-ченто*, нынѣ для насъ странныхъ и обветшалыхъ.

Напримѣръ: „Чтобы утвердить славу мужественнаго, смѣлаго, грознаго Петра, должна черезъ сорокъ лѣтъ послѣ его царствовать Екатерина; чтобы *предуготовить* славу кроткой, челолюбивой, просвѣщенной Екатерины, долженствовалъ царствовать Петръ: такъ сильные порывы благотѣльнаго вѣтра волнуютъ весеннюю атмосферу, чтобы разсѣять хладные остатки зимнихъ паровъ и приготовить натуру къ *теплому вліянію зефировъ!*“

Мы теперь готовы отрещиваться отъ этого *зефира*, отъ этого языческаго наважденія. Но въ то время *зефиры* со всею братьею, со всеми сестрами своими, были добрыми домовыми литературы; и писатели и читатели дружелюбно уживались съ ними. Укорять Карамзина, что и онъ знался съ ними и говорилъ на примѣръ въ другомъ мѣстѣ: „Земледѣльцы, сельскою добродѣтелію отъ кнута, на ступени *Омеидина храма* возведенные, и проч.“; укорять его, повторимъ, въ этихъ баснословныхъ пріемахъ, тоже, что сказать: Карамзинъ говорить былъ пригожъ въ своей

молодости, но жаль, что онъ имѣлъ несчастную привычку пудрить волосы свои. А между тѣмъ всѣ пудрились.

Впрочемъ, что же тутъ особенно худаго въ этихъ древнихъ преданіяхъ, имѣющихъ иногда глубокій смыслъ и всегда много поэзіи? Греческое баснословіе положено въ основу европейскаго просвѣщенія. Слѣдовательно, слѣдуетъ пренебрегать имъ не подобаетъ. Величайшіе умы, неподражаемые художники, краснорѣчивѣйшіе святые отцы болѣе или менѣе воспитаны были и образовались въ этой языческой школѣ.

Каждый вѣкъ, почти каждое поколѣніе имѣютъ свою критику, свое литературное законодательство. Нынѣ, если дѣло пойдетъ на сравненіе, мы почерпаемъ его въ наукахъ точныхъ, въ медицинѣ, въ реальномъ производствѣ, въ механикѣ, въ фабричной промышленности. Все *идеальное* забракковано, заклеено печатью отверженія. Но неужели думать намъ, что и мы, по выраженію Карамзина, *творимъ во время, а потому для отчужденности?* Едва-ли. Какъ мы многое отвергли изъ того, что перешло къ намъ отъ дѣдовъ, такъ и 20-й вѣкъ, который уже не за горами, вѣроятно отвергнетъ многое, чѣмъ мы нынѣ такъ щеголяемъ и гордимся. Нынѣшніе, страстные нововводители будутъ въ глазахъ внуковъ нашихъ запоздалые старообрядцы. Какъ знать? можетъ-быть, внуки наши, если помянутъ старину, то нерескочатъ чрезъ наше поколѣніе и возобновятъ прерванную связь съ поколѣніями, которыя намъ предшествовали.

Мы не говоримъ здѣсь исключительно о русской литературѣ, но вообще о литературѣ европейской.

Замѣтимъ мимоходомъ, что въ похвальномъ словѣ ни разу не встрѣчается слово *сословіе*, хотя, разумѣется, не разъ упоминается о томъ, что оно нынѣ выражаетъ. Карамзинъ вездѣ говоритъ: или *государственные чины, или среднее политическое состояніе, мѣщанское состояніе, три государственныхъ состоянія*, и такъ далѣе. Въ самомъ концѣ нѣтъ этого слова. Тамъ, напримѣръ, отдѣленіе VII озаглавлено: *о среднемъ родѣ людей*. Родъ, конечно, нехорошо, но все же лучше, нежели сословіе. Любопытно было бы изслѣдовать, съ какого времени и

съ чьей тяжелой руки пущено въ обращеніе и водворилось въ нашу рѣчь это безобразное, неуклюжее и въ противность этимологіи и логики составленное слово?

Х.

До сихъ поръ говорили мы о Екатеринѣ словами Карамзина, примѣшивая къ нимъ иногда и свои. Нынѣ заключимъ и, можно сказать, увѣнчаемъ статью собственными словами и мнѣніемъ Императрицы о Наказѣ своемъ, важнѣйшемъ изъ письменныхъ трудовъ ея, и который, вѣроятно, она наиболѣе любила и уважала. Фридрихъ Великій изъявилъ желаніе ознакомиться съ нимъ. Екатерина послала ему переводъ Наказа на нѣмецкомъ языкѣ при письмѣ своемъ. Письмо это, кажется, донынѣ не было напечатано. Извлекаемъ изъ него все то, что прямо относится до Наказа и до воззрѣній автора на свой трудъ. Не должно забывать притомъ, что приличіе и условіе авторской скромности побуждали ее не придавать большой и особенной важности произведенію своему. Вотъ что между прочимъ писала Екатерина Фридриху II изъ Москвы 17 октября 1767 года: „Согласно съ желаніемъ Вашего Величества приказала я сегодня передать Вашему Министру Графу Сольмсу нѣмецкій переводъ Наказа (*de l'instruction*), который дала я для преобразованія (*réformation*) законовъ въ Россіи. Ваше Величество не найдетъ въ немъ ничего новаго, ничего такого, что было бы Вамъ неизвѣстно. Вы увидите, что я поступала, какъ воронъ въ баснѣ, который сдѣлалъ платье себѣ изъ павлиньихъ перьевъ. Мое тутъ одно расположеніе содержанія (*l'arrangement des matières*) и кое гдѣ строка, слово; если бы собрать все, что я отъ себя къ сему приложила, то думаю, не окажется тутъ болѣе двухъ или трехъ листовъ. Большая часть извлечена изъ духа законовъ президента Монтескье и изъ трактата о преступленіяхъ и наказаніяхъ маркиза Беккариа. Я должна предварить Ваше Величество о двухъ вещахъ: одна, что Вы найдете нѣсколько мѣстъ, которыя, можетъ быть, покажутся Вамъ странными. Прошу Васъ не забывать, что я часто должна была принаравливаться (*m'accomoder*) къ насто-

ящему, а между тѣмъ не заграждать дороги къ будущему, болѣе благопріятному. Другая вещь та, что русскій языкъ гораздо болѣе нѣмецкаго силенъ и богатѣе въ выраженіяхъ и болѣе французскаго богатъ въ свободной переноскѣ словъ.“

„Мнѣ было бы очень чувствительнымъ знакомъ дружбы Вашего Величества, если бы согласились сообщить мнѣ мнѣнія свои о недостаткахъ и погрѣшностяхъ (*les défauts*) этого произведенія. Ваши мнѣнія не могли бы не просвѣтить меня на пути столь для меня новымъ и трудномъ, и моя послушность (*docilité*) для исправленія показала бы Вашему Величеству неограниченную цѣну (*le cas infini*), которую придаю и дружбѣ Вашей и Вашимъ свѣдѣніямъ и просвѣщенію (*lumière*).“

К. Вяземскій.

Гамбургъ, декабрь 1873.

Корабль.

Бѣснуется вѣтеръ, свиститъ на просторѣ;
По небу тяжелыя тучи несутъ..
Шумитъ и колыхается синее море,
А въ морѣ ворабль сиротинка плыветъ.

Онъ тронулся въ путь плодотворной весной,
Радѣя о счастья родимой земли —
И дружною, бодрой, веселой толпою
На бортъ его крѣпкій матросы вошли.

Хоть очень далеко имъ плыть предстояло,
Хоть жадное море коварства полно,
Блестѣло надеждою свѣтлой начало
И каждому дорого было оно.

Въ согласной работѣ пловцы познавали
Могучій успѣхъ и величiе силъ;
Имъ бурныя волны въ борьбѣ уступали,
Имъ вихрь перемѣчивый рабски служилъ.

Но быстро промчались и дни, и недѣли,
Все такъ же мала трудовая семья,
Все такъ же далеки желанныя цѣли,
И море все то же, и тѣ же друзья...

Скучать мореходцы трудомъ начинаютъ,
Въ нихъ бодрости прежней не видно ни въ комъ,
Тупымъ недоувѣрьемъ другъ друга встрѣчаютъ,
Враждой затаенной, презрѣньемъ и зломъ.

Для каждаго только одно драгоценно:
 Себя ублажать да другихъ унижать.
 Дерутся, бранятся, смѣются надменно—
 Рѣдѣть и рушится прежняя рать.

Въ какомъ-то безумьи глядятъ безсердечно,
 Когда ихъ товарища хватить волна.
 Работа идетъ бесполезно, безпечно;
 Ни счастья, ни силъ не приносить она.

Несется корабль, какъ шальной, безтолково;
 Давно ужъ онъ сбился съ прямого пути.
 Кто знаетъ: когда суждено ему снова
 Въ желаемой, радостной цѣли идти?

Пловцы! если честь еще въ васъ уцѣлѣла,
 Святое призванье цѣня и любя,
 Припомните вы ваше общее дѣло
 И ради его позабудьте себя.

Кому они нужны—всѣ ваши раздоры?
 Кого можетъ тѣшить вашъ бой мелочной?
 Домашнія дразги, безпутные споры?
 Ведите вы дружно корабль дорогой...

Вѣдь васъ разобщило безлюдье морское,
 Вѣдь въ сущности нѣтъ въ васъ нисколько вражды...
 Для всѣхъ одинаково благо людское
 Должно руководствовать ваши труды.

Несчастными распрями, злобою, горемъ
 Вы только гнетете усталую грудь;
 Не съ другомъ боритесь, а съ вихремъ и съ моремъ!
 Не близокъ вашъ берегъ и труденъ вашъ путь.

Во имя разумной и честной работы,
 Со страстью заботясь объ общей судьбѣ,
 Отбросьте ничтожные мелкіе счеты
 И силу согласья верните себѣ.

В. Крыловъ.

Словесная кроха хлѣба.

Когда я пишу эти строки, въ обществѣ господствуютъ два впечатлѣнія: Екатерина Великая съ ея памятникомъ и бѣдныя сарматцы съ ихъ голодомъ. У гранитнаго подножія одной не найдется ли словесная кроха хлѣба въ пользу другихъ? И можно ли найтись ей? Стоитъ только обойти кругомъ этого колокола, которому отнынѣ назначено звучать въ памятникахъ міра не мѣднымъ языкомъ, а

.....мѣдными хвалами
Екатерининныхъ орловъ—

обойти кругомъ и получить столько, что отъ этого дара народной славы можно дать сытость голодающимъ естественнымъ голодомъ и позывами умственной пищи: *Ищите высшаго, и низшее само собою прибудетъ вамъ.....* Поищемъ умственной пищи, чтобы отъ нея и съ нею вмѣстѣ прибыла пища голодающимъ сарматцамъ.

Обойдемъ вокругъ памятника. Вѣдь онъ очень хорошъ—и какая бы ни была мысль у художника—но у всякаго есть свое собственное художество созерцать вознесенную на показъ мысль.... И мое маленькое созерцаніе именно останавливается на томъ, что корона лежитъ у ногъ Екатерины. Ею какъ бы вѣнчается она тѣхъ, которые увѣнчали подножіе ея славы; а сама стоитъ съ открытой головою и, простирая руку со скипетромъ, она какъ бы говорить:

Екатерина въ низкой долѣ
И не на царскомъ бы престолѣ
Была бѣ Великою Женой.

Эти стихи ея восторженнаго поэта, который самъ предстанетъ здѣсь, могли бы быть золотою печатью, приложенною къ мѣдному извѣщенію.

Но мало того—посмотрѣть на памятники; тѣмъ и хороши эти нѣмые кумиры, эта беззвучная, изваянная мѣдь, что они шевелятъ воображеніе призраками минувшей народной жизни—они будятъ мысль, которая такъ часто спитъ и почиваетъ въ насущныхъ заботахъ настоящаго. Царствованіе царицы-матушки была такая возбужденная, славная, вельможная пора русской жизни; громъ побѣдъ раздавался оглушительно громко; вставали сказочные богатыри и совершали по себѣ такіе богатырскіе подвиги, что изумленная вѣра народа въ себя и любовь къ одному звуку *Ея* имени все примиряла и, все прощая, простила въ памяти славнаго вѣка Екатерины Второй.

Ни исторіи, ни историческихъ боготвореній я, конечно, не смѣю писать; но эти дѣянія Екатерининскихъ дней, когда такъ широко слагалось и разлагалось многое въ зачинающейся общественной жизни, когда старые пни, срубленные безпощадной рукой всемогущаго Петра, начинали зеленѣть сильными, молодыми побѣгами, когда многое множество изъ отживающихъ золъ стараго быта выходило и становилось на путяхъ и распутияхъ новаго царствованія—тогда ли не быть было чудесамъ всевозможныхъ происшествій, непредвидѣнныхъ случаевъ, странныхъ столкновеній и всего, что царство Екатерины являло въ нѣкоторомъ смыслѣ царство восточной Шехеразеды? И вотъ, изъ обступающаго меня облака старинныхъ разсказовъ и преданій, я беру одно изъ этихъ чудесъ, я, въ нашъ вѣкъ, не признающій ничего чудеснаго, творится другое, новое чудо, обращающее эти строки въ бѣдную кроху хлѣба голодающимъ самарцамъ.

Если бы кто полюбопытствовалъ заглянуть въ архивы нашихъ старинныхъ судовъ, или взялся бы за провѣрку семейныхъ преданій и воспоминаній, то онъ сейчасъ бы увидѣлъ, что одною изъ очень замѣтныхъ чертъ въ общественномъ строю жизни Екатерининскаго времени было чрезвычайно большое умноженіе тяжбыныхъ дѣлъ. На первый взглядъ оно будто бросаетъ тѣнь на тогдашнее молодое общество; но смѣю сказать, что это было вовсе не тѣнь, а напротивъ свѣтъ правосудія, который просіялъ сидѣвшимъ во тьмѣ и сѣни смертной. Люди Екатерининскаго вѣка, дотогѣ про-

бавлявшіеся старыми челобитными и во время послѣ-петровскихъ смуть почти отучившіеся искать правосудія у временщиковъ, сѣнявшихъ одинъ другаго казнями и ссылками въ Сибирь—эти люди получили возможность *не бить челомъ*, а подавать прошенія на имя «всепресвѣтлѣйшей, державнѣйшей, всемилостивѣйшей своей Монархини». Мудрено ли, что въ обществѣ принялись сводить старые счеты и бросились къ подачѣ прошеній о всемъ, о чемъ можно и невозможно было просить? Особливо владѣніе поземельной собственностію, при которомъ бѣдный и богатый бывали близкими сосѣдами, порождало случаи самыхъ вопіющихъ захватовъ и насилій, за которыми слѣдовали безконечныя тяжбыныя дѣла, приводившія бѣдныхъ истцовъ въ Петербургъ. Называвшаяся Сѣверная Пальмира кишѣла этими несчастными, которые, прожившись до послѣдняго гроша, голодные и оборванные, продолжали блуждать въ Сенатъ и изъ Сената, на столько порехнувшись съ основъ здраваго смысла, чтобы не разувѣряться цѣлыми мѣсяцами и годами, что *завтра* дѣло будетъ рѣшено въ ихъ пользу.

Къ числу такихъ очень жалостныхъ несчастливцевъ принадлежалъ нѣкто Ситниковъ, Глѣбъ Ивановичъ, котораго величали *Сударемъ Прусомъ* по его высокому секундъ-маіорскому чину, заслуженному въ Елизаветинскія войны съ Прусаками. Прослуживши весь долгій срокъ по военному Петровскому артикулу, выслужившись, вынеся на своихъ плечахъ всю нечеловѣческую тягость стародавнихъ войнъ и походовъ, казалось бы, Глѣбъ Ивановичъ имѣлъ все право, получивши изъ полка свой *абшидъ*, обзавестись доброю хозяйкою женою, прижить съ нею малыхъ дѣтокъ и, по дѣнь своей маіорской кончины, оставаться въ родительскомъ домосѣдствѣ, отдыхая, если не на лаврахъ, то на копнахъ своего отличнаго луговаго сѣна. Но, увы! Эти-то отличные заливные луга причинили бѣдствіе Глѣбу Ивановичу болѣе тяжкое, чѣмъ войны и походы на Пруса.

Въ сѣдствѣ его родительскаго наслѣдія, милостивою Монархиней пожаловано было какому то новому знатному лицу пятьсотъ душъ, со всею принадлежащею имъ осѣдлою, пахатною и сѣнокосною землею, съ лѣсами, заливными лугами, рѣками, озерами, рыбными и звѣринными ловлями и бобровыми гонями—и со всѣми угоды-

или, какъ обыкновенно значилось въ жалованныхъ грамотахъ. Казалось бы, новому владѣльцу можно было быть сыту по горло; но нѣтъ! смежные заливные луга Глѣба Ивановича пробудили волчій голодъ у знатнаго и богатаго сосѣда. «Слышь ты, Прусь!» повелѣлъ онъ сказать черезъ свое подручное лицо. «Доброшь обѣняемся со мною. Охота меня взяла на твои смежные заливные луга—а ты, молъ, знай и смекай поговорку: *«охота нуще неволи»*. И хотя Глѣбъ Ивановичъ смекалъ тайную грозу, которая была въ этихъ словахъ, но обѣнять свои зеленые поемные луга на неудобные босогоры, которые предлагали ему, уступить отцовское и дѣдовское наслѣдіе свое по одному-единному слову, не могъ Глѣбъ Ивановичъ: недаромъ же онъ былъ секундъ-майоръ, и повоевонному научился умирать, а не отступать. Онъ взялъ да и написалъ сильному сосѣду: *«Чести вашей великое царское жалованье, а я малое отцовское наслѣдіе блюсти повиненъ ради своихъ безкрылыхъ птенцовъ.»*

Но могъ ли соблюсти мелкопомѣстный Глѣбъ Ивановичъ съ десяткомъ своихъ людишекъ, когда на его луга нагрянули сотни людей съ кольями и дровьями, съ косами и граблями, свосили его сѣно, избили его бѣдную челядь, грозили исполнить все домохѣдство сударя Пруса, за тѣмъ забрали сѣно на его собственные подводы и свезли къ богатому сосѣду? Но какъ бы ни ломала сила, а во всѣ времена и лѣта въ душѣ человѣческой сохраняются воздыханія къ правдѣ и стenanія поправнаго права, нравственнаго и гражданскаго. Глѣбъ Ивановичъ, всею ограбленною семьей, стоналъ и воздыхалъ, и подалъ жалостливое прошеніе къ Вѣлгородскому начальнику. Скоро намѣстники смѣнились. Годи валилось прошеніе: то не признавалось оно, то отвергалось, то пряталось подъ красное сукно. Глѣбъ Ивановичъ въ нищету изводился; а сосѣдъ, генераль-аншефъ, владѣлъ и богатѣлъ захваченными лугами; наконецъ дѣло поступило на рѣшеніе въ Сенатъ. Не видѣть справедливости жалобы ограбленнаго секундъ-майора нельзя было, и потому г. г. высокоименитные сенаторы, посоломоновски мудро порѣшили такъ: *«въ силу владѣнія, оставить спорные луга за тѣмъ, за комъ они нынѣ состоятъ; а Сынни*

кова-Пруса, Глѣба Ивановича, по жалобѣ его, удовлетворить.»

Рѣшеніе Сената приводилось въ исполненіе съ большою торжественностью. На заграбленные дуга выѣхалъ весь уѣздный судъ въ полномъ составѣ: судья, стряпчій, оба засѣдателя, секретарь; оповѣщены ближайшіе номѣщики; прибыли исправникъ съ сотнями понятыхъ; явился губернской замлемѣрь съ своимъ страшнымъ снарядомъ, въ которомъ, по мнѣнію тогдашнихъ добрыхъ людей, сидѣлъ потаенный чортъ и игралъ живчикомъ, и онъ-то творилъ тѣ неправды, которыя совершались при генеральномъ размежеваніи земель во время Екатерины Второй. И вотъ, передъ лицомъ неба и земли, на какой-либо нашей плоской возвышенности, выставился столъ съ краснымъ сукномъ, открывалось зеркало поднятіемъ государственнаго двуглаваго орла и секретарь громкимъ возгласомъ «шапки долой!» приступалъ къ чтенію сенатскаго рѣшенія «по указу Ея Императорскаго Величества, Государыни Самодержицы Всероссийской...» Обыкновенно пребывала мертвая, бездыханная тишина при всей продолжительности чтенія; но на этотъ разъ она была нарушена громкимъ воплемъ жены Глѣба Ивановича, повтореннымъ полудюжиною птенцовъ его, которые, глядя на мать, пали на колѣни и вопли въ слухъ ушей жестоковѣднанаго генералъ-аншефа, который здѣсь же стоялъ и, по сенатскому опредѣленію, былъ вводимъ въ вѣчное и потомственное владѣніе вышесказанными дугами. Но Глѣбъ Ивановичъ не потерялъ своего стойкаго, добронравнаго мужества и въ этотъ свой тяжкій часъ; унимая жену и дѣтей, онъ обратился къ полному присутствію суда съ вопросомъ и просьбою объяснить ему: «Такъ какъ первая часть сенатскаго опредѣленія приведена въ исполненіе и спорные дуга отказаны за генералъ-аншефомъ, то теперь судъ благоволитъ приступить къ исполненію и остальной части сенатскаго рѣшенія, а именно: *какъ и чѣмъ онъ полагаетъ удовлетворить* его, Глѣба Ивановича Ситникова-Пруса? Вся, даже бестія вѣдомая — секретарь (какъ говоритъ преданіе), поставлены были въ тупикъ заявленіемъ о правѣ удовлетворенія его, сударя Пруса. Повидявши нунистымъ секретарскимъ хвостомъ, судъ объявилъ, что удовлетво-

рить истца онъ не можетъ; а предоставляетъ ему, секундъ-маіору Ситникову, по прозваніи Прусу, отнестись въ Государственный Сенатъ и просить объ указаніи: *«откуда оное удовлетвореніе восполздовать дозлѣтъ ему?»*

И вотъ, въ слѣдствіе всѣхъ этихъ тяжелыхъ причинъ *дозлѣло* бѣднѣйшему Глѣбу Ивановичу оставить жену и дѣтей на произволъ сильнѣйшаго сосѣда, собраться со всѣмъ, что только можно было собрать и выѣхать въ троечную кибитку, помолиться напутственно, поклониться могилѣ родителей, взять съ нея въ кѣшечекъ землицы съ пескомъ, чтобы, на случай, коли смерть придетъ на чужой дальней сторонѣ, родная, святая земля пухомъ легла и засыпала глаза—и затѣмъ готовъ отправляться въ Питеръ. И вѣдь какъ отправляться? Не по нынѣшней чугункѣ и не на почтовыхъ, а на своихъ—на долгихъ, съ покормами и ночлегами, со всѣми необходимыми задержками и замедленіями на болѣе, чѣмъ полуторатысячeverстномъ зинемъ пути. Но именно эта-то страшная отдаленность чухонскаго Питера отъ глубины середины Россіи, эта самая тяжелая трудность добраться къ нему, какъ за тридцать земель въ тридцатое царство—выѣстъ съ обаяніемъ имени Царицы-Матушки—и вѣли ужасающее прельщеніе для людей, обездоленныхъ старою неправдою новыхъ Екатерининскихъ судовъ. Отъ разузнанія ихъ уходило, не представлялось возможнымъ совершить такой путь, перенести эти страшныя трудности, и чтобы оно вышло напрасно. Нѣтъ! прельстительная несомнѣнная надежда вела несчастныхъ и вѣра, что Матушка Царица, потерпѣть ли она неправду? Но каково же бывало возвращаться по этому долгому, тяжелому тысячeverстному пути, утративши, я не говорю вѣру—но потерявъ обманчивую надежду?

Пока еще нашъ Глѣбъ Ивановичъ былъ веселъ и бодръ своими надеждами, его, какъ мореходца въ пристани, бодрило уже одно то, что онъ въ знатномъ, престольномъ Питерѣ, не сегодня-завтра достигнетъ къ Матушкѣ-Царицѣ, и все пойдетъ, какъ по маслу. Но зима прошла и весна прошла, и лѣто уходило; а надежды Глѣба Ивановича не плодоносили ему ничего. Остановился онъ гдѣ-то у Самсонія и давнымъ-давно началъ свои ежедневныя странствованія

въ Сенатъ. Почти три поры времени года потребовались ему только на то, чтобы дознать и допытаться, у кого его дѣло и принято ли Сенатомъ его подлинное прошеніе. Прошеніе было принято, и когда Глѣба Ивановича начали въ Сенатѣ корнить застрѣжками, бывшими въ обыкновеніи нашего стараго судопроизводства (т. е. *застра*, *застра* ваше дѣло будетъ разсматриваться)—у Глѣба Ивановича обѣдать уже было нечего въ его квартирномъ углу у Самсонія. У него не только мысли, а волосы на головѣ поднимались и становились въ ужасѣ, когда онъ, въ темнотѣ и холодѣ наступавшихъ, непроглядныхъ осеннихъ петербургскихъ ночей, не спалъ и думалъ: что ѣсть и что еще будетъ съ нимъ? Послѣднія крохи доѣдены тремя ртами, какъ тремя голодными мышами. Съѣдены давно лошади, сбруя, кибитка—все, что только можно было сбыть за какую ни есть денежку, или мѣдный алтынъ, и оставалось развѣ грызть старую подошву, но и той уже не было у Глѣба Ивановича и ее давно замѣняла выбрасываемая изъ Сената бумага, которую онъ тщательно подбиралъ и, возвратясь въ свой уголокъ, сидѣлъ и клемалъ себѣ подошву.

Но и при всей этой послѣдней степени нищеты, Глѣбъ Ивановичъ оставался господиномъ и передъ нимъ стояли его вѣрные слуги: Кондратъ кучеръ и Птаха, его деньщикъ, съ которыми онъ отслужилъ царскую службу и вывелъ его съ собою вмѣстѣ на покой. Девять десятыхъ изъ тогдашнихъ господъ, находясь въ положеніи подобномъ Ситникову-Прусу, хотя съ горемъ и заботою, а навѣрное проѣли бы крѣпостнаго Кондрата, но онъ не могъ. Трое бѣдныхъ старыхъ людей сжились въ одномъ общемъ несчастіи и господство барина сказывалось только тѣмъ, что онъ страдалъ втрое болѣе, страдалъ голодомъ и холодомъ и всею безпріютною нищетою за себя и за двухъ съ нимъ бывшихъ людей. Кондратъ первый не выдержалъ. Онъ повалился въ босыхъ ноги барина и просилъ, чтобы его отпустили. Отпустить съ чѣмъ и какъ въ тысячеверстный осенній путь? Эта мысль не разъ наводила остолбенѣлый ужасъ на голову Глѣба Ивановича и ему казалось за лучшее, чѣмъ отпускать одного, взяться всѣмъ имъ троимъ за руки и отправиться вмѣстѣ... Терпѣли не въ одиночку, и умирать рядомъ!

Но пока человекъ не умеръ, онъ гадаетъ и мыслитъ о живомъ:... „А добродетель Глѣбъ Ивановичъ—что онъ принесетъ роднымъ, женѣ и дѣтямъ—какую вѣсть? А *завтра*, говорили, дѣло его будутъ разсматриваться въ Сенатѣ и послѣдуетъ какое-либо удовлетвореніе... Нельзя и идти всѣмъ: слѣдуетъ остаться ему Сударю Прусу, хотя бы до вѣстей, какія онъ завтра получитъ изъ Сената.“ А Кондратушка воплемъ вопилъ: „Пусти да-пусти! Христовымъ именемъ пойду: помирать все одно, что въ Петербургѣ, что на дорогѣ. Къ моему обозу, пристану. Довезутъ добрые люди.“

И вотъ трое нищихъ, взявшись за руки, какъ родные, обездоленные братья, брели слякотью и въ туманѣ одного раннего осенняго утра, брели къ петербургской Радости всѣхъ скорбящихъ. Тамъ привычныя старыя старушки шопотомъ дивились на эту невиданную троицу, особенно на того, который былъ въ серединѣ—статнаго, негучаго старца. Онъ, какъ рослый дубъ во мху, стоялъ между ними въ своихъ лохмотьяхъ и, когда онъ повергся ницъ передъ иконой и зарыдалъ однимъ глухимъ, безъ словъ, рыданьемъ сердечной муки—у не многихъ остались сухи глаза и не потронулась душа. Съ охами и вздохами, со своимъ назойливымъ любопытствомъ провожала толпа этихъ странныхъ нищихъ людей и никто ничего не понималъ, изъ нѣмой поразительной сцены: какъ вышедши на крыльцо, одинъ нищій упалъ въ ноги тому рослому и, казалось, не могъ оторваться, плача и цѣлуя ступни ему, пока тотъ, величавымъ движеніемъ руки поднялъ и обнялъ его, какъ мать обнимаетъ сына, прощаясь съ нимъ навѣки; и что-то произошло между ними, какъ бы короткій споръ, и стоявшіе ближе будто слышали слова: „барское пожалованіе“, послѣ чего все словно было кончено между этими людьми. Тотъ рослый съ другимъ, неоглядываясь, пошелъ въ одну сторону; а третій отдѣлился отъ нихъ и побрелъ въ другую.

Это Глѣбъ Ивановичъ прощался съ своимъ Кондратушкой кучеромъ и отпускалъ его домой, и между ними точно происходилъ споръ въ послѣднюю торжественную минуту умиленнаго цѣлованія, которое баринъ давалъ своему слугѣ, а слуга отдавалъ барину.—Въ времени отправления Кондрата вся казна Глѣба Ивановича состояла изъ пяти алтынѣ. Задумавши идти къ Радости

всѣхъ скорбѣщихъ благословиться на нуть, Глѣбъ Ивановичъ опредѣлилъ за одинъ алтынъ поставить свѣчу къ образу; остальными четырьмя алтынами подѣлился такъ: себѣ съ Птахою взялъ по алтыну, а два остальныхъ отдалъ Кондрату. Но въ послѣднюю минуту прощанія, вѣроятно, вся душа подвиглась у Глѣба Ивановича жалостію и заботою, что онъ съ двумя алтынами отпускаетъ своего слугу; онъ вынулъ свой третій алтынъ и положилъ въ руку Кондрату. Тотъ, почувствовавши у себя всю безмѣрную великость этого дара, возвращалъ, не хотѣлъ принять; но онъ услышалъ тихія, важныя слова, которыми слуга не смѣлъ не повиноваться: „Верн мое барское пожалованіе“, и Кондратъ взялъ — и можетъ стать, никогда ни одинъ господинъ не давалъ такъ много своему слугѣ, потому что Глѣбъ Ивановичъ отдалъ все, что имѣлъ, какъ Евангельская вдова, все, себѣ не оставивши ничего, даже на одинъ дневной прожитокъ.

Послѣ отпуску Кондрата, жизнь Глѣба Ивановича съ его преданнѣйшимъ Птахою надолго опредѣлилась и заключалась въ слѣдующую очень узкую рамку.

Занимать ту каморку, въ которой они помѣщались втроемъ, у хозяйки своей просфирни Самсоньевской церкви, было уже въ концѣ не по средствамъ Сударя Ситникова-Пруса. Каморка была со стеклушками, слѣдовательно могла называться свѣтелкою; а въ свѣтлицахъ жить такимъ нищимъ, которые не имѣли дневнаго пропитанія, по уму-разуму хозяйки, было не повадно. Сжалившись на высокое сиренство маіорской чести, которая не возражала ей, кропотливой бабѣ, а во всемъ уничтоженіи своемъ все какъ то дѣйствовала на ея закоруждое сердце, просфирня не прогнала нищаго Сударя, а съ его ошипанной Птахою перевела изъ свѣтели въ темный совершенно уголь перегородки за своею печью. „Хоть темно стойло, да добръ тепло. Вынь вонъ она дура-баба! Чай сто рублевъ съ чести твоей беру, а печь даю. Спи да лежи, коли ѣсть нечего, а у меня не проси.“

Просфирня ограничила свои благодѣянія теплымъ угломъ и, боясь за податливость своего мягкаго сердца, строгимъ наказомъ запретила, что она знать и вѣдать ничего болѣе не хочетъ. Пусть

они три дня не ѣвши сидятъ, а чтобы у нея Христомъ Богомъ не просили. Она дастъ: потому что она дура жалостливая—дастъ; но послѣ пусть они пеняютъ на самихъ себя. Она выгонитъ ихъ вонъ изъ угла на другой же день. Потому, коли ей стать нищихъ помѣть да кормить, да углы имъ даромъ давать, то ей самой придется взять нищую суму, да подъ церковь итти протягивать руку. „Одно знай, Сударь, ты у меня не проси!“ въ конецъ концовъ подтвердила просфирня, водворяя Сударя Пруса въ своею углу.

И это водвореніе въ Петербургскую-то осень и зиму было такимъ великимъ благодѣяніемъ, что Глѣбъ Ивановичъ со своимъ Птахой о голодѣ и думать забыли. „День съѣлъ, а два стерпѣлъ“ было имъ не учиться стать; а тутъ уголь-то, уголь богоданный, сухой да теплый. Изночить тебя всего непогодь-то, или день цѣлый продрогнуть кости на морозѣ, а тутъ въ ночи самая благодать и дается тебѣ. Обогрѣешься, высушишься, спи ровно на полу въ банѣ: такъ тебя тепло-то со сторонъ, словно мать родная, ласково нѣжитъ и обнимаетъ. И одеждой покрываться не надо, и клеенки-то изъ бумаги подошвы теперь есть гдѣ сушить; а то вѣдь совсѣмъ горе брало. Въ сырой да холодной свѣтелкѣ не сохнуть да и не сохнуть, хоть плачь съ ними. А теперь живо склеить и на печи высушить.

Да что Бога-то гнѣвить! Не такъ совсѣмъ безъ свѣта, какъ въ крошечной тѣмѣ, оказалось-то въ благодатномъ углѣ. Затопить просфирня печь, или лучинку засвѣтить въ свѣтцѣ, а сквозь щели-то въ перегородкѣ и имъ огонекъ блеститъ; а когда она на загнетку выгребитъ жаръ изъ печи, просфоры сажать—такъ свѣтъ въ углѣ просіяетъ такой, что они другъ друга въ образъ увидятъ. Птаха, не забывая свою солдатскую муштру, тотчасъ станетъ во фронтъ и скажетъ: здравія желаю вашему высокородію! а Глѣбъ Ивановичъ перекрестится и отвѣтитъ: „Здорово, свѣтъ ты мой, вѣрная Птаха!“

По времени и еще положеніе ихъ улучшилось въ даровомъ углѣ; но эти двѣ неотступныя нужды: пріодѣть грѣшное тѣло и ежедневно кормить несытую свою утробу сильно давали себя чув-

ствовать. Вѣдь живому человѣку, гдѣ хочешь бери, а дай-подай кусокъ хлѣба! Глѣбъ Ивановичъ умудрился немного: чѣмъ такъ голодъ терпѣть, присогласилъ своего Птаху поститься Богу среду и пятницу (благо что и Филипповъ постъ наступилъ) и еще *поне-дѣльничать*, къ тому же, за грѣхи свои и неправды людскія; но и четыре дня въ недѣлю трудно было кормиться Глѣбу Ивановичу въ два рта съ его Птахой.

День ихъ начинался раннѣе-рано. Еще до заутрени поднималась старуха свое тѣсто на просфоры творить и вставалъ Птахъ, не дожидаясь зова и приказа помогать ей во всемъ: дрова носить и воду, въ печи растапливать и тѣсто выкатывать. Глѣбъ Ивановичъ, помолясь Богу, отворялъ совсѣмъ дверцу изъ своего угла и подъ свѣтъ большого разгорающагося огня въ печи, онъ сидѣлъ на порогѣ и чинилъ, что нужно было пошить и починить, и кленелъ свои подошвы. Съ первымъ ударомъ колокола онъ оставлялъ всю суету мірскую и шагаль въ безразсвѣтномъ мракѣ, что бы ни было ему въ лицо: снѣгъ ли, вихорь ли съ острой метелью, поливалъ ли дождь—все одно, шелъ своими мѣрными привычными шагами Сударь Прусь и словно онъ цѣлый полкъ въ строю велъ за собою: такъ, грудь впередъ, выступалъ онъ героически бодро. Въ церкви у Самсонія уже знали и замѣчали всѣ этого пришлаго, неизвѣстнаго человѣка, который въ заплатанномъ военномъ камзолѣ на могучихъ, широкихъ плечахъ, приходилъ и становился у одного и того же столба. Рослый и величавый, самъ какъ другой столбъ, онъ неподвижный стоялъ и только мало по малу поникала на грудь его побѣлѣлая голова и, что бы ни пѣлось и ни читалось въ церкви, подъ святыя церковныя слова, у него будто своя обѣдня просвѣтленнаго горя и озаренной скорби въ душѣ его шла, и такъ онъ показывался строгъ и важенъ, какъ-то чуденъ въ этомъ своемъ внутреннемъ озареніи, что, подыми онъ голову и поведи глазами на народъ—ему бы всѣ поклонились въ поясъ.

Просфирня хотя не кланялась Сударю Прусу, но у нея былъ какой то невольный, затаенный почетъ, который она, сама не зная почему, не смѣла преступать передъ нимъ. Завладѣвши Птахой

до конца, обратила она его не только въ работники себѣ, но и въ рабочую свою лошадь, которая совершенно по пословицѣ, возила воду и воеводу—возила, кромѣ воды, дрова на себѣ и мѣшки муки съ рынка, просфоры и самую просфирню на рынокъ, которая, какъ на коню, выѣзжала въ салазкахъ на Птахѣ. Поступая такъ полновластно съ однимъ, старушонка не смѣла требовать отъ другаго ни даже такой малѣйшей услуги, какъ посадить ея больного пѣтуха на насѣсть. Единственно, что съ поклономъ и съ приговорами: „дѣло Богу пріемное сударь! не въ зазоръ твоей чести; потрудишься, пожалуй, твоя милость!“ выпросила просфирня у Сударя Пруса, это носить продавать къ ранней обѣдѣ черствыя просфоры, пока она въ поздней напечетъ съ Птахой мягкихъ.

И эта первая продажа ознаменовалась въ жизни Глѣба Ивановича цѣлымъ событіемъ. Просфирня, чисто да бѣло, въ расшитое полотенце, съ красными кумачами, снарядила лукошко, чтобы Глѣбу Ивановичу нести продавать просфоры. Онъ и понесъ; но на дворѣ была такая страшная метель, что Сударь Прусъ, сторонясь отъ нея и охраняя просфоры, сбился съ дороги и, долго блуждая, очутился не у Самсонія, а у Радости всѣхъ скорбящихъ. Вошелъ онъ весь бѣлый въ снѣгу, какъ мертвецъ въ саванѣ; народъ даже немного шорохнулся отъ него; стояли въ церкви люди, и свѣчи горятъ, а никто не читаетъ. И Глѣбъ Ивановичъ остановился и не разумѣлъ: что за притча такая? А на эту притчу выходитъ изъ алтара батюшка-попъ и разводитъ руками. „Міране! говоритъ: вѣдь это наказаніе Божіе. Миѣ нельзя начать: *Благоденствуй Богъ*, потому кто же скажетъ: *аминь*? Нѣтъ ни дьяка, ни пономаря.“ Глѣбъ Сударевичъ поглядѣлъ на пустой клиросъ и понялъ въ чемъ дѣло. „Начинай, батюшка-попъ! отвѣтилъ онъ, подходя къ клиросу. За дьяка и пономаря я стою!“ И какъ сталъ онъ на клиросъ невзначай, словно отъ земли подъ небеса выросъ; важно, велико перекрестился и, поклонившись на всѣ стороны народу, какъ сказалъ на возгласъ: *аминь!* такъ въ церкви все замерло.... „Божій чтець! Чтець Божій проявился!“ лепетали подъ конецъ утрени старыя старушки и, хотя страхъ былъ, но и любопытство великое ихъ разбирало: что такое въ лукошѣ то

что онъ шелъ и у клироса поставилъ? Всѣ онѣ передумали и перегадали, пока одна порѣшила такъ: „Нѣтъ, грѣхъ ли, два ли.... хоть смерти укушу, а загляну въ лукошко!“ и со страхомъ и трепетомъ, подобравшись къ лукошку, она какъ заглянула въ него и увидала просфоры — сейчасъ завладѣла лукошкомъ и Глѣбъ Ивановичъ еще утренно на Первомъ Часѣ кончалъ, какъ уже старушки, шушукая, всѣ до одной разобрали просфорен и деньги снесли и положили на исподъ лукошка и поставили его, какъ было, у клироса. Справивши послѣ утрени и всю раннюю обѣдню за дьяка и пономаря, Глѣбъ Ивановичъ только тутъ вспомнилъ о просфорахъ въ лукошкѣ, когда надобно было идти домой. „Вручили вы меня, матери мои!“ сказалъ онъ, минуя стоящихъ старушекъ; но онѣ пустились за нимъ въ догонку, цѣплялись за него и, сунувъ ему въ руки денежки и полушки, причитывали: „Чтецъ ты Божій! прійми... не побрезгай... и Христосъ лепту вдовью принималъ, да царство обѣщалъ“. «Вдова, вдова я, батюшка, что твое лукошко сама брала! и мою копѣечку возьми. На вдовью малость не подиви, чтецъ ты, разумникъ Божій!“ И стало оно такъ, что каждую раннюю обѣдню приходилъ Сударь Прусь съ лукошкомъ просфоръ, ставилъ лукошко у клироса, а самъ читалъ и пѣлъ на клиросѣ; просфоры у него разбирали и самъ онъ получалъ странную великую милостыню, о которой не онъ просилъ дать, а ему сами давали—и съ низкимъ поклономъ просили принять.

И эта единственная милостыня, какъ птицъ небесныхъ, питала Сударя Пруса съ его Птахою. Птаха запряженъ былъ отъ раннего утра до позднего вечера въ ломовой извозъ старухи просфирни и заработать ему на кусокъ хлѣба со стороны не было никакой возможности; развѣ случалось, что на рынкѣ боголюбецъ какой или чаще всего самая бѣднѣйшая изъ бѣдныхъ старушка взглянетъ на него и долго смотреть, качая головой, и затѣмъ сунетъ что-нибудь въ руку и побѣжитъ неоглядкою прочь. Это бывалъ единственный заработокъ Птахи, но онъ не бывалъ слишкомъ частымъ. Просфирня, положивши свой вѣрный наказъ не просить у нея—кажется, сама не вѣрила въ возможность исполненія: „Не про-

сать! сказывала она своимъ товаркамъ. По дню не ѣвши сидятъ и пары изъ устъ не выпускаютъ. Пробовала хлѣба оставлять—не берутъ. Это черти терпячіе, а не люди“. И едва ли, по странному своеправію человѣческаго сердца, не съ умысломъ старуха просфирня налегала такъ на Птаху, чтобы заставить *терпячихъ* попросить у нея и она бы съ радостію дала; но въ томъ-то и дѣло, что эти до конца смирившіеся люди ничего и ни у кого не просили и только одно—*терпѣли*. Сударь Прусь, воротившись отъ ранней обѣдни и награжденный великою, человѣческою милостиней за свое Божіе дѣло церковнаго бдѣнія и чтенія, садился съ своимъ вѣрнымъ Птахомъ, какъ онъ называлъ это, Бога хвалить ѣдою и питьею и, какъ братъ съ братомъ, какъ отецъ съ сыномъ, дѣлилъ господинъ со слугою все до послѣдней крохи. Глѣбъ Ивановичъ радъ былъ бы въ щедротѣ своего великаго сердца передать лишнее Птахѣ; но Птахъ, въ свою очередь, слѣдилъ за дѣлажомъ и слѣдилъ именно за тѣмъ, чтобы не получить большаго, и потому приходилось, съ самою вѣрною точностію, брать и давать все пополамъ. Затѣмъ, окончивши свою святую трапезу любви и хвалы Богу, Сударь Ситниковъ Прусь отправлялся въ Сенатъ. Это было для него такимъ же неотложнымъ, непремѣннымъ, неотвѣтственнымъ ежедневнымъ ходженіемъ: какъ въ церковь, такъ и въ Сенатъ. Пойти туда, стоять тамъ, ждать отъ самаго пріѣзда гг. сенаторовъ съ десяти часовъ и до отъѣзда ихъ къ тремъ, переносить отказы, насмѣшки, поруганія отъ писарей, толчки отъ сторожей, просить со слезами, съ земными поклонами всякаго, кого стоило и не стоило просить—исполнивши все это ежедневнымъ неутомительнымъ подвигомъ, Глѣбъ Ивановичъ могъ чувствовать себя правымъ передъ своею семьей въ томъ сознаніи, что онъ сдѣлалъ все, что могъ человѣкъ сдѣлать и вытерпѣть въ его положеніи. Онъ такъ истинно и понималъ это, когда, пришедши съ какого-либо особенно труднаго ходженія, онъ садился отдыхать въ своемъ темномъ углу и, въ полузабытій усталости и тяжкаго горя, шепталъ, разговаривая самъ съ собою: „Дѣтемъ! жена голубушка! былъ въ Сенатѣ... Не облѣнился старый отецъ, былъ...“ и захлебывался слезами.

Такъ жилась горькая жизнь у Глѣба Ивиновича съ его Птахомъ.

Однажды, за немного дней до Рождественскихъ праздниковъ, привезъ Птахъ мѣшокъ муки съ рынка и, вмѣсто того, чтобы ему опять сѣсть на рынокъ еще за мукою, или за самою просфирною, онъ остановился, выпрямился и, дѣлая какъ бы на караулъ, по-солдатски, воскликнулъ: «Ваше высокородіе! непріятельская позиція, коя въ позитурѣ нашей диспозиціи... Забылъ съ, батюшка сударь, по-ученому. Вѣсти я хорошія принесъ». Ожидать откуда либо хорошихъ вѣстей давно отвыкъ Глѣбъ Ивановичъ. Онъ даже не спросилъ: «какія?» а только сказалъ: «Что, Птахъ мой! Еще ты съ голоду не потерялъ голоса». И услышалъ рассказъ, что Птахъ встрѣтился на рынокѣ съ бывшимъ своимъ тамбуръ-мажоромъ, который живетъ у какого-то князя на кухнѣ, такъ-то знатно утреннюю и вечернюю зорю по кострюлямъ выбиваетъ; сводилъ его къ самому княжескому повару. А княжескій поваръ, какъ взглянулъ на Птаху, словно по писанному прочиталъ. «Чай у тебя вѣдьма съ лица-то всю кровь высосала? Накормите его! крикнулъ поваренкамъ. Вишь у него голодъ-то изъ глазныхъ ямъ, что диная кошка глядитъ!» Добрый такой княжескій поваръ! и спрашиваетъ: что мы? какъ обѣдствуемъ? и говоритъ: «вольнo-же вамъ, деревенщина запольная, помирать съ голоду, коли про вашу голодобу заѣзжую, почитай, во всѣхъ княжескихъ и сенаторскихъ домахъ столы накрыты стоятъ. Приходи—садись, пей—ѣшь, никто тебя не спроситъ: кто ты такой и откуда; а наѣлся, напился отдалъ честь хозяину поклономъ, и ступай себѣ, куда знаешь. Скажи своему маіору—крѣпко наказывалъ поваръ. Есть еще мундиръ? не съѣли вы? Пусть надѣваетъ мундиръ и приходитъ за нашъ княжескій Щербатовскій столъ. Не хуже другихъ накормимъ.

Понятное дѣло, что Глѣбъ Ивановичъ слушалъ рѣчь своего Птахы, какъ сказку какую-то неслыханную, и показалось ему, что не ума ли порехнулся онъ съ голоду, что о княжескихъ обѣдахъ сказываетъ. Но нѣтъ! Давно Птахъ не бывалъ въ такомъ своемъ живомъ да веселомъ нравѣ; выдвинулъ изъ темнаго угла на свѣтъ

скриньку съ пожитками ихъ, достала мундиръ со всѣми секундъ-маюрскими препаратами и только что не въ одиночку хороводъ водить, а толчется вокругъ, припѣваетъ; развѣсилъ все по колушкамъ и вычистилъ, выхолилъ, всякую пушиночку и сориночку пальцами и губами снялъ. «Готово-съ, ваша честь-съ! Извольте-съ надѣвать маюрскую амуницію». Но важнѣе еще маюрской амуниціи у Сударя Пруса не было готово разумѣніе: какъ это онъ встанетъ, и пойдетъ, и сядетъ за княжескій столъ, онъ, не званный не прощенный—никогда въ глаза не видавшій Щербатова князя и самъ онъ никому въ домъ невѣдомый. Нѣтъ! въ этой притчѣ, да семь притчей сидитъ. Не пойдетъ онъ такъ. «Пойди, Птаха, разузнай: какъ тому можно быть?», Птаха возвратился съ подтвержденнымъ извѣщеніемъ, что сумнѣнія никакого нѣту. Приходи кто хочетъ и садись за княжескій столъ. Приборы на поготовѣ стоятъ и только одно, чтобы платье было мало-мальски приличное дворянину; безъ приличнаго нельзя: потому, чтобы не зазорно было другимъ званнымъ гостямъ и самому хозяину.

Глѣбу Ивановичу также трудно было понять, какъ и намъ теперь эту сказочную былъ въ общественной жизни нашихъ Екатерининскихъ дней. Старинное русское хлѣбосоольство, передъ тѣмъ, какъ пасть ему подъ наплывомъ чужестранныхъ обычаевъ, разцвѣло своимъ послѣднимъ, пышнымъ, почти, можно сказать, божественнымъ цвѣтомъ. Я не берусь опредѣлить, что именно вызвало это роскошное цвѣтеніе и преимущественно въ обѣихъ столицахъ (можетъ быть, именно страшная многочисленность лицъ прибывавшихъ изъ дальнихъ мѣстъ Имперіи, которыя по дѣламъ должны были оставаться надолго, проживались и бѣдствовали на подобіе Глѣба Ивановича); но только въ Москвѣ и въ Петербургѣ было въ обычаѣ въ самыхъ знатныхъ и вельможныхъ домахъ держать *открытые столы*. Къ тому часу, когда принято было въ домѣ садиться за столъ, приходилъ съ улицы всякій, кто былъ достаточно прилично одѣтъ, чтобы можно было судить по платью, что онъ дворянинъ; дворецкій прежде вводилъ этихъ гостей въ столовую, за тѣмъ шелъ докладывать хозяину съ другими зваными гостями, что кушанье подано. Торжествующій хозяинъ, какъ умѣли тор-

жесточивать наши Екатерининскіе бары, имѣя послѣдствіемъ вереницею своихъ великолѣпныхъ гостей и на мигновое приостановивался на входѣ въ столовую, чтобы однимъ привычнымъ, испытующимъ взглядомъ окинуть всю гордую роскошь убранства своего стола и этихъ гостей своихъ съ улицы приветствовать благовольтельнымъ поклономъ своего величаваго барства. Послѣ чего званіе гости садились, какъ извѣстно, по чинамъ отъ хозяина; а тѣ незваные занимали нижній конецъ стола, безъ чиновъ, кто гдѣ былъ, тамъ и тѣлъ великое барское хлѣбосольство. На вставаньи вельможный хозяинъ тоже не забывалъ почтить отвѣтнымъ поклономъ тѣхъ, кого онъ удостоилъ сидѣть за своимъ столомъ, и затѣмъ все сношенія и отношенія амфитріона къ его принятымъ гостямъ были кончены. Онъ никогда не зналъ, кто они, и только развѣ болѣе постоянныхъ посѣтителей замѣчалъ иногда въ лицо.

Въ такой-то разрядъ гостей, невѣдомыхъ хозяину, готовился поступить и нашъ Сударь Прусь, но не пожелалъ нарушать своего поста и порѣшилъ: коли Богъ приведетъ, разговѣться княжескимъ обѣдомъ въ Рождество Христово.

Насталъ этотъ вдвойнѣ торжественный день для святого праздничнаго чувства бѣднаго, обездоленнаго, но могучаго старца. Онъ именно показывался старцемъ отъ снѣжной, сіяющей бѣлизны всякаго волоса, выпѣтшаго и побѣлѣвшаго до блеска на его головѣ и лицѣ. Въ темно-зеленомъ суконномъ кафтанѣ съ золотомъ и съ разными вететами, прямой и величавый, съ скромнымъ, глубокимъ блескомъ глазъ, свѣтящихся силою покорнаго страданія, и съ крѣпко подклеенными бумажными подошвами, Глѣбъ Ивановичъ былъ такъ приличенъ и важенъ, что его можно было посадить не то что за княжескій, а за самый царскій столъ. Это почувствовалъ первый дворецкій Шербатовскихъ княжескихъ палатъ, встрѣчая входящаго Сударя Пруса вопросомъ: «Какъ прикажете доложить о вашей чести?» Никакъ, отвѣчалъ Глѣбъ Ивановичъ, съ силою принаго, неуклоннаго слова. «Если есть мѣсто за княжескимъ столомъ, я сяду; а нѣтъ, я пойду». «Какъ не быть? Есть-съ. Пожалуйте-съ», ввелъ его дворецкій въ столовую, растворя передъ нимъ дверь.

Ничего не было бы страннаго въ томъ, если бы Глѣбъ Ивановичъ, послѣ темнаго угла у пресфиря, изумленъ былъ зрѣлищемъ княжескаго церемоннаго поела; но онъ, не то чтобы изумился, а уже очень въ душѣ своей застыдился этихъ ребятъ безъ покроя, которые со всѣхъ сторонъ прицѣплялись устрѣить Сударя Пруса и, позарать, должно жамбѣиъ любострастныхъ, смѣющихся и державшихъ свои передники, полною цѣтотъ, которыми онъ, казалось, готовы были осмѣять побѣдѣлую голову, увѣчанную страданіемъ. Въ смущеніи своего цѣлонудреннаго стыда, Глѣбъ Ивановичъ не смѣлъ поднять глазъ и не видѣлъ, а только слышалъ, какъ, въ торжественномъ молчаніи, раздались шаги и вошелъ хозяинъ съ высекени гостини; какъ, шумя, разсѣивались вдоль стола; его самого подвинула чья-то рука, и, когда онъ, ошарашанный, поглядѣлъ передъ собою, первое, что онъ увидѣлъ: прекрасную бѣлую булочку, вычеченную съ княжескимъ гербомъ, которая лежала у него на кувертѣ; самъ онъ сдѣлъ послѣдннй на низшемъ концѣ стола; а прямо противъ него, далеко впереди, возсѣдалъ на высокомъ креслѣ хозяинъ и будто онъ поглядѣлъ на Сударя Пруса.

Такъ начались княжескіе обѣды нашего долго голодавнаго Глѣба Ивановича Ситникова-Пруса и, что первое онъ увидѣлъ за столомъ, то и осталось предметомъ его высшаго удивленія, — это княжеская булочка.

Она показывалась ему такою прекрасною, ни съ чѣмъ несравненною, что самому сѣдять ее, не раздѣливъ съ Птахомъ, становилось угризеніемъ совѣсти. Кто можетъ повѣрить, до чего сдѣлалось тонко нравственное чувство въ секундъ-маіорѣ Клизаветинской службѣ, что онъ не могъ пить вина за княжескимъ столомъ и не пить его, удерживался единственно тѣмъ болѣзненнымъ ощущеніемъ сердца, что вотъ онъ ѣстъ и пьетъ, и станетъ еще упиваться виномъ веселія; а выросшій въ друга и брата ему, слуга его вѣрный — хорошо если, въ своемъ темномъ углу, грызетъ сухарь, размоченный въ водѣ. И доставить Птахѣ княжескую булочку сдѣлалось такимъ непреодолимымъ желаніемъ у Глѣба Сударевича, что онъ повелъ глазами на гостей и хозяина, оглянулся на слугъ и, не взирая на безстыжихъ ребятъ и на веселыхъ дѣвокъ, которыя съ потолка смѣялись ему, Сударь Прусъ протянулъ руку, взялъ свою булочку и положилъ себя въ карманъ.

И разъ попытани эту великую радость принести Итакъ даръ отъ княжескаго стола, Глѣбъ Ивановичъ уже самъ не вкушалъ булочки, а позавѣтно опускалъ ее въ карманъ и несъ домой, возлѣный и довольный. Отъ уже непривыкъ къ своему застольному положенію и слуги его знали, и еѣ право на разъ-занятое мѣсто изъ концѣ стола, противъ князя, оставалось за нимъ и едва-ли не самъ князь-хозяинъ замѣтилъ все одно и то же скромно-величавое лицо, сидѣвшее вдали, прямо передъ его княжескимъ лицомъ.

Всѣ такъ праздники прошли, и Новый Годъ, и Святое Крещеніе прошло. На самаго Ивана Крестителя идетъ Сударь Прусъ къ обѣду, и слуга, отворяя ему дверь, сказывать: «Вольной ниръ, сударь-сь. Наши-сь изволили быть званы, отиѣние отъ прочихъ господъ, во дворецъ-сь на вечернюю святую воду и изволили принять благоволеніе отъ высочайшихъ рукъ: табакерку съ алмазами-сь. Такъ вотъ, на большой радости-сь, табакерку празднуетъ. Но то ваша честь, а кто хочешь идти, всѣхъ назови и накорми знатныхъ угощеніемъ. На томъ наша княжеская честь стоять-сь». „И дай ей, Господи, стоять отъ вѣку до вѣку!“ съ чувствомъ проговорилъ Глѣбъ Ивановичъ, проходя въ столовую. И дѣйствительно, столько вышло и сѣло знатныхъ и вельможныхъ господъ, что, кажется, въ десять разъ не бывало ихъ больше, чѣмъ въ одинъ этотъ день наѣхало. Но всѣмъ мѣсто нашлось, и за Сударемъ Прусомъ осталось его.

Въ половинѣ стола, такъ-ли просто пожелалось сіятельному хозяину изъ новой жалованной табакерки взять щепотъ пикантнаго французскаго табаку, или притомъ было другое желаніе, только табакерка заиграла алмазами въ бѣлыхъ рукахъ и возбудила общее вниманіе гостей. Кто видѣлъ ее и кто не видѣлъ, всѣ, въ честь и на радость хозяину, пожелали посмотрѣть монаршее въ нему благоволеніе, и пошла жалованная табакерка ходить по гостямъ, изъ рукъ въ руки, кругомъ всего стола. Тронетно было чувство радостнаго благоговѣнія, съ какимъ Глѣбъ Ивановичъ выиралъ на передаваемый по гостямъ даръ Монархини и ожидалъ, въ свой чередъ, первый разъ въ жизни, коснуться недостойными руками той вещи, которую дрожащая Монархиня сама держала въ царской рукѣ своей; какъ ни живо и преданно было это

вѣрноподданническое чувство, но и булочки-то, булочку свою не могъ никакъ позабыть Сударь Прусь. Когда незанятѣе припрятать ее, какъ не теперь, когда вниманіе всѣхъ занято ею одною, жалованною табакеркою? И припряталъ, по обыкновенію, свою булочку въ карманъ себѣ Глѣбъ Ивановичъ. Затѣмъ и ему далась въ руки жалованная царская табакерка. Съ невольнымъ порывомъ всепроданнаго восторга секундъ-майоръ Ситниковъ-Прусь во весь ростъ всталъ, и подивившись всѣмъ, какъ онъ преклонилъ голову въ царскому пожалованію и облобызалъ табакерку, и ни мгновенія лишняго онъ не посмѣлъ удержать ее въ своихъ дрожавшихъ отъ волненія рукахъ и передалъ благоговѣнно сосѣду, слѣдя пристальными глазами, какъ она шла и шла, отъ низшаго конца, все выше и выше.

А между тѣмъ и обѣденный столъ шелъ въ разсказахъ и разговорахъ, въ полномъ веселіи своемъ; ѣли и пили, какъ говорилось тогда, «знатно, хорошо», въ честь гостей и славу хозяина. Наконецъ приближалась послѣдняя торжественная минута заданнаго пира чествовать табакерку и восхвалять милостивую Монархиню.

Заздравное вино разлитое стояло передъ гостями въ грансовыхъ съ золотомъ хрустальныхъ бокалахъ, и чествованіе должно было совершиться такъ. Въ истинное подобіе табакерки исеченъ и изукрашенъ былъ всѣми сладчайшими и прекраснѣйшими роскошными пироги величины непомерной. Его слѣдовало внести сакому дворецкому съ двумя ассистентами на серебрянномъ блюдѣ и поставить въ верхнемъ концѣ стола передъ княземъ-хозяиномъ. Князь благоволилъ бы возложить на пирогъ лотинную, жалованную ему царскую табакерку и всюю своею семьею и всѣмъ родомъ своимъ княжескимъ, почтеннымъ монаршимъ благоволеніемъ, долженъ былъ бы взяться за блюдо съ пирогомъ и, поднимая его вверхъ, воскликнуть одинъ разъ: „Да здравствуетъ Государыня милостивая!“ и всѣ гости должны были низко поклониться и въ другой разъ князь воскликнуть: „Да здравствуетъ Государыня милостивая!“ и всѣ гости также въ другой поклониться; и въ третій разъ: „Да здравствуетъ Государыня милостивая на многія лѣта!“ И всѣ гости родостно воскликнуть: „Да здравствуетъ Государыня на многія лѣта!“ И тотчасъ пѣвчіе воспѣть: „Многая лѣта!“ Послѣ

многочѣтія, которое бы гости слушали стоя и съ бокалами въ рукахъ и принимая за здравіе Государыни, пѣвчіе должны были начать величаніе гимномъ: *Славься симъ, Екатерина*; а гости сѣсть и праздновать въ веселыхъ разговорахъ; между тѣмъ, какъ хозяинъ собственно ручнo рѣзалъ бы пирогъ и, разсылая каждому гостю часть, тѣмъ какъ-бы приобщалъ его радости самаго царскаго пожалованія золотой табакерки съ алмазами. Такъ слѣдовало-бы праздновать; такъ и началось чествованіе.

Внесено было на серебрянномъ блюдѣ испеченное сладкое подобіе въ огромномъ видѣ жалованной табакерки и поставлено блюдо передъ самимъ хозяиномъ. Отступилъ дворецкій съ ассистентами, и вся поднялась семья и княжеская родня подвиглась вся съ своихъ мѣстъ, обступая верхній конецъ стола; протянулись руки и самъ князь всталъ—и опустил онъ руку въ одинъ карманъ и не вынесъ ее на верхъ; опустилъ другую въ другой и стоитъ такъ, глядитъ на всѣхъ; поглядѣлъ вокругъ на столъ, искалъ и сказывается: «Табакерки нѣтъ!...» Какъ нѣтъ? Виновницы торжества, жалованной табакерки? Да вѣдь она была! Ее всѣ видѣли и въ рукахъ держали—да видно залюбовали. «Нѣтъ ея!» показалъ хозяинъ на видъ свои пустые вывороченные карманы. Такъ если хозяинъ выворотилъ гостямъ свои карманы, то гости тѣмъ болѣе, себя не помня, лаза сами по своимъ карманамъ и выкладывая, что было въ нихъ—начали просить въ одинъ голосъ, чтобы всѣхъ ихъ обыскали, какъ они сидятъ за столомъ и не трогаются съ мѣстъ; пусть идетъ дворецкій съ ассистентами и по ряду осматриваетъ каждаго; такъ какъ на всѣхъ можетъ падать подозрѣніе, потому что всѣ глядѣли и держали въ рукахъ табакерку.

А, можетъ быть, у кого и по нечаянности затаялась пропажа! Все статья можетъ въ такомъ удивительномъ случаѣ! Каждый изъ гостей, сконфуженно, не довѣрялъ самъ себѣ и, опуская руку свою въ карманъ, не былъ увѣренъ, что не вынетъ оттуда табакерку. Одинъ Глѣбъ Ивановичъ вѣрно зналъ, что табакерки у него не было, но булочка-то, булочка была у него въ карманѣ! Приблизятся дворецкій съ ассистентами и вынетъ ее на показъ всѣмъ! Какъ же не воръ-то сидитъ за княжескимъ столомъ, коли онъ ѣстъ и пьетъ тутъ, и въ карманъ прячетъ. Съ поличнымъ его бе-

руть. Съ булкою не разотался! А табакерка тѣмъ болѣе, порѣзана въ, отъ руки его, Сударя Пруса, не ушла...

— Я не воръ! поднялся онъ, величавымъ движениемъ руки отстраняя дворецкого. А я майоръ и чести моей урону не понужу, чтобъ осматривали меня. Пусть меня осматриваетъ самъ князь, коли есть сомнѣніе на меня, беретъ меня и ведетъ въ отдѣльный покой, а ты, слуга, отойди и не можь коснуться меня!

Одни гости глаза опустили отъ сомнѣній и лживаго подозрѣнія; а другіе просто въ удивленіе пришли, слушая проделанность такую.

А между тѣмъ, вѣроятный хозяинъ успѣлъ довольно опениться отъ неожиданности, его поразившей, и, со словъ майора, еще живѣе почувствовалъ недостойнство этого обхожденія съ гостями, хотя бы и ими самими вызваннаго, и тотчасъ велѣлъ прекратить осмотръ.

— «Полно!» произнесъ онъ съ величавой осанкою. Царское пожалованіе въ огнѣ не горитъ и въ водѣ не тонетъ. Я увѣренъ, что табакерка найдется!» посмотрѣлъ онъ пристально на Глѣба Ивановича. «Начнешъ величать монаршую милость.»

И началось подыманіе пирога и все прочее, какъ выше сказано; но все оно было не то безъ виновницы торжества, безъ пропавшей табакерки. Все—нѣтъ, нѣтъ, да гости во всѣ глаза и посмотрятъ на Сударя Пруса съ верхняго конца стола; а на нижнемъ концѣ всѣ поотодвинулись отъ него и онъ, на своемъ послѣднемъ мѣстѣ, оставался сидѣть, прожигаемый насквозь рѣдкимъ взоромъ князя-хозяина и неотступными глазами слугъ, которые, какъ ястребъ за добычею, слѣдили за оттопырившимся карманомъ Глѣба Ивановича.

Никогда, ни даже съ самаго горчайшаго изъ горькихъ хожденій своихъ въ сенать, не возвращался Сударь Прусъ въ такомъ разстроенномъ и убитомъ видѣ, какъ онъ вошелъ съ пира къ просфирнѣ, не замѣчая, здѣсь ли она, или нѣтъ. По случаю, ея не было. Отъ скорой ходьбы и тяжело ступавшихъ ногъ, бумажныя подошвы отлетѣли и, стоя съ голыми пальцами и съ пониженими взорами, онъ, задыхаясь, проговорилъ: «Птаха братъ! поцѣлуем и поклонимся Богу. Послѣдняя напасть пришла: я воръ! Господа и слуги думаютъ, что я украдъ—украдъ золотую жалованную табакерку!» Ницъ припалъ онъ на землю и, поджавшись, обнялъ голову Птахи и—не заплакавъ въ своей напастѣ Сударь Прусъ.

Очень уже отъ огорченія, какъ будто самъ не свой, жалѣзкомъ сярѣнился онъ и не пустилъ слезы, какова есть, ни одной!

Но надобно было подумать о завтрашнемъ днѣ. Срать свой воровской нести, или не нести, на обѣдъ къ князю? „Я навѣтникомъ на себя не буду“ порѣшилъ Глѣбъ Ивановичъ. „Не идти—значить завѣдомо рѣшить, что воръ я и боюсь показать свои воровскіе глаза; а меня воромъ мать не родила и Господь Богъ нищимъ меня поставилъ, а въ воровствѣ не указалъ быть. Что я булочку-то въ карманѣ приносилъ? Такъ развѣ воръ отъ своей души отниметъ, да подастъ другому? А я свое бралъ, что щедрота княжеская давала мнѣ и отъ своей сердечной щедроты Птахъ своему давалъ—не красть!“

Подъ силою этихъ простыхъ, здравыхъ размышленій, воспринятыхъ скорбнымъ, глубокимъ чувствомъ, шелъ Глѣбъ Ивановичъ на обѣдъ къ князю съ поднятою головою; но старыя честныя глаза его на половину глядѣли въ землю. Но если бы онъ взглянулъ попрямѣе въ лицо отворавшаго ему дверь слуги и потомъ на выраженіе лицъ другихъ слугъ, которые съ предупредительностью давали ему проходъ, онъ-бы замѣтилъ что-то, чего не было вчера и третьяго дня. Но человекъ скорби и печали, несшій на своихъ плечахъ послѣднюю напасть, которая далась ему, онъ ничего не замѣчалъ.

Глѣбъ Ивановичъ шелъ, сознавая одно: что онъ нѣсколько запоздалъ и что ему приходится, на конечную свою бѣду, войти одному передъ всѣми сидящими гостями и кланяться хозяину и всѣмъ на всѣ стороны его опозоренною бѣлою головою. „Подавай Богъ силу!“ произнесъ онъ, неслышно шевеля губами—„коли Ты Богъ, Господи, а я человекъ стою“. И ставши среди княжеской столовой, онъ поднялъ глаза; но и всѣ гости за столомъ стояли, и самъ хозяинъ стоялъ на своемъ первомъ мѣстѣ и, прежде чѣмъ Сударю Прусу поклониться ему—Щербатовъ князь низко наклонилъ свою голову и сказалъ:

— Насилу ты пожаловалъ! А я думалъ, что ты проклялъ мою хлѣбъ-соль и не придешь болѣе. Твое мѣсто не тамъ, не на послѣднемъ концѣ... Иди, другъ мой! (не знаю, какъ тебя по имени назвать), садись рядомъ со мною....

Если бы Глѣба Ивановича встрѣтили какими угодно оскорбленіями

и поношеніями, онъ былъ готовъ къ нимъ. Острой души его былъ такъ высоко поднять, что, въ случаѣ даже, если бы сѣтельный хозяинъ повелѣлъ своему слугѣ занести руку и ударить въ щеку секундъ-маіора Ситникова-Пруса, тотъ едва-ли бы не сказалъ: «Вей еще!» и по Евангельскому слову, оборотилъ бы лицо и подставилъ другую щеку; но эта невообразимая неожиданность встрѣчи, этотъ низкій поклонъ князя и эти слова, и эти гости, стоящіе за столомъ и какъ бы ожидающіе, чтобы онъ пожаловать....

У Глѣба Ивановича на мгновеніе будто свѣтъ заступился и помутилось въ умѣ. Горечь души даже разсѣялась улыбкою на лицѣ Сударя Пруса.

— Чтой-то, судари? то у васъ я воронъ, а то—за кого я вамъ объявился, что вы стойма - стойте, не смѣте будто сѣсть безъ меня? проговорилъ онъ сурово... А ты, князь-хозяинъ, коли встрѣтилъ вора поклономъ, такъ провожай другимъ» поворотился Глѣбъ Ивановичъ, чтобы своимъ мѣрнымъ шагомъ выйти вонъ изъ княжеской столовой.

— Постой, постой! Другъ мой! утишься душою... Мы всѣ виноваты передъ тобою стоимъ: прощай насъ ради любви Христовой.

И князь Щербатовъ, какъ стоялъ на своемъ первомъ мѣстѣ, такъ въ другой разъ поклонился, и всѣ гости за нимъ поклонились Глѣбу Ивановичу.

— Вотъ она табакерка!—вынулъ князь и положилъ, чтобы всѣ видѣли, на середину стола жалованную табакерку. „Нигдѣ, какъ у меня, государи, была. На грѣхъ тяжкій случилось такъ, что проскользнула она за подкладку кафтана. Въ спальнѣ своей сбросилъ кафтанъ, а что-то стукнуло. Поглядѣли—табакерка сама! Другъ мой! мнѣ вся ночь безъ сна и безъ покоя была, думаячи, сударь мой, про тебя; я счастливъ буду, коли ты не попомнишь моего зла и сидишь за столъ мой близъ меня.

Сударь Прусъ сѣлъ... И можно ли описать его глубокое душевное счастье, что онъ въ нищетѣ своей не посрамленъ, оправданъ передъ людьми стоитъ?—„Никто, какъ Богъ!“—съ дѣтскою улыбкою лезтали его поплекая, осунувшіяся отъ голоду и скорби уста.

Послѣ обѣда князь взялъ за руку Глѣба Ивановича и привелъ его въ отдѣльную комнату, и самъ сѣвши, посадилъ его возлѣ себя, и сказалъ:—Другъ мой! прежде всего изволь знать, что я истинно другъ

тебѣ и моя княжеская честь въ долгу состоятъ у тебя... Повѣрь мнѣ искренно: какая у тебя тайна была, что ты всталъ, смущенъ лицомъ и не далъ осмотрѣть себя? Что табакерку ты не укралъ, въ этомъ я довольно извѣстенъ; но что же у тебя такое было, коли князь и графы показали карманы, а ты одинъ на показъ не далъ?

— Булочка твоя княжеская была! отвѣчалъ Глѣбъ Ивановичъ, и потокомъ разрѣшеннаго горя потекла его простая рѣчь, осмысленная тѣмъ однимъ высокимъ смысломъ, что стерпѣла—не пороптала душа.

— Поѣдемъ, другъ мой! сказалъ князь, выслушавши. Я своими глазами повидать желаю запечный уголь.

И когда его увидалъ князь, онъ закрылъ лицо руками и прошептался.

„Родовой дворянинъ и Царскаго Величества вѣрный слуга въ немаломъ чинѣ: секундъ-маіоръ и превратностями счастья людскаго до чего униженъ былъ!“

Съ княжеской щедростію, за даровой уголь, просфирнѣ, заплатилъ князь тутъ же, не сходя съ мѣста, и нечего сказывать, что, минуты не медля, Глѣбъ Ивановичъ съ его Птахою, какъ на крыльяхъ перенесены и водворены были въ Щербатовскихъ палатахъ. Ахъ, какъ невѣсту, одѣвали, обували, снаряжали во все, и прошолъ ли, часъ, какъ узнать нишаго Сударя Пруса съ его слугою можно было только по ихъ впалымъ щекамъ и по сіяющимъ глазамъ.

— Ты не подиви на меня, другъ мой! сказалъ князь, опуская въ руку Глѣба Ивановича кошелекъ, полный Щербатовской княжеской щедроты. Это тебѣ на нужды. А мнѣ моя нужда есть на вечеръ съѣхать со двора. Вѣнсканъ я нонѣ у Монархини великой милостію: въ эрмитажъ, на интимную ея бесѣду и игры чтобы мнѣ побывать. Такъ ты меня до полуночи, мой другъ, не жди; а жалеешь самъ себя—какъ твоей душѣ угодно—спрашивай и приказывай! Мой домъ, а твоя воля!

На этихъ словахъ, простившись съ своимъ новымъ другомъ, князь Щербатовъ, величавой осанкою и степенно прекрасный въ придворномъ нарядѣ и съ новопожалованной табакеркою въ рукѣ, отправился маленькимъ выѣздомъ въ эрмитажъ.

II.

Эрмитажъ! Одно это слово и за тѣмъ проблески историческихъ воспоминаній объ эрмитажныхъ вечерахъ Екатерины представляютъ ее потомству съ сіяющею граціею Олимпійскаго божества.

Царица безъ вѣнца и порфиры, царствующая умомъ и прелестью женственного обаянія, отдающаяся искренности бесѣдъ своихъ милыхъ друзей и веселости смѣха, тонкая цѣнительница сказаннаго слова и угадчица затаенной мысли—едва-ли не между всѣми унынными людьми эрмитажныхъ вечеровъ Императрица Екатерина была не самымъ уныннымъ, живымъ умомъ?

Эти *les jeux d'esprit*, переведенные на простые русскіе нравы тогдашняго времени, отнимали послѣднюю церемонность у эрмитажныхъ вечеровъ, и царственная хозяйка ихъ, до обворожительности, являлась простою, милою хозяйкой.

Такъ было и въ этотъ знаменательный вечеръ для моего чуда Екатерининскихъ дней—въ вечеръ, на который князь Щербатовъ былъ осчастливленъ приглашеніемъ.

Шла какая-то игра *Мнимо-болѣзнь*. Можетъ быть, и Мольеровскій «*Malade imaginaire*» послужилъ къ тому поводу...

Императрица, въ тожности болящей, полулежала на софѣ, и играющіе должны были представлять изъ себя *дохтуровъ* всѣхъ странъ и народовъ: химиковъ и алхимиковъ, факировъ и всякаго люду, который бы собрался съ своими лекарствами къ одру болящей царицы Киргизъ-Кайсацкой Орды.

И какъ являясь на эрмитажные вечера нельзя было знать какой оборотъ примутъ игры и во что именно придется играть, то объявленіе игры, внезапно вытекавшей изъ какого-нибудь случайнаго повода и, если къ тому еще игра требовала фантастическихъ, или историческихъ переодѣваній, или вообще какихъ-либо внѣшнихъ приготовленій къ ней—это поднимало самую живую суету, бѣготню. Въ эрмитажѣ совершалось подобіе того, что происходило въ помѣщичьихъ дѣвичьихъ во время святочныхъ и масленичныхъ переряженій. Придворные, какъ разшалившіеся дѣти, бросались по угламъ и закоулкамъ жилыхъ комнатъ дворца, не взирая ни на что, не останавливаясь ни передъ чѣмъ—правомъ веселаго грабежа и все-

опустошающаго набѣга игры они брали, хватали, добывали всякій собѣ статьи и принадлежности своего явленія и представленія себя въ игрѣ, и все это со смѣхомъ, захватывающимъ духомъ, безъ оглядки, бѣлаясь, сурмясь и радясь на-бѣгу и, чѣмъ это ряженье было неподходяще къ дѣйствительному значенію лица и къ чину его высокаго положенія при дворѣ, тѣмъ оно выходило уморительнѣе, смѣшнѣе, веселѣе въ игрѣ. Такъ что великолѣпные придворные Екатерины, перераженные въ несуществующіе костюмы простынь, вывороченныхъ наизнанку кафтановъ—въ разныя тряпки и кофты, часто добытыя у женъ истопниковъ, съ кокошниками, вмѣсто испанскихъ токовъ и пр. и пр.—не мало походили въ нихъ множественномъ числѣ, на геркулесовъ, прядущихъ у ногъ Оифалы, только не пряжу, а серебряную нить шумныхъ, веселыхъ эрмитажныхъ игръ иной царствующей полубогини.

Такъ и въ игрѣ *Минимо-болыаго* шло невообразимое смятеніе докторовъ, бѣгавшихъ, искавшихъ натапнуть на себя свою лекарскую кожу. Скорѣе всѣхъ справился средневѣковый алхимикъ.

Онъ выворотилъ на изнанку свой собственный капуциновый кафтанъ и, сдѣлавши его чернымъ саржевымъ, успѣлъ счастливо добыть такую же черную саржевую юбку и ея, какъ зналъ, восполнилъ остальную статью наряда, и такимъ образомъ, въ полномъ черномъ костюмѣ ученѣйшаго доктора съ маленькимъ китайскимъ подносомъ въ рукахъ, на которомъ стояла тоже китайская крохотная чашечка и, возлѣ нея, тонкая и высокая стекляница съ лекарственнымъ спадобьемъ, имѣвшимъ видъ сладкаго придворнаго оршада, мудрый алхимикъ, приступая къ богоподобной царевнѣ Киргизъ-Кайсацкой Орды, преклонилъ одно колѣно и рѣчью учено-пересыпанною латинскими цитатами, указывалъ на чудодѣйственную силу своего лекарства, надъ измышленіемъ котораго онъ провелъ тридцать лѣтъ и три года.

Царевна, съ томною улыбкою, подивилась столь достойному образу прилежанія, что еще болѣе воодушевило алхимика къ ученымъ похваламъ себѣ самому и своему снадобью, для котораго онъ также измыслилъ мудрое наименованіе: *Elixir someatea perpetuum seasarum*, т. е. *жизненный элексиръ царей*, и, наливая свою китайскую чашечку, алхимикъ подалъ элексиръ высокой больной.

Она своей снѣжовидной рукою приняла отъ алхимика чашечку, поднесла ее къ устамъ и, будто вкусивши, остановилась.

— Мудрый алхимикъ! сказала она, твое лекарство мнѣ давно знакомо. Сіе не жизненный элексиръ царей, а *услаждение лести*, которое мнѣ и здоровой надобно. Иди! твое лекарство не изцѣлитъ меня.

Едва отступилъ алхимикъ, какъ приступилъ какой-то блуждающій факиръ съ береговъ Гангеса: босой, безъ башмаковъ, въ однихъ тѣлеснаго цвѣта длинныхъ шелковыхъ чулкахъ и сверхъ всего пестрой накинутаю юбочки, завязанной у подбородка. Безъ парика и волосъ, онъ украшался вѣнкомъ изъ остролистныхъ растений и былъ невѣроятно смѣшонъ. Царственная мнимо-больная едва удерживалась отъ веселаго, здороваго хохота. Онъ поднесъ ей на широкомъ зеленомъ листѣ лотоса нѣсколько круглыхъ янтарныхъ зеренъ (которые факиръ грабительскою рукою сорвалъ съ шеи молоденькой фрейлины), возвѣщая, что эти кажущіяся зерна антаря суть всеизцѣляющія пилюли и простые смертные принимаютъ ихъ въ простомъ видѣ, а для больной царевны Киргизъ-Кайсацкой онъ принесъ ихъ золотыми.

Больная потревожилась на своихъ атласныхъ подушкахъ.

— Позолоченныя пилюли!—сказала она. Сіе означаетъ *горькія истины*. А вкушать горькія истины надобно здравую душу... Мудрый алхимикъ! Какъ по латыни сказывается: „въ здоровѣ тѣлѣ и душа здорова“? А я больна... Горькія истины—лекарство слишкомъ сильное для больныхъ царей. Уведите бѣднаго факира. Ему не изцѣлить меня.

Факира увели, и еще являлось много разнородныхъ докторовъ; но всѣ они не оказали успѣховъ своего леченія. Мнимо-больная, наслаждающаяся своею болѣзнию, остроумная, нестоициная, приводила въ отчаяніе придворную науку медицинской лести, какъ вдругъ изъ дверей начинается приближаться тяжелыми, медленными шагами согбенный старецъ, какимъ-то чудомъ сейчасъ вышедшій изъ крестьянской великорусской избы. Весь какъ лунь сѣдой, съ льяною бородою, въ своемъ зипунѣ мужика-пахаря, идетъ онъ къ царевнѣ, подпираясь суковатою клюкою.

— Знахарь, знахарь! послушался шепотъ въ толгѣ докторовъ; но кто, кто онъ—не могли распознать.

— А! я ты пришелъ меня полечить, старинъ русскій знахарь на встрѣчу ему проговорила царевна больная.—Я люблю русскій народъ.

— И онъ тебя любить, матушку! — отвѣчалъ твердымъ словомъ знахарь. — Что болѣть-то? Болѣть царятъ нельзя. Ино сказать, все царство не здорово. Вишь, что шутовъ-то собралось не лечить, а порчею портить твое здравіе! А я тебя, царевна матушка, не дурью нѣмецкою полечу, — а возьму я чистой водицы... взялъ знахарь карафни съ водою и, наливши до полустакана, поставилъ передъ царевною. Наговорю я водицу благины знахарскимъ словомъ; а ты, на снохой своей царскій идучи, выпьешь и на утрѣ здорова встанешь... Да и самое-то тебя былинкой да старовинкой потѣшу. Вѣдь я и знахарь, потому что старъ. Много на свѣтѣ пожилъ, да не мало видѣлъ... Вотъ такъ-то: въ инокъ царствѣ да не въ нашемъ государствѣ — какъ-бы, къ приѣзду сказать, твое царское здравіе—разнемогся царь. Не можетъ онъ въ свою царскую силу по царству суды творить, и принялись писари писать. Писать-то они хорошо, рѣчиисто пишутъ: „Коля-моль-онъ у тебя твое да отнялъ, такъ ты у него своего брать не могъ; а отъ сивки, отъ бурки, отъ вешней каурки себѣ удовлетвореніе жди“. И вотъ, такъ-то была былина, что одинъ матерой, да умъ здравый человекъ, слуга царю вѣрный—видѣвши, что женѣ и дѣтямъ прійдется помирать съ голоду, пошелъ въ путь себѣ удовлетвореніе отъ бурки искать...”

И вся исторія Сударя Пруса съ его Птахою, прикровенно простыми и вмѣстѣ, какъ серебро, отчеканенными словами, прозвучала изъ устъ знахара и наполнила уши всей окружающей придворной толпы. Какъ ни была она настроена на шутовской ладъ, но этотъ родной образъ дворянина, тайно уносящаго съ обѣда булочку, чтобы накормить голоднаго слугу, какъ будто сталъ между ними и заглянулъ имъ каждому въ глаза. Больная царевна Киргизъ-Кайсацкой Орды взяла стаканъ съ наливою водою и, мало по малу, подѣ рассказъ знахара, выпила ее всю.

Когда знахарь свързалъ до конца, что нужно было сказать, онъ, какъ престарѣлый Іаковъ библейскій, поклонился навѣрхъ своей оубоватой клевки и просилъ, чтобы свѣтлость царская не положила гнѣву за его тѣнну, стародавнюю бѣду.

— Я тебѣ благодарна, знахарь. Твоя наговорная вода вывела меня — приподнимаясь съ подушекъ, проговорила истѣлывшаяся больная. Я лежала Елргизъ-Кайсацкой царевною, а теперь встану императрицею всероссійской и повелѣваю вамъ, князь Щербатовъ...

Екатерина встала и этихъ именомъ, какъ зоринцевъ, освѣтила разнутивше придворной толпы, которая терлась въ догадкахъ до послѣдней минуты, не узнавая лица въ сермягѣ знахари.

— Я вамъ повелѣваю завтра, на маломъ выходѣ, представить мнѣ лица, о которыхъ вы дали мнѣ понять...

На секунду Екатерина приостановилась и какъ-только она, не наклоняя головы, однимъ взоромъ царственно-важнымъ поклонилась всѣмъ мгновенно, какъ бы чудомъ какинъ, смялось и гдѣ дѣлось вдругъ все шутовство эрмитажной игры, и императрица всероссійская преслѣдовала во внутренніе покои посреди своихъ достойныхъ друзей и царедворцевъ, глубоко преклоненныхъ передъ обаятельнымъ сіяемъ царственного величія Екатерины Второй.

Кохановская.

СТИХОТВОРЕНІЯ Д. ФОНЪ-ЛИЗАНДЕРА.

I.

Полдень въ березовой рощѣ.

Ярко солнце сыплетъ позолоту
По стволамъ, какъ кипѣнь, серебристыя.
Искры зноя, трепетомъ огнистыя,
Кладутъ рощу въ мертвую дремоту.
Не плыветъ по небесамъ лучистыя
Ни полтулки. Отняло охоту
И у явотъ звонко пѣть ихъ ноту,
И у пчелъ жужжать надъ янємъ душистыя...

II.

Лѣсной шумъ.

Какъ тихо! А шумить, шумить зеленый боръ,
Шумить во всѣ концы. Ведетъ онъ съ зносомъ лѣта
Таинственный, вѣмой, но страстный разговоръ,
И сыплетъ зной огнемъ горячаго отвѣта.
Какъ шумъ весеннихъ водъ, свергающихся съ горъ,
Съ зари и до зари идетъ бесѣда эта,
И каждый листъ и весь тѣмолиственный уборъ
Развѣсистыхъ вершинъ—все ею разогрѣто.

Д. Фонъ-Лизандеръ.

Изъ Гейбеля.

I.

Данте.

По улицамъ тихой Вероны, печально чуждаясь людей,
Шелъ Данте, поэтъ флорентинскій, изгнанникъ отчизны своей.

Двѣ дѣвушки робко вперили въ суроваго странника взоръ;
Проходитъ онъ тихо и слышитъ таинственный ихъ разговоръ:

„Сестра, это Данте, тотъ самый... ты знаешь... спускавшійся
въ адъ...”

Смотри, какъ печалью и гнѣвомъ его омрачается взглядъ!

„Какъ видно, онъ вещи такія увидѣлъ въ тѣхъ странныхъ
мѣстахъ,

Что больше не можетъ улыбка играть у него на устахъ.“

Но Данте ее прерываетъ: „Чтобъ смѣхъ позабыть навсегда,
«Дитя мое, вовсе не нужно за этимъ спускаться туда.

„Все горе, воспѣтое мною, всѣ муки, всѣ язвы страстей
«Давно ужъ нашелъ на землѣ я, нашелъ я въ отчизнѣ моей!“

II.

Видишь море? озаряетъ

Волны солнца красота;

Но на днѣ его глубокомъ,

Какъ въ могилѣ, темнота.

Я—какъ море. Духъ мой гордо

Катитъ волны, и на нихъ

Золотымъ играютъ солнцемъ

Звуки пѣсенокъ моихъ.

Ярко блещутъ, полны вѣги,

Свѣжей силы и любви;

Но въ груди моей безмолвно

Сердце плаваетъ въ крови...

Петръ Вейнбергъ.

Василій Игнатьевичъ Живокини.

(Голосъ изъ-далека).

„Не придется уже больше отдохнуть на игрѣ дорогаго Василія Игнатьевича!“ — Вотъ что навѣрно сказали всякій, кого, вдаль отъ Россіи, отыскала вѣсть о смерти Живокини. Надо быть слишкомъ довольнымъ своей житейской долей, слишкомъ мало сознавать траги-комедию жизни, чтобы не чувствовать того облегченія, какое даетъ вамъ дарованіе настоящаго, прирожденнаго комика. Безъ всякихъ фразъ—съ Живокини ушла съ русской сцены цѣлая полоса проявленій человѣческой природы — и преемниковъ ему нѣтъ, и не будетъ до тѣхъ поръ, пока не перемелется весь теперешній строй русской дѣйствительности.

Исторія нашей сцены—еще въ „возможности“. Матеріалы для нея—бѣдны и нигдѣ еще не собирались по сколько-нибудь широкому философско-соціальному замыслу, безъ котораго и художественныя данныя теряютъ свой цвѣтъ и смыслъ. И покойный Василій Игнатьевичъ долго будетъ дожидаться своей полной характеристики, свободной отъ формализма цеховыхъ знатоковъ и «обличеній» новѣйшаго натурализма русскихъ театралныхъ любителей. Вся «исторія» — сценическаго искусства, въ смыслѣ вѣрной картины его успѣховъ—сидитъ въ *объективных* оцѣнкахъ современниковъ. Поэтому-то и не находишь настоящей *физиономіи* въ лѣтописяхъ театра — даже у самыхъ крупныхъ корифеевъ европейскаго искусства. Что мы знаемъ о Шекспирѣ, какъ объ актерѣ? Что онъ игралъ тѣмъ Гамлета-отца—вотъ и все! Гдѣ найдемъ мы опредѣленіе свойствъ

и разбѣровъ таланта, манеровъ и сценическихъ правилъ у Мольера? А онъ былъ — первый коникъ своей труппы и на его плечахъ лежали всѣ главныя комическія роли его репертуара. Противники его изобразили въ памфлетахъ преувеличенные недостатки его исполненія и даже въ мемуарахъ, продиктованныхъ его воспитанникомъ — знаменитымъ Барономъ — мы находимъ лишь указанія на его сценическую «школу» вмѣстѣ съ сухими замѣтками о его разумныхъ художественныхъ воззрѣніяхъ; но все это — дѣтали, не дающія никакого полнаго обліка Мольеру-актеру. Немногимъ больше знаемъ мы и про знаменитостей XVIII вѣка начиная съ того же Барона. А мало-ли ихъ? Гаррикъ, Кинъ, мистрисъ Беллами, Адриенна Лекувреръ, Клеровъ, Дюмениль, Лекдаль, Молдъ, Превиль, Ифландъ, Энгельсъ и столько другихъ!.. Почти всѣ они оставили своимъ мемуары, или вызвали въ своихъ почитателяхъ болѣе или менѣе подѣбныя и восторженныя отзывы; но *физиономія* ихъ искусства — *какъ мы бы желали* — все-таки не выяснена. И должны мы довольствоваться голъ словными похвалами, надригалами, возгласами объ успѣхѣхъ въ той или иной роли; много-много разсказовъ о томъ: какъ, т. е. съ какими внѣшними приѣмами, исполнялись эти роли. Еслибы рѣшительно *есть* знаменитые актеры писали свои мемуары, собрано было бы въ сто разъ болѣе фактовъ объ ихъ карьерѣ, но оцѣнка не много бы двинулась впередъ. Для этого въ цѣнителяхъ нужны — полная свобода и глубина сужденія, научно-эстетическіе приемы, большое поле наблюденій, не меньшая практика въ опредѣленіи всѣхъ подробностей исполненія. Что же мудренаго видѣть въ нашей драматургической литературѣ отсутствіе того, чего мы не найдемъ — какъ слѣдуетъ — и въ западныхъ литературахъ. Безспорно, прошло время того наивнаго театральства, какое мы видимъ напр. въ «Лѣтописи Русскаго Театра» покойнаго Арапова — гдѣ сужденія окрашены всѣ въ слащаво-надригальный колоритъ. Въ послѣднія 30—40 лѣтъ не мало было статей, замѣтокъ, воспоминаній и характеристикъ о крупныхъ талантахъ нашей сцены; въ нихъ найдутся тамъ и сямъ живыя черты, вѣрные штрихи, сочувственныя оцѣнки, любопытныя біографическія подробности; но полныхъ этюдовъ, восстанавливающихъ художественный обликъ актера и его историческое

значение въ данную эпоху—что-то не видать. Пора бы имъ появляться! Тутъ дѣло не въ частностяхъ эрудиціи, не въ кропотливой работѣ анекдотическаго біографа; а въ цѣльности, вѣрности и непосредственности заключительнаго вывода. Его можетъ сдѣлать только *зритель*, прослѣдившій всѣ или главные фазисы развитія таланта въ крупномъ исполнителѣ. Если у такого зрителя есть при томъ надлежащее образованіе и поле сравненій съ другими артистами—большаго и желать не слѣдуетъ. Его работы не выполнить наиглубочайшій и наученѣйшій критикъ, который будетъ писать объ артистѣ, никогда не видавъ его, на основаніи постороннихъ разрозненныхъ показаній, какъ бы они ни были вѣрны, остроумны и характерны. На нашей памяти сошли въ могилу: Мочаловъ, Щепкинъ, Мартыновъ, Сергѣй Васильевъ, Садовскій, Сосницкій, Лисская — а гдѣ въ нашей журналистикѣ или книжной литературѣ сколько-нибудь полныя оцѣнки этихъ артистовъ въ томъ смыслѣ, какъ мы это разумѣемъ? Ихъ нѣтъ. Пройдетъ 20 — 30 лѣтъ, и придется собирать печатные матеріалы и чужіе отзывы. Актеры — не поэты, не живописцы и не ученые. Ихъ творчество исчезаетъ, какъ дымъ. Оно „*transitorisch*“, какъ сказалъ Лессингъ...

Вотъ и еще новая могила крупнаго, блестящаго, достолюбезнаго, *европейскаго* таланта — и тоже приходится сказать: — полной оцѣнки его нѣтъ; а можно бы было сдѣлать ее и при жизни Василья Игнатьевича. Вѣдь онъ уже прошелъ всѣ стадіи своего развитія; въ послѣдніе годы онъ, такъ сказать, *доигрывалъ* свой срокъ, и потому, конечно, что совсѣмъ ослабъ и лишился своихъ выразительныхъ средствъ; и потому, что типъ и характеръ его, какъ актера, былъ вполнѣ исчерпанъ. Скорѣй же за работу! Тутъ недостаточно того, что записано было при жизни покойнаго, съ его словъ. Тутъ нуженъ «снятезъ», вытекающій изъ долголѣтнихъ наблюденій и широкаго художественнаго міросозерцанія. Неужели и Живокини не дождался того, чего не дождались, до сихъ поръ Щепкины, Мартыновы и Садовскіе? Развѣ любители театра только и любятъ актеровъ, какъ потѣху, пока они увеселяютъ ихъ послѣобѣденныя досуги?.. Умеръ любимецъ — и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ — много черезъ годъ — самое имя его попадаетъ только въ

летучихъ рецензійхъ, когда хроникеру нужно нанизать нѣсколько крупныхъ именъ, закругляя какой-нибудь звонкій періодъ. Уже на похоронахъ артиста (если вѣрить одной печатной и притомъ весьма симпатичной корреспонденціи), равнодушіе нѣкоторыхъ товарищей по искусству достаточно заявило себя. Увы! эти печальные факты не удивительны для тѣхъ, кто хоть сколько-нибудь знакомъ съ закулиснымъ царствомъ. Вотъ уже сто лѣтъ прошло, какъ столбы театальной критики—Лессингъ и Дидро печатно говорили, какими свойствами преисполненъ міръ сценическихъ исполнителей. Позволю себѣ припомнить, по этому случаю, разговоръ съ любителемъ театра, который, по собственной охотѣ, промѣнялъ свободу и досугъ землевладѣльца-литератора на долю служебнаго актерства, гдѣ успѣховъ онъ не стяжалъ.

— Вы не повѣрите, говорилъ онъ мнѣ на тему актерской вражды, я до поступленія на сцену не могъ понять, какъ это можно такъ ехидствовать другъ противъ друга. Вѣдь вотъ возьмите вы хоть П. М—ча. Добрѣйшей души человекъ; а имени Михаила Семеновича слышать не можетъ—даже по сію пору, когда тотъ давно въ могилѣ лежитъ. А имъ и при жизни-то Михаила Семеновича нечего было дѣлать.

— Кромѣ славы, настоящей или прошедшей—слѣдовало добавить моему собесѣднику.

Оставимъ эти печальныя мизеріи сценическаго міра. Не отъ сверстниковъ своихъ дождется выдающійся артистъ полной и объективной оцѣнки. Но и пишущій эти строки не беретъ на себя, въ задушевномъ отголоскѣ своемъ, возстановить цѣлый художественный образъ покойнаго. Пусть это сдѣлаетъ тотъ, кто гораздо болѣе изучалъ игру Василья Игнатьевича на протяженіи его долголѣтней сценической карьеры. Здѣсь мѣсто—личнымъ воспоминаніямъ и свободному заявленію того личнаго вывода, какой сложился въ одномъ изъ зрителей, не перестающемъ отдавать всѣ свои симпатіи русскому театальному искусству.

Живокіни болѣе, чѣмъ какая-либо столичная знаменитость, поработалъ для провинціи, или ужъ никакъ не меньше, чѣмъ Щепкинъ. Въ Нижній ѣздилъ онъ всего чаще. Тамъ-то, я еще мальчикомъ, въ

40-хъ годахъ, впервые познакомился съ его игрой. Родной братъ его былъ одно время содѣжателемъ нижегородскаго театра; и Василій Игнатьевичъ участвовалъ, позднѣе, въ антрепризѣ ярмарочныхъ спектаклей. Такъ, по крайней мѣрѣ, говорили въ городѣ. Раньше его я видѣлъ Мартынова во всемъ блескѣ таланта; но впечатлѣніе увлекательной неистощимой веселости, впечатлѣніе *европейской* игры произвелъ на меня впервые онъ, а не Мартыновъ. Тогда весь Живокини воплощался въ «Стряпчемъ подъ столомъ» и въ «Львѣ Гурычѣ Синичкинѣ». Врядъ ли были и впослѣдствіи въ его громадномъ репертуарѣ «мотивы», гдѣ бы онъ такъ всецѣло проявлялъ себя на сценѣ. Я нарочно сказалъ «мотивы», а не типы, характеры или роли. Ниже я подробнѣе поговорю на эту тему. На ярмаркѣ у Живокини бывала готовая, своя, московская публика купцовъ; къ ней присоединялась и провинціальная купеческая компанія, которой безъ Живокини и «Макарій» былъ не въ Макарій. Эта публика звала его по балагурству и безграмотности «*Животининымъ*» и даже «*Животиной*» и считала его *своимъ* душевнымъ человѣкомъ, являющимся на ярмарочные подмостки для ея специальной потѣхи. А между тѣмъ въ купеческой «животининской» потѣхѣ сидѣло больше настоящаго, обще-европейскаго, культурнаго комизма и театральнаго исполненія, чѣмъ въ *петербургскомъ* реализмѣ тогдашняго Мартынова. Живокини игралъ Жовіалей и Синичкиныхъ (т. е. тѣхъ же западныхъ балагуровъ-юмористовъ въ передѣланной кожѣ), но его западное лицедѣйство шло къ прямой цѣли всякаго комическаго зрѣлища. Оно было шире, полнѣе, человѣчнѣе, блестящѣе, чѣмъ условный, мѣстный комизмъ «à froid» Мартынова, игравшаго тогда въ «1-мъ декабря», «Дядюшкиныхъ фракахъ» и «Что имѣемъ не хранимъ». Изъ Мартынова гораздо позднѣе выработался создатель художественныхъ типовъ, а тогда онъ былъ весь въ цѣпяхъ петербургскаго водевиля Оедоровыхъ, Григорьевыхъ, Каратыгиныхъ. Только Живокини далъ мнѣ, въ періодъ моего дѣтства и отрочества, понятіе о томъ: что такое «выразительныя средства» настоящаго комика, что такое комическое настроеніе и комическое отношеніе къ жизни. Тогда, конечно, все это оставалось въ предѣлахъ полусознанныхъ идей; но непосредственное

дѣйствіе, напоръ, образное впечатлѣніе — неизгладимо залегли въ сознаніе. Фигура комика, его круглое, подвижное и необычайно-смѣхотворное лицо, голосъ — задѣвающій исключительно струны комизма и смѣха съ легкимъ носовымъ отгѣнкомъ, отчетливая, сочная, интонація, въ которой каждое слово производитъ свой эффектъ, сказано ли оно просто или съ особымъ удлинненіемъ; все это сливалось въ Живокини въ одинъ живой аппаратъ, не знавшій себѣ отдыха въ дѣлѣ жизненныхъ проявленій веселости, юмора и комической энергіи. Нѣмецкіе критики любятъ употреблять эпитетъ «*drastisch*». Вотъ этой-то *драстической* особенностью и отличался въ 40-хъ годахъ и началѣ 50-хъ покойный Василій Игнатьичъ. Это и былъ, какъ мнѣ кажется, самый блестящій періодъ его сценической жизни. И въ Москвѣ и на ярмарочныхъ подмосткахъ онъ прививалъ русскому искусству и русской публикѣ европейскіе въ сферѣ того, что французы называютъ «*le gros rire*», въ то время, какъ М. С. Щепкинъ дѣлалъ тоже въ сферѣ болѣе сосредоточеннаго, рефлексивнаго творчества.

Въ Москвѣ, въ первой половинѣ 50-тыхъ годовъ, когда я въ первый разъ познакомился съ тамошнимъ театромъ, увидалъ я Живокини въ болѣе ответственныхъ роляхъ русскаго репертуара — впереди которыхъ стоялъ, разумѣется, Репетиловъ. Въ немъ нашелъ я юношей того же Живокини, какого видѣлъ въ Нижнемъ — отрокомъ въ Свинкинѣ. Живое лицо металось въ глаза; но ни тогда, ни послѣ не заявлялъ я мысленно актеру всѣхъ требованій, вызываемыхъ этимъ типомъ. Живокини не былъ предназначенъ создавать строго-обособленные личности. Это не лежало въ его натурѣ и не могло быть поставлено ему въ укоръ тѣмъ, кто понималъ его, какъ исполнителя. Одну сторону Репетилова — безпугую, клубную, болтливолицедѣйскую, безпробуднобарскую, Живокини проявлялъ лучше, чѣмъ кто либо, другими словами, лучше, чѣмъ И. И. Сосницкій. Онъ былъ гораздо его забавнѣе и сочнѣе. У Сосницкаго выходила другая сторона: петербургскій враль большаго свѣта и въ полупьяномъ видѣ сохраняющій нѣкоторую манеру и даже щепетильность. Ни онъ, ни Живокини не дали Репетилова такъ, какъ можно и должно бы было его играть, т. е. неудач-

нымъ смѣшнымъ радикаломъ 20-хъ годовъ; но все-таки радикаломъ, въ ту минуту, убѣжденнымъ, крикунимъ, въ которомъ личное безпутство слилось съ заемной ролью конспиратора. Такого исполненія требовалъ всегда Аполлонъ Григорьевъ и, по моему, онъ говорилъ дѣло. Все, что отзывается у Репетилова комическимъ заговорщикомъ, должно дѣйствительно *отзываться* тайными совѣщаніями, куда онъ попадалъ. Вотъ этого то оттѣнка было у Живокини еще меньше, чѣмъ у Сосницкаго. Вдобавокъ онъ имѣлъ привычку играть Репетилова слишкомъ пьянаго — традиція, къ сожалѣнію, сохранившаяся до сихъ поръ, и придающая Репетилову еще болѣе односторонній и банальный колоритъ. Но все таки при жизни Василя Игнатьевича никто другой не брался за эту роль, оттого, что силою богатаго комизма онъ дѣлалъ изъ Репетилова хоть и не грибоѣдовскаго псевдо-заговорщика, но все-таки ярко-забавное и характерное «зрѣлище». Слово «зрѣлище» я употребилъ также съ умысломъ для опредѣленія игры Живокини.

Кромѣ грибоѣдовскаго типа привелось мнѣ, втеченіе десяти-пятнадцати лѣтъ, видѣть Живокини и въ репертуарѣ Островскаго. Для Живокини новый текстъ бытовыхъ пьесъ не могъ быть тѣмъ, чѣмъ сталъ для Садовскаго. Театръ этотъ не придалъ ему совершенно другой фizioноміи, не обновлялъ его съ ногъ до головы, не произвелъ въ немъ радикальнаго перерожденія. Садовскій дебютировавшій (если не ошибаюсь) ролью Жано Визу въ водевилѣ «Любовное зелье», только въ Любимѣ Торцовѣ и въ Титѣ Титычѣ сталъ Садовскимъ. Безъ него нельзя себѣ и представить комедій Островскаго; безъ Живокини — очень можно. Онъ ему ничего существеннаго не далъ; онъ же послужилъ имъ искренно, по мѣрѣ силъ своихъ, но не внесъ въ нихъ того бытоваго элемента, за который держалась половина славы Садовскаго. Иначе и быть не могло. «Европейское» слишкомъ въѣлось въ него и придаю его выразительнымъ пріемамъ такую общность, которая не можетъ ступать ни въ какихъ чисто московскихъ роляхъ, хотя Василій Игнатьевичъ былъ, конечно, болѣе москвичъ, чѣмъ Щепкинъ и Садовскій: и по рожденію, и по воспитанію, и по всей житейской дорогѣ. Замѣчательна, однакожъ, гибкость и жизненность его ак-

терской натуры. Не только не оказался онъ лишнимъ для репертуара Островскаго, но безъ него многія пьесы не могли бы идти съ такимъ ладомъ и блескомъ. Онъ усердно игралъ и купцовъ, и приказныхъ—какъ извѣстно—двѣ категоріи первенствующихъ типовъ московскаго бытоваго театра. Кто не помнитъ его въ „Не сошлись характерами“ или въ „Трудныхъ дняхъ“. Видно было, что авторъ охотно поручалъ ему выдающіяся роли, да и не легко было бы дѣлать иначе, даже и при болѣе разнообразномъ составѣ труппы. Кому же не бросалось въ глаза, что каждую бытовую роль Живокини играетъ съ большимъ довольствомъ и искренностью, вовсе не какъ нѣны корифеи, составившіе себѣ имя исполненіемъ эффектныхъ, по гримировкѣ, лицъ переводнаго репертуара. Сколько разъ случалось видѣть Живокини въ такихъ маленькихъ эпизодическихъ роляхъ, которыя актеръ съ мелочнымъ самолюбіемъ непременно бы отвергъ. Можно, пожалуй, объяснять это желаніемъ пользоваться *разовыми*; но вѣдь знаемъ же мы, что при той же системѣ разовыхъ другіе «первые» актеры заявляютъ неизмѣримо больше мелочности и претензій. Я хочу этимъ сказать, что въ покойномъ Васи́лѣ Игнатьевичѣ сцена имѣла усерднѣйшаго служителя; а бытовой репертуаръ если не главную поддержку, то поддержку дѣйствительную и болѣе чѣмъ замѣтную. Иначе и быть не могло: въ каждой *истинной* комедіи, во всякомъ комическомъ персонажѣ, въ любомъ забавномъ положеніи—такой комикъ, какъ Живокини, непременно долженъ былъ «взять свое» тѣмъ или инымъ способомъ. Но строго обособленныхъ типовъ, въ которыхъ бы ступеньвалось его слишкомъ яркая индивидуальность—Живокини не создавалъ. Въ купцѣ, въ приказномъ любой бытовой пьесы онъ не былъ нисколько французомъ, или итальянцемъ, но не переставалъ быть комикомъ 30-хъ и 40-хъ годовъ, воплощавшимъ въ своей игрѣ западную комическую манеру *вообще*, не надѣвая на себя никакой исключительной фizioноміи. Не смотря на богатство своей миимики, или быть можетъ, вслѣдствіе этого богатства, Живокини никогда не былъ и „гримомъ“—въ тѣсномъ смыслѣ слова. Онъ заботился о внѣшности лица: это сейчасъ было видно въ малѣйшей роли; но преображаться вполне, ни по фигурѣ, ни по ли-

ду, ни по тону—не могъ; такъ, напр., какъ его сверстникъ, покойный П. Г. Степановъ—актеръ той же школы и того же (если не ошибаюсь) выпуска изъ театрального училища. Въ П. Г. Степановѣ русская сцена лишилась единственного «грима» въ высшемъ смыслѣ термина, или лучше сказать: „типиста“, создателя характернѣйшихъ сценическихъ фигуръ. Врядъ ли кто станетъ спорить, что этииъ искусствомъ онъ далеко превосходилъ и Садовскаго, и Шумскаго, и Павла Васильева, и Мартынова, и Самойлова. Скромный и осторожный въ своихъ разсказахъ, старикъ передавалъ мнѣ, незадолго до смерти своей, что вскорѣ по выходѣ изъ школы, онъ сыгралъ въ переводной пьесѣ (кажется изъ репертуара Коцебу) короля Фридриха II. Въ первомъ ряду креселъ сидѣлъ какой-то московскій тузъ (фамилію я позабылъ), знавшій лично Фридриха. Когда молодой актеръ вышелъ на сцену, согнувшись, съ походкой и фигурой побѣдителя при Росбахѣ, старый баринъ крикнулъ:

— Да это вылитый Фридрихъ!

На нашей памяти блистали въ репертуарѣ Степанова такія яркія типовыя созданія, какъ Тугоуховскій, Яичница, Маломальскій, задѣльный мужикъ въ „Горькой Судьбинѣ“, частный приставъ въ „Мишурѣ“ и столько другихъ!.. Такой способности у Василя Игнатьевича не было; но онъ выкупалъ этотъ пробѣлъ другими, и можно сказать, самыми драгоценными свойствами комика. Поэтому то онъ забавлялъ и увлекалъ своей веселостью и разнообразнѣйшей игрой въ то время, когда у Степанова во многомъ не оказывалось уже никакой гибкости, «entrain». Почти однихъ и тѣхъ же лѣтъ, на склонѣ дней своихъ, и тотъ и другой являлись въ классической комедіи, къ которой москвичи очень пристрастились въ послѣднее время. Между тѣмъ, какъ Степанова публика находила и суховатымъ и тяжеловатымъ, напр. въ „Укрощеніи строптивой“, въ „Лекарѣ по неволѣ“ (гдѣ онъ игралъ Діафориса-отца), Василій Игнатьевичъ былъ достолюбезенъ и въ высокой степени комиченъ въ „Мнимомъ больномъ“. Мольеровская комедія показала еще разъ, гдѣ настоящее царство Живокини, и отвѣтила за него тѣмъ критикамъ изъ любителей, сверстниковъ и рецензентовъ, которые дав-

ники давно твердили о его „балаганности“, непростительной „утрировке“ и отсутствіи въ немъ „настоящаго искусства.“ *Натурализмъ*, разведенный у насъ бытовымъ купеческимъ театромъ (сказать въ скобкахъ), создалъ цѣлый кодексъ произвольныхъ и въ высшей степени одностороннихъ приговоровъ; а въ исполнителяхъ развилъ ужаснѣйшее самоиѣніе и распушенность. Кто умѣетъ „акать“ по московски и удачно представлять пьянаго ящника—тотъ воображаетъ себя создателемъ „народныхъ типовъ“ и кричитъ, что театральному искусству учиться нечего, что школа хороша только „для французовъ“, а играть слѣдуетъ „какъ Господь Богъ на думу положить“. Актеры, подобные Живокини, служили живымъ доказательствомъ того, что значить хорошая школа, т. е. такая, гдѣ надо брать не гримировкой, не передразниваньемъ, не народничаньемъ, но коренными выразительными приемами и средствами.—Спору нѣтъ, простота, на которой теперь помѣшаны—дѣло хорошее; она какъ нельзя больше идетъ къ нашему русскому складу: и въ отдѣльных личностяхъ, и въ строѣ нашей жизни. Но эту простоту превращаютъ въ отсутствіе всякаго искусства. Такой «паяцъ» и «буффонъ», какииъ былъ Живокини, по мнѣнію иныхъ—само совершенство въ сравненіи съ «натуралистами», въ которыхъ нѣтъ никакихъ сценическихъ данныхъ и никакого, хотя бы элементарнаго, навыка: дѣйствовать на публику образно и непосредственно, а не помощью однихъ своихъ „добрыхъ намѣреній“. Съ конца 50 хъ годовъ и до послѣдняго времени объ артистахъ, подобныхъ Живокини, говорили и говорятъ болѣе или менѣе пренебрежительно, какъ о „лицедѣяхъ“, забывая то, что вся вина ихъ заключалась въ отсутствіи нужнаго для нихъ репертуара и немнѣніи у насъ въ столицахъ свободы театровъ, которая обособила-бы разные роды театральныхъ представленій. Чѣмъ долженъ былъ Живокини пробиваться всю свою жизнь по своей первенствующей способности, т. е. по веселому общему компану? Переводными водевилями, терявшими въ русскомъ исполненіи положиву своего смысла и блеска. Пишите для такихъ актеровъ комедіи, полныя смѣха, жизни, юмора, забавныхъ положеній—и вы увидите, что они вамъ дадутъ. Новая мода на Мольера показала, какъ такіе „забавники“, какъ Живокини, способны на исполненіе

самых потѣшныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ извѣстнѣйшихъ созданий мольеровской сатиры и юмора. Неужели-же играть хорошо «Мининаго больного» — менѣе художественное дѣло, чѣмъ безцвѣтно резонировать въ иной новѣйшей quasi оригинальной комедіи, которая, втеченіе цѣлаго вечера не вызоветъ ни одной живой усмѣшки въ зритель? Про покойнаго Василія Игнатьевича можно, съ полнымъ правомъ, сказать то, что Мольеръ говорилъ про самого себя: „онъ бралъ свое добро, гдѣ могъ“. Все, что отзывалось комизмомъ, веселостью и игривой шпикой — было его достояніемъ, начиная съ водевиля 30-хъ годовъ и кончая опереткой 60-хъ гг. Вѣдь и въ ней только на одного Живокина и можно было глядѣть, какъ на *замаднаго* исполнителя, соглашаясь, конечно, что старость уже брала свое. Предположите, что въ Москвѣ существовали-бы рядомъ съ казеннымъ одинъ, два и даже нѣсколько другихъ частныхъ театровъ — каждый со своей спеціальностью. На одномъ изъ нихъ непременно обособился-бы такой родъ репертуара, гдѣ Живокини, втеченіе 30, 40 лѣтъ могъ-бы исполнять первое амплуа. Мы это видимъ же въ Парижѣ, гдѣ Палерозальскій театръ — одна изъ самыхъ блестящихъ сценъ, и нисколько не мѣшаетъ «Французскому театру» держаться своего классическаго репертуара. А то у насъ на одной привилегированной сценѣ даютъ все на свѣтѣ: и хроники, и трагедіи, и драмы, и комедіи, и водевили, и фарсы, и оперетки. Когда одинъ какойнибудь родъ репертуара, какъ напр. бытовой, овладѣваетъ вкусомъ публики (какъ это было у насъ съ 1850 по 1870-е года), область той игры, гдѣ актеры, подобные Живокини, плаваютъ въ своемъ элементѣ — дѣлается почти лишней, кажется балаганнымъ лицедѣйствомъ, отжившимъ свой вѣкъ. Такъ оно въ значительной долѣ и было.

Но прежде чѣмъ я закончу свою оцѣнку дорогаго артиста, да позволено мнѣ будетъ привести здѣсь нѣкоторыя черты его, какъ человѣка и исполнителя, сохранившіяся въ памяти изъ личныхъ сношеній.

До 1862 года я зналъ Василія Игнатьевича только со сцены. Въ этомъ году я пріѣхалъ въ Москву ставить свою комедію «Однودворецъ». Тутъ, за кулисами, на репетиціяхъ, познакомился

я съ нимъ. Распредѣленіе ролей (пьеса шла въ бенефисъ Садовскаго) сдѣлано было мною по соглашенію съ бенефициантомъ. Мнѣ было несовсѣмъ ловко предлагать небольшую, второстепенную роль помѣщика *Жабина* Василию Игнатьевичу; но онъ взялъ ее съ вѣднимъ удовольствіемъ. Мы съ нимъ сейчасъ же разговорились о Нижнемъ, о его тамошнихъ знакомыхъ и прежде всего о покойномъ дядѣ моемъ П. П. Григорьевѣ, съ которымъ Живокини имѣлъ давнишнія сношенія, какъ съ любителемъ театра и пріателемъ заѣзжихъ артистовъ. До знакомства моего съ Живокини—я уже достаточно имѣлъ случаевъ присмотрѣться къ русскимъ столличнымъ актерамъ. Но въ немъ я нашелъ такія свойства, которыхъ почти всѣ сценическіе артисты лишены—именно: необычайную жизненность, веселость, добродушный юморъ и при этомъ полное отсутствіе того, что называется „актерствомъ“. Видно было сейчасъ, что онъ—живетъ своимъ дѣломъ, любитъ его, дышетъ воздухомъ кулисъ и въ тоже время, по тону, по разговору, по пріемамъ вы находили въ немъ русскаго человѣка, вобравшаго въ себя весь прежній, болѣе беззаботный строй жизни съ его общительностью и своеобразной культурой. Въ Василиѣ Игнатьевичѣ вовсе не чувствовался цеховой оттѣнокъ актера. Съ нимъ вамъ было также ловко, какъ съ любимымъ бывалымъ человѣкомъ 30-хъ и 40-хъ годовъ. Бодрость, вѣра въ свои силы и въ свое искусство въ этомъ уже очень пожиломъ „благородномъ отцѣ“ ярко контрастировала съ общей нашей вялостью, сухостью, хандрой и апатіей. Встрѣчать такихъ *жизнеобильныхъ* людей, какими были Живокини—чистый кладъ въ Россіи для того, кто подавленъ нашимъ прозябаніемъ и постояннымъ эгоистическимъ недовольствомъ и раздраженіемъ. На репетиціяхъ особенно пріятно было смотрѣть на него: такъ *вкусно* исполнялъ онъ свои актерскія обязанности. Онъ первый, на моихъ глазахъ, останавливалъ суфлера и два раза повторялъ одну и ту же тираду и даже сцену. Въ немъ-же всего ярче сказывалась та свободная, оживленная физиономія, какую имѣли (по крайней мѣрѣ тогда) московскія репетиціи. Ничто не напоминало казеннаго чиновничьяго, сдержанно-злораднаго характера другой служебной драматической сцены. Все

дѣлалось какъ-то семейнѣе, проще, веселѣе и съ неизмѣримо-большой охотой. Балагура и шута съ товарищами своими, Василій Игнатьевичъ не забывалъ ничего, что могло сколько нибудь способствовать лучшему исполненію роли—по его разумнію. О щепетильности и претензіяхъ и рѣчи не было. Какъ авторъ, я сейчасъ же увидалъ, что съ такимъ артистомъ невозможно имѣть непріятнаго столкновенія. Онъ говорилъ съ вами о своей роли такъ добродушно и скромно, такимъ простымъ и веселымъ тономъ, что всякое сношеніе только еще больше сближало васъ. Въ теченіе всего моего знакомства съ Василиемъ Игнатьевичемъ, я никогда не слыхалъ отъ него ни упоминаній о своихъ успѣхахъ, ни жалобъ, ни претензій, ни этой противной чиновничей фразы:

— Я *служу* столько-то лѣтъ!

Только на разспросы мои онъ отвѣчалъ фактами изъ прошлаго, да и то, когда я разъ пристаю къ нему съ болѣшими подробностями, онъ добродушно отвѣтилъ мнѣ:

— У меня память слабовата; а вотъ вы бы поѣхали къ Степанову; онъ все помнитъ и многое кое-что вамъ про старину поразскажетъ.

Точно новичекъ, обращался онъ къ автору (даже и такому молодому, какимъ я былъ въ 1862) за указаніями по части гримировки и костюма. Помню, что для этой второстепенной роли Жабина въ «Однодворцѣ», онъ нарочно самъ нарисовалъ парикъ и заказалъ его парикмахеру Теодору. И такая старательность вовсе не придавала ему хлопотливой мелочной манеры. Все это дѣлалось, какъ бы «между дѣломъ», и человекъ, членъ общества, собесѣдникъ жилъ въ Василиѣ Игнатьевичѣ бокъ-о-бокъ съ актеромъ, и внѣ театра заслоняли актера—въ чемъ и заключается превосходство настоящей натуры. Въ этомъ отношеніи Живокини напоминалъ М. С. Щепкина—только въ болѣе простой, забавной, беззаботной формѣ. Въ нихъ обоихъ вы видѣли и чувствовали «господъ», какъ говорятъ старые люди—въ хорошемъ смыслѣ слова, т. е. живыхъ людей, а не карьеристовъ театральнаго искусства. Надъ Щепкинмъ, въ концѣ его жизни, подсмѣивались за его болтливость и слезливость. И то и другое было въ извѣстной степени. Но познакомившись съ нимъ въ эту же пору (въ декабрѣ

1862), я былъ пріятно изумленъ свѣжестью его интеллигенціи, его разнообразной бесѣдой и чуткостью вкуса и пониманія. Съ Щенкинымъ было о чемъ говорить и помимо театра, тогда какъ съ другими знаменитостями вы ни до чего не добьетесь, кромѣ скуки, грубости и безъисходнаго самолюбія. Впечатлѣніе, производимое Живокини, проверилъ я четыре года спустя на нѣсколькихъ молодыхъ людяхъ, пріѣхавшихъ въ Москву, послѣ долгаго житія заграницей, и совсѣмъ не знавшихъ русскаго театральнаго міра. Это было зимой 1866 года. Тогда московскій артистическій кружокъ помѣщался еще на Тверскомъ бульварѣ и болѣе отвѣчалъ своей идеѣ. Каждый вечеръ тамъ можно было встрѣтить кого-нибудь изъ писателей, музыкантовъ, актеровъ. Василій Игнатьевичъ не разъ присаживался къ нашему маленькому обществу, послѣ «партійки» и болталъ съ нами о разныхъ разностяхъ. Заѣзжіе «западники» находили его необыкновенно-живымъ и пріятнымъ человекомъ и удивлялись его жизненности, виду, какъ рядомъ съ нимъ самые крупные таланты поражали своей сонливостью и безсодержательностью. Не знаю, бывалъ-ли когда нибудь Живокини заграницей, но объ иностранцахъ-актерахъ, какихъ ему удавалось видѣть, говаривалъ онъ всегда съ интересомъ, пониманіемъ и симпатіей. Въ бытность свою въ Петербургѣ, въ періодъ между 62 и 66 годами, онъ мнѣ много рассказывалъ о прежней московской французской труппѣ; видно было, что онъ изучалъ тогдашнихъ комиковъ и хвалилъ ихъ такъ, какъ обыкновенно наши комическіе самородки французскихъ актеровъ не хвалятъ. Словомъ, человекъ оставилъ во мнѣ добродушнѣйшую и безобиднѣйшую память. Я не пишу панегирика и не беру на себя утверждать, что покойный былъ во всемъ именно такихъ, а не иныхъ свойствъ. Съ частной и семейной его жизнью я не былъ знакомъ. Предоставляю это настоящимъ біографамъ; но то, что я видѣлъ и во что входилъ—располагало въ свою пользу. И позднѣе, до 1872 года, встрѣчался съ Василіемъ Игнатьевичемъ, или переписываясь съ нимъ по театральнымъ дѣламъ, я находилъ тѣ-же человѣчныя и жизненные свойства. Въ душу человеку не влѣзешь; довольно и того, когда встрѣча съ нимъ свободна отъ мелкой задней мысли, интриги,

раздражены, когда онъ прикрѣпляютъ насъ къ жизни, а не отталкиваютъ отъ нея. Зайдя въ Малый театръ, послѣ долгаго скитанья по Европѣ, въ январѣ 1871, я прежде всего отправился, въ уборную Василія Игнатьевича, и онъ поздоровался со мною все съ тою же веселой шуткой, отъ которой не вѣяло нисколько тяжести времени и житейскихъ заботъ. А онъ сильно постарѣлъ; но все еще стоялъ „на брешѣ“, игралъ безъ усталости и одинъ напоминалъ „доброе старое время“, когда и на сценѣ, и въ залѣ умѣли сѣяться. Последнее наше свиданіе было въ Петербургѣ; онъ прѣхалъ на нѣсколько лѣтнихъ спектаклей. Я нашелъ его въ отелѣ Елены, больного и утомленного. У него разболѣлась нога и онъ съ трудомъ могъ сыграть два-три раза. Я спѣшилъ изъ Петербурга и не могъ даже побывать на этихъ спектакляхъ. Послѣ того, мы еще разъ обмѣнялись письмами по постановкѣ моей комедіи, которая по такъ-называемымъ „независимымъ причинамъ“ пойти не могла. Онъ все еще шутилъ, говоря мнѣ, въ одномъ изъ писемъ, что бенефициантъ со мною—бѣда, хоть совсѣмъ отказываться отъ всякихъ сношеній; до такой степени часты бываютъ „сюрпризы!“

И вотъ, вдалекѣ отъ Россіи, надѣясь на возвратъ здоровья, я не разъ вспоминалъ достолюбезнаго комика и собирался посѣтить его въ Москвѣ и въ уборной, и у него на донѣ, поразспросить его хорошенько про старину и попросить позволенія пообширнѣе побесѣдовать объ немъ съ публикой. Мнѣ казалось, что Василій Игнатьевичъ способенъ пережить всѣхъ насъ: такъ сильно билъ въ немъ ключъ жизни. Ничего не слышно было о его болѣзненности, дряхлости, приближеніи послѣдней катастрофы... Смерть налетѣла и взяла его, какъ двѣсти лѣтъ назадъ того гениальнаго антрепренера, который прямо съ представленія „Миннаго больного“ легъ въ гробъ!...

Теперь скажу свое заключительное слово на вопросъ: что представляла собою игра Живокини и какое она имѣла художественно-историческое значеніе для русской сцены?

Выше я уже замѣтилъ, что Живокини не былъ „типистомъ“ и „гримомъ“, что онъ не могъ вполне отрѣшиться отъ присущаго ему комическаго рода. Мнѣ кажется это не произвольный выводъ.

Его игра, какъ я выразился была, игра „мотивовъ“, т. е. настроений, сценъ, положений и діалоговъ,—игра, имѣющая главною цѣлью „зрѣлище“, а не объективную правду строго-обособленнаго, конкретного лица. Такое творчество можетъ не удовлетворять новѣйшую театральную залу; но оно имѣетъ крупное значеніе въ исторіи комедіи и до сихъ поръ свое блистательное прижизненіе на Западѣ. Не даромъ Василій Игнатьевичъ прозывался „Живовикинъ“ и былъ несомнѣннаго итальянскаго происхожденія, хотя — и русскій человѣкъ — москвичъ съ головы до пятки. Кровь, инстинкты, пошибъ лица, жестовъ и тона — все въ немъ напоминало многовѣковую итальянскую и римскую комедію, принявшую въ эпоху Возрожденія законченныя формы такъ-называемой „Comedia del'arte“, которую иначе звали „слово-обильной комедіей“ — *Comedia a braccia* (отъ выраженія *parlari* или *dire a braccia* — болтать). Эта комедія, виѣсть съ импровизаціей — *conditio sine qua* поп ея-существованія — выработала нѣсколько общихъ забавныхъ, полусатирическихъ, полуфантастическихъ типовъ, которые видоизмѣнялись, смотря по мѣстности, эпохѣ и даже актерамъ; но въ сущности оставались тѣми-же коренными типами итальянской расы и культуры. Ихъ общность и выработанная типичность, незнавшая личнаго, индивидуальнаго обособленія, и превратила ихъ въ такъ-называемыя *маски*. И мы имѣемъ цѣлую галерею комическихъ *видовыхъ* образчиковъ: Панталоне и Кассандра, благородныхъ отцевъ, Бригеллу, Арлекина, Пьерро и Бриспина — плутоватыхъ, неуклюжихъ или блестящихъ слугъ; — доктора-педанта, Скарамуччіо — бахвала и хвастуна, виѣсть съ видоизмѣненіемъ своимъ Капитаномъ и т. д. и т. д. Въ безчисленныхъ комедіяхъ, отличныхъ между собою по сюжету, являлись всегда одни и тѣ же лица. Ихъ общій характеръ, въ главныхъ чертахъ, сохранялся на протяженіи вѣковъ, сохранялись и главныя положенія, сцены, діалоги и монологи, т. е. *мотивы* и *зрѣлища*. Вотъ такой-то „маской“, въ новѣйшемъ ея видоизмѣненіи, и былъ Василій Игнатьевичъ въ коренномъ своемъ амплуа. Въ немъ мы имѣли нѣсколько *масокъ* — и Панталоне, и Бригеллу, и Скарамуччіо, и Капитана, т. е. разновидности комической натуры, сотканной изъ слабостей и сильныхъ качествъ довольной и самодовольной-буржуа

зія, виѣсѣтъ съ безпечнымъ и веселымъ отношеніемъ къ жизни. Европейская *эпковая* комедія врядъ-ли гдѣ на Западѣ имѣла, въ періодъ отъ 30-хъ до 60-хъ годовъ болѣе блестящаго представителя, чѣмъ Живокини. Я могу его сравнивать только съ новѣйшими комиками-буффами Европы, какихъ я видалъ и знавалъ въ послѣднія десять-пятнадцать лѣтъ. Родство Живокини съ ними бросалось сразу въ глаза. Начать съ того, что даровитѣйшая „маска“ Пале-Рояля, покойная Тьерре, была вылитый Василій Игнатьевичъ только въ женскомъ платьѣ. Затѣмъ идетъ цѣлая вереница палерояльскихъ комиковъ: Жоффруа, Леритъ, Равель, Брассеръ, Жиль-Перецъ. Всѣ они изображаютъ, вотъ уже 20 слишкомъ лѣтъ — одни и тѣ-же типы и одни и тѣ же почти положенія, и не теряютъ отъ этого своего достоинства. Да и кто такое—первые комики всѣхъ европейскихъ народностей, какъ не Панталоне на подкладкѣ Криспина, т. е. буржуа во всемъ ихъ блескѣ и во всей ничтожности? Всѣ они, т. е. и Жоффруа, и Прадо, и Нейманъ, и Гельмердингъ, и Матрацъ, и Блязель, и Уэбстеръ, всѣ они—родные братья Живокини. Онъ ихъ родитъ въ полнѣйшемъ смыслѣ слова. Позволю себѣ сказать здѣсь въ печати то, что я не разъ говорилъ, глядя на игру его: Живокини былъ *единственный* русскій актеръ, которому стоило только переѣздить языкъ, чтобы цѣликомъ перенести себя на любую западную сцену и сдѣлаться тамъ первымъ комикомъ. Европейскій зритель принялъ-бы его съ перваго же разу, какъ продуктъ своего комического искусства. Съ итальянскими же буффами имѣлъ Живокини дополнительное, *семейное* родство. Всего ярче увидалъ я это родство, нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, глядя на игру лучшаго флорентинскаго „Стентерелло“ (т. е. того же Бригеллу-Криспино-Пульчинеллу съ братіей) — *Рафаэля Ландини*. Даже въ голосѣ нашелъ я сходные звуки и цѣлыя переливы интонацій...

Нельзя, тысячу разъ нельзя относиться съ исключительной точки зрѣнія къ такимъ артистамъ, какъ покойный Василій Игнатьевичъ. Онъ и Шепкинъ—вотъ двѣ силы, посредствомъ которыхъ русская сцена окончательно породнилась съ Европой. Не всѣ такъ смотрятъ на нашего перваго жизнеобильнаго комика-буффа; но мнѣ приво-

дѣлось бесѣдовать въ Россіи съ людьми широкаго образованія, которые готовы были бы, какъ мнѣ сдается, подписать такое сужденіе о Живописи. Какими бы чисто-русскими артистами ни была украшена наша бытовая сцена, печально было бы не воздать должнаго свѣдѣтельства тѣмъ бойцамъ русскаго театра, черезъ которыхъ наше искусство сливалось съ великой преимущественностью міроваго движенія...

П. Воборыкинъ.

Римъ, февраль 1874 г.

Стихотворенія А. Н. Струговщикова.

I.

Съ чужбины.

Плывесть и ликуесть! Свѣтила ночныя
Качаются съ нами на черныхъ волнахъ;
Мы родину славимъ! молитвы святыя
О матери общей на нашихъ устахъ.

Недолго намъ звѣзды ночныя свѣтили,
Челнокъ нашъ морская взяла глубина;
Иловцами плохими друзья мои были,
Меня на чужбину учала волна.

Плывесть и ликуеть въ каютѣ привольной
Иная ватага, иная семья;
Но вспомню о прошломъ, и на сердцѣ больно
За пѣсни святыя, что пѣли друзья!

II.

Императоръ Генрихъ IV.

(Изъ Гейне).

Передъ портикомъ замка Каноссы,
Императоръ, гонимый судьбой,
Въ власяницѣ, продрогшій и ббсый,
Съ непокрытой стоитъ головой.
Предъ наоемъ распятя святаго
Двѣ фигуры рисуеъ стекло:
Лысый черепъ Григорья седьмаго
И Матильды тосканской чело.
„Pater noster“ читая смиренно,
Грѣшный Генрихъ прощенія ждетъ,
Но другую, въ душѣ уязвленной,
Императоръ имъ пѣсню поетъ:

„Въ рудникахъ моей отчизны
Есть желѣзная руда,
Изъ желѣза жаръ и холодъ
Закалять стальной топоръ.
На скалахъ моей отчизны
Есть рудовая сосна,
А въ сосновой древесинѣ
Рукоять для топора.
На поляхъ моей отчизны
Народится и кузнецъ;
Онъ исчадіи злаго змія
Тѣмъ изрубить топоромъ!

А. Струговщиковъ.

148

СВЛАДЧИША

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИКЪ,

СОСТАВЛЕННЫЙ

ИЗЪ ТРУДОВЪ

РУССКИХЪ ЛИТЕРАТОРОВЪ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1874.

241
3

Цѣна 3 рубля.

Весь сборъ отъ продажи «Сладчины» назначенъ въ пользу пострадавшихъ отъ голода въ Самарской губерніи.

11-12-1917

